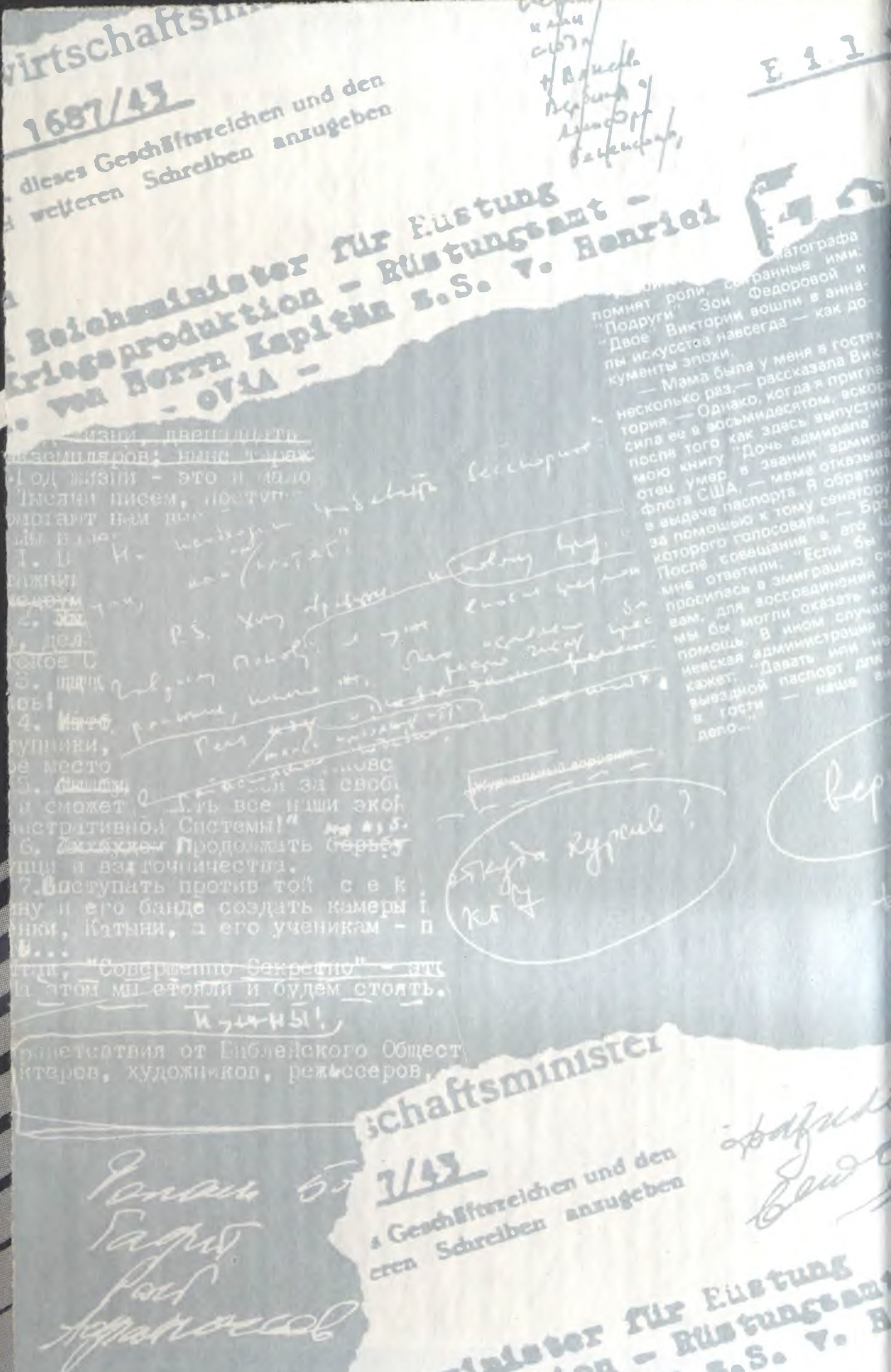
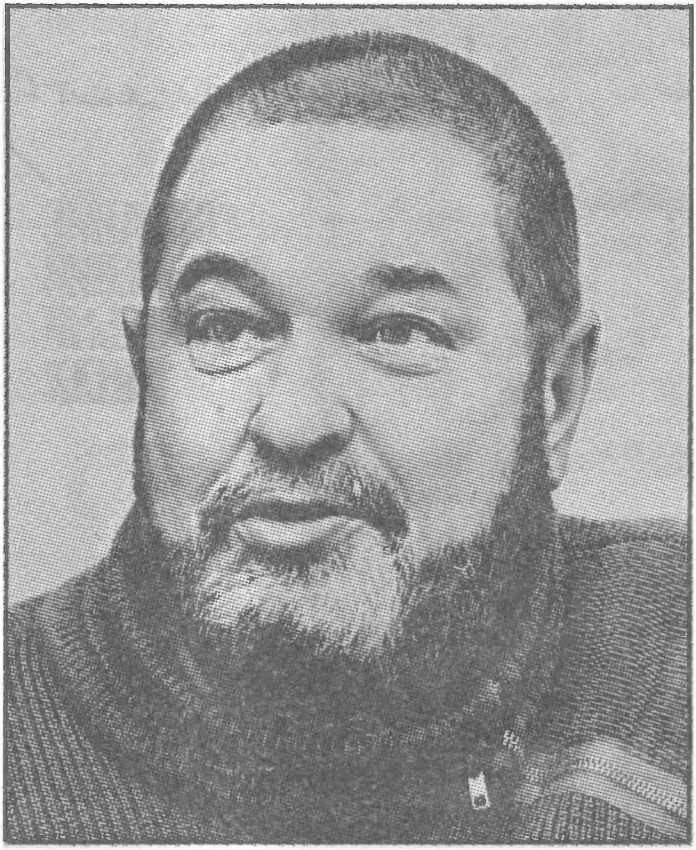
ЮЛИАН
СЕМЕНОВ


wirtschaftsmin
1687/43
dieses Geschäftszeichen und den
weiteren Schreiben anzugeben
E 1 1
Reichsminister für Rüstung
Kriegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- OVil -
помнят роли, сыгранные ими.
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.
— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскор
после того как здесь выпустил
мою книгу "Дочь адмирала"
отец умер в звании адмир
флота США, — маме отказыв
в выдаче паспорта. Я обратил
за помощью к тому сенатору
которого голосовала, — Бр
После совещания в его
мне ответили: "Если бы
просилась в эмиграцию, с
вам, для воссоединения
мы бы могли оказать ка
помощь. В ином случае
невская администрация
кажет: "Давать или не
выездной паспорт для
в гости — наше
дело..."
Год жизни - это и мало
Тысячи писем, поступ
и сможет
Системы!"
6. Продолжать борьбу
7. Выступать против той с е к
и его банде создать камеры
Катыни, а его ученикам - п
"Совершенно Секретно" - эт
На этом мы стояли и будем стоять.
от Библейского Общест
художников, режиссеров,
schaftsminister
7/43
Geschäftszeichen und den
eren Schreiben anzugeben
minister für Rüstung
ion - Rüstungsam
z.S. v. H

Антон Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



Семеныч

ТОМ ШЕСТОЙ

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

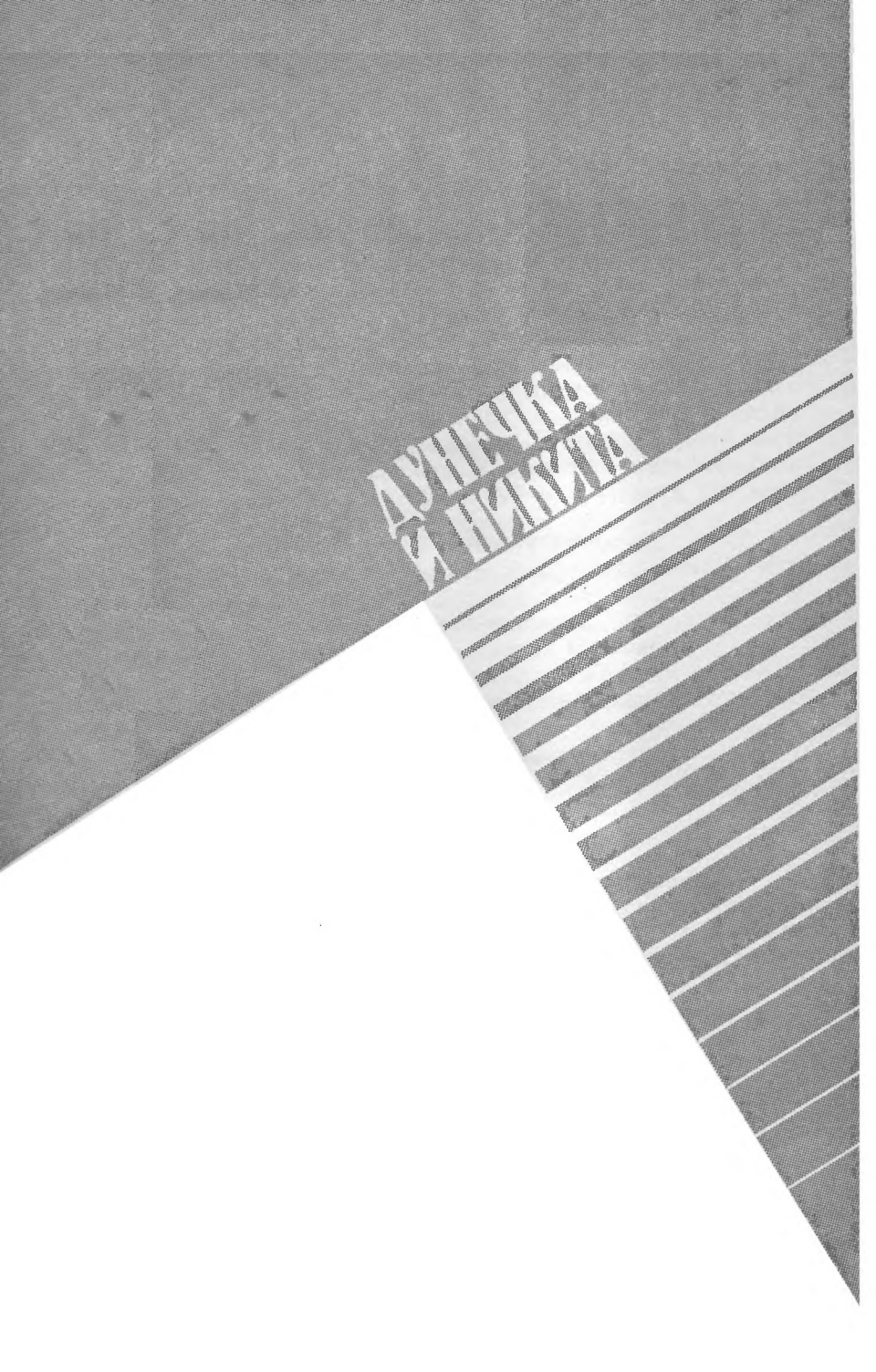
Москва
МШК МАДПР, ДЭМ
1994

ББК 84.3Р7
С30

Редакционная коллегия:
Л. АННИНСКИЙ
А. БЕНЕНСОН
В. КОЗЬМИН-БОРОЗДИН
О. СУЛЕЙМЕНОВ

Художники:
В. БЕЛЯКОВ
В. ПОМОЧИЛИН
М. ШЕСТОПАЛ

ISBN 5-85207-019-X (общий)
ISBN 5-85207-034-3 (Т. 6)
© Ю. Семенов, Т. 6. 1994
© Составление и оформление МШК МАДПР, ДЭМ, 1994


ДЯДЕЧКА
И ПАПКА

— Идиоты, — сказал Никита. — Пустите, спать хочу.

Он лежал на кровати одетый. Он лег под утро, потому что всю ночь просидел над книжками по актерскому мастерству. Голову он накрыл подушкой, чтобы не слышать шума с улицы. Улица просыпалась рано. Дворник сонно переругивался с милиционером и громко шаркал метелкой по сухому тротуару. В доме напротив, на втором этаже, в третьем окне слева, мальчик в очках садился за рояль по утрам и наяривал гаммы. Никита часто разглядывал его в бинокль. У очкастого мальчика были короткие пальцы и веснушчатый нос. Никита его ненавидел.

Степанов снова тронул Никиту за плечо.

— Ну? — спросил Никита из-под подушки. — Чего?

— Вставай.

— Гады вы все. Мучаете человека.

— Мы привели Дуню, — сказал Степанов.

Никита сбросил подушку, сел на кровати и стал тереть лицо. Он тер лицо обстоятельно, разминая мышцы по системе йогов.

— Все-таки да? — спросил он.

— Что я могу поделать?

— Когда?

— Назначили на десять утра.

— Кто судья?

— Черт его знает. У тебя нет ничего выпить?

— Нет, потому что пить нехорошо, если сражаешься или когда пишешь. Так, кажется, у Папы... А я сегодня сражаюсь. Ну-ка, стань. Колоссальный прием... Протяни левую. Захватываю у кисти, понял? Рывок на себя, ногу вперед с резким выбросом — и ты в партере.

— Я, милый, на галерке.

— Слушай, у меня сегодня зачет по драке, а может, еще консультация по мастерству. Что я стану делать с Дунькой?

— Нам ее не с кем оставить.

— А как ее будут делить?

— Отстань, а?

— В холодильнике есть прекрасный квас. Хочешь? Могу выдать.

— Я хочу выпить.
— У тебя, кстати, деньги есть?
— Есть.
— Одолжи десятку.
— На.
— До, ре, ми, фа, соль, ля, си, мне спасибо, вам мерси, — сказал Никита и пошел в ту комнату, где Надя сидела с Дунечкой.
— Здорово, сестреночка, — бодро сказал Никита и поцеловал Надю. — Племяшечка, привет.
— А я сегодня весь день с тобой буду, — сказала Дуня.
— Мешать станешь?
— Конечно.
— Выдеру.
— Меня драть нельзя, я нервная.
— Вы оба понимаете, что творите? — спросил Никита.— Может, отложите ваш бракоразводный про...
— Никита! — Надя показала глазами на Дуню.
— Ничего, говорите, я вас не буду слушать, — сказала Дунечка и приложила пальцы к ушам, — я вместо этого смотреть буду.
— Пожалуйста, не отпускай ее ни на шаг, — сказала Надя, — нам не с кем ее оставить, понимаешь? Никого нет, кроме тебя.
— Мама вернется послезавтра...
— Я не виновата, что все это назначили на сегодня.
Дунечка пошла в ту комнату, где у окна сидел Степанов. Она шла, подпрыгивая на носочках.
— Смотри, — сказала она, остановившись возле двери. — Я умею на самых кончиках, как балерина.
— Ах ты рыбонька моя, — сказала Надя и вышла на кухню.
— Еще ж не поздно, — сказал Никита. — Ты, ведь любишь его.
— Ненавижу.
— Он тебя любит.
— Он негодяй, я его видеть не могу.
— Ты без него повесишься через полгода.
— Ну и пусть.
— А как вы будете с Дунькой?
— Она будет со мной.
— Она будет без отца.
— Она будет со мной, — повторила Надя, — ясно тебе? И вообще, не суй свой нос туда, куда не надо.

— Как с Дунькой сидеть, так «Никиток», а как говорю правду — так «не суй нос». Ты — сумасшедшая.

— Сам очень хороший.

— Мне по долгу велено, я — артист. Артист обязан быть сумасшедшим, иначе он станет дерьмом.

Никита ушел в ванную, залез под душ и задернулся занавеской. Он плескался и повизгивал тонким голосом.

— Надька, — крикнул он, — потри спину.

Надя выключила газ, поставила медную кофеварку на стол и пошла в ванную.

— Какой долдон вымахал, — сказала Надя, — а вроде еще вчера я тебя грудного купала.

— Не подглядывай, — сказал Никита, — я тебя стесняюсь. Слышь, Надьк, а чего ты такая красивая перед разводом стала? Влюбилась? Или страдание делает женщину прекрасной?

— Страдание. Нагнись ниже.

— Больно дерешь!

— У тебя спина грязная.

— Спина — не душа, прожить и с такой можно. Слушай, а вот для вас имеет значение, какая у мужчины фигура?

— Конечно.

— У меня ноги тонкие.

— Дурашка, — сказала Надя, — это красиво.

Она села на край ванны и заплакала. Плакала она по-детски: у нее катилось по щекам много слез и сразу же краснел нос.

— Идиоты, — сказал Никита, — вы идиоты. Выйди, я буду вытираться.

Степанов сидел возле окна, а Дунечка танцевала посреди комнаты.

Степанов смотрел на дочь и вспоминал, как семь лет назад в такой же летний день Дунечку привезли из родильного дома.

Есть разница в том, как относятся к новорожденному мать и отец. Надя подолгу просиживала возле Дунечки — сморщенной, коричневолицей, пищащей хриплым голосишком, — и смотрела на нее с умилением, и находила сходство: «Уши у нее твои, и брови твои, и подбородок твой». А Степанов смотрел на этот пищащий комочек с осторожным любопытством, не видел никакого сходства, но соглашался с Надей и недоуменно хмыкал: «Моя дочь...»

Люди — те же позвоночные, только высшая их форма.

Волчица облизывает детеныша, подолгу глядит на него, положив длинную морду на толстые лапы, а волк гуляет себе по лесу, мимо слепых волчат проходит равнодушно — не придавить бы, — и только. Волк начинает брать детеныша с собой, когда тот делается постарше и мать уже не смотрит на него с такой нежностью, а порой даже прикусит за загривок, если что не так. У зверей младенчество принадлежит матери, зрелость — отцу. У людей — так же.

— Папочка, — спросила Дуня, — а у вас когда начнется баракоразводный?

— Что?

— Так Никита сказал.

— Не болтай, мать, ерунды...

— Ну какая ж я тебе мать, — рассудительно сказала Дунечка, — я твоя дочка.

— Дуньк, скажи «рыба», — попросил Степанов, закрыв глаза.

— Рыба.

— Раньше ты говорила — лыба. Ну-ка, иди, я тебя поцелую.

— Вы меня всегда целуете когда ссоритесь.

— Смотри, какой пух тополиный летает.

— А зачем он летает?

— Весна...

— Пусть бы зимой летал, тогда падать не больно.

Вошел Никита:

— Она уже ушла.

— Пока, Дунечка, Никиту слушаться безо всяких.

— А со всякими?

Никита и Степанов посмотрели друг на друга. Степанов поднялся, потянулся, захрустев пальцами, и пошел в суд — разводиться.

— Дунька, порубать хочешь?

— Знаешь, как папа говорит? Он говорит: «рубансон-гоглидзе» и «кирневич-валуа».

— А что такое «кирневич-валуа»?

— Очень просто. Это когда в рюмку наливают водку.

— Ясно. Яичню «рубансон-гоглидзе»?

— Не хочется.

— Мало ли что не хочется... Надо. Человек есть то, что он ест. Поняла?

— Нет.

— Что нет?

— Как же он может быть тем, что ест? Ведь человек не еда.

— Ты у меня Гегель.

— Ну какой же я Гегель, Никит? — снова рассудительно ответила Дунечка. — Я девочка.

— Ладно, девочка. Сиди, я пойду глазунью жарить.

Дунечка осталась в комнате одна. Улыбка сошла с ее лица, и оно вдруг сделалось взрослым и скорбным. Она подошла к окну и стала разглядывать улицу, по которой с ревом проносились расплющенные машины, торопились люди — большеголовые и с коротенькими ножками. А когда к остановке подъехал рычащий автобус и пустил струю дыма, Дунечка сделала шаг от окна — так он был грозен, этот красный автобус, если поглядеть сверху.

Дунечка еще немного поглядела в окно, потом ей это наскучило, и она решила порисовать. Она взяла красный карандаш и нарисовала на оборотной стороне синей тетрадки танцующую женщину с сумочкой в левой руке. Глаза танцовщицам Дунечка рисовала длинные и раскосые, волосы — распущенные, падающие на лоб. Она умела рисовать танцующих женщин: она чувствовала движение и, когда рисовала, делала ногами те самые движения, которые в рисунке повторяли танцовщицы с худыми длинными руками, с сумочками и в шляпках на распущенных волосах.

Дунечка полюбовалась танцовщицей, немного потанцевала сама, а потом, вздохнув, принялась убирать Никитину кушетку. Движения ее были точны и повторяли движения матери, когда та по утрам убирала кровати.

Дети точно повторяют движения. Но кто сказал, что они так же точно и цепко не повторяют те слова, которые слышат? Кто сказал, что они не понимают смысл этих слов — тех злых, обидных и горьких, без которых редко обходится какая семья?

«Ты еще маленькая», «ты этого не понимаешь». Какая глупость! Плохая память — бич людей. Родители забывают самих себя — семилетних. Вспомните себя в семь лет те, которым сейчас тридцать! Вспомните! Ведь вы все понимали в семь лет — особо остро, может быть, даже точней, чем понимаете сейчас, потому что тогда ваше сознание не было загромождено тем, что ханжи называют «богатым опытом». Доброта человека должна проверяться его отношением к детям.

— Дунька, иди сюда! — крикнул из кухни Никита. — Яичня готова.

— Где у тебя веник?

— Веник после, сначала калории.

— А что это — калории?

— Единицы тепла.

— Какие единицы? — спросила Дунечка. — Длинные палочки?

— Разные бывают.

— Они вроде микробов?

— Двоюродные братья.

— Баба говорит, что у микробов есть руки и ноги.

— А как про мозг? Баба на этот счет данных не имеет?

— Дурачок ты даже совсем, — сказала Дунечка таким голосом, каким Надя говорила Степанову, когда радовалась чему-нибудь. — Глупенький совсем даже.

— Ах ты моя душечка! — засмеялся Никита.

— А знаешь, как мама говорила, когда они ссорились?

— Знаю...

— Я тебе сделала сюрприз на букву «у», Никит...

— Какой?

— Уб...

— Ну, давай, давай... — сказал Никита, глядя в газету.

— Я так не буду. Ты не со мной говоришь.

— Дуня, запомни раз и навсегда: газета — это самое массовое оружие.

— Как сабля?

— Почти.

— Убра...

— Не понимаю.

— Убрала кровать, дурачок!

— Ты давай без фамильярностей. Я не дурачок, а твой дядька.

— Ты не говори «дядька», ты «дядя» говори.

— Почему?

— «Дядьки» в магазинах ходят, и «тетки» тоже.

— Ешь яичню.

— Не хочется.

— А зря.

— Я, когда маленькая была, говорила «хочечя», а не «хочется».

— А сейчас ты большая?

— Конечно. Осенью в школу пойду.
— Хочется в школу?
— Что ты... Кому хочется учиться?
— Евдокия, ты — враг прогресса, — сказал Никита. — Пошли в институт, я драться должен.

Надя сидела в темном углу, на скамейке, отполированной до зеркального блеска тысячами людей. В судах много темных углов и отполированных скамеек. Степанов гулял в садике, где толпились люди, вызванные на судебные заседания. Люди говорили негромко, но очень оживленно, и все как один курили «гвоздики».

Один из заседателей задерживался на полчаса, и поэтому начало судебного разбирательства перенесли на одиннадцать. Возле Нади села женщина с грудным ребенком.

Надя смотрела на спящего мальчика в синей вязаной шапочке и вспоминала, как они тогда жили в деревне. Это было шесть лет назад, когда Дунечке исполнилось полгода. Она часто болела, по ночам просыпалась и кричала — надрывно, на одной ноте. Степанов приезжал поздно, часов до трех сидел за работой на дощатой веранде, дымил, как паровоз, одну сигарету за другой и рисовал на полях синей полотняной бумаги одинаковых бородатых мужчин с капитанскими английскими трубками во рту. Засыпал он поздно, и Надя, чтобы не будить его, ходила с Дунечкой, прижав ее к себе, до тех пор, пока девочка не успокаивалась. Надя укладывала ее в кроватку, а сама садилась к раскрытому окну и смотрела, как желтая луна процарапывалась сквозь заросли кустарников. В одном и том же месте точно в одно время начинал заходиться соловей. Он был неистов и нежен. Черные сосны разрезали голубое ночное небо, подсвеченное серебряным светом луны. Иногда, если налетал ветер, было слышно, как под горой шумела река на песчаных перекатах. Во всем этом — в Дуне, которая посапывала в своей плетеной кроватке, в том, как что-то бормотал во сне Степанов, в ночи, которая жила тихой, таинственной жизнью, — во всем этом было счастье, и Надя чувствовала, как у нее от этого счастья холодеет кожа, делаясь шершавой, как бывает, если замерзнешь зимой.

— У вас муж? — спросила Надю женщина, сидевшая с ребенком.

— Что? — не поняла Надя.

— Говорю — у вас муж?

— У меня развод.

— А... У меня-то муж тут. Судить будут. Пьяный стекла в магазине побил. Так он хороший у нас, а вот если выпьет — обязательно разобьет чего-нибудь и куражится. Я ему, дураку, говорила: «Ты лучше меня шугани, и то позора будет меньше».

— Да, — сказала Надя, — конечно.

— А теперь штраф сунут, а мы гардероб хотели. Сейчас хорошие появились... Полированные и с зеркалом, по девяносто семь. Судья-то, говорят, женщина. Это ничего, а если мужик — тот без жалости.

К скамейке подошел здоровенный парень в кепке. Кепка на его проволочных курчавых волосах держалась каким-то чудом, и Наде показалось, что она вот-вот упадет.

— Пришел, ирод окаянный, — сказала женщина, — глаза б мои на тебя не смотрели, жирафа кучерявая!

— Ладно... — сказал парень, сморщив лицо, — чего паникуешь...

— Пускай тебя посадят, паразита, пускай!

— Ладно, — повторил парень, — чего шумишь?! Что в тюрьме, что с тобой — один ляд.

— У вас спички нет? — спросил Степанова старик в толстых роговых очках.

— Пожалуйста.

— Благодарю вас. Вы по делу или слушать?

— Это как?

— Любопытствуете или у самого неприятности?

— А вы?

— Я, изволите ли видеть, укрепляю институт судебной гласности. Слушаю и реагирую. Судье важно видеть реакцию зала. У нас утеряна прелесть реакции зала на происходящее в судебном заседании.

— Вы на пенсии?

— Да.

— Бывают интересные дела?

— Неинтересных дел нет. Каждое интересно, только если судья сумеет достигнуть подлеца, вывернуть его, расплющить...

Степанов достал блокнот и записал: «Важно суметь вывернуть подлеца и расплющить».

— Не из «вечерки», случаем?

— Нет.

— Скучны у нас судебные отчеты, как морковный пюрей.

Степанов снова вытащил книжечку и записал: «Старая сволочь, говорит не «пюре», а «пюрей».

— А по прежней профессии вы кто? — спросил Степанов.

— Повар.

— Повар?

— Да, изволите ли видеть. Повар, с вашего позволения. Кормил прежних, а после ублажал вегетарианцев нарпита. Так вы с неприятностями?

— Папаша, — сказал Степанов, — вам лучше на печке со старухой сидеть...

Повар поднял пегие, торчащие вперед брови и тоскливо ответил:

— Старуха-то померла. Вот и грущу. А молодую брать — опасно, жилплощадь высудит.

Степанову стало мучительно стыдно: и за то, что он так грубо сказал старику, и за то, что в своей книжечке написал «старая сволочь».

«Скорее-то сволочь — я, — отметил он про себя, — и не старая. А это значительно хуже».

В институте было полно студентов. На первом этаже метались «режиссеры» — сегодня они сдавали этюды. На втором этаже в комнате номер «13» сидел Немировский — преподаватель по классу фехтования и сценического боя. По коридору, мимо комнаты «13» ходили актеры второго курса и зубрили диамат.

— Сиди здесь, — сказал Никита Дунечке, — вот на этом стуле, и никуда не ходи.

— Нет, — ответила Дунечка, — мне страшно одной. Они вон какие волосатые.

— Это студенты. Перед экзаменами не стригутся, поняла? Сиди тут и не рыпайся.

Никита пошел к двери. Дунечка, побледнев от волнения, пошла за ним следом.

— Дуня, — сказал Никита, — я что сказал?

— Я тогда с тобой играть никогда не буду, — сказала Дунечка дрожащим голосом. Она так всех пугала дома. Если ее наказывал отец или зазря ругала мать, она начинала дышать носом, раздувала свои круглые ноздряшки и говорила: «Ну ладно, я тебе больше никогда ничего не нарисую».

Зачем вы стареете, люди? Зачем вы делаетесь разумными, взрослыми? Зачем вы не пугаете друг друга тем, что «больше никогда ничего не нарисуете»?

Никита вошел в тринадцатую комнату и сказал:

— Здравствуйте, Аркадий Борисович.

Напротив Немировского, высокого, тонкого, чертовски элегантного и седого, стоял напарник Никиты Коля Курчаев.

— Здравствуй, друг мой. Ну, готов? — спросил он блестяще поставленным голосом. — Что будем показывать?

— С-сцену драки, — сказал Коля. Он всегда заикался перед тем, как начинал «работать» этюд.

— Я понимаю, что не объяснение в любви: нежность не по моей части.

Немировский уже тридцать лет ставил драки и фехтовальные бои во всех московских театрах.

Никита повесил на спинку стула куртку и отошел к стене, туда, где был разостлан серый продырявившийся мат. На нем дрались двадцать поколений артистов. На этом мате дрались все — заслуженные и народные, лауреаты, «звезды» и те, которые так и состарились на роли «кушать подано».

— Давай, — шепнул Никита.

Коля кивнул и сделал шаг к Никите. В это время открылась дверь, и в комнату вошла Дунечка.

— Никита, — сказала она драматическим шепотом,— поди-ка.

— В чем дело? — спросил Немировский. Он обернулся, увидел Дунечку и спросил: — А это кто к нам пришел?

— Это племянница, — сказал Никита. — Что тебе, Дуня?

— Пи-пи хочется, — прошептала Дунечка.

— Привет! А ка-ка нет?

— Пока нет.

— Что хочет младенец? — спросил Немировский. — Что вы шепчетесь?

— Потерпи, — сказал Никита шепотом, — видишь, я занят.

— Мама мне не велит терпеть.

— Аркадий Борисович, на минуту, — сказал Никита, — возникла проблема «пи-пи».

Они вышли из тринадцатой комнаты, и Никита повел Дунечку в уборную.

— Зачем ты сказал им про «пи-пи»? — обиженно спросила Дунечка. — Как только не стыдно? Я ведь шепотом тебе сказала...

— Поворчи мне, поворчи. Да, а в какую тебя вести? Привет! Не в дамскую же.

— А в какую же еще? Я ведь девочка.

— А я мальчик.

— Ну и что? Ты ведь со мной идешь.

— Быть тебе Гегелем, — сказал Никита.

Он подошел к мужской уборной и, открыв дверь, крикнул:

— Есть тут кто?

— Конечно, — ответили ему.

— На выход! И постой у двери, я с племянницей иду.

— С кем?

Из уборной выскочил актер с четвертого курса, Романов.

— И чья это маленькая девочка, крошечная девочка?! — засюсюкал он.

— Не ваша, — ответила Дуня и пошла в открытую дверь первой.

— Ну, — спросил Немировский Никиту, — проблема изжила себя?

— Да, извините.

— Н-начали, — заикнулся Коля Курчаев.

Никита бросился на Колю, тот увернулся, чуть коснувшись Никиты бедром, ухватил его за кисть левой руки и перебросил через себя.

— Ритм, ритм! — крикнул Немировский. — Долго! Тянете!

Никита бросился на Колю и обхватил его за шею.

— Стоп! — крикнул Немировский. — Драка! Пьяная драка! Снова!

Дунечка вошла в комнату незамеченной и замерла у двери.

Никита выбросил вперед правую руку: Коля поймал ее и снова швырнул Никиту через себя. Дунечка сорвалась с места и стала молотить Колю кулачками.

— Противный, противный! — закричала она.

Немировский сказал:

— Девочка, дяди шутят.

— Мы так играем, Дуня, — сказал Никита.

— Р-ребенок все испортил, — заикнулся Коля, —сейчас вышло бы хорошо, я ч-чувствовал.

— Дуня, — сказал Никита, — Аркадий Борисович влепит нам по двойке, и мы останемся без стипендии, поняла? Можешь посидеть спокойно или нет?

— Нет, — ответила Дуня, — там ко мне пристают хулиганы.

— А где родители? — спросил Немировский.

— Выясняют отношения.

— Пойдем, — сказала Дунечка и потянула Никиту за палец.

— Ладно, — сказал Немировский. — Кто там следующие, пусть войдут.

Он поставил Никите зачет и подмигнул Дунечке.

— А вы разными глазами умеете? — спросила Дуня. — Сначала одним, потом другим? Я умею.

— Ну-ка.

Дуня заморгала глазами:

— Вот так. Понимаете?

— Понимаю.

— Это меня мама научила.

— А не рано?

— Что?

— Моргать научила не рано?

— Ну что вы... — улыбнулась Дунечка, — надо всему учиться, пока маленькая. Так моя бабушка говорит.

Немировский захохотал, откинув седую красивую голову.

— У вас занятная племянница, — сказал он, — идите развлекайтесь, Никита.

— Против состава суда возражений нет? — спросила женщина в черном костюме с серебряным ромбом на лацкане.

— Нет, — ответил Степанов.

— А у вас? Гражданка Степанова, у вас нет возражений против состава суда?

— Ну что вы...

— Дело возбуждает Степанова?

— Да.

— Изложите причины.

— А можно без причин? — спросила Надя. — Просто можно развестись? Причины касаются только нас двоих.

— Развод разрешаем мы, гражданка Степанова. Или не разрешаем. Ясно? Давайте по существу вопроса.

В зале никого не было. Только судья, два заседателя

и секретарь — восемнадцатилетняя девушка в красных чулках, с ярко подведенными глазами. Она внимательно — снизу вверх — рассматривала Надю. Потом, почистив кончиком деревянной ручки длинные ногти, стала так же внимательно, но в то же время безразлично разглядывать Степанова. Сзади скрипнула дверь. Степанов обернулся и увидел повара. Старик сел на первую скамью и, положив ногу на ногу, молча раскланялся с составом суда.

— Подать на развод, — допытывалась судья, — вас побудила его связь с другой женщиной?

Надя молчала.

— Отвечайте суду, — строго сказала председательствующая. — Что же вы молчите?

— Мне кажется, что все это очень личное, — ответила Надя и обернулась к Степанову, словно ища у него помощи: так бывало всегда — если ей становилось плохо и не он был в этом виноват, она смотрела на него, ожидая помощи. Но Степанов молчал и рассматривал паркет, выкрашенный в красный цвет. Почувствовав на себе ее взгляд, он поднял голову, долго глядел на нее, а потом усмехнулся.

Никита сказал:

— Дуня, сейчас я пойду на халтуру, поняла?

— Поняла.

— И не вздумай мне мешать.

— А что такое «халтура»?

— Это союзница актера в решении денежной проблемы. Ясно?

В бюро пропусков Дома звукозаписи долго не хотели записывать Дуню в пропуск, заказанный для Никиты. Никита был занят в радиоспектакле для детей. Он играл Кота.

— Если ты будешь сидеть тихо, — сказал он, — я тебе устрою сюрприз.

— На какую букву?

— На букву «и».

— Ириска? — быстро спросила Дунечка.

— Угадала.

Они вошли в лифт и поехали на пятый этаж.

Режиссер, большая женщина в туго обтягивавшем ее платье, сказала:

— Вы заставляете себя ждать.

— Больше не буду, — ответил Никита, улыбаясь своей улыбкой номер один. — А где Лиса?

— Лиса беременна, ушла на прием к врачу, — ответила режиссер.

— А что такое «Лиса беременна»? — спросила Дуня.

— Боже мой, кто это, Никита? — спросила режиссер.

— Племенница.

— Какая прелесть! Дивные глаза.

— «Дивно пахнет резеда», — пропел Никита дурным голосом слова из песенки. — «Дивные глаза», — повторил он. — Слышишь, племянница?

— А как тебя зовут, душечка маленькая?

— Дуня.

— Как? Муня?

— Дуня.

— Какое дивное имя! А сколько тебе годиков, кисонька?

— Мне шесть лет. И восемь с половиной месяцев.

— Сейчас мы возьмем с собой Дуню, и она будет смотреть, как мы работаем.

— Поблагодари тетю, — сказал Никита.

— Спасибо.

— Какая дивная девчушка, обожаю детей. Дуня, а ты любишь слушать радио?

— Люблю.

— И детские передачи любишь? — допытывалась режиссер, пока они шли по коридорам к студии, где должна была проходить запись сказки на пленку.

— Очень.

— А братик у тебя есть?

— Они все обещали, обещали... Нет у меня братика. Только двоюродный.

— Ты с ним дружишь?

— Дружу, но он сумасшедший.

Режиссер зашлась смехом.

— Почему сумасшедший? — спросила она.

— А потому что он спит на корточках.

— Боже, какой ребенок! — сказала режиссер. — Она прелестна.

— А далеко еще до халтуры? — спросила Дунечка Никиту.

— Что? — не поняла режиссер. — Что ты спросила, маленькая душенька?

Никита сжал руку племянницы, и Дуня вскрикнула:

— Больно!

— А вон там, за дверью, живет лев, — сказал Никита, — он поедает болтушек, поняла?

— А дверь заперта?

— Пока заперта, но если будешь болтать, открою.

— А меня он съест?

— А что — чикаться, что ли, с тобой? Ам — и с приветом!

— А я у него живот саблей разрежу и убегу.

— А у тебя сабли нет.

— А я куплю.

— А у тебя денег нет.

— А я сначала куплю деньги, а потом на них куплю саблю.

— А где ты купишь деньги?

— Как где? — удивилась Дунечка. — У папы.

— Сейчас мы вас догоним, — сказал Никита режиссеру, — у Дунечки ботинок расшнуровался.

— Что ты, Никиток, — сказала Дунечка, — совсем даже не расшнуровался.

— Это ты не чувствуешь. Ну-ка, стой.

Режиссер медленно пошла вперед, а Никита, опустившись перед Дунечкой на колени, прошипел:

— Молчи о халтуре, поняла?!

— Почему?

— По кочану. Много будешь знать — рано состаришься.

— А почему говорят «по кочану», а не «по кочерыжке»?

— Евдокия, хватит! Поняла? У меня голова стала распухать. Пошли.

Никита завязал Дуне новый узел на ботинке, и они побежали следом за режиссером.

— У вас были связи? — судья обратилась к Степанову.

— Какие?

— Интимные.

— Что вы понимаете под словом «интимные»?

— Вы не ребенок. Отвечайте по существу.

Если художник смолоду добьется успеха, то он до конца жизни своей остается ребенком — во всех проявлениях, и его будет принимать именно таким та женщина, которая его полюбит. Настоящий художник останет-

ся и в зрелости одержим чувствами неистовыми и моментальными.

Если же путь к признанию был труден и сложен, тогда женщина, которая прошла с художником этот путь, привыкает к тому, что он делается постепенно многоопытным и мудрым, и не хочет ничего прощать, и перестает видеть в нем ребенка. И тогда в какой-то напряженный миг неудачных поисков отчаяние захлестывает его, ищет себе выхода — яростного, бессмысленного и неразборчивого...

— Нет, — ответил Степанов после долгой паузы, — интимных связей у меня не было.

— Почему вы делаете такое многозначительное ударение на слове «интимные»?

— Потому что я отвечаю на ваш вопрос по существу.

— Ну хорошо, а просто связи у вас были?

— Это к нашему вопросу отношения не имеет, насколько я мог понять из заявления, написанного моей женой. Это касается нас с женой, а вернее, это касается одного только меня.

— Почему вы так думаете? Разрушая семью, вы наносите вред не только вам и вашим близким, но и обществу.

— Этого у Энгельса не было, — хмыкнул Степанов.

— Вы что, шутки сюда пришли шутить? — спросила судья.

— Кот, Кот! — крикнула режиссер в микрофон. — Больше экспрессии, не бойтесь мяукнуть так, чтобы детям стало страшно. Вы хищник, вы злодей. Ну-ка, снова.

— Мяу! — заорал Никита. — Мя-а-ау!

— Вот теперь хорошо! — обрадовалась режиссер.

— Так коты не кричат, — сказала Дунечка громким шепотом. — Так никто не кричит вообще.

Она сидела на стуле в углу комнаты, возле окна, и смотрела, как актеры репетировали сказку.

— Тихо! — сказала режиссер. — Тише, девочка, ты мешаешь тетям и дядям. Снова!

— Мяу! Мя-а-ау! — снова заорал Никита. — Ряба, сейчас я потаскаю всех твоих цыплят!

— Цыпляточек! — крикнула режиссер. — Не цыплят, а цыпляточек! Мы пишем на детей!

— Мы сюсюкаем на детей! — буркнул Никита под нос.

— Продолжаем!

— Мя-у! Я съем твоих цыплятоček! — проревел Никита.

— Кот! — крикнула пожилая актриса, игравшая роль Воробья. — Все птицы просят тебя только об одном...

— Стоп! — сказала режиссер. — Шумы! Приготовьте ветер! Нужно ощущение тревоги.

Включили рев ветра. Это был страшный, пронзительный ветер — зимний, записанный где-то в лесу, потому что было слышно, как скрежетали стволы деревьев.

— Дальше! Кот!

— Я не хочу слышать ваших просьб! — взревел Никита.

— Не верю! Не чувствую! Мало злобы! — крикнула режиссер и от волнения топнула каблуком.

— А я больше радио слушать не буду, — сказала Дунечка тихо.

— Что? Что? — спросила режиссер и, не дожидаясь ответа, крикнула: — Никита, я подыграю вам за Лису. «Котик, а скажи-ка мне, где удобней пролезть в сарай!» Ну, Кот, отвечайте.

— Молчи, Никита, — сказала Дунечка, — такие лисы не бывают. Уродина какая-то.

Режиссер засмеялась деревянным смехом и сказала:

— Непосредственность этого экспоната обворожительна.

— Это не экспонат, — сказал Никита, — давайте мяукать дальше.

— Почему такая нервозность?

— Потому что мы делаем все не так.

— Вы так считаете?

— Иначе бы не говорил.

— Садитесь на мое место и ставьте спектакль.

— Радиоспектакль, — поправил Никита. — Мы мяукаем как крокодилы и лаем как львы. У нас все получается плохо, понимаете? Вы на Дуню посмотрите. Она должна сидеть с раскрытым ртом, а она смотрит в окно, когда мы мяукаем. Вы так же мяукали, когда мне было три года, это скучно, а искусство не может быть скучным.

— Эту дискуссию мы продолжим после репетиции. Прошу вступать цыпленка.

Старый лысый актер в парусиновой куртке крикнул:

— Мамочка, мне страшно!

Голос у него был тоненький, писклявый, и Дунечка

засмеялась. И Никита, не выдержав, тоже засмеялся. Старый лысый актер вздохнул, достал из потертого дерматинового портфеля леденец и дал его Дунечке. Никита смутился:

— Василий Васильевич, простите...

— Э, — махнул рукой старый лысый актер, — э, чего там.

— Девочка, — сказала режиссер, — пожалуйста, сиди тихо и не мешай дядям и тетям.

— А тут только один дядя, Никита. Больше нет.

— Весь диалог с цыпленком, заново!

— Мамочка, мне страшно, — пропищал лысый актер тонким голосом и обернулся к Никите.

Никита колыхался на стуле от сдерживаемого смеха.

— Мяу, — прохрипел он, — ты почему ушел из дому, а?

— Я — Лиса! Цып-цып-цып, — проиграла режиссер, — цыпленок, иди сюда.

— Не ходи, не ходи, — крикнула Дунечка, — это не лиса совсем даже.

Режиссер резко поднялась со стула:

— Товарищ Андреев, успокойте ребенка и объясните ему, как себя надо вести.

Никита вывел Дунечку из комнаты:

— Ты понимаешь, что такое десять рублей?

— Нет. Кукла сколько стоит?

— Кукла? Не знаю, сколько стоит кукла. А рубашка стоить семь рублей и пол-литра — три. Сиди и молчи, даже если смешно.

— А ты почему смеешься?

— Почему? По кочерыжке, вот почему.

Дунечку очень рассмешило это Никитино «по кочерыжке». Она долго смеялась, а потом вдруг грустно сказала:

— Никит, а мне потанцевать захотелось.

В первый раз у них случилась ссора уже после рождения Дунечки. Это была настоящая, обидная для обоих ссора. Он только что прилетел из командировки: ходил с двумя геологами в маршрут по Сибири. Маршрут был трудный, через тайгу, по нехоженым местам. Они потеряли тропу и вместо недели проплутали полмесяца. Их чудом нашли охотники — они уже начали доходить без еды и огня. Отлежав пять дней в госпитале, он прилетел в Москву, но дома обо всем этом говорить не

стал — зачем пугать? Вся его жизнь состояла из таких или почти таких командировок, а это безжалостно — считал он, — если дома будут знать, как и где ему приходится мотаться. Поэтому он со своими товарищами по маршруту встретился на холостяцкой квартире — отметить возвращение домой. Она приревновала его, потому что вернулся под утро: он был с друзьями и пил за нее там и говорил о ней мужчинам нежные, бессвязные слова: нет ничего обидней в любви, чем беспричинная ревность. От женщины в семье зависит все — спокойствие, счастье, уверенность. Уже после Степанов пытался думать об этой первой вспышке яростной, слепой, беспричинной ревности — обидной и жестокой, неуважительной к нему. Он подумал тогда, что это, возможно, приходит с рождением ребенка, когда женщина — скорее даже инстинктивно — стремится оберегать от всего постороннего ту семью, которая создалась. Но, увы, чем отчаянней женщина защищает семью, тем стремительней она разрушается. Любовь принимает все: боль и голод, бесстыдство и одержимость. Она не принимает только одно — тиранию.

— Вы понимаете, — спросила судья Надю, — что, получив развод, вы поставите в трудное положение вашего ребенка? Отец только в том случае продолжает оставаться настоящим отцом, если он живет с ребенком под одной крышей. Вы отдаете себе в этом отчет?

Повар на первой скамейке многозначительно кашлянул и переложил ногу на ногу. Из-под брюк вылезли сиреневые кальсоны.

«Старики даже в летнюю жару носят кальсоны. Старость — это холод», — подумал Степанов.

Секретарь суда обмакнула перо в ученическую чернильницу, ожидая Надиного ответа.

«А может быть, такая отчаянная ревность идет от прекрасной поры молодости? Может быть, я еще не смог этого понять? — продолжал думать Степанов. — Может, я зря обижался? Может быть, женщина ревностью пытается возвратить те первые месяцы, когда ей говорят только о любви, о своей любви к ней. Или высшее проявление любви — это когда человека понимают, каков он есть? Любовь — это всепрощение? Или нет?

— Какой-то странный развод: ни тот, ни другой не говорят причин, побудивших их предпринять этот серь-

езный шаг, — сказала судья народному заседателю, сидевшему слева от нее.

Здесь привыкли к тому, чтобы на бракоразводных процессах обвиняли друг друга, плакали, говорили грубости. Тогда, среди этой откровенной душевной расхлыстанности, три человека, сидящие в дубовых креслах, пытались найти правого и виноватого, тогда им легче было принимать решение. А сейчас, когда приходилось клещами тянуть слова то из Степанова, то из Нади, они раздражались, считая поведение супругов несерьезным и — даже — неуважительным по отношению к составу суда.

У председательствующей недавно разводился сын. Он узнал про какую-то связь жены. Была она или не была — точно выяснить ему не удалось, но полгода в доме судьи жили, как в погребе. Она считала развод поступком аморальным и пыталась доказать это сыну, но он сказал ей:

— Мама, это тебе развод кажется аморальным, потому что ты живешь нравами уходящей эпохи.

— О какой эпохе ты говоришь? — спросила судья. — Я не совсем тебя понимаю.

Она, конечно, понимала его, понимала так, как ей казалось единственно возможным понимать двадцатитрехлетнего парня, танцующего твист и любящего на земле только одно — квантовую механику и ее философское обоснование.

— Нет, мама, — он обнял ее, — ты не так меня поняла. Я не ту эпоху и не те нравы имею в виду. Стендаль в одном из писем сестре говорил, что на земле нравы меняются через каждые пятьдесят лет. Понимаешь? Так было всегда, и я не хочу обидеть тебя. Тем более что в твоей эпохе надо еще очень серьезно разбираться, прежде чем вывести единственно правильное отношение к ней.

— Ты ужасно зарос и выглядишь неопрятно.

— Это сейчас модно.

— Когда ты пошел на мехмат, я так гордилась тобой, я думала, что тебя, математика, не будет касаться вся эта сегодняшняя грязь с дудочками, буги-вуги и прочей пошлостью.

— Нравы меняются, мама. Буги-вуги стали пошлостью, потому что устарели. Танец современных интеллектуалов, которым нам надо размяться после работы, — твист. Ты не смейся, мама, не смейся. Математика древ-

них вызывает у меня умиление, но в ней масса сентиментальной пошлятины. С этим ничего не поделаешь, как говорится: се ля ви...

«О смерти, которая грядет, и о времени, которое быстролетно, думают великие философы или писатели с искрой божьей. Остальные, принимая решения или отдавая приказы, считают, что смерть далеко, а время прекрасно. Стареющий человек видит себя своим внутренним зрением и сам себе кажется милым, добрым и очень многоопытным. Его трагедия заключается в том, что он себя видит в пору своего расцвета. Поэтому он считает себя вправе, более того, он считает себя обязанным давать советы и быть арбитром во всех возникающих спорах. Одна беда: такой стареющий человек не отдает себе отчета в том, что решение, которое в подобной ситуации он принимал тридцать лет назад, в пору своей молодости, не может быть автоматически принято сейчас, потому что всех нас несет вперед время, которое следует осмысливать каждый день заново», — успел записать Степанов в своей книжечке и засунул ее подальше в карман, чтобы не было искушения достать ее еще раз...

...Вспоминая сына и его жену, стараясь разобраться в том, где же правда, судья поэтому с особенной тщательностью относилась к бракоразводным процессам, и на те вопросы, на которые сын не отвечал ей, а смеялся или дерзил, она хотела получить ответы сейчас, здесь, в этом зале, где никто не имеет права засмеяться или дерзко ответить.

— Таким образом, я не получила обстоятельного ответа, понимают ли супруги до конца то, в каком положении окажется их семилетняя дочь. Девочка придет в школу, и ее спросят: «А где твой папа?» Что она ответит на этот вопрос? Вы подумали о душе ребенка?

— Послушайте, — сказала Надя, — ну послушайте же: не надо так говорить, это ведь безжалостно так говорить мне.

— Я говорю это не только вам, я также говорю это и супругу...

— Гражданин судья, — сказал Степанов, — а не кажется ли вам, что бестактно говорить об этом людям, которые ребенка родили, вынянчили и вырастили? Как бы вы отнеслись к тому, если бы я стал поучать вас и корректировать ваши отношения с детьми?

— Не забывайтесь! Вы находитесь в суде!

— Я помню об этом и не забываюсь. Если уж надо приходить в суд, чтобы расторгать любовь, то не следует все же быть такой жестокой, ей-богу...

Никита шел с Дунечкой по Садовому кольцу. Он вдрызг разругался с радиорежиссером и ушел с репетиции. В кармане у него были только те деньги, которые он одолжил у Степанова. А вечером он договорился увидеться с Аней и вместе пойти куда-нибудь посидеть.

— Давай позвоним — может, пришли твои родители, — сказал Никита, — а то ты мне уж порядком поднадоела.

— А ты мне совсем не надоел.

Они зашли в автомат, и Никита набрал номер. Он долго прислушивался к длинным безразличным гудкам, потом повесил трубку, легонько стукнул по зеленому ящику телефона и получил назад две копейки.

— Копейка, — сказал он поучительно, — рубль бережет.

— Как часовой?

— Да.

— А у копейки есть ружье?

— Бомба. Теперь едем на Разгуляй.

Дуня долго смеялась, повторяя: «Разгуляй, разгуляй, сиди дома, не гуляй!»

— Вот дуреха, — сказал Никита. — Разгуляй — это улица, понимаешь? А на этой улице — институт. А в институте — Гранатиков.

— Вовка?

— Да.

— Который танцует?

— Да.

— А зачем ему учиться, если он умеет танцевать?

— Жизнь диктует свои жестокие законы. Едем.

Гранатиков завалил два экзамена, и его сняли со стипендии.

Гранатикова надо было выручать. Выручать его взялся, как всегда, Никита. В два часа Никиту должен был ждать на Разгуляе Гранатиков, набитый шпаргалками, и Леха — с тремя фотоаппаратами.

Дуня с Никитой опоздали на четверть часа. Гранатиков ходил возле института с пылающими ушами и растерянным лицом.

— Ну, — сказал Никита, — что грустишь, строитель?! Как говорил «творец нашего счастья», мы «и засуху победим», только спокойней. Леха, побудь с Дунькой.

— Здорово, — сказал Леха Дунечке, — как дела, старуха?

— Хорошо, — ответила Дунечка, смутившись. Она была уже давно влюблена в Леху. Среди Никитиных друзей он казался ей самым красивым.

Никита сказал:

— Дуня, от Лехи ни на шаг — поняла?

— Поняла.

— Леха, смотри за ней.

— Давай, давай, — лениво сказал Леха, зевнув, — топайте, там профессор икру мечет.

Когда Никита и Гранатиков ушли, Леха спросил:

— Мороженого небось хочешь, старуха?

Дунечка сделала Лехе глазки и неопределенно засмеялась.

...Гранатиков сел за последний стол. Уши у него были синего цвета. Глаза округлились, а губы сделались белыми. Профессор расхаживал по аудитории злой как черт. Ему надоели эти пересдачи, они отрывали его от работы над учебником. Поэтому он, как правило, ставил всем тройки.

Отворилась дверь, и в аудиторию вошел Никита, увешанный фотоаппаратами.

— Что вам? — спросил профессор. — В каком вы виде? Вам здесь не парк культуры.

— Я из газеты, — сказал Никита, — семь тысяч извинений.

И он показал издали красную книжку, в которой значилось, что Леха является лаборантом в фотоцехе редакции.

Профессор кашлянул и пошел навстречу Никите.

— Здравствуйте, — сказал он, — простите, я не сразу понял. У нас такие горячие дни.

— Я делаю репортаж о студенческих экзаменах, — сказал Никита, лихо прилаживая объектив, с которым он не умел обращаться. — Посоветовали познакомиться с вашим курсом, говорят, хорошие ребята.

— Да, есть способные люди.

— Пожалуйста, сядьте к столу, — попросил Никита, — хорошо бы вам в руки логарифмическую линеечку.

Нет? Ну, ничего, возьмите перо, только повернитесь, пожалуйста, к окну — там больше света. Левее. Нет, правей! Голову выше.

Профессор повернулся к окну. Никита искоса поглядел на Гранатикова. Тот кивнул и положил перед собой шпаргалку.

Никита сделал несколько снимков на пустую кассету.

— Четко, — сказал он. — Теперь позвольте мне сделать несколько снимков студентов.

— Да, да, прошу, — сказал профессор, подумав: «Забелин с кафедры сопромата взъярится, увидев меня в газете. Он болезненно честолюбив. А у меня, по-моему, воротничок мятый».

Профессор потрогал свой воротничок, поправил галстук и сказал ласковым голосом:

— Ну, друзья мои, кто решится на подвиг первым?

Студенты молчали.

Никита попросил профессора:

— Позвольте поработать во-он над тем типажем. Он фотогеничен и производит впечатление думающего человека.

— Гранатиков? — ужаснулся профессор.

— Я не знаю, — ответил Никита. — Гранатиков или Пулеметиков. Вон тот, с ушами.

— Ну... Пожалуйста... Если он кажется вам фотогеничным.

— Идите к доске, — сказал Никита Гранатикову.

— Я еще не совсем...

— Идите, идите, — сказал Никита. — Быстренько!

Гранатиков подошел к доске и начал отвечать сдавленным голосом. Никита попросил профессора стать рядом со студентом и защелкал камерой.

— Так... Хорошо. Теперь ставьте ему оценку, — сказал Никита, — а то я не успею в номер газеты. За стол садитесь, за стол.

— Да, но он еще не ответил...

— Потом доспросите, — сказал Никита, — потом...

Профессор поставил Гранатикову «хорошо», Никита достал блокнот и записал фамилию профессора.

— Значит, пойдет подтекстовочка: «Студент третьего курса Гранатиков сдал на «хорошо» экзамен профессору Пинчуку. Фото Бальтерманца».

— Вы тот самый Бальтерманц? — удивился профессор. — Я помню довоенные фотографии Бальтерманца. Вы... э... э...

Никита на мгновение похолодел, потому что фамилию Бальтерманца выпалил экспромтом, не продумав заранее.

— Нет, — сказал он, — я не тот Бальтерманц, собственно, я тот Бальтерманц, но только сын. Ну, всего хорошего, простите, что помешал.

Гранатиков тоже поднялся, схватил свою зачетку и, что-то пробормотав, выскочил из аудитории первым.

— Какой-то странный, — сказал Никита. — Что с ним?

Профессор проводил Никиту до двери и улыбнулся:

— Вы невольно помогли этому лоботрясу, но пусть это будет нашим секретом. Фотогеничность в вашем деле прежде всего. Когда выйдет номер?

— Завтра, — сказал Никита, — покупайте в киоске.

...Судья продолжала допрашивать Надю, а Степанов видел то утро в Каирском аэропорту, и красный песчаный буран, когда ветер срывал серебристые дюралевые жалюзи с окон, и прижатые к земле пальмы с растрепанными, жалкими иглами — будто простоволосые бабы в неутешном горе.

Степанов шел через буран к самолету — это был первый, пробный рейс, после того как Албания запретила русским посадку в Тиране, — и ветер рвал его пиджак, песок застревал в волосах, скрипел во рту. В самолете было пусто, поэтому Степанов сел в первый салон. Когда заревели турбины ИЛа, из кабины пилотов вышел бортинженер-наставник и сел на самое первое кресло, перед Степановым. Самолет стал разбегаться по взлетной полосе. Он очень долго разбегался, все в салоне стало мелко-мелко подзенькивать. Он разбегался, но никак не мог оторваться от земли, а вокруг был красный песчаный туман. Степанов заметил, как на виске сидевшего впереди него наставника из пор кожи, как в кино, стали появляться капли пота. Сначала мелкие, потом они сливались одна с другой и медленно катились по виску. Пилоты прибавили обороты, рев двигателей сделался невозможным, душераздирающим. Наставник взялся пальцами за ручку сиденья, и Степанов заметил, как он выставил вперед ногу и стал упираться ею в стену пилотской кабины, а сам подался назад, словно желая вдавиться в кресло. Степанов вспомнил шведского летчика. Неделю назад он летел с ним в Багдад. Швед расска-

зывал, как была записана на пленку катастрофа на «боинге». Связь с гибнущим самолетом поддерживали до последней секунды, до тугого взрыва и темной тишины потом. Пока самолет падал, летчики передавали, что происходит с крыльями, фюзеляжем, и было слышно, как иногда, если самолет переворачивало в воздухе и распахивались двери в салон, — было слышно, как истошно кричали люди — дети, женщины, мужчины. Самолет падал с высоты девяти километров пять минут. И все эти пять минут смогли записать на пленку, это был верх удачи: потом эксперты проигрывали эту пленку по нескольку десятков раз, словно любители джаза, стараясь понять причину катастрофы.

Степанов тоже вцепился холодными пальцами в ручку кресла, и по его лицу так же текли капли холодного пота. А после, как в кино, понеслись, запрыгали перед глазами кадры: Надя и Дунечка, Дунечка и Надя, Надя, Дунечка, Дунечка, Дунечка...

Надя как-то говорила ему:

— Самое страшное, если мужчина продолжает жить с нелюбимой женщиной из чувства долга. Это оскорбительно для обоих, а дети все равно будут рождаться плохими, а потом станут несчастными.

Только много дней спустя, уже прилетев в Москву, уже после того, как он успел в суматохе дел забыть тот миг, когда моторы замолчали (или он оглох), и самолет стал уходить в небо, и летел над островом Крит — куском коричневой скалы — земли в сиреневом море, — уже после всего этого Степанов вспомнил, что ему «показывали» в те доли секунды.

«Все ерунда, — сказал он себе, неожиданно вспомнив эти Надины слова. — Долг и любовь неотделимы. Не может быть долга без любви, как и любви без долга».

Но он тогда не сказал этого Наде; пробовал писать; не получилось; видимо, еще не наболело. Получается, если только наболело. Иначе: грамматические упражнения и описательство. Оно никому не нужно, это описательство. Кого сейчас волнует описание серебристого елового леса в заснеженном Подмосковье? Сейчас волнует не описание поступка, но его анализ. Как сказано у Межирова: «Пробуждение совести — тема для романа».

А судья все продолжала допрашивать Надю про то, как Степанов обеспечивал семью, не пил ли и как у него в роду с наследственностью...

— Хочешь, пойдем в зоопарк? — сказал Никита.

Дунечка запрыгала на одной ножке. Глаза ее засветились и стали, как у Нади, круглыми.

— А потом? — спросила Дунечка.

— А потом суп с котом.

— С тобой?

— Почему же со мной?

— Ты же кот. Цып-цып, — передразнила Дунечка лысого актера, — мамочка, меня котик хочет съесть.

— Дуньк, ты Аню помнишь?

— Такая волосатая?

— Сама ты волосатая.

— Помню. Она со мной играла в дочки-матери.

— Как она тебе?

— Красивая. Я люблю женщин на каблучках.

В зоопарке они пошли сначала в обезьянник. Дунечка долго молча рассматривала громадных самцов орангутангов, а потом спросила, смущенно отвернувшись:

— Никита, а что это у них болтается между ног?

Никита сел на пол. Служитель сказал:

— Гражданин, ведите себя прилично, звери волнуются.

— Никит, ну, правда, — повторила Дунечка.

— Дуня, — сказал Никита, — вот поступишь в школу, там все узнаешь, а теперь пойдем-ка смотреть тигров.

Они долго смотрели тигров, а после Дуня каталась на пони.

— Ну, понравилось? — спросил Никита.

— Очень. А папа с мамой все ругаются. Лучше бы на пони катались.

Никита посмотрел на часы: половина четвертого.

— Рубансон-гоглидзе хочешь?

— Хочу кирневич-валуа.

Они пили газированную воду, а вокруг них с визгом носились дети. Потом они присели на скамейку возле девушки, которая читала книгу. Она была какая-то насквозь чистая, в белом платьице и белых тапочках на упругих, спортивных ногах.

Никита несколько раз взглянул на девушку, кашлянув, спросил, подмигнув Дуне:

— Простите, мы вам не помешаем?

— Нет, пожалуйста.

— Интересная книга?

— Очень.

— Что-нибудь эпохальное?

— Да. Сказки Даля.

Никита засмеялся, и девушка поглядела на Никиту. Он снова кашлянул и сказал:

— А не пришла ли пора познакомиться? Меня зовут Никита.

— Очень приятно.

— Мне тоже. А вас?

— Наташа.

— Тоскуете?

Наташа закрыла книгу, посмотрела на Никиту и ответила:

— Временами.

— Сейчас тоже?

— Нет. Сейчас я не тоскую, сейчас я гуляю с сыном.

— «Белка», «Белка», я — «Свисток»: вас понял, перехожу на прием, — быстро ответил Никита. — А где дитя? Моя дочь может с ним поиграть.

— Саня! — крикнула Наташа. — Маленький!

Подбежал мальчик с длинными льняными волосами и, отдуваясь, стал возле матери, исподлобья разглядывая Дуню.

— Дуня, дай мальчику руку, — сказал Никита.

Дунечка послушно слезла со скамейки, подошла к мальчику и протянула ему руку лодочкой.

— Здравствуй, — сказала она, — меня зовут Дуня.

— Догони, — сказал мальчик, — кто быстрей.

— Погоди, какой ты быстрый, — рассудительно сказала Дуня, — а сколько тебе лет?

Никита и Наташа засмеялись.

— Кстати, вам сколько? — спросил Никита.

— Я старуха. Мне двадцать пять, — ответила Наташа. — А вам?

— Я мальчик. Мне семьдесят семь.

— Саша, — строго сказала Дунечка, — дай мне ручку, и пойдем гулять.

— Только пусть вас не съедят крокодилы, — попросил Никита.

— Я ему горло прокушу, — пообещал Саша, и они пошли по дорожке: Дуня — длинненькая, в полосатых штанишках и маленький пузатый Саша — в белом костюмчике.

— Ну? — сказал Никита и подвинулся к Наташе. — Итак?

— Сейчас вы спросите: не поколотит ли вас муж?

— Это серьезный вопрос, он меня тревожит.

— Что еще вас тревожит?

— Американский империализм и клика Мао Цзэдуна.

— Давайте я все облегчу — у меня нет мужа, так что можете начинать осаду.

— А что у вас глаза сиреневые?

— Потому что крашусь.

— С вами трудно говорить.

— Отчего?

— Вы не интригуете.

— А надо?

— Конечно.

— Это нетрудно. Только надо следить за нашим кинематографом, там даются готовые, идеологически выдержанные рецепты.

— А почему вы со мной так говорите?

— Наверное, потому, что мне приятно говорить с вами.

— Да?

— Да.

— Черт возьми!

— Черта нет. И Бога нет, никого нет. Саша! Саня! Дуня!

— Вы запомнили, как зовут мою пл... дочку?

— Пл-дочку? Конечно, я сразу запоминаю имена детей.

— Вы понимаете, что такое брак? — строго спросила судья Степанова.

— Брак — это затянувшийся диалог. В идеале, конечно.

— Что?!

— Так говорил один парень, который рано умер.

— Брак — это не диалог, а союз любящих сердец, — сказала судья, — и вы его своим поведением разрушили.

Степанов увидел зимнее, тревожное Черное море, пустой белый пароход, который разрушал острым белым носом тугое единение воды, пустой ресторан, в котором официантки возле большого иллюминатора резались в дурака, и заснувшую за стойкой громадную буфетчицу.

Степанов сидел под большим плакатом, приглашавшим на английском языке туристов совершить прогулку по Черному морю. Степанов сидел и пил. Он перестал пьянеть оттого, что был весь в будущем, в той работе, которую начинал. На палубе грузинка ссорилась с молодым мужем в ярком синем джемпере, надетом под старый

ватник. Мужа ждали два товарища — такие же молодые парни, только один в красном свитере под ватником, а другой в легонькой тенниске. Дул бриз, и было холодно. Парни хотели войти в ресторан, а жена того, в синем джемпере, держала его за руку и что-то говорила — быстро и просительно. Парни пересмеивались, муж грузинки играл желваками, слушая жену. Он слушал ее, презрительно отвернувшись.

— Пойдем, слушай, — сказал тот, что в тенниске, по-русски, — сколько можно, а?

— Видишь, психует, — ответил муж тоже по-русски.

Грузинка стала говорить еще быстрее, но уже не просительно, а зло, со слезами в голосе. Муж стряхнул ее руку и пошел в ресторан. Следом за ним двинулись его друзья.

— Вано! — пронзительно крикнула женщина.

Ее муж только досадливо махнул рукой и распахнул дверь ресторана. Женщина, заплакав, бросилась бежать по палубе.

— Топиться будет, — сказал парень в тенниске. — Сумасшедшая.

Парни сели за столик и заказали себе шампанское. Они очень красиво и достойно выпили его, и Степанов долго ждал, когда же они начнут пить водку, но они заказали себе еще бутылку шампанского и пили из фужеров маленькими глоточками. Муж грузинки сначала был оживлен, что-то рассказывал своим товарищам, потом приумолк, стал оглядываться по сторонам и вдруг, отбросив стул, быстро вышел из ресторана. Официантки по-прежнему резались в дурака. Буфетчица дремала. В холодном небе летали хищные, жирные, неестественно белые чайки.

— Дура, мучает Вано, — сказал парень в тенниске.

— Это они так любят, — сказал парень в красном свитере.

— Пропади пропадом такая любовь.

— Они всё волнуются.

— Чего волноваться, слушай? Не ворует ведь? Культурно пьет, с друзьями пьет, не с жуликами!

Муж вернулся через пять минут, бледный, с подергивающимся ртом, и сказал:

— Нигде нет, пошли искать.

— Куда денется, слушай?

— Пошли, у меня сердце болит.

Парень в тенниске презрительно рассмеялся:

— Иди, слушай, и ищи, если тебе делать нечего. Мужчина называется.

— Пошли, — сказал парень в красном джемпере, и они ушли вдвоем.

Степанов выпил водки и спросил парня:

— Ругу рахар, генацвале?*

— Э, — пожал тот плечами, — плохо поживаем, сам видишь. Все с ума посходили. Вместо радости, слушай, пытку делают.

В ресторан вернулся парень в красном свитере:

— Воркуют под лестницей.

— Добилась своего.

— Ну и пускай.

— Конечно, пускай, что я, против? — сказал парень в тенниске. — Мне от этого ни холодно ни жарко, его только жаль. Какой мужчина, слушай, позволяет на себе лезгинку танцевать?

— У них же дети...

— Что дети, слушай? При чем здесь дети? Что они — линия Мажино — дети? Они радость, дети, а не пытка!

К парням подошла официантка, игриво оперлась локтями о край стола так, чтобы была видна ее грудь, и сказала:

— А что кушать будем, мальчики? Может, икорки под водочку?

— Вы извините, — сказал парень в тенниске, — если надо будет кушать, мы вам закажем.

Официантка обиженно передернула плечиками и отошла.

— Одни психопатки, — тихо сказал парень в тенниске, — другие проститутки. Что делать, а?

...В Ялте Степанов поселился в Доме творчества, совершенно безлюдном в ту пору. Там жили четверо писателей: Анатолий Кузнецов, Виктор Некрасов, Георгий Семенов и Лазарь Карелин. Все они помногу работали, а вечером уходили вниз, в город, и там слушали в шумном ресторанчике краснолицего толстого венгра, который играл на скрипке и хрипло пел в микрофон еврейские и цыганские песни. В зале, прокуренном и увешанном бумажными гирляндами, сидели рыбаки, моряки и девушки с высокими начесами.

Скрипач высматривал себе жертву. Это обычно был моряк, пришедший с корабля в короткую минуту стоян-

---

* Как поживаешь, друг? *(груз.)*

ки, с двумя девушками — как правило, именно с двумя. Он попеременно танцевал с ними и каждую во время танца уговаривал пойти с ним трахнуться после того, как закроют ресторан. Но у девушек был свой метод. Они всегда обещали трахнуться завтра, чтобы не обижать подругу, — так и жили каждый вечер своей маленькой хитростью: вкусный ужин, танцы и спокойная ночь после.

Скрипач намечал себе такого рыбака и начинал играть специально для него — шептал в микрофон исковерканные, нежные слова про то, что «моряки подолгу не грустят», хотя именно моряки и грустят подолгу, подмаргивал рыбаку, и тот, опьянев, тоже подмаргивал скрипачу, а потом посылал в подарок бутылку водки и еще посылал денег, чтобы скрипач повторил понравившуюся песню.

Писатели возвращались к себе на гору поздно. Зимняя ночь, снег на вершинах, кипарисы, островерхие домики, белые, с красными черепичными крышами, — все это становилось вроде декорации, чересчур натуралистического театрального задника.

Некрасов — с острым презрительным профилем, в распахнутой ковбойке — повторял, карабкаясь в гору:

— Сон! Сон! Сон!

Букву «н» он произносил жеманно, в нос. Однажды рано утром Степанов вошел к нему в комнату. Он увидел Некрасова в кровати. Степанову стало страшно — его тело было в изорванных рубцах шрамов. Степанов тогда понял, почему именно он, со своим капризным «н» и презрительным лицом, смог написать лучшую книгу о войне — «В окопах Сталинграда».

Степанов тогда работал запойно. Он прилетел из Багдада: там зрел заговор, и Степанов попал в самое горячее средостение событий. Вернувшись, ему пришлось делать две работы сразу: писал очерк в газету, а потом сидел над окончанием романа, которому уже отдал год жизни. Однажды, когда затылок свело острой болью, он решил пойти в кино. Показывали фильм «Журналист из Рима». Там рассказывалась история честного неудачника, и еще там рассказывалось про женщину, которая его любила. И во всем этом, совсем не похожем на то, что было у Степанова и у Нади, вдруг оказалось страшно много общего и похожего. Он после этого не мог себе объяснить, отчего из кино сразу пошел на переговорный пункт, заказал Москву и сказал:

— Надюша, приезжай, я не могу.

И она прилетела к нему вместе с Дунечкой, и это была прекрасная неделя, когда они жили все вместе в зимнем крымском городе: по ночам шел снег, он держался до обеда, а потом под солнцем блестели лужи, и в них купались голосистые воробьи; с гор прилетал ветер, пронизанный холодом. Однажды утром, когда было еще сумеречно, Степанов понял, что у холода есть свой особый запах — ни с чем не сравнимый, чистый и насыщенный, словно весной, в пору цветенья. И еще тогда он понял, что значит тепло. Летом оно принимается таким, какое есть, а здесь, зимним утром, на снегу, солнечное тепло было совершенно особенным, со своим запахом и цветом.

Он не мог понять, отчего именно там он понял это — и про тепло и про холод. То ли из-за того, что работалось, то ли потому, что прилетела Надя и все у них было как-то по-новому, ломко и чуть удивленно, а может, оттого, что именно здесь, возле моря, он заскучал по Арктике, где прожил год с летчиками, тоскуя о море и теплом снеге — мягком и совсем не колючем.

Было им тогда очень хорошо — на горе, в полупустом доме. Бывают ведь у людей праздники — солнце, снег, воробьи в лужах, и пустой теплый дом, и море внизу. Только праздники тем и отличаются от будней, что они коротки и быстролетны.

...Наташа жила в маленькой однокомнатной квартире. На большом столе, возле окна, лежала гора книг.

— Я рецензент, — сказала она, — этим и живу.

— Не хлебом единым жив человек, — улыбнулся Никита. — Дети на кухне, случаем, газ не включат?

— Не достанут, я отъединяю сеть. Хотите кофе?

— Хочу.

Наташа вышла на кухню. Никита огляделся. В комнате ничего не было, кроме большого письменного стола возле окна, маленькой кроватки Сани и узенькой кушетки, застеленной полосатым пледом. На стене висел портрет Хемингуэя. Писатель щурил глаза и улыбался скорбной, всепонимающей улыбкой. На кухне Дунечка играла с Саней и смеялась своим круглым смехом, будто колокольчик.

— Вот, — сказала Наташа, — пожалуйста.

— Слушайте, — сказал Никита, — а вы что, развелись?

— Нет. Я просто не выходила замуж.

— А как же...

— А вот так. Как-нибудь в другой раз мы устроим вечер вопросов и ответов.

— Наверно, это довольно глупо, что я к вам напросился?

— В какой-то мере.

Наташа сидела возле стола, и солнце делало ее еще более светлой, но если смотреть на ее профиль долго, то появлялась черная четкая линия, повторявшая лоб, нос, брови, и губы, и подбородок.

— Вы похожи на бабочку-траурницу, — сказал Никита.

— Тоже неплохо.

— А в остальные дни ваш сын живет дома или в садике?

— В садике. Там сегодня карантин.

— Что, если я к вам загляну завтра?

— Не стоит.

— Почему?

— То, чего хотите вы, совсем не хочу я.

— Это реакция на то, что было? — спросил Никита, кивнув на дверь, которая вела в кухню, где что-то кричал Саня.

— К тому, что было, дети не должны иметь никакого отношения. То, что было, — мое.

— Вы ненавидите то, что у вас было?

— Почему?

— В книгах так пишут.

— Смотря в чьих.

— У вас кто-нибудь бывает днем?

Наташа улыбнулась, поглядела на Никитины торчащие вихры и ответила:

— Да.

Никита почувствовал внутри холод.

«Идиот, — подумал он. — Не хватало мне еще в нее втюриться. Любовь с довеском». Он покраснел, потому что про «довесок» он подумал со зла и ему стало стыдно.

— Знаете, — сказал Никита, — боюсь, что вы мне нравитесь.

— Вы мне тоже, — ответила Наташа, — смешно, но это правда.

...После того как бракоразводный процесс кончился, Надя пошла к Никите, но его дома не было. Тогда она

стала ходить по городу. Она рассматривала витрины. Сначала она ничего не видела, просто были какие-то яркие пятна перед глазами. Потом она увидела громадный пупырчатый огурец, выращенный по методу гидропоники.

«Он любил малосольные огурцы, самые свежие, — вспоминала Надя, — и мацони, которое я покупала на Дорогомиловском рынке рано утром по воскресным дням. В мацони он сыпал много укропа. И еще он любил поливать простоквашей молодую картошку. Он красиво ел».

Надя долго стояла возле витрины магазина тканей. Было ей сейчас пусто-пусто и так легко и горько, что даже не хотелось плакать.

«Эта полосатая пошла бы на занавески к нему в кабинет, — подумала Надя про длинный кусок сине-белого материала. — Через сине-белые полосы хорошо смотрится солнце ранним утром. Солнце не яркое тогда, и он не будет так рано просыпаться, он стал совсем мало спать. Хотя о чем я?.. Теперь его комната будет стоять пустая, и, наверное, только временами он будет там — это если я вспомню его голос, и как он сидел за столом со своими друзьями, и как они читали Пушкина и говорили о Хемингуэе, и как я жарила для них чирков и разливала по бутылкам смородиновую настойку... Дура, какая же я дура! Надо было быть спокойной, рассудительной и холодной. Таких только и ценят. А я? «Степушка, Степушка, хороший, глупенький, дурачок совсем даже».

Надя ясно услышала свой голос, как она это говорила ему, а он все куда-то торопился и поэтому не стоял возле нее, как раньше, словно послушный конь, а, быстро погладив ее по голове, говорил: «Я опаздываю, малыш» — и уезжал. И ей вдруг стало досадно оттого, что она старалась не отпускать его, и обнимала его голову, и что-то шептала на ухо нежное, как Дунечке, — ей стало вдруг сейчас так остро обидно, что лицо ее вспыхнуло.

Они поссорились второй раз из-за пустяка: Степанов вернулся с Северного полюса, они поехали в гости: Степанов много пил, смеялся, рассказывал смешные истории, а когда вернулись домой, он сел за стол и начал молча рисовать на бумаге профили волевых мужчин. Надя стала за его спиной и начала целовать его шею.

— Перестань, — сказал он.

— Что ты?

— Ничего. Перестань. Ты мне мешаешь.

Он сказал это грубо, не посмотрев на нее, и закурил новую сигарету.

Надя обиделась, легла на кровать и, отвернувшись к стене, тихонько заплакала. Она не любила людей с двумя лицами: только-только он был весел, смеялся, а сейчас, когда остались одни, груб и где-то не здесь. Надя вспомнила длинную белую женщину, как он сидел с ней возле окна и, хмыкая, что-то тихо говорил, а та восторженно глядела на него своими подведенными синими глазищами.

«Нет, ерунда, — стала успокаивать себя Надя, — он ведь не любит длинных, он сам мне говорил».

Она вспомнила, как однажды их пригласил один известный пианист на свой концерт. Он усадил их в ложу. Они смотрели, как он играл: лицо его жило музыкой, пианист сопел носом, жидкие белые волосы падали на лоб, когда он мотал головой в экстазе, но вдруг он спокойно и внимательно, перестав сопеть, поглядел на ложу, где они сидели. Это был какой-то коммерческий — спокойный и оценивающий — взгляд, как на его игру смотрят. Это коммерческое было так ужасно, что Надя ушла после первого отделения.

Надя очень любила слушать пианиста Евгения Малинина — он играл строго, лицо его было сосредоточенно и скорбно. На его концерты подчас приходили люди, которым было важно прийти на концерт — всего лишь. А он скорбно и сдержанно дарил свое искусство этим людям, которые разглядывали туалеты соседей и внимательно наблюдали за тем, кто с кем пришел. В этом разъединении музыки и зала было нечто оскорбительное для искусства.

«Он тоже двуличный, — думала Надя, рассматривая круглый затылок Степанова с торчащими хохлами над его двумя макушками. — Для тех смеялся, был интересным, а для меня — молчит».

С этим она и уснула.

А Степанов сидел до утра, прежде чем начал писать рассказ. Потом в журнале посвящение Наде сняли, потому что это сейчас не принято — посвящать рассказы любимым женщинам. Так, во всяком случае, мотивировал ответственный секретарь.

В подоплеке многих трагедий — недосказанность. Так же, как и в подоплеке всех комедий. Начало везде одинаково, только разные окончания.

Степанов несколько раз звонил к Никите — он хотел переночевать у него, а назавтра взять командировку и

улететь в Арктику на полтора месяца. Никиты все еще не было. Степанов подумал: «Куда он затащил Дуньку, дуралей? Спаси бог, не случилось ли чего?» Но он верил предчувствиям, а сейчас в нем не было страха. Было какое-то недоумение после всего происшедшего в суде. Все было суконно и безнравственно — в общем, так, как он себе и представлял. Только старичок народный заседатель, видимо из кадровых военных, сказал: «Девушка (он так назвал Надю), девушка, вы же его любите... Вы должны его любить больше себя, тогда вы будете счастливы». Больше старик ничего не сказал, а только уперся лбом в ладони и стал рассматривать зеленое сукно судейского стола.

Степанов зашел в скверик напротив «Известий», сел на скамейку, мокрую после недавнего дождя, и стал рассматривать памятник Пушкину.

Он вспомнил, как поэт Григорий Поженян читал ему, — то переходя на шепот, то уходя в крик, — поразительные строки, которые — как он уверял — написаны Пушкиным:

— Я шел по набережной Мойки. Кончили давать премьеру. Двери театра были распахнуты и освещены фонарями. Гвардейские офицеры выносили на руках Кукольника. Дамы аплодировали ему. Он был в распахнутой шубе — счастливый и улыбающийся, а я стоял один под фонарем, и меня никто не видел. И я думал: «Ну и пусть. Все равно мы пишем только для семнадцати прекрасных пар глаз России».

«Ну, — сказал себе Степанов. — Вуаля. Ты получил то, к чему стремился. Ты свободен. Пользуйся своей свободой. Ты можешь делать все, что хочешь. Так что же все-таки свобода: осознанная необходимость, высшее счастье или пустота и одиночество?»

Он пошел по городу, как-то по-новому разглядывая его. Возле телефонной будки остановился, поискал две копейки — их не было, опустил гривенник.

«Дорого стоит звонок, — подумал он, — черт возьми. А может быть, дешево. Мы привыкли к чуду. Телефон — это чудо. Мы пресыщены чудесами, мир набит мудростью радиоволн, в которых заключена вся сумма знаний середины двадцатого века. Это не может не влиять на хитрый и непознанный аппарат мозга».

— Алло, — сказал Степанов, услышав после долгих гудков мужской хрипловатый голос на другом конце провода. — Это ты?

— Я.
— Чем занимаешься?
— Ничем.
— Смешно. Знаешь, что Николай Второй записал в дневнике в день начала первой мировой войны?
— Не знаю.
— Он записал: «рьен».
— Это по-каковски?
— По-французски, в переводе значит «ничего».
— Погоди, стучат.
Степанов закурил и стал ждать, пока откроют дверь. Потом голос сказал:
— Ну, пока, созвонимся завтра.
Степанов, усмехнувшись, повесил трубку. Набрал следующий номер.
— Алло, — сказал он. — Это Степанов.
— Даже если вы Иванов, то мне это ни о чем не говорит. Прежние владельцы разъехались. Я здесь живу неделю.
— Простите.
Он набрал третий номер.
— Кто это? — спросил он.
— А вы кто?
— Я — Иванов.
— Что вам надо?
— Многого. А это кто?
— Домашняя прислуга.
— Ах, домашняя прислуга... Понятно. А где ваши подшефные?
— В Коктебле.
— В Коктебеле, по-видимому. Смешно.
— Это вы мне?
— Нет, себе, до свидания.
«Напряженный, как кобель, уезжаю в Коктебель», — он вспомнил эту телеграмму Михаила Зощенко, отправленную им Ольге Берггольц.
Степанов повесил трубку, полистал книжку и набрал последний раз.
— Старик, — сказал он. — Это я. Ты чем занят? Да? Значит, ты закрыт для меня? Втроем? Нет, к черту! Я думал, посидим вдвоем.
Все. Звонить больше было просто-напросто некуда. У всех нас тысячи знакомых и сотни номеров в записных книжках. Но попробуйте отыскать хоть пяток тех телефонов, куда вы можете позвонить, если пусто и ничего

кругом не понятно. Отыщете — значит, вы счастливец.

«Надька, Надька, — вдруг подумал Степанов, — какая же ты дура! Старик сказал точно: «Вам надо любить его больше себя, и тогда вы будете счастливы». А почему, собственно, — возразил он себе, — она должна меня любить больше себя? Что я — Гилилей? Или Шекспир? И потом, кто сказал, что жена Шекспира любила его больше себя? Может, такая была стерва — что только держись... Любить больше себя... Эгоизм или мания величия, Степанов? Или я начал рефлектировать, как пореформенный либерал, которому, — по Щедрину, — всегда чего-то хочется, только он не знает чего: то ли конституции, то ли севрюжины под хреном...»

«Они были такими друзьями, что даже зевали вместе». Степанов тоже имел таких друзей, с которыми вместе зевал, но один сейчас сидел с милой женщиной, другой улетел черт те куда, третий разъехался с женой... Пусто. Нет никому дела до свободного человека. Дьявольщина! Дай человеку свободу, так он тюрьму попросит.

Адам и Ева! Адам и Ева! Вопрос вопросов — быть или не быть?! Господи, как же мы мельчим проблемы! Кто есть искуситель? Что есть искушение? Почему сладок запретный плод? Где граница между нагромождением ханжеских условностей и предательством самого себя? Человеку ненавистна тирания, но сначала он обязан раскрепостить самого себя. Развитие наук так опережает установившийся уклад, что в этом опережении и кроется вольтова дуга современных конфликтов: во всем, начиная с философии и кончая любовью мужчины и женщины. Разные поколения людей, говорящих на одном языке, все равно нуждаются в переводчиках. Этими переводчиками являются писатели и художники. Они — память века, толмачи настоящего. Не надо поклоняться художнику, но обязательно следует понимать, что поиск — всегда самое трудное. Геолог в дальней трассе получает дополнительное питание. Тем, кто строит железные дороги, платят «дорожные» — за то, что они вечно в пути. Кто подсчитал, сколько физической и духовной энергии расходует художник, когда он в своем поиске? Чей герой кричал: «Милосердия прошу, люди! Милосердия!»?

Художник обязан получать от любящей женщины только одну льготу: на счастье и отчаянье, на день и на ночь, на ошибку и на прозрение.

К Степанову подошла молоденькая девушка, еще

подросток. В руке у нее была плетеная сумка с ландышами. Ландыши были свежие, только-только из лесу. На них еще были следы росы. А может быть, недавнего дождя, но все равно на острых зеленых листьях эти капли — продолговатые, прозрачные и холодные — казались каплями росы.

— Купите для дамы, — сказала девушка.

— У меня нет дамы. Ну-ка, присядь.

— Что вы... Мне нельзя. Милиция прогонит.

— Подбери мне пять самых красивых букетов.

Девушка выбрала самые красивые букеты, встряхнула ими, как встряхивают материал продавцы текстиля, и на колени Степанова упали холодные капли с тонких бледно-зеленых стебельков.

— Вот, пожалуйста, — сказала девушка.

— Спасибо. Держи, — сказал Степанов, протягивая ей деньги, — и это тоже. От меня, — он протянул ей цветы. — Ну, держи, держи, не бойся, глупая.

Девушка порицающе качнула головой и быстро отошла от Степанова, кося маленькими черными глазами, подведенными синей краской.

Какая глупость: сейчас, после того как мы разошлись, я могу идти куда хочу, и не звонить, когда вернусь, и ничего не объяснять, где я, и не оправдываться, отчего задержался. Но какая все это, в сущности, мелочь — и как она гадит то, что следует называть «затянувшимся диалогом». Кто это сказал: «Человеку надо жить в тюрьме, откуда выпускают на воскресенье»?

А может быть, вся трагедия заключалась в том, что я мало мечтал из-за того, что слишком много работал? Может, я стал слепнуть, а она по-прежнему видела все в том будущем, которое нам хотелось видеть тогда, восемь лет назад?

Степанов повторил про себя: «в будущем, которое хотелось видеть восемь лет назад». Он хмыкнул: «Ничего себе фразочка. Сплошной плюсквамперфектум. По-моему, именно так — классический образчик. Обидно — совсем я немецкий стал забывать...»

Мальчишкой Степанов жил под Берлином — он трижды убегал на фронт, к отцу, и наконец попал к нему. Это были первые мирные дни сорок пятого. Он тогда жил с отцом в Рансдорфе, вокруг были озера с песчаными берегами и сожженными купальнями. Черные, обуглившиеся столбы трагически смотрелись на светлом песке, возле прозрачной тихой воды. В доме, где жил Степанов,

каждый день к обеду подавали громадных сытых раков. Они лежали красной горой на большом белом блюде. Однажды Степанов попросился поехать со стариком немцем, который поставлял этих раков. Они долго плыли по озеру, а потом остановились возле небольшого островка, и старик стал ловить раков.

— Почему они такие большие?

— О, это мой секрет, — ответил старик. — Тут был сильный бой. Раки питаются падалью, поэтому они такие жирные, милый мальчик. Именно здесь взорвалась баржа с нашими солдатами, вот раки и привадились...

А потом было много лет — и прекрасных, и страшных лет, пока он не встретил Надю. Слишком много у него было всего до нее — дорог, разлук, горя. А у нее ничего не было. У нее появилось только одно — любовь к Степанову, отчаянная и единственная, готовая на все, — другую такую редко сыщешь. Она прощала ему все, что было раньше, до нее, и принимала все то, с чем он шел к ней, а потом наступил какой-то день или час, или минута, когда она не захотела ничего прощать — и даже того, чего не было вовсе. А если так, то приходит крах. Вот он и пришел.

Наташа внимательно посмотрела на Никиту:

— Как бы мне объяснить тебе? У мужчин и у нас — все по-разному, понимаешь? Я если обнимаю тебя, так я тебя вроде как Саньку обнимаю. А у тебя все равно когти, это помимо тебя. Честное слово, нам то, что называют близостью или как там еще, поосторожнее, нужно гораздо реже, чем вам. Ты не верь книгам. Писатели-мужчины этого не знают, а писатели-женщины стесняются писать правду, чтобы их не сочли сентиментальными, а когда пишут так, как мужчины, то, значит, врут.

— А как вариант «замуж»? — спросил Никита.

— А что это за вариант?

— Ну, за меня?

Наташа долго смеялась, причем Никита понял, что смеялась она искренне, ни капельки не играя, и поэтому он не обиделся на нее, а взял ее руку и стал разглядывать ладонь. Наташа попросила:

— Только не вздумай гадать.

— Не веришь?

— Не в этом дело. Сейчас все стараются начать роман с гадания по линиям руки.

В комнату вошли Дунечка и Санька.

— Никит, — спросила Дунечка, — а мы с тобой к Ане пойдем или не надо?

Никита покраснел:

— Никуда мы с тобой не пойдем, поняла? Здесь останемся.

— Ну-ка, марш мыть руки, — сказала Наташа, — Саня, покажи Дунечке, где у нас полотенце и мыло.

Дети ушли в ванную и там стали визжать и кричать что-то пронзительное.

— Никиток, — сказала, чуть улыбнувшись, Наташа,— знаешь что? Спасибо тебе за то, что я тебя сегодня встретила.

— Откуда ты знаешь, что меня зовут Никиток?

— Ну а как же тебя звать иначе? Тебя только и можно звать — Никиток. И на будущее: никогда ни перед кем не оправдывайся. Свобода, которую мы все так любим, рождается в нас, в каждом поодиночке.

Жара была медленной, с синевой, которая поглощалась красной водой реки. Речной трамвайчик плыл по самой середине красной реки. Носом он разрезал солнце, которое катилось от него прочь, подталкиваемое двумя тяжелыми черными волнами.

У Нади еще было время до приема в клинике, и поэтому она решила доехать до Химок на пароходике, а там дойти пешком, чтобы глаза не были такими опухшими и красными.

Она сидела на палубе одна, и ветер обдувал ее, и он был упругим, и если вытянуть навстречу ему ладонь, то он сразу же послушно, по-песьи, принимал форму ладони, повторяя линию жизни, подушечки пальцев, рисунок ногтей.

«У меня рука похожа на Тонину, — подумала Надя, опуская пальцы на колено. — Только у нее ногти еще короче обстрижены».

Тоня работала вместе с ней. Она часто говорила:

— Надюша, дуреха, ну что ты качаешься на люстре?! Мужики все одинаковые. Они как козлы. Или волки — все в лес смотрят. Если их на короткой веревке держать — оборвут, и поминай как звали, а на длинной привязи — ходят себе всю жизнь — и счастливы! Свобода, бля, свобода, бля, свобода...

— При чем здесь веревки? — сердилась Надя. — Вообще держать никого нельзя рядом — насильно. Но ведь

есть же люди, которые рвутся домой, а он, наоборот, все время норовит улететь из дома.

— «Улететь, улететь», — передразнила ее Тоня, — мужья сейчас по небу не летают... А отцы — особенно... В этот жестокий век надо милосерднее быть, Надюха, добрей... Ты все идеального хочешь, а Дунька тебя потом спросит: «Отчего папа ушел?» Что ты ответишь ей? Он что — к другой бабе ушел?

— Да не волнует меня это, — поморщилась Надя, — не в этом дело...

— В этом, в этом, — жестко прервала ее Тоня, — именно в этом, милая, и себе-то хоть не ври... Хотя ты из самоедок, таким — трудней.

...Пароходик проезжал мимо пляжа. Там было много людей, кто-то пронзительно играл на маленькой серебряной трубе. Надя не могла рассмотреть кто, потому что трубача окружала большая толпа ребят и девушек.

Надя закрыла глаза и увидела Степанова в красной рубашке с короткими рукавами, он что-то говорил и смеялся. И был такой же летний день, только воскресенье, на улицах было много народу — начался фестиваль молодежи, и все люди тоже смеялись, из автобусов вылезали негры с трубами и гитарами и пели песни, зазывая прохожих петь вместе с ними, и прохожие пели вместе с ними, а негр-трубач заходился, закатывая глаза. Степанов смеялся, говорил что-то Наде, обняв ее за шею, и было это прошлым летом, нет, не прошлым летом, а нынешней весной, нет, это было сегодня, когда они сидели в суде, и она смотрела на него сзади, когда он стоял перед судейским столом, и видела его оттопыренные уши, затылок с двумя макушками, а ей казалось, что она видит его лицо и как он смеется, смотрит на поющих негров и говорит ей: «Прелесть какая, а? Какая прелесть...»

Никита поехал с Дуней домой, но там никого не было, и он по рассеянности своей не понял, что быть здесь никого и не могло, потому что ключи были только у него одного.

— Где твои предки, — спросил он Дуню, — как думаешь?

— Не знаю, — тихо ответила Дунечка, — когда я была у Шурика, мне было хорошо-хорошо, я ни о чем не вспоминала, и мне страшно не было совсем даже.

— А чего тебе бояться?

— Всего...

К Никите позвонили ребята с курса и сказали, что сегодня его очередь дежурить у Полины Терентьевны, преподавательницы пластики.

Никита взял Дуню, и они пошли к Полине Терентьевне в Брюсовский переулок.

— Ты не устала, Дунь?

— Что ты... маленькие вообще не устают. Ты попробуй с мое каждый день повертись.

Степанов зашел в уличное кафе под полосатым тентом. За двумя столиками возле окна сидели ребята лет по двадцать и играли в шахматы. На столиках у них стоял кофе, и ничего больше. Степанову было слышно, как они глубоко затягивались сигаретами.

Было очень тихо, только шумела улица, видная через сквер, но шум ее был далеким, он не мешал тишине. Один из пареньков подозвал официантку высоким, резким голосом.

— Барышня, — сказал он, — что за безобразие, я уже три раза писал вам в книгу — когда будет боржоми? Я не могу пить нарзан, у меня кислотность пониженная.

«Вот сволочь, — подумал Степанов. — Нарзан ему нельзя пить. Кислотность у него не та».

Он вспомнил, как в сорок втором кто-то сказал, что кошачье мясо очень вкусное, и они поймали кошку, у которой были котята на чердаке. Они ждали, пока котята чуть повзрослеют, а потом уж не могли дождаться толком от голода, поймали кошку и притащили ее в подвал.

— А кто ее прибьет? — спросил Витька по кличке Фантя.

Все смотрели друг на друга и молчали. Фантя считался командиром. Он снял с себя ремень и обвязал его вокруг кошкиной шеи. Кошка лежала у него на коленях и, когда он начал обвязывать ремнем горло, она стала мурлыкать и тереться об его острые колени. Было так же тихо, как и сейчас в этом кафе, только где-то медленно капала вода.

— Ну, — сказал Фантя, — уходите.

Ребята ушли и стали за дверью. Сначала было тихо, а потом кошка страшно и тягуче замяукала, а после она стала кричать, как человек. Когда ребята вошли в котельную, Фантя лежал на полу — ему нечем было тош-

нить, кроме как горькой зеленой желчью. Он был исцарапан до крови, а рядом лежала кошка — сейчас она казалась маленькой, словно котенок.

— Жрите, — сказал Фантя глухо, — я не буду.

«А впрочем, — продолжал думать Степанов, разглядывая паренька за столиком, — зря я сейчас про него так подумал... Как старая брюзга... Его отец голодал — у сына плохо с пузом, за что же я на него озлился? Степанов, Степанов, ты становишься злым — а значит, старым».

Парализованная балерина Полина Терентьевна, преподавательница Никиты, долго смеялась, когда Дунечка рассказывала ей про то, как рисовать балерин.

— А ты мне потанцевать не хочешь? — спросила она.

— Хочу, — сказала Дунечка, — а вы смеяться не будете?

— Не буду.

Побледнев от волнения, Дуня вышла на середину большой темной комнаты, подняла кверху руки и стала танцевать свой извечный испанский танец. Никита сел к роялю и стал тихонько подыгрывать ей. Дунечка прыгала, кружилась: маленькое тельце ее было пластичным, лицо замерло, сделавшись торжественным и отрешенным.

Никита кончил играть, Дунечка остановилась и сделала низкий поклон.

— Молодец, Дунечка, — сказала Полина Терентьевна, — ты хорошо танцуешь.

— Мы с ней твист наяриваем, Пол Тере, — сказал Никита.

— Боже, какая прелесть, я ведь ни разу не видела этого танца.

— Это не танец, а загнивание мировой буржуазии, — сказал Никита, — но, между прочим, если это загнивание, то загнивать приятно. Кричат, что это плохо. Пошляк может и падеграс станцевать так, что сблюешь...

— Никита, здесь девочка, думай, когда говоришь.

— А я все равно знаю, — сказала Дунечка.

— Маленькие дети — добровольные стукачи, — засмеялся Никита и крикнул: — А вот твист! Твист! Твист!

Они танцевали твист до того слаженно и умилительно, что Полина Терентьевна стала им подпевать:

— А вот твист! Твист! Твист!

— Поем твист! Твист! Твист! — выкрикивал Никита, приседая почти до пола.

— Твист! Твист! Твист! — пела Дуня.

Никита посмотрел на Полину Терентьевну и поразился: недвижная, укрытая по горло пледом, она показалась ему сейчас танцующей вместе с ними. Сначала он не понял, в чем дело, а потом сообразил — это все от ее глаз: громадные, иссиня-черные, они словно танцевали сейчас вместе с Никитой и Дунечкой. Они были так выразительны, что в них сосредоточилось все — и стремительная музыка, и движение, и молодость, и та грация, которая делала имя Полины Терентьевны известным миру.

— Дунечка, — сказала Полина Терентьевна, — пусть дядя почаще берет тебя с собой, я тебе поставлю несколько танцев.

— А я и так стою — зачем же меня ставить?

— Сообразительность у тебя мамина, — сказал Никита. — Поставить танец — значит показать его.

— А как же Полина Терентьевна мне покажет? У нее ведь нет рук.

— Дуня, ты дурочка, поняла?!

— Совсем она не дурочка, Никиток. Она сказал правду, почему же дурочка? Это ничего, Дунечка, это ничего, что нет рук. Ну-ка стань к станку. Вон, у стены, видишь палки? Это станок. Иди. Только разденься, я посмотрю, какая ты голенькая.

Дунечка разделась:

— Видите, у меня трусики, как у взрослой женщины.

— Да, прекрасные трусики... Ну-ка, возьмись левой рукой за станок. Ногу в сторону, и — раз! Носочек тяни! Хорошо! Приседай! Ниже! И — раз! Да, из нее можно будет что-то сделать. Еще раз! Носок тянуть! Сесть ниже!

— Вас покормить, Пол Тере?

— Да, пожалуйста.

— А где хлеб ваш насущный?

— На подоконнике.

— Дуня, принеси тарелку.

Дунечка принесла тарелку с гречневой кашей, и Никита стал кормить Полину Терентьевну с ложки.

— Вы как маленькая, — сказала Дунечка, — только послушная. А меня просят: «За маму ложку, за папу ложку».

— Пол Тере, а я вроде влип...

— Это прекрасно.

— Ничего прекрасного. Там все непонятно. Дитя. И отсутствие фатера.

Дунечка сказала:

— Фатер — это папа по-немецки.

— При чем здесь все это, если влип? — удивилась Полина Терентьевна.

— Ну все-таки...

— Значит, ничего не произошло, если ты здраво соображаешь. Нет ослепления. Это пустое, если все видишь. Любовь не для зрячих.

— А зрячие это какие? — спросила Дунечка.

— Знаешь что? Иди-ка потанцуй нам, — сказал Никита. — Кому говорю?

Дунечка вышла на середину комнаты и стала танцевать.

— А мне без музыки скучно.

— Никиток, включи радио, — сказала Полина Терентьевна.

Никита включил радио. Первая станция передавала беседу о китобоях, вторая рассказывала о новом открытии в физике, за которое наши ученые получили Нобелевскую премию, третья транслировала концерт для балалайки с оркестром.

— Черт, — сказал Никита, — дитю танцевать не подо что.

— Поставь на «Маяк», они передают музыку.

Никита нашел «Маяк». Там передавали песни.

— Это называется «Лирическая о Москве» Бабаджаняна, — сказал Никита, — чтобы не называть «Московский твист».

— Это не важно. Все названия рано или поздно слезают, как старая краска с заборов. Остается суть.

— Влюбиться хочу, Пол Тере, спасу нет.

— Это очень плохо, Никиток. Если все идет оттого, что ты х о ч е ш ь влюбиться, тогда лучше побыть час с нелюбимой женщиной. Любовь — это страдательный залог.

...Степанов шел по вечерней улице Горького.

«Какие красивые теперь лица у молодых людей! — думал он. — Они все родились после сорок пятого, они не знали того, что знали мы. Счастливые люди. Говорят, страдание возвышает. Это глупость. Страдание унижает человека, делает его трусливым и жалким».

— Старик! — крикнул кто-то за спиной у Степанова.

— Левонушка! — обрадовался Степанов. — Рад тебя видеть, черта седого. Ну, как ты?

— Воюю с критикой.

— Зачем?

— Уж не принял ли ты обет всепрощения? Они раздраконили меня ни за что ни про что.

— Ты чудак. Критик, как правило, несостоявшийся творец, понимаешь? Отсюда его нервозность, придирчивость, неуравновешенность, полярность мнений и смена симпатий — все как у женщин. Мода, как у женщины, слухи, как у женщины. Или как у меня — сейчас. Вот и получается, что они, в общем-то все понимая, ничего с собой поделать не могут. Они неврастеничны и злятся, что никто не бранит зло именно так, как его следовало бы бранить. Они нашпигованы идеалами и не могут их выразить в образах, оттого нападают на тебя. Но чем больше они нападают зазря или хвалят вслепую, тем сильнее накаляется атмосфера. И в этой ограниченной атмосфере вокруг нас скапливается огромное количество полярных суждений. Это как грозовая туча. Разные заряды. А потом — чем выше концентрация нервной полярности, тем скорее сверкнет молния. Значит, чем они яростнее психуют, тем больше пользы приносят главному — прогрессу.

— Гениальный ты парень, как погляжу: ахинею несешь. Бред. Только гениям в наше время позволено нести ахинею.

— Знаешь, что такое гений?

— Что-то вроде одного процента таланта и девяноста девяти процентов жопы? В смысле усидчивости?

— Это хрестоматийно, — усмехнулся Степанов. — Гениальность — следствие неправильного обмена веществ. Люди с нормальным обменом веществ не в состоянии этого понять.

— У тебя как со щитовидкой?

— Увы... Я абсолютно здоров и обмен веществ проверял: как в аптеке. Так что, старик, помирать нам в рубрике «и др.».

Левон остановился, достал сигарету, закурил и, поправив свои седые жесткие волосы, спросил:

— Старик, ты чувствуешь, как мы стареем?

Кажется, совсем недавно они ходили втроем по улице Горького: Левон, Фелька Ласик и Степанов. Они шли обнявшись — рыжий Фелька, черный Левон и бритоголо-

вый Степанов, — шли и пели: «Парень девушку обнял нежно левою рукой...»

А потом ехали танцевать в «Спорт» на Ленинградском проспекте. Там их ждали Батон и Мишель.

Батон погиб при постройке тоннеля в Сибири, а Мишель год назад умер, проводя опыты в своем институте. Его хоронили на Новодевичьем, и несли на красных подушечках ордена, и солдаты стреляли холостыми зарядами в низкое, осеннее небо.

— Нет, — сказал Степанов, — мы не стареем, Левонушка. Просто мы живем.

— В этой фразе есть какой-то сволочизм: «просто живем»...

— Почему? Смотря как относиться к жизни. По-моему, жизнь должна быть как на Пасху или Рождество. Как праздник, который мы носим в себе. Тогда мы не заметим старости...

— Хреновина и прагматизм. Ты прагматик и экзистенциалист. Не стыдно тебе быть прагматиком? — усмехнулся Левон. — Мне — стыдно.

— Дунька, — сказал Никита, — где же твои сумасшедшие родичи?

— Они не сумасшедшие.

Никита только что звонил им домой, но там никого не было, и они пошли в молодежное кафе, где Никиту ждала Аня.

— Ты устала, Дуньк?

— Нет, совсем не устала, что ты, Никиток.

— Хочешь на ручки?

— Хочу.

Никита взял Дунечку на руки, и она обняла его за шею.

— Дуня, — тихо сказал Никита, — а тебе Наташа понравилась?

— Она же красивая.

— Возьму на ней и женюсь.

— Женись, только она ведь тебя не любит.

— А кого она любит?

— Что ты, глупенький даже совсем, да? Шурикиного папу.

— Откуда ты знаешь?

— Так моя ж мама любит моего папу, правда? Они все так, разве не знаешь?

...Аня заняла место за столиком рядом с джазом.

Ее многие узнавали, потому что недавно она снялась в фильме. Она погладила Дунечку по голове и сказала:

— Я вас полчаса жду. Еще немного — и отдала бы место другим.

— Чего ж не отдавала? — спросил Никита. — Могла б отдать...

— Что с тобой?

— Со мной ничего. Что с тобой?

К Ане подошли две девушки и попросили автограф на фотокарточке. Аня расписалась — подпись у нее была неустоявшаяся, и на двух портретах она расписалась по-разному.

— Плохо меня сняли, да, Никит?

— Ничего, — ответил Никита, — сходство есть.

За соседним столиком сидели студенты-физики.

— Парни! — говорил худенький юноша в голубой, плохо выглаженной рубашке. — Мы становимся удобрением прогресса. Физика уступает место биологии. Если они поженятся, то биофизика объяснит мир. Я готов ответить на вопрос о структуре и принципе электрона, но я ставлю вам всем второй вопрос: что направляет миграцию рыб? Кто светит маяками гусям во время перелетов? Что есть царство муравьев? Отчего вас гложет предчувствие? Каким образом вы за несколько дней до счастья уже ощущаете, что оно грядет? Кто объяснит мне сложнейшую структуру пчелиного мозга? Вопросы примитивны, но объясните мне примитивное.

— Мы обязаны уйти в микромир, тогда придет переворот в понимании всего мира вообще, — сказала девушка с сигаретой в плоских пальцах. — Мы замучены догмами девятнадцатого века. Неудовлетворенность обязана быть религией ученого.

— Во дают, — сказал Никита.

— У тебя какие-нибудь неприятности? — спросила Аня.

— Да.

— Какие?

— Мои.

— Дунечка, что с твоим дядей?

— Ничего. Он просто хочет жениться на Наташе, а у нее ребеночек, — ответила Дунечка, растягивая слова.

Аня отпила немного кофе, и было видно, как у нее чуть дрогнула рука.

— Это правда, Никит?

Джаз неистовствовал. Несколько человек на площадке возле джаза молча и сосредоточенно танцевали.

— Это верно, Никит?

— Ты ее слушай больше, она ж маленькая.

— Разве я сказала неправду, Никита? Ты ж сам говорил.

За спиной физики снова начали кричать:

— Физика сделала свое дело, ее гений поставил мир на грань гибели! Теперь пришла пора биологам объяснить психологию позвоночных! Степень их отличия от муравьев! Теперь биология обязана объяснить человеку человека!

— Физики, — попросил Никита, — можно потише, а?

— Ты лирик, по-видимому? — спросил Никиту парень в голубой рубахе.

— Лирик.

— Тогда сиди и помалкивай. Вы, лирики, еще лепетать не можете, вы живете на карачках.

Девушка с плоскими пальцами лениво сказала:

— Все-таки есть Феллини, не будь таким строгим.

— Феллини занимается человечеством, он биолог! А наши киношники чем занимаются? Плохим директором и хорошим председателем!

— Ты дурак, длинный, — сказал Никита. — Дурак, понимаешь? Дай нам разобраться сначала в плохих директорах и хороших председателях, не гони картину. Высшая революционность искусства заключена в его эволюции. От Тредиаковского — к Пушкину, от Радищева — к Толстому. От Лермонтова — к Маяковскому. Вот так. От Эйзенштейна — к Феллини. Не надо считать себя человеком с голой задницей.

— А он мыслит, — усмехнулась девушка с плоскими пальцами.

И физики снова начали спорить — теперь они говорили о константе кривых линий, и о том, что прямых линий тоже нет, и о том, что все прямое обязано складываться и складывается из ломаных кривых — вроде кардиограмм сердца.

— Дунечка, хочешь ко мне на колени? — спросила Аня.

Дунечка села к Ане на колени, и Аня стала гладить ее по голове, хмуря свои черные брови и сосредоточенно рассматривая скатерть, по которой расплылось кофейное пятно.

Никита отошел к буфету купить сигарет. Дунечка сказала:

— Ты не расстраивайся, Анечка, он же у нас шалопай.

— Он у нас не шалопай, — тихо сказала Аня, — он у нас Никитка.

К Ане подошел молоденький офицер-медик и сказал:

— Завтра улетаю на Чукотку, потанцуйте со мной, я буду вас два года вспоминать.

— Простите, я не буду, — ответила Аня, улыбнувшись, — я с Дунечкой.

— Иди, иди, — сказала Дуня, — иди.

И поцеловала Аню в щеку. Аня покачала головой и снова улыбнулась офицеру-медику. Он отошел, а потом вернулся и сказал:

— А когда вернется ваш спутник — можно?

Аня снова покачала головой, но подошел Никита. Дунечка спрыгнула с коленей девушки и сказала:

— Ну, не воображай, иди.

И Аня пошла танцевать с офицером. Она была тоненькая, сзади похожая на мальчишку — в джемпере из толстой шерсти и в джинсах.

— А она красивей Наташи, — сказала Дуня.

Официантка принесла бутылку вина. Никита налил себе в большой фужер, залпом выпил, закурил, подышал носом, налил еще и снова выпил.

— Дай мне языком попробовать, — сказала Дунечка.

— Фига.

— Папа давал.

— Ну лизни, только чуть-чуть.

Дуня зажмурилась от наслаждения:

— Ане оставь, — попросила она, — а то ты все можешь кирневич-валуа.

— Чего ты такая заботливая стала? Сама говорила — волосатая.

— Мало ли что сказать можно.

— Ничего я не понимаю, Дунька, — вздохнул Никита. — Ничего.

— Эх ты, глупенький, горе мне с тобой, — сказала Дунечка фразу, которую Надя часто говорила Степанову, — дурачок совсем даже необразованный...

Степанов заехал в редакцию. Народу было мало, многие уехали отдыхать, другие разлетелись по командировкам. Степанов зашел в секретариат:

— Ничего не слышно, как там моя командировка во Вьетнам?

— Пока не слышно ничего, — ответил замсекретаря. — Ты же летишь в Арктику.

— Я рассчитываю вернуться оттуда через месяц.

— К тому времени что-нибудь прояснится. Ты свой материал, кстати, вычитал? Если из ЦСУ ничего не придет — может быть, поставим тебя.

Степанов пошел в отдел, к секретарше с таинственным именем Флорина, взял у нее гранки, которые лежали в серой папке набранных материалов, и заперся в пустом кабинете — это был очерк из его последней командировки.

...В клинике уже знали, что Надя только что развелась с мужем. Как и кто узнает об этом первым — сказать невозможно. Тоня, конечно, никому ничего не говорила. Бог с ними, пускай...

Огромная бабища — Надя забыла ее фамилию, она все время мечтала заменить свой золотой мост на фарфоровый, — усаживаясь в кресле, смотрела на Надю скорбными глазами, а потом не выдержала:

— Бедная вы, бедная, — сказала она, — какое коварство и низость... Инженер человеческих душ к тому же...

— Откройте рот, — попросила Надя.

Женщина широко открыла свой непропорционально маленький, аккуратный ротик и продолжала, мешая Наде работать:

— Я бы на вашем месте, — говорила она, но из-за того, что рот ее был широко раскрыт, выходило: — я ы а ашем есте... в партком... Или как это у них называется — ит... онд...

Надя улыбнулась и переспросила:

— Куда, куда?

— В Литфонд, — ответила пациентка, почувствовав, что сможет закрыть рот и поговорить хоть минуту.

Надя сделала ей укол.

— Больно...

— Ничего. Посидите десять минут, пока подействует новокаин.

— Я вас очень уважаю, — продолжала говорить бабища, тяжело поднимаясь с кресла, — но порой вы меня поражаете... Вы какая-то безвольная. Я бы своего сгноила в Сибири... А никакой не развод! У Потапчук ушел муж, так она его — нашатырем, нашатырем!

И ничего — вернулся, и прекрасно живут. Надо бороться за свое счастье, Надежда Евгеньевна. А так — дай им только свободу! Им ведь что надо — талию сорок два и бюст — конусом...

Надя бросила шприц в тазик и быстро вышла в соседнюю комнату.

— Тонечка, — попросила она, — сделай этому животному еще один укол, чтобы оно окончательно заморозилось...

Сняв трубку, Надя набрала номер телефона: у Никиты никто не отвечал. Она позвонила домой: там тоже никого не было...

Степанов стоял возле запертой двери и колотил в нее кулаком. Соседка из квартиры напротив испуганно приоткрыла дверь на цепочке и сказала:

— Его нет, что вы стучите?

— Может, спят...

— Да нет же, я видела, как они уходили.

— Утром?

— Почему утром? Вечером.

Степанов спустился вниз и позвонил из автомата домой. Слушая длинные гудки, он вспомнил, как летом они жили у моря. Рано утром он садился работать, а Надя с Дунечкой отправлялись на пляж, под навес. Они всегда садились где-нибудь с краешку, чтобы быть одним.

Когда Степанов прибегал, чтобы ополоснуться, он всегда подолгу стоял в стороне и смотрел, как Дунька играла с Надей. Сильное и красивое тело жены и маленький вьюн рядом — Дунечка. Они о чем-то шептались, тихонько смеялись, собирали камушки, а потом шли в море. Дунечка каждый раз боялась входить в море, и Надя вносила ее на руках. Дунечка так и плавала, лежа на руках у Нади, шлепала ногами и руками по воде, поднимая синие брызги, и кричала:

— Я рыбка!

А еще он вспомнил, как они ждали его, когда он возвращался откуда-нибудь, и как Надя что-то готовила на кухне, а Дунечка сервировала стол, и потом они обе — такие похожие, два самых дорогих существа — сидели напротив него и молча смотрели, как он ест, подперев одинаковые головы одинаковыми ладонями.

А еще он вспомнил, как к нему по утрам приходила

Дунечка в длинных полосатых брючках и в теплой кофточке, забиралась на грудь и просила:

— Побеседуй со мной, пожалуйста, а я тебе расскажу, что мне во сне показывали.

«Неужели этого никогда не будет? — подумал Степанов. — Никогда, никогда? Наверное, я должен был не давать развода и постараться еще раз объяснить все про себя, но ведь нет ничего обиднее, когда приходится выскребывать себя тому человеку, которого считал самым близким».

Он снова поднялся наверх и остановился возле Никитиной квартиры.

Соседка отворила дверь и сказала:

— Что же вы на площадке-то? Заходите, у нас подождете.

— Спасибо.

— Заходите, заходите.

Степанов вошел в квартиру. Его провели в длинную комнату, где мужчина и мальчик смотрели телевизор. В смежной комнате стояли три кровати, и на них спали дети — два мальчика и девочка. Они были укрыты одинаковыми одеялами, и головы у них были одинаково подстрижены под горшок. На полу, в изголовье у девочки, лежала кукла с оторванной ногой.

Степанов спросил:

— Самая любимая?

Мужчина, сидевший у телевизора, и мальчик враз обернулись и недоуменно посмотрели на Степанова.

— Это я про куклу с оторванной ногой, — пояснил Степанов, — она, верно, самая любимая у девочки.

Но его снова не поняли, и Степанов сказал:

— Это я так, ничего. Не беспокойтесь, пожалуйста.

Мужчина и мальчик снова обернулись к телевизору. Шла передача «Здоровье», и круглолицый врач с бритой головой обстоятельно рассказывал про то, как надо сохранять вечную молодость.

Женщина стояла за спиной у Степанова, сосредоточенно слушала передачу и гладила детские рубашки.

«Вот так, — подумал Степанов. — У меня на сердце страх, тревога и смятение. А у них спокойно, вот и телевизор их не раздражает, и рядом спят трое карапузов, а четвертый сидит возле отца и слушает белиберду про то, как надо сохранять вечную молодость».

— Позвольте, я посмотрю, не вернулся ли он, — сказал Степанов.

— Тут слышно. Мы б услышали.

— Да?

— Конечно. Между прочим, я давно хотела с вами о племянничке поговорить. Хороший он мальчик, только домой так поздно приходит, так поздно... А еще, как соберутся, так песни орут, так орут, так орут...

— Песни плохие, — сказал мужчина у телевизора. — Морального в них мало. А парень он хороший, это верно. Обходительный.

Мальчик, сидевший возле отца, сказал:

— И ничего не плохие песни, пап, а очень хорошие.

Мужчина поглядел на Степанова, сбросил со лба на глаза очки в толстой коричневой оправе и сказал:

— Вот пожалуйста: отцы и дети. А говорят, нет проблемы.

— Проблемы нет, — сказал Степанов, — просто есть отцы и дети.

— Мура, собери чайку, — попросил мужчина.

— Сейчас закипит — сядем.

Степанов сказал:

— Мне очень неловко... Я к вам ворвался, а вы отдыхаете.

— Да бросьте, ей-богу, — буркнул мужчина, — что вы как дамочка?!

— Вы счастливые люди, — сказал Степанов.

— Все люди счастливы, только многие про это не знают.

— У меня есть приятель, — сказал Степанов, — он биолог. Занимается вопросами парапсихологии. Он года два проводил эксперименты на обезьянах: нашел у них в мозгу центры, в е д а ю щ и е наслаждением, и вживил в эти центры две пластины. Когда эти пластины замкнешь — наступает состояние блаженства. Обезьяны все время держали эти пластины замкнутыми, а когда приходило время их кормить и надо было разомкнуть пластины, обезьяны бились в истерике, царапались и кусались. Мой приятель предложил мне вживить эти самые пластины: все трын-трава, живи себе наслаждайся, а кругом — хоть потоп.

— Это фашизм, — сказал мужчина.

— Да?

— Наука нынче шибко расшустрилась, — вздохнул мужчина, — как дитя неразумное. Доведут они нас, ученые-то, до ручки. К нам на завод приезжают академики — те самые, из молодых. У них глаза стоячие...

И у всех, как на подбор, голубые, будто молочные...

С кухни жена крикнула:

— Помоги посуду вытереть, Вань!

Мужчина поднялся:

— Я сейчас.

...Никита танцевал, прижав к себе Дунечку. Он держал ее на руках и танцевал с ней, закрыв глаза.

— Тебе спать хочется? — спросила Дуня. — Да? Замучился со мной?

Никита покачал головой.

— А чего ж глаза закрываешь?

— Это хорошо мне.

— Закрывать глаза надо, если плачешь, глупенький.

— Ах ты, Гегель мой дорогой, все-то ты меня учишь...

— Анечка насовсем ушла?

— Не знаю, Дунь, спроси что-нибудь полегче. Наверное, если у тебя появились сомнения, их надо пытаться решить с самим собой, чтоб никого не обманывать. Только надо, чтоб один человек умел ждать, пока другой в себе разбирается. Понимаешь?

— Ты как по телевизору говоришь — ничего не поймешь.

Джаз ушел на перерыв. Никита отнес Дунечку за столик, и они начали пировать — Дуня лизала мороженое, а Никита пил вино. За столом у физиков продолжал бушевать спор. К ним подсел новый товарищ — они называли его «Оля».

— Бросьте, — говорил Оля, — вы все ворчуны и нытики, противно слушать. Как старики! Вы прекрасного вокруг себя не видите, слепцы! Копаетесь, как воробьи в навозной куче. Физика вам плоха, биология — плоха. Это вам не так, то не так! А что же так?!

Девушка с плоскими пальцами поправила свои темные очки и сказала:

— Оля, ты не прав. Прогресс требует правды. Говорить только о прекрасном и закрывать глаза на плохое — значит предавать прогресс.

— А видеть только плохое? Это что значит — ответь!

— Видеть только плохое — это значит быть слепым глупцом, лишенным дара видеть мир таким прекрасным, каков он есть, во всех его противоречиях. Видеть вокруг себя только плохое — это так же глупо, как видеть только одно хорошее, — сказала девушка.

— Ерунда!

— Почему?

— Ерунда — и все!

— По-моему, ты путаешь два понятия: брюзжание и неудовлетворенность. В основе того и другого лежит четкое видение плохого. Только брюзга умирает от болезни желчного пузыря, а не удовлетворенный собой человек ставит крест на каменном угле и переходит к ядерному топливу.

— Э, — сказал Оля, — брось. Ты все это придумываешь, чтобы позубоскалить над нашими недостатками. Разве нет?

Никита обернулся и сказал:

— Слушай, толстый Оля. Лучший способ отметить годовщину революции — это сосредоточить внимание на нерешенных вопросах. То, что можно уничтожить правдой, не существует. И заткнись. Ты болтаешь, как дешевый демагог. Пусть мне отрубят руку твои знакомые, но ты наверняка плохой физик и очень хороший член бюро вашего комсомола.

— У человека есть зубы, — сказала девушка с сигаретой, — попал в точку.

— Спекулянт, — сказал Оля. — Обычный спекулянт. Лирик. Что они знают?

Никита поднялся во весь свой нескладный рост и пошел на эстраду; Дуня спросила:

— Никит, а я?

Он взял ее за руку, больно сжал пальцы и крикнул.

— Тихо!

В зале замерли. Никита отодвинул микрофон и начал читать стихи:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но зрелость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

В зале захлопали. Никита поднял руки над головой *и крикнул:*

— А теперь пусть сюда выйдет этот самый Оля, и

пусть он скажет свое кредо. Что ж ты пыжишься, толстый? Валяй.

Никита спрыгнул вниз, принял на руки Дуню и вернулся за свой столик. Девушка в темных очках откинулась назад, протянула Никите руку, гибко обернувшись к нему, словно гуттаперчевая, и сказала:

— Вас как зовут?

— У меня довольно популярное имя, — ответил он. — Меня зовут Никита. Садитесь к нам, с ним же рядом противно.

Девушка подвинула свой стул к Никите и Дунечке.

Оля взял девушку за плечи и повернул ее на прежнее место. Он это сделал так грубо, что за его столиком все замолчали.

Никита сказал:

— Дуня, это очень важно — посиди одну минутку, ладно?

— А ты за чем? — тревожно спросила Дуня.

— За правдой.

Никита тронул Олю за плечо и сказал:

— Ну-ка, парень, выйди на минуту.

Оля поднялся и пошел к выходу. Следом за ним пошел Никита. Они вышли на улицу.

— Слушай, ты, — сказал Никита, — у таких, вроде тебя, обязательно есть дети, о которых вы и знать не хотите, а треплетесь по кафе о великой правде.

— Сопляк, — улыбчиво сказал Оля, — руки об тебя марать не хочется.

— Зато мне хочется.

Оля бросился на Никиту. Никита перехватил его левую руку, рванул на себя, повернул запястье и швырнул громадного Олю через себя так, как учил Немировский. Тот, упав на землю, грузно ахнул и стал быстро-быстро перебирать ногами. Никита пошел в кафе не оглядываясь. Он сел за столик возле побледневшей Дунечки, поцеловал ее в лоб и сказал девушке в черных очках и ее затихшим соседям:

— Ваш Оля пошел собирать подснежники.

Степанов теперь сидел на ступеньках лестницы, потому что в той квартире легли спать. Его оставляли там, но он сказал, что пойдет поищет Никиту, и спустился вниз. Здесь он сел возле батареи, чтобы согреться, потому что его била дрожь, но батареи уже перестали топить и от них шел холод.

Степанов чувствовал, как у него горели щеки, и кровь пульсировала в висках, и очень щемило сердце. Мысли у него были отрывистые, быстрые. Если бы он постарался записать, о чем он сейчас думал, то ничего связного из этого бы не вышло. Он думал про Дунечку, иногда вдруг вспоминал слова Левона, который говорил, что человека можно подавить, но изменить нельзя, потом думал, что мог отколоть Никита и где они сейчас, и отгонял от себя тот ужас, который ему мерещился. Иногда Степанов поднимался и начинал быстро расхаживать по темному парадному, но тогда озноб делался совсем невозможным, и у него начинали трястись ноги под коленками. Вдруг он ясно, из темноты, видел лицо Нади, когда она приходила к нему после ссоры. Оно у нее тогда было, как у Дуни, точно как у Дуни, только под глазами залегали коричневые пятна от слез. Она прощала легко и хотела, чтобы так же прощал он.

Степанов не мог больше сидеть в темном парадном и вышел на улицу. Летел тополиный пух. Гасли окна в домах. Были слышны шаги прохожих, которых никогда не слышно днем. Если слышны шаги на улице — значит, пришла ночь.

К подъезду подъехало такси. Степанов рванулся к машине. Из такси вышла Надя. Степанов и Надя стояли друг против друга — молча и неподвижно, только Степанов чувствовал, как у него все сильней трясется под коленкой и холодеет в висках.

Надя с трудом разлепила губы и чуть слышно спросила:

— Нет?

Степанов хотел ей что-то ответить, но ответить не смог и только медленно покачал головой.

— Где они?

Степанов снова ничего не ответил ей, хотя собирался сказать, что знает не больше ее самой. Он поднял плечи и развел руками.

Надя вошла в темный подъезд, а Степанов остался стоять у двери. Он вспомнил знакомого англичанина, доктора философии из Лондона. Чуть наигрывая, он говорил Степанову:

— Каков закон отцовства? И есть ли он вообще? Конечно же, есть. Люди живут по извечным законам. Но законы меняются. Любовь восемнадцатого века была романтической, подкрепленной серенадами. Она принадлежала немногим, та любовь. Революционный девятнад-

цатый век создал новую любовь — любовь самопожертвования. Она принадлежала многим, но не всем. Так же, по-прежнему, одни любили, другие продолжали человеческий род. В двадцатом веке — веке кинематографа — любят все. Высокие скорости через высокий риск рождают эгоизм. Мальчики и девочки двадцатого века считают, что самое важное в жизни — это удовлетворять возникающие желания. Так приходит забвение песни. Но в каждом веке живут люди старого века. Это вольтова дуга, если век восемнадцатый любит век двадцатый. Это счастье и отчаяние, это вера и безверие, это чистота и грязь. Хотя кто посмел бы назвать грязью поле после весеннего дождя? Или желтую чавкающую глину ранней весной, когда сойдет снег и ноги не выдерешь из студенистой земли? Почему грязь? Грязь только тогда, если врут. Все остальное — чисто.

Либо разница в возрасте, либо одинаково сумасшедшие характеры, либо незнание, либо просто радость от всего, что происходит, — вот гарантия прочности чувства. Последнее, правда, редкостно и возможно только в том случае, когда нет детей, а символ жизни: «Все идет к лучшему в этом лучшем из миров».

Степанов пытался было спорить, но философ сказал:

— Бросьте, это моя исповедь.

— Никита, я домой хочу, — сказала Дуня, — здесь все какие-то сумасшедшие. Кричат, кричат. А зачем кричат — совсем даже не знают.

— Знают, Дунька.

— Пошли? А то мама будет беспокоиться.

Молодежное кафе смеялось, танцевало, пело. Лица молодых людей были красивы. За окнами проносились редкие машины. Фонари светили голубым светом. Посреди высоких домов торчал огрызок месяца.

— Дунь, — сказал Никита, — пойдем, я наберу номер, а ты поговоришь с Анютой.

— Про что?

— Ну, как она доехала...

— Пошли...

Никита набрал номер. Дунечка взяла трубку и сказала:

— Алло. Это кто? Пожалуйста, мне Аню. А кто это? Коля?

— Какой? — спросил тихо Никита. — Заика?

— Да, — ответила Дунечка, — с которым ты дрался. Это я не вам, Коля, это я Никите.

Никита взял у Дуни трубку и спросил:

— Вариант «природа не терпит пустоты» — так надо понимать твой визит?

Коля ответил:

— Ты дурак, Никитонский, о-обыкновенный полноценный д-дурак.

Никита повесил трубку:

— Дунь, едем к ним.

Они вышли из кафе. У дверей стоял Оля с тремя дружинниками.

— Это он, — сказал Оля, — это он, товарищи.

— Это он, это он, ленинградский почтальон, — сказал Никита, — какие еще будут откровения?

— Ты драку зачем начал? — спросил дружинник. — Придется с нами пройти.

— Что вы, ребятки, у меня Дуня спать хочет.

Дружинники переглянулись, и старший спросил Олю:

— Вы настаиваете?

— Да, категорически...

— Меня мама ждет, — жалобно сказала Дунечка.

— А мне ребро сломали! — выкрикнул Оля. — У меня бок синий.

Дружинники заулыбались; Никита покачал головой:

— Хороший цвет, поди ж ты, и у такого подонка.

— Вот видите! Вот видите! — оживился Оля. — Вот, пожалуйста!

— Пойдем, Никита, — потянула Дунечка его за руку, — пошли, я домой хочу.

— Пошли, — сказал Никита и, отодвинув плечом Олю, пошел по улице. Дружинники его не остановили. Дунечка и Никита шли медленно, а у них за спиной шумел побитый Оля.

— Бежим, — шепнула Дуня, — а то догонят.

— Никогда не убегай, — так же шепотом ответил Никита, — наоборот, надо тихо идти. Ну мне и будет сегодня!

— От мамы?

— И от папы тоже, хотя, конечно, сестрица, наверное, нахлещет по щекам, как в розовом детстве.

По улице медленно ползла поливальная машина. Никита поднял руку. Шофер затормозил.

— Приятель, — сказал Никита, — вот ребенок потерялся, везу к родителям, подбрось, а?

— А ты кто?

— Как кто? Милиционер.

Никита и Дунечка забрались к шоферу, и они, умывая засыпающую улицу, поехали к центру.

— Как же ты потерялась, красавица? — спросил шофер. — Теряться — это последнее дело.

— А это Никита сказал, что я потерялась, а я не потерялась, я же вот сижу.

— Милиционер, ты чего ж обманывал?

— Не обманешь — не проедешь, — сказал Никита, — а денег-то нет.

Шофер достал из ящика яблоко и протянул его Дуне:

— Держи.

— Спасибо. А оно мытое?

— Ишь, врач мне тут нашелся.

Дуня стала грызть яблоко. Никита сказал:

— Вы как хищник — все по ночам да по ночам. По Садовому не поедете?

— Там мне бока наломают за конкуренцию. Я улицу Горького мою.

Возле памятника Пушкину Никита и Дунечка вылезли. Никита взял Дуню на руки. Дунечка, обняв Никиту за шею, спала и во сне морщила лоб.

Надя сидела на подоконнике в пролете пятого этажа на темной лестнице и даже плакать не могла — так ей было страшно и пусто. Какая все мура и мелочь — все что было сегодня, и все, что было плохого, которое привело в зал суда, по сравнению с тем, что происходило сейчас. Как это было нечестно по отношению к маленькому человеку, которого здесь нет!

Степанов стоял внизу, на том же месте, что и час назад. Мысли его перестали рваться на куски и сделались ровными и четкими. Он ясно, графически ясно понимал, что жить без этих двух женщин не может и не сможет. Не просто существовать — это всегда легко, а именно жить, то есть работать, делать свое дело, мучиться, сходить с ума, рвать написанное, стыдиться всего сделанного и снова делать. Ничего этого он не сможет делать никогда, если только рядом с ним всегда, до конца дней не будут две женщины — большая и маленькая, два любимых его человека, прекрасных и нежных.

Никита зашел в автоматную будку и снова позвонил Ане.

— Анька, — сказал он шепотом, — это я. Ты что делаешь?

— Тебя жду, — так же шепотом ответила Аня. — Все равно ты никуда не денешься.

— Ты тоже.

— Почему ты так тихо говоришь?

— У меня Дунечка спит.

— Приходите ко мне.

— Тогда завтра я похороню двух родственников.

— Я тебя целую.

— Я тебя тоже.

— Я тебя целую.

— И я тебя целую.

— И я тебя очень целую.

— И я тоже...

...Степанов прижал Дунечку к себе и выдохнул — глубоко и судорожно. Дунечка спала тихо и что-то бормотала — строгое и очень, по-видимому, важное для нее. Иногда она улыбалась.

Никита открыл окно. Он увидел, как по улице медленно шел Степанов. На руках у него спала дочь. Надя шла за ним, уткнувшись ему в спину головой, и держала его рукой за левое ухо.

— Идиоты, — сказал Никита, — сумасшедшие идиоты.

Он подскочил, достав рукой до косяка, снял рубашку и брюки, прыгнул в постель. Укрыл голову подушкой и снова повторил, засмеявшись:

— Идиоты.

„ОН УБИЛ МЕНЯ ПОД ДУАНГ – ПРАБАНГОМ"

21.50.

Комиссар охраны Ситонг открыл дверцу «газика», мучительно прислушиваясь. Машина натужно ползла в гору. Подъем был очень крутым.

— Выключи подфарники, — сказал Ситонг шоферу.

— Тут воронки. Можем загреметь в пропасть.

— Выключи подфарники, — повторил Ситонг.

— Что? — спросил Степанов. — Летает?

— Вроде бы, — ответил Ситонг. — Стоп.

Шофер выключил мотор. Машина медленно покатилась назад.

— Поставь на тормоз, — сказал Ситонг.

— Она на тормозе.

— Почему катится?

— А он не держит на таком крутом спуске.

— Поставь на скорость, — посоветовал Степанов.

— Это не разрешается по инструкции, — ответил шофер.

— Инструкция простит, — сказал Ситонг, — сейчас свалимся.

Шофер поставил машину на скорость, и Ситонг выскочил из «газика».

— Никого нет, — сказал Степанов, прислушиваясь.

Ситонг, досадливо махнув рукой, стоял замерев. Он прислушивался к небу, вытянув шею, — словно так дальше слышал.

— Ты ошибся, Си, — сказал Степанов, — тебе просто показалось.

И в это время он услышал самолет.

— Ситонг не ошибается, — сказал комиссар охраны. — Ситонгу нельзя ошибаться, иначе тебя давно бы уже убили. Лезем в скалы.

Они взяли рюкзак с едой, автомат, фляги и полезли в скалы.

— Кто летит? — спросил шофер. — Эй ди сикс?*

— Он. Кому же еще летать ночью? С этого тихохода можно бомбить даже ящерицу, не то что машину.

---

* АД-6 (эй ди сикс) — самолет ВВС США.

Шофер остановился и сказал:

— Я оставил в машине свою новую куртку на молнии...

— Ничего, померзнешь, — ответил Ситонг. — Пошли быстрей, он уже рядом.

21.57

— Ну-ка, Билл, погляди ты: вроде бы они остановились?

— Да, командир.

— Радар не барахлит?

— Нет. Просто, видимо, они услыхали нас. Поэтому и остановились.

— Ты думаешь?

— Я думаю.

— Это хорошо, что ты думаешь, — улыбнулся Эд Стюарт, — на этой земле вообще разучились думать. Чем больше люди научились делать, тем они меньше стали думать. Между прочим, напрасно ты не записываешь мои афоризмы: их можно выгодно продать. Например, во Франции. Зайдешь в «Юманите» и предложишь афоризмы «воздушного пирата». Они очень ценят такие эпитеты. Отвернем, Билл. Все же они нас услыхали. Пусть успокоятся и поедут дальше, а мы сделаем круг. Нет?

— Да, командир.

— Ты был в Париже?

— Нет.

— Плохо. Каждый человек обязан побывать в Париже. Ты читал «Праздник, который всегда с тобой»?

— Нет. Чье это?

— Хемингуэя.

— Это который пустил себе пулю в рот?

— Да.

— Нет. Я читал про то, как он развлекался с молоденькой итальянской потаскушкой.

— «За рекой в тени деревьев»?

— Я не помню названия. Я всегда забываю названия, — улыбнулся второй пилот. — Про что — помню, а вот название и фамилию автора забываю.

Эд засмеялся.

— Значит, говоришь, он развлекался с молоденькой итальянской потаскухой?

— Ну да. Они там еще все время пили. Алкоголики какие-то. Вообще все итальянцы алкоголики.

— Это ты сам? Чуть убавь обороты. Вот так. Хорошо. Это ты сам? — повторил он.

— Что?

— Сам придумал про итальянцев?

— Нет. Там воевал отец, он мне рассказывал.

— Тебе двадцать?

— Почему? Мне двадцать два.

«Неужели я в двадцать два был таким же болваном? — подумал Эд. — В молодости мы все кажемся себе гениями и только к старости понимаем, какие же мы в сущности кретины».

— Ты молодец, старина, — сказал Эд, — ну-ка, давай зайдем на них еще раз.

22.07

— Все, — сказал Ситонг, — отцепился.

— Я так боялся за свою новую теплую куртку на молнии, — сказал шофер, — она греет словно весеннее солнце.

— Тебе положено бояться за машину, — ответил Ситонг, — а не за куртку на молнии.

— Ты всегда такой грозный, Ситонг? — спросил Степанов. — Что это с тобой случилось?

— Я всегда становлюсь таким, когда кончается поездка. Когда к нам приезжал профессор-француз из трибунала Честности, я в конце поездки ругал его самыми страшными лаосскими ругательствами.

— Зачем?

— Просто так. Чтобы самому успокоиться. Если убьют в поездке — тут уж ничего не поделаешь: война есть война. А когда до границы осталось двести километров — погибать совсем обидно.

— С той стороны границы бомбят так же.

Ситонг вдруг усмехнулся:

— Там за тебя будет отвечать вьетнамский комиссар охраны, а здесь отвечаю я. Хочешь выпить?

— Хочу.

Ситонг протянул Степанову флягу:

— Держи.

— Спасибо.

Степанов сделал два больших глотка:

— У вас от самогона за версту несет рисом.

— Рис — не дерьмо, можно и понюхать. Зато крепкий самогон. Пей еще.

— Не хочу.

Ситонг сделал несколько глотков, прополоскал рот и сказал:

— Десны очень греет. Приятно. Ладно, пошли в машину.

Мотор никак не заводился, иступленно выл стартер.

— Посадишь аккумулятор, — сказал Степанов.

— Не посажу, — уверенно ответил шофер, и по этой его уверенности Степанов понял, что аккумулятор он наверняка посадит.

Это было в Крыму, в Старом Свете. Степанов тогда купил старенький «Москвич», и они с Надей поехали к морю. Был конец апреля, но он все же уговорил ее:

— В мае уже купаются.

— В конце мая, — уточнила Надя, — а ты месяц не усидишь...

Но ему очень хотелось поехать к морю на «Москвиче», и они поехали.

Зачем женщина вначале так легко соглашается с взбалмошным неразумением любимого? Зачем так скоро любовь трансформируется в чувство собственника? Зачем мы, исповедуя философию движения, относимся к любви словно слепые узколобые догматики? Зачем не говорим себе, что любовь обязательно переходит в дружбу и в привязанность, а это ведь уже не любовь? Проблема человеческой совместимости — это и есть проблема счастья и любви. Перед тем как зимовщиков отправлять на год в Арктику, их испытывают психиатры. Неужели влюбленным надо проходить испытание на будущую совместимость? Может быть, кто знает.

— Смотри, море, — сказал тогда Степанов.

Оно появилось в разрыве облаков ранним утром. Старый Свет еще спал — только отчаянно голосили петухи. И еще очень горько пахло жженными листьями. Этот запах казался Степанову горьким, потому что он уезжал от Нади в первый раз, когда на даче жгли листья — и голубой дым уходил в синее сентябрьское небо. Надя долго стояла возле калитки, глядя ему вслед, и он то и дело оборачивался, и в нем все пело, и идти ему тогда было невозможно легко — как после хороших трех раундов. Только после хороших трех раундов с товарищем, после горячего душа и жесткого полотенца в нем появлялось такое ощущение.

Счастливая горечь первой недолгой разлуки с ней по-

том прошла, разлуки стали их бытом, а вот горький запах жженых листьев остался в нем как символ недолгого счастья, тишины и любви.

— Очень скользкая дорога, — сказала Надя. — Будь осторожен.

— Да ладно, — сказал он, — ты смотри, какое море!

Он резко перевел рычаг переключения скоростей, и рычаг остался у него в руке — хороший металл поставили на заводе, черт их дери! Машина заскользила вниз по горной дороге. Она стала неуправляемой и скользила быстро.

— Правь, родной, правь! — прошептала Надя и стала бледной и пальцы поднесла к щекам. Она всегда подносила свои длинные пальцы к щекам, когда пугалась, или когда он обижал ее, или если она смущалась чего-то. Руки ее не потянулись к дверце, нет. Она сидела возле, повторяя все время как заклинание:

— Правь, Димочка, правь...

А он тихо матерился и не знал, что делать, потому что машину тащило вниз, а метрах в двадцати начинался крутой обрыв. Тогда Степанов зажал в ладони острый огрызок рычага передачи, перевел его на первую скорость, и машина, дрогнув, остановилась.

— Правь, Димочка, правь, — продолжала повторять Надя.

— Чем мне править?! — закричал он тогда. — Что ты болтаешь?!

А она ведь ни разу не потянулась к ручке дверцы, чтобы выпрыгнуть из машины...

Все вокруг нас хрупко и непрочно. Зачем мы забываем об этом? Стекло хрупко? Чушь. Что есть на свете более ломкое, чем человеческие чувствования?

Мы начинаем предавать себя в дни счастья, не замечая этого. Во всяком горе жди радости. Значит, и в счастье должно ждать горя?

— Надо покрутить ручкой, — сказал шофер и засмеялся.

«Веселый парень, — подумал Степанов, — с таким не соскучишься. Тхань был настоящим водителем, а этот еще совсем мальчик».

— Давай ручку, — сказал Ситонг, вылезая из машины.

Шофер долго копался у себя под сиденьем, а потом сказал:

— Нет ручки.

— Чем же я тебе буду крутить? — рассердился Ситонг. — Пальцем, что ли?

Шофер рассмеялся, и Степанов тоже.

— Ничего, — сказал Степанов. — Сейчас мы развернем машину на месте и пустим ее вниз. Она пойдет под гору и заведется со скорости.

Они взмокли, разворачивая машину. Им приходилось удерживать ее над пропастью, но они все-таки ее развернули.

— Садитесь, — сказал шофер, — сейчас заведется. А внизу есть площадка, там можно развернуться. Там большая площадка...

Но они не сели в машину, потому что снова услыхали самолет.

22.13

— Ты заметил, что обостренное чувство совестливой стыдливости у женщины унижает мужчину? — спросил Эд. — Стыдливая женщина может сделать мужчину импотентом.

Билл смущенно хмыкнул.

— Ты что, девственник?

— Нет, командир. Только меня развратные женщины без стыда совершенно не волнуют. Мне самому стыдно за них. Я люблю нежность.

— Это потому, что вы теперь все слишком рано начинаете.

— Нет, командир. Про это больше болтают.

— Посмотрите-ка, а они все еще стоят. Они не могли нас слышать, мы подлетали из-за хребта.

— Обезьяны, — сказал Билл, — чарли* проклятые.

— Они люди, а не обезьяны. Зачем ты так? Надо уважать врагов. Если мы воюем против обезьян уже пять лет и по-прежнему сидим по горло в дерьме, то кто же тогда мы сами?

— На них надо бросить пять водородных штучек, и все кончится.

— Кто их будет кидать? Ты?

---

* Так американцы называли вьетнамских партизан.

— Ну и что. Я кину.

«А ведь этот действительно кинет, — подумал Эд, — и с ума потом не сойдет».

— А дети?

— Какие дети?

— Их дети. Маленькие дети. Они ведь тоже сгорят...

— Что — дети? «А ля гер, ком а ля гер»...

— К тому же ты знаешь французский?

— Я беру уроки.

Эд почувствовал затылком, как осклабился его второй пилот. Достав расческу, Эд уложил растрепавшиеся волосы. В расческе тихо потрескивали молнии.

— Ты спишь с мадам Тань?

— О чем вы, командир? — скрывая улыбку, ответил Билл. — Я не понимаю, о чем вы говорите...

— Ну-ка, внимательно посмотри: они на том же месте или сдвинулись?

— Чуть сдвинулись.

— К Лаосу.

— Странно, вначале они ехали во Вьетнам. Хватит горючего еще на один круг?

— Хватит. Не возвращаться же с бомбами...

— Можно отбомбиться здесь.

— По пустой машине?

— Ну и что? Все равно — урон для техники.

— Им русские пригонят взамен этой еще десять штук.

— Почему русские? А может, китайцы.

— Китайцы сами нищие.

— Ты стратег, а?

— Нет, командир. Просто я так думаю.

— Опять ты думаешь, черт возьми! Хватит тебе думать, я завидую тем, кто не думает...

— Мадам Тань купила вашу книжку.

— Ну?! Она умеет читать? Я думал, что она только умеет трахаться. Это прекрасно, когда туземная красавица умеет не только трахаться, но к тому же читает книжки.

— Она метиска. Ее отец был французом. А мать — камбоджийка.

— О, это прекрасно, когда отец француз...

— Она говорит, что вы пошли в авиацию из-за неудачной любви.

— Скажи на милость: она и про неудачную любовь знает?

— Зачем вы так? Она очень хорошая...

— Сколько ей?

— Тридцать.

— Молодец. Всегда надо учиться на женщинах, которые старше. Я начал с одногодок и только сейчас понял, какую сотворил глупость. Женщина, которая старше, понимает, что измена — это глупость и мелочь... Переспал с кем-то — ну и переспал... Вообще-то мужчины совестливее женщин. Разница в возрасте, Билл — единственная гарантия прочной любви. Запиши это, старина, запиши. Это купят даже в «Крисчен сайенс монитор» для раздела «Мысли бывалого идиота».

22.14

— Вот сволочь, — сказал Ситонг, — что это он к нам прицепился? Может, диверсанты передали им по рации, что я везу европейца? Они решили, что ты — какой-нибудь важный начальник, а не писатель, какой-нибудь Че Геварра, вот и охотятся. За простым Патет Лао они бы так не охотились...

— Зачем я им нужен? — усмехнулся Степанов. — Лишние дипломатические осложнения.

— Никаких осложнений. Бомбой разнесет в клочья, а они скажут, что это мы тебя... — и он присвистнул, изображая, что «они» сделали бы со Степановым.

— Да?

— Конечно.

И они оба рассмеялись.

— Ты отчего не женишься, Ситонг?

— Нельзя.

— Почему?

— Война идет.

— Тебе не страшно воевать, у тебя нет детей.

— Наоборот, — возразил Ситонг. — Когда есть дети — погибнуть не так страшно: после тебя останется на земле твое семя...

— А если ты останешься жив, а они погибнут? Тогда как?

Шофер осторожно кашлянул и быстро взглянул на Ситонга. Тот ничего не ответил, но Степанов заметил, как у него замерло лицо и вспухли желваки. Ситонг достал флягу и молча протянул ее Степанову.

— Не хочу. Спасибо.

Ситонг отвернул крышку и сделал несколько глотков.

22.20

— Вот теперь они едут, — сказал Билл, — только теперь они снова повернули во Вьетнам. Что это они — то сюда, то туда?

— Посмотри по карте — здесь начинается горный коридор, нет?

— Да. Точно. Надо ехать домой, командир. Горючего не хватит — думается мне.

— Опять ты думаешь... Что это за манера такая, — проворчал Эд, прикидывая остаток горючего. — Ты не охотник?

— Что?

— Я спрашиваю — ты не охотник, случаем?

— Нет. Отец мне запрещал охотиться. Он говорил, что это негуманно. Чем виноваты лесные птицы, когда их бьют из ружей с собаками? Надо охранять живность — ее и так мало осталось на земле. У нас дома всегда жили утята... Вся наша семья любит уточек...

22.24

— Гони! — закричал Ситонг. — Гони скорей!

На этот раз он услышал самолет, когда уже было поздно выбегать: американец хитро подкрался из-за хребта и теперь догонял машину сзади.

— Стоп! — крикнул Ситонг.

Машина, взвизгнув тормозами, замерла на месте.

— Вперед!

Шофер дал максимальную скорость, но машина все равно ползла очень медленно, оттого что дорога по-прежнему шла вверх. Ситонг кричал на шофера, парень растерялся и, вместо того чтобы дать подсос, врубил большой свет. Длинный, как крик, луч белого света повис в ночи.

— Идиот! — заорал Ситонг. — Идиот! Гони скорей, за поворотом — скала!

«Какая скала? — подумал Степанов. — При чем здесь скала? Здесь кругом скалы».

— Гони! Гони! — кричал Ситонг.

— Не кричи, — сказал Степанов, — ему и так трудно править.

И вдруг в луче света, примерно в двадцати метрах перед собой, они увидели спасение: дорога уходила в скальный тоннель.

Степанов никак не мог выдохнуть воздух, хотя ему

хотелось это сделать, а самолет ревел где-то совсем рядом.

— Ты гений, Ситонг, — шепнул Степанов, — только бы успеть, ты гений...

22.25

— Уточек, — повторил Эд, — это хорошо, что вы любите уточек. Большие вы все гуманисты, как я погляжу. А вот меня эта машина возбуждает, как кабан, который прошел номер охотника за пределом выстрела. Видишь, чарли нас услышали и с перепугу включили свет. Наивные чарли, они думают, что мы сверху видим их по свету. Они совсем не думают о наших локаторах. Черт, куда это они делись? Успели-таки, — сказал он, откинувшись на спинку своего кресла, — спрятались под скалу. Молодцы Здорово ездят эти лаосские парни.

Он прикинул по карте, когда они должны выйти из гор на равнину. Выходило, что примерно через пять часов они должны быть на равнине. Там, решил он, чарли от него никуда не денутся.

— Отбомбимся здесь, — сказал он, — через пять часов мы встретимся с ними на равнине.

— Да, командир, — ответил Билл и нажал кнопку. Самолет тряхнуло: бомбы полетели вниз.

22.28

Когда отгрохотало эхо и после взрыва бомб стало вокруг непроглядно темно, Ситонг, двигая нижней челюстью (здорово заложило уши), сказал:

— Все. Теперь можно спокойно ехать. Через шесть часов я передам тебя с рук на руки, а там, во Вьетнаме, русские ракеты, там они не так лихо летают, там они побаиваются. Тебя не задело?

— Нет.

— А уши?

— Ничего.

— Едем, — сказал он шоферу, — или снова надо покрутить?

Шофер рассмеялся — он был веселым парнем — и ответил:

— Я же не выключал мотора!

Когда они двинулись дальше, он по-прежнему веселился, объясняя Ситонгу, что со страху он не успел выключить мотор и, пока американец бомбил, очень боялся, что комиссар услышит, как работает мотор, и

даст крепкую выволочку: по инструкции мотор полагается выключать во время бомбежек.

— Интересно бы посмотреть в глаза этому летчику, — сказал Степанов. — Молча посмотреть ему в глаза.

— У него кровавые глаза. Что в них смотреть? В них надо стрелять.

...Ситонг говорил неверно. Глаза у Эда были голубые, добрые, очень красивые. И Степанов смотрел в эти глаза дважды: первый раз в Скандинавии, во время фестиваля молодежи. И он не просто смотрел в эти глаза. Он был хорошо знаком с обладателем этих глаз.

Они тогда пошли вдвоем на шхуну «Мария», по скрипучей лесенке спустились в прокуренный трюм, там ревел джаз и потные негры метались между столиками с бесплатным пивом. От табачного дыма щипало глаза. К столику, за которым сидели Степанов и Стюарт, подошли два парня — маленький толстяк и белобрысый верзила в белом джемпере и мятых белых джинсах.

— Это мой друг, — сказал белый парень, тронув грудь спутника мизинцем, — он из Кении.

Выкатив белки, тот широко улыбнулся.

— Меня зовут Ононкво, — сказал он, — я учусь в Киле. До этого я вкусил советского рая в Москве. Откуда вы, друзья?

— Я из Нью-Йорка, — ответил Эд и вопросительно посмотрел на Степанова.

— А я из Москвы.

— Русский? Почему вы здесь? Какой русский? — спросил белый парень, по-рязански окая.

— Советский.

Парень молча, тяжело разглядывал Степанова. К нему подошли еще несколько человек. Тогда он сказал:

— Лучше уйдите отсюда.

Столик теперь окружили тесным, жарким, тихим кольцом. Эд сидел бледный: с детства он боялся драк. Мать запрещала ему драться, и поэтому за ним утвердилась репутация труса. Позже он и сам поверил в то, что он трус. А потом он стал подшучивать над своей трусостью — чтобы ее скрыть. Люди не поверят, что человек, открыто вышучивающий свою трусость, — на самом деле трус. Так, считают все, поступают люди сильной воли, очень храбрые, с хорошим чувством юмора.

Белесый парень вдруг очень тихо заматерился. Не-

сколько человек взяли его за плечи, но он вырвался и ударил Эда — тот был к нему ближе, потом он бросился на Степанова. Степанов врезал ему апперкот — с подъема. Парень опустился на колени. Началась свалка. Потом Степанов услышал английскую речь: трое здоровенных верзил раскидали дерущихся.

— Что это за бардак! — кричал Эд, вытирая кровь с разбитого рта.

— Кто вы? — спросил его один из трех верзил.

Эд назвался.

— А кто с вами?

— Я из Москвы, — ответил Степанов.

В дальнем углу шхуны начал биться Ононкво.

— Пустите меня! — кричал он тем, кто держал его за руки. — Я покажу сейчас этому гаду из Москвы!

Самый высокий из трех американцев медленно обернулся и негромко сказал:

— Шат ап!

И парень сразу стих. Два американца ушли куда-то и через минуту возвратились с невысоким седым человеком.

«Где я видел его? — подумал Степанов. — Где-то я его видел, это точно. Ага, он приходил на литературную дискуссию».

— Здравствуйте, товарищ Степанов, — сказал седой, — меня зовут Виктор Михайлович. Бога ради, простите этих ребят: они дети горькой русской эмиграции, в их сердцах постоянная боль. Ведь ни одна нация, кроме русской, не знала такой опустошительной эмиграции. Кто это с вами?

— Эд Стюарт, писатель из Штатов.

Виктор Михайлович кивнул Эду и сказал:

— В России перемены... Идти вдвоем с американцем к нам на шхуну... Не боитесь, что дома потревожит КГБ?

— Боюсь, — ответил Степанов. — Видите, как боюсь...

— Он что — из ваших американцев?

— То есть?

— Марксист?

— Почему? Нормальный империалист.

— У вас тут есть что выпить? — спросил Эд. — Кроме пива, конечно.

— Я говорю только по-немецки, — ответил Виктор Михайлович. — Что он спрашивает?

— Он хочет выпить.

— У нас вообще-то безалкогольный студенческий корабль, но вас я угощу из своих запасов.

— Вы тоже студент? Или как?

— Я преподаватель.

— Чему учите? — хмыкнул Степанов.

— Хватит об этом, — улыбнулся Виктор Михайлович. — Я сейчас вам принесу «Посев». Мы защищаем вашу последнюю книгу от советской критики. Герр Шульц! — крикнул он вдруг страшным, немецким, командным голосом. — Герр Шульц! Три виски! Герр Шульц!

Появился здоровенный, толстый немец.

— Кто это? — спросил Эд одного из американцев, которые по-прежнему стояли чуть в стороне, словно родители, наблюдающие за тем, как играют детишки.

— Это их Гиммлер, — засмеялся самый высокий американец, — какой-то оберфюрер.

— При чем тут Гиммлер? — поморщился Виктор Михайлович. — Этот американец говорит по-русски?

— Ни бельмеса, — ответил Степанов.

— Обычная американская невоспитанность. Молодая нация, нет культуры, ничего не поделаешь. Герр Шульц — старый демократ.

Потом Степанов и Эд долго ходили по набережной. Белые ночи были на изломе. В серых, зыбких ночных сумерках лица людей были трагичны и нереальны.

— Откуда на шхуне появились три ваших паренька в штатском? — спросил Степанов.

— Думаете — наши?

— Уж не наши, во всяком случае.

Эд рассмеялся.

— Только не считайте, — сказал он, — что если я ругаю моего президента, то, значит, я выступаю за вас. Ругать тех, кто неверно правит твоей родиной, совсем не значит желать ей зла. Часто — наоборот.

— Вы ругали своего президента?

— Буду. Когда вернусь.

— В какой газете?

Эд назвал газету, от которой он приехал.

— Между прочим, который час? — спросил он. — В потасовке я потерял часы.

— Что ж после потасовки не поискали?

— Я щупал ногой под столом. Там не было.

— Богатая вы нация, — сказал Степанов, — можно

было и руками пощупать. А времени сейчас половина третьего.

— Ого! — присвистнул Эд. — Жена в гостинице лезет на стену.

— Всякий порядочный мужчина должен немного бояться жены, — сказал Степанов, — жену не боится только прощелыга или гений.

— Не всякий гений, — добавил Эд, — а только тот, который вступил в брак уже состоявшимся гением.

— Это вы к тому, что нет пророка в своем отечестве?

Эд поднял палец, остановился и записал что-то в книжечку: каждый человек строит себе баррикаду на тех мудростях, которые утверждают его в своих же глазах.

23.20

Эд спросил Билла, когда они вышли из штурманской прокуренной комнаты:

— Ты куда? К туземной женщине?

— Не знаю, командир, — ответил Билл, смутившись, — сначала я хочу посмотреть на белых женщин.

— Где ты их тут увидишь?

— Сегодня должны прилететь какие-то благотворительные журналистки из дома. Они путешествуют по Азии и должны завернуть сюда из Бангкока.

— Эти журналистки забыли, когда у них кончился климакс...

— Что? — переспросил радист. — Что они забыли?

Эд снова засмеялся и сказал:

— Иди к черту, старик, ты невозможен.

— А куда вы?

— Спать. Через пять часов мы с тобой выедем, так что не увлекайся бабушками.

Эд бросил свой «джип» где-то под деревом, в спешке, и сейчас, чертыхаясь, хлопал себя по карманам: фонарик, конечно, оставил в кабине.

«Глупость какая, — думал он, — зачем мне в кабине фонарик? Если угрохают — фонарик уже не потребуется. А сесть на вынужденную в скалах немыслимо. Сказано, чтоб держать в кабине, — и держу. Болван. Мы все любим жить по предписанию: удел мышей — жить по предписанию. Никакой ответственности — за тебя все расписано».

Ночь была безлунной, темной. Эд наткнулся на камень, выругался, заскакал на одной ноге. Он вспомнил, как над ним подшутили ребята в школе. Он очень любил

представлять себя знаменитым футболистом. Он выучился ловко бить мыском камушки и жестяные банки из-под пива. Однажды ребята завернули в белую бумагу тяжелый камень и положили его на дороге. Эд, конечно, ударил по этой бумажке мыском и упал, потеряв сознание от боли.

«Интересно, как фамилия того, кто это придумал? — подумал Эд. — Ему бы надо взять фамилию Гитлер».

Кто-то метрах в десяти от него включил фонарь. Острый луч света ослепил Стюарта.

— Эй, — сказал он, — осторожней. Посвети пониже — где-то здесь моя машина... И не свети в глаза — я так слепну.

Ему никто не ответил, но рука, державшая фонарик, послушно опустилась вниз, и Эду показалось, что человеку было тяжело опускать руку — так упруг и весом был луч света. Листва при этом мертвом белом свете была черной, неживой, похожей на чугунную. Днем она была нежно-зеленой, хрупкой.

Эд увидел свой «джип» и сказал:

— Погоди выключать. Я сяду за руль, и тогда выключишь.

Фонарик послушно освещал его машину. Эд вспрыгнул на сиденье. Прыгающий луч света приближался к нему.

— Кто ты? — спросил Эд. — Освети себя.

Яркое пятно света все приближалось.

— Эй! — сказал Эд. — Покажи себя, парень!

Ему вдруг стало холодно, и тело покрылось потом. «Чарли! — мелькнуло в мозгу. — От аэродрома сто метров, рядом — джунгли, и никого нет!» Он ударил себя по левой ляжке: кобура с пистолетом осталась в самолете. И тогда он пронзительно закричал — визгливым срывающимся голосом. Свет исчез. На том месте, где он только что был, зияла черно-зеленая пустота, расходившаяся постепенными радужными кругами.

— Не кричи, — он услышал до боли знакомый голос, — не кричи так страшно, дурачок.

Сердце его колотилось где-то в горле, руки мелко тряслись: так с ним было первый раз, когда он проходил сквозь заградительный огонь зениток возле Самнеа.

Кто-то опустился рядом с ним на сиденье, и тогда, в близкой темноте, он увидел лицо жены.

— Зачем ты приехала, Сара? — спросил он хрипло.

23.20

— Ну-ка, вруби фары, — сказал Ситонг, — что-то на дороге чернеет.

Когда шофер включил свет — через секунду, не больше, — прогрохотала автоматная очередь и машина сразу осела на правое колесо. Ситонг кошкой выскочил из кабины и, бросившись к тому черному, что перекрывало дорогу, на ходу дал ответную очередь, прижав автомат к животу. Степанов, падая на теплую каменистую землю, ясно представил себе, как Ситонг стреляет: когда они попадали в перестрелки, Ситонг бил из автомата, завалив его влево — от живота, бил мастерски, не целясь.

Прогрохотала ответная очередь. Другая. Третья.

«Из разных мест бьют, — подумал Степанов, — плохо дело-то. Их, значит, там не меньше трех».

К Степанову подполз Ситонг и молча протянул пистолет. Степанов отрицательно покачал головой.

— Почему? — спросил Ситонг одними губами, но он лежал совсем рядом, и Степанов понял его вопрос.

— Если возьмут — сразу поднимут визг: «вооруженный русский», — ответил он, подумав при этом: «И дома потом, если выменяют, затаскают по начальству и паспорт навсегда отнимут».

Ситонг положил рядом со Степановым свой длинный нож и отполз к шоферу. Они пошептались о чем-то, и Ситонг исчез. Шофер подождал несколько минут, а потом дал из своего трофейного американского автомата очередь по тому темному, что было впереди, на дороге. Ему ответили сразу из трех автоматов.

«Значит, их не больше, — подумал Степанов. — Выкрутимся».

— Сколько прошло времени? — шепнул шофер.

— Не знаю.

— Посмотрите на часы.

— У меня стрелки не светятся.

— Покажите мне.

Степанов вытянул руку с часами. Шофер приник лицом к часам, а потом шепнул:

— Без пяти шесть.

— Не может быть, — ответил Степанов. — Ты спутал. Наверное, половина двенадцатого.

Шофер хихикнул в темноте.

— Я всегда путаю стрелки, — сказал он, — особенно в темноте. Конечно, сейчас половина двенадцатого. В шесть часов начинают светлеть облака на востоке.

Степанов с трудом понимал парня — тот говорил очень цветистым языком. «Наверное, из Саванакета, — подумал Степанов, — там особенно красочный язык».

Снова прогрохотала очередь. Шофер не отвечал. Он потянул к себе руку Степанова и снова приник к часам.

— Пора, — шепнул он. — Если они побегут на вас, хватайте за ноги и бейте ножом.

— А ты?

— Я буду рядом, просто я говорю на всякий случай. Разите коварного врага ножом в горло, — закончил он саванакетской цветистостью.

И — отполз в сторону. Именно оттуда через минуту-две он дал несколько очередей, а потом закричал что-то пронзительное — Степанов так и не разобрал что. С дороги ответили очередями — Степанов видел красно-белые точки, разрывавшие черное полотно ночи, а потом выстрелы загрохотали в другом направлении, красно-белых разрывчиков уже не было, а после он услыхал голос Ситонга впереди и почувствовал, как кто-то невидимый бежал прямо на него по теплой каменистой дороге.

«Ну вот, сейчас, — сказал он себе. — Вот он рядом».

Но он не успел броситься на бегущего: чья-то стремительная тень метнулась от скалы. Степанов слышал, как человек тяжело упал. Потом он слышал тяжелые удары, сопение и стон, а после Ситонг закричал:

— Включайте фары!

Никто ему не ответил, но сопение где-то совсем рядом и тяжелые удары он по-прежнему слышал. Степанов поднялся, подошел к «газику» и включил свет. В белом луче он увидел шофера, который сидел верхом на человеке в серой куртке и бил его сцепленными руками по голове. Кровь на лице человека была черной.

— Эй, — негромко сказал Ситонг, — хватит. Он же не двигается.

...Двух диверсантов он уложил наповал, а третий, который ринулся вперед от неожиданно прогрохотавших сзади выстрелов, теперь лежал без сознания на дороге, и шофер по-прежнему яростно колотил его: звук был такой, будто мокрое белье били о камни.

Ситонг раскидал завал, который диверсанты сделали на дороге, шофер менял простреленное колесо, а Степанов сидел возле пленника и смотрел, как тот медленно приходит в себя. Подошел Ситонг, тронул человека ногой и сказал:

— Не наш. Это вьетнамец. Они сюда забрасывают диверсантов из Сайгона.

— Как ты определил?

— По лицу. Разве он похож на нас?

Степанов взглянул на пленника: тот был похож на Ситонга как две капли воды. Хотя, вспомнил он, в Ханое ему говорили, что все европейцы кажутся в Азии похожими друг на друга. «У нас лица разные, а вы все одинаковые, как братья». Степанов тогда удивился: «Но ведь у нас есть блондины, рыжие, брюнеты». Ему ответили: «А мы не смотрим на волосы. Мы смотрим только на форму глаз и на цвет кожи».

— Вставай, — сказал Ситонг пленному и ударил его мыском своих драных кедов. — Ну!

Пленник лежал не двигаясь, но глаза открыл.

— Что ты с ним говоришь? — удивился шофер. — Пусти ему пулю в лоб.

— Вставай, — повторил Ситонг.

Человек по-прежнему не двигался.

— Не понимает по-нашему, — сказал Ситонг. — Попробуй с ним по-американски.

— Нечего с ним по-американски, — снова повторил шофер из темноты, — ему надо пустить пулю в лоб.

— Он пленный, — сказал Ситонг.

— Он диверсант и стрелял нам в спину.

— Он стрелял нам в грудь.

— Какая разница?

— Разницы никакой, — согласился Ситонг, — только он пленный.

— Вы говорите по-английски? — спросил Степанов.

Пленный сразу поднялся, лицо его дрогнуло и стало растерянным.

— Кто вы? — спросил он.

— Патет-Лао, — ответил Степанов. — А вы?

— Пусть говорит правду, — сказал Ситонг. — Скажи ему, что у нас мало времени и трудно с местом в машине. Переводи, переводи! Переводи, — повторил он. — Они бомбят наши госпитали. Они заставляют нас говорить так.

— Откуда вы? — спросил Степанов. — Ваше имя?

— Я из Гуэ. Меня зовут Нгуэн Ван Хьют. Меня забросили американцы.

Степанов перевел.

— Спроси его — будет он говорить все моему командиру?

— Да, — ответил пленный.

— Спроси его: зачем он прилетел к нам?

Пленный долго молчал. Это был немолодой уже человек, очень худой, слишком для вьетнамца высокий. Хотя, может быть, он показался таким Степанову из-за худобы.

— У меня семья, — тихо ответил он, и губы его затряслись.

23.45

— Я не хочу в бар, — сказал Эд. — Я никуда не хочу, Сара.

— А я очень хочу, — сказала она и прижалась лицом к его плечу, и от ее прикосновения ему стало пусто и горько.

— Не надо, — попросил он.

— Нет, надо.

— Зачем ты прилетела сюда?

Сара отодвинулась, поправила прическу и ответила:

— У тебя есть сын, Эд. У тебя есть семья.

— Я предал самого себя из-за семьи, из-за сына, из-за тебя, — ответил он. — Ты получаешь деньги, Уолту пока еще не бьют морду из-за того, что его папа бомбит Азию, — чего тебе еще надо? Из-за вас я потерял самого себя — чего вам всем от меня надо?

— Теряют, когда есть что терять.

— Ну вот, видишь... О чем же нам говорить? О чем, Сара?

— Ты ведь сам хочешь, чтобы все наладилось.

— Ненавижу, когда за меня думают. Если бы я хотел, чтобы наладилось, я бы сказал тебе об этом. Кто из нас двух лучше знает меня: я или ты?

— Я.

— В каждом человеке живет много людей. Ты знаешь меня одного, мой радист — другого, сын — третьего, лаосцы — четвертого, а я — знаю себя пятого. И все мы разные. Ты всегда хотела, чтобы я был одним. Тебе надо было выйти замуж за клерка из рекламного бюро: они отличаются спокойной одинаковостью, а человек, который пишет или снимает, — обязательно должен быть психом. Ты этого никогда не могла принять, я шокировал тебя тем, что я был таким, каким был, а не был таким, как все.

— Ты изменял мне, Эд. Ты предавал меня с потаскухами, а я всегда была тебе верна.

— Сосуществование — это отнюдь не любовь, Сара, но любовь — это обязательно сосуществование! Любовь предполагает уважение к индивидуальности. Иначе — получается ярмо собственности. Ты считала меня своей собственностью, а человек принадлежит только самому себе.

— Я всегда была верна тебе, Эд. И меня никогда не тяготила эта верность.

— Что ты кичишься этим?! Что это такое — верность?! Медаль за храбрость? Счет в Лозанне?! Когда верность делается тиранией, так лучше пусть будет взаимоуважительная неверность.

— Тебе всегда хотелось, чтобы я изменила тебе, я знаю. Ты всегда по ночам расспрашивал меня: «Как тебе было бы с другим? Представь, что я другой...»

Стюарту вдруг стало мучительно гнусно: так ему было однажды, когда он пошел в клинику — смотреть аборт. Он писал повесть, и ему надо было описать аборт. Он после этого уехал на два месяца во Флориду и пил, не просыхая, чтобы забыться.

— Ты все помнишь, Сара, — сказал он, — у тебя прекрасная память. А я, когда спрашивал тебя о чем-то ночью, не помнил ничего днем...

— Не ври себе, Эд.

И он понял, что она сейчас сказала правду, и это родило в нем злость.

— Скотина, — сказал он, сморщившись.

— Это ты — скотина, — тихо ответила Сара, — это ты подлая скотина, а не я.

— Так зачем ты приехала сюда?!

— Потому что я тебя люблю...

23.47

Ситонг укрыл трупы двух диверсантов брезентом, связал руки пленному и сказал шоферу:

— Едем.

Шофер вздохнул:

— Все-таки лучше бы его тут пристрелить. Вдруг впереди еще одна группа? Что тогда нам с ним делать?

Ситонг попросил Степанова:

— Переведи-ка — их выбросили одних или были еще группы?

— Были еще четыре группы, — ответил пленный. — По три человека в каждой.

— Их бросили вместе?

— Вас бросили вместе? — перевел Степанов.

— Нет. Нас бросили последними.

— А те группы тоже должны делать засады на дорогах?

— Да.

— Где?

— Я не знаю.

— Ладно, — сказал Ситонг, — поехали. Мы успеем от него избавиться, если те нападут.

— Враги коварны, ночь темна, и нету серебристой луны, — как всегда, цветисто сказал шофер, включая мотор.

Они проехали километров пять, и Ситонг попросил:

— Останови машину. Я весь измазался кровью.

Шофер остановил машину. Ситонг включил фонарик: весь брезент был черным от крови.

— Как будто оленя везем, а не диверсантов, — усмехнулся он.

Степанов вспомнил якутскую тайгу. Он бродил там вдвоем с охотником Максимом: они промышляли белку. В тот год было хорошее белковье — в тайгу ушли целые деревни, а в домах остались только глубокие старики и школьники. Малышей родители тоже забрали в тайгу, и поэтому поселки были тихие-тихие, будто военной поры.

Однажды они с Максимом вышли к избушке старика, который раньше был шаманом. К нему перестали ходить люди, потому что приехала девушка-врач. И старик, чтобы не голодать, начал охотиться за волками. Он брал на фактории стрихнин и выслеживал волков — они задирали оленей. На это он и жил: за каждого волка ему давали пятьдесят рублей и двух оленей. Он даже по этому поводу выступил во время предвыборной кампании: рассказал жителям, как он плохо жил раньше и как хорошо ему жить теперь, когда он не эксплуатирует суеверия, а зарабатывает себе пропитание собственным трудом.

Когда Максим и Степанов пришли к нему домой, старик был болен. Он сидел на крыльце и грелся под лучами последнего осеннего солнца. Оно уже было не теплым, но все равно старик считал его целебным, потому что раньше он поклонялся солнцу и думал, что оно только и может вылечить либо навлечь болезнь.

Рядом с крыльцом стоял старый олень — такой же старый, как и бывший шаман. Зубы у него были желтые, стертые.

— Лечиться буду, — сказал старик.

— А чего тебе лечиться? — спросил Максим. — Ты нас переживешь.

Старик — довольный — засмеялся, обнажив коричневые зубы.

Он долго грелся на солнце, а потом пошел в дом — за топором. Топор был старый, плохо точенный, но тяжелый. Старик обвязал ноги оленю, которого ему привели утром за убитого волка, и присел на крыльцо — отдышаться. Потом он взял топор и, долго прицеливаясь, ударил оленя обухом по голове. Олень дрогнул, но не упал, и только в его старых, замшелых, серых глазах высверкнуло черно-красное. Старик ударил его еще и еще раз, и олень упал. Старик вытер с лица пот, ушел в дом и принес большой таз. Он приподнял голову оленя и подсунул под его шею таз. Олень плакал. Старик взрезал ему шею, и дымная кровь полилась в таз, и он пил ее из таза, пачкая лицо. Он долго пил дымную кровь оленя — самое ценное лекарство от всех болезней, и от старости тоже. А потом, шатаясь как пьяный, ушел в дом, повалился на лавку и уснул.

Вечером Степанов, спавший с Максимом на печке, увидел, как старик, совсем уж и не сгорбленный, легко ходил по комнате, мурлыкая что-то под нос, укладывал рюкзак: видно, собрался в тайгу.

— Кровь все лечит, — сказал он, увидев, что Степанов не спит, — наша доктор меня за это не ругает. Молодец, старый, говорит, до ста, говорит, доживешь. А мне уже сто три, — засмеялся он.

— Здесь сверни, — сказал Ситонг, вглядываясь в темноту, — здесь, по ручью, в скалах наши пещеры.

— А может, рванем напрямик? — спросил Степанов.

— Надо сдать пленного. Не повезу же я его во Вьетнам и обратно. И взять запасное колесо. И шоферу хоть часок поспать: дальше самая опасная дорога через равнину...

23.57

Молоденькая девушка, видимо таиландка, делала стриптиз на маленькой, ярко высвеченной сцене.

«Сейчас она улыбнется, — подумал Эд, — она всегда улыбается в этом месте».

— Когда она начнет стягивать рубашечку, посмотри, как она будет улыбаться, — сказал он Саре.

— Ты уже изучил этот номер?

— А сейчас, когда опустится на пол, она начнет кусать губы и закрывать глаза от страсти.

— Бедная девочка. Вы ее тут, наверное, уже все перетрахали?

— Она единственная девственница в городишке.

— Это ты выяснил точно?

— Это я выяснил точно.

Ему очень хотелось, чтобы девушка хоть на минутку забылась, но она была хорошо вышколена антрепренером, месье Жюльеном, и поэтому начала закатывать глаза, кусать губы и стонать.

— Что ты будешь пить?

— Виски со льдом.

— А потом устроишь мне истерику, если девочка после номера подойдет к столику? Она часто подходит ко мне и садится рядом, мы беседуем с ней о литературе — как это ни смешно...

— Я забыла, как ревнуют, Эд.

— Ты это быстро вспомнишь.

— Я ревновала тебя, только когда мы спали вместе.

Он смотрел на Сару. Она не видела, как он на нее смотрит, потому что разглядывала зал.

«Как же она красива, — думал Эд, — и как я любил ее... С чего же начался крах?»

...Вернувшись из Скандинавии, он написал для газеты, которая субсидировала его поездку, цикл очерков.

«Господин президент, — писал он, — живет мнением советников, выстроивших курс и ставших рабами этого курса. Стране угрожает бюрократическая олигархия — не такая, конечно, страшная, как в странах тоталитарного антигуманного социализма, но, тем не менее, такая угроза есть. Если не разрушить замкнутый круг правительственных бюрократов, связанных с интересами монополий, и не соединить президента и конгресс напрямую с народом, то наша великая демократия может вскорости вылиться в диктат плутократии. Политику следует строить, базируясь на Институте Гэллопа, который держит руку на пульсе общественного мнения. Болтать о демократии — еще не значит быть демократом. Твердость курса хороша только в том случае, если наша программа лучше всех остальных в мире. В противном случае «твердость курса» может означать только одно: своеволие плу-

тократов! Противовесом советской закрытости и подозрительности должна стать наша открытость и готовность к диалогу, прерывать контакты с русскими — недальновидно: там живут не только партийные монстры».

Редактор газеты, для которой он ездил на фестиваль, встретил его, мило похохатывая. Он то и дело гладил свой живот нежным движением руки слева направо. Ему объяснили врачи, что это — прекрасный способ помогать пищеварительному процессу, не истощая себя диетой.

— Мальчик мой, — сказал он, предложив Эду сесть рядом, — я прочитал ваши опусы. Но это написано для бездарных коммунистических редакторов «Дейли уоркер». Это не для нас, мы — серьезное издание.

Эд пожал плечами, улыбнулся:

— Липпман пишет похлеще.

— Станьте Липпманом. Человек, критикующий наши основы с позиций Липпмана, — это одно, а вы — совсем другое.

— Какое «другое»?

— Малыш, — сказал редактор, прекратив поглаживания своего громадного живота, — не сердитесь на меня, но я скажу вам правду. Вы — н и ч т о. Пока — ничто. Каждый человек может написать пару книжек про то, как он ложился в постель со своей первой женщиной. Это даже могу написать я. Когда нашего президента и наш курс бранит Липпман — он выдвигает альтернативу, призванную укрепить н а ш и позиции. Наши, малыш, наши! А не и х! Состоявшийся человек — будь он писателем, бизнесменом или врачом — всегда будет отстаивать н а ш и позиции. Бунтарство — удел параноиков, экспансивных бездарей или умных авантюристов, которые поняли, что н а ш и м и благами они смогут воспользоваться, лишь сбросив нас, а отнюдь не уповая на свои деловые либо интеллектуальные способности. Если бы вы были лауреатом премии Пулитцера или еще лучше — лауреатом Нобелевской премии, я бы с радостью напечатал вашу вещь, не тронув ни строчки. Это будет хорошая сенсация: один из н а ш и х восстал против н а с. Значит, действительно кое-что следует переосмыслить. А сейчас некое н и ч т о, научившись слагать литеры в слова, а слова в фразы, выступает против н а с. А это уже пахнет жаждой крови тех, кто смог добиться чего-то в н а ш е й жизни — своим трудом, ранами, горем.

— Вы что, не хотите меня напечатать?

— Почему? Я же сказал — если вы получите какую-нибудь премию, я напечатаю вас, не тронув ни строчки.

— При чем тут премия? — пожал плечами Эд.

— При том, что политика — это всегда союз нескольких сил, целенаправленных против иного союза сил. Союз предполагает равенство значимостей. Я — это я. Я могу постоять за себя. А вы? Чем вы постоите за себя? Чем вы поддержите меня, если мы начнем драку? Мы с вами — против президента и тех сил, которые стоят за него? Зачем мне идти на заведомый проигрыш? Удар обрушится не на вас, написавшего, — мы живем, слава богу, в демократической стране, — а на меня, опубликовавшего это, — редактор ткнул пальцем в листки голубоватой бумаги, лежавшие на его округлых коленях. — Я это все говорю оттого, что добро к вам отношусь и не хочу вашего духовного краха. Политика — это игра равных, в противном случае это уже не политика — это бунт.

За поездку в Европу Эд был должен редакции полторы тысячи долларов. Он вернулся домой злым и растерянным. Сара сидела в ванной комнате возле большого зеркала и причесывалась. Он поцеловал ее в затылок и посмотрел в зеркало, устремив взгляд в свой взгляд. Сара сказала:

— Знаешь, Уолт сегодня сам ходил, без помочей.

Эд посмотрел в приотворенную дверь: малыш спал в кровати, раскрывшись. Его рыжие кудряшки прилипли к вискам — лето было очень знойным.

— Эд, — сказала Сара, кончив причесываться, — надо нам уехать в пригород, здесь жить невозможно: я очень боюсь за мальчика, такая жара... И тебе там будет спокойнее работать. Сейчас можно купить недорогой дом — возле Шерфелда. Мари написала мне, что там продается дом.

Он рассказал ей о том, как с ним говорил редактор.

— Не обращай внимания, — сказала Сара, — пиши то, что тебе хочется.

— То, что мне хотелось написать, я написал, но это не печатают.

— Сядь за повесть.

— Я могу сесть за повесть, если я знаю, какой она будет. Я сейчас не могу сесть за повесть, потому что ее нет у меня в голове. Я сейчас хочу опубликовать то, что написал, это мой долг.

— Ну так опубликуй.

— Не публикуют, — усмехнулся он.

— Ну и не надо, — сказала Сара, обняв его. — Ну и пусть не печатают.

— А что мы будем есть? И как быть с недорогим коттеджем в пригороде?

— Ну, придумай что-нибудь...

— Что я могу придумать? Я ничего не могу придумать.

Он пошел к себе в кабинет, снял пиджак, бросил его на спинку кресла, развязал галстук. Рубашка прилипла к спине. «Надо надевать майку, — подумал он, — а то кажется, будто оплевали все лопатки». На столе, аккуратно скрепленные зажимом, лежали счета — за свет и от портного. Эд почесал затылок, бухнулся на тахту и стащил с себя мокрую рубашку. Вошла Сара. Она присела рядом с ним. На ней была коротенькая серая туника.

«Завтра поеду к Тому Маффи, — думал Эд, — он любил резкий и категоричный стиль. Его газета это может взять. Тогда я хотя бы расплачусь с долгом, тогда еще можно будет выкрутиться...»

Сара прилегла рядом и стала целовать его плечи и грудь. Глаза ее были полузакрыты, а красивые пальцы сжимали шею Эда. Она знала, что он очень любил по ночам, когда она гладила его шею — сильно гладила своими длинными нежными пальцами.

— Подожди, Сара, — сказал он, отодвигаясь. — Откуда там счет на девяносто долларов?

Она открыла глаза и сразу же отодвинулась от него. А потом резко поднялась и, выходя из кабинета, сказала:

— Там же написано, милый. Прочти внимательно.

— Сара, — позвал он ее. — Сара!

Она не ответила. Он вздохнул и пошел в спальню. Она сидела возле спящего Уолта, накинув на себя длинный халат.

— Что ты? — спросил он.

— Ничего, — ответила она, — говори, пожалуйста, тише, мальчик еще должен спать полтора часа...

23.59

Машина теперь спускалась вниз — по узкому ущелью. Ветви огромных деревьев срослись над дорогой, и поэтому казалось, что путь шел через тоннель.

— Можешь включить фары, — сказал Ситонг, — все равно сверху не увидят.

Шофер врубил фары. Свет метался по громадным стволам диковинных деревьев. Несколько раз Степанов заметил на коре большие сердца, пронзенные стрелами. Когда фары осветили еще одно сердце, Степанов попросил шофера остановиться. Он вылез из машины и подошел к дереву. Под сердцем были написаны инициалы и вырезана дата: «17 августа 1967 года».

— Ситонг! — крикнул Степанов. — А что тут пониже написано?

— Там написано: «Понг и Кемпет = любовь», — ответил он, не вылезая из машины.

«В августе здесь особенно сильно бомбили, — вспомнил Степанов, — каждый день по нескольку раз. «Понг и Кемпет = любовь». «Маша и Коля = любовь». Только у нас пишут не «и», а «+». «Маша + Коля = любовь». И вся разница».

Дальше они ехали быстрее, потому что дорога была не очень изрыта воронками. Впереди замаячили странные фигуры в белых одеждах. Когда машина подъехала ближе, Степанов увидел, что люди смеются и, пританцовывая, что-то поют. Люди смеялись странным, заданным смехом, то и дело утирая со своих впалых щек слезы.

— Что это? — спросил Степанов.

— Похороны, — ответил Ситонг. — Наверное, хоронят бонзу. По обычаю во время буддистских похорон надо смеяться и радоваться, чтобы не тревожить дух умершего. Он должен уходить на небо провожаемый весельем.

Ситонг открыл дверцы и, попросив шофера притормозить, спросил:

— Кто умер?

Старик в белом халате ответил:

— Мост через ручей восстановили...

— Я спрашиваю: кого хоронят? — повторил Ситонг.

— А? — прокричал старик. — Воронки? Какие воронки?

— Хоронят его внука! — ответил юноша, шедший рядом, тоже в белом халате. — Его вчера убили при бомбежке. Старик оглох, не сердитесь на него... — И он пошел дальше, шмыгая носом, но сохраняя на лице гримасу смеха.

Ситонг захлопнул дверцу и сказал шоферу:

— Нажми, а?.. Можешь как следует поднажать?

Достав сигарету, Ситонг разломил ее пополам и протянул половину пленному. Он очень резко повернулся, протягивая сигарету, и пленный испуганно шарахнулся: он решил, что Ситонг хочет его ударить.

— По себе мерит, — сказал Ситонг и попросил Степанова: — Переведи ему на американский, что мы не бьем пленных.

— Я его бил, — сказал шофер, — зачем говорить неправду?

— Ты бил не пленного. Ты бил его, когда он был вооружен автоматом и ножом. Ну-ка, притормози.

Впереди по дороге медленно шел старый монах в широкой желтой юбке.

— По-моему, это его святейшество Ка Кху, — сказал Ситонг, — тот такой же сутулый. Останови, подвезем, он, верно, с похорон.

Только когда машина остановилась возле него, Ка Кху обернулся. Он узнал Ситонга и ответил на его приветствие тихим, ласковым голосом. Степанов подвинулся, и монах устроился рядом.

— Здесь недалеко, — сказал он, — я бы мог дойти.

У входа в пещеру их встретил служка Ка Кху — высокий бритоголовый парень. Он обжаривал на костре оленью ногу. Сало, стекая, капало в костер, и от этого огонь ярко вспыхивал, становясь сине-желтым.

— Я скоро вернусь, — сказал Ситонг, — сдам пленного и скоро вернусь.

— А мы пока попьем чаю, — сказал Ка Кху. — Хотя пить чай — это привычка, и моя религия считает привычку самым главным злом в мире, тем не менее выпить крепкого зеленого чая — очень приятно...

— Правильно ли считать привычку главным злом? — спросил Степанов, глядя вслед уезжавшему «газику». — На земле есть кое-что похуже.

— Земля населена людьми, — мягко улыбаясь, ответил Ка Кху, — а люди сотканы из привычек. Привычки — это жалкий слепок сути. Люди стремятся не к счастью, но к привычному понятию счастья. Привычная жажда привычных благ рождает в мире суету, а Будда считает суету злом. Будда — над привычками, и поэтому он счастлив, ибо свободен. Люди закабаляют себя, принимая от уходящих поколений привычки.

— В таком случае, они закабаляют себя и тем, что принимают от уходящих привычку верить...

— Верить во что? Вы имеете в виду веру в Будду?

— Не только в Будду... в Иегову, Христа, Мохаммеда...

— Христос — это иное. Христиане ставят человека под власть Бога, они отделяют человека от Бога. А Будда никогда не настаивал на незыблемости своих догм. Принцип Будды — отрицание отрицания. Только мы отрицаем устаревшую догму не с привычной кровожадностью к чужой ошибке, но с уважением к отринутому, ибо оно натолкнуло нас на истину. На ту истину, которая тоже, рано или поздно, будет отринута потомками. Рождение нового и смерть старого — это звенья одного процесса развития.

— Как бы это получше объяснить людям?

— Людям мешает привычная система мышления.

— Может ли человек избавиться от привычки?

— Будда смог. А каждый человек может стать Буддой, если он готов победить в себе зло.

— Как это сделать?

— Смирить привычную гордыню. Человек должен исповедовать систему вакуума.

— Как?

Монах поднял с пола пачку сигарет, оглядел ее со всех сторон и спросил:

— Что это?

— Сигареты, — ответил Степанов.

— Почему? А может быть, это — ящерица? Или кабан? Почему это — сигареты? Только потому, что я имею глаза — раз, в пещере есть свет — два, пачка сама по себе имеет форму и цвет — три, мои пальцы ощущают форму — четыре и, наконец, все эти объективные компоненты складываются в понятие, которое отныне будет заложено в меня — в мой вакуум. Как только человек перестанет быть вакуумом, способным воспринимать новое, он делается рабом привычных понятий, он перестает пропускать через себя явления, он духовно погибает. А что логичнее воспринять вакууму: добро или зло? Конечно же, добро.

— Добро — не пачка сигарет, — сказал Степанов. — Это не объемное понятие, но термин, который каждый понимает по-разному: все зависит от того, в каких условиях, — Степанов улыбнулся, — в каких привычных условиях жил человек, кто его воспитывал и наставлял... Американцы, которые бомбят ваши пагоды и школы, считают, что они сражаются со злом во имя добра.

— Быстрота и категоричность мышления — тоже привычка. Наши враги привычно считают, что они выполняют свой долг перед их родиной. Я слежу за радиопередачами из Америки: назовите мне хотя бы одного американца, приехавшего на эту войну добровольно. Непривычно для людей только одно — смерть. И тысячи смертей их солдат заставляют Америку искать зло в происходящем. Поиск зла — это всегда путь к добру.

— Сдаюсь, ваше святейшество, — сказал Степанов, поднимая руки: он боялся обидеть этого сутулого старика с громадными скорбными глазами.

— «Сдаюсь» — это термин войны, а религия Будды — это учение мира и любви.

— А как быть с любовью? — не удержался Степанов. — Любовь — это тоже привычка?

— Да.

— Значит, любовь порочна?

— Суетна. Что такое любовь? Минутное наслаждение, а после усталость и пустота...

— Любовь не приносит усталость. Любовь дает силу.

— Вы не правы. Любовь не может быть равноправной, это всегда — борьба. А разве неравноправие может дать силы? Впрочем, Будда не запрещает любить. Будда вообще ничего не запрещает. Будда лишь советует...

К монаху подошел бритоголовый служка:

— Святой отец, через десять минут у вас проповедь...

— Здесь есть монастырь? — спросил Степанов.

— Нет. Я буду выступать с проповедью по радио. Тут в пещерах радиостанция.

— О чем будет проповедь?

— Об основной догме нашей веры — взаимоотношение силы и гуманизма.

Степанов закурил:

— Насколько я знаю, ваша главная догма — гуманизм и сила. Или от перемены мест сумма не меняется?

Ка Кху отхлебнул остывшего чая, нахмурился и ответил — совсем тихо:

— Вы правы. Классический буддизм древности ставил на первое место гуманизм, а уже после силу, которая необходима каждому, чтобы стать гуманным. Не наша вина, что нам приходится звать народ поначалу к силе, а не к гуманизму. Мы должны быть сильными, чтобы победить, а уж после наступит эра гуманизма — так учим мы сейчас. Бомбежки нас заставляют учить азиатов догме силы. Америка забыла, что нас — полови-

на мира. Это очень страшно, когда половина мира начинает исповедовать догму силы, отводя на второй план догму гуманизма.

00.31

— Почему ты не пьешь? — спросила Сара.

— У меня скоро новый вылет.

— Когда?

— Через четыре часа.

— Нельзя отменить?

— Можно.

— Ну так что ж?

— Я не хочу его отменять.

— Почему?

— Так.

— Что с тобой случилось, Эд?

— А что случилось с тобой, Сара?

— Может быть, правильнее спросить: что случилось с нами?

— Может быть.

Он вспомнил, как назавтра, после разговора с редактором своей газеты, он поехал к Тому Маффи. Тот прочитал рукопись при Стюарте. Эд сидел на краешке стула: он всегда неловко себя чувствовал, когда при нем читали его вещь.

— Ну что ж, — сказал Маффи. — Занятно, интересно и — главное — во многом справедливо.

Он сидел мгновение задумавшись, потом быстро закурил, забросил ногу на ногу и неожиданно спросил:

— Как вы представились мне по телефону?

Эд собрался повторить, но Маффи, улыбнувшись, махнул рукой:

— Не надо. Вы спросили меня поначалу, читал ли я ваши книжки. Так?

— Так.

— Как это ни странно, я прочитал вашу книгу год назад, когда летел в Лос-Анджелес. Хорошая обложка, недорого стоит и завлекательно-сексуальное название. На ваше счастье, я вспомнил книгу. Книгу, а не вас. А что такое писатель, имеющий политическое мнение, идущее вразрез с общепринятым? Не знаете? Я объясню, — сказал Маффи и подвинул Эду телефонный аппарат. — Наберите номер и закажите себе билет на само-

лет, уходящий куда-нибудь через час. Только на тот рейс, где уже нет билетов. Валяйте, валяйте. Если вы просто назовете свою фамилию и на другом конце провода девочки захлопают от восторга крыльями и посадят вас к пилотам — я замолкну. Но вам откажут, Стюарт. Позвони Хемингуэй — ему бы дали билет. Писатель лишь тот, кого знают по имени, даже не читая книжек. В этом, конечно, есть нечто от таинственной непознанности: иной выцедит пару книжонок, но у него хорошая фамилия, которую легко запомнить, — он победил, он счастливчик. А вам придется мямлить: «Вы читали повесть «Ночь в ватерклозете?» Не помните? Ну там еще кастрируют гермафродита в Валенсии...» А вам ответят: «Не читал, до свидания!» Можете жить с козлом, но пусть об этом напишут в газетах, пусть вас запомнят, вас и — главное — ваше имя.

— Это несерьезный разговор, — сказал Эд. — До свидания, мистер Маффи.

— Это очень серьезный разговор, — ответил Маффи, — и не дело мужчинам обижаться друг на друга. Если вы считаете, что я вас оскорбил, попробуйте набить мне морду.

— Мой шеф советовал мне получить Пулитцеровскую премию, я уже слышал советы, подобные вашим: жить с козлом или получить премию — все это рядом.

— Ну так я вам скажу, почему вас не напечатал толстый в своем официозе, Стюарт. Ваш шеф — смелый человек, и он умеет драться — это я вам говорю. Он не напечатал вас потому, что мудрее вас. Из литературы вы полезли в политику. Литература — это безответственные эмоции, а политика — наука, равная математике. Вы предлагаете низвергнуть устоявшуюся систему, Стюарт. Во-первых, кто ее будет ломать? Вы?

— Почему я? И почему ломать?

— Потому что я умею читать и думать — вот почему! И не врите себе и мне — это детство. Все люди понимают, когда их обманывают, но стесняются об этом сказать в глаза обманщику. Я — исключение. Ладно. Поломали систему. А что будем строить вместо? У вас есть программа созидания? Нет ее у вас. Всегда легче создавать программу разрушения, Стюарт, это в людях от детства, от младенческих игр, когда куклам отрывают головы, а велосипеды кидают под поезд. Устоявшееся настоящее лучше неизвестного будущего. Впрочем, если вы приехали из Хельсинки с программой Маркса, то я,

конечно, напрасно мечу перед вами бисер. В этом случае нам надо не разговаривать, а стрелять друг в друга.

Эд тогда начал метаться: нет груза тяжелее, чем груз неопубликованной рукописи, особенно если тебе двадцать девять и к жажде правды примешано проклятие честолюбия. Деньги кончились, он жил в долг, с ужасом думая, как расплатиться с кредиторами, и он пошел в крайне левую газету.

— Э, нет, — сказали ему там, — нет, Стюарт. У вас нет позиции: вы себя половините. Высказывая правильные вещи о положении в нашем доме, вы называете русских «кремлевскими диктаторами». Зачем? Вы справедливо ругаете госдепартамент, но при этом обвиняете советское искусство в утилитаризме. Вы хотите стать над проблемой, Стюарт. А люди не терпят судей, они любят собеседников.

Так, в метаниях, прошло два месяца. Он не спал ночами, его раздражало все: и люди, которые шли по улицам тугой безликой массой, и жара, и то, как Сара гремела тарелками на кухне.

Однажды под утро она спросила:

— Я совсем перестала быть для тебя женщиной, Эд?

— Ты сошла с ума, — только и ответил он ей.

Одолжив денег, он пригласил стенографистку, мисс Бьюти. Девочке шел девятнадцатый год, но она великолепно работала. Он попробовал продиктовать ей свои очерки, в чем-то смягчить, что-то спрятать, пожертвовать мелочами во имя главного. Он читал написанное и приходил в ярость — на туловище волка баранья шкура не влезала. Он хотел дать прочесть Саре, но ее целыми днями не было дома: взяв Уолта, она с утра уезжала на Лонг Айленд.

— Ты мне сейчас нужна дома, — сказал он, протягивая ей рукопись.

— Да? — удивилась она. — А я как раз считала, что мое присутствие будет мешать тебе с мисс Бьюти. Ты так мил с ней, и она смотрит на тебя влюбленными глазами...

— Уж не сплю ли я с ней, по-твоему?

— А почему бы нет? Девушка в твоем вкусе...

«Женщине, сотворенной из нашего ребра, надо всегда все объяснять, как в школе для дефективных, — много позже, уже здесь, сказал ему журналист Тэдди Файн. — Только художники стоят над природой и живут в мире созданных ими же образов. Подруги художников сотво-

рены из обычного человеческого материала. Умозрительно понять разницу между собой и художником, который рядом, — удел добрых гениев. Ты гениальных женщин видел? Я — ни разу».

Теперь на маленькой сцене стоял мальчик в коротких штанишках с проймами и отбивал ногой ритм. Он ослепительно улыбался залу и пару раз подмигнул Саре: он заметил ее, хотя они с Эдом сидели в самом темном углу.

— Сейчас я вам расскажу про мою подружку, — вдруг запел он хриплым голоском, — про девочку, у которой все как у мальчика, только у нее нет пиписьки!

— Боже ты мой, — охнула Сара, — что поет этот карапуз?! Ужас какой!

— Это лилипут, — ответил Стюарт, — ему пятьдесят два года.

— Я посмотрела на него и ужаснулась за Уолта. — Она достала из кармана несколько фотографий и протянула их Эду. — Самые последние.

Он долго рассматривал фотографии сына, а потом сказал:

— Оставь их мне.

— Конечно, из-за него глупо жить вместе, — сказала Сара. — Вообще нельзя жить вместе из-за детей. А еще противней, когда говорят: «Это его жена и сын, но он не живет с ними». Через пять лет для меня все будет кончено, Эд. Через пять лет мне будет сорок.

— Как ты сюда приехала? — усмехнулся он. — Я даже забыл об этом спросить...

— Я нанялась к этим сумасшедшим старухам журналисткам.

— Зачем?

— Я приехала за тобой, Эд. Ты прилетел сюда добровольно, ты имеешь право добровольно уехать — в любое время.

— А что дальше? То же, что было?

Он вспомнил, как на следующий день после этого глупого скандала, когда она приревновала к нему Бьюти, он разъярился и ушел с утра из дому, но не в редакцию, а к своим друзьям по колледжу.

— Хочется пить, — сказал он.

Глупая ревность рождает глупую измену. Он с содро-

ганием вспоминал тощую рыжую бабу, с которой он тогда спал. Он вернулся домой под утро и долго мылся в ванной, а наутро сказал Саре:

— Я достал денег. Едем на форель, а? Поедем, малыш...

Они уехали на форель, но в машине поссорились — из-за пустяков, из-за сущей ерунды. Ему бы промолчать, а он боялся триппера или еще чего-то после той бабы и не знал, что ему делать, когда наступит ночь и надо будет влезать в маленькую палатку возле реки.

И она тогда сказала:

— Мы жили, и все было хорошо, пока у нас была постель! Да, да! А теперь этого нет, и все летит к черту! И нечего врать друг другу, люди без этого не могут! Нормальные люди, а не психи! Ты шатаешься целыми днями черт знает где, а я живу как соломенная вдова! Ты существуешь только самим собой и только для себя! А тот, кто живет для себя, всегда прикрывается высокими идеалами!

00.35

Монах Ка Кху привел Степанова на радио. Они спустились в глубокую пещеру. Здесь был «вестибюль» радиоаппаратной. На табуретке сидела шоколадная женщина — Кемлонг. Она поклонилась монаху, встав с табуретки, и подошла к Степанову. Их познакомил неделю тому назад редактор газеты Патет Лао. Кемлонг была красива — поразительной, странной красотой. А ее нежная застенчивость — то, как она прикрывала лицо рукой, и то, как, смеясь, отворачивалась, и то, как она внезапно краснела, замечая на себе взгляд, — все это делало ее беззащитной, а потому еще более прекрасной. Наверное, она и не знала, что только слабость делает женщину всесильной. Это, видимо, жило в ней само по себе. В каждой женщине есть свой дар. Это словно счастье: если есть — так есть, и уж нет — так и не будет.

— Здравствуйте, Кемлонг, — сказал Степанов, пожимая ее тонкую руку.

— Здравствуйте. Как поживаете?

— Спасибо. Хорошо.

— Как доехали? Не очень устали в дороге? — Она задавала ему обычные здесь вопросы: они входили в состав простого слова «здравствуй». Если не задать всех этих обязательных вопросов, можно подумать, что человек обижен на тебя или не рад встрече.

— А вы еще больше похорошели, Кемлонг.

Улыбнувшись ослепительно и белозубо, она закрыла лицо рукой и тихонько засмеялась.

— Давно здесь?

— Нет. Я пришла утром.

— Откуда?

— Из Самныа.

— Это же сто километров, — сказал Степанов. — Пешком?

— Пешком, — снова улыбнулась она. — Я люблю ходить по горам одна.

— А диверсанты?

— Так я ж маленькая, они меня не заметят. А потом, я бегаю быстро.

— Сегодня выступление?

— Да. Поем, — ответила она. — Хотите, посмотрим наше радио?

Степанов видел много радиостанций: холод плафонов дневного света, тяжесть звуконепроницаемых дверей, мощность хромированной аппаратуры, таинственное перемигивание красных и синих ламп на пультах громкости... Эта радиостанция в пещере была иной — вместо дверей здесь висели тяжелые одеяла, видимо домотканые, аппаратура была старой и примитивной, а свет на нее падал от нескольких керосиновых ламп, поставленных под потолком в ряд на длинной полке.

— Тс-с, — шепнула Кемлонг, приложив палец к губам, — здесь диктор.

Степанов заглянул через ее плечо: возле маленького микрофона сидел босой человек в ватнике и читал военную сводку, помогая себе жестами левой руки. Когда он перечислял количество оружия, взятого как трофей, голос его ликующе поднимался. Закончив последние известия, он обернулся, выключил микрофон и спросил:

— Ты готова?

— Да, — ответила Кемлонг.

— Пригласи оркестр.

Кемлонг вернулась с тремя музыкантами, и диктор, включив микрофон, сказал веселым, несколько даже игривым голосом:

— А теперь слушайте новые песни в исполнении нашей Кемлонг!

Первым громко заиграл гитарист, его точный ритм подхватил аккордеон, а трубач отвернулся в сторону, чтобы не заглушать своих товарищей серебряной пронзитель-

ностью звуков, которые он извлекал из маленькой помятой трубы.

Пританцовывая, полузакрыв глаза, Кемлонг запела «Чампу».

«Джаз — музыка толстых? — подумал Степанов, слушая ее песню. — Накладка с этим делом вышла, по-моему».

Музыкантам было холодно, потому что пещера была глубокой, чтобы сюда не доходили помехи во время бомбежек, а курточки на джазистах были хлопчатобумажные, легкие. Они поэтому особенно яростно притоптывали ногами и быстро передвигались, сменяя друг друга у микрофона. Но, видимо, постепенно ритм песни захватил их, и они забыли про холод: только аккордеонист, вконец простуженный, то и дело шмыгал носом и покашливал, опустив голову к перламутровой деке.

— О чампа, мой цветок, — пела Кемлонг, закрыв глаза и откинув голову, — какое счастье близко видеть тебя и чувствовать твое цветенье и бояться, что скоро все это кончится...

— А теперь, — сказал диктор, посмотрев на Степанова, — Кемлонг исполнит песню «лам-вонг» в честь нашего друга.

Кемлонг запела:

Вокруг тебя ночь, но жди!
Пусть грусть, пусть один, но жди!
Пусть ночью идут дожди,
Пусть утром туман, туман,
Ты жди...

Она стала приплясывать, меняя ритм, приглашая и Степанова танцевать вместе с ней. Лицо ее было сейчас неулыбчивым, строгим, громадноглазым.

Пусть дожди, пусть туман,
Но ты...
жди...
Жди...
жди...

Потом к микрофону подошел монах Ка Кху. Степанов и Кемлонг вышли из пещеры. Млечный Путь запрокинул свои руки, словно в плаче по этой скорбной земле; ночь была безмолвной и холодной; черные скалы вокруг были особенно рельефны и близки из-за алюминиевого надменного света луны.

— Здесь есть такие пещеры, — сказала Кемлонг, — в которых песни звучат по-разному.

— Покажете?

— Пошли.

Она взяла его за руку и повела через лощину по едва заметной тропинке к тому месту, где шумел ручей. В густой темноте плавали зеленые точки светлячков. Вход в пещеру был низеньким — Степанов ударился лбом, и Кемлонг испуганно спросила:

— Больно?

— Очень, — ответил он.

— До крови?

— Сейчас упаду, — сказал Степанов и застонал.

Кемлонг взяла его голову обеими руками, приблизила к себе и сказала:

— Ничего нет.

Степанов засмеялся:

— Я пошутил.

Кемлонг погладила пальцами то место, которым он ударился:

— Сейчас все пройдет.

— Уже.

— Что? — не поняла она.

— Прошло.

— Ну, пошли.

И они шагнули в гулкую кромешную темноту.

— У вас нет фонарика? — спросила Кемлонг.

— Есть. Зачем?

— Просто так. Вы станьте здесь, а я отойду вот туда.

— Куда?

— Здесь есть уступ.

— Вы как кошка — видите в темноте?

— А разве кошки видят в темноте?

— Еще как.

Кемлонг усмехнулась:

— Не зря, значит, женщин считают кошками.

Она запела, и голос ее сейчас был совсем иным — низким и гулким.

— Теперь пойдем дальше, — сказала она, — в следующей пещере будет иначе.

— Я ничего не вижу, Кемлонг.

— Я тоже, — улыбнулась она.

Степанов слышал ее шаги, а потом почувствовал ее рядом с собой — близко-близко.

— Когда война, — шепотом сказала она, — очень хочется любить того, кто сильнее.

Степанов чувствовал, что она хочет, чтобы он обнял

ее. Это всегда чувствуешь; он не обнял ее — за «связь с иностранцами» женщин здесь сажали.

Она вздохнула:

— Пошли в следующую пещеру. Я ее зову веселой.

Кемлонг снова взяла его за руку и повела за собой.

— Здесь опустите голову. Сейчас повернем налево. Вот здесь. Стойте.

Она отошла от Степанова, и он услышал иной голос, повторявшийся разнозвучащим эхом:

Какая же она, любовь?
Огромная, как облако, или маленькая,
как опавший лист?
Кто видел ее — глаза в глаза?
Никто.
А счастье какое? Светлое, как утро,
или пронзительное,
Как одинокие сумерки?
Кто ответит мне?
Эхо.

00.40

— Мы с тобой люди разных скоростей, Сара. Каждому человеку сообщена своя скорость. Наши скорости, как выяснилось, не совпали.

— Пойдем танцевать, Эд. Бог с ними, со скоростями.

— Я не хочу танцевать.

— Я прошу тебя Эд... Я тебя очень прошу...

— Я не буду танцевать, — повторил он и сразу же подумал: «Зачем я говорю с ней так? Ведь она — единственный человек на земле, который меня любит. Она знала меня вывернутым наизнанку и все равно любит меня. Она знала про всех моих баб и все равно любила меня. У меня самого комплекс неудовлетворенности — при чем здесь она?»

— Ну, представь себе, что я вернулся, Сара. Что будет?

Она ответила:

— Не знаю.

— Хорошо, ты не знаешь... Тебе легко ничего не знать. Ты всегда пряталась за мою спину: «Эд все знает, он что-нибудь придумает!» А как быть с Уолтом? Как быть с нашим мальчиком?

— Что — мальчик?! При чем здесь мальчик? Не прячься за Уолта. Поживет с отчимом — в конце концов.

— Это запрещенный прием.

— Почему? Ты можешь делать мне больно, а когда я говорю правду — это запрещенный прием?

— Сара, я живу на этом свете только для того, чтобы могли жить вы.

— Ты врешь. И самое отвратительное, что ты сам веришь в эту ложь! Мы здесь ни при чем: ни Уолт, ни я. Ты же все время ищешь! Себя, свою литературу, правду, ложь! А главное — ты ищешь ту, которая тебе нужна, которая вернет вдохновение, съеденное твоим безденежьем и моими скандалами. Ты же сам сказал мне, что у каждого мужчины есть своя женщина-мечта. Вот ты и ищешь эту мечту, а из-за того, что их нет на свете, этих женщин, ты мечешься, а я схожу с ума и старею, разрываясь между собой, Уолтом и тобою. Это так жестоко и нечестно, Эд. Я ни о чем тебя не прошу. Я хочу правды. Понимаешь? Правды и определенности. Я же обыкновенный человек, Эд... Я не могу, как ты... Я хочу обыкновенного маленького счастья, а оно всегда маленькое — это настоящее счастье. Большим бывает только горе.

Когда ему стало совсем плохо, он поехал к знаменитому писателю. Он так запутался в простых сложностях этого мира, что решил поехать к тому знаменитому писателю, который жил безвыездно у себя на ферме: издатели сами приезжали к нему по первому же вызову.

— Научитесь смотреть вокруг себя, как биолог, препарирующий лягушку, — говорил тот, расхаживая по громадному холлу, отделанному мореным дубом, вывезенным из старинного британского замка. — И не лезьте на стенку. Не ищите ничего в сфере чувствований. Мир определяют формы собственности. Я сделал обрезание этой марксистской догме. Мы отменили рабство, это было непопулярным по форме, но суть рабства царствует в мире: из каждых двух один мечтает быть собственником другого. Это повсеместное явление: в любви, стоматологии, ядерной физике, сельском хозяйстве. Это справедливо, Стюарт, это справедливо, как ни грустно мне это говорить. Иначе и не может быть, потому что тогда начнется хаос. Что будет с деревьями, если они перестанут принадлежать земле? Или с вашими руками, если они перестанут принадлежать туловищу? Наша демократия — это хаос, но при этом же — преддве-

рие научно продуманного, демократичного по форме рабства. Мы все на грани рабства, Стюарт. Нам говорят, что мы свободны, и нам лгут, но если нам скажут правду, если нам скажут, что мы — рабы, — о, вы поглядите, какая начнется потасовка!

Эд слушал писателя и чувствовал острую ненависть к этому человеку в дырявой красной нелепой кацавейке, который расхаживал по своему громадному барскому холлу и, потешаясь, говорил о том, что терзало мозг и сердце Стюарта.

— Что же делать? — спросил Эд.

Писатель долго смеялся.

— Откуда я знаю, — ответил он, по-прежнему усмехаясь. — Я не знаю, что надо делать. Все равно вы ничего не поделаете с безумием этого мира. Лучше смотрите на это безумие со стороны и помните: нет на свете ничего страшнее, как неудачники-правдолюбцы. Они всегда торопят процесс, а исход один — кровь. Так лучше пусть это будет после нас, а?

Прилетев в Нью-Йорк, Эд бесцельно бродил по городу, путаясь в темных коридорах улиц. Потом он зашел в клуб, где собиралась богема. Раньше он находил тут успокоение, потому что люди, собиравшиеся здесь, говорили так же, как он писал. Он тогда пил с ними вместе и говорил, никого не слушая, а когда говорили другие, он готовился к ответу и совсем не слушал, что говорили другие.

А сейчас он сидел в углу молча и не пил, а просто пытался впервые в жизни понять — о чем же говорят те, кого он считал своими, кого он считал больной совестью страны. Они сейчас, как и всегда, бушевали и спорили, и каждый из них — Эд увидел это очень рельефно, будто при вспышке фотоблица, — говорил лишь для себя, о себе и про свое.

«Они бездари, — думал он тогда, — и к тому же лентяи. Им надо сидеть за письменным столом, а не за ресторанным. Они импотенты, они ничего не могут. Они могут только хулить, но чтоб создать — нет...»

Он поехал к Маффи.

— Я на лопатках, — сказал от тогда. — Пошлите меня куда-нибудь к чертовой матери, я напишу то, что нужно.

— Я подумаю, — ответил Маффи очень серьезно, — спасибо за предложение.

Назавтра он пригласил Эда:

— В пустыне есть сказочный шейх. Как вы относитесь к сказкам? Я надеюсь — хорошо? Так вот этот шейх проводит ряд интересных комбинаций в своем княжестве: он занятен как личность. Он — хозяин нефти. Естественно, им интересуется и Насер, и русские, и евреи, потому что этот шейх верен нам: у него наши базы и наши советники. В вас, видимо, аккумулировалось много злости. Поезжайте туда и, если шейх вам покажется таким же занятным, каким он кажется «Стандарт ойл», — поддержите его и дайте по зубам тем, кто хочет ему мешать.

00.57

Кемлонг вела Степанова по узенькой дорожке в горы.

— Здесь недолго, — сказала она, — совсем рядышком, на вершине.

— Фонарик можно включить?

— Не надо. Я все вижу.

— А я ничего не вижу.

— Вы идите за мной — шаг в шаг.

— Я так и иду. А где он живет?

— В хижине.

— А бомбежки?

— Он вырыл бомбоубежище. Правда, оно плохое. Оно же не в скалах...

— Почему ему не спуститься в долину? Там можно жить в скалах, это безопасней.

— Он не может оставить дерево «табу».

Они вышли из леса. Тропинка казалась покрытой льдом: так холодный свет луны отражался в маленьких лужицах, оставшихся после недавнего дождя. Эта ледяная, в алюминиевых бликах тропинка вела к одинокому громадному дереву. Ветви его были без листьев, ствол разбит молнией, но дерево казалось могучим и грозным. Черный, четкий рельеф его впечатывался в звездное безмолвие. Звезды здесь были очень яркие, и поэтому небо казалось голубоватым из-за ярко-зеленого перемаргивания далеких светил.

Кемлонг подвела Степанова к маленькой хижине и негромко позвала:

— Бун Ми!

Никто не отвечал.

— Бун Ми! — повторила Кемлонг.

Снова никто не ответил.

Она поднялась по маленькой лесенке в хижину.

— Кто?! — услыхал Степанов гортанный, страшный, похожий на карканье голос.

— Это я, — ответила Кемлонг.

— Кто?! — еще более сердито прокричал кто-то невидимый каркающим голосом.

Кемлонг тихонько засмеялась и стала что-то шептать; Степанов не мог разобрать слов, которые она говорила, но по интонации можно было понять — она шептала что-то очень ласковое и нежное: так говорят с грудными младенцами.

— Зачем?! — прокаркал злой голос.

— Кемлонг, — позвал девушку Степанов, — мне можно туда?

— Сейчас, — ответила она и вышла из хижины. В руках у нее был большой попугай. — Старика нет, — сказала она, — это говорит его птица.

— А где старик?

— Может быть, спустился вниз, за патронами и солью. Вчера на машине привезли товары.

Степанов пошел к дереву «табу».

— Нельзя! — прокричал попугай.

— Не надо, — попросила Кемлонг.

— Почему? Ты веришь, что оно действительно «табу»?

— Я не знаю, — Кемлонг пожала плечами. — Так здесь все говорят.

— Что будет, если я подойду к дереву «табу»? — улыбнувшись, спросил Степанов.

— Старики говорят, что этого нельзя делать: будет горе.

— Прямо сразу, на месте?

— Да. Говорят, что каждый, тронувший это дерево, испепелится.

Степанов пошел к дереву. Его ветви казались руками, открытыми для объятий.

— Нельзя! — снова прокричал попугай, но Степанов уже был возле дерева. Он тронул кору. Она была теплой.

— Хватит, — услышал он голос у себя за спиной.

Он обернулся: Кемлонг стояла рядом, закрыв попугаю глаза.

— Зачем ты подошла? Ты же боишься.

— Я боюсь, когда одна.

— А со мной не страшно?

— Нет. Страшно ведь только первым.

— Верно, — согласился Степанов.

— Только вы никому не говорите про то, что трогали «табу».

— Ладно.

— Пошли к хижине.

— Пошли.

— Этот попугай умеет гадать.

— Ну?

— Да. Возьмите какую-нибудь палочку и нарисуйте череп и цветок. Вот здесь, тут хорошая земля.

— Зачем?

— Птица ответит, что вас ждет.

Степанов послушно нарисовал щепочкой на холодной, влажной от росы земле череп и цветок. Кемлонг опустила попугая на землю и, став перед ним на колени, шепнула:

— Что его ждет, птица?! Ну, покажи!

Попугай прокричал что-то пронзительное и долго щелкал клювом — будто подавился. Потом он поджал левую лапу и ткнул своим клювом в цветок, нарисованный Степановым.

— Вас ждет долгая жизнь, — сказала Кемлонг, — видите, он указал на цветение.

— А если б он указал на череп?

— О, это очень плохо, — сказала Кемлонг. — Хотя, — она тихо засмеялась, — я бы соврала вам: я бы сказала, что череп по нашим обычаям означает долгую-долгую жизнь, а цветок — это символ прощания и смерти.

— Спроси попугая про любовь...

— Я могу ответить сама.

— Ты знаешь, что такое любовь?

— Конечно.

— Так что же такое любовь?

Кемлонг ответила:

— Любовь — это любовь.

Когда они спускались по тропинке, она сказала:

— Сейчас очень важный год.

— Почему?

— Он двенадцатый. Это год Солнца. Он будет или очень хорошим, или страшным и плохим. Наши старики считают, что в дне двенадцать часов, в году двенадцать месяцев, в цикле двенадцать лет.

— В каком цикле?

— А я не знаю. Они говорят, что сейчас — год цикла, год Солнца. В этом году все звезды зеленые, видите? — она посмотрела на небо, остановившись. —

А в остальные годы звезды синие и кажутся маленькими. А во-он та звезда — моя. Я родилась под ней и всегда смотрю на нее перед тем, как лечь спать. Здесь идите осторожней — по жердочке: тут болото.

— Где?

— Давайте руку.

Она повернулась к нему и сказала:

— У вас в глазах отражается моя звезда.

Второй раз Степанов встретился с Эдом в пустыне, километрах в ста от Басры. Там, среди барханов, стоял стеклянный дом странной конструкции. Сюда антрепренер привез немецких танцовщиц, и каждую ночь наряд автоматчиков сдерживал толпу, стекавшуюся на эти танцевальные представления. Возле здания стояли машины: «крайслеры», «роллс-ройсы», реже — бело-красные «импалы» и совсем редко голубые «форды». Поодаль, возле двух пальм, стояли верблюды, охраняемые вооруженными людьми в белых одеждах, — это приезжали богатые кочевники, вожди племен.

Именно здесь шейх — владелец крупнейших нефтяных скважин — назначил встречу американскому, русскому и цейлонскому журналистам. Цейлонец заболел и на встречу не приехал. Поэтому за маленьким столиком, в ложе, нависшей прямо над стеклянной сценой, где танцевали немки, шейх, одетый в традиционный белый бурнус, беседовал с Эдом и Степановым. Он был еще совсем молодым человеком, отвечая, то и дело поглядывал на свое отражение в огромном — во всю стену — зеркале. Говорил он, путая английские, французские и арабские слова. Внизу толстенькая немочка с добродетельным лицом Маргариты исполняла танец живота. Кочевники, которых впускали за огромные деньги вниз, на кресла вокруг сцены, сверлили огненными глазами лобок немки, цокали языками и громко аплодировали, когда танцовщица делала мостик.

— О какой свободе вы говорите? — вздохнул шейх. — Посмотрите на мой народ. Они приезжают сюда, за границу, смотреть танец живота, но попробовал бы я разрешить этот танец у нас дома — они бы меня растерзали! Это ж безнравственно — дома! И так упоительно — за границей! Народ темен и полон предрассудков. Свобода, дарованная народу, не готовому к свободе, оборачивается кровью.

— Может быть, — спросил Эд, — народ стоило бы готовить к свободе?

— Посоветуйте — как? — шейх улыбнулся с грустной снисходительностью. — Дать сейчас свободу моему народу — значит отбросить его назад на десятилетия. Свободой воспользуются честолюбивые реакционеры, для которых все зло мира сконцентрировано в стриптизе, ночных барах, где появляются женщины с открытым лицом, и в мужчинах, которые носят европейские костюмы и бреют бороду. Пусть уж лучше меня называют махровым реакционером: я взял на себя тяжкое бремя привести народ к демократии через эволюцию, — шейх снова взглянул на себя в зеркало, — и пусть эту эволюцию охраняет тайная полиция. Ничего, мне это простится в будущем.

Шейх уехал, а Степанов и Эд спустились вниз, в зал.

— Как он вам? — спросил Степанов.

— Этот человек интересно думает.

— Чем больше люди научились делать, тем они меньше стали думать.

Эд записал слова Степанова в книжечку и заметил:

— Он верно сказал: «Мои люди больше всего ненавидят то, что любят в глубине души».

— Когда монарху нечего сказать — он сыплет афоризмами и цитатами.

— Вы предвзято к нему относитесь. Он ищущий человек.

— Что он ищет? — поморщился Степанов. — Бросьте вы, Эд. Как только он начнет искать, его сразу же спросят: «Почему вы берете себе, ваше величество, восемьдесят три процента прибыли от нефти, а государству оставляете семнадцать?» Что он тогда ответит, хотел бы я знать? Вы были в его княжестве?

— Я туда еду.

— Ну так посмотрите повнимательнее: он не разрешил ввезти партию транзисторных приемников, он боится информации, а информации боятся тираны. Если раньше уровень национальной культуры определялся количеством потребляемого мыла, то сейчас этот уровень определяется количеством радиоприемников, находящихся в пользовании у народа, и ценой на них в магазинах. Он покупает у вас только ковбойские фильмы, а Крамера, Феллини и Эйзенштейна запрещает к прокату. Он посадил в тюрьмы двадцать молодых парней за то, что они

обратились к нему с просьбой дать им иностранные паспорта: они хотели поехать учиться.

— Вы надели на глаза шоры, — сказал Эд, — шейх против вас, поэтому вы не хотите видеть в нем ничего хорошего.

— Бросьте, Эд, — поморщился Степанов, — если вы работаете на людей, которым выгоден этот парень в бурнусе, со мной-то зачем так? Мы ж с вами коллеги, у нас может быть свое мнение о происходящем. Пишите что хотите, это ваше личное дело, но зачем прислуживать в разговоре со мной?

Эд сказал:

— Что это у вас за интонация евангелического пастора? Слушать проповеди можно и дома, для этого существует жена!

Степанов перебил его:

— Как Сара?

Стюарт досадливо махнул рукой и подумал: «Русский прав. Я ничего не смогу написать, если не заставлю себя поверить в истинность того, о чем я пишу. Он верно сказал — зачем сейчас-то прислуживать? Впрочем, с большим наслаждением я бы поступил наоборот: я бы в очерках ругал этого кретина с чалмой, а в разговоре хвалил — писателя судят по словам написанным, а не произнесенным».

— Возьмем танцорку? — предложил он и поманил немочку, сидевшую неподалеку: после своего номера она пила кофе. — Меня возбуждает доступность, — пояснил он. — Вас — нет?

Немочка подсела к их столику.

— Давно здесь, козочка? — спросил Эд.

— У меня контракт на год.

— Хорошо платят?

— Хорошо...

— А эти? — Эд кивнул головой на богатых кочевников, сидевших возле сцены.

Немочка сделала большие глаза, покачала головой и приложила палец к губам.

— Зачем вам это? — спросил Стюарт.

— Мой жених — шофер в Гамбурге. Я скоро вернусь, и мы поженимся. Мы не могли раньше пожениться: плодить нищих? Когда я вернусь, мы сможем обеспечить нашу семью.

Тогда Стюарт и сказал фразу, ставшую после его заклинанием:

— На предательство человека толкает не любовь, а обременительное последствие любви — то есть семья...

Он написал в газету Маффи цикл великолепных очерков, в которых он поднял шейха — «человек интересно строит свободу методом жесткого курса». Он писал о парадоксе: диктатура во имя будущей демократии. Через два дня после того как Маффи кончил печатать его очерки, «Стандарт ойл» удвоило субсидии шейху, а через неделю шейха свалили: молодые офицеры расстреляли его во дворце.

— Служить — это не значит врать, — сказал тогда Маффи, — мне вы обязаны были сказать всю правду. Апологеты нужны кретинам, которые боятся мыслить и принимать быстрые решения.

Эд снова метнулся в левые газеты, но там его предложений не приняли: у всех был в памяти скандал с «демократическим» шейхом. Тогда Стюарт плюнул на все и пошел работать в рекламу, на телевидение.

01.12

— Так что же будем делать, Эд? — спросила Сара, и на глаза ее навернулись слезы.

— Ты много пьешь.

— Ну и что? Что еще мне остается делать?

Она заплакала.

— Сейчас будет истерика?

Сара вытерла слезы, но подбородок ее по-прежнему дрожал.

— Истерики не будет.

— А что же будет? — спросил он, и огромная грустная нежность вдруг сжала его сердце, когда он посмотрел на нее, — так прекрасно было ее лицо.

Она ответила:

— Будет развод.

Он положил руку на ее холодную длинную ладонь.

— Только ты напишешь просьбу о разводе сейчас, немедленно, — сказала она, — вот хотя бы на этой салфетке.

— Ты вправду этого хочешь?

— А ты?

— А если я не напишу? У нас снова будет все как было?

— Не я в этом виновата, Эд. Тебе нужна другая женщина — сильная, талантливая, жестокая, — она снова заплакала, — она принесет тебе счастье своей нелю-

бовью. А я со своей любовью приношу тебе только горе...

После года работы на телевидении он выпустил несколько лихих передач. Какой-то критик, запомнивший его первую книжку, написал коротенькую рецензию: «Талантливое самопредательство». Эд несколько раз прочитал рецензию, и все в нем захолодело от сладостной, горькой обиды.

«Вспомнили, сволочи, — думал он. — Когда я погиб, тогда обо мне вспомнили, я стал нужен, начали жалеть мой загубленный талант! Раньше никто не интересовался моими книгами, а когда я начал просто жить, просто ездить на красивой машине в свой просто красивый дом — я им понадобился!»

Саре он сказал:

— Все равно меня бы здесь не поняли: я слишком сложно писал. Мне бы родиться чехом или голландцем: маленькие нации любят сложную литературу с непонятностями.

— А когда ты сядешь за роман? — спросила Сара.

Он взорвался:

— Когда ты получишь в наследство от доброго дяди миллион! Или когда я найду в лифте портфель с золотом!

— У тебя же есть сейчас деньги...

— Что значит — «у тебя»?! Мне не нужны деньги: я могу уехать на Аляску! Деньги нужны семье! Нам! Тебе!

— Это же бессовестно — так попрекать меня...

Он сел за роман. Он писал уже не о зле и добре, не о лжи и правде, не об уме и тупости — о чем ему раньше мечталось. Он начал писать о женщинах, чужих женщинах, которые устраиваются на твоей груди, словно на принадлежащей им подушке, о пьяных, радостно-тревожных рассветах, когда мучительно вспоминаешь прожитую ночь и безразлично, устало смотришь на незнакомые мокрые крыши; он начал было выворачивать прожитые годы, как перчатку, но — не смог. Он чувствовал, как на страницы ложится аккуратная полуправда. Он говорил себе, что он боится обидеть Сару, поэтому вещь не идет, но в глубине души он понимал, что он себе врет. Он боялся не Сары, нет, он — просто боялся. «Жизненный опыт — это опыт разумного страха, — сказал тогда он себе, — это точно». В нем поселился второй Эд Стюарт, который тщательно взвешивал, анализировал и отвергал еще в замысле то, что предлагал первый Эд Стюарт.

«Все, — сказал он, — хватит. Надо уметь вовремя выскочить из тележки».

Он прошел летную переподготовку, застраховал себя на сто тысяч и поехал во Вьетнам.

...Эд взял салфетку, разгладил ее и написал прошение о разводе, у него был мягкий японский фломастер, он не рвал тонкую бумагу.

Сара прочитала написанное и улыбнулась:

— Подумают, что на пипифаксе.

— Тебя отвезти?

— Куда?

— Ты где остановилась?

— В твоем доме мне не найдется места на эту ночь?

— Зачем?

— Тогда не надо меня отвозить. Не надо, милый. Я побуду здесь.

— Как ты доберешься потом?

Она постаралась улыбнуться:

— Как-нибудь. Не беспокойся, Эд.

— Прощай, Сара.

— Можно проще, милый. Ты всегда любил театральность. Можно ведь проще: до свидания. Нет?

— В общем — да.

— Ты придешь меня проводить?

— Когда ты улетаешь?

— Часть наших улетает сегодня ночью...

— Ты с ними?

— Наверное — да.

— Аэродром найдешь?

— Найду. Только мне надо еще будет заехать в отель.

— Оставить тебе машину?

— Не надо, милый. Иди. Тебе надо отдохнуть, ты плохо выглядишь. Спокойной тебе ночи. Я доберусь сама, это близко.

Он поднялся и пошел к двери. Больше всего на свете он хотел уйти от нее к той мечте, которой не было. И больше всего он страшился того, что когда-нибудь действительно сможет от нее уйти.

Сара проводила его глазами и написала на той салфетке, где было его прошение о разводе: «Он убил меня под Луанг-Прабангом».

01.26

Эд медленно ехал по темным улицам: отель, в котором он жил, был расположен в пригороде, здесь ложились спать рано, с появлением луны. Опавшие листья шершаво гонялись друг за другом по асфальту. Эд свернул в переулок, слабо освещенный фонарями. Он увидел, как по тротуару старик бегал за собакой. Пес был маленький, дворовый. Он отбегал от старика метров на десять и останавливался, подпускал старика на шаг и снова отбегал. Эд притормозил, потому что пес выбежал на дорогу и, ослепленный светом фар, остановился и завилял маленьким обрубленным хвостом. Старик упал на пса, задыхаясь. Эд близко увидел его потное лицо с пергаментными висками. Он лежал, тяжело дыша, виновато улыбаясь Эду. Поднявшись на колени, он достал из кармана веревку, обвязал пса за шею и, резко дернув, взбросил себе на спину. Пес завизжал, вытягивая лапы.

— Он задохнется, — крикнул Эд. — Ты задушишь собаку.

Старик, утерев с лица пот, ответил:

— Я и хочу его задушить — я несу его в ресторан.

Эд выскочил из машины и сказал:

— Пусти веревку!

— Это моя собака, — заплакал старик, — я ловил ее весь вечер!

Эд вырвал у него из рук веревку, освободил пса и опустил его на землю. Пес, по-прежнему скуля, понесся по тротуару.

— Зачем вы взяли мою собаку? — тихо плакал старик. — Мне бы уплатили за нее. Я же ловил эту собаку весь вечер.

— Сколько тебе платят за собаку?

— Доллар.

Эд поискал в карманах мелочь и высыпал деньги в костлявые ладони старика. Тот поцеловал руку Эда.

— Я их тоже жалею, но у меня пять детей... Их же надо кормить...

— Ты их душишь?

— Да.

— Веревкой?

— Да, я привязываю на один конец камень и вешаю их в сарае.

— Они воют?

— Очень. Я сначала не мог слышать, как они воют.

— А теперь привык?

— К этому быстро привыкаешь, особенно когда платят деньги. Потом даже делается интересно смотреть, как они извиваются и высовывают синий язык.

Эд заглянул в черные добрые глаза старика. В них искорками метался безумный смех. Эд с трудом подавил в себе желание ударить старика кулаком в переносье, так чтобы тот упал на асфальт и разбил себе череп.

Он впрыгнул в машину, и «джип» рванулся с места, стремительно набирая скорость. Эд гнал по левой стороне и отчаянно сигналил.

Возле своего отеля он резко нажал на тормоза и сидел минуту не двигаясь, зажмурив глаза. Потом устало вылез из машины и медленно пошел к себе. Он хотел принять душ, но в ванной — она была на два номера — заперся его сосед Тэдди Файн, журналист из Балтимора. Он всегда забирался в ванную комнату на час, не меньше.

— Ты скоро? — спросил Эд.

— Нет. А что?

— Ничего. Просто так.

— Хорошо слетал?

— Плохо.

— Когда возьмешь меня с собой?

— Скоро, — ответил Эд, повалился на кровать, включил лампочку-ночничок и, взяв на ощупь одну из книг, валявшихся на полу, быстро пролистал ее. «Пулэм. Эсквайр».

«Поддавок, а не книга, — подумал он. — Нельзя делать героя глупее писателя».

Эд бросил книгу на пол, потянулся и зевнул.

«Не проспать бы. Я обещал вылететь к утру за той машиной. А зачем она мне? — вдруг спросил он себя, открыв глаза. — На черта мне сдалась та машина? Я похож на старика: тот вешает собак, а я охочусь за машинами».

Ему вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь пожалел его. Это желание пришло внезапно, и он почувствовал себя маленьким и беззащитным, вконец запутавшимся — как в детстве, когда самым страшным грехом было принести к Рождеству плохие отметки.

«Заплакать бы, — подумал он. — Легко женщинам, им стоит только открыть шлюзы — сразу польются слезы».

Он стянул с себя куртку, сбросил ботинки на черный паркетный пол, натянул на голову подушку и шепнул:

— Спокойной ночи, родной...

Но сон не шел. Громадное, как живопись на белой стене, стояло перед ним нежное, любящее лицо Сары.

«Это ты во всем виновата, — сказал он ее лицу. — Ты, и никто больше. И в том, что я не пишу книг, которые у меня в голове, и в том, что я не могу спать с тобой, и в том, что я почти ни с кем не могу спать — разве только с продажными шлюхами. Во всем виновата ты, Сара, а я никак не могу выбросить тебя из сердца».

01.41

Сара попросила принести ей виски и выпила залпом, по-мужски. Она ненавидела эту гадость, пахнувшую ячменем, но обожала то состояние, которое наступает после. Однажды она сказала Эду: «А как было бы здорово, если бы люди изобрели пилюли — безвкусные, как аспирин, и пьяные, словно виски».

В баре сейчас ничего не было слышно, хотя люди кричали: так громко ревел джаз.

«Хорошо, когда ничего не слышно из-за музыки, — подумала Сара, — тогда и саму себя не слышно. Плохо только, что к утру джаз кончит играть свою музыку и наступит тишина, и тогда в тебе закричит то, что заглушала музыка».

— Простите, к вам можно присесть? — спросил ее высокий, рыжий, смешной парень.

— Можно, — ответила Сара. — Конечно, можно.

— Спасибо, — ответил парень, смущенно кашлянул в кулак и неловко сел на краешек стула.

Сара посмотрела на его рыжие вихры, на веснушчатый мальчишеский нос, улыбнулась и испугалась, что снова заплачет.

— Я вас тут раньше не видел, — сказал парень.

— А я только сегодня прилетела.

— Вы журналистка? — спросил парень. — Сюда прилетело целое стадо журналисток.

— Стадо? — усмехнулась Сара. — Это верно — стадо.

— Извините, если я вас обидел...

— Ну что вы, — сказала она, — вы меня совсем не обидели.

— Меня зовут Билл Смит.

Сара повторила:

— Билл Смит... Очень категорично... Сильное созвучие.

— Вы смеетесь?

— Ничуть, — ответила Сара. — Просто у меня дурацкая манера говорить вслух то, что думаю.

— Вы танцуете?

— Танцевала.

— Только не говорите, пожалуйста, «когда-то танцевала». Это из кино. Там всегда красивые усталые женщины говорят — «когда-то танцевала»...

Сара поднялась, и Билл поднялся. Он был широкоплечий, на голову выше Эда. Когда они пошли танцевать и кто-то крикнул из зала «браво, Билл», парень покраснел, и его веснушки сделались темно-коричневыми.

— Вы здорово танцуете, — сказал он.

— Да?

— Да.

— Вы тоже.

Билл держал ее за спину — очень осторожно, не прижимая к себе.

Негр, игравший на саксофоне, вываливал голубые белки, заходясь от счастья и ритма.

— Вы меня держите, как ядовитую змею, на дистанции, — сказала Сара и сразу подумала: «Зачем я это сказала?»

Билл снова покраснел и прижал ее к себе.

— Так ничего? — спросил он.

Сара засмеялась. Негр уронил на грудь свой саксофон и поклонился. Он хорошо играл, и ему здорово свистели. Билл подвел Сару к столику и заботливо развернул ее кресло. На третьем кресле сидел парень в летной форме. Он был еще моложе Билла, но совсем уже лысый.

— Это Самни, — сказал Билл, — он тоже летает бомбить чарли.

Самни молча поклонился Саре.

— Как потанцевали? — спросил кто-то рядом.

Сара обернулась: никого не было.

«Этого мне еще не хватало, — подумала она. — Звуковые галлюцинации начинаются, ужас какой...»

— Что будете пить? — улыбаясь, спросил Билл.

— Ничего не пейте, — сказал тот же голос.

Сара снова обернулась, потом незаметно заглянула под стол: «Может быть, это карлик, который пел гадости?»

— Здесь есть хороший «перно», — сказал Билл.

— Угости даму коньяком, — сказал тот же голос, и Сара поднялась со стула, приложив пальцы к ушам.

Билл упал на стол от смеха.

— Это он, — говорил он, хохоча, — это Самни, он так умеет! Он умеет говорить, не открывая... не открывая... — хохотал он, — рта...

Сара растерянно посмотрела на Билла, а потом на Самни.

— Ну, пока, ребятки, — сказал тот же голос, а после Самни открыл рот и, выдохнув, произнес другим, тонким голосом, таким, каким он разговаривал обычно: — Я их здесь так веселю. Пока. Я скоро вернусь.

— Вы не рассердились? — спросил Билл.

— Я испугалась, — сказала Сара.

— Сначала все пугаются. А потом смеются. Очень смеются. Славный парень. Его однажды сбили, мы его отвоевали у чарли с вертолетов, они чуть было не взяли его в плен. Что будете пить?

— Виски, — сказала Сара.

— Ого! — сказал Билли, быстро взглянув на Сару, снова покраснел.

«Мальчик не знает, как подступиться, — подумала Сара. — Он сам этого хотел, — вдруг подумала она, увидев лицо Эда. — Он сам хотел, чтобы я спала с другим. Тогда ему было бы легче перед собой. И со мной тоже — ночью. Он сам говорил: ничто так не возбуждает, как порочность и доступность».

— Я и так пьяна, — решила она помочь Биллу и густо покраснела. — А если я выпью еще — вам придется тащить меня на себе.

— Я оттащу, — сказал Билл и начал суетливо искать глазами кельнера, — я оттащу, не беспокойтесь...

01.59

Степанов сидел на большом теплом камне и смотрел на пыльную полосу Млечного Пути. Пересекая Млечный Путь, излучая пульсирующий зеленый свет, медленно пролетел чей-то спутник.

Степанов слышал у себя за спиной плеск воды и тихий смех Кемлонг. Взяв у него фонарик, она купалась в маленьком озере. Она положила фонарь на камень, чтобы купаться не в полной темноте. Степанов чуть обернулся, доставая из кармана сигареты, и увидел в луче света Кемлонг.

— Холодно? — спросил Степанов.
— Что?
— Я спрашиваю: не холодно?
Она обернулась на его голос, доверчиво посмотрела в темноту и ответила:
— Сначала всегда бывает холодно, а после тепло.

Степанов вспомнил венгерскую художницу Еву Карпати. Она была похожа на Кемлонг такой же — через край — женственностью и при этом застенчивостью ребенка, считающего себя уродцем. Степанов испытывал чувство острой жалости к таким женщинам: он видел их в старости, и в нем все сжималось от гнева — нет ничего беспощаднее времени. Оно ничего не жалеет: безразличие времени казалось Степанову унизительным и неразумным. «Остановись, мгновенье!» — так и осталось заклинанием поэта. Можно остановить коня или ракету, несущуюся со скоростью звука. Нельзя остановить время.

Ева Карпати водила Степанова по своему крохотному ателье и показывала картины, смущаясь того, что она ему показывала. Картины ее были прекрасны: синий, таинственный, грозный лес и девушка с голубыми голубями в нежных ладонях, или сумеречное туманное утро и лицо той же громадноглазой девушки в чердачном окне, и красные черепицы, по которым ходят белые атласные голуби.

Оттого, что она смущалась своего искусства, она писала редко, то и дело бросая кисть. Иногда она резала уже готовые холсты и не заходила к себе в ателье месяц, два, а то и полгода.
— Надо все это вообще кончать, — сказала Ева Степанову. — Хватит.
— Почему?
— Так... Скучно... Сейчас можно писать как угодно, но только не скучно.
— Ева, эта живопись прекрасна.
— Да ну... Я знаю, отчего ты говоришь так...

Она ушла в магазин — купить масла, чтобы сделать яичницу. Степанов сел к маленькому столу, покрытому клеенкой, измазанной краской, и написал тогда стихи — первые в жизни...

— Кемлонг, — сказал Степанов, — вылезай. Замерзнешь.

— Здесь же ключ... Вода теплая, — ответила она. — У меня только макушка мерзнет.

— А почему ваших детей запрещено гладить по голове?

— Так ведь на голове у каждого ребенка — Будда. Его Будда. Можно столкнуть Будду. Кто ж тогда будет охранять ребенка?

Степанов улыбнулся: «Нет ничего прекраснее доверчивости взрослого человека. Когда во взрослом живет дитя — такому можно верить».

Вдруг где-то рядом неожиданно возник грохочущий рев: он возник из тишины. Ничего промежуточного между тишиной и ревом не было.

— Самолеты! — крикнул Степанов и побежал к озеру. — Кемлонг! Самолеты!

Грохот был ярко-белым. Все вокруг высветилось неживым, контрастным светом, а после землю резко тряхнуло, и стало темно, и эту темноту запоздало рванула красное длинное пламя. Он увидел Кемлонг — она бежала к нему и тоже что-то кричала, а потом упала на землю рядом с ним, и тут небо снова было разорвано ревом самолета, заходившего в пике. Степанов подмял под себя Кемлонг, и снова стало светло, и он почувствовал, как мелко дрожит девушка. Громыхнуло еще раз, и он закрыл ее голову руками, потому что боялся, что осколок разобьет ей лицо. Она, верно, тоже боялась, что его прошьет осколками, поэтому закрыла ладонями его голову. А после стало тихо-тихо, и рев самолета исчез так же резко, как и появился минуту назад...

02.17

«Все равно я без нее не смогу, — продолжал думать Эд. — Хотя именно она подвела меня к тому, что у меня было с другими женщинами. Она виновата и в этом».

Эд снова включил свет и закурил. Файн по-прежнему плескался в ванной комнате.

«Сейчас я поеду за ней, — вдруг понял он, и ему сразу стало легко, и он улыбнулся. — А завтра мы улетим, и пусть все катится к черту — вместе со страховым полисом».

Он быстро поднялся с кровати и забарабанил в дверь ванной комнаты.

— Э, Файн! Ты не утонул?

— Да. А что?

Оттого, что он решил поехать за Сарой и привезти ее сюда, ему стало так радостно, как уже давно не было.

— Вылезай и приготовь нам что-нибудь перекусить. И выпить.

— Жрать на ночь?

— Скоро утро. Я привезу даму.

Файн выглянул из ванной. Длинный, нескладный, он обернулся в белую короткую простыню и поэтому был похож на римского диктатора.

— Кого ты собираешься притащить?

— Сару.

— Уже началось?

— Что — началось?

— Сумасшествие. При чем здесь Сара?

— Она прилетела сегодня вечером с твоими коллегами женского пола. А завтра мы улетим домой. Сейчас я ее привезу.

— Ну хорошо, — сказал Файн, — только у меня туго с едой: какие-то орешки и пара банок консервов.

— Ничего.

— Ты решил помириться?

— Да, а что? — ответил Эд, зашнуровывая ботинки.

— Не передразнивай меня. Манера переспрашивать пришла ко мне от телевизионных дискуссий: когда я переспрашивал, у меня оставалось лишних десять секунд на обдумывание.

— Что ты мог обдумать за десять секунд?

— Чудак, — ответил Файн. — Глупый чудак, из секунд сложена история человечества. Пренебрежительное отношение к секундам — проявление примитивизма.

— Хитрый ты парень, а?

— Я умный, — ответил Файн и ушел к себе в номер.

— Слушай, — крикнул вдогонку Стюарт, — ты умеешь формулировать. Сформулируй раз и навсегда: что может дать семье счастье?

Файн вернулся, сел рядом с Эдом на краешек кровати и ответил:

— Я развелся с тремя женами, а от четвертой сбежал. Могу тебе сказать точно: ни ты, ни я никогда не дадим счастье семье, потому что мы пускаем дым ноздрями, желая удивить мир. При этом мы хотим, чтобы жены нас понимали — во-первых, преклонялись перед нами — во-вторых, принимали все наши сумасшествия —

в-третьих. А жене надо только одно: чтобы она со страхом высчитывала свои сроки и боялась только одного — не вовремя забеременеть. Тогда в семье будет счастье, потому что усталая женщина хочет спать, а не выяснять отношения.

— Ты скотина, Файн, — ответил Эд. — Ты злая, циничная скотина. Готовь стол, я через двадцать минут вернусь.

02.26

В баре по-прежнему гремела музыка. Сары за столиком не было. Эд увидел за тем столиком мадам Тань.

— Здравствуйте, Тань, — сказал он, — вы сегодня очаровательны. Где Билл?

— Мы договорились увидеться здесь, я немного опоздала, и его уже не было. А может быть, он еще не приходил.

Эд поманил кельнера.

— Да, сэр...

— Здесь сидела дама...

— Черная, с голубыми глазами?

— Да. Черная, с голубыми глазами. Это моя жена. Она ушла?

— Я не заметил, сэр. Сегодня что-то особенно шумно. Сожалею, я не заметил.

Кельнер видел, как эта голубоглазая красивая дама ушла вместе с рыжим пилотом.

— Вы не знаете, где остановились журналистки?

— Сожалею, сэр, я не знаю, где остановились журналистки.

— Позвоните на аэродром и спросите от моего имени: вам ответят.

— Да, сэр...

Он отошел, и мадам Тань спросила:

— Вы сказали правду, что прилетела ваша жена?

Эд усмехнулся и молча покачал головой.

— Вы сегодня веселый.

— А вы — красивая.

Тань была красива необыкновенной, ломкой красотой полукровки: на смуглом лице сияли серые длинные французские глаза.

— Как мой парень? — спросил Эд.

— Ваш второй пилот? Билл? Он прелесть.

— Вы его очень любите?

Тань удивленно посмотрела на Эда.

— Разве таких любят? — спросила она. — Таких жалеют.

— Это теперь называется «жалеть»? В таком случае пожалейте меня.

— Разве вас надо жалеть? Вы — сильный...

— Вы обманываетесь, Тань.

— Нет. Просто вы про себя ничего не знаете. А ваши женщины не умеют понимать силу мужчин. Ваши женщины избалованы вами.

— Это все философия, Тань. А правда заключается в том, что Билл моложе меня и сильней.

— Он маленький, слабый мальчик. Вы, европейцы, все понимаете не так, как надо. Вам кажется, что сила мужчины проявляется только в постели...

— Это неверно?

— Это слишком рационально, чтобы быть верным. Любовь — иррациональна, она должна быть отрешенной от плоти. Сила мужчины проявляется в том, как устало он говорит с женщиной, как он шутит, пьет чай, как он грустит, как он смущается случайной измены с другой...

— Вы действительно верите в то, что говорите?

— Зачем иначе говорить?

— Откуда у вас мои книжки, Тань?

— Я их взяла в библиотеке, когда узнала от Билла, что вы умеете писать.

— Вы тоже умеете писать.

— Видите, какой вы сильный, — сказала она, — вы не засмеялись надо мной, а добро пошутили. Вы умеете сочинять, а я — писать, это же разные вещи.

Подошел кельнер и, дождавшись, когда Тань кончила фразу, сказал:

— Вот номер телефона отеля, где остановились журналистки, сэр.

— Такой длинный номер?

— Я записал то, что мне продиктовали, сэр.

Эд поднялся.

— Я вынужден попрощаться с вами, Тань.

— Вы домой?

— Да.

— Подвезите меня.

— Пошли. Только я позвоню.

Он зашел в будку. В телефонных будках он всегда чувствовал себя приговоренным к смертной казни.

— Алло, — сказал он, услыхав сонный голос портье, —

в каком номере остановилась миссис Стюарт? Соедините меня с ней.

Он слышал длинные гудки и думал: «Лежит и плачет, дуреха».

— Никто не отвечает, сэр.

— Сейчас ответят.

«Нельзя отказываться от прошлого, — продолжал думать он, — каким бы оно ни было. Даже если у нас с ней был час счастья, — а у нас были годы счастья, наши первые голодные годы, — я обязан расплатиться по векселю. Чего мне надо? Я выиграл по билетику из гардероба человека, который верно любит меня».

— В номере никого нет, сэр.

— Пожалуйста, поднимитесь в номер и постучите в дверь.

— Ее ключ здесь, сэр. Прошу простить меня, сэр...

Опустив трубку, Эд почувствовал, как жарко в этом стеклянном колпаке.

— Все в порядке? — спросила мадам Тань, когда он вышел.

— В полном, — ответил он. — Пошли посидим еще немного, а?

— Нет того, кому вы звонили?

— Что-то я устал, Тань. Пошли сядем.

— Все европейцы устают оттого, что не знают, чего хотят.

— Я американец.

— Это не важно. Вы — белый.

— В общем, верно. А чего хотите вы?

— Спокойствия.

— Хотите выпить?

— Нет, спасибо.

— Закройте колени, у вас слишком красивые ноги.

— Я думала, что надо закрывать плохие ноги.

— Простите, Тань, — сказал Эд, — мне надо еще раз позвонить.

Он набрал номер аэродрома.

— Привет, это Стюарт.

— Привет.

— Журналистки улетели или остались ночевать?

— Несколько человек только что улетели в Бангкок.

— Сара Стюарт улетела, не помнишь?

— Твоя жена?!

— Однофамилица.

— Рейс отправлял Кегни.

— Спроси его, а?

— А он уехал.

— Ты не заметил — там была такая черная женщина? Голубоглазая, черная, высокая женщина?

— Черт их знает... Я их видел со спины, отсюда, из будки. У нее большой зад? Там была одна с задом громадным, как ракетодром.

— Нет, — ответил Эд, — у той ничего патологического.

— По-твоему, здоровый зад — это патология?

— Нет, ну все-таки, — ответил Эд.

— Кажется, высокая черная женщина улетела...

Стюарт вытер со лба пот и медленно положил трубку на рычаг.

«Дура, — подумал он. — Истеричная дура. Конечно, она улетела! А что ей оставалось делать? Она прилетела ко мне, а я даже не позвал ее к себе. В конце концов она могла бы понять меня: я искал этой войны, чтобы найти в себе силу, а она отняла у меня последние силы. Она никогда не хотела понять меня: она живет по таблице умножения, интегралы не для нее. Ну и пусть... Пусть пеняет на себя...»

В дверях Эд столкнулся с Лэсли.

— Хэлло, Эд, — сказал он, — у твоего второго пилота сегодня великолепная женщина.

— Да? — рассеянно переспросил Эд. — Молодец. Ты куда — спать?

— Нет. Мы бомбим то же место, где катаетесь и вы.

— Ночью бомбить там с «фантомов» бессмысленно.

— Смысл не в том, чтобы разбомбить, а в том, чтобы попугать чарли, — ответил Лэсли. — Пока, Эд.

— Счастливо...

02.44

— Подожди, — сказала Кемлонг, — мне так счастливо...

— Тебе же нельзя быть со мной, девочка...

— Пусть будет что будет, я верю в судьбу, хотя часто свои бывают страшней чужих...

— Ситонг, наверное, ищет меня... Увидит нас...

— Нет. Он пошел на могилу. Он всегда ходит на могилу, когда бывает здесь.

— Какую могилу?

— Здесь убили его жену. Диверсанты во время бомбежки стреляли в людей из леса. Она должна была через месяц родить ребеночка.

«Когда есть дети, — вспомнил он слова Ситонга, — не страшно умирать: на земле останется твое семя».

— А ее брату, — продолжала Кемлонг, — тогда оторвало руку, а он художник. И он теперь не может рисовать. В детстве наши родители договорились, что я стану его женой. А я стала твоей женой, правда?

02.44

Сначала Сара пыталась сопротивляться. Билл придавил ее своим тяжелым, мускулистым телом к жесткому матрасу. Он жадно целовал ее лицо, шею, а потом нашел ее рот. Сара вдруг почувствовала слабость, и в голове у нее все стремительно завертелось, и она ощутила себя — на какое-то мгновение, отрешенно и со стороны — чужой и податливой. Она чувствовала, как дрожали ледяные пальцы Билла, пока он неумело раздевал ее. А после, чем ближе был этот молоденький веснушчатый рыжий парень и чем страшней и нежней ей с ним было, тем больше ей хотелось, чтобы все это сейчас исчезло, ушло, а рядом с ней был Эд, а потом она вообще перестала чувствовать что-либо, кроме себя, только себя, и этого парня, который был с нею...

02.47

— Ты сошел с ума, — сказал Файн, увидав в дверях Стюарта с мадам Тань. — При чем здесь Са...

— Тэйк ит изи!* — прикрикнул Эд. — Мадам Тань и я любим друг друга.

Тань засмеялась своим серебристым смехом.

— Мы не умеем любить, — сказала она, — мы умеем быть покорными, а вы принимаете это за любовь.

— Покорность — это и есть любовь, — сказал Эд. — Как ты думаешь, Файн? Ты же у меня теоретик.

— Я думаю, что покорность — это начало бунта. Женщина должна быть ершистой и злой. И обязательно неожиданной. Только тогда мужчина пойдет за ней на край света.

— Такой может быть любовница, — сказала Тань, —

---

* Не возникай (*ам. сленг.*).

и то на короткое время. Мужчины всегда возвращаются к покорным и любящим.

— Да? — спросил Файн. — Черт его знает. Может быть... Будете пить?

— Нет, благодарю, — ответила Тань.

— А ты, Эд?

— Я выпью. С удовольствием выпью виски. И совсем безо льда. Просто пару добрых глотков виски.

— Тебе же скоро лететь...

— К черту. Никуда я не полечу. Пусть чарли проедут и поблагодарят за это очаровательную и покорную мадам Тань. Пусть они спокойно проедут по равнине и помолятся за меня своему Богу.

— Их Бог, — задумчиво сказала Тань, — является также и моим.

— Ваш Бог стал нашим, — засмеялся Эд. — Бог всегда на стороне сильных.

— Сказал Адольф Гитлер, — добавил Файн, — в одной из своих исторических речей. Не трогай Бога, Эд, он не любит, когда за него говорят земляне.

— Ты веришь в Бога?

— Нет. А что?

— Просто занятно...

— Я его боюсь...

Тань сказала:

— Включите какую-нибудь музыку, а то вы погрязнете в своих философских спорах.

— Включи радио, дерево, — сказал Эд. — Дама хочет музыки и не хочет философии.

— Наоборот, — сказала Тань, — я хочу философии, но только такой, которая разумна. А ее сейчас нет.

Эд и Файн переглянулись.

— Вы всерьез интересуетесь философией? — спросил Файн.

— Я закончила университет в Дели.

— И вас не устраивает философия?

— Почему? Я люблю философию древних и не любимого вами Энгельса. А современной философии попросту нет. Нельзя любить несуществующее.

— Почему? — спросил Эд. — Мы ведь любим мечту. А это — несуществующее.

— Нет, — мягко возразила Тань и положила свою маленькую горячую руку на плечо Эда, словно сдерживая его. — Мечта существует, потому что существуете вы, прародитель мечты. Мечта — это неудовлетворен-

ность прошлого, опрокинутая в будущее вашим настоящим.

Файн зааплодировал.

— Каждая эпоха, утвержденная научными открытиями, рождала свою философию. Когда научно утвердилась гидравлика, сменившая ручной труд на мельницах, родилась философия Вольтера и Руссо, философия революции. Когда утвердилось электричество, открытое практиками науки, родилась философия Маркса. А сейчас расщеплен атом и сфотографированы гены. Где философское обобщение этого?

— Боже мой, — сказал Эд, — вы, оказывается, тоже мыслящая женщина?

— Я думала, вам это нравится, — улыбнулась Тань. — Я это говорила для вас. Я люблю совсем другое... Женщина должна любить только то, что нравится мужчине.

Тань сняла кофточку. Спина ее была совсем открыта, грудь четко вырисовывалась под легкой тканью платья.

Файн увидел, как Эд смотрел на женщину, и сказал:

— Ну, счастливо. Я снова залягу в ванну.

Тань колокольчиком рассмеялась.

— Нет уж, — сказал Эд. — Лучше ты не занимай ванну. Она может в любую минуту понадобиться.

— Кому? — ухмыльнулся Файн.

— Нам, — ответил Эд и положил руку на мягкую коленку мадам Тань.

02.44

Художник был в пещере не один: в углу, на нарах, тесно прижавшись друг к другу, спали три мальчика и, чуть поодаль, старуха, прижавшая к себе младенца; возле стола сидел хмурый Ситонг.

— Его зовут Кхам Бут, — сказал Ситонг, — внимательно посмотрев на Кемлонг. — Знакомься, Степанов.

— Здравствуйте.

— Добрый вечер. Как ваше здоровье? Как добрались, не очень ли устали в дороге?

— Спасибо, все в порядке.

— Пожалуйста, протяните вашу левую руку, — попросил художник.

Степанов вытянул руку, и Бут, достав из нагрудного кармана толстую нитку, начал обвязывать его запястье. Он никак не мог управиться одной своей левой рукой, нитка то и дело выскальзывала у него из пальцев. Сте-

панов заметил, как у Бута под кожей, возле ушей, перекатывались острые желваки.

— Помочь? — спросила Кемлонг.

Не отвечая, Бут продолжал завязывать нитку на запястье.

— Ты не торопись, — посоветовал Ситонг. — Не торопись, и все получится.

Бут выронил нитку и, взглянув наконец на Кемлонг, сказал:

— Рыбка выскользнула. Кемлонг, хоть ты у нас и неуклюжая, все же теперь ловчей меня. Завяжи ему ниточку ты.

— Это обычай, — пояснил Ситонг. — Ниточкой он привязывает к твоей руке свою душу, чтобы она оберегала тебя на войне.

Кемлонг обвязала ниточкой запястье, стянула узелок и сказала:

— Кхам Бут, гость хочет посмотреть твои рисунки. Ему интересно, как ты рисуешь...

— Рисовал, — поправил ее художник и жестко усмехнулся. — Птичка пела, а ворона только каркает.

— Э, — поморщился Ситонг, — рисовать можно и левой рукой. Рисовать — не стрелять, — добавил он и засмеялся. — Правда, Степанов?

Кхам Бут посмотрел на Степанова, который ничего не ответил.

— У меня в Москве много друзей-живописцев, — сказал Степанов. — Я люблю сидеть у них в мастерских.

— Запах скипидара? — улыбнулся Бут. — Живопись имеет приятный запах, да? Я мало знаю художников. Когда я учился в Америке, я часами простаивал возле картины русского художника Шагала «Я и моя деревня». Я почувствовал, что он это писал и про мою лаосскую деревню.

— Спасибо, — тихо сказал Степанов, не в силах отвести взгляда от громадноглазого лица Кемлонг.

— Он что, твой родственник? — спросил Ситонг.

— Кто?

— Ну, этот... Русский художник в Америке?

— Нет. Почему?

— Зачем же ты благодаришь?

Кхам Бут снова усмехнулся. Усмешка его была жесткой и внезапной.

— Пошли, — сказал он, — я покажу вам кое-что. Вообще-то все — мура. Я только начинал искать.

Он зажег еще один керосиновый фонарь и достал из-под циновок два блока. Первый — большой, коричневый — он отложил в сторону, а тот, что был поменьше, открыл резким жестом, будто дирижер, начинающий работу. Он начал неторопливо раскладывать по кремневому полу пещеры свои рисунки. Живопись его была пронизана синим громадным солнцем.

— Любите Ван-Гога? — спросил Степанов.

— Очень. Заметно, что подражаю?

— Не подражаете. Продолжаете. Подражателем быть плохо, продолжателем — почетно.

— Спасибо.

Ситонг снова жестко усмехнулся:

— Неужели все художники только и благодарят друг друга?

— Какой ты черствый, — сказала Кемлонг. — У тебя совсем огрубело сердце.

— У вас солнца через край, Бут, — сказал Степанов, разглядывая живопись. — И трав тоже.

— Через край?

— Это значит много, — пояснил Степанов.

— Пишешь всегда то, что хочется видеть. Мы же лишены здесь солнца.

— Любите музыку?

— Я знаю, отчего вы меня об этом спросили, — сказал художник. — Ваш композитор Скрябин делал музыку цвета.

— Верно.

— Интересно бы это посмотреть. Вообще, я думаю, живопись не нуждается в музыке. Если это самовыражение художника — там обязательно будет и музыка, и скульптурная форма, и философия.

— А что во втором блоке? — спросил Степанов и потянулся рукой к плоской коричневой папке, лежавшей поодаль.

— Это — так, ерунда, наброски, — ответил Бут, — совсем неинтересно.

Он как-то слишком торопливо поднял блок, чтобы забросить его под циновку, поэтому блок выскользнул из его пальцев, и на пол посыпались рисунки. Это были портреты Кемлонг: смеется, поет, купается в зеленом пруду с теплой ключевой водой.

Художник метнулся растерянным взглядом, увидел застывшее лицо Кемлонг и, опустившись на колени, начал ползать по полу, суетливо собирая рисунки.

Степанов опустился рядом с ним и помог ему собрать рисунки.

— Спасибо, — сказал Бут и снова метнулся взглядом по пещере: Кемлонг уже не было.

— Ну что? — спросил Ситонг, отхлебнув холодного чая. — Пора трогать. Надо ж равнину проскочить в сумерках. Мы там как мишень: голое место... Ни камня, ни деревца...

— Скажи ему, чтоб он не горевал, — сказал Ситонг. — Вы ж одного поля ягоды — ненормальные... Скажи ему, что прожить можно и без руки.

— Прожить, — кивнул головой Бут. — Именно — прожить.

— Будто ты не можешь жить без этих своих рисунков... — сказал Ситонг.

Кхам Бут поглядел на Степанова, словно ища у него защиты.

— Жить — нельзя. Прожить — можно.

— Брось, — сказал Ситонг. — Надо только сказать себе злое слово. Надо уметь быть сильным.

— Сильнее себя человек быть не может, — сказал Степанов.

— Может, — упрямо повторил Ситонг. — Может. Человек все может.

— Я пробовал рисовать левой, — словно оправдываясь, сказал Бут, — но это очень плохо. Я почувствовал себя немым: все слова слышу, а сказать ничего не могу. Я пробовал к этой культе, — он тряхнул обрубком правой руки, — привязывать кисть. Ничего у меня не вышло, мазня... Я говорил себе: если ты настоящий художник, пусть тебе отрубят обе руки — не погибнешь; если есть что сказать людям — ты скажешь этой песней. Пусть отрежут язык — ты все равно будешь думать свое. Я так сначала говорил себе... А когда попробовал привязать кисть к культе и ничего не вышло, тогда я...

— Когда победим, — сказал Ситонг, — мы заставим американцев построить для тебя специальный протез.

Кхам Бут опустил голову, спрятав лицо в коленях.

Ситонг обнял его за плечи, и лицо его мелко затряслось.

— Ну что ты, что ты? — ласково, совсем иным голосом — такого голоса Ситонга ни разу не слышал Степанов — заговорил он. — Ну не надо, разве можно так жалеть себя?

Степанов вышел из пещеры. Кемлонг стояла возле

дерева и рисовала пальцем на коре замысловатый узор.

— Пойди к нему, — сказал Степанов.

Она отрицательно покачала головой.

— Ты знала про эти рисунки?

— Нет.

— Пожалей его.

— Разве можно жалеть мужчину? Он тогда погибнет.

— До свидания, любовь... Мы уезжаем.

— Я знаю... Тебя не оставят около меня...

— А если я попрошу?

— Дай мне руку, — сказала Кемлонг.

Она обвязала его запястье красной шелковой ниточкой:

— Это я дала тебе свою душу на дорогу...

03.40

Файн сидел возле включенного диктофона и неторопливо курил.

— Неужели в мир пришла ночь? — заговорил он, поставив нужную тональность записи. — Неужели двадцатый век — последний век человечества? Этого человечества?

Файн отмотал запись, прослушал свой голос, досадливо затушил окурок в пепельнице, сделанной из половинки шариковой бомбы, стер написанное и начал диктовать снова:

— Люди, считающие, что они служат долгу, попросту выполняют то, что время запрограммировало в их генах. Мы все запрограммированы, сейчас уже с этим не спорят. Когда-то древние знали про это. Недаром осталась мудрость: «Тот, кому суждено быть повешенным, не утонет в луже». Раньше время было медлительным. Его называли рекой. Теперь оно стремительно. Отчего оно так убыстрилось? Наверное, оттого, что оно не хочет открыть нам свою тайну. Главную тайну. Поэтому оно заставляет нас прожигать и проживать время жизни. Оно подгоняет нас, выдвигая иллюзорные мечты, мы гонимся за ними, пробегая сквозь время. Мы не успеваем осмыслить происходящее: время готовит нам одну феерию за другой. Память мира стала, как никогда, короткой: так бывает в концерте, где отличные номера следуют один за другим. Бег за мечтой порождает усталость. И мы передаем эту усталость потомкам. Мы программируем усталость в будущем через гены

наших детей и внуков. Видимо, мы слишком близко подошли к тайне времени. Мы начали выходить из-под контроля. И время тогда, поняв, что впрямую нас не победишь и прошлое — спокойное прошлое — не вернешь людям, а следовательно, и ему самому, — позволило простой микроскоп сделать электронным и помогло тем, кто слепо тыкался носом вокруг проблемы наследственности, сфотографировать клетку ДНК. Время решило столкнуть количество открытого людьми с их разумом, который не в силах это открытое осмыслить. И тогда время помогло Виннеру создать кибернетического робота. Это был самый коварный ход времени. Человек, преклоняющийся перед творением рук своих, перед всезапоминающим и всевычисляющим роботом, обречен на умильное рабство. Робот будет служить не человеку, как он надменно думает, но — времени. Спасти от гибели можно только верующих рабов. Богов свергли. Робот — бог будущего. Время нас снова обыграло. Человечество, погрязшее в маленьких личных, групповых и государственных заботах, уже проиграло, не заметив этого катастрофического проигрыша, а порой даже аплодируя поражениям — когда выдавали Нобелевские премии мудрецам от математики и электроники. Эти мудрецы были невольными провокаторами времени. Не зря инквизиция жгла на кострах тех, кто дерзал думать шире пределов, утвержденных религией: видимо, папские нунции, лишенные радостей плотской, простой жизни, мечтали, чтобы этим простым счастьем наслаждалась их паства. Паства дерзко отринула этот путь устами Галилея, который сказал, что шарик все-таки крутится. Будь он проклят, этот вздорный старик, этот вздорный старик... Только равенство мысли могло бы уравнять людей в их правах и обязанностях. Но разве люди согласятся уравнять себя в мысли? Личный агент времени в каждом из нас — честолюбие и алчность — не позволит сделать этого. Маленькие люди заняты своими маленькими радостями, крохотными горестями и глупенькими страстями. Время, наблюдая нас, видимо, потешается: «На что замахиваетесь, мыши?»

Файн выключил магнитофон и, откинувшись на спинку старинного, с истертыми валиками кресла, закурил и почувствовал, как у него устало расслабились мышцы живота.

Он потянулся и закинул тонкие руки за голову.

Возле окна, в дальнем углу номера, запел сверчок. Файн долго слушал, как поет сверчок, а потом — неожиданно для себя — заплакал. Он включил диктофон и поднял микрофон, чтобы песня сверчка явственнее записалась на пленку. Он долго сидел с вытянутой рукой и, улыбаясь, счастливо плакал, слушая, как пел сверчок. А когда он замолчал, Файн сказал в микрофон:

— У времени добрая песня...

04.07

— Поставь будильник на пять часов, — сонно пробормотал Билл. — Я хоть часок вздремну. Мы в пять должны вылетать...

— Я разбужу. Спи, — сказала Сара. — Я разбужу тебя в пять.

— Мы разбомбим эту машину с чарли и быстренько вернемся.

— Спи. Спи, — повторила Сара. — Спи же ты...

— У меня очень свирепый командир. Мне нельзя проспать.

— Спи. Я тебя разбужу.

Саре показалось, что парень уснул. Она осторожно отодвинулась от него. Ей хотелось бежать отсюда, но парень обнял ее, прижал к себе и спросил:

— Куда ты?

— Никуда. Просто мне жарко.

— Нет. Лежи рядом. Я не буду спать, я только подремлю пятнадцать минут, — он поцеловал ее в шею. — И сразу проснусь. И у нас еще останется полчаса на любовь. Поцелуй меня.

Сара прикоснулась губами к его щеке.

— Нет, поцелуй меня так, как раньше.

— Я устала.

— Ты думаешь, я не устал? Я тоже очень устал.

— Поспи. Поспи немного.

— Хорошо. Совсем немного. Разбуди меня через десять минут. Ладно?

— Хорошо.

И Билл уснул: он всегда засыпал сразу, как ребенок.

04.29

— Я не мешаю тебе своими коленками? — спросил Ситонг.

— Нет, что ты, совсем не мешаешь.

— Я взял еще две канистры на обратный путь и продовольствия, поэтому стало так тесно.

— Ты на границе не отдохнешь? Там хорошее убежище.

— Нет. Надо возвращаться на фронт, — ответил Ситонг. — Там дел много. Ну-ка, поддай скорости, — попросил он шофера. — Надо поскорей проскочить равнину.

— Я и так гоню, — сказал шофер. — Равнина очень красивая, — обернулся он к Степанову. — Вы ее днем не видели?

— Чего красивого может быть в равнинах? — удивился Ситонг. — Красиво бывает только в горах.

— Почему? — спросил Степанов.

— Потому что в горах неизвестно, что будет дальше. Поднимаешься на вершину — и видишь: водопад. Поднимешься на вторую — а там ульи с медом; опустишься в ущелье — а там олень стоит. А равнина — что? Как жизнь: заранее знаешь, что в конце умрешь...

— В равнине можно построить красивый город, — сказал шофер. — Кхам Бут, когда был с рукой, нарисовал такой город: он весь стеклянный. Когда мы победим, в тот город станут приезжать люди со всего мира — отдыхать, и охотиться, и ловить рыб в горных потоках, стремительных, как любовь, — закончил он обязательной саванакетской цветистостью.

— Жаль только, — задумчиво улыбаясь чему-то своему, далекому, сказал Ситонг, — что у нас нет снега.

— А у нас жалеют, что мало лета, — сказал Степанов.

— Всегда жалеют о том, чего нет, — сказал Ситонг. — Вообще-то снег — это очень красиво.

— В нем много высокой эстетики, — сказал Степанов, — особенно когда его вспоминаешь, а не идешь по нему босиком...

— А что такое эстетика? — спросил шофер.

— Эстетика? — переспросил Степанов и пожал плечами. — Черт его знает... Наверное, это — когда уважают человека. В жаре нет эстетики, например.

— Жара — это ничто, — засмеялся шофер. — Как же может н и ч т о́ уважать человека?

— Жара — это нечто, — сказал Ситонг. — Ведь ты реагируешь на нее?

— Я на нее потею, а не реагирую.

Ситонг спросил Степанова:

— Ты любишь снег?

— Очень.

— Я тоже люблю снег, — сказал Ситонг. — Я очень любил подниматься на фуникулере в Париже, когда шел снег.

Степанов вспомнил фуникулер в Татрах. Он тогда забрался на самую вершину — думал только посмотреть на Татранскую ломницу, но начался буран, и водитель фуникулера вошел в маленький ресторанчик, отряхнул с фуражки снег и сказал:

— Будем отдыхать.

В ресторанчике было четыре человека: краснолицый седой австриец в спортивной поношенной куртке, женщина-горнолыжница, сидевшая возле окна, парень, игравший на губной гармонике, и Степанов. Водитель фуникулера ушел на кухню, и оттуда был слышен его рокочущий голос — наверное, он пил пиво и поэтому так довольно рокотал.

Австриец спросил Степанова:

— У вас нет огня?

— Есть. Пожалуйста. — Степанов протянул ему зажигалку, и австриец прикурил треснувшую, намокшую сигарету.

— Спасибо, — сказал австриец. — Хороший снег, а?

— Снег дрянной, — сказал парень, перестав играть на губной гармошке. — Если он не прекратится, надо будет здесь ночевать.

— Ну и прекрасно, — сказал австриец, — это ж приключение. Что может быть лучше приключений в нашей жизни?

Парень показал глазами на женщину, сидевшую спиной к ним возле окна, и ответил:

— Любовь лучше приключений.

Австриец громко крикнул:

— Эй, кто-нибудь!

Из-за занавески выскочила девушка.

— Сливовицы... Пять крат, — показал на пальцах австриец.

Девушка сделала испуганные глаза и побежала выполнять заказ.

— Приятно шумит ветер, — сказал австриец, — особенно это приятно, когда сидишь возле раскаленной печки и можно выпить.

Буран крутил все сильнее, и парень, спрятав губную гармошку, сказал:

— Пойду хлопотать о ночлеге.

Он посмотрел на женщину и, подойдя к ней, спросил:

— О вас позаботиться?

— Спасибо, — ответила женщина, не оборачиваясь, — не надо.

Парень пожал плечами и вышел. В ресторанчик, когда он открывал дверь, залетел снег — огромные белые хлопья. Они быстро растаяли, сделавшись грязными каплями воды на дощатом, плохо крашенном полу.

Австриец подошел к музыкальному автомату и бросил туда монетку.

Женщина обернулась:

— Какая громкая музыка.

— Разве это плохо? — спросил австриец. — Это хорошо, когда громкая музыка. Хотите выпить?

— Нет. Не хочу, — ответила женщина и, помедлив, добавила: — Благодарю вас.

Она была смуглой, но загар у нее был нездешний. Тут, в горах, загар бывает бронзовый, очень яркий, а потому — недолгий.

Австриец опрокинул подряд две рюмки, вытянул ноги, откинулся на высокую спинку и закрыл глаза.

— Боже ты мой, — сказал он, — как это хорошо, когда в горах шумит буран. Когда человечеству делается скучно, оно начинает войны. А горнолыжники, когда им скучно, уходят в буран, и у них проходит и скука и злость.

Степанов отошел к окну.

«Мело, мело по всей земле во все пределы, — вспомнил он, — свеча горела на столе, свеча горела...»

Женщина обернулась и поглядела на австрийца. Он курил, тяжело затягиваясь.

— Выключите, пожалуйста, эту дурацкую музыку, — попросила она.

Степанов сделал шаг к музыкальному автомату, но пластинка кончилась, и стало тихо, и особенно слышным сделался буран и рокочущий голос водителя фуникулера на кухне.

— Вам не холодно возле окна? — спросил Степанов.

— Нет.

— Издалека приехали?

— Да, — ответила женщина, поднялась и, надев шапку, вышла из ресторанчика.

Австриец спросил:

— Посмотрите, она начала спуск?

— Куда? — не понял Степанов.

— Вниз. Она всегда ждет бурана и спускается вниз через метель.

Степанов смотрел на снежную мглу, но ничего не смог увидеть.

Австриец застегнул свою куртку, допил сливовицу и сказал:

— Если бы эта женщина смогла меня полюбить, я был бы самым счастливым человеком в мире.

Степанов заметил, что австриец сейчас уже не был краснолицым. Он видел только, что он седой, а лицо у него стало бледное и скулы обтянуты щетинистой кожей.

— В мире, — сказал он очень грустно, — есть одна-единственная женщина, которая может дать счастье, но она всегда принадлежит другому.

И он ушел, и Степанов увидел, как сквозь метель промелькнула стремительная тень, — австриец погнал вниз, следом за этой молчаливой, смуглой, совсем не красивой женщиной.

04.47

— Вы просто устали, милый, — сказала Тань, целуя Эда.

Эд повернулся на спину и закурил.

— Ты все знаешь, Тань? А? Ты знаешь все?

— Про мужчин я знаю все, — улыбнулась она в темноте, — а про себя я ничего не знаю.

— Наверное, в моем возрасте уже нельзя ложиться с женщиной, если не любишь ее. Или хотя бы не увлечен самую малость.

— Вы хотите обидеть меня?

— Прости. Дурацкая привычка — рассуждать о себе вслух.

— А я думала, что писатели чаще думают о других.

— Ты тоже думаешь? — сказал он жестко. — Кто бы рядом со мной хоть немного не думал, а?

— Поспите, милый, — сказала она, обнимая его своей тонкой, прозрачной рукой, — вам надо отдохнуть. На этой страшной войне вы совсем не щадите себя.

— Ты заплачешь, если я ударю тебя, Тань?

— Если вам станет легче — ударьте. Я не заплачу. Хорошо, что вы сказали, а то я бы удивилась. Меня никогда не били.

— Это хорошо.

— Я любила первого мужчину. Побои нравятся тем женщинам, которые поняли любовь после насилия.

— А кто был твоим первым?

— Муж.

— Где он?

— Его убили.

— Когда?

— В позапрошлом году.

— Кто?

— Вы. Он попал в бомбежку.

— И ты можешь лечь со мной в постель?

— Люди никогда не умирают бессмысленно. Значит, его смерть была угодна Богу. Иначе бы он не погиб. Ну, ложитесь сюда, — сказала она, — еще ближе. Вам надо отдохнуть, и тогда вы будете сильным.

— Тебе было хорошо только с мужем, Тань?

— Нет. Мне было хорошо с другими тоже. Мне с вами будет тоже очень хорошо.

Эд поднялся. Ему хотелось сказать этой красивой женщине что-то грязное и злое, но он ничего ей не сказал. Он только попросил:

— Одевайся, Тань. Мой друг отвезет тебя домой, а я поеду на аэродром.

Он зашел в комнату к Файну.

— Ты не спишь?

— Сплю, — ответил тот, пряча диктофон. — А что?

— Отвези женщину домой, а я пока оденусь и позвоню Биллу.

...Билл не поднимал трубку, потому что Сара тихо, то и дело оглядываясь на спящего, опасаясь разбудить его, ненароком выдернула каблуком штепсель телефона из белой фосфоресцирующей розетки. Когда штепсель брякнулся на кафельный пол, Сара, вздрогнув, замерла и осторожно повернула голову: Билл по-прежнему сладко посапывал во сне.

Она тихо приоткрыла дверь, и дверь длинно, протяжно заскрипела. Сара снова вся замерла и снова обернулась на парня, повторяя про себя как заклинание:

«Сейчас, ну сейчас, сейчас... сейчас». А выйдя из его комнаты, она побежала по длинному коридору и уже не боялась холодного перестука каблуков по кафельному бело-голубому полу.

Около двери, которая вела на улицу и которая была все ближе и ближе, которая наваливалась на нее, как громадная тяжесть, и приближалась к ней, как будущая свобода, появился Самни, тот чревовещатель, который так смешно пугал ее в баре. Он появился неожиданно — видно, быстро выскочил из своей комнаты. Он стоял в майке — здорово пьяный.

— Привет, — сказал он, больно схватив Сару за руку. — Где наш Билл?

— Что? Он у себя. Пустите, мне больно.

Не открывая рта, он произнес горлом:

— А вот у меня болит душа! Это хуже, чем ручка!

Он потянул Сару к себе и сказал:

— Зайдите ко мне на минуту, я вам что-то покажу...

— Хорошо, — сказала Сара, — только пустите руку.

Он покачал головой, странно улыбнулся и обнял Сару. Она рванулась что было сил: Самни, потеряв равновесие, упал, увлекая Сару за собой — на холодный голубой кафельный пол. Она ударила его каблуком в живот, он, охнув, отпустил ее руку. Сара вскочила и выбежала из двери. Она бежала по темной улице, больше всего страшась услышать позади себя сопение этого Самни. Она боялась оглянуться, она бежала, повторяя все время: «Сейчас, сейчас, Эд, родной, сейчас! Сейчас, Эд!» Она часто жмурилась, чтобы отогнать навязчивое, до ужаса явственное видение: голова Билла на смятой подушке и слюнка, которая стекала желтым пятном из его большого мальчишеского рта, а еще она видела близкое лицо Самни, который хватал ее и что-то говорил, а губы его были недвижны, как и недвижно лицо, замершее словно маска.

04.47

— Мой парень где-то загулял, — сказал Эд вернувшемуся Файну. — Хочешь слетать со мной? Это будет нетрудный полет.

— Спасибо.

— Спасибо — да?

— Конечно. Сейчас переоденусь.

— Зачем? Включим печку, ты не замерзнешь.

Когда они сели в машину и Стюарт включил зажигание, Файн спросил его:

— Скажи правду: ты летишь со злобы? Тебе надо сорвать злобу? Или — что?

— Как тебе сказать? — медленно ответил Эд. — Наверное, я лечу сейчас только потому, что, садясь за штурвал, начинаю по-настоящему ощущать свою силу.

04.57

— У нас батарейки еще не сели, Ситонг? — спросил Степанов.

— Хочешь послушать радио?

— Да, — ответил Степанов, но, взглянув на часы, попросил: — Погоди включать. Сейчас одна музыка. Знаешь, когда я слушаю радио, я думаю, что мир все-таки плоский. Разность часовых поясов, по-моему, выдумали досужие мудрецы.

— Конечно! — радостно согласился шофер. — Я ничего в этой премудрости так и не смог понять.

— Вообще-то мир — круглый, — сказал Ситонг. — Так пишут классики марксизма-ленинизма. Почему тебе кажется, что часовые пояса выдумали?

— А ты послушай последние известия... Весь мир передает последние известия в одно и то же время. Как уговорились.

— Вообще-то верно, — сказал шофер. — Мир прекрасен, как синяя равнина при рассвете...

Ситонг засмеялся:

— Может, послушаем музыку?

— Я боюсь, не хватит батареек на последние известия. И так радио еле слышно. Хочется послушать последние известия.

— Скорбные и радостные известия с полей битв, — заключил шофер в своей обычной манере, — заслуживают того, чтобы мы ограничили музыкальные программы. В конце концов мы можем спеть сами.

— Ты скоро совсем перестанешь говорить, а начнешь петь, — сказал Ситонг. — Прямо соловей, а не шофер. Еще б заводную ручку с собой возил — тогда полный порядок! Выключи фары, в тумане лучше ехать без света.

Шофер убрал свет, и в зыбкой, рассветной, сероватой мгле Степанов увидал расплывчатые фигуры. Люди в длинных одеяниях ходили по кругу, словно в феерическом, сказочном хороводе. Движения людей были

ритмичны, будто согласованы с неслышимой, но очень четкой музыкой.

— Что это? — спросил Степанов.

— Это? — переспросил Ситонг. — А, это, наверно, ансамбль «Сипахатон», они тут репетируют по ночам. От скал ведет траншея, они в случае чего убегают. Здесь до скал метров пятьдесят.

— Остановись, — попросил Степанов. — Давай посмотрим.

— Нельзя. Светает. Надо проскочить равнину. Тут еще километров десять открытой равнины.

— Ну хоть на минуту, — попросил Степанов. — Я не буду вылезать, только выключи мотор, это надо слушать...

— Выключи мотор, — сказал Ситонг, и шофер выключил мотор, и стало тихо.

И в этой наступившей тишине Степанов услышал песню. Она была очень странной — то быстрой, то — вдруг — замирающей. В такт этой песне по зеленой поляне двигались танцовщицы, то появляясь, то исчезая в белом тумане.

— Ты оставил пленному риса? — шепотом спросил Ситонг шофера.

— Оставил.

— Тише, — попросил Степанов.

— И банку консервов, — шепнул шофер.

Степанов смотрел на танцовщиц и вспоминал Дунечку: она любила танцевать, когда ее никто не видел. Движения ее были неожиданны и странны. Лицо замирало, очень взрослело, и под глазами залегали серые тени — от волнения. Она слушала свою музыку, которая звучала в ней, и маленькое ее тело двигалось по комнате, подчиняясь этой не слышимой никому, кроме нее, музыке.

Однажды Степанов спросил ее:

— Про что танцуешь, Дуня?

— Ну... Не знаю, — ответила она. — Когда как. Иногда я танцую про кукол, иногда про то, какое вкусное мороженое... Не знаю, — повторила она, и в интонации ее прозвучало что-то взрослое и чужое — то, что Степанову не дано было понять.

— Сейчас они начнут ламвонг, — сказал шофер.

— Да, — сказал Ситонг, — едем.

Степанов почувствовал, как тот задвигал коленями: ему, видно, очень хотелось потанцевать ламвонг — здесь это самый любимый танец, который танцует каждый.

05.13

— Это война неудачников, — говорил Эд, вглядываясь в рассветную, серовато-синюю землю. — Это война несостоявшихся честолюбцев — политиков и генералов. И писателей. И ученых. Вообще — всех неудачников.

— Эта война — война умных политиков, Эд. Ты очень ошибаешься. Это война хитрых людей. Они сплачивают нашей жестокостью всех азиатов против белых. У нас с ними нет границы. Граница у Азии есть только с красными. Гнев Азии против белых, который мы уже создали, выльется в бойню красных и желтых... Помяни мое слово...

— Это слишком умно и дальновидно для наших кретинов, Файн.

— Черт с ними, с нашими кретинами. А что на этой войне делаешь ты?

— То же, что и ты, — убегаю от себя.

— Я не смог убежать от себя, Эд. Мне тут еще хуже.

— Знаешь, когда я летаю бомбить этих маленьких, несчастных чарли, мне приятно сознавать себя подлецом. В другое время я боюсь даже подумать об этом. Мы ведь все так любим себя, Файн, что даже противно.

— Я помню у Сент-Экзюпери... Помнишь, он писал, что в каждом человеке может жить Моцарт.

— Сейчас мы с тобой договоримся до того, что я брошу бомбы на скалы.

— Может быть, в этом есть смысл.

Эд обернулся и спросил:

— Ты борец за мир, а?

— Нет. А что? Лети тише, Эд. Давай экономить время хотя бы в этом.

— О чем ты?

— Так...

— Ну-ка, взгляни вперед. Что-то там ползет, а?

— Ничего там не ползет.

— Это тебе кажется, что не ползет. А мне кажется, что это машина. Я точно рассчитал, Файн. Я их здесь догоню, этих чарли. Им здесь будет некуда деться...

05.15

Ситонг, как всегда, услыхал самолет первым.

— Гони к скалам! — крикнул он.

— Там нет дороги.

— Без дороги! Скорей!

Шофер нажал на акселератор, и машина рванулась, набирая скорость. Машина неслась по ухабам и рытвинам, и от этого отчаянно гремели канистры, взятые Ситонгом про запас.

— Стоп!

Машина остановилась, и Ситонг повалился на Степанова.

— Гони!

«Ничего не будет, — спокойно думал Степанов. — Ничего не имеет права быть. Я не имею права уйти, не сделав того, что я обязан сделать. Это будет слишком бессмысленным, чтобы случиться».

05.15

— Видишь, как забегали, — сказал Эд. — Это у них такая тактика. Они хотят, чтобы я бросил бомбы в тот момент, когда они останавливаются.

— Ты всегда так психуешь, когда их видишь?

— С чего ты взял, что я психую? Я совсем не психую. Наоборот, я делаюсь спокойным и расчетливым.

Файн смотрел на лицо Стюарта: лицо его изменилось до неузнаваемости — нос внезапно заострился, губы были поджаты, как у старика, и чуть посинели, и ноздри тонко трепетали.

— Не увлекайся, — сказал Файн. — Что с тобой, парень?

Эд ничего ему не ответил: он заходил для бомбового удара.

05.15

Сара быстро расхаживала вдоль взлетной полосы: от одного фонаря — к другому, вперед и назад. Мимо нее пронесся самолет, и горячий вихрь увлек ее следом, и она пробежала несколько метров вдоль по бетонной дорожке, не в силах противиться этому жаркому, устремленному, тугому движению воздуха.

«Я могу устоять, — подумала она. — Стоит мне только захотеть, и я смогу устоять и не двинуться с места».

Второй самолет начинал разбег в далеких голубых сумерках.

Сара напружинилась, чуть согнула в колене ногу и повернулась лицом к самолету, который несся прямо

на нее по широкой бетонной полосе. И снова горячий вихрь обнял ее, и она, чувствуя, что может устоять, позволила себе пробежать следом за самолетом, уносившимся в небо.

«Скоро вернется Эд, — все время думала она. — И все станет хорошо. Так хорошо, как у нас никогда не было. Только б он скорей вернулся».

Она что-то запела, и, когда стих рев улетавшего самолета, она смогла услышать ту мелодию, которую пела. Эту песенку кричал ночью лилипут в коротких штанишках. Она продолжала петь, меряя расстояние большими шагами — от одного фонаря к другому. Она шла чуть пританцовывая, улыбаясь и чувствовала себя так хорошо, как никогда раньше.

05.17

Бомба разорвалась метрах в тридцати от машины. Комья мокрой грязи залепили ветровое стекло, и шофер резко затормозил. Но в следующий миг он что есть силы нажал на акселератор, и машина, проехав метров десять, ухнула в воронку. Это была старая воронка, уже заросшая травой, поэтому шофер решил дать задний ход, чтобы выбраться с помощью включенного демультипликатора. Машина начала буксовать.

— Вылезайте! Быстро! — сказал Ситонг очень тихо.

Он слышал, что самолет заходил для второго удара, и понимал, что в запасе еще есть пара минут.

— Бегом в разные стороны, — сказал он и ринулся направо — не к горам, что громоздились в ста метрах, а наоборот — в равнину. Степанов и шофер побежали к горам, но шофер вдруг повернулся и бросился к машине.

— Ты куда? — закричал Степанов.

— Там моя теплая куртка! — крикнул парень. — Новая, на молнии!

Ситонг услышал их голоса, обернулся и заорал страшно:

— Назад! Назад! Беги назад! Идиот! Убегай!

Он кричал, не останавливаясь, прилаживая на ходу обойму, бросив старую себе под ноги. Огромная, стремительная, все увеличивающаяся расплывчатая тень самолета неслась на Ситонга. Он упал на колено и пустил по самолету очередь, и Степанов, падая, понял, отчего он менял обойму: он поставил обойму с трассирующими

пулями, чтобы отвлечь пилота на себя, чтобы заставить его сбросить на себя все бомбы.

— Ситонг! — закричал Степанов. — Ситонг!

Но Ситонг не слышал его: в небо поднялся черный столб раскаленной земли, и настала оглушительная, рвущая перепонки тишина, а после этот громадный столб жара начал медленно оседать, а после из этого — теперь уже коричневого — столба вырвалось бело-красное пламя.

05.19.

— О'кэй! — сказал Эд и как-то странно засмеялся. — Эти чарли в порядке. Сейчас мы поохотимся за тем, который в нас стрелял.

Заложив крутой вираж, он лег на курс и бросил самолет в пике. Ему хотелось быть близко к этому человеку, который, по-заячьи петляя, метался на земле.

— Как он смешно прыгает, а?! — кричал он Файну.

— Эд, Эд, не сходи с ума, — быстро говорил Файн, толкая Стюарта в плечо. — Что с тобой, Эд?!

— Иди к черту! — крикнул Эд. — Не мешай мне, идиот!

И он нажал на гашетку, и самолет затрясло, и вокруг человека на земле забурлили серые фонтанчики. Человек упал на колени, как при молитве, и пустил по самолету еще одну очередь.

Самолет резко тряхнуло, но Эд не понял, отчего так тряхнуло самолет, потому что он снова нажал на гашетку. Он увидел, как человек пустил по самолету очередь, он видел, как белые длинные тире пуль медленно неслись навстречу самолету, но он был уже не в силах свернуть от этих длинных белых тире, потому что наблюдал за тем, как человек, нелепо взмахнув руками, бросил автомат и повалился на землю.

— Ага, чарли! — засмеялся Эд. — Порядок, чарли!

И в ту же минуту в лицо ему ударила струя ледяного воздуха, лицо вмиг окровавилось от осколков стекла, и он не успел даже понять, что это разбито ветровое стекло кабины, потому что одновременно рвущая, толстая боль вошла в него, и он закричал, и бросил штурвал, чтобы руками ощупать эту свою боль, а потом потерял сознание.

05.58

Никто не видел, как самолет Стюарта врезался в скалы.

Оглохший и наполовину ослепший Степанов полз по земле, и за ним оставался кровавый след. Он полз мимо разорванного в клочья шофера, мимо раненого Ситонга — не понимая, куда он ползет и зачем. Он полз только для того, чтобы чувствовать себя живым, видимо, поэтому он так неторопливо полз. Земля была по-рассветному холодной. Он чувствовал холод утренней росы, и ему виделся громадный русский луг, над которым весенним пролетом низко летели серые птицы: впереди — гусыня, а сзади, словно незримо привязанный, — гусь. Трава на лугу была желтой, прохладной, убитой морозами. Запах ее был таким же сладостным и горьким, как в первый день его недолгой разлуки с Надей, когда на даче сжигали прошлогоднюю коричневую листву.

Степанов полз теперь очень медленно, по-прежнему ощущая запах того весеннего рассветного луга под Сасовом, на первом, самом первом пролете гусей.

PELOPTEP

I.

Я, Иван Варравин

Газета легко дала мне эту командировку, оттого что письмо было поразительное: «Молодые друзья! Я обращаюсь к вам, в комсомольскую прессу, после того, как отправил в Москву заявление: «Прошу освободить меня от должности Председателя Совета Министров нашей автономной республики и — одновременно — отозвать из Верховного Совета».

Я поступил так не потому, что чувствую за собою какую-то вину. Все проще: талантливый человек, которого я поддерживал, сидит в тюрьме по обвинению в особо крупных хищениях. Так как я еще не получил ответа на мое обращение, хотел бы встретиться с молодым журналистом и порассуждать вместе с ним о житье-бытье, покуда в моих руках находятся необходимые архивы. После этого журналисту следует обратиться в прокуратуру, а уж потом — в колонию, где отбывает срок Василий Пантелеевич Горенков. В его деле, как в капле воды, отражаются проблемы нашей сегодняшней жизни.

С уважением Каримов Рустем Исламович».

...С трудом протолкавшись сквозь аэрофлотовский тоннель, что ведет на посадочную площадку (как же мы умеем организовывать очереди!), я устроился возле иллюминатора; нет большего счастья, чем наблюдать взлет, ощущая таинственность мгновения отрыва огромной махины от бетона и переход людской общности в новое, небесное состояние, которое несколько десятилетий тому назад казалось утопией, несмотря на то что еще в прошлом веке Жюль Верн старался такого рода сказку представить своим читателям вполне возможной былью...

Однажды моя подружка по газете Лиза Нарышкина

выискала у Лескова поразительный пассаж о том, что Писемский литературное оскудение прежде всего связывал с размножением железных дорог, которые полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, замечал Писемский, и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда — все скользит. А бывало, как едешь в Москву на «долгих» в общем тарантасе, да ямщик тебе попадет подлец, и соседи нахалы, и постоялый дворник шельма, а «куфарка» у него неопрятище, — так ведь сколько разнообразия насмотришься! А еще как сердце не вытерпит — изловишь какую-нибудь гадость во щах, — да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на ответ вдесятеро иссрамит, так от впечатлений просто и не отделаешься... И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, — ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по-железнодорожному — бери тарелку, не спрашивай, ешь, — пожевать некогда; динь-динь-динь — и готово, опять едешь, и только у тебя всех впечатлений, что лакей сдачей обсчитал...

Лесков на это приводил в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудностию содержания.

Сто лет как прошло, подумал я, а давешние споры не кончены: оренбургское литературное объединение бранит столичное — мол, не расстилаются перед изначалием, а ведь только через него можно сделаться писателем! Москвичи изучают теперь лишь Пастернака с Гумилевым да Мандельштама, перед классикой не немеют — стыд и позор! Странное мы сообщество, право! Постоянно боремся за единообразие, непременно хотим, чтобы лишь наше мнение сделалось всеобщим; я — прав, остальные — дурни или того хуже. Триста лет ига сменились тремястами годами собственного крепостничества; многие у нас ныне сердятся, когда крепостничество называют рабством, мол, «клевета на народ», ан, увы, не клевета, а факт истории; замалчивать историю то же, что лгать больному или туберкулезника лечить от простуды; неосознанное предательство так же опасно, как и заранее спланированное. Да и четверть века — с двадцать восьмого по пятьдесят третий — тоже даром не прошли, родился стереотип нового страха, надежда лишь на того, кто все знает, все понимает и все умеет,

ощущение собственной малости и незащищенности, разве такое можно оставлять вне исследования? Масоны — масонами, а история — историей: владелец типографии Новиков, брошенный матушкой Екатериною в каземат, был обвинен в масонстве, но против чего он выступал? Против самодержавия, за свободу мужику.

...Между прочим, отчего при полете в Варшаву — а это всего два часа — курить в салоне разрешается, а когда пилишь в Сибирь шесть часов, не моги?.. Салтыков-Щедрин? «Хорошо иностранцу, он и у себя дома иностранец»?

Я дождался, когда погасло табло, самолет пробил дождевые облака, распластался над белым туманом и словно бы остановился, набрав девятисоткилометровую скорость. Расстегнув свою сумку — чудо что за сумка, можно слона затолкать, — я достал конспекты и принялся — в который уже раз — систематизировать выписки.

Честно говоря, я не знаю, что у меня получится из того, что уже сделано: во всяком случае, методологически я сопряг эпизоды нашей экономической бестолковщины (а может, осознанного саботажа) с тем, что писал в свой последний год Ленин: «Всячески и во что бы то ни стало развить оборот, не боясь капитализма, ибо рамки для него у нас поставлены (экспроприацией помещиков и буржуазии в экономике, рабоче-крастьянской властью в политике) достаточно узкие, достаточно „умеренные“».

Словно бы ожидая возражений со стороны догматиков, Ленин идет дальше: «Нам надо не бояться признать, что... еще многому можно и должно поучиться у капиталиста».

Или: «Система смешанных обществ есть единственная система, которая действительно в состоянии улучшить плохой аппарат Наркомвнешторга, ибо при этой системе работают рядом и заграничный и русский купец. Если мы не сумеем даже при этих условиях подучиться и научиться и вполне выучиться, тогда наш народ совершенно безнадежно народ дураков».

Из плана брошюры о продналоге: «Свобода торговли для: а) развития производительных сил, б) для развития местной промышленности, в) для борьбы с бюрократизмом...»

То есть, выходит, личная инициатива противупологалась Лениным бюрократии? Значит, он искал экономи-

ческие формы борьбы против нее, понимая, какая это страшная угроза для революции?

«Советские законы очень хороши, — пишет он далее, — потому что предоставляют все возможности бороться с бюрократизмом и волокитой, возможность, которую ни в одном капиталистическом государстве не предоставляют рабочему и крестьянину. А что — пользуются этой возможностью? Почти никто! И не только крестьянин; громадный процент коммунистов не умеет пользоваться советскими законами по борьбе с волокитой, бюрократизмом или таким истинно русским явлением, как взяточничество. Что мешает борьбе с этими явлениями? Наши законы? Наша пропаганда? Напротив! Законов написано сколько угодно! Почему же нет успехов в этой борьбе? Потому, что нельзя ее сделать одной пропагандой, а можно завершить, если только сама народная масса помогает. У нас коммунисты, не меньше половины, не умеют бороться, не говоря уже о таких, которые мешают бороться».

И — резко: «Мы живем в море беззаконности... Общий итог: местная бюрократия — есть худшее средостение между трудящимся народом и властью».

Как посыл для размышления — вопрос и вывод: «Каковы экономические корни бюрократизма?.. Раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие о б о р о т а между земледелием и промышленностью...»

А затем — о культуре: «От всеобщей грамотности мы отстали еще очень сильно и даже прогресс наш по сравнению с царскими временами (1897 годом) оказался слишком медленным. Это служит грозным предостережением и упреком по адресу тех, кто витал и витает в эмпиреях «пролетарской культуры». Это показывает, сколько еще настоящей черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы... Мы не заботимся или далеко не достаточно заботимся о том, чтобы поставить народного учителя на ту высоту, без которой и речи быть не может ни о какой культуре: ни о пролетарской, ни даже о буржуазной».

А когда мы прибавили жалованья учителям? Лишь когда поняли, что эта профессия стала непрестижной. Только неудачники шли в пединституты, те, кто не смог попасть в другой вуз, а ведь именно в руках учителей —

моральное здоровье народа, особенно если матери работают наравне с отцами. В течение более чем шестидесятилетия народный учитель получал месячный оклад, на который нельзя купить даже пару хороших зимних сапог, а уж о создании личной библиотеки и думать нечего — цена хорошей книги на черном рынке известна. Что же происходило? Головотяпское забвение ленинского наказа? Или осознанная ставка на торможение знаний? Значительно легче приказно управлять человеком, знающим лишь азбуку и навык счета; лишь ученик, воспитанный эрудированным педагогом, может, более того, обязан спрашивать! А кто был в состоянии — в недавнем еще прошлом — ответить на вопросы культурной, подготовленной личности?

Но не только это забыли у Ленина. Никто серьезно не проанализировал его работу о Рабоче-крестьянской инспекции, в которой он, в частности, предлагал резко сократить штаты наркома Сталина; многочисленные контролеры-инспекторы подрывают — по Ленину — «всякую работу по установлению законности и минимальной культурности».

Ленин был намерен вынести вопрос о Народном комиссариате Рабоче-крестьянской инспекции (штаты разбухли, права неограниченны) на съезд партии... Не успел. Другие — не захотели или не смогли...

...Не очень-то мы анализировали национальную проблему; скорее даже поступали в пику Ленину, словно бы ему назло. А ведь он писал в последних работах: «...Мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того — незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений, — стоит только припомнить мои волжские воспоминания, как у нас третируют инородцев... Тот грузин*, который пренебрежительно относится к этой стороне дела, пренебрежительно швыряется обвинением в «социал-национализме» (тогда как он сам является настоящим и истинным не только «социал-националом», но и грубым «великорусским держимордой»), тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской классовой солидарности, потому что ничто так не задерживает развития и упрочения пролетарской классовой солидарности, как национальная

---

* Имеется в виду И. В. Сталин.

несправедливость, и ни к чему так не чутки «обиженные» националы, как к чувству равенства и нарушению этого равенства, хотя бы даже по небрежности, хотя бы даже в виде шутки...»

...Я начал снова и снова перечитывать последние ленинские тома после того, как наткнулся на стенографические записи его секретарей; эти документы потрясли меня; сам по себе напрашивался вывод, что те месяцы, когда больной Ильич лежал в Горках, оказались временем его самой напряженной политической борьбы; силы, увы, были неравные; он — болен, противники — полны силы.

Вспомним запись секретаря Ленина; сделана тридцатого января двадцать второго года: «24 января Владимир Ильич вызвал Фотиеву и дал поручение запросить у Дзержинского или Сталина материалы комиссии по грузинскому вопросу и детально их изучить. Поручение это дано Фотиевой, Гляссер и Горбунову*. Цель — доклад Владимиру Ильичу, которому это требуется для партийного съезда. О том, что доклад стоит в Политбюро, он, по-видимому, не знал. Он сказал: «Накануне моей болезни Дзержинский говорил мне о работе комиссии и об «инциденте», и это на меня очень тяжко повлияло...» В субботу спросила Дзержинского, он сказал, что материалы у Сталина. Послала письмо Сталину, его не оказалось в Москве. Вчера, 29 января, Сталин звонил, что материалы без Политбюро дать не может. Спрашивал, не говорю ли я Владимиру Ильичу чего-нибудь лишнего, отчего он в курсе текущих дел? Например, его статья об РКИ указывает, что ему известны некоторые обстоятельства...»

1 февраля (запись Л. А. Фотиевой): «...Сообщила, что Политбюро разрешило материалы получить... Владимир Ильич сказал: «Если бы я был на свободе (сначала оговорился, а потом повторил, смеясь: если бы я был на свободе), то я легко бы все это сделал сам...»

9 февраля (запись Л. А. Фотиевой): «Утром вызвал Владимир Ильич. Подтвердил, что вопрос о Рабоче-крестьянской инспекции он вынесет на съезд...»

12 февраля (запись Л. А. Фотиевой): «Владимиру Ильичу хуже. Сильная головная боль. Вызвал меня на несколько минут. По словам Марии Ильиничны, его

---

* Горбунов, помощник Ленина, был расстрелян в 1937 г., Фотиева и Гляссер обречены на молчание до 1956 г *Ю. С.*

расстроили врачи до такой степени, что у него дрожали губы. Ферстер* накануне сказал, что ему категорически запрещены газеты, свидания и политическая информация. На вопрос, что он понимает под последним, Ферстер ответил: «Ну вот, например, Вас интересует вопрос о переписи советских служащих». По-видимому, эта осведомленность врачей расстроила Владимира Ильича. По-видимому, кроме того, у Владимира Ильича создалось впечатление, что не врачи дают указания Центральному Комитету, а Центральный Комитет дал инструкции врачам».

5 марта (запись М. А. Володичевой): «Владимир Ильич вызвал около двенадцати. Просил записать два письма: одно — Троцкому, другое — Сталину...»

Первое письмо начиналось так: «Уважаемый тов. Троцкий! Я просил бы Вас взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии...»

Троцкий ответил отказом: «болен».

Второе письмо было резким, яростным даже: «Уважаемый т. Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен так легко забывать то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения...»

(Еще в декабре двадцать второго, когда Ленин продиктовал письмо Троцкому с просьбой поддержать его в борьбе против Сталина за сохранение монополии внешней торговли, Сталин, на которого, как на Генерального секретаря ЦК, была возложена личная ответственность за соблюдение режима лечения Ленина, позвонил Крупской и, обругав ее, угрожал разбором дела на Контрольной комиссии. Крупская написала письмо Каменеву: «Лев Борисович... Я в партии не один день. За все тридцать лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова... Интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину... О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я знаю лучше всякого врача, так как знаю, что его волнует, что нет, и во всяком случае, лучше Сталина... В единогласном решении Контрольной комис-

---

* Немецкий врач, приглашенный из Берлина.

сии, которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые я бы могла тратить на эту глупую склоку».)

...Когда проанализируешь аппарат ленинского Собрания сочинений, то становится ясным следующее: первый серьезный приступ болезни случился после длительной борьбы Ленина против некоторых членов Политбюро ЦК, настаивавших на отмене монополии внешней торговли, и конфликта в Тбилиси между Закавказским крайкомом и группой грузинских большевиков во главе с Мдивани и Махарадзе: двенадцатого декабря 1922 года Ленин долго беседовал со своими заместителями Рыковым, Каменевым и Цюрупой о распределении между ними обязанностей по Совету Народных Комиссаров; с Дзержинским обсуждал положение в Тбилиси, с торговым представителем в Германии Б. Стомоняковым говорил о монополии внешней торговли. А на следующий день, тринадцатого декабря, наступил кризис; тем не менее, несмотря на запрет врачей, Ленин писал письма Троцкому (его союзнику по борьбе за монополию внешней торговли) и Сталину (противнику); шестнадцатого декабря в состоянии его здоровья наметилось еще более серьезное ухудшение — паралич правой руки и ноги; понимая, что ситуация тревожная, Ленин начинает диктовать «Письмо съезду», требуя, в частности, сменить Сталина на посту генерального секретаря; декабрь, январь, февраль и март двадцать третьего он работает практически каждый день; после того как он узнал о подробностях инцидента в Тбилиси, когда Троцкий пренебрежительно отказал ему в поддержке против Сталина; прослушав о вопиющей бестактности Сталина по отношению к Крупской, Ленин теряет речь; из последних сил тренируется, чтобы научиться писать левой рукой; двадцатого января двадцать четвертого Надежда Константиновна читает Ильичу резолюции тринадцатой партконференции; по воспоминаниям Крупской, слушая ее, он стал волноваться, назавтра его не стало. Какая строка резолюции насторожила Ленина? В чем он заметил то — особенно тревожное, — что проецировал на будущее? Если удастся найти историков, влюбленных в математику, и математиков, живущих историей, такой союз, закрепленный логикой компьютера, сможет дать ответ — хотя бы приблизительный — на этот вопрос...

Заново изучив те проблемы, которыми занимался Ленин перед тем, как болезнь свалила его, я снова и снова

думаю: все ли должен был обсуждать Ильич из того, что выносилось на повестку дня? К примеру, семнадцатого ноября двадцать второго года заседание Совета Труда и Обороны; повестка дня: урегулирование цен, передача десяти тракторов управлению мелиорации на Мугани, конкретные мероприятия в связи с реализацией урожая... Восемнадцатого ноября: беседа с делегатами конгресса Профсоюзного Интернационала; поручения Горбунову: прислать доклад о работе Мичурина, передать предписание Кржижановскому войти в СТО об ирригационной системе в Туркестане, послать запрос Серебровскому о нефтяной концессии; назавтра — беседа с заместителем председателя Высшего совета народного хозяйства Смилгой о введении хозяйственного расчета в промышленности; двадцать первое: председательствует на заседании Совнаркома; несколько раз выступает по поводу пересмотра Положения о Главном концессионном комитете; обсуждается проект о Центральном Комитете по перевозкам, вопросы о пропаганде на восточных языках, о финансировании Гидроторфа, об учреждении сметы Наркомсобеса; за неделю перед болезнью участвует в заседании Политбюро, вносит дополнения к проекту постановления по докладу комиссии Госснабжения и поправки в проект постановления о взаимоотношениях между наркомом просвещения и его заместителями; дебатируются вопросы о конференции по разоружению, об экспорте хлеба, о сельхозкредите, о фонде заработной платы на декабрь двадцать второго года, о слиянии аппаратов Наркомпрода и Наркомфина, о посылке инженеров за границу...

...Предел человеческих нагрузок определялся теми, кто знал ужас засасывающей текучки; отчего не восстали? Почему не упросили добром поберечь себя для дел отправных — на многие годы вперед, — которые без него нельзя решить? Почему он проводил решения Совнаркома об обязательности отпусков для Рыкова, Цюрупы, Горького? Отчего никто из тех, кто окружал его, не потребовал того же для него, Ильича? Просьбе он бы не подчинился, решению ЦК — непременно...

...С его смертью образовался трагичный перерыв в шестьдесят лет: хозяйственный расчет, инициатива, свобода предпринимательства возвращены к жизни только в

восемьдесят шестом; лишь у гения мысль раскована и опережающа, а сколько их, гениев, рождает человечество?!

II.

Я, Каримов Рустем Исламович

Наверное, это плохо, что я верю в физиогномику и вывожу суждение о человеке после первой же встречи. Такое входит в прерогативу блистательного врача — да и то если он изучил все анализы больного. Увы, время сельских докторов кончилось (надеюсь, пока что), медицина раздроблена на «направления», пульмонолог не слишком силен в заболеваниях верхних дыхательных путей, терапевт не очень-то компетентен в остеохондрозе, а это ныне так же страшно, как рак или инфаркт — сидячий образ жизни, перепад давлений, стрессы — зажмет сосудик, ведающий подачей крови, и приходится оперировать глаз, а надо было подкрасться к первопричине — к тайне отложения солей в загривке. Человеческий организм — сложнее самого современного спутника, сконструирован совершенно поразительно, все системы взаимодействуют без команд с пункта слежения, будто какие-то таинственные компьютеры заложены в нас с рождения.

Словом, лицо этого кряжистого, неповоротливого Варравина мне понравилось. Как и его руки — большие, надежные, неспешные в движениях. Глаза очень живые, лишены той закрытой неподвижности, которая свойственна людям нашего аппарата; желание понять точку зрения руководителя предполагает наработку чисто актерских способностей — сдержанность, медлительность в словах, умение выражать мысль с подтекстом, который позволит в любой момент только что сказанную фразу повернуть совершенно в другое направление, если обнаружится хоть тень несогласия в замечаниях или даже мимике начальника. В последние месяцы наиболее смышленые бюрократы стали применять новую тактику: порыв, чуть смягченный повтор наиболее острых абзацев из газет, однако без конкретностей, взгляд и нечто: время такое, что тот, кого сегодня разнесли в пух и прах,

завтра — неведомо какими путями — меняет стул на кресло и получает два телефонных аппарата вместо одного.

Понравилось и то, что Варравин безо всяких околичностей спросил, скоро ли мне предстоит покинуть этот премьерский кабинет, никаких танцев на паркете, воистину, быка надо брать за рога.

Я ответил, что сие от меня не зависит. То, что я считал своим гражданским долгом сделать, — сделал, засим — воля избирателей и тех инстанций, которые меня и рекомендовали премьером, и утверждали.

— Скажите-ка, Рустем Исламович, —неторопливо, подыскивая слова, начал Варравин, — а почему вы так настойчиво поддерживали осужденного Горенкова?

— «Поддерживал»? Я и сейчас его поддерживаю. Наша с ним методология сходится, а метод — основа мысли и поступка.

— Я боюсь абстрактных формул, — заметил Варравин, посмотрев на меня изучающе, с внезапно возникнувшей внутренней отстраненностью. — Если почитать газеты прошлых лет, то, судя по такого рода абстрактным формулам, в державе царила тишь да гладь да божья благодать...

— Так я ведь в то именно время воспитывался, товарищ Варравин. Мое несогласие с прежним временем рождалось постепенно, не сразу, в борениях с самим собой: «На что замахиваешься, пигмей?! Наверху поумней тебя люди сидят...» Живем не в безвоздушном пространстве, вашему поколению придется еще не один раз иметь дело с теми, кто сформировался в прошлом... Рассказывают, что году в пятидесятом кто-то из окружения пожаловался Сталину на писателей... Тот отрезал: «Других у меня нет, приходится иметь дело с существующими...»

— Любите Сталина?

В общем-то я ждал этого вопроса. После двадцатого съезда и после того, как сместили Никиту Сергеевича, я немало рассуждал об этом. Когда кончился двадцать второй съезд, я был определен в своей позиции; потом, прочитав мемуары военачальников, конструктора Яковлева, ухватился за их свидетельства в пользу Сталина, как за соломинку, — нет ничего трагичней, чем терять веру в кумира. Возвращение к Сталину было у меня далеко не однозначным; безвременье брежневской поры отмечено и положительным фактором: в обществе зрели

вопросы. Да, ответов на них не давали, более того, судили за то, что вопросы слишком уж резкие: «не надо раскачивать лодку, дадим народу пожить спокойно, все устали от шараханий», тем не менее вопросы неудержимо зрели и каждый был обязан дать на них ответ — самому себе, во всяком случае, — потому что экономика катилась в пропасть, положение складывалось критическое...

— Я по глазам вижу ваше отношение к генералиссимусу... Вы читали переписку Сталина с Рузвельтом и Черчиллем?

— Читал, — ответил Варравин.

— Ну и как? Сталин там выглядит серьезным политиком?

— Он выглядит серьезным политиком.

— А если так, то мы должны хранить респект к нему, как к лидеру, стоявшему у руля антифашистской борьбы?

— Он мог стать у руля этой борьбы в тридцать девятом году, если бы не заключил договор с Гитлером.

— Ой ли? Ну, ладно. Допустим, это тема для разговора, но вы ответьте на мой вполне конкретный вопрос столь же конкретно. Обязаны мы хранить респект к лидеру, который стоял у руля всенародной борьбы против Гитлера?

— Народ победил нацизм, а не Сталин.

— И это верно, — ответил я. — Только вы по-прежнему уходите от прямого вопроса. У нас, к сожалению, традиционно сильна привычка судить, не ведая, бранить, не читая, хвалить, не имея на то достаточных оснований.

Варравин спросил разрешения закурить, достал пачку «Явы» (самые ненавистные мне сигареты, табачная индустрия намеренно травит сограждан: как можно продавать людям эту зловредную вонь?!), затянулся, пустил сизый дым к потолку и ответил:

— Что ж, вы меня вынудили ответить вам в положительном плане: мы обязаны хранить респект к тому лидеру, который возглавлял антифашистскую борьбу.

— У вас есть какие-то личные основания крепко не любить Сталина? Не отвечайте, если неприятно. Скажу про себя: у меня все основания его обожествлять: отец — из безграмотной семьи, — закончив Институт красной профессуры, стал секретарем райкома в тридцать восьмом, а в сорок первом ушел на фронт, получил Героя, после войны работал заместителем министра сельского хозяйства... Я с ним, кстати, учась на экономическом, крепко спорил: он говорил, что только максимум вложе-

ний в сельское хозяйство даст нам изобилие, а я утверждал, что колхознику надо гарантировать свободный труд на земле, щедро за него платить, а не опутывать чудовищными налогами... Мы разошлись с отцом — а он был замечательным, очень чистым человеком — по всем экономическим позициям еще до пятьдесят третьего года... Но это так, к слову... Второй вопрос-ответ: зачем Сталину понадобилось уничтожать в тридцатых годах, да и после пролетарский состав партии, интеллигенцию, пришедшую в революцию с Лениным? Зачем вместо этой когорты он привел к лидерству молодых руководителей, девяносто пять процентов которых происходило из бедных крестьянских семей? Не из справных хозяев, а именно из бедняцких горлопанов... Они, кстати, и стали во главе страны после ухода Хрущева: «тишь да гладь» — вот оно, безвременье... И у меня возник следующий вопрос: приводил ли Сталин выходцев из бесхозных крестьян к руководству рабочей державой осознанно? Или это произошло стихийно? Если это был осознанный политический маневр, тогда речь должна идти о термидоре, подмене одного метода мышления другим, в чем-то противоположным... Тридцать седьмой год... Может быть, Сталин не смог удержать стихию доносов, оговоров и сведения счетов? Но допустим ли сам повод для массовых репрессий, то есть сведение личных счетов с теми членами Политбюро, которые работали вместе с ним начиная с семнадцатого года и по двадцать шестой — в случае с Троцким, Каменевым и Зиновьевым? Или по тридцатый — я имею в виду Бухарина, Рыкова и Томского. Ведь процессы тридцатых годов тщились доказать, что Ленин в Политбюро был окружен немецкими и японскими шпионами — с самого начала революции! Лишь он один, Сталин, был чист и верен идее. И я с ужасом говорю себе: но ведь и это уже было в нашей истории! При Иване Грозном было! Он убрал всех политических противников, кто помнил его юношеское беспомощное худосочие... А следом за этим начались массовые казни, — опричнина сладостно искала, кого бы потащить на плаху, показания выбивали, людей пытали, мучали, унижали... Не поэтому ли Сталин попросил Эйзенштейна сделать фильм об Иване? Далее я спрашиваю себя: каков был резон для Сталина уничтожать весь цвет Красной Армии? Не только командование во главе с Тухачевским, Якиром и Уборевичем, но даже командиров дивизий — Рокоссовский-то чудом спасся, фразочку

«нашли время в тюрьме сидеть, воевать надо» Сталин сказал ему в трагические дни... Неужели он всерьез верил в заговор полковников и капитанов? Полагал, что все они хранят память о Троцком, первом Председателе Реввоенсовета? И потому оголил все границы страны? Значит, он верил в «доброту» гитлеровцев? А истым ленинцам не верил? В чем же дело? Вот вам, товарищ Варравин, мои вопросы... Их множественность надежней односторонности... Что же касается экономических методов Сталина, то здесь я — самый крутой его противник... Не знаю, помните ли вы, что до пятьдесят четвертого года наше крестьянство не имело паспортов и не могло вольно уехать из обираемой налогами деревни? Реанимация крепостного права? А как еще прикажете называть?

Варравин закурил новую сигарету, не спрашивая более разрешения; заметно успокоился, расслабился даже; нынешние борцы за демократию не очень-то слушают противную точку зрения, сразу норовят прилепить ярлык; воистину, демократии надобно учиться, не один год на это потребен, поколение как минимум...

— Практически я не согласен ни с одним из ваших положений, — заметил он, — но мне светит то, что вы размышляете вслух и не хотите ни к кому подлаживаться... Поэтому разрешите перейти к следующему вопросу: в чем вы согласны с осужденным Горенковым?

— Буду отвечать несколько вразброд, оттого что в душе слишком много накопилось... Вы сюда прилетели? Или чухали поездом?

Варравин нескрываемо удивился; в этом сказалась его молодая доверчивость:

— Конечно, прилетел! Кто ж ныне ездит? Времени не хватит на главное.

— Согласен. Но и в аэропорту, и на вокзале вы столкнулись с одной и той же проблемой: нет носильщиков. Вас это не очень-то волнует, сумку набок и — вперед. А женщина с ребенком и двумя чемоданами? Я предложил начальнику вокзала — естественно, после введения закона об индивидуальной трудовой деятельности — выступить по местному телевидению с обращением к молодежи: «Кто хочет заработать, может прийти на перрон и без всякой формалистики, уплатив два рубля налога за бляху — хороший навар для социальных нужд коллектива станции или аэропорта, — начать обслуживать пассажиров». Мне в ответ: «У нас народ не пользуется услугами носильщиков, мы опрашивали». —

«А почему пользуется в Москве? Может, людей надо приучать к сервису? У нас ведь его нет». — «Придет какой жулик с чужим паспортом и начнет чемоданы воровать!» — «У вас милиция есть, будет чем заняться». — «Она-то займется, а ответственность нам нести, платить из своего кармана». — «Хорошо, давайте закажем тележки, пассажир платит рубль, берет ее напрокат, сам себя обслуживает». — «Стащут все тележки в один день». — «Возьмите в залог паспорт». — «Металла нет, фондируемый товар...» Что это такое, по-вашему? Ужас обломовского мышления? Ладно, пошли дальше... На вокзальной площади вы теперь легко возьмете такси — конкурент давит, «личный извоз». Но вот вы приехали в центр. Где намерены заночевать? Мест в гостиницах, понятно, нет. А домашние пансионаты до сих пор не открывают, люди по-прежнему боятся, одна центральная газета одержимо стращает читателей ужасом «нетрудовых доходов». Я предложил нашей прессе напечатать об этом проблемную статью. Мне ответили, что запросят Москву. «А зачем? Разве у вас нет личного мнения по этому поводу?» — «В законе о пансионатах сказано недостаточно ясно». Пошли дальше... Вы закончили работу в десять вечера — где перекусить? Негде, все закрыто, только шаромыги в подъездах давят на троих. Где домашние столовые? Нет их, как и не было. И не будет, пока мы не перестанем считать, сколько заработал владелец такой столовой. Трагедия в том, что мы постоянно считаем чужие деньги, вместо того чтобы зарабатывать свои... Ладно... Назавтра вы приходите в ту организацию, куда вас командировали... А там говорят, что поступило предложение от венгерской или там австрийской фирмы переоборудовать линию, через два года будем получать чистое золото. «Ну и когда начинаете?» — задаете вы вопрос. Вам ответят, что это никому не известно, оттого что согласовать и утвердить должны Госплан, Минфин, Госстандарт, Внешторг, Госснаб, и так далее и тому подобное... Вы изучаете предложения, присланные партнерами, очень интересно, просите перепечатать; вам отвечают, что машинистка по-немецки ни бум-бум, а разрешение на множительную технику, которая торчит на углу каждой улицы в любом европейском городе, получить весьма трудно... Вы просите связать вас по телефону с Веной, хотите обсудить конкретные детали предложения, но вам отвечают, что автоматом пользоваться запрещено, надо делать заказ на завтра... Ничего себе ускорение, а?!

Сколько мы теряем миллионов человеко-часов, товарищ Варравин, вы себя этим вопросом озадачивали?!

— Озадачивал. Но мне эти вопросы решать труднее, чем вам.

— Вот мы с вами и подобрались к главной проблеме. И проблема эта называется «личность». Знаете, кто сейчас сидит в колониях нашей автономной республики? Наравне с жульем — наиболее смелые торговые работники, строители и директора совхозов. Они неугодны бюрократической броне, думают по-своему, принимают личностные решения, а этого аппарат не любит, ему удобны покорные исполнители, не более. Но ведь личность невозможна без гарантий. В свое время я написал докладную записку. Мне ответили, что это общие рассуждения. Где реальные предложения? Я внес реальное предложение создать в нашей республике индустрию туризма — как советского, так и иностранного. Мне ответили, что нет фондов на стройматериалы для отелей. Я возразил: «Позвольте нам заключить договор с иностранными фирмами». — «Пришлите документацию». Послал. Через три месяца последовал ответ: «Необходимо обсчитать позиции». Обсчитал, хотя всегда пользуюсь ленинской фразой: «Главное ввязаться в драку, а там видно будет». Ответа пока нет. Если бы испанские и французские бизнесмены столько лет тратили на изучение и просчет документации, не видать бы им туристского бума, который дает сорок процентов государственного бюджета... Внес предложение ликвидировать в нашей республике овощные базы — ненужный, громоздкий посредник; либо базы переходят совхозу, заключившему прямой договор с торговлей, либо торговле. «Пришлите документацию и соображения о трудоустройстве персонала оптовых баз». Послал, жду ответа.

— Но ведь это саботаж перестройки, — сказал Варравин.

— Фраза Иосифа Виссарионовича, — возразил я. — Легче всего вынести безапелляционный приговор, но будет ли от этого польза делу? Я знаю наши министерства, главки, тресты; у людей множество разумных предложений, но — молчат! Отчего? Боятся? Или совестятся проситься на прием к премьеру — нескромно? Раньше ждали вызова; настало время реального дела — не готовы, замерли... То мы вас триста лет в ярме держали, то русско-немецкие государи — вас вместе с нами, то Сталин учил винтиковой механике беспрекословного исполнения

приказа, спущенного сверху, — не до инициативы... Я читал в газете предложение: освободить первые этажи от множества мелких организаций, чтобы сдавать в аренду под кафе, танцзалы, клубы по интересам, — живые деньги пошли б Советам депутатов... Ответ один и тот же: «А куда денем людей, работающих в ненужных организациях?» Инициатива, право на индивидуальный труд, все замечательно... А почему же до сих пор нет разрешения на регистрацию кооперативных строительных фирм? «Шабашники за длинным рублем погонятся, государство останется без рабочих рук». — «А не забирайте фонд заработной платы у стройтрестов. Если рабочий государственного предприятия получит не только свою заработную плату, но и ту, что причиталась его коллеге, который ушел в кооператив, он же горы своротит... На чем угодно можно экономить, только не на оплате за добрый труд...» Ну и что? А ничего... Внес предложение разрешить строительство кооперативных больниц и клиник. «Не замахивайтесь на бесплатную медицину, это достижение социализма!» Значит, кооперативную квартиру можно строить, а больницу — нет? Бесплатное жилье — тоже завоевание социализма, но ведь придется скорректировать вопрос оплаты — понятно, подняв заработную плату или же помогая людям получать дополнительный заработок...

— Вы честно говорите, — заметил Варравин. — Спасибо вам за это.

Не скажу, чтоб мне были безразличны эти его слова, нет. Они мне были приятны. Поэтому я и продолжил:

— А теперь о Горенкове... Как только опубликовали проект закона о социалистическом предприятии, он собрал совещание, попросил отдел труда и зарплаты, плановиков и снабженцев принести все постановления и приказы, коими те руководствовались. Принесли сотни папок. И он, оглядев их, сказал: «На макулатуру! Преступно в наше время жить запретами сорок шестого года!» Сколько же пошло на него жалоб! Главный плановик подал в отставку, перешел в другой трест и айда строчить по всем инстанциям: «Самоуправство». Писал и мне. Я лично возглавил комиссию, навет отмел. Но ведь помимо меня существует еще немало инстанций... Потом, возьмите дело с росписью Дворца культуры, который он сдал на семь дней раньше срока... Москва спустила ему на это дело сто тысяч; Горенков обратился в местное отделение Союза молодых художников и подписал с ними

договор на двадцать тысяч — и ребята счастливы, и его коллектив, потому что на сэкономленные деньги он построил тридцать садовых домиков и премировал ими передовиков. Немедленно возникли контролеры: «Где экономия, отчего не думаете о государственных интересах?» — «Государство — это мы». Разве такое прощают? «Превышение премиальных фондов, самоуправство, экономический произвол, в городе зарплату нечем платить, а он дома раздает!» — «Работайте, как наш коллектив, — будет чем платить зарплату!» И — весь ответ. Словом, когда я был в отпуске, его арестовали, за месяц успели сломать слабаков, те дали показания, а Горенков в суде не произнес ни слова: «Разбирайтесь без меня». Обиделся. А в драке обижаться нельзя. И его смяли. Впрочем, не его — тенденцию. И это очень тревожно...

— Вы готовы продолжать борьбу за Горенкова?

— Бесспорно. На любых уровнях. Однако, надеюсь, вы понимаете, что это не просто: на многих ключевых постах сидят те же самые люди, которые истово служили концепции Леонида Ильича и верного ему Михаила Андреевича. Тем не менее я готов, поэтому и подал в отставку, чтобы не было упреков в том, что, мол, давлю авторитетом.

III.

Я, Иван Варравин

В комнате для свиданий я сидел уже десять минут; зарешеченное окно, привинченный к полу табурет и обшарпанный канцелярский стол, ничего больше. Я привык к тому, что такая мебель обычно скрипит и качается, писать неудобно, а писать, видимо, предстояло много, поэтому приладился коленями, загодя попробовав, как можно будет работать, но, к удивлению своему, обнаружил, что маленький столик был словно вбит в пол, никакого шатания. Впрочем, ничего удивительного, подумал я; в каждой колонии есть слесарные мастерские; недоделки местной промышленности надежно исправляют за решеткой; впору внести предложение: «Создадим кооперацию между промышленностью и тюремным ведомством» — колонии, как промежуточный этап между фабричными

разгильдяями и требовательным покупателем, стопроцентная гарантия качества.

Сержант ввел в комнату невысокого человека в бушлате; тупорылые башмаки, нога не по росту большая, сорок четвертый размер; советские джинсы с выпирающими коленками, заштопанный свитер домашней вязки (жена с ним развелась: «Будь он проклят, никогда не прощу того, что он сделал, детям ненависть завещаю и внукам»); лицо запоминающееся; серебряная седина — так некоторые женщины красятся, — подбородок с ямочкой, запавшие щеки и внимательные глаза прозрачно-зеленого цвета.

— Вы Горенков Василий Пантелеевич? — спросил я, смутившись самого вопроса, слишком уж он был неравным, начальственным.

— Я, — ответил Горенков, чуть усмехнувшись.

— Меня прислали из газеты... Мы разбираемся с вашим делом... Я неделю работал в городской прокуратуре.

— У вас сигареты нет? — перебил он меня. — Угостите, пожалуйста.

Я протянул ему пачку «Явы», он закурил:

— То, что там работал чужой, я понял позавчера: вызвал помощник прокурора, предложил пройти медицинское обследование, «мы вас сактируем»... У меня подозрение на туберкулез, есть основание выпустить... Но, как понимаете, я отсюда добром не выйду, только если лишат гражданства и вышлют...

— Вас тут на какую работу поставили?

— Лесоповал.

— По профессии вы инженер-экономист?

— По профессии я дурак. Знаете, что такое дурак? Думаете, глупый недоросль? Не-а. Дурак — это тот, кто верит в правду, в слова, произносимые с трибун, — вот что такое дурак. Когда эта профессия вымрет, мы погибнем. Окончательно. А пока еще в стране есть дураки, можно надеяться, что отчизна не развалится...

...Мама часто рассказывает мне про отца; его арестовали в сорок девятом; раненого осенью сорок первого взяли в плен, в концлагере он вступил в Сопротивление, ему поручили войти во власовскую Русскую освободительную армию, работал в их газетах, отступал вместе со штабом Власова в Прагу, там участвовал в его пленении, получил за это орден Красного Знамени, а в сорок девятом забрали как изменника родины... Его реабилитирова-

ли в пятьдесят четвертом, через год родился я, а когда мне исполнилось два, он умер от разрыва сердца; хоронили его с воинскими почестями, были речи и огромное количество венков. Когда я стал комсоргом в классе, а потом секретарем, мне приходилось часто выступать на встречах и конференциях. Сначала это все было в новинку, я волновался, подолгу писал конспекты речей, но потом пообвыкся, наработал несколько расхожих стереотипов и научился не заглядывать в бумажку — это особенно нравилось, поэтому на журфак меня рекомендовал горком комсомола. Весною семьдесят восьмого я писал курсовую; мама предложила устроить встречу с Надеждой Петровной, директором их библиотеки, — она и ветеран войны, и кандидат философии, и отец ее был участником штурма Зимнего, словом, кладезь информации, прекрасный типаж для большого интервью. Надежда Петровна пришла к нам — у нее матушка парализованная и очень капризная, а жили они в одной комнатушке. Мы начали работать, просидели долго, а когда я, проводив ее домой, вернулся, мама сказала: «Ванечка, а не поменять ли тебе профессию? Ты ведь совсем не умеешь слушать». — «Это как? — опешил я. — Я спрашивал, она отвечала, я набрал поразительный материал». — «У тебя в глазах не было интереса... Надежде Петровне было с тобой скучно. Ты просто спрашивал, а она просто отвечала. Ты не болел ею. А твой отец к каждому человеку относился как к чуду, он любовался собеседником, придумывал его, открывал в нем такое, что тот сам в себе и не предполагал... Твой отец был настоящим журналистом, потому что верил в тайну, сокрытую в каждом, с кем встречался. Просто слушать — ничего не значит, Ваня... Просто слушать и просто говорить — это безделица. Если ты живешь словом, произносимым другим, тогда ты журналист, а так... Репортер должен быть влюбчивым человеком, понимаешь?»

...Я потом долго тренировался перед зеркалом, говорил с несуществующими собеседниками, наигрывал доброту во взгляде, репетировал улыбки, гримасы сострадания, сочувствия, жадного интереса. На первых порах помогало, но все перевернулось, когда я напечатал в молодежке очерк о дворовых хулиганах и их главаре Сеньке Шарикове; меня поздравляли — «гвоздевой материал»; вечером в редакцию пришла его мать: «Что ж мне теперь делать, когда Сеньку посадили? У меня двое малышей, я по ночам работаю на станции — на две-

надцать рублей больше платят за ночные дежурства... С кем мне детишек оставить? Они ведь, когда просыпаются, плачут, воды просят, на горшок надо высадить, а Женя и вовсе писается, подмывать надо, это ж все на Сеньке было... Тимуровцев хоть каких пришлите...»

...Я провел с детьми Шариковой две ночи, добился освобождения Сеньки (начальник отделения милиции на меня не смотрел, играл желваками, мужик совестливый, пенсионного возраста, терять нечего).

— Вообще-то, — говорил он скрипучим, безнадежно-канцелярским голосом, — сажать надо не его, а ваших комсомольских говорунов. Что ребятам во дворе делать? Ну что?! Спортплощадки нет? Нет. Подвалы пустые? Пустые. Но танцзал — ни-ни, запрещено инструкцией... В библиотеке интересные книги на дом не дают, да и очередь на них... Придет какой ваш ферт в жилете и айда ребятам излагать о Продовольственной программе или про то, как в мире капитала угнетают детский труд... А у Сеньки с его братией от вашего комсомольского занудства уши вянут... Им — по физиологии — двигаться надо, энергию свою высвобождать... А вы — бля-бля-бля, вперед к дальнейшим успехам, а его мать девяносто три рубля в месяц получает... На четверых...

Назавтра я отправился в ЖЭК; начальница только вздохнула: «На какие шиши мы спортплощадку построим? Живем в стране «нельзянии», все расписано по сметам: тысяча — на уборку, три тысячи — на ремонт, и точка. Пусть мне даже ремонт не нужен, жильцы за подъездами глядят, не позволяют карябать стены гвоздями, так ведь все равно эти деньги мне никто не разрешит перебросить в другую статью, а сама я пальцем не пошевелю — кому охота смотреть на небо в клеточку?! У нас, молодой человек, исстари заведено: что сверху спущено — то и делай, а сам не моги... Холопы и есть холопы! А смело вам так говорю, потому что являюсь инвалидом труда, на хлеб с молоком хватит...»

Вот тогда я вспомнил мамины слова про то, как отец придумывал себе людей; наверное, это было для него средством защиты: выдумав в каждом встречном добрую тайну, не так безнадежно жить. Действительно, человек — творец собственного счастья; только одни воруют и покупают дорогую мебель, а другие придумывают мир хороших людей, чтобы пристойно вести себя на земле — между прошлым и будущим. И то и другое у всех одинаковое, только жизни разные...

— Василий Пантелеевич, — сказал я Горенкову, — ваше дело изучает экспертная комиссия... То, что я смог понять, говорит за то, что вы ни в чем не виновны.

— Правильно. Но меня не удовлетворит амнистия, списание по болезни, изменение статьи... Я требую сатисфакции...

— Вы в своих жалобах не упоминали имен... Хотите назвать тех, кто судил вас?

— Этих винить нельзя — бесправные люди... Их положение ужасное. Они ведь программу «Время» смотрят, «Правду» читают... Всех теперь зовут к перестройке, смелости, инициативе, но ведь те, кто меня судил, по сю пору живут законами, которые призваны карать за инициативу и смелость. Бедные, бедные судьи! Я их жалею... А обвиняю я нашего замминистра Чурина — он одобрил мои предложения, позволил начать эксперимент до того, как это было введено в отрасли, я поверил ему на слово, без приказа. А когда нагрянули ревизоры — слишком большая прибыль пошла, слишком быстро я начал сдавать объекты — и увидели, что я перебрасываю деньги из статьи «Телефонные переговоры» на премиальные, из графы «Роспись стен» на соцбытсектор, борец за решения двадцать седьмого съезда Чурин отказался от своих слов и сказал, что я на него клевещу, никакого разрешения он не давал.

— Можно несколько вопросов?

— Давайте. Только если я начну очень уж заводиться — остановите. Злость, знаете ли, от сатаны, от нее слепнешь и теряешь логику.

— Объясните, как вам удалось за год вывести трест из прорыва?

— В деле все есть.

— Ваши показания написаны очень нервно, Василий Пантелеевич, — ответил я. — Вы ж их в тюрьме писали.

— Можно еще сигаретку?

— Оставьте себе пачку.

— Спасибо... Так вот, я собрал рабочих самого отстающего СУ, начальника у них не было, но главный инженер — золотой парень... Сто сорок в месяц, кстати, получал... А пьянь меньше чем за триста палец о палец не пошевелит: сядут на кирпичи, газетку развернут и читают передовицы... Ладно... Собрал я их и объявил: «Чтобы построить семнадцатый дом, надо освоить семьсот тысяч... По плану мы должны сдать объект в конце третьего квартала. Я прикинул, что каждый день стоит

две тысячи. Если сдадите дом по высшему качеству на день раньше срока — две тысячи ваши, премию распределяйте сами. На десять дней раньше срока управились — делите двадцать тысяч». Меня на смех: «Это что ж, мы по тысяче можем премию получить?» — «Если на месяц раньше обернетесь — по полторы...» До ночи говорили, не верили мне люди: веру убить недолго, сколько ее раз у нас убивали, а вот восстанавливать каково? Но все же подписали мы договор: от имени треста — я, от стройуправления — треугольник... Дом принимала общественность, а не только комиссия. Телевидение потом приехало. В газетах писали... Второй дом сдало двенадцатое СУ — тоже по моему принципу: все, что сэкономили — во времени, — ваше. После этого подписали договор со всеми СУ, а тут — стук в дверь, час ночи, все как полагается: расхищал соцсобственность в особо крупных масштабах, добровольное признание спасет от вышки, признайтесь, что руководство стройуправлений от своих премий золотило вам лапу... Я ведь и Лениным поначалу защищался, про тантьему говорил, то бишь процент от прибыли, и не простой, а валютный, и про то, что надо учиться у капиталистов хозяйствовать, и приводил цитаты с двадцать седьмого съезда, а мне клали на стол закон, принятый в тридцать девятом году, и спрашивали: «Где, кто и когда его отменил?» Я поначалу попер: «Читайте газеты, слушайте телевидение, там про это каждый день говорится!» — «Мы живем для того, чтобы следить за выполнением законности, а вы ее нарушили... Газеты и телевидение — лирика, сегодня одно, завтра — другое, насмотрелись за тридцать лет всякого... Отвечать вам не перед редакцией или телевидением, а перед буквой действующего закона».

— Передохните, — предложил я, заметив, как бумажно побледнел Горенков. — Пауза не помешает.

Он усмехнулся:

— Мне пауза не помешала... Тринадцать месяцев в тюрьме — нужная школа, избавляет от иллюзий... Если бы все действительно хотели перестройки, инициативы, рывка вперед, давно бы опубликовали закон, отменяющий все запреты, коими так славилась Русь-матушка. Человек — винтик, ему дозволено выполнять только то, что предписано начальником, инициатива — штука опасная, можно не совладеть, да и чувство собственного достоинства появляется в людях, как с ними управишься?! Особливо если ты необразованный осел и рос так,

как принято: со стула — в кресло, а оттель — в кабинет, и не потому, что голова светлая, а из-за того, что тебя — к собственной выгоде — просчитали те, кто расставляет кадры... Карнавал петрушек, ей-богу... Не сам себя человек делает, а его сановно назначают те, кто создает для себя послушное исполнительское большинство — безмолвное и тупое.

— А почему заместитель министра Чурин не был вызван в судебное заседание? — спросил я.

— А почему он не был вызван к следователю? — Горенков пожал плечами. — Да потому, что отказался от самого факта встречи со мной. Не был я у него на приеме — и все тут...

— Вы к нему как попали?

— Меня вызвали в Москву телеграммой.

— А кто ее подписал?

— Откуда я знаю, — Горенков, не сводя с меня глаз, полез за новой сигаретой. — Предсовмина Каримов пригласил, сказал, что, мол, из Москвы телеграмма: в связи с назначением начальником треста прибыть на беседу.

— К кому?

— К заместителю министра.

— Какому?

— Об этом я его не спросил.

— Почему?

— Да разве я думал, что через год в острог сяду? Знай я прикуп, жил бы в Сочи... Вот вы ставите вопрос, а я снова себя казню: как же не учены мы закону! Отчего англичанин без юриста шага не ступит, а мы про кодекс вспоминаем, лишь когда на нары сядем?! Почему?!

Я хотел ответить ему, что эту тему исчерпал в своем творчестве такой знаток нашей истории и права, как Василий Белов, но, решив не вдаваться в литературные хитросплетения, уточнил:

— Значит, телеграмма с вызовом пришла не в трест?

— Должность эта — номенклатура Совета Министров, туда и сообщили...

— Кто подписывал ваше назначение?

— Чурин.

— А разве можно подписывать, не побеседовав с тем, кого назначаешь на такую работу?

— Значит, можно, если ему следователи поверили... Он сказал, что обо мне «доложил аппарат». И все. «Я верю своим товарищам по работе, вполне компетентный коллектив единомышленников».

— А кто с вами из его «единомышленников» беседовал?

— Чуринский помощник, потом главный технолог и начальник управления кадров Хрипов.

— А почему вы их не вызвали в суд?

— Зачем? Они же не давали мне разрешения на эксперимент. Я и не просил их вызывать... Кадровик и есть кадровик — что скажут, то проштемпелюет.

— Вы хорошо знакомы с Рустемом Исламовичем Каримовым?

Горенков насупился:

— Тоже интересуетесь, сколько я ему давал в лапу? Следователь сулил снять с меня три года, если я дам ему такие показания...

— Я бы сказал вам правду, Василий Пантелеевич... Я стараюсь не лгать, мозг утомляет... Мне очень симпатичен Каримов...

— Будете держаться этого мнения, даже если его посадят? А посадят его, видимо, скоро... И — поделом...

— Почему?

— Потому что идеалистов надо карать, они убивают веру, без них спокойнее жить...

IV.

ВЧграмма

«Полковнику Костенко, угро МВД СССР

Во время очной ставки с бывшим первым заместителем МВД Чурбановым бывший секретарь Бухарского обкома Рахматов показал, что некий пенсионер Завэр продал ему уникальное кольцо дымчатого топаза, работы неизвестного уральского ювелира начала прошлого века, представляющее музейную ценность.

Имя человека, который свел Рахматова с Завэром, неизвестно, внешние данные: крепкого телосложения, примерно пятидесяти лет, лицом похож на дьякона — усы и бородка, волосы с сединою, расчесаны на пробор, роста примерно ста семидесяти пяти сантиметров, особых примет на лице нет, говорит с придыханием, быстро, несколько аффектированно.

Первая встреча состоялась на выставке работ художников-дизайнеров.

Просим по возможности срочно установить указан-

ного Завэра, а также человека, организовавшего его контакт с Рахматовым.

Прилагаем фоторобот Завэра, сделанный нами на основании показаний Рахматова.

Сообщаем, что купля-продажа состоялась возле касс Киевского вокзала.

Подполковник Вакидов».

V.

Я, Валерий Васильевич Штык

Больше всего меня интересуют неопознанные летающие объекты. Те, которые отказываются допускать самое возможность их существования, сродни шовинистам: «Во вселенной есть только одна Земля — наша, а на этой Земле мы — самые талантливые люди».

Когда я первый раз принес на отборочную комиссию картины, посвященные инопланетянам, Савелий Эммануилович досадливо махнул рукой:

— Вы так хорошо начинали, Штык... Настоящий реализм, прекрасная композиция, зачем вам эти фантазии?

Постепенно я привык к тому, что мою новую живопись заворачивали, не пускали на выставки, но много ли мне надо? Мастерскую я уже получил, — хоть и в цокольном этаже, но достаточно светлую; два издательства подбрасывали книги — на иллюстрацию, какие-никакие, а деньги; с красками, правда, трудновато, цену теперь повысили вдвое, на большую вещь приходилось копить пару месяцев. Летом это не трудно, теперь огурцы появились в магазине, нарежь, залей кефиром — вот тебе и прекрасная пища на день. А зимой я становлюсь прожорливым, мороз действует на меня каким-то странным образом: хочется лечь в койку, укрыться тулупом и три раза в день уминать сковороду картошки, жаренной на подсолнечном масле с луком.

...Поначалу меня очень хвалили, особенно когда я писал передовиков из моей деревни Кряжевки. Даже «Советская культура» напечатала пять лет назад статью, не говоря уж о «Художнике». Пару моих вещей ежегодно приобретала закупочная комиссия, жил как крез, но постепенно — это случилось, когда Люда подарила мне роскошное издание Сальвадора Дали, — я начал рассмат-

ривать и себя, и свою мастерскую, и тех, кто ко мне приходил, как-то со стороны, а точнее — сверху. Очень удобная точка обзора. Если настроить себя, открывается интересный ракурс, чаще всего совершенно неожиданный. Отдельность — не такое уж плохое понятие, коли его верно трактовать. Рерих — отделен, потому и значителен. И вот тогда-то я заново переосмыслил фразу Толстого о том, что человек состоит из знаменателя и числителя — как дробь. Точно. Это особенно заметно именно сверху, чуть слева, но обязательно при хорошем свете.

Постепенно я сам себе показался мелюзгою — с этими моими стожками на поле, с тетей Надей, которую я больше всего любил писать, усадив ее на завалинку вместе с внучкой Николая Саввича — девушка рисовала цветными карандашами и поэтому безропотно мне позировала. Не помню, кто из наших писателей прошлого века сказал, что, мол, жизнь может такую завитушку под ребро дать, что из человека — хоть и старого мушкетного пороха — все рояльное воспитание в один момент выскочит. Так со мной и случилось.

...Люда в ту пору приходила ко мне редко, не знаю уж почему, наверное, увлеклась кем, она любит заметных, я не ревнив, бог дал — бог взял; это не к смерти надо прикладывать, а к любви, все не так горько. И както дождливой, серой ночью я ощутил внезапное и легкое воспарение. Летать я боюсь, ни разу в жизни не летал, нет ничего прекраснее поезда (можно было б, я бы экипаж пользовал, только за экипаж, наверное, посадят, у нас все, что не как у всех, наказуемо. Никто так не прилежен одинаковости, как мы). В каком-то кино, где показывали горящий самолет, я похолодел от ужаса, наблюдая, как аэроплан натужно отрывался от земли, — вот-вот упадет, страх господень... Я много раз смотрел этот фильм, потому что там был четко показан момент отрыва машины от земли, я этим любовался, как классической композицией, такие бы в академии ставить, любодорого писать, нынешний обязательный бархат с яблоками и кувшинами мало кому нужен. Когда и это запрещалось — было интересно, а если теперь заставляют, — чего ж предписанным любоваться, велика охота... Ну, я и подумал в ту ночь: а вот как эти несчастные инопланетные насекомые воспринимают нас, вылезая из своей тарелки? Они ж прыгучие, эти прозрачные инопланетяне, скачут, наверное, высоко, обзор хороший, ветер можно

увидеть, а это самое трудное — написать ветер, его только в августе можно понять, в горах, возле могилы Волошина, в Коктебеле... Вот тогда я и увидел будущую картину всю целиком: сидит на земле инопришелец, обхватил тоненькие свои ножки длинными рученьками и с такой тоскою смотрит на открывшийся ему ландшафт, что словом и не выразишь... Вообще, словом не очень-то много выразишь, оно — блудливо, его легко на себя обернуть; картину — трудней; а музыку и вовсе нельзя. Для меня Бах — бóльшая загадка, чем транзистор, хоть и этот ящик черт знает что такое: заклепочки, картоночки, проводочки, а включил — Америку слушаешь в Кряжевке, несмотря на то что сосед, Егор Романович, каждый день сигнализирует куда следует: «Русскому человеку надлежит свое слушать, чужое — грех». И еще я увидел задник моей картины, загадочная картина мироздания, наша крохотная планетка затерялась между махинами, а внизу — библейская равнина, затиснутая между коктебельскими горами. И ветер шумит, и пахнет вокруг свежим сеном... Не только инопланетянин — пришелец; человек — тоже, оттого — грустно нам жить, тоска томит, душа хочет чего неведомого, а где его взять? В самом себе человеку все ведомо...

Я сделал наброски (хотя не люблю их, школярство, вещь надо ощущать в себе, как мать — дитя), пошел в комбинат, попросился в Крым; мне предложили поездку в Среднюю Азию, писать галерею хлопкоробов, хорошие деньги, и осень как раз подходила, фрукты дешевле.

Сунулся в издательства. Тоже отказали, хотя выслушали доброжелательно.

Подумал было на потребу западным дипломатам побаловаться цветными шарами, абстракцией, но — не лежит у меня к этому душа, я — предметник, верю лишь тому, что вижу в себе и ощущаю.

Сделал я для соседнего клуба несколько портретов углем, заплатили три сотни, купил билет в Феодосию и отправился в Коктебель.

А когда вернулся, тут ко мне Виктор Никитич Русанов и заглянул:

— Ах вы, правдолюбец мой дорогой! Оглянитесь вокруг себя! Поглядите, как устроились ваши сокурсники, Гриша и Вениамин! Удар — забрали деньги и пишут что хотят, в свое удовольствие... А вы? Нет в вас их оборотистости, жаль...

Вообще-то я разговоры не люблю, слушать — слу-

шаю, но беру только то, что интересно, остальное пропускаю сквозь уши, мне слова не мешают, не музыка ведь, только она меня всего забирает... Некоторые пишут под музыку, а я не могу, это как в церкви стругать доску, особенно во время пасхальной заутрени.

Я полюбопытствовал, чем занимается Виктор Никитич, он легко представился, мол, реставратор, «неужели не помните, мы с вами познакомились у Целкова, лет десять тому назад». Я помнил всех, с кем встречался у Целкова — память художника мучительная, все в голове храним, — но если человеку хочется, чтобы мы были знакомы, то и пусть себе, какой от этого вред?

Вот он-то, Никитич, и предложил:

— Есть у меня кое-какие ходы, можно брать заказы на оформление новостроек, договор — не менее как на пятьдесят тысяч, но, ясное дело, вы получите пятую часть, остальную надо раздать, зато десять косых на земле не лежат, а вам они дадут возможность писать то, что вы почитаете нужным...

Я что-то слыхал про такие операции; заманчиво, конечно, но поинтересовался:

— А отчего вы именно ко мне с этим пришли?

Русанов огладил усы и проникновенно, с некоторой даже торжественностью ответил:

— Валерий Васильевич, вы родом из Кряжевки, а я из Видного — небось помните?

Как не помнить, конечно, помню, я там много писал, оставался ночевать, только вроде бы Русановых в деревне не было, хотя, может, он по матери оттуда, какая разница?

— И договор можете по форме заключить? — спросил я.

Он вытащил из кармана три бланка, подписанных десятью закорючками, с печатью уже:

— Если согласны — дадите мне доверенность на ведение ваших дел, оформим у нотариуса, главное — право распоряжаться кредитом. Больше никаких забот, напишите номер сберегательной кассы, через месяц получите деньги, представив, конечно же, эскизы.

А у меня и сберкнижки-то не было. Ну, ладно, у нас и на рубль книжку открывают, рупь в хорошем хозяйстве не помеха...

— Погодите, но я хоть должен взглянуть на то здание, которое мне предстоит оформлять...

— И это пожалуйста, — он папочку открыл, развер-

нул склеенные скотчем листы бумаги и расстелил их на полу, презрительно отодвинув ногой кастрюльку, в которой я варил себе чай.

— Ну а что я должен для вас писать? Я сейчас увлечен инопришельцами, Виктор Никитич... Это, наверное, не подойдет...

— Конечно, не подойдет, — рассмеялся Русанов. — А вот ваша дипломная картина вполне пригодится... Только надо бы вдали, за полями, в лучах июньского заката дать провода электропередачи и далекий абрис завода...

— И мне это подписывать? — спросил я.

— Тут уж ваше право... Мы к вам присоединим еще двух художников, надо своим помогать, тем более старики, немощны, пусть и подпишутся, какая, в конце концов, вам разница? Деньги есть, вот и готовьте свои картины на выставку — инопришельцами сейчас заинтересуются, все позволено, только вам ли, русскому мастеру, растрачивать себя на такие сюжеты?

...И ведь, между прочим, он меня не надул... Ну, там какая-то неувязка вышла с двумя тысячами, то ли я налоги недоплатил, то ли еще что, но ведь это не главное: семь с половиной мне отслюнявили, а работал я всего три месяца, красили другие люди, совершенно мне неизвестные, расчеты с ними вел Виктор Никитич, а я, счастливый, ушел в свою новую картину.

Хотя, что такое счастье? Даже Даль с Ожеговым дают различные толкования данному понятию, а философский словарь, который про все знает, этот вопрос и вовсе обходит своим бдительным вниманием.

Порою Русанов приходил с пачкой индийского чаю — трезвенник, алкоголем брезгует — и, наварив чифиря, пускался в рассуждения; особенно часто это с ним бывало после заключения очередного договора, — он приткнулся к строителям и бензинщикам, золотая жила, объемы росписи большие, хороший бизнес.

Больше всего его волновал вопрос о том, как можно наладить людей жить в добре, в согласии со Словом.

— Редко кому удается быть истинным человеком, — говаривал он, отхлебывая черный навар быстрыми птичьими глотками. — А что такое человек? Это по идее приближение к Создателю, к Отцу... Но ведь подражать ему в частностях не означает того, что мы по-настоящему повторяем Создателя. Скольких вы знаете людей, которые чтут свой духовный опыт? Да хоть одного назови-

те — порадуюсь! Он у людишек юркий, опыт-то духовный, от любой мелочи может перевернуться: прочел сегодня одну книжку — тянет вести себя подобно ее героям, поглядел завтра кино какое — хочется совсем другого... Множественность — греховна, ибо мы малы и безвольны, Валерий Васильевич... Мы живем в постоянном духовном колебании, как камыш осенью, мы спокойно относимся к тому, что приятель какой или книжка могут перевернуть нас внутри, — разве с такими людьми дело сделаешь? Только незыблемость постулатов! Если мы пронзим каждого этими едиными для всех ипостасями, глядишь, сдвинемся с мертвой точки.

Я слушал его, перебивая редко, потому что думал о своем, говорунов побаиваюсь: летуны, земли не чувствуют, от земли идет добровольная дисциплина, а от таких — казарма и концлагерь; тем не менее всяк человек — человек, путь себе говорит, может, ему облегчиться надобно, а я от него ничего, кроме добра, не имел, он мне руки развязал для главной работы, как не выслушать?

Впрочем, когда он очень уж начинал багроветь и требовал единомыслия всех людей, я напоминал ему о Сталине, надменные его слова о нашем русском долготерпении, что-то бесовское было в этом, — посадил в лагеря самых работящих да умных, самых честных пострелял, и — нате вам — хороший народ, потому как все сносит... Вообще-то о Сталине я думаю с состраданием: воистину, вырвался человек — силою случая — к высшей власти, был поначалу окружен высверком талантов, поэтому и жил в страхе, постоянно ожидая конца своему царствию... Оттого, видно, и сделал ставку на бюрократов, которые ему — за пакеты — служили верой и правдой... Он же их из грязи в князья вывел, у нас в Кряжевке был дядя Степа, работать не любил, все больше глотку на собраниях драл, так ведь его, голубя, в тридцать седьмом сначала председателем колхоза сделали, а потом в исполком перевели, а в тридцать девятом он уж в областной партии секретарствовал, а во время войны стал замнаркома, хоть и пень пнем, но — сноровистый, нутром понимал, что надо кричать, где и когда... Вот такие-то и держали страну... Выдвиженцы... Но — бессребреник был... Детей — Ваню и Колю — воспитывал в строгости, никакого баловства, однако наша дорога в ад вымощена их благими намерениями, чем же еще?!

— Ах, милая душа, Валерий Васильевич, — быстро,

словно бы у него были заготовлены ответы на все случаи жизни, откликался Русанов, — нравственные ипостаси нашей жизни никем не могут быть исправлены, кроме как Создателем. Законы морали нельзя ни изменить, ни улучшить... Они существуют? Да, существуют. Значит, обязательны для каждого... Сталин ведь не всех казнил; тех, кто веровал, следуя воле его, — возвышал...

— Ой ли?! Вон нарком внешней торговли Розенгольц даже после того, как его к расстрелу приготовили, кричал: «Да здравствует товарищ Сталин!»

— На то он и Розенгольц, — усмехнулся Виктор Никитич. — Меня это не удивляет... Однако я не лишаю его права на покаяние, которое всегда искренне... Но мы ныне лишены этой привилегии, слишком много людишек расплодилось, особенно чужих, далеких нам пород, вот что тревожно... А покаяние возможно только в пустынном одиночестве... Курортник, уплывший в море на маленькой лодочке, тоже одинок, но в его душе живут все те, кого он любит. А вот когда наступает душевное одиночество, когда ты — злыми чарами — отторгнут от того, кто создал нас, тогда начинается трагедия... Это особенно приложимо к нам, художникам: талант развивается в пустынном уединении, только характер — в схватке с себе подобными.

Слушая его, я еще больше заряжался верою в то, что делаю. Я мечтал писать одиночество и ветер, но порою заключения Русанова тревожили меня своей ограниченной жестокостью.

Не скажу, чтоб я был постоянно спокоен все то время, что работал в команде Русанова, внутри что-то жало, но я получил право на ту работу, о которой мечтал, однако все кончилось, когда ко мне пришел Иван Варравин...

VI.

«Главное управление уголовного розыска,
полковнику Костенко В. Н.
Рапорт

Покинув квартиру, Завэр отправился в библиотеку Ленина, где заказал книгу о ювелирах Европы. Сделав ряд выписок, он спустился в буфет. Позвонив по телефону, разговаривал с некоей Глафирой Анатольевной в течение пяти минут, рассказывая, в частности, о ювелир-

ных аукционах в Швейцарии, где «Фаберже» стал цениться еще выше. Пообещав составить список наиболее уникальных бриллиантов и провести сравнительную экспертизу с нашими ювелирными изделиями, заверил: «Ах, о чем вы, Глафира Анатольевна, я это делаю без всякой корысти, и не унижайте меня, пожалуйста! Позвольте старому ветерану ощущать свою нужность перестройке, я живу ей, как и вся страна!»

После этого, купив винегрет и чашку кофе с молоком, он позавтракал и поехал на Киевский вокзал. Возле пригородных касс, во время покупки билета, к нему подошел неизвестный мужчина — крупного телосложения, в сером костюме, блондин с голубыми глазами, нос прямой, подбородок волевой, чуть выпирающий, особых примет на лице нет. Поскольку у касс было много народа, нам не удалось сфотографировать предметы, которыми обменялись Завэр и неизвестный. Однако бесспорно то, что Завэр передал предмет в форме конверта. Неизвестный же отдал ему предмет значительно больший по объему, напоминающий книгу, который Завэр быстро положил в свой портфель.

Неизвестный с Завэром ни о чем не говорил и, выйдя из толпы, отправился к стоянке такси, сел в автомобиль ММТ 42-19 и поехал на Фрунзенскую набережную, дом 42. Попросив такси его обождать, вошел в подъезд. Наши сотрудники сразу же вошли во двор, установив, что черный ход из этого подъезда заколочен. В течение часа мы ожидали неизвестного, однако он не появлялся. Тогда я принял решение проверить подъезд. Было установлено, что дверь на чердак легко открывается и по чердаку можно пройти к другим подъездам, которые имеют черный ход во двор.

После двенадцати часов наблюдения за подъездом мы пришли к выводу, что неизвестный нами упущен.

Капитан Коровяков».

VII.

Я, Иван Варравин

— Здравствуйте, это из редакции... Не могли бы соединить меня с товарищем Чуриным?

— У товарища Чурина совещание.

— Когда позвонить?

— Около часа.

— Это как понять «около»? Без десяти? В час десять?

— Около часа. Это все, что я могу вам сказать, товарищ.

Голос у секретаря был несколько раздраженный, хотя я чувствовал, как женщина борется с характером; мне казалось, что она вот-вот сорвется на привычный крик в коммунальной кухне. Смешно, у нас количество коммуналок все же уменьшается, а в Нью-Йорке стремительно растет: на летучке наш собкор рассказывал, что теперь многие жители Манхэттена, где небольшая двухкомнатная квартирка стоит не менее шестисот долларов в месяц, пускают квартирантов — все не так много платить.

Около часа секретарь ответила («секретарша» — гнусно, продолжение одностороннего «ты», барское неуважение к профессии), что товарищ Чурин отъехал в Госплан, но если у меня срочное дело, можно позвонить его помощнику, товарищу Кузинцову, он не откажется помочь, любит прессу.

Очень хорошо, что он любит прессу, подумал я, только перед тем, как просить Кузинцова посодействовать мне в организации встречи с его боссом, надо поехать в «Экономичку» и поговорить со стариком Маркаряном.

Когда я был совсем молодым (по-моему, молодость кончается в двадцать шесть лет, возраст гибели Лермонтова), у меня была дурацкая привычка идти напролом; я был убежден, что система вопросов, подготовленная накануне беседы с интересовавшим тебя человеком, позволит принять абсолютно точное решение. Пару раз я крепко срезался — расписал прохиндея как борца за справедливость, а честную женщину, но, видно, закомплексованную (когда пила чай, локти держала чуть не у пупка, свидетельство закрытости, не руки, а какие-то роботы), высмеял как ретроградку; с тех пор я на всю жизнь сделал вывод: только избыточная информация, собранная по крупицам, а не рожденная собственными эмоциями, может быть основой для мало-мальски серьезного анализа.

К сожалению, у нас нет справочников типа американских «Ху из ху»*, поэтому приходится искать знако-

* «Кто есть кто».

мых интересующего тебя человека. Подкрадываться, щупать с разных сторон, довольствоваться намеками; впрочем, умеем читать между строк, понимая молчание собеседника, — наша горестная привилегия, традиция, будь она неладна! Когда я готовил материал о том, как местная власть душит частника (откуда у нас это дикое слово? Без части нет общего; частное — это личное), кто-то посоветовал пойти в «Экономичку» к Маркаряну: человек, который обладает феноменальной памятью, аналитик, неудачник пера, но как никто другой знает хитросплетения связей в нашем чиновном мире.

И на этот раз он встретил меня хмуро, повторил, что без взятки разговаривать не станет, надоело донкихотствовать; я пригласил его в кафе — он берет только «арабика» со сливками — и рассказал кое-что о Горенкове, заместителе министра Чурине и его помощнике Кузинцове.

— Погоди, сынок, — остановил меня Маркарян, когда я начал углубляться в суть дела. — Погоди... Как этого Чурина зовут?

— Арсений Кириллович. А что?

— Для начала тебе надо понять, как Чурин переехал в Москву? Мы же дети Византии, Ваня. Нас нельзя рассчитывать, исходя из западноевропейского прагматизма... Перемещения у нас таинственны... В подоплеке их может быть вражда или, наоборот, симпатия... Представь себе, что Чурин стоял поперек пути своего прежнего начальства... Молодой, сорок семь, в соку, инженер, грамотный строитель, со своим мнением... Новые времена — не ровен час, громыхнет на партконференции по боссу, не отмоешься, повалит. Что делать? Повышать, двигать в Москву, нажимать на все кнопки, вводить в действие связи, хвалить врага на каждом углу, ратовать за продвижение растущего кадра в центре... Это — один путь. Второй: министр действительно был заинтересован в толковом заместителе, перетащил его в первопрестольную, дал самый боевой участок... А сколько лет министру? Каково его положение в Совмине? Что пишет о нем пресса? Это, так сказать, основоположения. Без понимания этого фундамента ты не разберешься с тем, отчего Чурин отдал на заклание человека, вытащившего отрасль из прорыва, того, кому надо присваивать Героя, а не в карцер купорить... А может, этот самый Горенков ему не отдал...

— Нет, — я даже отодвинулся от Маркаряна. — Нет, такого быть не может!

— Все может быть, Ваня. Запомни, пока государство платит работнику не процент от той прибыли, что он принес обществу, а за занимаемый стул, может быть все. Заместитель министра — бедный человек, Ваня, он получает не более пятисот рублей, столько же, сколько хороший сталевар или шахтер... А за дубленку жене ему надо отдать, как и всем, — тысячу... Может, Горенков этот самый не пригласил товарища Чурина стать соавтором изобретения, всяко может быть, не ярись, не надо, слушай старика... Еще вот что... Горенков был единственным в отрасли? Или еще кто проводил такой же эксперимент?

— Единственный, — ответил я. — И с ним эксперимент закончился.

Маркарян удовлетворенно кивнул и заказал себе еще один кофе:

— Очень важная информация, Ваня. Ответь мне в таком случае: кому мог угрожать успех его эксперимента?

— Рустем Исламович Каримов прямо говорит: «Бюрократии...»

— Каримов? Это Предсовмина?

— Да.

Маркарян недовольно поморщился, отсёрбал серыми, нездоровыми губами курильщика пену с кофе и заметил:

— Не надо дозировать информацию, Ваня. Мне неинтересно фантазировать. Надо выдавать полный залп, все, что у тебя есть. Тогда будем на равных.

— Каримов считает, что сейчас выстроился коррумпированный блок бюрократов; министерства не намерены без боя сдавать позиции, любая инициатива должна быть ими рассмотрена и утверждена.

— Вот что, Ваня... Ты не ходи к Кузинцову... Или если уж идти, то по-хитрому: «Пишу статью о вашем шефе, человек отвечает за огромный участок народного хозяйства, строительство — наш прорыв, что думает о будущем тот, от кого зависит реформа и перестройка...»

— Хочу жить не по лжи, Геворк Аршакович...

— А я, выходит, только и мечтаю существовать как Змей Горыныч?! Почему вы, молодые, так горазды на обиды?

— Я же правду сказал...

— Думаешь, твоя правда не может обидеть собесед-

ника? Не обижает только абстрактная правда. А она отстаивается по прошествии времени, единственно истинный критерий правды — годы, Ваня... Кто сказал, что журналистика бескровна? Я сломан оттого, что начинал в ту эпоху, когда ценилась эластичность совести. Я был полон идей, как и ты, ярился за бардак, тупость, страх, а сделать ничего не мог... И нечего валить на цензуру — внутри каждого сидел цензор, это самое страшное... А сейчас, когда настало то время, о котором все мечтали, я оказался пустым, меня выжгло изнутри... Ваше поколение еще не до конца сломано, ты в газете шесть лет, из них два года упало на гласность, вам потомки памятник воздвигнут в центре столицы: «Правде — от благодарных сограждан»... А мы... Удобрение, коровяк. Я бы не смог себя переступить, я бы не пошел на комбинацию во имя правды... Ты — можешь. Пока что — во всяком случае... Попробуй переть на Чурина, но, думаю, тебя к нему не пустят. Тогда хитри с Кузинцовым. И — набирай информацию, Иван, дои его... А я постараюсь тебе помочь через друзей... Нас начнут гнать метлою года через три, когда сравняется шестьдесят, и, кстати, правильно будут делать, но пока мы готовы служить вам, вроде бы как замаливать собственные грехи.

Назавтра секретарь сказала, что товарищ Чурин эти два дня будет занят на научной конференции, затем он выезжает на Украину, так что лучше бы мне позвонить в конце следующей недели.

— А товарищ Кузинцов остается в столице? — спросил я. — Или будет сопровождать шефа?

— На Украину он, конечно, полетит с Арсением Кирилловичем, а эти два дня Федор Фомич на хозяйстве, можете связаться, дам прямой телефон.

...Кабинет Кузинцова был маленький, но обжитой: деревянные панели, дубовые подоконники, изящный столик с кофейником, интересные книги в стеллажах (не те, что торчат в иных начальственных шкафах, — обязательные тома избранных произведений, справочники, несколько альбомов и уйма нечитаных брошюр) — Достоевский, Гоголь, Шолохов, Сергеев-Ценский, томики всемирной литературы, поэзия Смелякова, Рубцова, Ахматовой, фотоальбомы о памятниках архитектуры Смоленска, Пскова и Новгорода.

И сам Кузинцов тоже был обжитым, кряжистым, доброжелательным. Только мне показалось странным, что помощник заместителя министра носил волосы, слов-

но хиппи, до плеч и то и дело оглаживал бородку и усы, — я привык к тому, что аппаратчики тщательно подстрижены, подчеркнуто скромны в одежде, ничего выделяющегося, устойчивый стереотип одинаковости.

— Нуте-ка, давайте, давайте, — окающе рассыпая быстрые слова, приветливо начал Кузинцов, — помогу, чем могу, преклоняюсь перед пишущими, сам грешил в молодости, было дело! Постараюсь ответить на ваши вопросы, товарищ Варравин...

— Какой я пишущий, — я начал неторопливо прилаживаться к собеседнику. — Я репортерящий... И вопрос у меня крутой: что мешает перестройке в вашей отрасли?

— Эх, милый мой человек, да вам блокнота не хватит записать все наши беды! Бюрократия, страх мыслить по-новому, неумение быть инициативными... Это — главное. Но есть и объективные причины... Дрянная оснащенность промышленности, перебои в поставках, нехватка цемента, пролетов, шифера — а как без этого строить?

— Про то, что плохо, сейчас знают все... Какова программа? Где выход из прорыва?

— Простите за стереотип, но выход я, как и все, вижу в повышении сознательности, каждодневной воспитательной работе, разъяснении смысла перестройки, ну и, конечно, в рычагах материального стимулирования...

— А что важнее? Повышение сознательности или материальное стимулирование?

Кузинцов как-то странно покрутил головою, потом, кашлянув, заметил:

— Эти понятия нерасторжимы. Перекос в одно из двух направлений чреват неуправляемыми последствиями...

— А как же бытие, которое определяет сознание?

— Надо быть тщательным в формулировках... Не просто бытие, но именно общественное определяет уровень сознания... Следовательно, общественное бытие включает в себя и сознательность.

— Ну а если резче: «человек есть то, что он ест»? Как быть с этим постулатом?

— Сразу видно, что со мною беседует сторонник «деловых людей».

Сказал он это с несколько сострадательным сожалением, которое таило в себе затаенную снисходительность

— С вами беседует марксист, — ответил я. — Если все ставить на сознательность, уповать на идеальное в человеке, тогда пришло время заключить конкордат с Ватиканом и Загорском, там испокон веку материальное считалось суетным, только идея, духовность... Но ведь сытые свободные люди на баррикады не выходят, только голодные.

— И Сусанин, и Каратаев были крепостными, то есть, по вашей логике, голодными и бесправными, однако же шли на баррикаду, но только не против отчизны, а за нее.

— Экстремальность ситуации, борьба с иноземными захватчиками — не довод в споре... Разин и Пугачев, кстати, придерживались иной точки зрения... Да и теорию пораженчества в войне империалистов не кто-нибудь выдвинул, а Ленин...

— Ах, молодежь, ах, спорщики, — Кузинцов мягко улыбнулся, — куда уж с нашим склерозом за вами угнаться, сразу осадите! Не подумайте, что я противник материального стимулирования... Обеими руками — «за». Могу познакомить с приказами, только что подписанными товарищем Чуриным: смелее премировать передовиков, не бояться увеличивать заработки рабочим. Но вы же знаете, какая рутина противостоит нам — особенно на местах. Люди живут прежними стереотипами, боятся, как бы кто не разбогател... Такой уклад мышления в один день не поломаешь.

— А сколько дней кладете на то, чтобы этот уклад поломать?

— Я боюсь слова «ломать», товарищ Варравин, — ответил Кузинцов после долгой паузы. — Вы ведь не застали ломок. А я пережил. Упаси вас бог от крутых ломок, лес не рубят, а щепки летят...

— Ваша заработная плата зависит от успеха отрасли?

— Да никак! Ежеквартальную премию служащим кое-как натягиваем, но прямой связи нет, этот вопрос в процессе исследования... Может, вас интересуют конкретные эпизоды? Я готов помочь в меру сил, какие-то имена — передовики, отстающие, ворюги, анализ их деятельности, — мы внимательно следим за происходящим в отрасли.

— Меня интересует дело инженера Горенкова...

— Кого, кого? — лоб Кузинцова свело морщинами. —

Горенкова? Помогите-ка, что-то вертится в голове, а вспомнить не могу.

— Был у вас такой начальник треста в Загряжске...

— Ах, это который сидит?! Оборотистый хозяин, но, знаете ли, хапуга высшей марки, прямо-таки бизнесмен из Нью-Йорка, акула...

— А почему его поддерживал ваш шеф?

— Да никогда он его не поддерживал, — отрезал Кузинцов. — Его другой человек поддерживал.

— Можете назвать имя этого человека?

— Обидно, конечно, но — назову. Кузинцов, Федор Фомич, его поддерживал, ваш покорный слуга, говоря иначе. Я его и назвал кандидатом в начальники треста, я и приказ на него писал...

— А товарищ Чурин?

— Видите ли, я ведь здесь работаю двадцать три года, здесь защитился, как-никак доктор, чем высоко горд, здесь прошла половина моей сознательной жизни, так что мне в коллективе верят.

— Значит, ваш босс подписал приказ о назначении, не встретившись с Горенковым?

— А — зачем? Я же встречался. Мне — простите за то, что повторяюсь, — коллегия министерства верит... В техническом отделе его принимали, в кадрах тоже. Я с ним два дня просидел над плановыми заданиями, вывели общую стратегию, обговорили узловые вопросы, но кто мог знать, что он начнет диктаторское самовольство?

— Вы дали санкцию на начало эксперимента по самофинансированию и самоокупаемости?

— Преступник всегда ищет, на кого бы сложить грех. Да и потом, я лишен такого рода полномочий...

— А кто мог дать ему такое разрешение?

Кузинцов пожал плечами:

— Министр, коллегия, Чурин, наконец... Но ведь Горенков был утвержден опросным порядком, приказ пустили по кругу...

— То есть товарищ Чурин таких санкций ему не давал?

Кузинцов отрицательно покачал головой:

— Нет. К Чурину идут через меня, я был бы в курсе.

— Значит, кто-то из двух врет, — сказал я.

— Горенков или я? Вас так надо понимать?

— Горенкову веры нет, он осужден, — сказал я. — Либо врете вы, либо Каримов из Совмина республики.

Он утверждает, что Чурин принимал Горенкова, высоко хвалил и говорил с ним об эксперименте...

VIII.

Кузинцов Федор Фомич

«Неужели началось, а? — подумал он. — Да, видимо. Ну и что? Никто не гарантирован от судебных ошибок. Я не наследил ни в малости — Горенкова посадили в результате ревизии местных контролеров».

...Ужас надвигающихся перемен Кузинцов понял первым, когда еще в министерстве никто не почувствовал того зловещего, неприемлемого для служилых людей, что было сокрыто в понятиях «перестройка», «хозрасчет», «демократия», «гласность».

Он кожей ощутил, что эти — казалось бы, пропагандистские — термины на самом деле означают для него конец прекрасной полосы жизни, спокойной и надежной, когда все было выверено и заранее предопределено.

Любой визит министра союзной республики, приезжавшего два раза в год, чтобы пробивать фонды и корректировки к плану, сопровождался подарками — кто хрустальную вазу вручит, кто ящик с вином, кто набор копченостей. Ни о какой взятке и речи не было, просто у нас исстари принято приезжать в первопрестольную с гостинцем, кто ж иначе посмеет завалиться в гости, разве нехристи одни, юркота. Замминистры из республик приезжали чаще, раза по три, а то и четыре, — тоже не с пустыми руками, не говоря уж о начальниках главков и трестов. Вопрос о санаториях в Прибалтике или на Кавказе для верных друзей и нужных контактов решался по телефонному звонку в республиканские министерства; в свою очередь нужные люди в долгу не оставались: будь то медицина, ширпотреб, парное мясо, соленая рыба, крабики там всякие, содействие детям приятелей при поступлении в институты, устройство своих людей в загранкомандировки. Причем все делалось чисто дружески, никаких там тебе такс, люди сами знают, что у нас в цене, чувством благодарности народ, слава богу, не обделен, с молоком матери всосал: не отблагодарить благодетеля — грех! Зимние сапожки или

там какой завалящий японский двухкассетник в любом загранкооперативе для специалистов стоят сущую ерунду — отстали, ох отстали, чего греха таить, — а здесь нужны большие сотни, а откуда их взять, если отмусоливают двести рублей в месяц, будь ты хоть семи пядей во лбу.

...Кузинцов успел защитить докторскую за месяц до того, как в науке началась реформа: спасибо Чурину, тот организовал в ВАК письма строителей, поди не прислушайся к мнению рабочего класса, тем более диссертация была посвящена управленческой реформе; впрочем, написал он ее двадцать лет назад, после провозглашения Косыгиным Щекинского эксперимента, но когда эксперимент задушили — не тот человек провозгласил, — пришлось положить работу в стол. Публиковал статьи и обзоры, набирал научный капитал, чаще всего выступал в областной прессе, в тех регионах, где разворачивались особенно грандиозные проекты. Потом, наблюдая за тем, как в стране начало шириться патриотическое движение по сохранению старины и уважительности к народной памяти — особенно во время подготовки площадок под новые комплексы, — почувствовал: вот оно! Надо срочно переориентировать диссертацию, дописать главу о необходимости координации строительных работ с историками, археологами, творческими союзами.

Будучи по природе своей холодным логиком, Кузинцов прежде всего думал о будущем, вопросы, связанные с тем, что ушло, его не волновали, однако он точно просчитал, что блок с носителями идеи уважительного отношения к отечественной истории выгоден ему; идею поддерживают крупные ученые, художники, писатели, общественные деятели, такие люди нужны, в бизнесе не сведущи, доверчивы, — за ними как за каменной стеной.

Начал присматриваться к тем, кто стал во главе неформального общества по охране памяти «Старина»; остановился на доценте Тихомирове — человек достаточно странный; истеричен, но цепок и поворотлив; к тому же — трибун, умеет зажигать молодежь; его поддержка — при благоприятной ситуации — может оказаться бесценной. Правда, Кузинцова несколько беспокоила национальная зашоренность доцента: он категорически отрицал опыт новой архитектуры, предложенный литовцами и армянами, считая нецелесообразным перенимать его: «Хватит, натерпелись с Корбюзье»; болезненно воспринимал работы Зураба Церетели в Москве: «Есть Гру-

зия, пусть там и экспериментирует!» Кузинцов понимал, что русская интеллигенция наверняка одернет его. Видимо, если он и впредь не сможет контролировать себя, соблюдая рамки приличия, его рано или поздно переизберут, но Кузинцов твердо знал: надо ковать железо, пока горячо, пока в руках у человека сила. Решил покатить пробный шар, чтобы все стало на свои места: чему-чему, а этому чиновничья жизнь научила его отменно.

Уникальный Петровский штоф тяжелого цветного стекла и набор стаканов, сделанных по спецзаказу в экспериментальной мастерской министерства, Тихомиров принял легко, с детским восхищением: «Хоть и не люблю этого монарха, но отношу себя к числу тех, кто не вычеркивает персоналии из отечественной истории... Полагаю необходимым пропагандировать не только радищевское путешествие, но и встречное, пушкинское, из Москвы в Петербург... Да и Пуришкевича должно судить не только по его речам в Думе, но и по тому, что он сделал во имя России вместе с Юсуповым и великим князем Дмитрием, убрав Распутина... А уж коль скоро Герцен у нас в таком почете, то отчего замалчиваем Хомякова с Аксаковым? Однобокая информация — штука опасная, негоже преклоняться только перед домашними гегельянцами! Своих мыслителей, слава богу, немало, есть чем гордиться, и надобно еще поглядеть, кто на кого больше влиял — мы на Европу или она на нас».

Прочитав дописанную Кузинцовым главу, Тихомиров предложил включить несколько строк о деятельности секретаря МГК Лазаря Мойсеевича Кагановича («Он не «Моисеевич», наши тоже встречаются «Моисеевичи», обязательно поставьте «й», это необходимое уточнение — человек, лишенный чувства почвы, хасид»). Кузинцов заметил, что в таком случае надо писать и о Сталине с Молотовым, которые возглавляли ЦК и правительство. Тихомиров отмахнулся: «Они были игрушками в его руках, к тому же Молотов женился на Полине Соломоновне, сами понимаете, куда идет ветвь». Кузинцов включил несколько намекающих цитат из выступлений ряда историков архитектуры; на открытую конфронтацию не решился — неизвестно еще, куда пойдет дело.

Когда Тихомиров обмолвился, что негде дописать заказанную статью, дома шумно, приехали родственники, Кузинцов сразу же определил его в Прибалтику, в тихий дом отдыха; система связей с нужными людьми

продолжала функционировать, хотя пришлось попросить у доцента официальное ходатайство на бланке — раньше такие пустяки решались телефонным звонком, ничего не попишешь, дань времени; все устроится, пару лет пройдет, пыль уляжется, вернемся на круги своя, только б сейчас удержаться, только б не дать порваться цепи, один за всех, все за одного, иначе нельзя...

Через месяц Тихомиров сказал, что его помощник, отменный специалист по русской керамике и фарфору Савенков, лишен сколько-нибудь серьезной производственной базы: «А ведь на нем лежит огромная ответственность — восстановить утраченные орнаменты, секреты рисунка, все то, что составляло гордость наших мастеров». Кузинцов сразу же предложил замкнуть Савенкова на экспериментальную мастерскую Гуревича в Москве, творят чудеса, прекрасная техника, только-только закупили в ФРГ.

Тихомиров покачал головой: «Доверчивая вы душа, Федор Фомич! Да разве можно отдавать восстановление нашего фарфора Гуревичу? Нет уж, лучше мы в Сибирь подадимся, есть люди, которые поддержат нас и словом и делом; национальным искусством должен заниматься свой человек... Нет, нет, я лишен предрассудков, пусть себе Гуревич работает, но не надо ему входить в наше предприятие, пусть занимается современностью, если вы убеждены, что он делает это честно и во благо обществу».

Кузинцов ответил тогда, что есть база в Поволжье; стоить, правда, будет значительно дороже: и транспортные расходы, и размещение специалистов, и согласование пройдет труднее — местные власти весьма ревнивы к столичным вторжениям, — придется походить по коридорам администрации.

Тихомиров только рассмеялся: «Никаких хождений не будет, скажите, кто должен подписать бумагу и на чье имя... Кстати, как фамилия поволжского директора? Потапов? Хорошо. А как зовут жену? Ее девичья фамилия? Быкова? Годится. Я не шовинист и чту искусство всех народов — у кого оно исторически существовало, — но, согласитесь, смешно было бы, учи англичан театральному искусству русский режиссер!»

Кузинцов хотел было заметить, что англичане по сю пору учатся у Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова и Таирова, но понял, что делать этого не следует: порою лицо доцента — во время бесед о национальном —

замирало, покрывалось мелкими старческими морщинками, глаза останавливались, делаясь какими-то водянистыми, прозрачными, словно наполнялись невыплаканными слезами; собеседника в такие моменты Тихомиров не слышал, говорил с маниакальным устремлением, словно бы продолжая с кем-то давний спор, который никак не может закончить.

Бумагу, которую Кузинцов продиктовал Тихомирову, тот подписал во всех инстанциях за три дня, — немыслимое дело; заметив нескрываемое удивление на лице собеседника, посмеялся:

— Милый Федор Фомич, это все не шутка... Дайте время, развернемся так, что все барьеры сломим! Мы еще свою удаль не выказали миру, обождите — выкажем, громко выкажем...

Подписи на бумаге свидетельствовали: Тихомиров имеет такие выходы, о которых Кузинцову и не мечталось, хотя он, за долгие двадцать три года службы в своем маленьком кабинетике, оббитом теплыми деревянными панелями, оброс связями со всеми министерствами.

И сейчас, анализируя беседу с Варравиным, он вдруг ясно понял, что потушить дело с Горенковым в зародыше может только один человек — доцент Тихомиров.

Выслушав просьбу Кузинцова о встрече, Тихомиров ответил, что днем будет занят, встреча с архитекторами, составление плана мероприятий «Старины» на летние месяцы, так что освободится не раньше семи; готов заглянуть.

Кузинцов сказал, что в семь будет стоять у входа.

— Нет, нет, не надо, Федор Фомич! Я могу задержаться, а вы будете в вестибюле ждать, я себя стану чувствовать в высшей мере неловко, закажите пропуск, — боюсь ощущать себя связанным во времени.

...Кузинцов вышел на улицу, неторопливо прогулялся по городу, думая о том лишь, как бы не испугать Тихомирова. Если солгать в малости — доцент ощутит это своим внутренним локатором; а потеря такого контакта невосполнима; упаси господь стать его врагом, — с его-то связями сомнет в момент, а человек он подвластный настроениям, интригабельный, женственная натура, от пылкой привязанности может мгновенно перейти к яростной неприязни. Но и обо всем с ним говорить нельзя, есть какие-то вещи, в которых и самому себе нельзя признаваться, иначе душу разъест ржавчиной, погибнешь от

вечного неспокойствия. Не зря ведь раковые больные интуитивно отторгают самое возможность болезни; на Западе люди бездуховны, врачи там теперь открыто говорят пациенту, что у него рак, а ведь не каждому дано пережить такого рода стресс, не всякая правда угодна человеку, в этом с Горьким можно согласиться, действительно, некоторая правда разит наповал... Вот Хрущев открыл правду на двадцатом съезде, ну и что? Сколько душ искалечил... Сделали Сталина богом, ну и оставаться б ему таким, все равно убиенных не воскресишь, да и надо ли? Наш человек без святой веры в авторитет верховного вождя жить не может, такова уж история — куда ни крути! Нам нужны пряник, страх и кнут; всяческие демократии не по нашу душу — жаль, об этом в открытую нельзя сказать, сразу книжку отберут, а куда без нее?! Учителем в ПТУ? Да еще и не примут, если сверху звонка не будет; выпал из номенклатуры — поминай как звали, был человек — нету! А нынешние выборы руководителей? Разве мы готовы к этому? Надо постепенно, десятилетиями подводить наш народец к такому, а тут — раз, два, и — валяй! Страху нет, руки тянут вразнобой, вольница... Ивана Грозного помним, оттого что боялись, а кто отдаст должное Александру Второму-освободителю, подписавшему рескрипт о свободе крестьян? Да никто не помнит! Подняли, бедолагу, бомбой, порвали в куски, — демократии дыхнули! При Николае Первом не посмели б, декабристов так скрутил, что десятилетиями никто и пикнуть не смел, элита жила в радость, а мужику что надо? Хлеб имел, молочка перепадало, незачем всем навязывать то, к чему ты, достигший, допущен.

...Не отдавая себе отчета в том, что его потянуло в ЦУМ, Кузинцов тем не менее зашел в универмаг и, словно подталкиваемый кем-то, поднялся в отдел электротоваров, купил маленький самовар, вернулся в министерство, снял кофейник-экспрессо с маленького столика, а вместо него водрузил самовар, заменив при этом чашечки на хрустальные стаканы; чай, по счастью, был у дежурного по коллегии индийский, от старых времен, когда были на прикрепленке к Елисеевскому.

...Тихомиров ни разу не перебил Кузинцова, слушал вбирающе, тех вопросов, которых так страшился Федор Фомич, не задал, от чая отказался — «грешным делом

выпил бы чашку крепкого кофе, измотался за день, сил нет», потом сокрушенно покачал головой:

— Ладно, не печальтесь, вопрос решим, вы даже с лица спали... Завтра, кстати, помогите Виктору Никитичу Русанову еще раз покопаться в вашем архиве: надо тщательно посмотреть проекты, разработанные для заповедных мест России, и снять ксероксы с подписями тех, кто визировал и утверждал. Что же касается Каримова, то составьте на него обновленную справочку... Хочешь мира — готовься к войне... Наши арийские праотцы умели формулировать мысль емче, чем мы: издержки революционных сдвигов, плебс говорлив, аристократия — медальна.

Закрыв глаза — устал, лицо побледнело, — Тихомиров тихо, с горечью заключил:

— Хорошая фамилия Варравин... Что-то удалое в ней есть, широкое... Жаль парня, но если мешает, придется ломать, иного выхода в создавшейся ситуации нет, вы правы.

IX.

Я, Иван Варравин

Редактор моего отдела Евгений Кашляев пришел в редакцию год назад, до этого руководил культурой в горкоме комсомола. В свое время он прославился тем, что пригнал бульдозер, который снес выставку абстрактных гениев. После этого Кашляев резко пошел в гору, из инструкторов сразу переместился в замзавы; начал кампанию против вокально-инструментальных ансамблей, — страшнее кошки зверя нет, в стране с мясом ни к черту, детям на Севере молоко по карточкам давали, а он заливался соловьем: «Уничтожим чужеземные влияния, наша культура не приемлет пугачевскую пошлятину и кривлянья Леонтьева с его джинсовыми самоцветами!» Кому-то его кампания нравилась: «Парень мыслит как патриот, чтит традиции, молодец». Кашляев разогнал самодеятельных джазистов; во Дворцах культуры выступали одни лишь танцовщицы в сарафанах и певцы в картузах — жалкое подражание высокому искусству хора Пятницкого, ни лада замечательного коллектива, ни настоящей фольклорной памяти, подделка; понятно, на

концерты гоняли пенсионеров, молодежь пряталась в подвалы, исподволь появились рокеры и панки — копирование американских рок-групп, но если те состоялись на том, что выступали против вьетнамской войны, то наши, ничегошеньки об этом не зная, выли и кричали, гнусавя, так, что и слов-то понять нельзя; тем не менее молодежь танцевала вместе с ними, улюлюкала, стонала от восторга. Тогда Кашляев отправился в пригород — туда, где раньше были деревеньки, снабжавшие московские рынки зеленью. Столица эти деревеньки поглотила, но дух перелопатить не смогла — ни пролетарский, ни крестьянский; бизнес там делали старухи, копаясь в огородах, молодежь с земли бежала, не выгонишь на грядки; поговорив с «юными пролетариями» из клуба культуристов, Кашляев привел их — одетых в белые рубашки, черные костюмы и аккуратные галстуки — на подвальные вечера рокеров: «Если милиция отказывается разогнать эту нечисть, сами наведем порядок». Началась драка, семерых увезли в больницы; Кашляева с грохотом сняли, но, поскольку он номенклатурный, ему не предложили устраиваться на работу, а перевели к нам в газету — на перевоспитание, у вас, мол, коллектив хороший, парень поймет свои ошибки.

Узнав об этом, мы отправились к главному. Тот, однако, ответил, что вопрос решен не им, обсуждению не подлежит: «В конце концов, от вас теперь зависит все; климат таков, что мастодонтов мы не потерпим». Наш главный на переломном возрасте — сорок два года, в это время комсомольские работники ждут перемещения, очень ответственный момент, нельзя допустить ни малейшей ошибки, десятки глаз внимательно тебя изучают, резкие движения или, более того, необдуманные решения могут повлиять на всю дальнейшую жизнь; терпение — это гений.

Мы тем не менее потребовали общего собрания; у нас сильная коллегия, все из пишущих, пробивались сами, — никаких там пап или волосатых дядиных рук, рабочая косточка, только редактор иностранного отдела из профессорской семьи, потомственный интеллигент.

...Кашляев сидел возле окна, спиною к свету, но все равно были заметны синяки у него под глазами и отечная, нездоровая бледность. Мы высказали ему все, что о нем думаем: немотивированное запрещение рождает протест; никто из нас не поклоняется абстрактной живописи, но делать из нее главную угрозу социализ-

му — значит ни черта не понимать в реалиях сегодняшней жизни; опасность — в другом; как только разрешили выставки авангардистов, они перестали быть борцами за свободу искусства; нет ничего легче запрета, но никогда еще в истории запрет на то, что кому-то не нравится, к добру не приводил. Нам тоже не очень-то нравится визг рокеров, но не лучше ли предложить молодежи такие песни, танцы и развлечения — телевидение, кстати, ищет в этом направлении, — которые оставят рокеров в меньшинстве. А пока молодежи негде проводить время, пока ей не подсказали, как выпустить энергию (повтори какой взрослый движения детей, что носятся во дворе, — умрет от истощения, ученые просчитали это на ЭВМ), пока комсомол проводит свои помпезные слеты и митинги, но реально не помогает молодым найти себя, — мы не вправе уповать на конформистские запреты. Было время, когда милиция хватала тех, кто ходил в узких брюках, потом сажала за клеши, а чего добились? То, что молодежь набралась тюремного ума-разума? Словно сами подталкиваем их к тому, чтобы с понятием «власть» постоянно связывалось зловещее слово «нельзя». Как новый редактор отдела Кашляев может руководить нашей работой, если мы придерживаемся противоположных взглядов на происходящее в молодежной среде?

Главный на этом собрании не был, сказал, что не может не принять участия в коллоквиуме, проводимом Академией наук, взял туда одного из фоторепортеров и пообещал сам написать отчет — «будет интересно»; раньше на эти встречи ездил обозреватель из отдела науки; ладно, пусть себе, но так взвешивать каждый шаг — с ума можно свернуть или инфаркт заработать.

Вел собрание наш первый заместитель Павел Гунько, его к нам перевели из Львова, парень моего возраста, тридцать один год, с хорошим пером; резок, когда дело касается правды; не терпит вихляний и околичностей.

— Давай, товарищ Кашляев, — сказал он, после того как все высказались. — От твоего ответа зависит исход дела. Коллектив теперь вправе поставить на голосование вопрос: можешь ли ты возглавить отдел? И я не буду перечить в этом коллегам, несмотря на то что ты утвержден бюро, — если уж гласность, то для всех...

— Я скажу несколько слов, — Кашляев поднялся, судорожно, как-то даже по-детски вздохнул и сжал кулаки так, что мне послышался хруст костяшек. — Я вот что хочу спросить товарищей: является ли сплетня, оговор,

донос неизбежным, более того, необходимым спутником демократии и гласности? Думаю, ответ однозначен — нет, такого рода гнусь компрометирует тот процесс, который мы с вами так приветствуем, — перестройку, рождение нового гражданского мышления... Я хочу спросить также вот еще о чем: отменяет ли дальнейшее расширение демократии...

Гунько усмехнулся:

— Демократия — не брюки, ее нельзя расширять или сужать... Если есть, так есть, а нет — так и нету.

— Верно, — согласился Кашляев, — вы тут сидели на живом слове, вы бритвой режете, я так не умею, аппаратчик... Но все же я кончу формулировать мой вопрос, согласившись с твоей коррективой, товарищ Гунько: отменяет ли гласность необходимость комсомольской дисциплины и норм демократического централизма? Думаю, нет. Во всяком случае, я такого постановления не читал. Между тем не я был инициатором запрета ВИА, я лишь выполнял постановление бюро. Имел ли я право отказаться? Вы скажете: «Да, имел». Но тогда я и вас спрошу: «А вы, каждый из вас, отказались бы, очутившись на моем месте?» Почему мы печатали на страницах вашей газеты разгромные статьи — и против абстрактников, и против Леонтьева, и против рок-ансамблей?! Почему не отказались публиковать то, с чем не согласны? Кто может доказать, что я, именно я, пригнал бульдозер на выставку левой живописи? Вы там были? Читали документы, подписанные мною? Или слышали? Я не понимаю абстрактную живопись и не люблю ее — да, это так, я этого не скрывал, не скрываю и впредь скрывать не намерен, и, когда вы захотите печатать статьи в поддержку этого, с позволения сказать, направления, я буду требовать опубликования противной точки зрений. Да, я люблю Бетховена и Моцарта, да, я плачу, кода слушаю Чайковского, да, я воспитывался в Воронеже, и для меня «Летят утки» — самая нежная песня. Выступая против рок-ансамблей, я хотел привить молодежи любовь к непреходящему, вечному! Да, мне отвратительны «металлисты», доморощенные панки, увешанные цепями, но кто докажет, что я был поклонником «люберов»? Наверное, я виноват в том, что бездумно соглашался со всякими решениями, проштемпелеванными круглой печатью. Видимо, я слишком ретиво выполнял то, что надо было микшировать... Но сейчас все умны, все демократичны, все прогрессисты... Это легкая пози-

ция — отшвырнуть ногою того, кто тебе почему-то неугоден, про кого что-то, где-то, кто-то не так говорит... Но как это вписывается в нормы демократии? Вот и все, что я хотел ответить. А просить я хочу о следующем: пусть будет создана комиссия, которая расследует мою работу в отделе культуры, пусть повстречаются с молодыми художниками-реалистами, с обществом молодых поэтов, со студией бального танца, с дизайнерами и модельерами... И еще... Наверное, процесс, происходящий нынче, потому и называется перестройкой, что он дает возможность всем и каждому — включая тех, кто раньше в чем-то добровольно заблуждался, — именно перестроить себя... Не репрессии, не тройки и особые совещания, не ссылки и травля на открытых собраниях, но именно атмосфера доброжелательности, товарищеской помощи, взаимовыручка — вот что такое для меня пере... пере...

Кашляев побледнел еще больше, медленно опустился на подоконник и тяжело рванул воротник накрахмаленной рубашки; девушки бросились к нему с водой, приехала «неотложка», вкатили пару уколов, не до голосования... Впрочем, я не убежден, голосовал бы я против после его выступления — при всем том, что там было много чуждого мне, какие-то пункты опровергнуть было невозможно, особенно про то, что мы все тоже были хороши, чего уж грех таить...

После того собрания Кашляев бюллетень не взял, хотя врачи требовали, чтобы он провел в постели хотя бы неделю, приходил в редакцию первым, уходил последним, как-то алчно влезал во всех дела, рукописи наши не правил, только высказывал соображения, какие у него возникали, — часто весьма дельные, он хорошо чувствует слово, относится к нему бережно, хотя выступает против излишней телеграфности стиля: «Мы все устали без воздуха».

— Отбей у главного лишние сто строк для нашего отдела, — сказал я ему, — тогда появится место для воздуха. Думаешь, мы его не ценим?

— Попробуем, — ответил Кашляев. — Но это надо решить не бюрократической битвой в секретариате, а парой таких материалов, которые сделают нашу просьбу оправданной.

Один из таких материалов сделал я — удалось найти ветерана, награжденного орденом Красного Знамени на пятый день войны; старик жил в сарае, исполком отказы-

вал ему в жилплощади за то, что он якобы продал свою квартиру в городе, а он ее никому не продавал, прописал туда дочь, а та, по прошествии трех лет, турнула старика на улицу, — Шекспир потому и гениален, что писал сюжеты, которые непреходящи во времени, круто мыслил англичанин, нашим бы так литераторам, а то ведь все плачут и стенают, хоть бы один вышел с программным произведением, предложил возможный путь выхода из тупика, нет, все охи да вздохи.

Второй материал написал Кашляев. Честно говоря, написал неплохо, — задрал министра финансов за то, что тот до сих пор не издал единого разъяснения для тех, кто переходит на самофинансирование и самоокупаемость; полнейшая неразбериха, а при нашем исконном рвении «тащить и не пущать» делу перестройки наносится громадный урон, промышленность топчется на месте, особенно строители; его статью вывесили на красную доску, а Павел Гунько похвалил Кашляева на летучке.

И командировку в колонию, к Горенкову, пробил мне тот же Кашляев. Сначала хотели отправить нашего сибирского собкора, чтобы сэкономить на транспортных расходах, но Кашляев стеною встал на заседании редколлегии:

— Это тема Варравина, он и должен туда лететь, в конце концов, существует журналистская этика, давайте будем ей следовать не на словах, а на деле.

Напутствуя меня, Кашляев посоветовал:

— Если Горенков действительно получал такие бешеные премиальные, как ответили из местной прокуратуры, — бей наповал, гад и сутяга. Если же это не подтвердится, защищай до последнего...

Когда я вернулся из Загряжска, именно он договорился с главным о трехдневном отпуске, чтобы я мог толком отписаться; как всегда, в три дня я не уложился, я вообще-то здорово разбрасываюсь, это моя беда: до этого я три месяца собирал материалы по Новосибирску, — там псевдоученые дурачат мозги студентам, прикрываясь святыми для каждого из нас понятиями о народной памяти; полез в справочники и сразу же споткнулся о барьеры, потому что мне понадобились материалы о власовцах, министерстве пропаганды Геббельса, речах черносотенцев в Государственной думе; пока главный написал ходатайство в институт военной истории, архив, пока все это стало обкатываться по нашим бюрократическим волокам, я увлекся сказочной темой —

музыканты создали хор церковных песнопений на старославянском, молитвы шестнадцатого века, мороз дерет по коже, только у негров есть подобные «спиричвелс», скорбь и надежда, правда, если у негров солирует певец — особенно велик был Армстронг, — то у нас многоголосье, ощущение космической надмирности, прощание с суетной устремленностью землян.

Меня все ругают за то, что я разбрасываюсь, все, кроме матушки; образцово-показательная мама, честное слово: «Никогда не делай того, что тебе в тягость. Твой отец говорил, что журналистика — это искусство, оно требует огромной отдачи и многие знания, что рождают многия печали... Отец тоже метался, всегда писал одновременно три, четыре статьи, одно подталкивает другое, все в мире взаимосвязано, отдельность закончилась, когда изобрели паровоз, это утопия — вернуть сказочное патриархальное прошлое, всегда надо осваиваться в новых условиях, думая, как их приспособить к себе, а не раствориться в них... Писатель, просто фиксирующий происходящее вокруг него, никогда не станет великим, надо навязывать окружающему свою мечту, а мечта всегда несет в себе добро». — «Гитлер тоже был бо-ольшим мечтателем...» — «Нет, Гитлер не был мечтателем, Ванечка. Он был маньяком, кликушей. На определенных этапах это угодно толпе, изверившейся в возможности найти выход из тупика добром, разумом, анализом... Тогда главное — найти врага, чужака, от которого все беды... Как ни странно, это очень объединяет середину, лишенную собственной точки зрения... Отец верно говорил: «От фашизма — чьим бы он ни был по национальной выраженности — есть только одна панацея: культура, причем не казенная, школьная, а широкая, демократическая».

Кашляев прочитал мои наброски к материалу о Горенкове залпом:

— Но это же только часть, — задумчиво сказал он, — какое-то ощущение айсберга, много недоговоренностей, линия уходит в вопросительные знаки.

— Собираю информацию, — ответил я. — Чурин, этот замминистра, от меня прячется, пришлось базлать с Кузинцовым...

— А это кто такой?

— Помощник.

Кашляев удивился:

— Не твой уровень. Чем тебе интересен помощник?

— Интересен... Доктор наук, кстати говоря...

— Как его зовут?

— Федор Фомич... А что?

— Да ничего, фамилия больно расхожая... Кстати, мне неясно, какое отношение ко всему этому делу имеет Каримов? Ты будь поаккуратней, все же пока еще он премьер-министр автономной республики, возможны национальные амбиции...

— По-твоему, критиковать надлежит только русских? Башкиры, евреи и литовцы — неприкасаемы? Какой же мы тогда интернационал?

— Я тоже так считал... Пока не нагрелся...

— На чем?

— Руководителем ансамбля «Ритм» был Юозас Якубайтис, начался визг, мол, шовинизм, и все такое прочее... Так что поаккуратнее с Каримовым, мой тебе совет... Есть Горенков, им и занимайся...

— Он — звено в цепи.

— Какой цепи? — Кашляев пожал плечами. — Не буди химеру всеобщей подозрительности.

— У меня факты. А как говорил наш великий кормчий, факты — упрямая вещь.

— Я не вижу фактов. Я вижу фрагменты.

— Правильно. Ты видишь кирпичи, готовые к кладке, но еще многого не хватает, и нет раствора... Я в поиске, забросил сети, на днях придут ответы — с именами, телефонами, ссылками на документы... Отобьешь мне еще пару дней свободы?

— Попробую. Но не обещаю: запарка в связи с конференцией, будет много работы... Мой тебе совет, — повторил он, — обозначь тему, повесим дело на прокуратуру, пусть они пишут развернутое объяснение, в конце концов, ты не частный детектив...

Кашляев все же отбил мне еще один день; утро я провел у старика Маркаряна — он передал мне целое досье: «подарок от старика молодому волку, дерись, Ванюша, пока молод!» Когда мне исполнилось тридцать, я сидел у иллюминатора АН-24, выбив командировку на БАМ; в небе сочинил стихи: «Мне тридцать, мне тридцать, мне скоро шестьсот, минул мой последний молоденький год...» А что, правда, после тридцати все мы едем с ярмарки, Пушкин себя ощущал стариком, а сколько уже написал?! Писарев? Погиб в двадцать три... Добролюбов? До тридцати не дожил... А Лермонтов? Будь проклято мое разгильдяйство, не умеем мы рабо-

тать, обломовы, маниловы, только б облегчить душу в застолье, сплошные соловьи... Вот они, издержки демократии: работай не работай, все равно зарплата капает, да и народ у нас добрый — сегодня я тебя накормлю, завтра ты меня, так всю жизнь можно просвистеть, никакого страха за завтрашний день.

После второй встречи с Маркаряном, бесед в Академии архитектуры (выяснилось, что именно Чурин подписывает заказы художникам на оформление новых объектов), разговоров по телефону с Каримовым (он мне дал свой домашний номер, «жена не так страшна, как секретарь, у тех врожденный инстинкт охранения шефа, звоните в любое время») я пришел к Кашляеву и, разложив блокнот (коплю на карманный диктофон, только покупать надо с мини-кассетами, а они дорогие, фарцовщики дерут по-черному, сорок рублей за штуку), рассказал ему всю версию будущего материала.

Слушал он меня внимательно, даже несколько затаенно, поинтересовался, в какой мере надежны статистические выкладки о той прибыли, что дал эксперимент Горенкова, спросил, не было ли в деле анонимок, на основании каких улик его посадили, и в общем-то концепцию мою одобрил.

— Только свободных дней я тебе больше не дам, — добавил он. — Вкалывай здесь, запарка, надо читать полосы.

Полосы так полосы; я работал в своем закутке после восьми, когда в редакции оставались только дежурный заместитель главного, отдел информации, секретариат и «свежая голова»; сладкое время для сочинительства, чашка кофе, тишина, ожидание затрашнего шквала новостей, раньше такого никогда не было, газету лениво просматривали, теперь начали читать по-настоящему, ощущение постоянной нарзанности, словно бы покрыт пупырышками, бегун перед стартом, одно слово — жизнь...

...Маркарян позвонил утром, когда я, прочитав нашу полосу, норовил вернуться к горенковскому делу; в это как раз время заскочил Кашляев — надо свести воедино наши с ним правки, — а старик Маркарян бубнил в трубку:

— Запиши фамилию: Русанов, Виктор Никитич... На него впрямую не выходи, но присмотрись через архитекторов и реставраторов...

— Как, как?! — перепросил я — в трубке что-то трещало. — Виктор Никитович, говоришь?

— Да. Только ты о нем особливо не распространяйся, ребята из «Времени» считают, что он завязан на строительную мафию — кому дать заказ на роспись здания, кого — по разным причинам — отвести.

...Кашляев дождался, пока я кончил говорить со стариком, — мою правку принял рассеянно, хотя было о чем спросить, но не стал, ушел к себе, а меня вскоре вызвали на пятый этаж. Вернувшись, я удивился: блокнота со всеми записями по делу Горенкова, Каримова, Кузинцова на столе не оказалось, хотя я вышел всего на дцадцать минут.

Я посмотрел в столе, портфеле, — блокнота не было.

Что за чертовщина, подумал я, куда он мог деться? Спустившись в секретариат, я поглядел там, поспрошал девушек, не оставлял ли ненароком блокнотика; потом отправился по коридорам; в отделе информации Коля Сидоров сказал, что ко мне заходил Кашляев: «Больше у тебя никого не было, дверь у меня постоянно отворена, я бы запомнил, зайди кто чужой».

Не знаю, что меня подтолкнуло, но я отправился к Лизе Нарышкиной. После того как мы расстались, наши отношения приобрели новое качество, в них появилась та прочность, какой раньше, странное дело, не было; она — по моей просьбе — позвонила Кашляеву, чтобы тот зашел с материалом: «Десять минут я тебе обещаю, — улыбнулась она мне, — он не вырвется, я его задержу».

...В кабинете Кашляева на столе лежал плоский «дипломат» с номерным кодом-защелкой. Я попробовал открыть ее — не поддалась, заперто. В редакции запирать «дипломат»? Да еще на код? Зачем? Я достал из кармана перочинный нож, чуть нажал на винт, прокатал цифры, услышал легкий щелчок, открыл крышку и увидел свой блокнот. Секунду я раздумывал, потом позвонил Лизавете и попросил задержать «пациента» еще на десять минут.

— Ладно, — ответила она, — сделаю.

Я сбегал к себе, взял камеру, заряженную пленкой «400» — хоть в темноте снимай, — перещелкал свой блокнот, проглядел его еще раз, чтобы навсегда вбилось в память, захлопнул крышку «дипломата» моего босса и поставил прежние цифры.

Вернувшись в свой закуток, я набрал телефон Гиви Квициния; он работал в седьмой юридической консультации, вел дела, связанные с защитой бандитов и щипачей.

— Старик, ты мне нужен, — сказал я. — Сейчас. Немедленно. В редакции.

— Что-нибудь случилось?

— Да.

— Но ты был трезвым?

— Старик, я продал мотоцикл, все страшнее, чем ты думаешь.

...Перед началом летучки Кашляев заглянул ко мне:

— Слушай, может, ты выправишь письма строителей — я в запарке, а на летучку нельзя не идти...

— У меня блокнот пропал, — сказал я, не глядя на него: в такие моменты человека можно и не наблюдать, ты его кожей чувствуешь...

Кашляев спокойно ответил:

— Возьми у меня.

— Что?!

— У меня их в столе полно...

— Ты не понял: пропал блокнот со всеми материалами по делу Горенкова.

— Да ладно тебе, — он махнул рукой. — Разбери ворох гранок, что валяется на столе, кому он нужен...

— Я перебрал все, — ответил я. — Все, понимаешь? А без этого блокнота мой материал горит синим огнем. Там имена, цифры, факты.

Кашляев присел на подоконник (отчего-то он очень любит это место, часто устраивается возле открытого окна, страшно смотреть — откинется назад, и все), потер виски тонкими пальцами с коротко обгрызанными ногтями, сосредоточенно о чем-то задумался, а потом сказал:

— Главное — сохраняй спокойствие. В крайнем случае, я выбью тебе повторную командировку в Загряжск...

— Крайний случай имеет место быть прямо сейчас, — ответил я. — Или материал будет, или на нем надо ставить точку. По моей вине. Из-за паршивого разгильдяйства. Оправдания себе я не вижу...

Кашляев сорвался с подоконника, бросил на ходу, чтобы я ждал его, «иду к главному»; вернулся через двадцать минут всклокоченный, бледный:

— Мы, отдел, скинемся! Ты сможешь полететь в Загряжск! Я первым дам тебе четвертак.

Он сказал это с неподдельной искренностью, глядя мне в глаза — само товарищество и честность, — и в этот именно миг мне стало так страшно, как никогда в жизни не было.

X.

«Главное управление уголовного розыска,
полковнику Костенко В. Н.
Рапорт

В 19 часов 52 минуты ювелир Завэр вышел от Глафиры Анатольевны Руминой, тещи журналиста Ивана Варравина, и отправился к кассиру универмага Тамаре Глебовне Аристарховой, где провел сорок три минуты.

После этого он, по-прежнему не входя ни с кем в контакт, сел на троллейбус и возвратился домой, в то время как Аристархова поехала к реставратору Русанову Виктору Никитовичу. Встреча продолжалась тридцать одну минуту, после чего Аристархова возвратилась домой, а Русанов, взяв такси, отправился к Кузинцову Ф. Ф., в квартире которого провел десять минут, не отпустив при этом водителя двенадцатого таксопарка Никулькова П. Н.

Старший лейтенант Ступаков Н. А.»

XI.

Гиви Квициния

С Варравиным он подружился при весьма трагических обстоятельствах: пришла анонимка, а время было такое, что этот фольклор высоко ценился и был весьма лакомым; анонимщик писал, что следователь районного управления внутренних дел Квициния помогает своим единокровцам в «кепи-аэродромах» налаживать подпольные связи с рыночными перекупщиками фруктов.

Еще до начала разбирательства (анонимочка была разослана в пять адресов — управление кадров милиции, горком партии, редакции, все как полагается) Гиви Квициния от работы в отделе отстранили. Он не мог взять в толк: «За что?! Ведь все знают, что я никогда никого не патронировал, торговцев бежал как огня, занимался бандитами, как не стыдно верить заведомой клевете?» Его не уволили из органов милиции, нет, просто не допускали до работы, жалованье платили исправно, здоровались сдержанно, когда входил в комнату, коллеги моментально прекращали деловые разговоры по телефону и закрывали папки с документами.

Так продолжалось неделю; появилась первая седина — в тридцать три года рановато, отец стал седеть в сорок пять; пришел к начальнику районного управления:

— Товарищ полковник, как долго может продолжаться проверка? Отчего меня ни разу не вызвали на собеседование? То был на Доске почета, а теперь — лишился доверия, разве так можно? Неужели вера в донос выше духа товарищества?

— Выбирайте выражения, — сухо ответил полковник. — Трудящиеся имеют право сигнализировать куда угодно, подписываясь или не подписываясь, — это их право. А наш долг во всем разобраться.

— Может быть, мне подать рапорт об увольнении?

— Вы что, запугивать меня вздумали?! Неволить не станем! Сигнал трудящегося дороже амбиций сотрудника!

...Когда Варравин — по указанию редколлегии — приехал в управление, никто толком ему ничего не рассказал, ответы были уклончивые, мол, разбираемся, не торопите события, да и потом, мы не обязаны отчитываться перед прессой, органы на то и существуют, чтобы находить правду и стоять на страже закона, разберемся — поставим в известность.

Квициния рухнул; купил коньяку, крепко выпил, написал рапорт об увольнении; на работу ходить перестал; его сосед по комнате Саша Ярмилов, молоденький лейтенант, негромко посоветовал Варравину:

— Поглядите дело Уфимцева, его вел Квициния в позапрошлом году, гад высшей марки, слог анонимки похож на его, пусть сличат почерки. Он, я помню, говорил Гиви, что, мол, «кепи-аэродромы» и в Москву пробрались, нация жуликов, у них деньги на кустарниках растут, поработали б, мол, как мы... А Гиви ему ответил, что грузинский марганец, чай, виноград, Черноморское побережье и автомобилестроение вносят вполне весомый вклад в бюжет Родины, нахлебником себя считать не может, отнюдь... «Кепи-аэродром» мне тогда врезался в память, вот в чем дело...

Пока дело Уфимцева удалось поднять из архивов — Варравин положил на это семь дней, хотя, если бы не требовалось девяти подписей, можно (нужно, черт возьми!) было бы ограничиться одним, — Квициния был задержан в нетрезвом виде и уволен за полным служебным несоответствием.

Сличение почерков автора анонимки и объяснений, которые Уфимцев писал на следствии, доказало их идентичность; тем не менее, поскольку был факт задержания в нетрезвом виде — кого интересует, что это случилось вследствие незаслуженного, унизительного оскорбления, — Квициния лишь изменили статью «По собственному желанию, в связи с переходом на работу в адвокатуру».

После весны восемьдесят пятого ему предложили вернуться в управление; он отказался: «В конце концов, адвокат — тот же следователь, ищет правду, защищает невиновного, подвергает сомнению доводы противной стороны».

Впрочем, заехав как-то к Варравину (они сдружились; Гиви всегда помнил, что начальник управления звонил в редакцию, жаловался «на чересчур заносчивого репортера, позволяет себе необдуманные замечания весьма двусмысленного свойства»), Квициния признался:

— Вано, я доволен работой в адвокатуре, клянусь. Особенно если удается отстоять мальчишку, который щипнул по дурости в троллейбусе десятку, — такого от тюрьмы надо спасать, оттуда вернется уркой, потерян для общества, да и не каждый бандит — бандит. Если вдуматься, мы еще мало отличаем — кто стоял рядом, а кто грабил... Но честно тебе скажу — без оперативной работы, без ощущения схватки, когда надо взять мерзавца с финкой или обрезом, — я тоскую.

— Знаешь, я смотрел один гениальный фильм, — задумчиво откликнулся Варравин, — про молодого американского адвоката... Он бился против прокурора и судьи за бедную старуху, ему угрожали, требовали, чтобы он отступился от нее, намекали, что защита бабки помешает его последующей карьере — сюжет американцы умеют крутить, ни одного пустого кадра, — а тот стоял на своем и доказывал присяжным невиновность старухи. Ее оправдали, адвокат обрушился — в полном изнеможении — в высокое кресло, бессильно опустил руки на выпирающие колени; камера стала отъезжать, и мы, наконец, поняли, что имя этому адвокату — Авраам Линкольн, великий президент Америки... Так что зри вперед, Гиви... Я, например, убежден, что мы накануне судебной реформы, — нет ничего надежнее решения присяжных, это демократично, гарантия от предвзятости судьи и двух заседателей. «Двенадцать рассерженных мужчин». Помнишь этот фильм?

— Помню, — ответил Квициния. — Я же не жалуюсь. Просто я тебе открыл сердце.

Варравин закурил неизменную «Яву» и тихо прочитал:

Жасмин еще не отцветет,
Когда приедем мы на дачу,
И грозы первые весны
Еще дождями не отплачут.
Мы что-нибудь пока да значим,
Запас надежды не иссяк,
и смех беззлобный не растрачен,
И разговором до утра
Мы нашу дружбу обозначим...*

— Кто это? — спросил Квициния.

— Лиза Нарышкина, — ответил Варравин.

Помолчав, Квициния спросил:

— Ты к Ольге звонишь?

— Нет.

— Ты же любишь ее.

— Поэтому и не звоню.

...Квициния был единственным, кто знал о трагедии Ивана; ему пришлось это узнать поневоле, потому что, кроме него, никто не мог установить истину, — помог навык детектива.

...Варравин влюбился в Ольгу, как только познакомился с нею; девушка поразительной красоты, резкая в суждениях, мыслившая изнутри, по-своему, она вошла в его жизнь сразу и, как он считал, навсегда. Они поженились через три месяца; первые полгода были самыми счастливыми. Иногда, правда, Оля мрачнела, взгляд ее черных, широко поставленных глаз делался тяжелым. «Что с тобою, солнце?» — «Ничего, просто устала». Однажды он застал ее в слезах: она сидела возле его письменного стола; нижний ящик, в котором хранилась корреспонденция, был открыт, в руках у нее была связка писем от Лизаветы. «Настоящие мужчины, — сказала Оля, — перед свадьбой уничтожают письма и фотографии любовниц». — «Лизавета мой друг, я не скрывал этого и расстался с нею задолго перед тем, как увидел тебя. А вот рыться в чужих письмах — дурной тон». — «Я считала, что, когда мужчина и женщина живут вместе, нет ничего чужого, все общее».

Ольга поднялась, набросила на плечи плащ и ушла; Иван выбежал на лестницу, крикнул в пролет: «Не глупи, не надо так!» Она ничего не ответила: хлопнула дверь

* Здесь и далее стихи О. Семеновой.

парадного, настала гулкая пустота, тяжкая безнадежность, ощущение беспомощности.

Она позвонила поздно вечером:

— Я устала, разламывается голова, останусь ночевать у мамы.

Не пришла Оля и на следующий день: «Температура, лучше я полежу здесь». — «Я приеду». — Не надо, наверное, грипп, заразишься».

Он позвонил в двенадцать.

— Оленька спит, не хочу ее будить, — ответила Глафира Анатольевна.

И черт его дернул поехать к ней! Он никогда не мог простить себе этого — мальчишка, выдержки ни на грош. Ольги у матери не было. Вот тогда-то он впервые узнал, что такое боль в сердце, — прокололо сверху внизу и садануло в плечо.

— Ваня, ты не вправе подозревать Олечку, — сказала Глафира Анатольевна. — Она пережила шок, когда нашла у тебя письма девки.

— Это не девка, — ответил Варравин, — а мой друг по работе. Оля все знала о ней, я никогда ничего не скрываю от тех, кому верю. То есть люблю.

— Только не подумай чего плохого, — сказала Глафира Анатольевна. — Ольга сейчас у гадалки, ей взбрело в голову, что ты не любишь ее и неверен ей. Это бывает у женщин, особенно в ее положении...

— Каком положении?

— Она ждет ребенка, Ваня.

— Где эта чертова гадалка?! — Варравин поднялся. — Назовите адрес!

— Если хочешь ее потерять — можешь поехать туда. Лучше я позвоню... Хочешь?

Она набрала номер и каким-то другим, не обычным своим властным голосом, а просяще, заискивая, сказала:

— Томочка, приехал Ваня... Он волнуется, может невесть что подумать, дайте трубку Оле.

— Ты хочешь проверить, где я? — спросила Ольга глухо, словно сомнамбула. — У меня нет дружков, у меня никого до тебя не было, а если ты думаешь, что здесь есть кто-нибудь, кроме женщины, которой я очень обязана, тогда уезжай домой и забудь меня.

И — положила трубку.

...Гиви Квициния выяснил, кто была эта самая «Томочка» — кассирша из магазина, ворожит, гадает, видимо, владеет навыками гипноза, климакс, муж бросил,

на руках остался приемыш, взяла в детдоме, у девочки развился рахит, весной страдала астмой, надо было возить в Крым, Тома подрабатывала, женщины к ней шли вереницей; кликушество, понял тогда Иван, особенно сильно развивается в тех, кто лишен в жизни надежды, интереса и веры; колода карт делается главным советчиком; пусть в сердце одно, но если все карты выпали наперекор тому, что думаешь, — поступи так, как легли пиковые короли и бубновые десятки.

...Примирение было трудным; что-то сломалось в их отношениях, тем не менее Иван вернул Ольгу, выполнял все ее прихоти, угадывал любое желание, думал, что с рождением ребенка все наладится.

Однажды он сделал два ролика портретов Ольги, получилось замечательно; изумительное лицо жены — ставшее особенно прекрасным во время беременности — казалось хорошей графикой. Одно фото он увеличил, забрал к себе в редакцию: «Повешу над столом, пусть все завидуют, какая ты у меня красивая». Назавтра вечером застал Ольгу затаенной, чужой: «Да что же с тобой?!» Оля молчала, смотрела на него тяжело, отсутствующе.

Глафира Анатольевна позвонила ночью:

— Ваня, послушайте меня... Я сегодня была у вас в редакции — Олиного портрета на стене нет. И в столе тоже... Да, я открывала ваш стол, простите... Вы отдали его Лизе? Неужели вам не страшно за будущее вашего ребенка? Вы же не знаете, на что способны соперницы, — сглаз беременной женщины может привести к трагедии...

— Сейчас я за вами заеду, — сказал Варравин. — Я буду у вас через двадцать минут, я такси возьму, и мы поедем в редакцию вместе!

— Не надо туда ездить. Портрета нет.

— Есть! — Иван сорвался на крик. — Вы с ума, что ль, обе сошли?!

— Нет, — услышал он за спиною тихий голос Ольги. — Ты сделал страшный грех, Иван.

Он швырнул трубку:

— Одевайся! Одевайся, я говорю! И едем со мной! Сейчас же, немедля!

Он привез ее в редакцию; у подъезда уже стояла Глафира Анатольевна; он уговорил вахтера пропустить их — ночью требовался пропуск на каждого входившего в здание, днем еще можно просквозить, не так бдительны; поднялся к себе в закуток, открыл дверцы шкафа,

сбросил на пол три тома Даля, схватил четвертый, раскрыл его — портрет Ольги был под прессом — ровнял его перед тем, как отдать в окантовку.

— Держите, — сказал он. — Пока Лиза не понесла ворожить!

Он спустился вместе с женщинами, открыл дверь такси, протянул шоферу трояк:

— Отвези дам, приятель.

И, повернувшись, чуть не бегом бросился в редакцию, только б не видеть лицо той, кого он так беззаветно и гордостно любил: если верят кому угодно, любой сумасшедшей кликуше, но только не тому, кто любит тебя и тебе верен, нет и не может быть отношений: фальшь, моральное нездоровье, психопатия.

Вот тогда-то он снова позвонил Гиви Квициния и рассказал ему все без утайки; тот не появлялся неделю, потом пришел с коньяком и плавлеными сырками:

— Иван, с Олей что-то случилось, она всецело верит сумасшедшей бабе, а та, мне сдается, мстит тем, кто счастлив, красив и умен. Что бы ты ни говорил, как бы ни молил — ничего не поможет. Разве что дай взятку этой самой Томке. Или — если сможешь — застращай ее.

...Вот он-то, Гиви, и приехал в редакцию к Варравину; выслушав, пообещал подумать.

Ночью позвонил Ивану:

— Слушай, а кто такой Русанов?

Со сна Иван не сразу понял:

— Какой Русанов? Я не знаю такого.

— Твой шеф Кашляев был у него до полуночи, а после они отправились... Куда бы ты думал? К Томочке, гадалке, ничего колечко, а?

XII.

«Главное управление уголовного розыска,
полковнику Костенко В. Н.
Рапорт

Во время наблюдения за квартирой В. Н. Русанова, которую посещает Завэр, нами был замечен человек, который, судя по всему, также вел наблюдение за объектом, заинтересовавшим нас в связи с его участившимися контактами с ювелиром.

«Наблюдатель» появился через полчаса после того,

как Завэр покинул Русанова, и спустя семь минут после того, как к Русанову приехал неизвестный молодой мужчина, отправившийся вместе с ним на улицу Чайковского, дом 16, строение 3, к лицу, которого не удалось установить, поскольку наблюдатель зашел в подъезд перед нами.

Выяснилось, что неизвестным наблюдателем является член коллегии адвокатов Г. А. Квициния, в прошлом сотрудник уголовного розыска, уволенный по собственному желанию; в его личном деле есть данные, что он был связан с перекупщиками овощей и фруктов на Центральном рынке.

Старший лейтенант Никифорский».

«Приказ № 24—06 по управлению уголовного розыска. Объявить выговор старшему лейтенанту Никифорскому А. Н. за клевету на бывшего сотрудника угро Квициния Г. А., который, как это явствует из материалов проверки, никогда не был связан с перекупщиками.

Полковник Костенко».

XII.

Я, Русанов Виктор Никитович

Доцент прав: как и все те, кто воспитывался в горькой сиротской безотцовщине, я до сих пор в общении с женщинами страдаю от парализующей стыдливости. Когда я прочитал стихи Евтушенко, где он писал, как кровать была расстелена, а после, в другом стишке, как женщина жалуется, что мужчина любит ее молча, мне сделалось так пакостно, словно кто подсмотрел за тобою в замочную скважину. Эти строки показались мне до того безнравственными, что я решил было написать в журнал, но потом понял, что письмо никто не напечатает; с ними надо бороться иначе — сплоченной массой единомышленников.

Мое естество протестует против того, когда в кино показывают, как раздевается женщина; то, что должно быть потаенным, интимным, нельзя выносить на всеобщее обозрение! Помню, как я мучительно краснел, когда к нам на урок рисунка впервые пришла натурщица. Больше всего я тогда боялся, что она будет совершенно

голой: все восставало во мне против этого, все мое безмолвно кричащее существо...

Наверное, поэтому первый брак и кончился так скоро; виноват, конечно, я; не уследил, когда Лидия начала читать этого самого Ремарка, — намеки, бесстыдные разговорчики, бесконечная пьянка, ненадежная зыбкость отношений; потом пристрастилась к дергающейся, чуждой нашему строю чувствований поэзии тех, кто в конце пятидесятых ворвался в «Юность», поэтому, наверное, и ночью постепенно стала непозволительно ищущей, не по-женски смелой. Как-то она сказала: «Между двумя все возможно и все чисто». А я сразу вспомнил те порнографические фильмы, которые мы смотрели на даче у Кузинцова, и с ужасом подумал: «Неужели и она способна на такое?»

После нее я жил схимником почти полгода, а потом пригласил в мастерскую молоденькую девушку с Казанского вокзала: приехала из Омска, надо было взять билет в Симферополь, стояла в очереди всю ночь без сна, в гостиницу не попасть, ну, я ее и отвез к себе.

Она изумилась тому, что я художник; решила, что все картины, собранные здесь, — мои; угостил ее ужином, дал выпить, а потом предложил позировать: «Разве двадцать пять рублей за сеанс помешает?» Ну и напозировался! Потом пять дней искал, к кому обратиться; в венерологический диспансер идти нельзя, останется клеймо, надо найти своего врача, а где такого сыщешь?! Связи нужны, всюду нужны связи, без них — ни шагу!

С тех пор меня словно бы отрубило от женщин, но постепенно цепенящая стыдливость исчезла, — я до сих пор сладостно помню, как было с той девицей, но страх остался, непереступаемый страх.

...Когда я встретил на улице Ольгу, мне показалось, что мир остановился — так она была красива любимой мною законченной, строгой красотой.

...Я часто размышлял, отчего я так активно не приемлю Сарьяна, импрессионистов, всех этих «бубно-валетов». И пришел к выводу: в их работах нет завершенности. Они не дают целостной концепции, которая никому не позволит додумывать свое, нечто такое, что может изменить существующую данность, то есть натуру. Искусство — это определенность, абсолютное воплощение замысла. Только тогда это твое становится обязательным общим. Когда живописец, вроде Ренуара, тщится дать солнце через блики в траве, я задаю вопрос: «А умел ли

он написать реальное светило?!» Ухищрения никогда не выявят правды, только суррогат.

...Ольга шла по Никитскому бульвару; была ранняя осень; листва казалась золотой, трепещущей; ощущение всеобщей гармонической красоты еще более подчеркивалось ее лицом, словно бы вбиравшим в себя и детский гомон, и воркованье голубей на песчаных дорожках, и тихий говорок старушек, сидевших на скамейках.

Я шел, ощущая странную, словно бы магнитную силу, которая исходила от нее. Мне казалось, что это не я иду, а нечто таинственное, спрятанное в самой моей сокровенной сути, следует за девушкой, подчиняясь ее властному зову.

Я вошел в подъезд следом за нею, успел заскочить в лифт, почувствовал, что краснею (в мои-то годы!), нажал кнопку «семь», на два этажа выше ее, пятого; выскочив из лифта, замер у пролета: она отпирала дверь семнадцатой квартиры... Больше всего я боялся, что она пришла в гости к подруге; о мужчине и думать не мог, ибо во мне родилось покорное ощущение принадлежности этой красоте; позови такая — пойду на край света, все к ее ногам брошу; Андрий Бульба бросил родину, и только черствый человек, лишенный искры творчества, не поймет его порыва...

Я пробыл на площадке седьмого этажа до ночи. Когда останавливался лифт и приезжали жильцы, приходилось, словно какому дурачку-детективу, делать вид, что ищу нужную квартиру. Дождался, пока в дверь моей красавицы постучала седая, со следами былого шарма, женщина; моя открыла ей; я услыхал ее голос: «Здравствуй, мамочка». Я успел заметить, что моя была в открытом, коротеньком халатике; сердце забухало, лицо побагровело; я на цыпочках спустился вниз, остановившись возле ее двери, и замер, стараясь услышать, о чем там говорят, но дверь была оббита толстой ватиновой клеенкой с отвратительным запахом презерватива.

...Доцент встретил меня в шлафроке и с чубуком, хотя никогда в жизни не курил, только посасывал для вида.

Спросил, голоден ли я; «не отказывайся, не девица, чай», отвел на кухню, там тетушка накрыла стол — соленья у них поразительные, а такого кваса с хреном, каким здесь угощают, нет нигде в России...

— Погоди, — сказал я, — сейчас и кусок в горло не полезет... Мне надобно с тобою поговорить.

— Сейчас, Витенька, один момент, милок, — пропела тетушка. — Подогрею калачи, масло с ветчинкой поставлю и удалюсь, секретничайте себе на здоровье.

...Доцент выслушал меня и тихонько засмеялся. Он смеялся странно: его сухое лицо с запавшими щеками и длинным хрящеватым носом было недвижно, глаза, как всегда, укоризненны, только тело мягко колыхалось, и порою он казался мне кипящим чайником — вот-вот вода шипуче польется на конфорку.

— Что, любви все возрасты покорны? — доколыхал он свой вопрос и сочувственно вздохнул. — Неужели проняло?

— Иначе б не пришел.

— Ах, Витя, Витя, святой человек, сколько раз я тебе говорил: заведи какую кралю, денег хватит, чтобы содержать, навещай ее, услаждайся, тогда только будешь гарантирован от увлеченности, подобно этой... Такая увлеченность убивает дух, Витя... Она размягчает, забирает те силы, что надобны святому делу.

— Любовь только укрепляет силу для нашего дела, — ответил я. — Мир спасет не только красота, но и любовь...

— Ты его не замай, — отрезал доцент. — Не поминай всуе, не надо, особенно если примеряешь такие слова на себя... Объясни, чего от меня хочешь? Сватом, что ль, отправляешь?

— Ах, как жестоко ты говоришь! Столько отстраненности в твоем голосе, холода, даже какого-то безразличия...

Лицо доцента помягчало:

— Сколько ей лет?

— Молодая... Я не знаю... Очень молодая...

— Это как — «очень молодая»? Пятнадцать?

— Ты же знаешь мои моральные устои... Как можно?! Года двадцать два... Она само совершенство, понимаешь? В сердце каждого мужчины до старости живет образ той, в кого он всегда влюблен! И умираем мы с этим образом прекрасной дамы в сердце, так и не встретив ее... А я — встретил!

— Ну, хорошо, Витя, хорошо, я понимаю... Ты же знаешь, я готов помочь чем могу, всегда и во всем... Что я должен сделать?

— Не знаю... Я пришел тебе душу излить.

Доцент неожиданно рассердился:

— «Душу излить», «душу излить»! Мы души друг дружке изливаем, жалимся на жизнь, а сволочи — действуют! Чего ж тогда других винить?! Значит, сами в своих бедах и виноваты! А ну соберись! Как гимназист, право... Сделай ее фотографии, много фотографий, на улице снимай, народ теперь объектива не шарахается, все смелые, увеличь и поедем к Томке — можешь потешаться сколько хочешь, а я проверял ее в деле!

Через два дня я пришел к доценту с фотографиями; посмотрев, он ахнул:

— Увели красавицу под венок?! Умыкнули царевну-лебедя?! Бедненький ты мой!

Да, фотографировал я мою Ольгу в ЗАГСе, где она сочеталась браком со здоровенным вахлаком по фамилии Варравин.

Доцент снова посмотрел фотографии и, ткнув своим костистым пальцем в профиль женщины, стоявшей рядом с моей, спросил:

— А это кто?

— Ее мать.

Доцент снова заколыхался в смехе; я посмотрел на него с укоризной. Он положил руку мне на плечо:

— Я знаю матушку твоей...

— Откуда?! — изумился я.

— Нужный контакт, — ответил доцент неопределенно.

— Давно их знаешь?

— Давно.

— А мою?

Доцент отрицательно покачал головой:

— К нужным домой не ходят, Витя, не мне тебе это объяснять... Да, интересно...

— Что интересно-то?! Что?! От такого громилы женщина добром не уходит! Ему тридцать, а мне?! Что здесь интересного?

— Интересно то, Витя, что на этом деле я могу матушку т в о е й привязать к нам крепко-накрепко. Извини, конечно, что я о деле, но ведь не будь нашего дела, у тебя б времени на влюбленность не осталось, пришлось бы думать о хлебе насущном, который не очень-то сопрягается с возвышенными чувствами. Едем, — он поднялся. — Не кисни, едем.

И мы поехали к Тамаре...

...Сначала я не мог понять, отчего доцент держится за нее мертвой хваткой. Будучи человеком поразительной деловой сметки, он прекрасно знал, что любой человек — не то что принятый в наше дружеское сообщество, но даже близко к нему допущенный, — может оказаться чрезвычайно опасным.

Человек по природе своей чрезмерно подвижен и, в силу своей доброты, несмотря на внешнюю недоверчивую замкнутость, тем не менее слишком легко сходится с разного рода людьми, — особенно если возьмет рюмку. Каждый, кто не прошел проверку, — тьма-тьмою, потемки, внимание и еще раз внимание. Раньше община гарантировала абсолютное знание всех, кто был собран ею и обихожен, но с тех пор, как Столыпин подписал себе смертный приговор, разрешив мужику выход из традиционного братства в самостоятельность, — все пошло наперекосяк, веры нет никому... Вон нынче все поминают Никиту Сергеевича, мол, какие-никакие, а стал хрущобы строить с отдельными квартирами... А что в этом хорошего?! Отдельность разобщает людей, начинают таиться, а в коммуналке не потаишься — все на виду! И как хорошо жили! Как помогали друг другу! Ах, боже ты мой, очередь возле нужника! Ну и подождешь! Торопливость, кроме горя, ничего не дает...

Не все те, кто разделяет наши убеждения, входят в круг друзей так легко, как кажется... Тренер Антипкин имеет свои связи, знает, как наладить проверку, не обижая при этом человека: поглядят мальчики из его спортклуба, послушают разговоры в кругу знакомых тех, кому мы верим, вот и вырисовывается картина, словно негатив в плоской баночке при красном свете; не подходит — мы и разговора не начнем, зачем попусту сердце травмировать? Мы исповедуем доброту, и так слишком много народ терпел, хватит...

Доцент как-то заметил: «Вы только вдумайтесь в то, что несет с собою такая, казалось бы, безобидная категория, как «семейный подряд»? Нам буренушек в телевизоре показывают, счастливые семьи, детишки граблями балуются возле двухэтажных коттеджей, — рай, да и только! О главном-то не говорят! А суть этого главного в том, что нацию уводят от того, чем ей сейчас пристало заниматься, — возвращением к своему историческому изначалию. Ее калачом манят, отдирают от наших седин, учат не нашей, а чуждой вольности, когда любой червь, набив карман, мнит себя личностью. А поди управься

потом с такой личностью! Поди брось ей клич! Пошлет тебя эта личность куда подальше, и весь разговор! Наш народ надобно держать в строгости и безусловном равенстве: все живут одинаково, все как один, кроме элитарного слоя, несущего ответственность за историче ское развитие. Пусть французы или там какие англичане живут как хотят... Мы будем жить так, как жили наши предки... И с этого нас не свернуть... Сейчас к нам прислушиваются, но как только все эти «кооператоры» и «семейники» наберут силу, начнут разъезжать на «Жигулях» и смотреть цветные телевизоры, как только дире - тора станут сами распределять заработки в заводе и подписывать договоры без санкций сверху, — все, конец! Чурины тогда не нужны, они станут безвластными, а через кого ж мы станем финансировать наше Общество? Обрез, что ль, в руки брать?!»

Я возражал ему, говорил, что народ сам задушит «кооператоров», мы не любим тех, кто «якает» и выскакивает вперед, наша сила — в артели, руководимой Патриархом, иного пути не примем.

— Э, — доцент только махнул рукой, — Витя, добрая душа! Все то, что противно традиции, надо было пресекать в зародыше! Не случайно лучшие семьи дворянской Руси голосовали против столыпинского закона о выходе из общины. Люди большой культуры, они понимали, что нельзя давать силу черни, позволять простолюдинам жить без приказа, они к демократии еще не готовы просвещать их и просвещать!

Антипкин, присутствовавший при разговоре, — уж кому верить, как не ему, — стукнул ладонью по столу:

— Тех, кто поднимает руку на святые принципы пора гнать на лесоповал!

...Помню, именно после этого разговора мы с доцентом и отправились к Тамаре.

В такси он сказал:

— Поверь, Витя, нам в руки пришла новая Елена Блаватская. Сейчас об этой женщине говорить не принято, — провидица, маг, — она могла делать все. . Почитай газеты прошлого века — ахнешь... Поищи у дядюшки, право, стоит... В журналах печатали «Страницы старого дневника» полковника Олкотта, он эту женщину-мага наблюдал вблизи. Феномен! А знаешь, сколько раз Тамара говорила мне правду о том, что будет?! Всегда сбывалось, всегда! Я убежден, что духовная воля обладает творческой силой... Смысл магии — а гадание пер-

вый шаг на пути к ней — в умении направить свою волю к достижению того, что кажется божественным предначертанием... Я не о черной магии говорю, это все же греховно, я имею в виду светлую...

Я посмеялся тогда над доцентом; он не обиделся, очень спокойно заметил:

— Витя, а ты вспомни историю человечества... Ведь сначала появились маги и лишь потом — ученые. И тех и других чернь считала — да и поныне считает — придурками... Но науке повезло: она опередила магию в практических результатах, и на ее базе возникли ремесла... Вот тогда наукой и стало выгодно заниматься... Раньше-то ученого интересовало только одно: отчего происходит то-то или то-то... А сейчас? Нет, он с техникой сросся, отошел от теории, от мысли отошел, его теперь интересует, как бы поскорее сделать то, что от него требуют... Наука стала ремеслом, а тот вакуум, который остался после нее, снова заполнят маги, новые маги, поверь...

...Тамара тогда бросила карты и начала говорить — сначала спокойно, а потом распаляясь все больше и больше, словно бы спорила с кем; иногда замирала, вывалив на нас глаза; говорила размыто, но, если настроиться, можно было обернуть ее слова как раз на то, что мы обсуждали с доцентом. Сначала я был довольно скептичен, но, постепенно, чем больше она говорила, тем отчетливее я начал ощущать блаженное растворение в ее воле. Я подстроил себя под нее, я это умею, иначе нельзя иметь дел с людьми, и начал постепенно угадывать в ее путаных фразах то, что относилось именно ко мне...

И я до конца уверовал, что она вещунья, когда исчезли все звуки улицы: ни автобус не пыхал своими пневматическими дверями, ни машины не тормозили, даже детские крики шли мимо сознания, как бы отдельно от этой темной комнаты, увешанной тяжелыми картинами в старинных рамах.

...Тамара мазанула тяжелым взглядом лицо Ольги, положила свою руку, словно бы сделанную из теста, на фотографию, замерла, а потом тихонько рассмеялась:

— Здесь без серой магии не обойтись... А в этом деле необходима помощь...

— Какая? — спросил я.

— Надо узнать, когда красуленька родилась, час

рождения, день, месяц, место... Какой предпочитает цвет? Самую любимую ее песню надо знать, потому что в музыке человек не лжет, происходит совпадение колебаний воздуха с волнами твоего существа, растворение в гармонии...

Доцент, затаенно слушая Тамару, молча кивнул.

— Какую детскую игрушку помнит, — продолжала между тем Тамара, — ту, что в кроватку рядом с собой укладывала на ночь, как ее называла ласкательно...

И тут вдруг я понял, как она работает! А еще больше подивился тому, что доцент ищуще ей внимает! Дай мне такую информацию, я любого сломаю! Люди впечатлительны, назови какому встречному на улице имя его любимой собачонки, что с детства в сердце хранит, скажи, что завтра любимая его песня «Рябинушка» в час ночи прислышится, так человек этот либо свернет с ума от страха, либо за мной на край света пойдет...

...Позвонив от Тамары на работу Глафире Анатольевне, матушке моей Ольги, уговорившись о встрече, доцент тогда заметил:

— Все же загадочен этот мир, Витя... Смотри: дед Завэр начал полегоньку от Кузинцова отходить, норовит иметь дела непосредственно с Чуриным, то есть — нас побоку... А ведь он без Глафиры — ноль без палочки, та дает ему наводки на ювелирный товар, больше некому... Теперь — не отвалит дед, наша Томочка подскажет Глафире, что, мол, треф толкает ее к греху, от друзей уводит... И — все! Не уведет! Я гадал, гадал, как вернуть все в прежнее русло, а тут происходит твоя негаданная встреча с красавицей, а красавица эта дочка нужной нашему делу дамы, а дама за дочь будет нам каштаны из огня таскать, — как же все хитросплетено в мире, а? И все — в нашу пользу! Тебе — Ольга, нам — Глафира с ее цацками, вот ведь судьба, Витюш, вот знамение!

...Я никогда не был так счастлив, как в тот день, вечером, сидя у себя в Чертанове: позвонил доцент и проворковал: «Ну, поздравляю, Витюш! Твоя от вахлака ушла! Подруга попусту не обещает, сейчас матушка у вещуньи, она ей про тебя вольет! Жди и надейся, Витюша, нежная моя душа, стыдобушка ты моя горемычная».

Я жду. Теперь я убежден, что будет так, как хочу я. Нет, я не эгоист, я не рушу ее счастье — какое у нее

может быть счастье с человеком, который и дома-то в маленькой своей конуре не бывает?! Счастье дам ей я — неземное, возвышенное, чистое. Красота должна быть окружена красотой, иначе разнесет ее по ветру, поломает, как березоньку на ветру, а это непростительно — нельзя калечить совершенство, оно принадлежит всем, словно пейзаж, написанный рукою высшего мастера...

XIV.

Я, Лизавета Нарышкина, она же Янина

— А кто же тебе меня назвал, Янушка, сиротинушка, краса моя ненаглядная? Кто дал адрес? — Тамара говорила ласково, мягко округляя слова, но при этом глаза ее были чуть тревожны, хотя она, видимо, старалась делать все, чтобы они излучали ласку. — Ко мне ведь с улицы не ходят, а коли и заглядывают, так лишь из отделения милиции... Колдунью ищут... А какая я колдунья? Просто стараюсь помочь несчастным женщинам чем могу — наваром ли трав, тихим ли словом...

— Мне ваш адрес дала Галя Чепурнова, вы ее от дурных снов пользовали.

— Галя Чепурнова? Это такая беленькая, что ль? С родинкой на левом веке?

— Нет, наоборот, черненькая. На цыганочку похожа. Она в ансамбле танцует, ее муж бросил, вот и случилась у нее беда со сном... Да вы позвоните ей, девятьсот восемьдесят семь-ноль три-девяносто девять.

Тамара стремительно набрала номер, хотя я видела, как она старалась быть неторопливой, вроде бы совершенно незаинтересованной в этой женщине.

Галя действительно захаживала сюда, поверив в Томины чары; я ей советовала: «К Владимиру Ивановичу Сафонову обратись, про него в газетах ученые с респектом пишут, экстрасенс, причем не берется за то, что ему неподвластно; а вот страшные сны, ишиас, мигрени снимает прекрасно и фантастически диагностирует ладонями». — «Так я и пойду к мужику со своими бабьими бедами!» — «Помнишь Лиду из нашего класса? Она пошла. И ничего, не провалилась сквозь землю. Лучшие СОСы, между прочим, мужики, надо отдать им должное, в них есть та кряжистость, которой так недостает нам.

И потом мы более интригабельны, перепады настроений, вздор всякий в голову лезет...»

Я забыла про этот разговор, потому что над карточными гаданиями потешаюсь, хотя обожаю раскладывать пасьянс наудачу, но ведь пасьянс — это женские шахматы, и потом интересно разглядывать лица дам, во мне это с детства, с тех пор, как я жила у бабушки и мучила ее по вечерам игрою в «пьяницу» и «акулину», до сих пор люблю эти игры, тайком играю с Наташкой; журналистка и хирург дуются в «пьяницу», смех.

Я совершенно забыла про встречу с Галей на улице Горького (она выходила из кафе-мороженого с каким-то фирменным седоголовым старцем), забыла про то, как она шепнула: «Ты смеялась, а Томка мне нагадала иностранца, вот и сбылось, поди к ней, она тебе вернет Ивана!» Мура какая! Возвращать мужчину безнравственно; если любовь ушла, ее ничто не вернет, ворожи — не ворожи! Принцип совпадаемости магнитного поля сильней заговоров, а физическая совместимость вообще не понята учеными, во всяком случае, биологи не договорились ни с невропатологами, ни с теми, кто изучает этику человеческих взаимоотношений.

И вдруг этой ночью, хотя какое там ночью, утром, в пять, позвонил Иван; я отчего-то ужасно испугалась; я очень боюсь таких звонков, к беде. В жизни каждого человека начинается пора утрат; у Игоря, ветерана нашего фотоотдела, сначала умер дядя, потом мама, вскоре брат; пришла беда — отворяй ворота... Отец плакал, как маленький, когда смотрел картину Алексея Габриловича «Футбол нашего детства»; отец не воевал; когда кончилась Отечественная, ему было шестнадцать, но память о том времени — единственное, пожалуй, что может вызвать у него слезы, а сам онколог, человек, лишенный сантиментов, прагматик, такой уж он у меня, лучше не бывает. То же случилось и у него: сначала от рака легких умер друг, вместе учились в школе, не пил, не курил, а вот поди ж ты; через месяц как косой выкосило еще семерых — инфаркт, инсульт, инфаркт, инсульт. Отец позвонил мне: «Хочу поспать у тебя несколько ночей, разрешишь? Нервы как веревки, жду очередного звонка». Это были прекрасные семь дней, я и его научила играть в «пьяницу», а пасьянсом он просто заболел: «Необходимо во время ночных дежурств... Помнишь, поэт Яшин написал: «Те, кто болели, знают тяжесть ночных минут, утром не умирают, утром опять живут...» А со смертью

каждого больного, пусть даже не ты его вел, умираешь и ты, какая-то твоя часть, затаенная частичка веры в справедливость... Умирают-то прежде всего самые талантливые, дураки живучи, как сколопендры...»

Я подняла трубку, предварительно откашлявшись: почему-то мне показалось, что говорить сонным голосом нетактично; отец всегда шутил: «У тебя мой дурацкий характер, Лисафет, ты все берешь на себя, в наше время трудно жить таким совестливым, затопчут, оглядывайся, длинноносая, пример предков поучающ».

Голос у Ивана был жухлый, чужой, словно он заболел тяжелой ангиной.

— Что случилось, старик?

— Это продолжение моей просьбы задержать Кашляева... Тут такие раскручиваются дела — ни словом сказать, ни пером описать... Можно, я к тебе приеду? И не один — с Гиви...

...И вот я называю Томочке телефон Галки; я застала ее на репетиции; слава богу, не на гастролях, седой фирмач ее бросил, исхудала, скулы торчат, как у голодного татарчонка, глаза пустые, совершенно потухли, хотя если не знать ее, такого не скажешь — два горящих уголька, но я-то помню ее другой, у человека глаза меняются постоянно, в них надо вглядываться, только тогда поймешь человека, вглядываться не спеша, исподволь, не пугая пристальностью, мы все так устали от выискивающей пристальности...

На прощание, кстати, Галка сказала: «Она велела принести ей щетину Ганса: «Все мужчины оставляют на лезвии, сними незаметно и принеси, он будет твоим навсегда»... А Ганс — немец, они ж аккуратные, он свою бритвочку мылом моет... Мыл.. Потом попросила завезти самый любимый его подарок... Отнесла замшевую куртку... А он все равно уехал... Вот так-то... Сука она, эта Томка... Вообще, мир полон сук и кобелей, мечтаю вернуться в семнадцатый век, хоть инквизиция, но все же рыцари были, да и людей не так много, есть где спрятаться... Пусть Томка звонит, я скажу, что ты от меня...»

— Галченыш, — Тома чуть не пела, голос воркующий, — ты что ж носу не кажешь? Как у тебя дела? Ну! Вот видишь... А тут ко мне Яночка пришла... Да? Подружка? Все сделаем! Ты ж знаешь, у меня слово верное... Это, кстати, твой новый телефон, что ль? Ах, так...

Ну, приходи, чайку попьем, а за Яночку не тревожься, все будет хорошо.

Она гадала мне достаточно долго, кое-что, кстати, сказала верно, прямое попадание: «Постоянно думаешь о бубновом короле», а Иван светлый, и я о нем думаю постоянно, но ведь, наверное, каждая женщина постоянно думает о том, кого любит...

— У твоего бубнового кто-то есть, Яночка, держи ухо востро, крестовая дама постоянно ложится рядом с ним, и девятка пик не отходит, я не жалую такую карту... Хотя, если надо, мы отвадим ее, это я быстро делаю, но — не люблю, да и сил тратишь столько, что потом хоть в санаторию уезжай...

— Я отблагодарю, — сказала я. — Я на все готова...

— Думаешь, я из-за денег? — Тома вздохнула. — У меня призвание есть: делать людям добро. Во власти изверилась, в церкви священники служат, как в главке каком, кто остался утешителем? Мы, меченые.

— Это как?

— А так. У кого от бога метина... А теперь смотри мне в глаза, Яночка. Расслабься и смотри мне в глаза. В зрачке я по дужке болезнь вижу и хворь выгоняю...

— Я не переношу гипноза, — сказала я. — У меня рвота начинается.

— А кто тебе сказал, что я гипнотизирую?

— У меня отец онколог, я про это знаю.

— Где он лечит?

Она неотрывно смотрела в мои зрачки, и мне захотелось сказать ей, что папа лечит в онкологическом центре, но он никакое не светило, а самый рядовой врач, его всегда все отодвигали, хотя для меня нет более редкостного доктора на земле, но ведь я пристрастна, он мой отец, несчастный человек, фантазер и бессребреник, подкаблучник, мама вытворяет с ним бог знает что...

— Где он лечит? — повторила Тома еще тише. — В какой клинике?

— В Тобольске, — превозмогая себя, ответила я. — Там при мединституте есть клиника, может, слыхали?

— Да ты расслабься, маленькая, расслабься, ишь какая длинноносая, волосы-перышки, расслабься, Яночка...

Так я тебе и расслаблюсь, подумала я; отец учил меня напрягать мышцы спины, когда становится трудно и настроение могильное; стойка, говорит он, это костяк человека, в жизни самое важное ритм и стойка.

Тамара положила свою пухлую ладонь на мою руку, придвинувшись еще ближе.

А я смогла подумать: «Она чего-то боится. Она очень испугана». И подумала я об этом отчетливо и совершенно спокойно, и после этого до конца убедилась в правоте слов Ивана, что сейчас мне надо ей подыгрывать, я обязана стать податливой и медленно, чуть вяло, но в то же время четко отвечать на все ее вопросы.

А в том, что она начнет меня спрашивать, я не сомневалась.

И — не ошиблась.

— Ты уснула, девочка, — еще тише сказала Тома, — тебе спокойно и тихо, скажи мне теперь, маленькая, что у тебя на сердце камнем лежит?

— Любимый...

— А как его зовут?

— Иван, — ответила я очень медленно.

— А по профессии он кто?

— Репортер...

— Иван, говоришь? А фамилия у него какая?

— Варравин.

Я ощутила, как дрогнули толстые пальцы Тамары; она придвинулась еще ближе:

— Яночка, птаха моя, так ведь он не любит тебя. Он только себя любит, бессердечный он, злой, выкинь его из памяти, не рви себе душу... Ты небось и домой к нему ходишь, да?

— Хожу.

— Принеси мне, что он пишет, я его почерк посмотрю да отведу от тебя, бедненькой.

— Принесу.

— А как батюшку твоего зовут?

— Владимир Федорович.

— Кто, ты говоришь, он по профессии?

— Врач.

— Значит, тебя как с именем-отчеством величать?

— Янина Владимировна...

— А матушка твоя где?

— С ним, где ж еще...

— В Томске?

— В Тобольске...

— А ее как зовут?

— Ксения Евгеньевна...

— Ты на кого больше похожа?

— На мать, — ответила я после некоторой паузы,

потому что мне хотелось сказать ей правду, но отчего-то мне казалось, что именно эту правду я открывать ей не вправе.

— У тебя кто до Ивана был?

— Никого...

— Ах ты, бедненькая моя рыбонька, — Тома утешала меня деловито и заученно, не отводя тяжелого взгляда от моих зрачков; она словно бы входила в меня своими глазами, не зря не люблю людей с мерцающим взглядом, в них есть что-то властное, демоническое. — Ничего, мы твоему горю поможем, мы накажем того, кто надругался над твоею чистой и доверчивой любовью... Твоя боль сразу стихнет, свободной себя почувствуешь... Хочешь стать свободной?

— Хочу, чтоб он со мной был.

Тома приблизилась еще ближе, так близко, что я ощутила тепло ее лица:

— А зачем ты себя Яной называешь, деточка, когда ты есть Лиза Нарышкина? Тебя кто этому подучил?

И я ответила:

— Иван Варравин.

XV.

Я, Тихомиров Николай Михайлович

Самым сильным впечатлением моего детства был тот день, когда нам дали большую светлую комнату в квартире доктора Вайнберга. Это произошло на седьмой день после того, как немцы вошли в наш Свяжск и расстреляли всех евреев. Квартиры, где раньше жили райкомовцы и энкавэдисты, они заняли под офицерскую гостиницу, в исполкоме стала комендатура, в милиции разместилось СД, а квартиры евреев бургомистр Ивлиев распределил между теми, кто лишился крова после бомбежек.

Мы жили в бараке около станции, но он сгорел; выкопали землянку; там умер мой младший брат, Арсений, — воспаление легких, сгорел в три дня, лекарств не было, аптеки закрыты, больницу взяли под солдатский госпиталь, к кому обратишься?!

После землянки двадцатиметровая комната, обставленная красным деревом, казалась мне сказочным зам-

ком, я даже по паркету ходить боялся, не только башмаки снимал, но и носки, ступал на цыпочках.

Второй раз я испытал потрясение, когда бургомистр Ивлиев открыл занятия в школе. Нас построили на лужайке, где раньше стоял гипсовый бюст пионера; Ивлиев пришел с офицером, который понимал по-русски, и стал говорить с нами, как с друзьями, не кричал и не делал замечаний.

— Вот мы и начинаем с вами учиться в школе, которую предоставили наши дорогие немецкие освободители, принесшие нам спасение от большевистского ига. Вы еще маленькие, вы не понимаете, какой ужас пришлось пережить вашим родителям, бабушкам и дедушкам в ту пору, нашей многострадальной Родиной правили большевики, масоны и евреи. Раньше нас учили, что каждая нация, мол, хорошая, все люди братья, и все такое прочее. Да когда же русскому человеку жид пархатый был братом?! На занятиях в новой школе вы узнаете, что после октябрьского переворота на шею русскому человеку сел большевик, латыш, китаец и еврейский комиссар! Так или не так, дети?!

Света Каланичева пискнула:

— А у Марины папа комиссар, но ведь она русская...

— У какой Мариночки папа комиссар? — сразу же спросил немец.

— У Марины Цветковой, ее вместе с евреями расстреляли в овраге...

— Значит, не Цветковы они, — заметил Ивлиев, — а обыкновенные Блюмины... А по-неме... По-еврейски «блюмен» — значит «цветы»... Они маскировались, чтобы скрытно править народом... Сколько таких было «Рыбкиных», а они на самом деле «Фиши», всяких там «Горных», а они самые что ни на есть «Берги»...

— «Берг» — немецкая фамилия, — заметил немец. — Это не типично для евреев. Эйслеры, Фейхтвангеры, Левитаны, Чаплины, Пискаторы, Эренбурги, Блоки — понятно любому — евреи, лишенные права на жизнь... Мы, солдаты великого фюрера Адольфа Гитлера, не боимся правды, потому что сражаемся за свободу человечества, за новый порядок на земле... Да, мы не боимся правды, и поэтому я скажу вам, дети, что мы знаем о тех разговорах, которые пока еще идут среди ваших родителей. Мы терпеливая нация, мы умеем ждать, но не очень долго. Понятно?

Ивлиев зааплодировал:

— Понятно, понятно! Ясней ясного, господин майор! У нас детишки смышленые! Ну-ка, дети, похлопаем нашему гостю...

Никто хлопать не стал, всех нас сковал холодный ужас, — хлопать фашисту, немцу проклятому...

Ивлиев подскочил к старшеклассникам, они стояли справа от нас, и стеганул пощечину Васе Кобрякову:

— Начинай! — крикнул Ивлиев. — Самый старший, а ума ни на грош!

Майор сказал:

— Не надо бить детей, господин бургомистр... Они были отравлены заразой интернационального большевизма... Их надо перевоспитывать лаской. До свидания, дети. Я не обиделся на вас. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете нашу правоту...

...Потом в нашем городе стала выходить газета на русском языке. Редактором немцы привезли Григория Павловича Довгалева, он был раньше нашим соседом, работал на мясокомбинате; за месяц перед тем, как началась война, его посадили; моих родителей вызвали на допрос, следователь здорово их трепал — не перегружали ли они возле нашего барака по ночам мясо с одной полуторки на другую; мама сказала, что скрип тормозов слыхала, а видеть ничего не видела; с милицией лучше дел не иметь, держись от власти подальше.

Потом выяснилось, что Довгалев хранил пятьдесят тысяч в сарае тети Глаши Чубукиной, под старыми дровами, собака нашла, милицейский пес с черной полосой на загривке.

Через десять дней после того, как пришли немцы, Довгалев вернулся домой как «политический», рассказал, что сражался против большевиков в подполье, вскоре исчез (говорили, в рейх, на курсы), а приехал через четыре месяца, чтобы издавать «Новое слово России».

В первом выпуске газеты он рассказал о героическом пути, пройденном великим фюрером Адольфом Гитлером, о его беспримерной борьбе против мирового большевизма, который есть демоническое зло, ниспосланное на землю злыми силами. Он писал о том замечательном порядке, который царствует в рейхе, как там дружно трудятся рабочие, предприниматели и крестьяне, — полная свобода и равенство, никаких тебе колхозов, и в лесу урночки для мусора стоят, не то что наши хляби.

На второй странице газеты Довгалев напечатал две

главы из «Протокола сионских мудрецов» — тайный заговор евреев, желающих завоевать весь мир.

В послесловии — мама эту газету читала вслух, очень тихо, вечером, когда мы забирались под одеяло с Пашей Крупенковым (его бабушка работала в депо по ночам, оставляла внучка нам, дом не топили, буржуйки ставить не разрешала комендатура, только одна надежда на то, чтоб согреться под одеялом, а сверху еще дедову доху набрасывали), — Довгалев учил: «Наши предки, погубленные ленинскими большевиками, патриоты «Союза русского народа», уже в девятьсот десятом году писали: «Надо лишить жидов технических знаний, ремесленных, медицинских, фельдшерских, зубоврачебных, юридических и преградить им всякую возможность получать образование...» Мы этого сделать не смогли, и нас постиг разрушительный ужас революции... Это сделал Адольф Гитлер, спасший Европу от жидомасонов, мечтавших о мировом господстве... Посмотрите, как было построено фойе в нашем Дворце культуры? В форме шестиугольной звезды. Чей это знак? Жидов. Кто строил Дворец культуры? Архитектор Федоров, а на самом деле Федер, масон. А кто превратил в склад церковь на Успенье? Жидовские комиссары, кто же еще?!

Я помню, как мама охнула:

— Господи, да ведь это довгалевский племяш Юрка в ней склад обустроил! Чего ж он такое порет, господи?!

Все эти статьи, политинформации на уроках шли как бы мимо нас, были вчуже; я горько плакал ночью по Вовке Какузину и Лене Сорц, которых убили с родителями в лесу, а я с ними дружил, тетя Лиля, мать Вовки, угощала нас леденцами, жили мы в одном бараке, двери напротив, ничего в них особенного не было, люди как люди, только мы сладкие творожники любили, а они — соленые, вот и вся разница.

А потом было еще одно потрясение, когда немцы и полицаи нашего батюшку, отца Никодима, расстреляли, — он у себя в подвале трех евреев прятал и раненого комиссара Демьянченко.

После этого-то мы с Герой Куманьковым и написали на листочках старой бумаги — тетрадок не было, нам три штуки в месяц выдавали — «Смерть фашистским изуверам» и расклеили по заборам, когда шли с занятий; темнело рано, но комендантского часа еще не было.

А через два дня нас с Куманьком забрали в полицию.

Там нас сильно били, но физическая боль была не столь ужасной, сколь дикой казалась возможность завтра пойти по улицам босиком, через сугробы, как батюшка Никодим, и стать перед строем черных.

Потом заявился немец, обер, что ли, наших полицаев разогнал, только одного оставил, в немецкой форме со значком «РОА» на рукаве, и на своем жестяном русском — лучше б уж по-своему говорил через переводчика — тихо произнес:

— Тихомиров, ты обречен, но сначала на твоих глазах будет расстреляна мать.

В голове у меня зазвенело, тело резко потянуло вбок, потом почернело в глазах, и я обвалился в обморок.

Привели меня в себя нашатырем. Фашист сидел в той же позе, по-прежнему рассматривая свои квадратные ногти, а русский в немецкой форме был рядом со мной, поглаживал голову...

— У тебя есть спасение, — сказал он. — У тебя и твоей несчастной матери. Ты готов сделать то, что мы тебе скажем?

И я ответил:

— Да.

— Молодец, — сказал немец. — Умница.

Мне тогда исполнилось четырнадцать лет, сорок четвертый год, февраль.

Сразу после того как немцы бежали, мать подхватила меня, и мы пошли по большаку на восток, чтобы быть подальше от тех мест, где немцы меня опозорили перед нашим городком; Куманька расстреляли, потому что он отказался говорить на площади и подписать для газеты, что это его комиссары из лесу понудили сделать, а я...

Под Энгельсом у нас была родня, там мы и осели, благо, стояло много свободных домов, с тех еще пор, как раскассировали республику и всех немцев выселили в Казахстан.

Когда пришло время получать паспорт, мать-покойница, пусть ей земля будет пухом, пошла со мной в отделение: «Отец нас бросил, когда я еще беременная была, прошу дать юноше мою фамилию». Так я и стал Тихомировым, а то быть бы мне Крыловским, а ведь батя мой с рыбацкой шаландой в Турцию ушел, с тех пор ни слуху ни духу...

Он не был — мать говорила — ни антисоветчиком

каким, ни белым, ни кулаком, просто хотел работать так, как умел, а ему не давали: сюда сунешься — «представь справку», туда — «а кто разрешил?». Запил мой батя, которого я и в глаза не видел, а потом жахнул шапку оземь да и ушел за счастьем, обещал: если обустроится, даст знать, но весточек от него не было, а может, не передавали их нам, время-то крутое, начало тридцатых, массовая коллективизация, карточная система, голод, нехватка жилья — по три семьи в одной комнате ютились, такое из памяти колом не вышибешь. Вообще-то детское — самое что ни на есть въедливое в человеке, неистребимое... С тех пор, например, как «тарелка» — мы так репродуктор называли — сообщила о перелете Валерия Чкалова через Северный полюс, я заболел мечтою стать летчиком. Неважно каким — военным, полярным, гражданским, — но только б поднимать в небо аэропланы.

И когда я кончил школу — а кончил я ее с серебряной медалью, — сразу же отправил документы в летное училище.

Меня вызвали на собеседование. Седой майор Левантович Михаил Григорьевич спросил, отчего я так хочу в небо, летал ли когда на самолете, видел ли хоть один авиапарад, кого из дважды Героев Великой Отечественной — сталинских соколов — могу назвать по памяти (я назвал всех), дал заполнять анкеты. Я вышел из классной комнаты счастливым, сел в зал, где толпились абитуриенты, и, подвинув себе чернильницу, стал писать ответы на вопросы... И сразу же споткнулся: «Меняли ли фамилию, если «да», то где, когда и с какой целью». Я почувствовал, как у меня кровь прилила к щекам, а пальцы, наоборот, похолодели. Перелистав пятистраничную анкету, понял, что пропал, увидав такие вопросы: «Имеете ли родственников за границей, если «да», то где, с какого времени они там проживают, подробный адрес и профессия» и «Находились ли вы на территории, временно оккупированной немецкими захватчиками, если «да», то с какого времени и подробный адрес проживания».

Я скатал анкету в трубочку и выскользнул из гудящего зала: пошел в парк культуры, что на берегу реки, купил за тридцатку «эскимо», сел на скамейку, крашенную зеленой масляной краской (кто-то положил газеты, их смыло дождем, но остались целые строки и заголовки на дереве; один я прочитал: «Все выше, и выше, и выше

стремим мы полет наших птиц!» — и крепко задумался.

Любопытно, сейчас уже, анализируя себя со стороны (этот прибабашенный Штык, по словам Никитича, парит, рассматривая предметы с высоты, мы с ним похожи в этом), я пришел к странному выводу: наша особость проявляется в том, что мы разнимся даже от предков, арийцев седой старины. Праотцы жили вне понимания важности прошлого: при том, что они славились математиками, философами, архитекторами, их совершенно не интересовало то, что было перед ними. Поэтому ни Греция, ни Рим не знали такой, например, науки, как археология. Там не существовало и устремления в будущее: летосчисление вели только по Олимпиадам, да и это было данью плебсу, который жаждал зрелищ. Практически время для древних не существовало, и, когда Цезарь решил создать свой календарь, его противники увидели в этом скрытый ход к установлению в Риме династической империи, а ведь любая империя прежде всего чтит время, потому что в нем выражена идея длительности правления династии. Кстати, именно из-за этого убили Цезаря, — нельзя дерзать на традиции. Даже если они не канонизированы, все равно в душе каждого живет высшая тайна нации...

Видимо, опыт, заложенный в генетический код определенными периодами нашей истории, угоден будущему, поскольку учит вдумчивой осторожности, толкает к тому, чтобы семь раз отмерить, прежде чем резать; прав Бисмарк: «Русские медленно запрягают, да быстро едут».

Я удостоверился в исторической правоте нашей неторопливой постепенности сравнительно недавно, когда впервые в жизни уверовал в то, что достиг наконец состояния длительной надежности. Поскольку миром правит один процент мыслящих особей, остальные — инструментарий, ими пользуются, то, следовательно, лишь в нас, состоявшихся, заключена движущая сила общества... Но свою идею надо открывать не сразу и, конечно, не всем, но лишь интеллектуалам, связанным единством крови и принадлежностью к одной почве.

Но, увы, правда такова, что даже среди этого процента избранных далеко не все гении. А что такое гений? Провидец. Толкователь неизвестного доныне. Нет гениев среди историков — они устремлены в прошлое, обращают его к своей честолюбивой выгоде, и лишь те, что вырываются в сферу политики, могут использовать факты прошлого для утверждения своего, видимого им, буду-

щего; такова же участь филологов и искусствоведов. Возможность приближения к гениальности дана математикам, литераторам, живописцам, химикам, архитекторам, физикам, политикам. Все. Остальные — побоку. Следовательно, из нашего процента к высшим пикам бытия могут прорваться тысячи, не более. Но эти тысячи начинают восхождение с отрицания привычного, — такова жестокая логика развития, и, как ни беспощадна была доктрина Гитлера, в ней существовало свое здравое зерно. Если бы он смог пересилить себя и, как хотел вначале, отправил всех евреев на Мадагаскар — пусть бы грелись себе на райском острове, — если бы не понастроил Освенцимов, если бы не грешил против славян, которые не менее арийцы, чем немцы («руссы» — «пруссы», очевидное братство крови), неизвестно еще, чем бы кончилась вторая мировая...

...Так вот, именно там, в парке культуры на берегу Волги, в маленьком Вольске, я понял, что мне дороги в будущее нет; пока — во всяком случае. Власть не обманешь, особенно нашу, которая пуще всего радеет о проверке; дело для нее вторичное, главное, чтобы все по графам сходилось. Риск, с которым связаны ложные сведения в анкете, бесполезен и кончится ссылкой — в лучшем случае.

...Я вернулся домой в Энгельс и устроился на завод. Я зажался, жил тихо, нигде не возникал, взносы за комсомол платил исправно; самообразовывался — читал что ни попадя, особенно историю. Я ощутил приближение перемен, когда начали бить изменников-космополитов, литературных критиков еврейской национальности, а потом, после расстрела членов Еврейского антифашистского комитета, объявили, что еврейские врачи травили русских людей. Нам немцы рассказывали, как до революции Бейлис в Киеве резал русского ребенка, чтобы пустить христианскую кровь в свою пасхальную мацу; неважно, что его оправдали, оправдать все можно, а врачи, агенты «Джойнта», действовали научно, потаенно, — значит, верно Ивлиев говорил: «Тайный заговор против нации»? Тогда-то я и выступил на заводском собрании, потребовав открыть молодежи историческую правду о еврейском заговоре против нашего народа.

Было это в январе пятьдесят третьего, а в апреле, после смерти Сталина, врачей реабилитировали, оповестив в газетах, что все это была клевета и покушение на дружбу народов, — доктора Лидию Тимошук, которую

славили за бдительность — ей орден дали за то, что евреев разоблачила, — смешали с грязью, да еще заместителя министра безопасности Рюмина арестовали...

В тот же день я уехал из Энгельса, подался сначала в Сибирь, оттуда на целину, заработал медаль, а уж после этого поступил на искусствоведческое отделение.

Никогда не забуду, как в конце шестидесятых, когда из Польши начали выселять евреев, объявив их сионистами, один старик, видимо из партийных ветеранов, горестно рассуждал в поезде: «Ну, ладно, евреи во всем виноваты — так и в царской России было, так Генри Форд считал, так Гитлер проповедовал, — по их милости рабочие мало получают и продукты дороги, но где гарантия, что, выселив их, мы получим вдосталь мяса и автомобилей, не проведя революционные реформы в экономике?! Ведь если жизнь трудящихся и после выселения не улучшится, тогда народ обвинит коммунистов и рабочую власть в том, что они не компетентны! Кто за это будет в ответе? На кого тогда валить вину за наши неудачи? На нас, русских?! На коммунистов?!»

Тогда-то я и понял до конца свою линию. Мне от этой власти ничего, кроме страха, не досталось, все свое взял горбом, ей наперекор. Пусть себе эта власть телепается, как хочет. Управимся без нее, рецепты есть.

...Преподаватель по истории искусства Мария Францевна Гирш — в аспирантуре она опекала меня, как крестная мать, — говорила: «Заметьте себе, Миша, что человечество, в массе своей, трагически беспамятно. Говорят, «Иваны, не помнящие родства». Это русофобия. Джоны родства не помнят, Пьеры тоже, не говоря уж об итальянцах... Разве что только иудаисты и мусульмане чтут память... Да, да, не спорте! Когда итальянцы вспомнили о речах Цезаря, Катилины и Цицерона? Тысячелетия прошли! Очнулись лишь после крушения инквизиции! А Эль Греко? Он стал достоянием человечества в конце прошлого века. Когда цивилизация устает от прогресса, когда наступает бессилие после очередного взрыва новаций, тогда лишь люди обращаются к прошлому, ища в нем вечность и спокойствие... А еще мы тщимся обрести в ушедшем успокоение непрерываемости рода... Но, повторяю, это наступает в пору усталости человечества, после катаклизмов и открытий, когда утвердилась новая форма мышления... Именно в такие годы забытые — древность, старина — становятся самыми дорогими акциями, вложением капитала с получением неви-

данных процентов, беспроигрышно! Будь я стяжательницей да имей еще деньги — все бы вложила в старинную живопись, иконы, книги! Выставьте на аукцион записку Плутарха! Вам уплатят десять миллионов, не меньше! И ваше имя войдет в историю, вас назовут хранителем памяти человечества, простят корыстный интерес, станут чтить, как нового Мецената... Но, увы, все это сопрягаемо с политикой, с честолюбивыми устремлениями несостоявшихся художников или пророков... Да, да, не спорьте... Гитлер запретил удобный и понятный современный алфавит, понудив немцев вернуться к готическому... Он отринул блистательную литературу двадцатого века и заставил нацию оборотиться к рунам и былинам, считая, что только великое прошлое — даже если его и не было — приведет к еще более великому будущему... Это, кстати, свойственно всем малообразованным людям, лишенным серьезного знания и интеллигентности... Личностное честолюбие приводит к краху человека, а национальное, обретшее форму мессианства, грозит существованию нации. Да, не спорьте! Именно имперские амбиции Древнего Рима привели его к крушению. А Карфаген? Византия? Национально-мистические претензии Испании? А Польша — «от моря и до моря»?! А наша война против Японии в девятьсот чевертом году? «Шапками закидаем»?! Вот и закидали... А как отомстил Гитлеру его национальный мистицизм?! Не Гитлеру — немцам?! Прошлое — инструмент будущего, Миша... Не каждый умеет работать с таким взрывным материалом... Если вы будете строго следовать правде, факту, истине, вас предадут анафеме и лишь потом, по прошествии столетий, вспомнят с благодарственной памятью. Если же вы решите получить сиюминутную отдачу, следует забыть о хирургичности предмета истории и обернуть факты к собственной выгоде... Вас вознесут... Высоко вознесут... Но потом низвергнут, и вашим потомкам станет трудно жить на земле, их станут чураться, как Ирода...»

Слушая ее, я, пугаясь самого себя, думал: «После нас — хоть потоп... Да и детей у меня не будет — голод и страх так просто не проходят... А не справедливее ли получить то, что можно, при жизни? Не уповая на благодарственную память тех, кто придет спустя столетия? Да и придут ли?»

Как сейчас помню, разговор этот состоялся в декабре шестьдесят четвертого, вскорости после того, как свалили

Никиту. Люди настороженно присматривались к тому, что происходит; включив на полную мощность приемники, обсуждали возможные изменения в стране, строили догадки; несчастные мы, ей-богу; словно одеялом придушены, — главное, чтоб все было тихо, благообразно и величаво.

...Поняв, что дерзостным начинаниям Хрущева пришел конец, я и спросил себя: «Что ж мне-то, Михаилу Тихомирову, делать?» Раньше жили страхом вперемешку с восторгом перед гением Сталина, потом поверили в перемены Никиты, а теперь как?»

И я ответил себе: «Сам думай, подсказки ждать не от кого».

Ответ я нашел не скоро, но — нашел.

...Когда разгромили авангардистов, все и всех позапрещали, внезапно появилась талантливая поросль суздальских художников: живопись яркая, сочная, голубая, очень русская. Но и этих ребят стукнули: «Слишком много церквей и седой старины, где радость свершений сегодняшнего дня?!» Ребята были крутые, хорошего закала, — не дрогнули, муку приняли гордо, гнули свое, перебиваясь с хлеба на воду.

Вот тогда, памятуя о беседе с Марией Францевной, я и пошел на риск: организовал их выставку в Институте, устроил распродажу, поделился с ними по-братски — вот он, путь: ставить на тех, кто умеет держать удары, чист в позиции и понимает, что связь времен неразрывна: без прошлого нет будущего.

Каждому — свое. Господь лишил меня дара писать или ваять, но умом — не обделил.

И — постоянно думая о своем будущем — я обратился к прошлому, посвятив кандидатскую диссертацию теме «Традиция и искусство».

После того как отменили графу про то, был ли ты в оккупации (не моя вина; не я, а власть допустила немца до Москвы и Сталинграда), решился поехать в первую туристскую поездку. И такая меня обуяла тоска и боль за несчастную Россию, когда я попал к побежденным немцам и увидел, как они ладно живут, каков их достаток и уважительность друг к другу, что подумал: «Никогда нам из дерьма не выбраться и нечего ноздри раздувать, что, мол, богоносцы, избранные! Прокляты мы богом, истинно так! За то, что легко своих Перунов сожгли, за то, что в семнадцатом церкви рушили и па-

мятники валили, за то, что легко прощали зло! Не отмыться нам вовек!»

Вот тогда-то, опираясь на опыт с суздальцами, я и решил: только деньги могут дать человеку истинную духовную свободу, все остальное — иллюзия... Тогда же появились Витя Русанов и Кузинцов, тогда и начал крутиться бизнес с художниками, тогда и ощутил наконец надежность; матушке дачку купил, себе кооператив построил, жил как хотел... Найди художника, помоги ему — он отблагодарит, внутри они чистые, хоть и шельмы...

А тут — на тебе, новое время! Права личности. Определенные послабления в линии. Свобода слова, газеты распоясались, гласность, будь она трижды неладна! И — как следствие — рушатся надежно отлаженные связи, рождается страх, что вновь грядет нищета.

Народ — что? Народ дурак. Ему надобно постоянно втолковывать: кого — любить, а в ком видеть затаенного ворога, однако не всегда просто вести такую работу: и среди тьмы есть головы; умные сразу просекут, что в конечном-то счете речь идет о рынке, заработках, — в первооснове всех людских начинаний сокрыт золотой телец, никуда не денешься, греховны... А вот поди скажи открыто, что если у своего берешь — он снесет, наш человек все стерпит, а попробуй у чужого выдери?!

...Врать можно другим, себе — преступно. Если сейчас проиграем, все будет кончено: как-никак шестой десяток, начинать сначала поздно. Удержание достигнутого — сродни войне; или — они, или — я, третьего не дано. Индивидуальный труд, кооперативы, поддержка личной инициативы, право на заработок — есть то объективное зло, которое рушит нашу цепь, где каждый, разрешающий, обязан получить свое. А если разрешать не надо? Если в Конституцию запишут параграфы о том, что дозволено всем? Сидеть разрешающим на свои двести рублей и дома топор точить?! С топором на танк не выйдешь... Право для всех — гибель нам, элите, избранным, тем, кто достиг высшего блага властвования: не позволить, запретить, умучить справками, бумажками, доверенностями... Мы лучше знаем, что нужно нашему народу-несмышленышу... Столетия должны пройти, прежде чем он научится демократии, не для нас это, мы силе покорны, а не праву, кнуту, а не закону.

...Кузинцову сказал лечь на грунт; Русанову строго-настрого запретил ездить к Чурину на дачу, слишком

повадился; про Завэра забыть всем — наверняка сгорит; старик не понимает, что времена изменились, связи не помогут, скорее наоборот.

Терпение, только терпение! Именно сейчас и надо перенести центр борьбы за себя в клубы, на дискуссии организованной нами «Старины»: власть припугнуть — великое дело. Случись какая беда, есть отговорка и обращение к общественности: «Мстят за слова правды!» Пусть попробуют тронуть, ныне скандалов не хотят — демократия! Главное — точно определить врага, от которого художника могу сберечь я, один я, и никто больше. Сюзерен невозможен без феодала; понятие «благородность» связано со словами «поддержка», «защита», «протекция», ничего в этом зазорного нет.

Вот пусть Русанов и рванет Варравина на своей мине; Томка уже Глафиру Анатольевну подготовила, — напишет заявление, слава богу, персоналочку у нас до скончания века будут чтить и холить, без нее нельзя: у тех, на Западе, светская хроника, а у нас открытое собрание, все вблизи, страсти наружу, лобное место, где еще такое есть?!

Кашляев парень с головой, подготовит почву в своей редакции, турнут этого Варравина коленкой под зад, пополнит ряды неудачников — вот к нам и придет, больше-то некуда...

...О том, что с каждой сделки, заключенной Русановым, он получал пятую часть, Тихомиров запрещал себе и думать; тем не менее подстраховался: сберкнижки «на предъявителя» завещал после смерти активистам своей «Старины», мол, не о себе радею, о нашем общем деле; пройдет смутное время — переписать книжечки не поздно, пять минут делов. Постоянно повторял: «Мы работаем в рамках советского законодательства, никаких отступлений не потерплю, как и от норм пролетарского интернационализма; наши враги — сионисты и масоны, и не наша вина, что все они относятся к лицам известной национальности».

...Нет, говорил он себе, я — неуязвим! Линия защиты абсолютна, выдержка и еще раз выдержка; главное — переждать смуту, потом мы свое возьмем, главное — сохранить цепь: идея (я), поиск художников (Русанов), подготовка почвы (Кузинцов), подписание заказа на роспись зданий (Чурин), бриллиантики для дополнитель-

ных услуг (Иуда Завэр и Румина), «Старина» (страховка предприятия общедоступной идеей). Все четко, точно и отлажено. Так держать!

XVI.

Мы, Лизавета, Иван и Гиви

Самое удобное время зайти в кафе — причем маломальски пристойное, а таких в Москве раз-два и обчелся — утро.

Лениво прикрывая рвущийся в зевоте рот, официант (их тут пять, вот дурство-то, проклятие штатного расписания, держали б двух, платили зарплату за четверых, было б обслуживание) спросил, чего желают гости. Иван ответил, что желает счастья. Официант посмотрел на него с недоумением, которое сменилось обидой:

— Вы со своими приятелями шутите, со мной не надо, я нахожусь на работе.

Когда он принес кофе (времени на это ушло минут десять), Иван сказал:

— Я не убежден, что Гиви скоро управится, Лисафет. Волшебница по телефону звонить не станет: они пугливые, боятся, что их подслушивают, кино понасмотрелись, значит, отправится к кому-то сообщать о тебе, поэтому расскажи еще раз — самым подробнейшим образом — все, что там произошло...

Лиза с тоской посмотрела на табличку, запрещавшую курить.

— Ты никогда не думал, отчего в нас заложена страсть делать друг другу неудобства? Ну почему не открыть кафе для курящих? Нет! «Нельзя» — и вся недолга! Дисциплина — разумна, а бестактность, тяга к казарме, границ не знает... Ладно... Словом, поначалу мне не было страшно, я даже почувствовала к ней какую-то бабью симпатию... Вам это не понять, мы ж несчастнее вас, поэтому в чем-то едины, — Лиза усмехнулась, — некие, знаешь ли, бабомасоны... Но у нее резко изменилось лицо, когда она стала меня колоть... Она обладает навыком гипноза, это точно... Думаю, я ей сказала только то, что мы обговорили... Я помню, как она испугалась в конце... Я не убеждена, что на какой-то миг не потеряла над собою контроль, — отец объяснял про гипноз

достаточно подробно... Гитлеризм начался с массового гипноза, с обращения к национальному инстинкту, поиску общего врага, от которого все «беды»... Я дрогнула, когда она, уверившись, что овладела моей волей, спросила, отчего я называю себя Яниной, а не Лизой Нарышкиной... Мне страшно стало... Но я постоянно держалась — как за спасательный круг — за наш с тобой давний разговор: отчего царская семья, последние Романовы, не делали ни одного шага без подсказки ясновидящих? То им месье Филипп давал указания, то Распутин. Помнишь?

— Я все помню, Лисафет, — ответил Иван и погладил ее по щеке.

— А чего ж тогда меня бросил?

— Считаешь, что любовь сродни воинской присяге? Раз и навсегда? На всю жизнь? Как же тогда быть со свободой? С правом личности? Другое дело, были бы у нас дети... Да и то... Анна Каренина... Увлечения Пушкина... Жизнь Анатоля Франса... Тот же Хемингуэй... Ведь не только мужчины перестают любить... Женщины тоже увлекаются другими...

— Много реже, Ваня... Как правило, увлечение другим наступает после того, как у женщины возникли подозрения, в чем-то изуверилась, показалось, что ее мужчина перестал быть таким, как прежде, менее внимателен, неласков, замкнут... Вот тогда мы и пускаемся в рейд, — она вздохнула, — по далеким тылам врага... Но ведь мы слабей вас...

— Значит, равноправие — фикция? Не может иметь равные права заведомо слабый и утвержденно сильный? Это идеализм, выдача желаемого за действительное... Я беседовал с интересным ученым, биологом, так он утверждал, что женская физиология не сопрягается с теми нагрузками, что мы на вас взваливаем. Он, например, вместе с математиками просчитал, что оптимальный вариант рабочего дня женщины — пять часов. После пяти часов бедненькая перестает приносить пользу общественному делу, потому что думает, чем накормить мужа, как вовремя взять ребенка из детского садика, где занять очередь и купить мяса подешевле и без костей, поэтому общественное дело проходит мимо ее внимания...

— На журналисток это не распространяется, — заметила Лиза, вздохнув.

— Распространяется, — отрезал Иван. — Если есть муж и дети...

Лиза снова с тоской посмотрела на пачку сигарет; Иван, однако, не заметил этого ее взгляда, продолжал устало:

— Женщина не может себя переломить: верх берет инстинкт материнства и дома... Нонешние радетели национального духа из «Старины» винят всех, кого ни попадя, в том, что у нас падает рождаемость, но не желают проанализировать статистику: шестьдесят процентов американских и бельгийских женщин не ходят на службу, а занимаются домом, воспитывая детей и ублажая кормильца! Может быть, нам лучше подумать, как увеличить заработную плату отцам трех детей? Так, чтобы наши женщины могли посвятить себя дому? А вопли про то, что у нас намеренно «спаивают» народ?! Бесстыдно это и преступно по отношению именно к народу... Ведь тот, кто хорошо зарабатывает, — не пьет! На машину копит, на дачу, путешествие! Пьют от безнадеги, Лисафет, дураку ясно... «В вине истина» — это выражение не масоны придумали, издревле идет, надо серьезно изучать первоисточники, исследовать историю — объективно, компетентно... Истерика с историей несовместимы, хоть и пересекаемы... Это я, между прочим, так отвечаю на вопрос — отчего царской семьей управляли кликуши... Да потому, что даже Романовы были лишены гарантированного Права на новые мысли и целесообразные поступки... Царь был бесправен, Лисафет!

— Ой ли?! Почему?

— Потому что слово «конституция» приводило его в ужас! «Верховный хранитель традиций», переписывавшийся с женой на английском или немецком, не на родном, — был неуч, университет не посещал, методике мыслительного анализа приучен не был: что ему вдолбили наставники, вроде серого кардинала Победоносцева, то он и повторял: «православие, самодержавие, народность». А что это за «народность», когда народ был лишен права на мысль, слово и дело? Романовы не хотели принять даже ту помощь, что шла от умеренных монархистов, — а ведь Гучков с Милюковым держали большинство в Думе и мечтали о сохранении трона, сделав его конституционным... Но государь не мог принять помощь снизу, — ведь он был не коронован на царство, а помазан, вот он и хотел получать советы сверху, потому и верил в чудо, прозрение, а в себя и свой народ верить не мог — по традиции. Некрасова наши нынешние правые пока еще не очень-то подозревают в чужекровии,

а ведь он писал, мол, мужик что бык: втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттудова не выбьешь... Страсть к порядку — а он в нашем огромном государстве необходим — выродилась в жестокость, Лисафет... Делом державу объединять боялись, — народится слишком много сильных. Вот и держали тотальным страхом да запретом... А какой порядок можно навести, запрещая все и вся? Я почитал дискуссии тех, кто за индивидуальный труд и семейный подряд, с теми, кто боится «обогащения»... Зачем нянчиться с дремучими представлениями? Не проще ли распубликовать, сколько миллиардов долларов мы уплатили одной лишь Америке за зерно, а в Штатах, — Иван усмехнулся, — кроме семейного подряда, иного не существует... Ну и кто обогатился в результате того, что фермерская семья возделывает землю? Государство, Соединенные Штаты, кто же еще... Реформе об индивидуальном труде противятся болтуны-бездельники, неучи, для которых социализм — это молочные реки и кисельные берега... Старые контролеры и маразмирующие догматики вопят: «Если человек живет в хорошем достатке — значит, он враг социализма!» А что, социализм — это общность нищих? Кому такой социализм нужен? Социализм — это братское содружество мыслящих, свободных и обеспеченных людей, в этом я вижу истинный смысл равенства... С дураком и лентяем равняться не хочу. Есть право на заработок — для всех без исключения, — пусть и зарабатывают! А не болтают!

— Ты чувствуешь, — сказала Лиза, — как страна поляризуется на тех, кто за реформу и ее противников? А мы не научены действовать, растворяем себя в кухонных дискуссиях... А надо действовать, Ваня! Надо предпринимать что-то! Дремучая, консервативная кодла едина, а мы? При нашей постепенности мышления, пристрастии к старым догмам все может случиться...

— Что ты имеешь в виду?

Лиза снова с тоской поглядела на вывеску, предупреждавшую о запрете на курение, потом медленно, с какой-то школьной безнадежностью, подняла руку; по прошествии нескольких минут официант резрешил себе заметить ее; подошел, по-прежнему позевывая.

— Товарищ, у меня к вам просьба, — Лиза достала из кармана курточки трояк, — принесите пепельницу, а? Пока ведь в кафе никого нет...

Парень трешницу смазал в карман, лицо помягчело.

— Не я этот дурацкий запрет вывесил, девушка...

Сыпьте пепел в блюдце... Но если кто придет, я маленько поругаюсь, не взыщите...

Когда парень отошел, Лиза посмотрела на Ивана:

— А если б мы с тобой были из общепита? Если б провоцировали этого парня? Такого рода провокация законом не запрещена, наоборот, поощряема... Что тогда с ним будет?

— Ты здорово осунулась.

Лиза улыбнулась:

— От страха.

— За полчаса так похудеть?

— Некоторые перегорают за десять минут... Стресс на каждого по-своему действует... Как Оля?

— Там плохо. Ей впору менять фамилию Варравина на царицыну — Романова... Она и думать-то перестала: что Тома скажет, то и сделает...

— Хочешь, я с ней поговорю?

— С ума сошла... Она твоего имени не может слышать, белеет...

— Она не верит, что у нас все кончилось?

— Не верит.

— Ты ее по-прежнему любишь?

Иван достал «Яву», тщательно размял сигарету, с ответом медлил, потом, собравшись, молча кивнул и, словно бы пересиливая нечто, ответил:

— Да.

— Ты это сказал мне? Или себе?

— Не знаю. Меня объял ужас, когда Оля и ее мать получили сообщение от этой самой Томы, что ты ворожишь над ее фотографиями... Нельзя любить человека, если не веришь ему... И его друзьям...

— Я не друг... Я — женщина.

— Что, женщина не может быть другом?

Лиза закурила новую сигарету и, подняв на него свои серые глаза, спросила:

— Думаешь, мне легко быть твоим другом?

— Хорошо постриглась.

— Ты же любил, чтобы я стриглась коротко...

— Времена меняются, Лисафет... Почитай стихи...

— Новые?

— Да.

Лиза читала очень тихо, как бы рассказывая:

Ты исчез очень рано,
Ты ушел на рассвете.

Негатив неудачи
Майским солнцем засвечен.
А костюм Коломбины
Брошен был на кровать,
Ночь исчезла бесследно,
Но не хочется спать.
Если с каждой потерей
Мы теряем по сну,
Я отныне, наверно,
Никогда не усну.

Иван вздохнул:

— Поедем на вокзал, а? Там пол-литра можно у таксистов купить... Так захотелось жахнуть, что просто сил нет...

— Когда Оля должна рожать?

— Я по-вашему считать не умею...

— Наверное, в сентябре, — сказала Лиза. — У меня такое предчувствие.

Иван снова погладил Лизу по щеке; она круглолицая, щека словно отлита для его ладони. Лиза мучительно оторвалась от его руки, попросила у официанта еще чашку кофе, достаточно неестественно глянула на часы; поняла, что Иван заметил это, умехнулась:

— Знаешь анекдот про безалкогольную свадьбу?

— Нет.

— Встает тамада, обращается к молодым: «Дорогие супруги, милые гости, ну-ка, нащупаем вены... Нащупали? Приготовим шприцы! Готовы? Горько!»

— Могильный юмор.

— Да уж, не Джером К. Джером... Где же Гиви?

— Я тоже начинаю волноваться...

— Не знаю почему, но мне кажется, что эта самая Тамара и те, кто с ней связан, готовы на все. Ты нащупал какое-то средостение и, незаметно для самого себя, скорее всего неосознанно, ступил ногой в гадючник... Когда Тамара сказала: «Доченька, ты посоветуй своему дружку: не стоит меня замать, это ему горем обернется», — мне стало не по себе...

Иван досадливо махнул рукой:

— Что она может сделать?

— Тебе — ничего. А Ольге?

Иван положил на край стола спичечный коробок и, резко поддев его большим пальцем, посмотрел, какой стороной упал.

— Сходится, — сказал он. — Порядок... Если я не смогу вернуть Ольгу, попрошу тебя снова стать моей под-

ругой... Слово «жена» у меня теперь прочно ассоциируется с понятием «несвобода».

— У меня тревожно на душе, Иван... Честное слово... При всех моих недостатках — флегма, лишена склонности к истерии, — я ощущаю в воздухе что-то тревожное...

И как раз в это время пришел Гиви.

— Люди, тут дают что-нибудь поесть? — спросил он. — Я намотался за эти два часа, как олень...

— Яичницу, думаю, сделают, — сказала Лиза. — Рассказывай скорей, что было...

...Тамара поехала в Мытищи, там зашла в клуб культуристов, поговорила с тренером Антиповым и, не отпустив такси, вернулась домой. Бросив занятия, Антипов отправился на Красноармейскую, в дом сорок, в квартиру, где живет Бласенков, Виталий Викентьевич. Пробыл у него минут десять и вернулся к себе; когда Гиви попросил записать его в члены клуба культуристов, Антипов ответил, что здесь принимают только местных, «да и потом, в вашем народе наш спорт не популярен, не выдержите нагрузок».

После этого Гиви поехал в милицию; заместителем начальника угрозыска, по счастью, был однокашник, капитан Хмелев, он-то и помог справкой: Бласенков Виталий Викентьевич, пенсионер, привлекался в сорок пятом по недоброй памяти пятьдесят восьмой статье, пункт первый, измена родине; судила, однако, не тройка, а трибунал; с сорок третьего по сорок пятый Бласенков служил у Власова, был инструктором в пропагандистском лагере Дабендорф Русской освободительной армии, освобожден по амнистии в пятьдесят третьем...

Гиви говорил громко, жестикулируя, уплетал глазунью из трех яиц, и ни он, ни Иван с Лизой не обратили внимания на двух молодых людей, которые устроились возле двери, попросив кофе и пирожных; «наполеоны» ели сосредоточенно, а вышли — расплатившись заранее — лишь после того, как убедились, что беседа трех друзей закончилась.

(Молодые люди были культуристами Антипова; старшему было двадцать четыре года, Антипов Игорь, брат

тренера; младшему только что сравнялось двадцать, Леня Шевцов, оба работали грузчиками в гастрономе.)

XVII.

«ВЧграмма
Подполковнику Вакидову, угро МВД Узбекистана
Прошу предъявить к опознанию подследственному Рахматову фотографию Кузинцова. По нашему мнению, его внешность близка тому внешнему портрету, который дал Рахматов на очной ставке с подследственным Чурбановым.

Полковник Костенко».

«ВЧграмма
Полковнику Костенко, угро МВД СССР
В предъявленных фотографиях Рахматов опознал гр. Кузинцова, заявив, что этот человек свел его с Завэром во время открытия выставки художников-дизайнеров.

При этом Рахматов добавил, что Завэр — перед тем как отойти к Кузинцову — беседовал с неизвестным мужчиной, крепкого телосложения, очень высокого роста, русого, с волевым лицом и ямкой на подбородке.

Фоторобот создать не удалось, потому что Рахматов, по его словам, видел означенного человека мельком, всего один раз, как и Кузинцова.

Подполковник Вакидов».

XVIII.

Я, Иван Варравин

Папку с донесениями отца, которые он отправлял в Москву из училища пропагандистов РОА Власова в Дабендорфе (что в сорока километрах от Берлина, между Рансдорфом и Клинике), принес мне работник архива; на нем был черный сатиновый халат, в таких у нас ходят уборщицы, но опирался он на элегантную трость с дорогим набалдашником слоновой кости.

Я остался один в комнате, где стояло несколько письменных столов; чернильницы были школьные, неразли-

вайки, сделанные из металла; у нас такие были только в *первых классах, потом заменили на современные.*

Я открыл папку, сразу узнал округлый почерк — хоть и стремительный, летящий, но в то же время твердый, буква стоит отдельно от буквы; сердце сжало не только от тоски по отцу, но и от бесконечного ощущения невосполнимости, которое возникает, когда навечно ушел человек, не доделавший то, что мог сделать только он.

Сначала я пролистал все странички, их было двенадцать; я представил себе, как же невероятно трудно было ему писать, находясь среди тех, кто окружал его те долгие годы, подумал о людях, которые несли эти странички по улицам гитлеровского Берлина, передавали другим, тем, кто отсылал их дальше; возникали видения холодной затаенности, лезвие бритвы, один неверный шаг — и пытки в подвалах...

«Власов не сразу предложил свои услуги немцам, — писал отец. — В течение нескольких недель с ним работал капитан армейской разведки Вильфрид Карлович Штрик-Штрикфельд, прибалтийский немец, уроженец Риги, говорящий по-русски без акцента. Он входил в ту секретную группу, которая пыталась привлечь на сторону фюрера таких генералов, как Лукин, Карбышев, Музыченко. Смысл достаточно смелой комбинации Штрика, разыгранной им с Власовым, заключался в следующем: «Рейхсминистр восточных территорий Розенберг — путаник... Он влияет на фюрера в том смысле, что все русские являются «унтерменшами», «недочеловеками». Кстати, журнал Геббельса под таким же названием продают только немцам. Мне, как немецкому офицеру и другу России, стыдно за их безнравственные антирусские публикации... Только вы, Андрей Андреевич, можете повлиять на Гиммлера — чтобы Геббельс прекратил выпуск своего журнала, а СС запретили избиение русских пленных в лагерях». Штрик работал с Власовым более двух месяцев, делая ставку на то, что генерал закончил саратовское духовное училище, а затем прошел дипломатическую школу, являясь в течение нескольких лет военным советником РККА у генерала Чан Кайши. Поначалу Штрик не затрагивал вопрос о создании РОА, но лишь нажимал на тяжкое положение пленных, подталкивая, таким образом, Власова к поступку, носящему чисто гуманный характер: «Пожалейте русских солдат, Андрей Андреевич, вспомните слова Господа о милосердии и любви к ближнему, только вы можете спасти их от голо-

да и болезней». Власов на это ответил: «Товарищ Сталин, отправляя меня командовать армией под Москвой в сорок первом, наоборот, советовал: «Солдат жалеть не надо, а беречь — надо»... Да и как я помогу солдатам?» Лишь после этого Штрик-Штрикфельд и открыл карты: «Если вы обратитесь к пленным с предложением создать истинно национальную Россию, объявите всему миру об организации РОА, Гиммлер неминуемо выпустит из лагерей ваших пленных».

Вскоре такое обращение, подготовленное в отделе «Армии Востока» генерала Гелена, было принесено Власову, и он его подписал... Серьезное влияние на Власова оказывает генерал Благовещенский, который воспитывает в лагере Вульдхайде примерно триста русских подростков, чтобы использовать их для разведывательной и пропагандистской работы в тылу Красной Армии... Несмотря на обращение Власова, пленных из лагерей не выпустили, но создали школы пропагандистов несуществующей РОА в Дабендорфе, Риге и Хаммельбурге. Именно в Хаммельбурге была создана ячейка национал-социалистической рабочей партии, которую возглавили Филиппов и Мальцев; генерал Трухин, начальник штаба Власова, в разговоре с полковником Владимиром Боярским заметил, что Мальцев сотрудничает с абвером, являясь функционером Народно-трудового союза, НТС, с которым, по словам Трухина, «нам не по пути; они хотят реставрации прежнего строя, а мы будем строить новую Россию в братском союзе с германским народом, исповедуя национальный принцип, а никак не сословный». Кстати, именно поэтому Власов отказался включить генералов Краснова и Шкуро (казачьи войска) в свои ряды, заметив: «Молодые красноармейцы, изувеченные большевистской пропагандой, решат, что мы вошли в блок с белогвардейцами, а наше движение чисто национальное...»

...Читая донесение, я вспомнил, как мама рассказывала о долгой беседе отца — после того, как он вернулся из тюрьмы, — с режиссером Романом Карменом. «С Власовым я встретился под Волховом, — рассказывал Кармен, — за несколько дней перед тем, как он попал в кольцо, и за месяц перед тем, как сдался. Мы провели всю ночь в его землянке, накануне моего отъезда; знакомы были давно, с Китая еще. Он был у меня на свадьбе с Ниной тамадой и посаженым отцом, так что говорили на «ты»... Стол был скромный: вареная картошка, банка мясной тушенки и бутыль самогона... Как рефрен у меня

до сих пор в ушах звучат его слова: «Римка, все равно мы победим, что бы ни случилось! Как бы страшно ни складывалась обстановка, мы сломим фрицам шею, если только с нами будет товарищ Сталин... Если судьба и дарила России гениев, то в его лице мы имеем самого выдающегося...»

Когда люди говорят правду? Когда лгут? Что их подвигает на ложь?

«...Передаю фрагменты программы пропагандистов РОА, утвержденной в генеральном штабе Кейтеля после предварительной корректуры в СС... Смысл ее в том, чтобы разорвать СССР, посеяв национальную рознь; «Теоретический курс» состоит из двух разделов. Первый, основополагающий, посвящен истории НСДАП, Гитлеру, расовой проблеме и еврейскому вопросу. Затем следуют занятия по теме: «Россия и большевизм». Главная часть — ознакомление слушателей с историей русского народа и его четкой миссией в развитии востока Европы; роль и значение патриотов Союза русского народа, созданного в 1905 году доктором Дубровиным и депутатом Думы В. Пуришкевичем; доблестная борьба русского народа против «большевистского владычества» с 1917 года по наши дни. Потом слушатели осваивают такие темы, как: «Идеологический гнет в СССР», — чуждые нации идеи мировой революции и большевизма прививались всем, начиная со школы, поэтому необходимо разрушить стереотипы и вернуться к истории, написанной до 1917 года; «Борьба власти против населения» — непрекращающееся сопротивление русской нации большевизму. В этой героической борьбе участвуют все слои русского населения; «Внешняя политика СССР» — ее направленность к завоеванию мира большевиками; как результат — ненужная русскому народу кровопролитная война, развязанная англо-американскими империалистами за торжество мирового еврейства; «Еврейство в России» — тайный заговор евреев и масонов против русской нации, ритуальные убийства русских детей, совершенные евреями, большевики как орудие в руках масонов; необходимость «окончательного решения еврейского вопроса» в России наподобие германской программы, разработанной фюрером; «Англия — исторический враг России», — участие Англии в Крымской войне, в русско-турецких войнах, в войне 1905 года с Японией; Англия хочет ослабить русский и германский народы, чтобы поработить их, ее главное оружие — масоны,

управляемые евреями; «Русский народ и германский народ» — общие черты нашего развития; древние связи между народами-богоносцами; «СССР и Германия» резкая вражда большевиков к победоносной идеологии национал-социализма; разговоры Молотова о дружбе в 1939 году, а на деле — стремление захватить территории пока Германия занята войной с мировым еврейством, коварное нападение большевиков на Германию 22 июня 1941 года». Далее идут тезисы к каждому пункту. Например: «Понятия нация, народ, отечество, семья враждебны большевизму, однако русская семья и русский народ не поддались сатанинской воле к разрушению» «русская семья спасена от гибели благодаря здоровому инстинкту нации; русская молодежь сохранила традиции своего народа... Те слои молодежи, которые заражены коммунизмом, должны очиститься от этого антинационального злоучения».

...Я вспомнил, как неделю назад Лиза принесла мне программу диспута, организуемого обществом «Старина», основные темы: «Почему утеряны наши традиции» «Влияние сионистско-масонских заговорщиков на отечественную культуру», «Зловещая роль Англии как матери мирового масонства».

Мама рассказывала, что в недобрых сороковых, когда началась вакханалия Лысенко против вейсманистов-морганистов, а потом стали искать «безродных космополитов» с нерусскими фамилиями и бороться против «мракобесия кибернетики», отец написал письмо Суслову: «Критика приобретает власовский привкус, очень знакомые формулировки»; через неделю его арестовали. Вакханалия кончилась после смерти выпускника духовной семинарии, в марте пятьдесят третьего; однако началась снова — исподволь — в конце шестидесятых В восемьдесят пятом затаились... А сейчас? Кому на пользу?

Еще одно сообщение отца в Центр: «Привожу выдержки из сборника «Воин РОА», выпущенного ведомством Геббельса: «РОА — явление необычайное потому, что это армия русская, то есть национальная по форме и существу, точно так же, как и доблестная германская армия. Наша задача: воссоздание Российского национального государства. Принципы его строительства вытекают из традиций русского воинства, осиянного Георгием Победоносцем и овеянного многовековой славой нашей седой старины. Корни этих традиций уходят

в историю. Армия генерала Власова есть единственная сила, которая может восстановить славное прошлое нашей нации...»

...Передают, что генерал Малышкин сказал группе офицеров штаба РОА, что Власов пытается противостоять нажиму немцев, осуществляемому через Штрик-Штрикфельда, который, например, постоянно подчеркивает, что «задача освобождения Украины от большевиков будет отдана Повстанической Армии батьки Мельника» и вообще «Украина никогда не будет частью России, но лишь германской территорией»; то же самое относится к Закавказским освободительным соединениям — регионы Азербайджана, Грузии и Армении станут немецким протекторатом, наравне с Туркестаном. «Ничего, главное победить большевиков, заключить почетный мир с немцами, — заметил генерал Малышкин, — а по прошествии времени наша доблестная РОА вновь вернет России ее исконные земли... Главное — стать на ноги, там видно будет... Розенберг хочет видеть Россию зауральской провинцией, без ресурсов туземных окраин, лишенной выхода к Черному морю, но ведь такое невозможно, только мы знаем, как держать в руках инородцев...» Видимо, осведомители СД сообщили об этой «программе» гестапо, поэтому теперь в новых пропагандистских публикациях максимум внимания уделяется вопросам «нравственности» и «духовности», чтобы отвести мысли членов РОА от технического прогресса, индустриализации и строительства, ибо именно это определяет реальную степень национальной независимости государства. Рассказывают, что эксперты Розенберга, Геббельса и Гиммлера провели совещание в генеральном штабе на Викторианштрассе, посвященное корректировке лекций и газетных публикаций для РОА в связи с созданием КОНРа — Комитета освобождения народов России. Полковник военной разведки ОКВ Мартин информировал собравшихся, что необходимо пересмотреть некоторые позиции НСДАП о «славянских недочеловеках». Более того, думая о перспективе, следует дозированно поддерживать «великорусский дух» среди пропагандистов РОА, широко информируя об этом сотрудников «украинского отдела», работающего с УПА, а также пропагандистов Туркестанского легиона (мусульмане) и Закавказских объединений. Это, по мнению полковника Мартина, не может не вызвать встречного националистического движения среди окраинных народов. Вот, например, выдержки из «памятки»

РОА: «Новые направления мировой мысли выдвинули задачу возрождения нравственных идеалов. Разочаровавшись в спасительности многочисленных рецептов социальных прожекторов, передовые люди поняли, что обновление общественной жизни должно начинаться с совершенствования духовности... Человек, семья, нация — таковы ступени нашего естественного объединения... Никакой прогресс техники и материального производства не может обеспечить людям счастья... Покорение воздуха привело к массовой гибели женщин и детей... Успехи химии дамокловым мечом газовой войны висят над современным человечеством...» (Передают, что этот абзац вписал лично Штрик-Штрикфельд, заметив полковнику генштаба Мартину: «Люди Власова эмоциональны, их надо всячески направлять в русло дискуссий по общим проблемам, отводить от реальных дел и планов».) «Духовный упадок приводит к измельчанию культуры... Массовые выпуски современной культуры означают падение наших духовных ценностей... Будем мы и дальше катиться по наклонной плоскости духовного регресса? Или повернем человечество к вершинам Духа? Особой остроты этот вопрос достигает в нашей нации. Основной поиск нашей души — поиски справедливости и правды. Наша философия чужда прагматизму и суете технического прогресса, мы прилежны этической философии. Этика изучает не столько существующее, сколько то, что должно быть, не мир реальный, но мир идеальный... В этом наша особость... В 1641 году в Париже была издана книга «Жизнь высшего общества», в которой сообщалось, что, мол, «появился надоедливый обычай мыть руки и лицо; есть даже чудаки, которые иногда моют ноги»... Между тем у нас уже в старину создалась традиция содержать свое тело в чистоте...»

...А как же Радищев, подумал я. Неужели он клеветал на мой народ, описывая страшные условия, в которых жили крепостные? А Салтыков, Успенский, Лесков? Горький? Помяловский?

...В одном из последних донесений отец писал: «Гиммлер наконец принял Власова... Беседа проходила с глазу на глаз в течение двух часов... Власов окончательно утвержден председателем Комитета освобождения народов России... Сделано это не без активного, хотя и незримого, нажима генерального штаба, особенно генералов Гелена и Хойзингера, которые считают, что сейчас необходимо печатать как можно больше фотографий

Власова вместе с Гиммлером, Риббентропом и Кейтелем на страницах итальянских, норвежских и датских газет, чтобы создать для западных союзников иллюзию единства «свободных» русских с национал-социализмом... Несмотря на то что антисемитская пропаганда Геббельса в последнее время приобрела совершенно болезненные формы, особенно после того, как Красная Армия вышла к границам рейха, Власов теперь не очень часто повторяет лозунг о необходимости «тотального решения еврейского вопроса», порою даже опускает слово «тотальное». То же и по отношению к нашим политработникам: «Мы намерены судить далеко не всех комиссаров, но только злостных приверженцев еврейско-масонского большевизма...» По поводу «большевистско-жидомасонского заговора» особенно надрывается поручик Бласенков Виталий Викентьевич; он перешел на сторону немцев в сорок третьем, как только попал на фронт, до этого служил в Ташкенте, родился в Мытищах, там и кончил школу. В пропагандистскую роту РОА поступил после того, как предал старшего политрука Извекова, казненного гестапо, — был руководителем большевистских пропагандистов в концлагере. Говорят, что он был учеником бывшего батальонного комиссара Зыкова, главного идеолога Власова, утверждавшего, что в Москве он служил в «Известиях» до того, как был расстрелян его зять, народный комиссар просвещения Бубнов. Однако после того, как Зыков был казнен СД, поскольку его заподозрили в полукровстве, Бласенков первым начал выступать против этого «жида», требуя проверки всего состава пропагандистов РОА на предмет обрезания, а также промера циркулями черепов и ушей, что, по мнению Розенберга, позволяет распознать степень скрытого еврейства... Однако профессора РОА — Аскольдов из Ленинграда, Львов, ведущий курс истории, Андреев, читающий основы теологии, также Осипов, преподающий курс критики основ марксизма-ленинизма, — называют такого рода приборы смехотворными: «Речь должна идти о генеральной деевреизации мира». Профессор Андреев, кстати, считает основной заслугой власовского движения то, что на захваченных большевиками у немцев русских территориях евреи не возвращаются на секретарские должности в райкомы: «Почему бы нам вообще не побрататься на этой основе с наступающей Красной Армией?» На что Бласенков ответил: «Она вас пулеметами побратает, не выдавайте желаемое за действительное...»

Любопытно, что поручик Бласенков в последнее время обрушивается не только на большевиков, но и на немцев: «Они готовы сдаться американцам, нас бросят на произвол судьбы, спасение в наших руках!»; он словно бы провоцирует гестапо; кстати, не он один сейчас норовит попасть в концлагерь, чтобы выйти оттуда страдальцем, — алиби на будущее.

(Я долго разбирал несколько слов, написанных карандашом напротив абзацев, посвященных Бласенкову. Точно определил подпись: «В. А.». Потом разобрал и другие слова — все сомкнулось; отец не мог понять, кто писал на него доносы, я — понял... Спустя тридцать лет после его смерти.)

«Штрик-Штрикфельд намекнул Власову, — продолжал отец, — что после его «Пражского обращения» о необходимости борьбы русского народа против большевизма целесообразнее всего уйти в отставку; возможно, это будет грозить вам концлагерем, но ведь западные политики уже изучают вашу антибольшевистскую, глубоко национальную программу... Кто знает, что может произойти в ближайшем будущем, когда фюрер уступит власть реальной силе?»

...Я долго держал ладони на этих листочках бумаги, как бы ощущая руки отца. Потом аккуратно завязал папку с грифом «хранить вечно», сдал ее архивариусу с тросточкой и отправился в читальный зал архива Октябрьской революции. Здесь я заказал материалы по делу «Союза русского народа» доктора Дубровина и речи депутатов Государственной думы...

Работал я с ними допоздна.

Вернувшись в редакцию, я достал из стола афишку, приглашавшую желающих посетить диспут «Старины» по проблемам сегодняшнего дня. Ведущим был указан доцент Тихомиров...

XIX.

Я, Валерий Васильевич Штык

Этот Варравин не понравился мне с первого взгляда; я сам закомплексованный и поэтому терпеть не могу себе подобных. Хоть он и говорит объемно, хорошим языком, по-русски, без опостылевшего жаргона, и не подгоняет с

ответом, но вопросы его излишне жестки, меня от такого прагматизма коробит, да и слишком резко он формулирует предмет своего интереса, ставя себя в какое-то начальственное положение, будто я к нему нанимаюсь на работу.

Не понравилось мне и то, как Варравин спросил:

— Отчего же до сих пор, несмотря на гласность, ваши работы об инопланетянах не выставляют в серьезных залах?

В этом его вопросе была и снисходительность, и жесткость, и затаенное желание с первой же минуты верховодить в беседе.

Ну, я и ответил:

— А вам, собственно, какое дело до моего творчества? *Я вас не приглашал, пришли без предварительной* договоренности, а если вы действительно репортер, то вам должно быть известно, что художники у нас пока что своих выставочных залов не имеют, только организации. Вот вы к ним с этим вопросом и обращайтесь.

— Обращался, — ответил Варравин и достал пачку «Явы».

— Нет уж, пожалуйста, табак спрячьте, я не курю и другим не позволяю, это — грех.

Варравин кивнул:

— Один из грехов.

Сигарету он сунул в рот, но, понятно, закурить не посмел.

— Что у вас еще? — спросил я. — Я занят, ваш визит неожиданный, а у меня время расписано по минутам.

— Я буду краток, — пообещал он. — Как вы считаете, сажать человека в тюрьму — греховно? Более греховно, чем сигарета? Или — так, суета, от тюрьмы да от сумы не уйдешь...

— В связи с чем вы спросили об этом? — я теперь испытывал к нему уже нескрываемую неприязнь.

— Вы в Загряжск летали?

— Ездил. А в чем дело?

— Вы там встречались с директором строительного треста Горенковым?

— Не помню я, с кем встречался. Я туда не встречаться приехал, а посмотреть объем работы и утвердить эскиз.

— Утвердили?

— Нет.

— Почему?

Мне сделалось стыдно за то, что я покорно, по-бычьи, отвечал на вопросы этого человека. Я ощутил себя так, словно лишился чувства перспективы, а такое было присуще только античным живописцам, они не хотели никому диктовать свое видение, только современные пейзажи с их глубиною навязывают зрителю единый порядок; не хочу никому ничего навязывать, но не желаю, чтобы и мне навязывали чужую волю, хватит.

— А вообще-то по какому праву вы меня допрашиваете? — поинтересовался я, внимательно разглядывая посетителя.

Он ответил мне тем же, но изучать меня начал не с лица, а с формы ушей, а у меня плохие уши, прижатые и маленькие, Люда говорила, что такие уши не могут быть у талантливого человека, уши — суть человека, мини-человек, изначалие...

Я поднялся:

— Извините, но время у меня кончилось. До свидания.

Варравин не двинулся, сосредоточившись на моем левом ухе; какая-то гоголевская ситуация, смех и ярость.

— До свидания, — повторил я. — Полагаю, вы достаточно воспитаны, чтобы понять меня.

— Сядьте, — насупился Варравин. — Вы, видимо, очень добрый человек и не очень-то понимаете тот мир, в котором живете. Я поясню ситуацию, вы не станете меня прогонять... В Загряжске арестован и осужден директор треста Горенков, — кстати, очень на вас похож, такой же незащищенный... Трагично: незащищенный руководитель, правда?

Я не хотел продолжать разговор, но что-то подтолкнуло меня возразить ему:

— Вы не понимаете смысла трагедии. Мы наивно считаем ее сгустком действий, хотя античные авторы видели в ней пассивное начало, любая активность противоречила самому смыслу трагедии, я уже не говорю о форме... Ритуальный плач на похоронах...

— Такую трактовку можно оспаривать... Каждый период истории имеет свою трагедию. Зачем загонять себя в рамки? Но я о другом: ваш соавтор, вернее, тот, кто должен быть стать соавтором, сообщил в партконтроль, что Горенков запросил с него десять тысяч за подписание с вашей бригадой договора на роспись домов...

— Это кто ж?

— Кризин. Он же с вами работал?

— Если Кризин написал такое, вы к нему и обращайтесь. У меня взяток никто не просил, — ответил я и вдруг съежился, в который уж раз вспомнив, как Виктор Никитич оформил нотариально соглашение, по которому я уполномочивал его вести от моего имени все финансовые переговоры, хотя загодя знал — от него же, — что буду получать лишь часть положенной мне по договору суммы: чем не взятка?

— Вы что-то хотели добавить? — спроил Варравин, медленно поднимаясь. — Или мне показалось? Между прочим, к Кризину я ездил. Он отказался со мной говорить — старческое недомогание, сердечные колики и все такое прочее... Он инвалид?

— А какое это имеет значение?

— Большое. Он не поехал на суд в Загряжск — именно по состоянию здоровья. Но подтвердил здесь под присягой, что Горенков — грязный вымогатель... И хотя следователь этот эпизод отчего-то в суд не передал, невиновного человека упекли на двенадцать лет строгого режима... Хотите, я расскажу вам, что он делал в своем тресте? Вы ведь пишете инопришельцев оттого, что в землянах изверились? Разве не это подвело вас к той теме, которую вы смогли разрабатывать только после того, как стали расписывать новые комплексы — особенно в Сибири? Раньше-то у вас, говорят, даже не было на что купить краски и кисти..

Меня снова взорвало:

— Вы что, досье какое собираете?! Может, вы не из газеты вовсе?!

— Вы говорите не то, что думаете, Валерий Васильевич. Стыдно... Вы ведь от бога художник, в вас талант...

Ну отчего мы все падки на такие слова?! Зачем верим им?! Любое слово — ложь, его надо пропускать сквозь, оставляя в себе только то, что может помочь живописи!

— Расскажите о том человеке, которого арестовали, — сказал я, не очень-то и желая этого.

И он начал рассказывать, перекатывая обсосанную сигарету из одного угла рта в другой...

Странно, когда он заметил, что этот директор премировал лучших рабочих и инженеров садовыми домиками, сэкономив деньги на договоре со мною, я подумал, что, имей я право сам заключить договор, я б больше десяти тысяч с него не взял, работа того не стоит, не я ж пишу, наемники. Но одновременно с этой мыслью возникла — вне моего сознания и воли — другая. «А вообще-то какое

он имел право дарить дома?» Поскольку этот вопрос родился помимо меня, темно и недобро, я, продолжая слушать Варравина, начал обдумывать возможные варианты ответов самому же себе и вдруг ужаснулся: откуда во мне этот рабский ужас? Отчего мы лишаем человека права на то, чтобы сделать добро другим?! Почему я сразу решил, что такое невозможно? Более того — наказуемо?! Откуда это сладостное тяготение к запрету?! А оттуда, что воспитывался я не в воздухе, а на земле, и видел все не сверху, как сейчас, а снизу! А память-то у людей воспреемственная! Разве я забуду, как наш бригадир, тетя Зина, ничего не могла сделать без команды председателя Громова?! А тот был тоже повязан: безоглядно выполнял все указания, что ему отзванивали из райцентра, — сколько чего посеять, в какие сроки и каким количеством техники. Ослушаешься хоть в малости — сразу комиссия, партбилет на стол, иди в поле! А как же в былые времена мужики — без всяких указаний — хлеб родили?! Впрочем, график Федотов говорил, что и раньше указания были, только не из района, а от помещика или его управителя. Вот и отбили охоту думать! Делай, что велят, и вся недолга. Лишь при Столыпине позволили выходить из общины, чтоб быть самому себе хозяином, да при Ленине, когда ввели нэп... Сразу вырос справный мужик, трудяга, землю чтит, сам себе голова, в доме достаток и надежа, и оттого — достоинство, как с такими управиться дураку-бюрократу? Пошлют его, чиновника, на хутор бабочек ловить, и весь разговор. Потому и называли умных и работящих кулаками, потому и сослали в Сибирь, а остальных впрягли в привычную общину: что сверху предписано, то и выполнять, не умничая. Все верно, но отчего во мне до сих пор живет темная страсть не позволить? Почему я, именно я, Валерий Штык, а не какой там бюрократ, сразу же подумал об этом директоре: «Нельзя, нарушение»? Горазды мы все валить на власть да на Запад, а сами-то, сами? А в том, наверное, все дело, подумалось с отчетливой, надмирной ясностью, что я, Валерий Штык, сам по себе — никто, червь навозный! Вот если меня Союз поддержит, да Худфонд утвердит, да комиссия пропустит, тогда я, собрамши двадцать бумажек, чего-то, глядишь, и смогу, да и то со скрипом; в любой миг каждый бюрократ может отослать за новой бумажкой, чтоб было по форме удостоверено: блондин, а никак не брюнет. Неважно, что и так видно, а может, ты крашеный! А из-

дай держава закон, что личность есть основа любого коллектива, что личность правомочна на поступки, — как бы вмиг все изменилось! Ан — не в миг, возразил я себе; только к рабству быстро привыкают, потому как в подоплеке его страх, а к свободе привыкнуть трудно, у ней врагов предостаточно, все те, кто бумажки переписывает, — главный ей враг, ибо понимает: лишись он права свою закорючку поставить — и конец ему, пшик, ноль без палочки! А сколько миллионов таких в державе?! У нас ведь только при Петре коллегии были, а так — или приказные дьяки, или думные, только никогда не было деловых. Завсегда верховная власть определяла не одну лишь главную идею, но и мелочи — что можно людишкам делать, а что заказано.

Когда Варравин стал рассказывать, как этот самый Горенков объявлял конкурс между строительными управлениями — кто хочет взять подряд, кто обещает скорей управиться с делом, больше сэкономить — не только для казны, но и для своих же работяг, — я снова подумал, что такое невозможно. Кто позволит? Идет против всего, к чему привыкли! Так только на Западе можно: объявляет муниципалитет конкурс на такую-то сумму, чтоб сделать, скажем, аэродром в такой-то срок и при отменном качестве, — вот фирмы и бьются, и никто их не планирует, у самих голова на плечах! И никто не отдает приказов: «Столько-то людей будут строить здание, а столько техники отправить на бетонное поле». И никто не спускает указаний, сколько цементу расходовать и какими гвоздями доски прибивать, — люди сами думают, на то они и личности... Если б я мог спокойно участвовать в таких конкурсах, как горенковские, я б, глядишь, на землю вернулся! Меня в небо-то потянуло, когда на нашей планете, на одной шестой ее части, настало такое безветрие, что тиной запахло, болотом... Вот мне и захотелось увидеть ветер в горах, и чтоб был он напоен запахами свежего сена...

По-прежнему не предлагая Варравину присесть, я спросил:

— Этот директор без разрешения такие дерзкие новшества стал вводить? Или имел санкцию на дерзость?

— А — потребна?

— Только на спокойствие и привычность санкций не требуется... Живи, как жил, пропади все пропадом, мы ж расписаны, по ящичкам рассованы — чтоб для учета было удобней! Да за одно то, что этот ваш Горенков...

— Наш Горенков, — тихо, но достаточно резко перебил меня Варравин. — Не мой, а наш. Если б победила его линия, вам бы жилось лучше... Мне... Всем нам.

— Повторяю, — раздражаясь еще больше, повторил я, — за одно то, что он подписал договор с молодыми художниками, сам с ними рядился, сам утверждал эскизы...

— Неправда. Сам он ничего не утверждал. Он с эскизами этих молодых художников вышел на общее собрание строителей, потом устроил выставку для общественности района и только после этого утвердил...

Я посмотрел на него с сожалением:

— А художественный совет где? Закупочная комиссия? Это только Суриков и Врубель без художественных советов жили, да и то потому, что филантропы существовали! А у нас филантропом может стать только начальник овощной базы... Но за эту филантропию ему еще пять лет добавят к приговору... Я никак в толк не возьму: зачем телевидение показывает то усадьбу Некрасова, то Ясную Поляну, то пушкинский домик? Это ж разлагающе действует на наших деятелей искусств! Нам ведь можно иметь только одиннадцать метров жилплощади на рыло, да двадцать, как члену творческого союза, — ни метром больше, хоть тресни! Большое искусство в тесноте не создается! Только отрыжка и ужас! Вон, Кафку почитайте! Для животворного искусства потребен простор и право на уединенность.

— Согласен, — ответил Варравин. — Правильно говорите, ценим массу, а не единицу, — оттого все беды...

Гипнотизер, что ль? Повторил мои мысли, я ж об этом только что думал. Или, может, сам с собою вслух начал говорить?

— Собственно, я кончил излагать историю нашего Горенкова, — заключил между тем Варравин. — История государства есть суммарность человеческих биографий, дневников, уголовных дел, исповедей, Валерий Васильевич... Никто не вправе рассуждать об истории своей страны, мира, пуще того, иных цивилизаций, если человек не пережил в себе самом его собственное время и собственную в нем роль. Если этого не случилось — художник уподобится паучку, скользящему по болотной воде...

— Это вы про меня? — неприязнь к этому человеку сменилась интересом: хорошо посаженная голова, хотя очень короткая шея, наверняка кто-то из предков был мясником; смотрит без зла, с суровым доброжелательст-

вом, слушая — слушает, а не думает свое, такие глаза интересно писать, хотя и не иконные они, а маленькие; тем не менее есть что рассмотреть, добрые глаза, честно говоря; окружить бы их на холсте пишущими машинками, такой холод, такая безнадега, забавный контрапункт — тепло супротив холода.

Варравин на мой вопрос ответил не сразу, снова прилип к моим ушам, нельзя так разглядывать натуру, я ж его не обижал своей пристальностью, вскользь изучал, а он лупится, зря эдак-то.

— Да. Про вас. Я к вам пришел после того, как навел справки о вашем творчестве, отчего ушли в затворничество, что подтолкнуло к отказу от прежней манеры живописи... Иначе б я не решился на беседу, потому что формально вы относитесь к числу врагов Горенкова, то есть наших врагов...

А чего ж тогда не спрашиваешь про Русанова, подумал я. Если так глубоко копаешь, то наверняка должен знать; Кризина мне Виктор Никитич подставил, чтоб не пугать фининспекторов заработками... Если коллектив много берет — куда еще ни шло, а когда один человек — нет, такого наша душа пережить не может, первобытные коммунисты, чтоб всеобщее равенство и никто, кроме вождя, не высовывался, вмиг голову снесем...

Я не стал торопить его с вопросом о Русанове; хочет — пусть сам спрашивает, а я помаракую, что ответить.

— Вы ничего не хотите мне сказать? — спросил Варравин, засовывая блокнот в карман. — Точнее: вы намерены войти в борьбу с греховным?

— Телефон оставьте...

— А вы Русанова спросите, — ответил Варравин. — Я думаю, он знает все мои координаты...

«Наблюдатели», которых тренировал культурист Антипов, сообщили мастеру, что «репортер» пробыл у «маляра» сорок минут; после ухода гостя «маляр» отправился к соседу, станковисту Вениамину Раздольскому; тренер Антипов, массировавший Тихомирова три раза в неделю, сообщил об этом благодетелю (вытащил его из грязного дела с малолетками именно он, Тихомиров); тот прервал массаж, потому что Раздольский был из стана врагов.

...Тихомиров не знал и не мог знать, что Штык просил у Раздольского подсолнечное масло, свое кончилось, а очень захотелось жареной картошечки, — разволновался

во время беседы, задело, а нет лучшего закусона в стакашке, чем жареная картошка.

...Через полчаса Тихомиров зашел к Русанову:

— А дело-то пахнет керосином, Витя.

Трое неизвестных напали на Штыка в подъезде; били его по голове, зверски; оглушив, сняли часы, вывернули карманы, взяли ключи от мастерской, похитили там эскизы, сделанные для Загряжска, фотографии, переписку с Русановым, а также все деловые бумаги, отперли гараж, выгнали «москвичок» и были таковы!

...По странной, но счастливой случайности, хирургом в клинике, куда привезли обескровленного Штыка, был Роман Шейбеко; посещал вернисажи, живопись художника ценил: он-то и должен был сделать все, чтобы спасти ему жизнь, — о большем не мечтал, слишком изуродован череп, били изуверы, знавшие толк в анатомии...

XX.

Я, Арсений Кириллович Чурин

Да, то, что должно было случиться, не могло не случиться; то, чем брюхатела Россия многие уже годы, свершилось.

Лет еще десять назад и я мечтал о перестройке, ах как я мечтал о том, что сейчас происходит, как бешено ярился тупости бюрократии, легионам контролеров, тьме запретов — бессмысленных, традиционно бессмысленных, а потому столь страшных, разрушающих экономику на корню...

Помню, как я был потрясен «Сказаниями иностранцев о России»; делал эту книгу не кто-нибудь, а самый что ни на есть русский патриот, высочайшего уровня интеллектуал, знал иностранные языки, много жил в Европе, а потому считал, что правда, пусть самая горькая, может помочь родине куда больше, чем умильные слезы по поводу дремучей старины, когда все было тихо, и спокойно, и прекрасно... Да никогда у нас не было тихо и спокойно!

Помню, как доктор истории, покойный Пересыпкин, выступая перед активом, произнес фразу, заставившую

меня съежиться: «Все мы по праву восторгаемся подвигом русских людей, пришедших на Куликово поле, но отчего не хотим озадачить себя вопросом: как случилось, что малочисленная Орда смогла одолеть Московию? Только потому, что нас разъедали амбициозные междоусобицы. Это — корень трагедии, и мы обязаны говорить об этом честно, хоть русскому сердцу и больно слышать такое, — значительно легче и успокоительнее свалить вину на кого-то другого, пусть все кругом виноваты, только мы правы... А ведь междоусобицы на Руси есть прямое следствие византийского влияния, вот бы о чем нам подумать. Мы восприняли религию той империи, которая стояла на грани крушения, не в силах предложить новые идеи конгломерату наций и религий, определявших суть и смысл Константинополя...»

Я потом проанализировал ситуацию в нашей области — я тогда был начальником строительного главка — и вдруг с явственным холодным ужасом увидел, что наши коалиции, группы, фракции — даже в районе, не говоря уж о городе, — разъедают, как ржа, общественное здоровье народа. Вспомнил «искровца» Курочкина, того самого, из прутковской команды: «Ах, какая благодать кости ближнего глодать!» Ну, не прозрение ли?!

Потом, уже перебравшись в Москву, я увидел у приятеля книгу «Поэты «Искры» и сразу бросился на Курочкина. И снова сжался, прочитав у него — одного из идейных авторов первой «перестройки», которая вот-вот, казалось, начнется в России после отмены рабства, — стихи: «Повсюду торжествует гласность, вступила мысль в свои права, и нам от ближнего опасность не угрожает за слова. Мрак с тишиной нам ненавистен, свободы требует наш дух, и смело ряд великих истин я первым возвещаю вслух! Порядки старые не новы, и не младенцы старики, больные люди не здоровы и очень глупы дураки. Мы смертны все без исключенья, нет в мире действий без причин, не нужно мертвому леченья, одиножды один — один. Для варки щей нужна капуста, статьи потребны для газет, тот кошелек, в котором пусто, в том ни копейки денег нет. День с ночью составляют сутки, рубль состоит из двух полтин, желают пищи все желудки, одиножды один — один... Эпоха гласности настала, везде прогресс, но между тем блажен, кто рассуждает мало и кто не думает совсем...» А потом мне открылся Дмитрий Минаев, выпускник Дворянского полка: «Великий Петр уже давно в Европу прорубил окно,

чтоб Русь вперед стремилась ходко, но затрудненье есть одно — в окне железная решетка...» И еще одно меня захолодило, его же, о «Последних славянофилах»: «...пронесся клик: «О, смелый вождь, пробей к народности ты тропу, лишь прикажи: каменьев дождь задавит дряхлую Европу! Иди, оставь свой дом и одр, кричат славянские витии, и все, что внес в Россию Петр, гони обратно из России! Верь прозорливости друзей: назад, назад идти нам надо! Для этих западных идей безумны милость и пощада».

Я, помню, даже оглянулся тогда, — так стало страшно! И ведь было отчего: спустя сто двадцать лет та же самая групповщина, интеллигенты разделены на тех, у кого «аэробика» вызывает истерические судороги («от нее все беды России, и Продовольственная программа не решена»), и на тех, кто понимает, что врожденный консерватизм — в конце двадцатого века — грозит державе не понарошку, а трагически. Ведь люди разбиты надвое: одни видят в Петре гения, другие — антихриста, пустившего в империю западных ворогов, всяких там Растрелли да Лефортов... А про то, что Ломоносов вышел из Петровых ладоней, помнить не хотят, а он ведь не в Туле учился, а в Саксонии...

Наверное, тогда именно я и решил: выхода нет; если сто двадцать лет назад не смогли удержать страну на пути реформы, после того как отменили рабство, урезонили цензуру, объявили право на слово, то почему сейчас успеем? Блюстители «святой старины», которых вполне устраивал застой, ныне развернули свои когорты против всего нового; крепкие люди, хоть и грамотой не блещут, зато объединены общей программой отрицания, отнюдь не утверждением нового...

...Видимо, к тому трагическому, что случилось со мною, я был достаточно подготовлен всем своим опытом; я не знал, что такое мздоимство, — в том смысле, как об этом говорится сейчас. Я раньше никогда не брал деньгами, хотя мог бы получать сотни тысяч — только б согласился. До тех пор, пока фонды распределяются сверху, пока кадровые назначения утверждаются узким кругом, пока выдвижение на ключевой пост своего человека представляется в общем-то нормальным явлением, — «подарок», «благодарность, «особое внимание» не могут просто так исчезнуть. До тех пор, пока работа человека оценивается не рынком, но бумажными показателями, взятку истребить не удастся.

Раньше я мог ненароком заметить в застолье, что не в силах купить жене дубленку, — «позор легкой промышленности, а еще гордимся тем, что были прародителями романовских тулупов»; можно было не сомневаться: через день-два Леле привезут шубку. Похвалишь на зональной выставке какой сервиз, постоишь возле него, не скрывая изумления, — после окончания работы выставки непременно доставят домой, скажут, мол, чашка какая разбилась, потому пустили в продажу как некондиционный товар, стоит семнадцать рублей сорок копеек, а ему цена триста с гаком. А перебравшись в Москву — это совпало с новыми веяниями, которые принес с собою Андропов, — понял, что положение круто изменилось...

Вот тогда я и принял Виктора Никитича Русанова, тогда и положил в карман конверт с пятью тысячами — всего за шесть букв, за подпись «А. Чурин», утвердившую договор с бригадой художников-оформителей жилого квартала, положенный на мой стол Кузинцовым. Впрочем, помощник довольно изящно закамуфлировал все это необходимостью поддержки патриотически мыслящих реалистов, хотя мне было ясно, что речь идет о шкурных интересах: поддержка доверчивых живописцев, людей не от мира сего, гарантировала сладкую жизнь пустомелям, стенавшим о страданиях отчизны от чуждых традициями сил; человек ищет камуфляж, пытаясь оправдаться перед самим собою, — внутри себя каждый норовит остаться честным...

Поняв, что Русанов постепенно начал обрушиваться в падучую — порою национальный пунктик лишал его здравомыслия, — я и заметил Кузинцову, что надо поискать новых художников, особенно чем-то обиженных; тогда они и предложили Штыка; я посмотрел репродукции его работ; талантлив; одобрил; тем не менее Русанов попросил и этого живописца писать лубочные штампы; я снова вспомнил поэтов «Искры» — нет надежды на дремучих; тот, кто уповает на возврат к прошлому, как на панацею от бед настоящего, — обречен.

А после того как забрали Юру Чурбанова, я понял — надо уходить, спасения нет. Леля уже много лет пила втемную, это не моя вина, а беда, я любил ее, люблю и сейчас, но женский алкоголизм неизлечим, я консультировался с Кубиковым, прекрасный врач и настоящий друг, сказал, что дело безнадежно. Дочь вышла замуж за геолога и уехала с ним в Сибирь — наперекор моей воле; матери пишет, что счастлива, родила двух девочек,

в Москву возвращаться не намерена. С каждым месяцем, не то что годом, я ощущал приближение старости, хотя мой отец называл пятидесятилетних — мальчишками: «Пора мужского расцвета, только сейчас и жить».

Когда я работал в провинции и обком стали бомбардировать жалобами из тюрем, я — по поручению бюро — отправился в городской острог и ужаснулся тому, что увидел: вонь, темнота, средневековье... Однако подполковник, водивший меня по казематам, построенным в конце прошлого века, убежденно говорил, что иначе невозможно. «Я тут посмотрел кино про американскую тюрьму, с телевизором и телефоном... Нельзя такие фильмы у нас показывать, разлагает людей. Тюрьма — институт страха, неотвратимости кары, только этим можно удержать от рецидива... Ужас воспоминаний о том, что несет с собою наказание, — лучшая гарантия от преступления».

...В последние недели мне то и дело вспоминались эти темные коридоры с непередаваемым, тошнотворным запахом карболки. Я отдавал себе отчет в том, что так или иначе конец наступит, а этот конец означает камеру, где сидят обросшие люди с ужасными лицами — пустоглазые, агрессивные, грубые... Я не знал, сколько у меня рассовано денег по тайникам на даче, во всяком случае, там были сотни тысяч, а кому они будут нужны, когда все кончится?

...С ювелиром Завэром меня познакомил Кузинцов; произошло это случайно — старик консультировал строителей, разрабатывавших проект новой афинажной фабрики; он мне и уступил бриллиант старинной работы о четырех каратах за семьдесят косых, показав швейцарский прейскурант: подобный камень, но худшей огранки, за бугром стоит пятьдесят две тысячи франков.

Загряжский проект, поломанный Горенковым, должен был дать мне еще пятнадцать тысяч; пять таких камушков обеспечат там безбедное существование. Конечно, уходить как изменник, я не мог, это ударит по Леле, она того не заслужила. Вот вы́носил в бессонной ночной тиши свой план: командировка за границу, прибытие, интервью, деловые переговоры, просьба о паре часов отдыха на море; оставил на песке одежду с паспортом — и был таков. Я как-то попал на пляж в Италии; приехали вечером, после окончания трудных переговоров: по городу, даже по центру, все ходят в купальных костюмах, никто за это в отделение милиции не волочет, живут люди сами по себе, не приближаясь друг к другу, отдель-

ность; магазинчики, в которых продают рубашки, костюмы, баретки всех размеров, расположены в тридцати метрах от берега; вошел в трусах, а через двадцать минут сел в поезд одетым, — ищи ветра в поле...

Год назад, во время заключения контракта, я помог главе фирмы Артегасу; после этого он звал к себе, сулил показать страну так, как ее никто из иностранцев не видел; адрес его вызубрил, телефон тоже, такому консультант необходим, а кто, как не я, смогу рассказать ему, как надо вести с нами дела?! Пусть дома поднимают кампанию: «Куда пропал заместитель министра Чурин?!» Пусть ищут. А я утонул, нет меня, прощайте...

Я понимал, как это ужасно; потерять родину на шестом десятке, но отдавал себе отчет и в том, что конец неумолимо надвигается, а смотреть на русское небо через намордники тюремных окошек ни у кого нет особого желания. Поэтому пора кончать; время; надо готовить себе командировку за рубеж, а это не просто...

...Павел Михайлович, наш куратор, слушал меня внимательно, кое-что записывал на маленьких листочках бумаги, тщательно их нумеруя. Особенно — я заметил — его интересовал вопрос о восстановлении Вологды, единственный памятник деревянного зодчества в Европе, который гибнет на глазах, а липучая бюрократия до сих пор не может обратиться к народу, пригласить так называемых шабашников, — за пару бы лет сделали город столицей мирового туризма.

— А при чем здесь Испания? — поинтересовался Павел Михайлович. — Я согласен, вопрос с Вологдой надо решать безотлагательно, но Испания при чем?

— В стране басков совершенно изумительные деревообрабатывающие заводы, ни одна щепка даром не пропадает... А вологодские власти стенают, что нет у них ни фондов, ни средств... Надо пригласить испанцев или итальянских специалистов по обработке леса, договориться о совместном предприятии и начать работу, ведь мы получили права, надо их реализовывать... Культура деревянного строительства — с нашими-то запасами леса — преступно забывается... кто не захочет иметь вдоль линий железных дорог — особенно в Сибири и на Дальнем Востоке — деревянные кафе, бары — нет, нет, не пивные! — пусть молочные, пусть соками торгуют, только б было где уютно посидеть, поговорить с друзьями... А разве плохи деревянные клубы? Улицы уютных домов-срубов? Говорим о необходимости строительства

малых городов, а все равно тянет в гигантоманию: дай цемент, шифер, кафель... А ну — нет их пока! Так что ж — сидеть и ждать у моря погоды? Самые фешенебельные дома в Скандинавии — деревянные... То же — в Западной Германии, Швейцарии... А мы все уповаем на спасительный кирпич, хотя выборочная порубка леса прямо-таки и необходима для сохранения нашего зеленого богатства... Без подъема общей культуры не сдвинемся мы с мертвой точки... И без права руководителя на вариантность решений...

— Мы же дали такие права руководителям, спустили директивы!

— В том-то и беда, что снова спустили директивы, Павел Михайлович! Но ведь не спущенная директива, а право гарантирует не статистическое, а реальное движение... Я каждый день сотни бумаг отфутболиваю на согласование... А ведь пишут-то люди инициативы! А я согласовываю, согласовываю, увязываю, примеряюсь, страхуюсь...

— Так не надо попусту страховаться...

Павел Михайлович снял трубку «вертушки», соединился с Иваном Федоровичем: «Хотел бы посоветоваться по поводу возможности реализации положения о смешанных предприятиях в нашей отрасли... Да... Именно... А когда он вернется? Так, может быть, к Андрею Филатовичу? Думаете, неудобно? Хм... Ладно, я доложу наши соображения...»

О чем я колгочусь, подумалось мне тогда. Я говорю с таким же живым трупом, как и я сам. Он тоже ходит под инструкциями и директивами, тоже ждет указаний сверху... Бедные мы, бедные! Но ведь каков парадокс: я, думающий ныне о себе, строящий свою личную комбинацию, забываю обо всем, когда речь заходит об общем деле! В чем моя вина?! В том, что я рвался в бой, а меня не пускали?! Но разве это вина?! Я жертва! Обыкновенная жертва, как и тысячи руководителей моего кроя и силы! Жертва я, а не злодей! Нас всех давит потолок, всех — от каменщика до министра! Мы до сих пор сторонимся открыто говорить о заработке, все шепчемся, что, мол, овес дорожает, на одну зарплату не проживешь... Откуда у нас это жуткое желание ограничить заработок окружающих?! Экономия? Да какая же это, к черту, экономия? Ведь на этой гнетущей уравниловке теряется энтузиазм и вера в возможность перемен! Математика проста, как мычание: рабочий на конвейере

недовернет гайку, сущая, казалось, ерунда, а это ведь рекламация, гигантские убытки! А плати ему процент от выручки, знай он, что нет потолка — он бы гайку эту обсасывал, на зуб пробовал! Да о чем я, черт меня подери! Мне надо выбить себе командировку, надо подвести Павла Михайловича к тому, чтобы он позвонил министру, а тот должен назвать мою фамилию, и он ее назовет, — никто, кроме меня, не имеет таких связей с фирмами по обработке дерева, никто!

...Я никогда не чувствовал себя так ужасно, как в октябре, в тот день, когда посадили Горенкова. Честно говоря, посадили-то меня самого, мою идею упрятали за решетку! Но кто толкнул его под руку отказать бригаде Русанова?! Кто?! А никто, ответил я самому себе. Время толкнуло. Но, по счастью, время новое, а законы старые, можно попридержать тех, кто рвется вперед: «Иди, как мы все, по камням и не выдрючивайся»...

...Я знал условия игры: если хочешь поехать в командировку за рубеж — готовь осаду начальства выгодной темой переговоров, а сам стой в стороне, всячески выказывая при этом свою незаинтересованность в вояже. Очень важно быть выверенным и точным в реакции на предложение: «Остались хвосты по сдаче в эксплуатацию жилых комплексов в Тюмени, нет времени, пусть поедет кто другой из замов...» Хотя, стоит только помянуть Тюмень, как со мной сразу же согласятся, боевой регион, нет, Тюмень упоминать нельзя; мы все плачем по Нечерноземью, но скажи, что отстает, к примеру, Пенза, — дело пройдет, а с Тюменью нельзя обращаться вольготно, действительно, пошлют другого. Каждое слово должно быть заранее взвешено, обсмотрено со всех сторон, каждый нюанс имеет решающее значение... Сначала наверх идет записка, в которой ставится вопрос и выказывается не только компетентность, но и смелость, столь угодная духу времени, с элементами жесточайшей, в чем-то сенсационной критики; такую бумагу запомнят. Потом надо организовать унылый документ аппарата о том же самом, но с перечислением работ, которые невозможно выполнить по объективным причинам; а уж после этого выступление на общем собрании с разгромом унылой бумаги и повторение собственных предложений, — дело, считай, начнет крутиться. Конечно же, и тут без бумаг не сдвинешься, — сначала записка об оформлении, характеристики, объективки, ожидание решения, словом, все, как полагается (в двадцатых-то годах легко путе-

шествовали: большевики в эмиграции настрадались, их на Запад не тянуло, да и потом тогда мог уехать каждый, кто хочет). Затем, конечно, начнутся беседы, составление плана, согласование оптимальных цен, анализ всех статей возможного предварительного соглашения — месяцы уйдут, бессонные месяцы, когда каждая ночь наступает как ужас... Никогда не забуду, как однажды в Мадриде испанский коллега извинился передо мной: «Дорогой дон Чурин, не сердитесь, я должен покинуть вас на сегодняшний вечер и завтрашнее утро, только что позвонили из Лондона, очень интересное предложение, я заказал билет на вечерний рейс, — иначе пропустим выгодную сделку...» Да пусть бы мне предложили в Лондоне бесплатный проект нового домостроительного комбината, — все равно раньше чем через месяц не выеду, если вообще почтут целесообразным отправить меня: «А отчего ему предложили? Нет ли там чего-нибудь такого-этакого?!» И отправят вместо меня дубину стоеросовую, а в любом деле важнее всего личный контакт, без него — конец, сколько времени потратится на притирку, даже в семье до конца дней отношения строятся, а уж в бизнесе — тем более...

...Я пал, потому что меня — после многих лет пребывания в креслах — обуял страх... Именно страх... Я мучительно, постоянно думал о том, что будет со мною, если я допущу какую-то оплошность, явственно представлял себе ужас снятия с работы, то роковое утро, когда за мной не придет машина и надо будет толкаться в метро, отправляясь на работу в какую-нибудь строительную контору, идти через чавкающую грязь, спотыкаться на плохо струганном полу барачного коридора, освещенного тусклой лампой, мерзнуть возле плитки, включенной тайком от пожарной инспекции, — тех не колышет, что холодно и сыро, есть инструкция, что не положено, — вот и не позволю... Решись я собрать бригаду шабашников — золотые мужики, трудяги, — жил бы в радость и зарабатывал от души, но ведь поздно, ставки сделаны.

Страх въелся в меня постепенно, исподволь. Он входил вместе с привычкой к льготам: хороший санаторий, двусменная машина, лечебное питание, отменная поликлиника. Вообще-то льготы эти нормальны, потому что государство освобождает меня от суеты, разрешая всего себя отдавать работе. Не может руководитель стоять в очереди за мясом — он тогда не о деле будет думать, не об общем благе, а о том лишь, как бы управиться

с бытом... Эх, мать ты моя родная, наладили б сервис, дали б людям возможность бесстрашно, по-честному калымить — не было бы этого разъедающего страха за будущее. Алогичные мы люди, честное слово! Кому охота перевыполнять план? В следующем году тебе этот перевыполненный, добытый кровью план сделают нормой... Никакого резона вкалывать, лучше придержать, работать вполсилы... Откуда на нас такая напасть?! Зажать, не пустить, не разрешить заработать? Зависть присуща всем народам, но те считать умеют: «Я ему разрешу, но зато и получу с него от души». А мы — неподвижны: «Не дам», и вся недолга...

...Вскоре после нашей беседы Павел Михайлович сказал, что вопросы я поднял интересные, «будем решать, давайте конкретные предложения». Тогда-то я и понял: близится поездка, надо готовиться, тогда-то снова встретился с Завэром — тайком от Кузинцова — и попросил у него самый уникальный камень.

Старик отдал изумруд старинной работы, в бриллиантах; я передал ему сто тысяч, большую часть того, что мне заработал Русанов. Хотя, нет, заработал я, лично я, он только принес, в моей власти наложить резолюцию «да» или «нет», резолюция к законам здравого смысла приложима далеко не всегда, и до тех пор, пока я вправе черкать красным карандашом в верхнем левом углу служебных документов, в моих руках будущее. Но жизнь есть жизнь, она внесла свои коррективы. То, о чем я мечтал, — свершилось, но я — волею судеб — оказался среди врагов того, что могло бы дать мне вторую молодость. Ан нет, не выйдет, ставки сделаны.

XXI.

Я, Роман Шейбеко

Начало операции было трудным; Штык желтел на глазах, уши сделались плоскими, длинными, словно бы он носил тяжелые серьги, хотя все то время, пока его раздевали, мыли и поднимали в операционную, они были маленькими, по-заячьи прижатыми к кровоточащему черепу.

Он начал желтеть, когда мой коллега, анестезиолог Вали-заде, сделал страшные глаза:

— Кислород кончился!

Я уже приступил к трепанации, Гринберг работал с рваными ранами на груди и брюшине; если кислорода не дать через несколько минут, Штыка ждет неминуемая смерть.

Я понял, что просить операционную сестру Клавочку бесполезно, она ничего не сможет сделать; такой случай у нас не первый уже: слесарь клиники получает сто десять, за такие деньги смешно требовать тщательности в работе, наверняка совместительствует, — наша «экономия» похожа на неразумную плюшкинскую скаредность. Глупо экономить на спичках, а у нас даже на нитках экономят, — больных порою нечем зашивать; скажи кому, не поверят, но ведь правда!

Сорвав перчатки и маску, я бросился на пятый этаж — там стоял запасной баллон, — взбросил его на плечо и ввалился в лифт для больных; дядя Федя, отставник, пришедший к нам, чтобы не помереть от непривычного сидения дома, подсобил, подключили кислород, и я, облившись йодом, вернулся к операционному столу, с ужасом ожидая худшего.

— Сердце работает, — сказал Вали-заде, — дыхание стало улучшаться.

...Если человек перестает удивляться — он кончен как личность. Профессионализм, казалось бы, должен убивать это великое чувство — стимулятор творчества. Никогда не забуду, какое впечатление произвел на меня рассказ Твардовского о печниках, напечатанный в «Огоньке», — вот настоящая проза, гимн профессионалу, что не устает удивляться собственному труду, который холодную избу делает родимым домом...

...Врач ныне подобен священнику; никому так не исповедуются, как нам: мы готовы отпустить больному все грехи, только б выздоровел... Сколько историй рассказывают они, всматриваясь в твои глаза, желая выведать приговор себе! Один пациент — когда я успокоил его ложью — вспомнил, как Александр Трифонович с детским недоумением прочитал Указ о награждении его орденом Трудового Красного Знамени в день шестидесятилетия, а сколько тогда геройских звезд раздавали литературным пигмеям, скольких голых королей представляли стране «тонкими психологами, стилистами и создателями нового жанра прозы и поэзии»?! Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Твардовский не потерял редкостного дара удивления, он горько переживал обиду, а ведь это стресс, который трудно перенести художнику, живу-

щему правдой, а не спасительным компромиссом... Никогда не забуду седого поэта, который привез к нам на операцию матушку; огромные голубые глаза его были странно остановившимися, вечно удивленными:

— В трудные сороковые, — чеканно, словно рубя прозаическую фразу на поэтическую строку, говорил он, — когда начался шабаш и черные силы доморощенных расистов ловили космополитических ведьм, маленький, ссохшийся от затаенного страха Михаил Светлов сидел в ресторане Дома литераторов — его профиль отражался на стене словно молодой месяц — и грустно смотрел на проходивших мимо боссов. Один из них заметил в глазах поэта нечто такое, что понудило его остановиться: «Миша, не смотри так, смени гнев на милость»; Светлов ответил: «Только этим и занимаюсь с утра до вечера, наверное, потому пока еще жив»...

...Я вскрыл череп художника Штыка и поразился странной форме его мозга и чрезвычайно большому объему... Боже мой, красно-бело-темная масса клеток, включающая в себя миллиарды функционально расписанных по должностям крох, рождала видения чужих планет, пришельцев, тревожную затаенность Вселенной... Отчего равные возможности, данные человеку природой, столь загадочно разделяются между миллиардами простых смертных и теми, кто видит больше, чувствует отчетливей, мыслит прозорливей?!

Какое счастье быть акушером или спортивным врачом — каждый твой жест несет изученное облегчение болящему... А здесь?! Как быть здесь?! Я получил право на вторжение в святая святых цивилизации, в мысль человеческую... Справлюсь ли? Да, ответил я себе, ты обязан справиться, иначе Штык умрет. Ну и что? — спросил я себя. Я ужаснулся этому вопросу. Мы часто ужасаемся правде, проще обойти ее, отодвинуть, сделать более удобной для тебя, чтобы не отвечать бескомпромиссно и резко. Но, быть может, Штык потеряет тот дар, которым его наделила природа? Тогда и жизнь станет ему в тягость, более того, сделается ужасной, потому что память о таком прошлом, которое невозвратимо, превращает жизнь в ад.

Господи, помоги мне, сказал я себе уже после того, как начал работу. Она будет долгой, часов шесть. Я всегда молю о помощи — не себе, а тому, кто недвижно лежит на столе; нельзя не помочь тому, за кого молишь.

Нет, ответил я себе, увы; даже Бог помогает только сильным.

...Штыка били очень сильные люди, которые достаточно хорошо знают анатомию, били для того, чтобы сделать художника калекой, беспамятным уродом; так могут бить люди, имеющие медицинское образование... Или же массажисты... Патологоанатомы... Хотя кто может помешать инженеру или шоферу приобрести учебники и самому изучить наиболее уязвимые, болевые точки человеческого тела? Как это страшно — приобретать учебник, кладезь знаний, чтобы превращать талант в беспамятливую убогость... Наверное, предмет зависти и ненависти более всего расписан в литературе потому именно, что мир населен множеством сальери, которые плотно окружают маленьких Моцартов. Пушкин смог так написать свою поэму, потому что он сам — Моцарт... Как же этот маленький африканец чувствовал зависть бездарей, которая, подобно петле, медленно душила его! И мы еще говорим о справедливости! Хотя один доморощенный гад убеждал меня, что все происходящее справедливо: если бы Пушкин не умер вовремя, глядишь, написал бы такое, что перечеркнуло всю его литературу, Линкольн мог пойти на компромисс с работорговцами, а Джордано Бруно начал бы преподавать богословие.

Я, помню, спросил: было ли справедливо появление Гитлера? Может быть, истории угодно, чтобы он умер чуть раньше? Скольких маленьких Эйнштейнов, Толстых и Сличенко он бы не успел сжечь в газовых печах...

Этот же гад говорил: «Рома, каждая нация должна петь, говорить, писать и снимать фильмы на своем языке и про свои проблемы». Тогда я спросил: что делать с книгой «Наш человек в Гаване»? Ведь Грин англичанин, а не кубинец... И почему бы не выбросить из «Войны и мира» главы, посвященные Наполеону? Пусть бы об этом сочиняли французы... Да и какое имел право Лев Николаевич — по вашей логике — писать «Хаджи Мурата»?

— Дыхание больного нормальное, пульс ровный, — сказал Вали-заде, не отрывая глаз от своих аппаратов.

...Я помню, какое впечатление на меня произвело посещение Руана, города Флобера. Там есть музей, один зал посвящен хирургии прошлых веков; поразителен графический триптих; больной перед операцией пьет стакан спирта; сама операция — предметно и безжалостно показывается, как несчастному (не очень люблю слова «пациент» или «больной», все мы «пациенты» и «больные» в

той или иной степени) пилою отрезали ногу, и он смотрел на это глазами, полными ужаса, рот разорван истошным воплем; третья часть гравюры — отпиленная нога в корзине, бедняга истекает кровью, хирург зашивает культю. Жестоко? А какая правда бывает добренькой?

— Давление? — спросил я Клаву.

— В пределах нормы.

— Возьмите кровь, пусть посчитают на компьютере...

Этот японский компьютер мы выбивали полгода: пока-то получили валюту в Госплане и Министерстве финансов, потом включился Внешторг, начал запрашивать предложения в своих представительствах, а люди умирали, умирали, умирали... Поразительно: общество коллективистов, а разъединены по тысячам сот! Между нами стоят высоченные заборы, а надзиратели, смотрящие за тем, чтобы кто не перепрыгнул, обложены на своих вышках миллионами инструкций — что можно, где нельзя... Дышать — можно, все остальное надо утвердить.

Когда я предложил свой метод операции, все документы и обоснования отправили на консультацию трем профессорам; один из них поддерживал меня, два других в упор не видели... Конечно, они выступили против... А ведь речь шла только о том, чтобы напечатать в нашем вестнике! Пусть бы хоть дискуссия началась! Нет! Все новое положено душить в зародыше... Свобода мысли и слова! Надо б скорректировать: «Свобода проконсультированных слов и утвержденных мыслей...»

Интересно: я весь отдан операции, погружен в таинство открывшейся мне материи, являющейся субстанцией Валерия Васильевича Штыка; годы наработали автоматизм движений, хотя каждая операция — это новый штурм тайны, но мысль мне неподвластна и многомерна; я фиксирую лишь отдельные ее фрагменты, они пролетают сквозь мое сознание, и я не уверен, придут ли они ко мне еще раз... Я — ладно, рядовой хирург, а вот сколько мыслей проходило сквозь Склифосовского, Пирогова, Спасокукоцкого, Юдина, Боткина?! А сколько мыслей Пушкина, Толстого, Блока, Маяковского прошли сквозь них и канули в вечность? Американцы держат при каждой мало-мальски серьезной личности двух «скрипт-герлз», секретарей-стенографисток: ни одно слово, ни одна даже случайная мысль не оказываются потерянными, да и карманные диктофончики имеют, которые весят двести граммов и продаются на каждом углу, а не из-под полы у фарцовщиков... Смешно... Профессия, которая об-

речена на исчезание в тот самый день, когда государство вернет золотой червонец, который можно менять на проклятую свободно конвертируемую валюту... Не надо искать виновных там, где виноваты сами...

— Кровь в пределах нормы, — шепнула Клавочка, — пока все идет хорошо.

— Постучите-ка по дереву, — посоветовал я ей, чувствуя, что мой старый и верный дружочек и на этот раз верно чувствует ход работы...

После того как Штыка увезли в реанимацию — я управился за пять часов, быстрее, чем думал, — мы поднялись в ординаторскую и поставили чайник. За то, что семья спасенного принесла тебе букет, теперь перестали сажать, как за взятку, но если б контролеры пронюхали, что Потапов, которого мы вытащили из клинической смерти, подарил нам две банки «липтона», не миновать всем нам скамьи подсудимых. Между прочим, за такую операцию, что мы ему сделали, он бы на Западе уплатил не менее пятидесяти тысяч долларов, а тут — две банки и пять лет срока в тюрьме, вот логика, а?! Я понимаю, продавали б этот самый «липтон» в магазине, можно было б и отказаться от подарка, но ведь нет его, днем с огнем не найдешь!

Вали-заде сидел сгорбившись, опустив длинные руки между острыми коленками, — почему-то у большинства восточных людей очень тонкие ноги; Клавочка прислонилась к стене и, достав маленькое зеркальце, рассматривала свое лицо с некоторой долей умиления; я колдовал над чаем; Гринберг прилег на кожаный диванчик, а Саня Протасов, приходивший к нам на помощь, когда меняли капельницы, замер у окна, наблюдая, как размытый рассвет становился реальным утром, серые тона неба делались голубоватыми, и в них угадывалось бело-розовое. Утреннее солнце совершенно непохоже на вечернее: казалось бы, какая разница, утро или ночь, и там и тут центром является светило, но отчего восходы отмечены печатью молодости и надежды, а любой закат ассоциируется с усталостью! «Утомленное солнце нежно с морем прощалось...» Казалось бы, вульгарщина, а может быть, именно в этой строчке никому не известного автора текстов для танго и было то открытие, к которому еще не подкрались ученые? Может быть, действительно солнце устает за день? Отдает слишком много энергии суматош-

ной земле, погруженной в свои крошечные — не его масштаба — заботы? Доктор Холодов прав: почему не допустить гипотезу, что Земля — это гигантский спутник, магма — топливо, а все мы — обитатели межпланетного корабля. Если существует мир трех измерений, то отчего не допустить возможность существования царства пяти или шести неведомых измерений, жителям которого и само солнце-то кажется букашкой? Рассматривают Вселенную под микроскопом, как неведомо малую величину...

— Каждая операция такого рода, — сказала Клава, — оставляет на моем лице три новые морщинки. Я подсчитываю.

— У тебя характер веселый, — откликнулся Вали-заде. — Смеешься много, оттого и морщинки... Была бы помоложе на десять лет — женился б.

— С таким жуиром, как вы, я бы очень быстро исплакалась, — сказала Клава. — По-моему, Люда с седьмого этажа потеряла из-за вас сон.

— Она потеряла сон из-за «Волги», — усмехнулся Гринберг. — Вали, объясни, отчего у вас, мусульман, такая страсть именно к «Волгам»?! Мы, евреи, тяготеем к маленьким машинам, предмет мечтаний — «Жигули»...

— Вы пуганые, — ответил Вали-заде. — А мы на подъеме, у нас аятолла Хомейни, зеленое знамя Корана одолеет красное знамя дерзновенного большевизма...

Чай у меня получился отменный, как всегда. Конечно, я, как и каждый мужчина, подвержен хвастовству, но в данном случае я не грешу, истинная правда, когда выйду на пенсию, и если к тому времени не задушат индивидуальный труд, открою домашнее кафе. Ириша станет делать вареники, полтавская хохлушка, чудо что за вареники, я, наверное, и верен ей потому, что она готовит так, как никто другой в мире... Мне вдруг стало стыдно этой мысли — пусть даже горделиво-шуточной, — но ведь мысль так же невозможно вычеркнуть из бытия, как и слово; пословица про то, что написанное пером нельзя вырубить топором, вполне распространяется и на мысль, пожалуй, еще в большей даже мере...

— Между прочим, — возразил я Гринбергу (хороший врач и парень приличный, но дикий зануда), — ты забыл ту притчу, которую я единожды рассказывал...

— Какую? — спросил он. — Я заношу все ваши притчи на скрижали.

— Про баню и раввина...

— Вы такую не рассказывали, — ответил он. — Про

раввина я бы запомнил непременно. Я весь внимание, босс...

— Так вот, евреи решили в своей деревне построить баню...

— Когда это евреи жили в деревне? — Клавочка рассмеялась.

Вали-заде вздохнул:

— Последние десятилетия наша история стала умалчивать, что до революции евреи в России не имели права жить в городах и обитали в черте оседлости.

— Ой, правда?! — Клава искренне удивилась. — Вот бедненькие! Ну, так что про баню?

— А про баню вот что, — продолжал я. — Одни евреи отчего-то считали, что пол не надо стругать, а другие требовали класть тщательно обструганные доски. Раввин выслушал тех и других: «Евреи, не надо ссориться: каждыи из вас прав по-своему. Давайте доски обстругаем, но класть их будем необструганной стороной вверх...» Вы спросите, к чему это я? К тому, что прав я: езжу на «Москвиче»...

— Ну и ну! — рассмеялся Гринберг. — Он ездит на «Москвиче»! Он ездит на «симке»! Ваш новый «Москвич» целиком срисован с французской модели, стыд и срам!

Через два часа Штык разлепил бескровные губы и посмотрел на меня с трезвой, пугающей задумчивостью, — словно бы не был только что под наркозом.

— Где вы? — спросил я его тихонько, чтобы понять, понимает он происходящее или нет.

Штык ответил:

— В... аду...

А что, верно. Ну, может, все же чистилище? Ад у меня ассоциируется с другими учреждениями.

— А как вас зовут?

— Ш... Ш... Штык, — ответил он, пришлепывая пересохшими губами. — Пусть сюда срочно п... придет Варравин... По... по... пока я не у.... у... умер...

— Если ночью не умерли, сейчас будете жить...

Закрыв глаза, он прошептал:

— Нет... У м... меня мысли с... ска... скачут... Не дер... держатся... Очень б... быстрые...

— Кто такой Варравин?

— Р... репор... тер... Он нам нужен...

— Нам? — переспросил я.

— Вам тоже, — ответил Штык и закрыл глаза. — Только не об... манывайте меня, б... будет поздно...

Оперативник из МУРа, ожидавший конца операции, отошел перекусить; я спустился вниз, рассказал Вали-заде, Потапову, Клавочке и Гринбергу об этом странном разговоре, заметив:

— Работу мы сделали отменную, я боялся, что Штык станет недоумком... Помните, я показывал на кровоподтек? Я его больше всего боялся... Скажите на милость, получилось, а?!

Клава села к телефону, набрала «09» и попросила номера московских редакций. Ей ответили, что больше трех справок за один раз дать не могут. Почему? Отчего мы такие жестоко-неповоротливые? Кто дал право заставлять Клаву, измученную после операции, вертеть диск пять раз, постоянно натыкаясь на короткие гудки?

Я взял трубку из рук Клавы:

— Милая девушка, вас тревожат из института Склифосовского... Мы врачи, звоним по неотложному делу после тяжелой операции. Зачем вы так? А вот если бы вы к нам попали, а мы бы предложили вам рассказывать, что с вами случилось, трем разным врачам с перерывом в полчаса?

— А я на красный свет улицы не перехожу и попадать к вам не собираюсь, — отразила девица и дала отбой.

Ну гадина, а!

Вот тогда-то я и позвонил старому приятелю, полковнику Славе Костенко из угрозыска.

XXII.

Я, Иван Варравин

Главный редактор вызвал меня вечером, когда я вернулся из архива, и молча протянул письмо с прикрепленной к нему форменной бумажкой, — явно из отдела писем, только не нашего, а сверху.

Письмо было отправлено по трем высшим адресатам; писала Глафира Анатольевна, мать Оли.

В общем-то я сразу понял, в чем дело, ознакомившись с первым абзацем. Я не ошибся: «Издевательство над беременной женой», «вправе ли человек с таким моральным

обликом работать в комсомольской прессе», «как соотнести святое слово «перестройка», а она ведь и морали касается, с тем, что любовники — Е. Нарышкина и мой зять, отец ребенка, которого носит под сердцем дочь, — на страницах газеты призывают к справедливости и честности, к духовности и моральной чистоте, а на самом деле глумятся над этими святыми для каждого советского человека понятиями». Ну и все в таком роде: как я унижал Ольгу рассказами о моих прошлых любовницах, не таясь, продолжал с ними встречаться, не ночевал дома, а потом и вовсе выгнал из квартиры несчастную женщину — такое действует убойно.

— Ну и что? — спросил я, вернув главному письмо с резолюцией на бланке: «Разобраться и сообщить».

— Тебе видней, — ответил он. — Даже будь это неподписной текст, я бы и то не решился бросить в мусорную корзину: речь идет о беременной женщине.

Раньше я называл главного, как и было принято в молодежной газете, по имени и отчеству, конечно же, на «вы». Он старше меня на девять лет, шеф, член бюро и все такое прочее; я не очень задумывался, что в такого рода отношениях заложена холопская покорность — с одной стороны и барская вседозволенность — с другой. Я осознал эту ситуацию именно сейчас, каким-то внезапным, жарким озарением.

— А ты позвони моей жене, Оле, — сказал я главному, спокойно, без малейшей демонстрации перейдя на «ты». — Пригласи ее к себе, побеседуй. Спроси, отчего у нас случился разлом? А потом послушай меня.

— Хорошо, — главный, не дрогнув лицом, кивнул. — Вполне разумное предложение, принимаю... Давайте телефон вашей жены, записываю...

Он перешел на «вы» так же мягко, никак не выказывая слом его отношения ко мне.

Я продиктовал номер:

— Оля сейчас живет там.

— Давно?

— Четыре месяца.

— Вы предпринимали какие-то шаги, чтобы ее вернуть?

— Да.

— Какие именно?

— Это мое дело.

— Так или иначе, но вам придется рассказать об этом на собрании...

— Я не буду рассказывать об этом на собрании.

— Почему же? Вопрос ведь поставлен... Не считайте, что я сразу же стану на сторону вашей тещи, я отношусь к вам с уважением и ценю вас как одаренного журналиста... Но я не могу пройти мимо этого, — он кивнул на письмо, — человеческого документа... Да и коллектив меня не поймет...

Ну и формулировочка! Горазды же мы на змейство попробуй возрази, — «на коллектив замахиваешься»?! Я на ханжество замахиваюсь, не на коллектив.

— Значит, звонить не хотите?

— Отчего же? Я поручу это Василию Георгиевичу...

Вася Турбин, он же Василий Георгиевич — секретарь нашего партбюро, ему двадцать семь лет, хороший парень, прошел на выборах единогласно, редкий случай

— Хотите, я приглашу его? — поинтересовался главный.

— Хочу. Он еще не читал?

— Нет. Я ждал разговора с вами...

— Очень хочу, — повторил я. — Надеюсь, этика позволит мне присутствовать при его разговоре с Глафирой Анатольевной?

— Не знаю... Посоветуемся...

Наш секретарь пожал мне руку: «Привет, старик, я тебя сегодня искал, куда запропастился?»; обернулся к главному: «Что случилось?»

Тот молча протянул ему письмо.

Вася прочитал стремительно, лицо его пожухло, словно цветок на солнцепеке, он поднял на меня голубые глаза, в которых была нескрываемая растерянность, и тихо спросил:

— Это правда, Иван?

— То, что мы не живем с Ольгой, — правда. Все остальное — ложь. Мне кажется, это звено в провокации со стороны тех, кого я сейчас вытаптываю.

— Кого вы сейчас вытаптываете? — спросил главный. — Загряжское дело, о котором мне говорил Кашляев?

Я поинтересовался:

— Он говорил, что дело это путаное? И что лучше бы нам вообще в него не лезть, пока не разберется прокуратура? Правда?

Вася опередил шефа:

— Точно, он мне так говорил.

— Я в этом не сомневался, Вася. Я спрашиваю Анатолия Ивановича...

Главный откинулся на спинку кресла:

— А вам не кажется, что разговор у нас принял не тот оборот, товарищи?

Меня так и подмывало рассказать, как Кашляев похитил мою записную книжку, как он с нею отправился к реставратору Русанову, тот — к доценту Тихомирову, а уж вместе, кодлой, они посетили Томочку, гадалку, которая каким-то образом четко вычислила, что мать Ольги, Глафира Анатольевна, возглавляет сектор экспорта драгоценных камней, вот ведь паучья сеть! А где факты? Слишком тяжело обвинение, оно не имеет права быть бездоказательным...

Именно поэтому я отдавал себе отчет в том, что говорить обо всем этом главному нельзя, — может дрогнуть, стал пугливым накануне ухода с комсомольской работы. Был бы инженером каким, врачом — все профессия, а какая у него, бедняги? Умение ощущать тенденцию? С этим сейчас не проживешь, а до пенсии еще семнадцать лет, черт знает что может произойти.

Не то чтобы я не доверял нашему главному, нет. Он человек беззлобный и в общем-то достаточно честный; сейчас он оказался в сложном переплете, поэтому передал письмо Глафиры Анатольевны нашему секретарю, чтобы тот вел дело, — действительно, пахучее. А всякий скандал в коллективе ложится пятном на шефа, традиция круговой поруки.

Нет, сказал я себе, сейчас ничего нельзя открывать: выдержка и еще раз выдержка; сегодня вечером я пойду к Штыку; я не обладаю ясновидческим даром, но глаза людей меня редко обманывали: я растворяюсь в них, позволяю им завладеть мною, — только так и возникает единение; чрезмерное доверие собственному «я» разобщает людей; нельзя верить в свою правоту до тех пор, пока ты не отдал себя правде оппонента. Я чувствовал: в конце нашей беседы Штык что-то хотел открыть мне, но то ли я повел себя неверно, то ли он не принял окончательного решения, — замолчал наглухо. Сегодня я скажу ему всю правду. Да, это рискованно, но иного выхода нет. Я верю талантливым людям: это особые моральные структуры. Мы, правда, чрезмерно щедры на титул «талант», сколько у нас было «выдающихся», а прошли годы, не десятилетия даже — и памяти никакой не осталось, только досадливая обида: зачем ничто обертывать в

золоченые одежды? Впрочем, прежде всего стоит обижаться на себя. Сами покорно принимали ложь, заведомо зная, что это низкий обман. Глядишь, какой оборотистый репортер соберет свои записки в книгу, нацедит повестушку, — картонная конструкция, ни слова, ни характера, глядишь, блеснет пару раз по телевизору с угодным комментарием, — и уже «большой мастер», поскольку наверху высказано такое «мнение», а поди поспорь с мнением — не выйдет, оно ведь не писанное и не распубликованное, оно — мнение... Эх, матерь наша Византия; когда ж мы из себя выжжем рабство, когда научимся быть собою самими?! Никогда, ответил я себе поначалу. Мне стало страшно этого ответа, и я спросил себя, отчего же так? И я ответил себе, что рабство изживаемо лишь через закон и открытость, через гарантированную конституцией обязанность выражать неугодную точку зрения. Параграф, гарантирующий право, был утвержден в тридцать шестом году сталинской конституцией, да что-то все больше сажали за неугодное мнение, не прислушиваясь, а уж если и прислушивались, так для того лишь, чтоб поставить к стенке... А сейчас? Сколько раз газета предлагала предоставить читателю право определять угодных им авторов и тиражи их книг... Но ведь даже фамилии писателей, выдвинутых на обсуждение, до сих пор конструируются в министерствах, комитетах и союзах... Их, кстати, можно понять: коли смирились с заведомой ложью — «у нас одиннадцать тысяч писателей», — то извольте каждого обеспечить книжкой, хоть заранее известно, что читать ее никто не станет. А как же иначе? Иначе нельзя, безработица будет, а это супротив наших правил, да и потом, что скажут недруги из стран капитала?!

А Штык — талант... Картина, что стоит у него в углу, совершенно поразительна, такая в ней скорбь и столь огромен вопрос, что просто диву даешься, как можно сотни страниц уместить в один холст! Действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Штык потому еще талант, что стыдится своей работы, ищет в твоих глазах реакции на нее, полон сомнений, построенных тем не менее на внутренней убежденности в своей изначальной правоте...

Нет, я не могу сейчас ничего говорить, даже Васе. Хотя то, с чем столкнулся Квициния и что узнал я, так страшно, так чудовищно, что я не вправе ни на кого перекладывать даже части своих мучительных сомнений.

Преследователь всегда не прав. Если я хоть в чем-то ошибусь, я буду последним подонком. Фашизм — это когда обвиняют невиновного, заведомо зная, что он невиновен.

— Позвони, Вася, — сказал я. — Думаю, я не помешаю твоему разговору с автором письма... С моей тещей... Наоборот, сразу же отвечу на любой возникший вопрос...

— Как, Василий Георгиевич? — несколько рассеянно поинтересовался главный.

— Да в общем-то, — чуть запинаясь, словно бы превозмогая себя, не спуская при этом глаз с главного, сказал Вася, — такого рода беседу я проведу не по телефону, а лично, с глазу на глаз...

Анатолий Иванович развел свои руки, словно бы насильно приставленные к его грузному телу, показывая всем своим видом, что он готов принять любое решение секретаря парткома, и чуть придвинулся к столу, дав понять этим ничего, казалось бы, не значащим жестом, что аудиенция окончена...

В коридоре Вася сказал:

— Не думай, что я спасовал, старик... Письмо дрянное, согласен... Поэтому лучше, если я сейчас поеду к этой Глафире Анатольевне, а потом встречусь с Олей... Только, пожалуйста, скажи мне — чтобы я был тверд в позиции, — у тебя с Лизой действительно ничего нет?

— То есть как это нет? — удивился я. — Конечно, есть...

— Значит, в этом твоя теща права?

— Я очень дружу с Лизой... Дружу. Понимаешь? А если меня вынудят развестись, можно будет подумать о том, чтобы сойтись с ней по-настоящему... Женитьба? Нет... Это не для меня, хватит... Женщины удивительно быстро осваиваются с имперским чувством собственности...

В своей конурке, складывая материалы в папку, я заметил записку, написанную рукой Лисафет: «Тебя срочно ждет у Склифосовского художник Штык». И стихи, написанные строкою, как проза: «Идут дожди, с утра туман и холод, но ты плиту зажги, пока еще ты молод — чуть подожди... На улицах потоки, а мне пора, я завожу часы, ко мне они жестоки, и режут руки лезвия минут больнее всех стеблей осоки...»

Я бросился к Лизе, но ее не было, сказали, что ее срочно вызвал какой-то грузин; Гиви, понял я; видимо,

очень важно, если она мне не написала, а скорее не захотела ничего писать — из-за Кашляева.

...В институте Склифосовского дежурил молодой врач; по счастью, он читал мою статью о том, как сейчас исподволь зажимают людей, пошедших в сервис, — всех, кто взял лицензии на автообслуживание, извоз, пансионат (было множество откликов; высшее счастье для репортера, когда его работа вызывает поток писем), и, хотя этот хирург был совершенно не согласен со мною —«реставрируем капитализм», — он позволил пройти в палату к Штыку, сообщив при этом, что у него уже был какой-то полковник Костенко из угрозыска, но врачи разговор прервали, потому что подозревают у раненого отек легких.

...Штык дышал тяжело, широко открывая рот, меня узнал как бы не сразу, потом кивнул и начал шамкающе спотыкаться на буквах:

— Наверное, умру... Русанов... Пусть тебе дадут мой ключ из костюма... Если нет — у Коли Ситникова... На втором... этаже... семь... Скажи, я велел принести нотариальные... бумаги... Русанова... В столе... Там и сбер... сберкнижка... Поймешь... Его п... письмо уп... пало... под ящ... ики... Русан брал четвертую... часть... В Загряжске от... отказали... Горенков... А Чурин... не знаю... Только... помню... Русанов о нем... гов... о... р... Иди...

Ситников оставил у себя мой паспорт, несмотря на то, что я два раза достаточно подробно изложил ему суть дела: Штык просит срочно привезти ему нотариальные бумаги и сберегательную книжку из стола.

— А что записку не написал? — спросил Ситников.

— Он еле живой! У него капельницы, все руки исколоты...

— Вот ужас-то, а?! — бородатый Ситников вздохнул. — А ведь били его в трех метрах от моей площадки! Какого такта человек?! Никого не хотел тревожить криком, хотя мы все до утра работаем, выбежали б...

Я не стал возражать Ситникову, хотя знал, что Штыка почти сразу же оглушили. Но он так хорошо сказал о своем товарище; как же редко мы говорим о людях хорошо, все больше с подковыркой или снисходительностью...

Я вошел в мастерскую Штыка, свет включать не стал, хотя начинались сумерки. Было здесь пепельно-серо, затаенная грусть постоянного одиночества, принадлежности не себе, но идее, незримый дух творчества. Пепельни-

цами здесь были консервные банки, чайником кружка грязно-коричневого цвета; сковородка нечищена, одноконфорочная плитка, обшарпанная дверь, что вела во вторую комнату, где я видел только край кровати, застеленной солдатским одеялом...

Я сразу вспомнил маму, которая умела сараюшку, что арендовала для нас на лето в Удельном за какие-то три часа превратить в уютную комнату, освещенную низким абажуром; она привозила с собою маленькие копии Серова и Коровина, зелено-красный плед, шкуру какого-то козла, турочки для кофе — много ли надо, — но облик жилья становился совершенно особым, артистичным. А здесь... Значит, понял я, личной жизни у Штыка тоже не было. Видимо, настоящий талант не может разрывать себя между полотном (книгой, партитурой) и женщиной, которая дарит нежность, организовывает уют, но одновременно занимает то место, которое ей кажется необходимым занять в жизни того, кого любит... Неужели одиночество — спутник истинного артиста? Может, истинная правда никого к себе не подпускает? Испытывает художника на прочность: «Готов ли ты пожертвовать собою во имя того, чтобы приблизиться ко мне? Готов обречь себя на схиму?»

Я подошел к старому, рассохшемуся столу, потянул на себя ручку ящика, выдвинул его и поразился абсолютной, искусственной его пустоте, будто отсюда специально забрали все до единой бумажки...

Я выдвинул — один за другим — маленькие ящики в тумбочке; здесь тоже все было пусто; опустился на колени, чтобы посмотреть, не провалился ли какой документ на пол — Штык говорил о письме Русанова, — и в тот момент, когда я склонился, словно при челобитной, моя шея ощутила прикосновение руки — снисходительно потрепывающее, исполненное налитой силы...

XXIII.

Я, Каримов Рустем Исламович

Меня до сих пор поражают слова: «Такой молодой, всего шестьдесят, а инфаркт...» Все же на Востоке совершенно иная градация возраста; для нас пятьдесят лет —

начало старости; в сорок семь отец был седым как лунь, а мне было двадцать пять, и у меня уже был сын, Мэлор — «Маркс — Энгельс — Ленин — Октябрьская — Революция» — «М», «э», «л», «о», «р»... Я стал стариком в сорок шесть лет, когда мальчик погиб в Афганистане, его разрезали автоматной очередью, и он не успел оставить мне внука... Я тогда переходил на ногах инфаркт, я чувствовал его по тому, как постепенно немела левая рука, становясь неподатливо-электрической, как било тупой болью за грудиной и приходилось бегать в туалет, потому что то и дело подступали приступы изнуряющей тошноты. Я не пошел в нашу спецклинику. Вообще-то я туда никогда не ходил и Мэлора не приписал к ней: если уж справедливость — то во всем, выборочной справедливости не существует, фарс. Чтобы не раздражать коллег, я объяснил, что хочу сделать все городские клиники современными, поэтому и расписал себя по районам: зубы лечил в Ленинском, ежегодное обследование проходил в Октябрьском, а давнюю травму ноги лечил у хирурга Кубиньша в Кировском... Любопытно, когда у нас началась эпидемия раздачи имен городским районам? Раньше — я это прекрасно помню — Ленинский район был Сталинским, Октябрьский — Молотовским, а нынешний Кировский — там у нас заводы, связанные с транспортным машиностроением, — Кагановичским. Но и до этого, в двадцатых, были другие названия, хотя тогда было всего два района: Зиновьевский и Бухаринский. Я как-то предложил переименовать все кардинальным образом — раз и навсегда: район Набережных, район Пролетарских заводов и Центральный район. На меня посмотрели с некоторым недоумением, и я был вынужден обернуть свои слова в шутку, что вызвало всеобщее облегчение. Но ведь будущие историки легко вычислят, что районы, совхозы и заводы имени XXII съезда раньше назывались именами Сталина, Молотова, Маленкова или Кагановича... Переименовали б совхоз в «Дубравы», «Сосновый бор», «Тихое озеро» — вопросы б не возникали, а так — оставляем после себя огромное поле для переосмысления, с молодежью работать боимся, учебники истории по своей сути антиисторичны, растет беспамятное поколение...

Кстати, после того, как я открепился от обкомовской больницы, нам за пять лет кое-как удалось переоборудовать клиники во всех районах, хотя для этого пришлось прибегнуть к дипломатической игре: попросил нашего

первого секретаря провести решение, обязывающее меня курировать здравоохранение на местах (без бумажки — таракашка, устного согласия недостаточно), и, с развязанными руками, я начал атаковать тот же обком и Совмин республики (я тогда был министром социального обеспечения), выбивая деньги, фонды, дефицит. Именно тогда я и встретился с Горенковым. Мне сразу же понравилась (хотя, честно говоря, поначалу я несколько испугался) его резкая манера:

— Сколько у вас денег на строительство седьмой поликлиники?

Я ответил.

— Пробейте разрешение сэкономленные средства распределить между моими рабочими и инженерами — тогда возьму объект в план и сдам раньше срока.

Я ответил, что такого рода постановка вопроса не сообразуется с общепринятыми нормами нашей экономики.

Горенков только посмеялся: «В письме к своему заместителю Льву Борисовичу Каменеву — это который из троцкистско-зиновьевской банды диверсантов и шпионов — Ленин рекомендовал перевести на тантьему нашу бюрократическую сволочь, а тантьема, как известно, процент со сделки. Заметьте, я у вас этого не прошу, а ставлю вполне пробиваемые условия... Я, знаете ли, из рабочей семьи, отец был виртуозом-токарем, Левша был, что называется, так вот мне за русского рабочего обидно, когда мы на строительство отелей иностранцев приглашаем и не можем умильно нарадоваться, как они качественно и быстро строят. А вы поинтересовались, сколько им в день платят? Нет? Я отвечу: сто пятьдесят рублей. Плати мы своему строителю семьсот рублей — он бы качественней любого француза построил! Техники нет? Придумал бы, на то голова дадена... Словом, если пробьете, — звоните и заезжайте утречком, позавтракаем вместе. Без выполнения моего условия помочь ничем не смогу».

— Обяжем постановлением, — сказал я тогда ему. — Проведем через Совмин.

— Ну и что? Будет еще один долгострой... Дело решает его величество человек, а не бумажное постановление.

Меня тогда поразила раскованность этого начальника СМУ: в голосе его не было и тени робости, хотя говорил он с министром, а у нас приучены блюсти табель о ран-

гах; имя Каменева произнес нескрываемо уважительно, без угодного тому времени надрыва; заинтересовало меня и его странное предложение приехать «позавтракать». Этот мой интерес был изначально окрашен подозрением: у нас немало мафий, но строительная — одна из самых сильных, поэтому, договорившись — с громадным трудом, — что Госплан оставит СМУ Горенкова десять процентов от сэкономленных им денег — в случае, если сдаст поликлинику в срок, по самому высокому качеству, — я позвонил ему через две недели и сказал, что предмет разговора обретает реальные черты; «когда можно приехать на завтрак?»...

— То есть? — искренне удивился Горенков. — Завтра! Чего ж время базарить?!

Поскольку я предполагал, что разговор может принять неожиданный (скорее, наоборот, ожидаемый) характер, я пригласил с собою заведующую отделом здравоохранения горисполкома Бубенцову, и мы отправились в СМУ.

Прежде всего меня поразил кабинет начальника: роскошный, но деловой, в высшей степени функциональный; я никак не предполагал, что в длинном бараке, облагороженном, словно шведский дом, вагонкой, можно расположиться так красиво и достойно.

После первых приветственных слов я поинтересовался, разумно ли тратить дефицитную вагонку на то, чтобы так обихаживать временный барак.

— Я достаточно уважаю мой народ, чтобы не позволять ему жить в грязи, — ответил Горенков резко. — Хотите, чтобы люди научились ценить собственное достоинство в хлеву? Если у Станиславского театр начинался с вешалки, то и у нас работа начинается со штаба. Тем более вагонка эта на воздухе только высохнет как следует. А кабинет мой сделан из некачественного дерева, люблю столярить, по субботам настругал панели, сам проолифил, сам подобрал по тонам — премиальные себе за это не выписывал...

Галина Марковна Бубенцова, следуя моему настрою, словно бы пропустив мимо ушей слова Горенкова, поджала губы:

— У нашего министра кабинет в два раза меньше вашего...

— Значит, плохой министр, — Горенков рассмеялся. — Не умеет работать, коли сидит в дрянном помещении...

— Ну, знаете ли. — Бубенцова посмотрела на меня с ищущей растерянностью, ожидая поддержки, достаточно резкой.

Я поинтересовался:

— Наверняка в молодости увлекались Чернышевским? Особенно «Что делать?»?

— Почему в молодости? — Горенков перевел смеющийся взгляд с Бубенцовой на меня. — В молодости нам прививают ненависть к классике, к ней возвращаешься в зрелости уже.

— Кто ж это вам прививал ненависть к классике? — Бубенцова продолжила наступление еще жестче.

— Советская школа, — Горенков отвечал, не скрывая уже улыбки. — За пять часов надо понять всего Чернышевского... Это ж самый настоящий цитатник из «великого кормчего»! Настругали абзацев и заставляют зубрить... Вместо того чтобы пару дней почитать вслух «Что делать?» и объяснить, почему эта книга современна и поныне... Лучше рассказать один эпизод из жизни Николая Гавриловича, чем бубнить хронологию его биографии.

— Ну уж простите, — Бубенцова снова посмотрела на меня, по-прежнему ища поддержки, — вы прямо какой-то ниспровергатель...

— Так ведь не Черчилль написал: «Я пришел в мир, чтобы не соглашаться». Горький... А его пока еще не запрещали... Ну что, перекусим?

Не дожидаясь нашего ответа, он поднялся из-за прямоугольного стола и толкнул рукой стену позади себя; она легко поддалась, и мы увидели маленькую комнату отдыха, стол, накрытый крахмальной скатертью, вышитой красным узором, самовар и калачи, масло в красивой вазочке и варенье.

— Прошу, — сказал он. — Честно говоря, я ждал министра без свидетеля, поэтому мы быстренько изыщем третий прибор для нашей очаровательной дамы...

Вот тогда-то, за чаем, он и высказал мне свою доктрину, которую Бубенцова — в машине уже — расценила как «кулацкую».

— «Деньги»! «Деньги»! «Заработки»! — грустно говорила она. — Словно бы это самое главное в жизни советского человека! Не надо переносить на нас западный образ мышления...

— Вам бы не помешала прибавка к жалованью рублей на сто? — поинтересовался я.

— Я работаю не ради жалованья.

— Так откажитесь от того, которое получаете, в пользу уборщиц вашего отдела.

Бубенцова грустно посмотрела на меня:

— Они получают в два раза больше, чем я, им разрешено совместительство.

— Зато у вас бронь в аэропорту, бесплатная путевка в хорошие санатории, удобная квартира в центре города с окнами в тихий зеленый двор...

— Так я это отслуживаю ненормированным рабочим днем, Рустем Исламович...

— Думаете, Горенков уходит с работы в пять? Я навел справки: его рабочий день начинается в половине восьмого, а заканчивает он его в девять.

— Значит, имеет корысть...

— Но ведь в этом же могут обвинить и вас. Вы тоже работаете ненормированно... Стоит ли бросаться обвинениями? Тем более что деньги Горенков требует не для себя, а для коллектива.

— Надо еще посмотреть, какую он премию получит.

— Согласен. Только зачем заранее считать человека жуликом? Или вас раздражает его независимость? А вы вспомните, что он говорил: «Я за кресло не держусь, погонят — пойду столярить на пилораму! Нет ничего приятнее, чем общение с деревом, стружки — кудри, а запах какой?!» Образно говорит, не находите?

— Он играет, Рустем Исламович, — возразила Бубенцова. — Он не живет сам по себе, открыто. Он придумал роль...

— Если даже и так, мне его роль нравится. Она, во всяком случае, прогрессивна. И то, что он перевел своего шофера на грузовую машину, сам сел за руль служебки, а деньги за высвободившуюся штатную единицу отдал машинисткам, — умно, потому что дает СМУ экономию во времени: заставьте самозабвенно трудиться девушку, получающую девяносто рублей в месяц?! Вы задумывались, как можно жить на девяносто рублей?! Это же издевательство над Достоинством человека... Девяносто рублей...

Бубенцова тогда чуть не взмолилась:

— Но нельзя же все мерить деньгами, Рустем Исламович! Нас засосет вещизм, мы растеряем идеалы...

— А что, нужда — лучший гарант для сохранения идеалов? Неужели вам не хочется купить себе красивое платье? Машину? Мебель?

— Конечно, хочется, — Бубенцов ответила впервые за весь разгово скренне, а не подстраиваясь под принятое мнение. — Но ведь если нельзя, так лучше об этом не думать!

— А почему, собственно, «нельзя»? Горенков утвер ждает, что «можно». И я с ним согласен. Мы уперлись лбом в догму и ничегошеньки вокруг себя не видим. А время уходит... Что стерпим мы, то наши дети терпеть не будут — вот вам и девальвация идеи... Мы уже потеряли поколение, Галина Марковна. Не пора ли организовать «министерство по делам молодежи»?

— Это так, — согласилась Бубенцова. — Молодое поколение чрезмерно избаловано.

— Не избалованы они. Желание сделать жизнь ребенка более счастливой, чем та, которую пережили мы, естественно. Другое дело, они войны не знали. Так что ж, нам кнопку нажать, что ли?

— Вы не правы, Рустем Исламович, — задумчиво сказала Бубенцова. — В них появилась моральная черствость. Почему мы, родители, радуемся, если они счастливы — в учебе ли, работе, любви? А для них наша жизнь... личная жизнь... пустое. Мы вроде бы не имеем права на счастье...

Я посмотрел на ее лицо; сорок пять, не меньше, но еще сохранились следы былого шарма. Видимо, увлечена кем-то, а дети против. Детский эгоизм (или ревность, это одно и то же) самый открытый и беспощадный... Ничего не попишешь, сама виновата, видимо, слишком открыто любила своих детей, растворяла в них себя... А Мэлорчик, подумал я. Случись у меня увлеченность другой женщиной? Разрыв с Зиной? Да разве б он простил?! А я? Я бы простил отцу все, ответил я себе. Но я бы все простил ему только потому, что боялся его. Очень любил, но пуще того боялся.

...Вернувшись в министерство, я позвонил в районный комитет ДОСААФ и попросил записать меня на курсы профессиональных шоферов; через пять месяцев получил права, за это время — с боями — добился передачи ставки своего шофера в парк грузовых машин Минздрава, у них полный завал, и начал обслуживать себя сам, а ведь министру положена двухсменная машина, триста рублей в месяц отдай шоферам и, как говорят, не греши.

Тогда именно у меня и начались трудности с нашим первым секретарем; мое назначение премьером нашей

автономной республики прошло наперекор его воле, предложила Москва...

...И вот на завтра у нас назначен внеочередной пленум обкома, и среди вопросов, стоящих на повестке дня, обозначено: «разное». Это значит, что моя просьба об отставке удовлетворена, будем выбирать нового главу правительства.

Я собрал свои личные вещи, в кабинете их накопилось довольно много; после того как мы с Зиной переехали из старой квартиры в маленькую, чтобы не было так страшно без Мэлорчика — там каждый уголок напоминал о нем, — часть вещей я перенес сюда, особенно дневники, архивы, «сталинку» отца и старый халат — единственное, что после него осталось: «денежные пакеты», тайно выплачивавшиеся при Сталине ответственным работникам, отец, не вскрывая, переводил в дом инвалидов Великой Отечественной.

До чего же сложен наш век, до чего трудно будет историкам разобраться в той, созданной нами же самими структуре, которая определяла не только внешние, но и глубинные, затаенные функции общества! Можно во всем обвинять Сталина, но будет ли это ответом на трагичный вопрос: «Как такое могло случиться?!» Ведь и Брежнев, которого именно Сталин на Девятнадцатом съезде рекомендовал членом Президиума ЦК КПСС, получал тысячи приветствий, когда ему вручали очередную «Звезду», и рабочие коллективы, университеты и совхозы повсеместно изучали его книги. Слепое единогласие?

...Как и почему в двадцать втором году оформился первый организованный блок в Политбюро: Сталин — Каменев — Зиновьев? Почему они так крепко объединились после смерти Ленина? Для одной лишь цели: свалить Троцкого, который постоянно попрекал Зиновьева и Каменева (свояка, говоря кстати) в октябрьском отступничестве. А ведь он, Троцкий, был председателем Петроградского Совета рабочих депутатов, штаб которого был в Смольном; тревожно было и то, что Владимир Ильич в своем завещании назвал его «самым выдающимся вождем современного ЦК», а Сталина и вовсе требовал сместить с ключевой позиции Генерального секретаря.

Зиновьев и Каменев не смогли вкусить плодов своей — совместной со Сталиным — победы: как только Троцкого переместили с поста народного комиссара обороны и председателя легендарного РВС — Революционного военного совета, который он возглавлял с весны

восемнадцатого, — Сталин немедленно ударил по своим прежним союзникам. А последовавший затем разгром Каменева и Зиновьева, вошедших в блок со своим прежним противником — Троцким?.. Сталин вроде бы стоял в стороне, всю работу по борьбе с «новой оппозицией» провел истинный любимец партии Николай Иванович Бухарин вместе с Рыковым, Кировым, Серго и Томским... Как объяснить этот феномен? Идеолог Бухарин оказался марионеткой в руках достаточно слабого в теории Сталина. Возможно ли такое? Видимо, копать надо глубже, доискиваясь до причин, позволивших затем Сталину пролить кровь миллионов ленинцев.

Троцкий, Зиновьев и Каменев выступали за немедленную индустриализацию, сдерживание нэпа, предлагали ужесточение эксплуатации «кулачества», чтобы вырученные средства вложить в строительство электростанций и новых заводов — в первую очередь металлургических.

Бухарин и Рыков твердо выступали за ленинский кооперативный план, за нэп, требовали считаться с интересами крестьянства, снабжая мужика техникой и, таким образом, переводя его на рельсы социалистического хозяйствования; именно это даст те средства, которые и надо будет вложить в индустриализацию; приказно, методами принуждения, социализм не построить...

Когда Троцкий был выслан из СССР, а Каменев и Зиновьев потеряли все позиции, именно Сталин, Молотов, Ворошилов и Каганович объявили о начале коллективизации — то есть взяли на вооружение идейную программу Троцкого и Зиновьева, объявив этим войну Бухарину и Рыкову.

Я проанализировал текст процесса над Бухариным, что публиковался в газетах; в стенографическом отчете, который вышел после казни, многое было выпущено и переписано. Я спрашивал себя: отчего же Бухарин не обратился к залу и не сказал всю правду о том кошмарном фарсе, в котором он сам писал свою роль? Рассказывают (поди проверь!), что один из процессов начался за день до того, настоящего, который состоялся при публике. И на этом «предпроцессе» прокурор Вышинский начал допрашивать подсудимых, спрашивая их, признают ли они себя виновными, и большевики, все как один, отвергали свою вину и говорили, что показания выбиты, — продолжается расправа над партией. Вышинский слушал ответы обвиняемых спокойно, и это удивило подсудимых — «неужели на воле что-то произошло? Неуже-

ли партия поднялась на защиту собственной чести?!» Однако после допроса Вышинский неторопливо собрал со стола бумаги, махнул рукой «иностранным» кинооператорам и дипломатам, сидевшим в зале, те послушно поднялись, потянулись к выходу, и обратился к Ежову, находившемуся в правительственной ложе, за портьерой, так, что он никому не был виден:

— Николай Иванович, процесс не готов, я так не смогу работать.

Эти слова были смертным приговором для Ежова, и хотя пять дней спустя арестованные большевики, народные комиссары, редакторы, ветераны партии «признавались» в том, что они готовили покушение на жизнь «великого сталинца товарища Ежова», дни «железного наркома» были сочтены...

Я изучал показания Бухарина въедливо, читая текст если и не вслух (боялся; порою самого себя боялся), то, во всяком случае, шепотом, чтобы лучше вслушаться в смысл каждого его слова.

Я понял, что с точки зрения стратегии термидора Сталин проявил себя непревзойденным мастером, отдав обвинение большевиков старому меньшевику Вышинскому, брат которого жил в Испании генералиссимуса Франко, тому Вышинскому, с которым жизнь однажды свела Кобу в камере бакинской тюрьмы, — с тех пор он его запомнил и поверил в него: этот умеет служить.

Однако после десятого, по меньшей мере, прочтения последнего слова Бухарина меня вдруг озарило: я тогда понял, как Николай Иванович смог прокричать о своей невиновности, более того, как он иносказательно обвинил своих палачей-обвинителей...

Поначалу признавшись во всем, он далее сказал: «Я признаю себя ответственным за пораженческую ориентацию, хотя я на этой позиции не стоял. Я категорически отвергаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова». Далее он произносит фразу: «Я уже указывал при даче на судебном следствии основных показаний...» Значит, были «не основные»? Данные в камере? Где они? И далее — закамуфлированно — он прямо обвинил Сталина: «...голая логика борьбы (чьей? за что? за власть?) сопровождалась перерождением идей, перерождением психологии, перерождением нас самих (эти слова носят явно компромиссный характер; чтобы сохранить основную мысль, он, видимо, согласился вписать и это), пере-

рождением людей. (Каких?) Исторические примеры таких перерождений известны. Стоит назвать имена Бриана, Муссолини и так далее.. (Муссолини начинал как социалист, стоявший на левых позициях.) И у нас было перерождение, которое привело нас («нас»! Понятно, он не мог назвать Сталина) в лагерь, очень близкий по своим установкам, по своеобразию к кулацкому преторианскому фашизму».

Я поразился, вдумавшись в эту фразу... Интеллигент, каким был Бухарин, не мог поставить рядом два понятия: «кулак» и «преторианская гвардия». Употребление слова «кулацкий» — в чем его начиная с двадцать девятого года обвиняли — позволило ему сохранить термин «преторианский фашизм», то есть «личная охрана диктатора», «вседозволенность»... И — в конце: «Чудовищность моих преступлений безмерна, особенно на новом этапе борьбы СССР». Какой борьбы? За что? Или он уже тогда ощущал поворот Сталина к возможности союза с Гитлером? Или же был убежден, что после смерти Сталина неминуемо всплывет все то, что Коба хотел уничтожить? Или, понимая, что народ ждет борьбы, он винился, что помог Сталину в его триумфальном восшествии на вершину власти?

Даже в тех огрызках допросов, которые прошли в печать (как? не возьму до сих пор в толк), он бился с Вышинским за каждое слово. Нельзя не дивиться тому, как много Бухарин смог прокричать потомкам: «Здесь прошли два показания относительно шпионажа — Шаранговича и Иванова, то есть двух провокаторов...» Или: «По мысли Томского, составной частью государственного переворота было чудовищное преступление: арестовать Семнадцатый партийный съезд, Пятаков против этой мысли возражал: это вызвало бы исключительное возмущение среди масс...»

Находясь в тюрьме тринадцать месяцев, Бухарин знал, что к тому времени почти семьдесят процентов участников Семнадцатого съезда были не только арестованы Сталиным, но и расстреляны, — грех было не понять его молящего намека! А ведь мы не захотели возмутиться, даже понять не захотели, испугались.

В другом месте он говорит: «Летом тридцать четвертого года Радек сказал, что от Троцкого получены директивы, он ведет с немцами переговоры. Троцкий обещал немцам целый ряд территориальных уступок — после восстановления права советских республик на вы-

ход из СССР, — в том числе и Украину». Но ведь кто, как не Бухарин, знал, что право республик на выход из СССР формально не отменялось, — это же краеугольный камень ленинской национальной политики! Зачем он говорил эту чушь? Кому? Нам! Чтобы мы поняли, с кем ему приходилось иметь дело в застенках, с какими малограмотными монстрами, не знающими истории... Кто, как не Бухарин, понимал и то, что доктрина Гитлера запрещала немцам вести какие-либо переговоры с евреем Троцким, да еще возглавлявшим Четвертый Интернационал! Контакт с любым евреем карался в гитлеровском рейхе заключением в концлагерь, доктрина национального социализма строилась на базе лютого антисемитизма...

...Последние дни я отчего-то часто думал: как мне надо было говорить с этим молодым парнем Варравиным? Я не имею права толкать его в одну сторону, мы достаточно шарахаемся то влево, то вправо, но ведь надо учить мыслить это прекрасное поколение, а не крошить тех, кто высказывает противную точку зрения; только в этом наше спасение и гарантия на будущее от рецидивов ужаса. А это так трудно — приучить человека выслушивать обе стороны! Рубить-то проще...

А как же быть, если сейчас противопоставляют Чернышевскому работы правых славянофилов? Готовность к демократии должна быть подтверждена когортой пророков демократии, а достаточно ли у нас таких когорт? Вон Горенков-то в тюрьме...

Звонок телефона заставил меня вздрогнуть — последнее время мне практически перестали звонить; в коридорах словно бы обтекали, стараясь ограничиться сдержанным кивком и мычащим междометием, спасительным «социальным» звуком, поддающимся двоетолкованию.

Я снял трубку; вертушка; кто бы это, странно...

Звонил заведующий сектором ЦК Игнатов, приехавший на пленум обкома: «Надо б повидаться — перед завтрашним мероприятием».

Я ответил, что к первому секретарю не пойду, готов встретиться в любом другом месте, если мой кабинет кажется непригодным для такого рода встречи.

И снова почувствовал, какой безвольно-электрической стала левая рука и как круто заломило в солнечном сплетении...

XXIV.

Я, Иван Варравин

Если негодование создает поэзию, подумал я, то отчаяние — журналистику.

Когда тот верзила, что похлопал меня по шее, знáком попросил подняться, приложив при этом палец к губам: «Тихо, пожалуйста», а второй, в роскошном костюме — плечики вверх, две шлицы, сплошная переливчатость и благоухание, — так же тихо представился: «Полковник Костенко, уголовный розыск Союза», я сразу понял, что мое личное расследование завершено, — задержан в квартире раненого художника, сюжет вполне уголовный, это тебе не донос Глафиры Анатольевны...

— Пройдем в другую комнату, — шепнул Костенко и легонько тронул меня за руку. — У нас засада. Ступайте на цыпочках, не вздумайте кричать, это только ухудшит ваше положение.

Я с трудом сдержал смех — «нервический», как пишут в иных книгах, — и прошел во вторую комнату. После того как расфранченный полковник мягко, по-кошачьи прикрыл дверь, я достал из кармана свое удостоверение.

Костенко с некоторым удивлением глянул на мою мощную краснокожую книжицу:

— Это вас вызывал Штык?

— Именно.

— Что вы тут искали?

— То, что он просил меня найти... Уликовые, как у вас говорится, материалы.

— Ключи он вам дал?

— Вам же известно, что ключей при нем не было, их похитили. Он сказал, к кому обратиться здесь, в доме...

— И к кому же?

— К Ситникову, из седьмой квартиры, в этом доме живет много художников.

— Странно, отчего он поручил достать, — Костенко усмехнулся, — уликовые материалы вам, а не мне?

— Вы не похожи на милиционера.

— Это почему?

— Слишком шикарны...

— Что ж мне, в лаптях ходить? Впрочем, ходил бы, это сейчас модно, да только купить можно лишь на Западе... Давно знали Штыка?

— Я о нем теперь знаю столько, что кажется, был знаком вечность.

— Кто мог на него напасть?

— Есть много вариантов ответа. Один бесспорен: наши противники, те, кто очень не хочет нового... Впрочем, что это я вам навязываю свое мнение? Простите.

— Верно подметили, — кивнул Костенко. — Я дремучий консерватор, перестройку терпеть не могу, вся эта гласность только мешает сыску, а при слове «демократия» я сразу же хватаюсь за револьвер... Как может иначе ответить жандармский чин прогрессивному журналисту?

— Напрасно радеете о мундире. Право каждого — определять свою позицию, вне зависимости от профессии.

— Да? Значит, избрать «позицию» бандита — право каждого? Тут мы с вами не сговоримся. Сажать-то приходится мне, а это не очень сладкая штука — увозить человека в тюрьму... Ладно, лирика, давайте к делу: что вам сказал Штык?

— Сказал, что скоро умрет.

— Шейбеко смотрит на дело более оптимистично.

— Кто это такой?

— Человек, который вынимал у него из черепа куски костей, — ответил Костенко с плохо скрываемой яростью.

— Врач по-своему чувствует, художник — по-своему.

Костенко достал из кармана плоский аппаратик «воки-токи», вытянул антенну и, подойдя к окну, осмотрел улицу цепляющимся за все предметы взглядом; потом приблизил микрофончик ко рту и негромко сказал:

— Восемь — ноль два, как связь?

Кто-то невидимый ответил сразу же, словно бы видел Костенко:

— Восемь — ноль два слушает вас.

— Свяжитесь с врачом, осведомитесь о состоянии мальчика.

— Есть.

— На связь выхожу через пять минут.

— Понял.

Костенко глянул на часы, положил аппаратик в карман и обернулся ко мне:

— Почему вас так интересует Штык?

— Вообще-то речь о другом человеке, строителе, безвинно засаженном в тюрьму...

Я не мог переступить себя; что-то держало меня, молило внутри: не открывай всего, погоди, не зря куда-то

столь срочно отвалили Лиза и Квициния; если я задержан, то по нашим законам, милиция запросит на меня характеристику в газете. Они без этого не могут (дикость какая, в пяти абзацах уместить жизнь человека, его судьбу, нрав, любовь, неприязнь, суть!), сущий подарок Глафире Анатольевне, всем, кто готовит персоналочку; товарищу Кашляеву, паршивому мафиози, в аккуратном галстуке и накрахмаленной рубашечке... Хотя для мафиози он слишком малоинтеллигентен, такие разминают почву для настоящих боссов, а те держат дома видеокассеты с роликами и порнографией, закусывают импортным миндалем в соли, носят шелковые слипы, носки от «Кардэна» и рубашечки японского шелка... Этим они вроде как мстят за то, что костюмы приходится носить отечественные, на людях надо быть скромными. Невидимое могущество, дерьмо собачье, наплодили мерзотину... А если б им дали работать легально, спросил я себя. Обложили б налогами и позволили делать деньги так, как они умеют? Что тогда?

— Какое отношение к безвинно засаженному строителю имеет художник Штык? — спросил Костенко.

— Я в процессе поиска, товарищ полковник... Или мне надлежит обращаться к вам как к «гражданину»?

— Странно вы говорите... Имели неприятности с нашими церберами?

— А кто не имел? Все имели...

— Это верно, — согласился Костенко. — У меня тоже был привод в «полтинник»... Знаете, что такое «полтинник»?

— Нет.

— Счастливый человек. Самое было страшное отделение на Пушкинской. Его снесли, к счастью... Мы ж все символами больше норовим изъясняться, а не словами: чтоб написать, мол, отделение, которое терроризировало людей, особенно глумилось над студенчеством и интеллигенцией, ныне закрыто, — в назидание всем другим, позволяющим унижать человеческое достоинство... Нет, не напишем... А снести — снесем, но без объясняющих слов... Сидели? Или, как у меня, привод?

— Целых три.

— Ну и, конечно, родная милиция посылала письма в институт?

— А ну?

— Из института исключали?

— Дали строгача...

Костенко усмехнулся.

— На меня страх какую телегу накатали... Написали, что я оскорблял достоинство славных орлов Лаврентия Павловича, — милиция тогда под ним ходила.

— Это вы меня так разминаете?

— Зачем? Вы ж не рецидивист. Если в чем виноваты, завтра сами расколетесь. Все интеллигенты текут после первой ночи в камере. До конца держится только тот, кому терять нечего... Я не разминаю вас, просто можно вернуть все, кроме времени; ум хорошо, два — лучше.

Костенко снова достал из кармана свой аппаратик; я спросил:

— Очень нравится эта штука?

Жлоб наверняка бы рассердился: «С чего это вы взяли?» Лицо же полковника изменилось, сделалось странно застенчивым, вневозрастным, и он ответил:

— Безумно.

Настроив «воки-токи» на нужную волну, он спросил невидимого оперативника, что нового, и я услышал ответ:

— Мальчик впал в беспамятство...

Костенко спрятал аппаратик в карман, посмотрев на меня с некоторым недоумением:

— Едем в больницу... Я сейчас позвоню Шейбеко, он гениальный врач, надо что-то сделать...

Поманив своего верзилу, Костенко тихо сказал:

— Кто придет — задерживайте. Я предупрежу тех, кто на улице, чтобы они провожали всех подозрительных до подъезда.

Обернувшись ко мне, шепнул:

— Ну, с Богом. На лестничной клетке не разговаривать, шагайте позади меня в десяти шагах.

— Погодите, — сказал я. — Давайте посмотрим под нижним ящиком, там может лежать письмо. Штык не знал, что в нем, бросил как ни попадя... Пусть ваш профессионал бесшумно вытянет ящик...

Письмо действительно лежало на полу; вместо обратного адреса стояла подпись, я легко ее узнал: «Русанов».

Костенко каким-то факирским жестом достал из кармана платок, взял им письмо, его помощник открыл чемоданчик, полный таинственных предметов, необходимых для сыщицкой работы, положил его туда и защелкнул замочек.

— Зря вы эдак-то, — сказал я. — Вам «Русанов» ни-

чего не говорит, а в моем расследовании это одна из ключевых фигур.

— Ключевая фигура в любом расследовании — отпечатки пальцев, — назидательно заметил Костенко. — После больницы заедем в отдел, сделаем экспертизу, и я ознакомлю вас с письмом.

— Вы не просто ознакомите меня с письмом, — я снова начал злиться, — а сделаете для меня ксерокопию... Потому что, несмотря на ваше вторжение в это дело, я буду писать мой репортаж, чего бы мне это ни стоило.

...Около квартиры Ситникова полковник остановился, заглянул в пролет, убедился, что там никого нет, и шепнул:

— Валяйте на улицу, повернете направо, у гастронома остановитесь, я вас там подберу.

Возле гастронома толпилась очередь, выбросили «Сибирскую», все мои попытки пробиться за «Явой» оказались тщетными, пьянь отталкивала стремительно-острыми локтями, гноился тошнотворный запах пота и перегара.

Отойдя в сторону, я пересчитал свои сигареты — осталось четыре, причем одна искрошившаяся; похлопал себя по карманам — спичечный коробок оставил в ателье Штыка; по-моему, положил на край его койки, застеленной серым солдатским одеялом; мне даже почудился явственный запах карболки; странно, отчего-то мне казалось неестественным, что на этом одеяле нет черной поперечной полосы, у нас были именно такие во время лагерных сборов.

Обернувшись к одному из ханыг, я спросил:

— Огоньку не найдется?

Тот ответил пропойным голосом:

— Соколик, я здоровье берегу, что и тебе советую...

И в это как раз время я услыхал шепот Костенко:

— Не оборачивайтесь! За вами следят. Идите к остановке и пропускайте троллейбусы, пока не увидите такси. Садитесь и называйте любой адрес, я вас догоню. Только такси берите не сразу, минут пять надо постоять на остановке, ясно?

Через десять минут такси, в которое я сел, обогнала серая «Волга», легко прижала к обочине, Костенко сделал мне знак, мол, быстро, я дал таксисту рубль, хотя на счетчике набило всего тридцать две копейки, и перескочил в машину полковника.

Костенко молча протянул мне паспорт, который я оставил Ситникову «в залог», и обратился к тому человеку, что сидел рядом с шофером:

— Ну-ка, покажите.

Тот обернулся, показал мне фото: на троллейбусной остановке из-за моей спины — прямо в камеру «полароида» — смотрели два крепко сбитых парня.

— Раньше не встречались? — поинтересовался Костенко.

Сначала я ответил:

— Нет.

Потом присмотрелся и ахнул: это были именно те парни, что заказывали себе «наполеоны» в кафе, где мы с Лисафет дожидались Гиви Квициния.

— Знаю обоих, — ответил я. — Точнее, не знаю, но видел их при весьма занятных обстоятельствах.

— В Чертаново, — коротко бросил Костенко шоферу.

— Зачем?! — удивился я. — Надо же в клинику Склифосовского!

— Шейбеко заберем.

Достав из деревянного ящика телефонную трубку, Костенко набрал номер, попросил Романа Натановича, поинтересовался, где матушка, Анна Ивановна, давно ли уехала, потом, когда трубку взял Шейбеко, помягчел лицом:

— Рома, я за тобой... Нет, пока без наручников... Да... Штык... Ах, знаешь? А за тобой прислали машину? Дольше прождешь. Я под светофоры за пять минут приеду, спускайся.

...Когда Шейбеко сел в машину, я подумал, что эти седые, франтоватые, благоухающие незнакомыми мне одеколонами люди должны говорить о том, что пристало их возрасту, но полковник, усмехаясь чему-то, склонился к доктору, заметив:

— Позавчера Мишаня Коршун выступил в «Будапеште». Отмечал рождение внука. Конечно, не обошлось без процесса, был разбор, он же старый мастер толковищ... Батон запивал каждый рок-н-ролл валокордином, но был неумолим... Мне, знаешь, было чуток страшно: прошло тридцать пять лет, а я не чувствую, чтобы они изменились хоть в малости. За Левона, конечно, пили.... Игоря помнишь?

— Блондина?

— Да. Получил генерала.

— Что ты говоришь! Но он же был автодорожником.

— Так он и есть автодорожник, доктор наук и генерал.

— Может, хоть что-то с нашими дорогами изменится. Позор, а не дороги, зря наших туристов в Европу пускают, насмотрятся порядка, начнут бранить власть.

Костенко вздохнул:

— Задушим... Оденем наручники — и в Соловки...

— Лариса была?

— До сих пор тоскуешь по ней?

— Но коммент, полковник...

— Она разошлась с Кирилловым.

— Знаю.

— Несчастная девка... Смешно. «Девке» сорок девять лет... Нет, положительно, мы нестареющее поколение.

— Как можно стареть нашему поколению, если мы были лишены детства и юности? Сразу стали взрослыми.

Костенко покачал головой:

— Мишаня уже на пенсии, за вредность им начинают отстегивать в пятьдесят пять, так он, знаешь ли, взял за полтысячи патент, калымит на «жигуленке», обещает через год позвать за город — «куплю дачу», счастлив — рот до ушей... А Батона до сих пор мучают с патентом на домашний пансион — у него же трехкомнатный кооператив, одну комнату готов сдавать — с семейными обедами; так нет же, не дают: «тащить и не пущать», демократия имени «нет»...

— Не можешь позвонить в исполком?

— Конечно, не могу... Почему полковник угрозыска просит за «проклятого частника»? Не иначе как получил взятку... В таких вопросах понятие «дружба» исключается нашими контролирующими бдунами. Никак не возьму в толк, откуда в наших людях такая трясучая ненависть к тому, что облегчает им жизнь сервисом? И слово-то какое паскудное изобрели — «частник»! Все жители Советского Союза — с точки зрения формальной логики — частники.

Я не выдержал:

— То есть как это?

— Очень просто, — ответил Костенко, удосужившись наконец представить меня доктору: — Это репортер Варравин.

— Тот самый?

— Видимо, — ответил Костенко.

— Это вы о чем говорите? — снова озлился я. — О комоде или чайном сервизе?

— Мы говорим о вас, — ответил Шейбеко. — Я разыскал вас по просьбе Штыка.

— Так я закончу? — продолжил Костенко, мельком глянув на часы.

Он дает Шейбеко время на расслабление, понял я; очень важно суметь расслабиться перед работой; нет, положительно, этот Костенко знает свое дело, крутой мужик... Хотя к нему более приложимо — судя по тому, как он говорил с доктором, — «парень».

— Мне интересна ваша точка зрения, — сказал я. — Она имеет прямое отношение к делу Горенкова... Кстати, вспомнил! Тот, квадратный — ну, которые следили за мной, — все время шаркает ногами, сидя за столом... Словно бы у него недержание...

— А может, он страстный? — возразил Костенко. — А за деталь — спасибо, это для меня важно... Что же касается частника... Вот вы, например, частник? Можете не отвечать, я про себя скажу: частник — у меня есть «Жигули» и полдачи во Внуково. «Борцы с нетрудовыми доходами» достали из меня пару литров крови, требуя квитанции на каждый гвоздь и рулон рубероида. А я дальновидный, заранее ждал доноса — все бумажки хранил подшитыми... Нет бы этой комиссии заняться грязью в подъездах, незавершенками, очередями — ан не хотят! Там работать надо, а здесь схарчил ближнего — и кайф. Кстати, я даже знаю, кто на меня сигнализировал... Подполковник Сивкин, — пояснил Костенко доктору. — Помнишь, он со мной приезжал в морг, когда зарезали Маркова?

Шейбеко кивнул; Костенко продолжил, снова мельком глянув на часы:

— И знаете, почему именно он стучал? Потому что пил втемную... Под одеялом. Он все пропивал, а я откладывал деньги в течение десяти лет. С каждой зарплаты. И в отпуск не ездил... Я вообще очень хороший человек, — заключил он. — Благодаря этому высший разум удерживает меня от неразумных поступков...

— Меня тоже, — ответил я. — Именно поэтому я еще не собрал ни на машину, ни на половину дачи. Значит, я — не частник.

— А шкаф у вас есть? — Костенко посмотрел на меня в упор. — Койка? Чья это собственность? Ваша? Давайте же заменим слово «частник» на «личник»! Ни

Маркс, ни община не возражали против личной собственности.

Шофер резко затормозил возле Склифосовского; лицо Костенко мгновенно изменилось, сделалось жестким, собранным:

— Ромка, спасай художника!

Через три часа белый Штык медленно поднял глаза с фотографии двух молодцов, показанной ему Костенко, и чуть заметно кивнул.

Через двадцать минут мы приехали с Костенко в научно-технический отдел, там что-то сделали с конвертом, потом с письмом Русанова, а уже после Костенко протянул мне ксерокопию.

Письмо было коротким.

«Дорогой Валера! После нашего давешнего разговора о том, какой должна быть роспись зданий в Загряжске, я пришел к определенному выводу: только традиционный рисунок, никаких уходов в «новации». Хватит, ей-богу! Ваши слова про то, что такого рода живопись должна будить мысль, быть броской, заметной, меня несколько огорчили. Откуда у вас, крестьянского мужика, такая страсть к внешним эффектам?! Как Вы, крестьянский сын, миритесь с ч у ж и м?

Берегите в себе исконно национальное, только в этом спасение нашего духа, который не принимал и никогда не примет чужеземных влияний...»

Костенко пожал плечами:

— Или Белинский не славянин, или Гегель белорус — одно из двух... Почему Запад может заимствовать у нас Чайковского и Блока, а нам заказано брать то, что интересно у Флобера, Хемингуэя или Крамера?

«Я очень прошу Вас сделать эскиз для Загряжска в истинно традиционном духе, не бойтесь куполов и тревожного предзакатного неба, в котором затаено предостережение чуждым силам, только и думающим, как бы источить изнутри и разнокровить нас. Поверьте, мною движет долг патриота, хватит, и так нас достаточно унижают...»

— Кто может унизить великую нацию? — удивился Костенко. — Мазохизм какой-то! Совершенное отсутствие чувства гордости за свой народ, плакальщик...

«Национальный мотив для Загряжска мне важен еще и потому, что там, среди строителей, объявился наш

противник, а к разговору с ним надо быть подготовленным.

Око за око, зуб за зуб».

— Вот оно, — сказал я. — Вот почему они охотились за Штыком, вот почему им так нужно это письмо...

— Поезжайте домой, я заеду к нашему парню, который остался караулить мастерскую, — задумчиво сказал Костенко, снял трубку телефона, попросил укрепить «ноль — двадцать второго», но сделать этого не успели, ибо через минуту пришло сообщение, что в мастерской Штыка задержаны двое неизвестных.

Ими оказались те, что пасли меня, Лизу и Гиви.

После того как я формально опознал их, Костенко сказал:

— Все, теперь начинается работа. Перезвонимся завтра к вечеру. Меня интересуют их пальцы; во дворе дома Штыка мы нашли обломок водопроводной трубы со следами крови, есть отпечатки...

Однако перезвониться нам пришлось этой же ночью: открыв свой письменный стол, чтобы классифицировать все собранные материалы для Костенко — этому парню можно доверять, — я увидел незнакомую мне записную книжку; сначала я не обратил на нее внимания; открыв первую страничку, обмер. Я позвонил Костенко, кляня себя за то, что не спросил его домашний номер.

Он тем не менее трубку снял сразу же.

— Слушайте, полковник, — сказал я, — приезжайте ко мне, а? Дело в том, что в моем столе лежит записная книжка Штыка с несколькими вырванными страницами...

— Вы ее как следует осмотрели? — рассеянно поинтересовался Костенко.

Я отодвинул от себя книжку, поняв, что пальцев моих на ней предостаточно.

— Было, — признался я. — Идиот.

— Самокритика угодна нынешнему этапу развития общества, — хмыкнул Костенко. — Сейчас буду.

— А чего ж адрес не спрашиваете?

— Знаете что, не играйте, Бога ради, в частного детектива, ладно? Прекрасно же понимаете, что ваш адрес мне стал известен в ту же минуту, как только я узнал, что ваше имя произнес Штык.

XXV.

Иван Варравин и Всеволод Костенко

— Когда это вы успели побриться? — спросил я, пропуская Костенко в квартиру. — Судя по всему, домой не ездили?

— Бритву держу на службе, жужукает, профилактика нервной системы.

Следом за ним — я чуть было не толкнул человека дверью — вошел давешний громадина, что взял в засаде у Штыка взломщиков.

— Товарища зовут Миша, — пояснил Костенко. — Он посмотрит вашу дверь, поищет чужие окурочки, не святой же дух занес сюда эту записную книжку... Должны быть пальцы...

Окурков не было; дверь не вскрывали, и я вдруг с ужасом понял, что лишь один человек мог войти сюда, кроме меня, отпереть ящик стола и положить туда книжку Штыка. Этим человеком была моя жена, Оля.

...Когда верзила уехал в управление, чтобы продолжить работу с двумя задержанными, а Костенко вызвал бригаду «науки», чтобы искать отпечатки пальцев, я отправился делать чай и яичницу: полковник признался, что смертельно голоден.

— Не помешаю? — спросил Костенко, протиснувшись следом за мною в пятиметровую кухоньку. — Я терпеть не могу, когда мне смотрят в спину.

— Глядите себе, я на это не реагирую.

— Устали?

— Видимо... Но — не чувствую, напряжение держит... Сейчас сделаю глазунью и расскажу вам всю историю... Покажу мои записи, копии документов, беседы, наброски репортажа — дело еще только разворачивается...

Я снял сковородку с конфорки, переложил глазунью на большую тарелку и повернулся к полковнику, приглашая его в комнату.

— Давайте здесь, — сказал он. — Обожаю кухни.

— Уместитесь на табуретке?

— Думаете, у меня дома на кухне кресла стоят? Ну, договаривайте.

— Я бы только просил вас выполнить то, о чем попрошу...

— Для этого надо знать, что намерены просить.

— Ваши научные эксперты, полагаю, найдут здесь отпечатки пальцев моей жены.

— И у меня б дома тоже нашли, немудрено.

— Погодите...

— Я слушаю, слушаю...

— Дело в том, что жена ждет ребенка, живет у матери. У меня ее не было последние четыре месяца... Но сегодня, возможно...

Костенко прервал меня:

— Ну и что я должен сделать, если мы обнаружим здесь ее пальцы?

— Ничего. Забыть об этом. Не включать в протокол.

— То есть? — Костенко удивился. — Я что-то не очень понимаю конструкцию вашего размышления...

— Правильно, — согласился я. — Не поймете до тех пор, пока я не расскажу вам всю историю...

И я рассказал о том, как получил письмо Каримова, — не я, конечно, а редакция; рассказал о Горенкове, Кузинцове, Чурине, Русанове, Штыке — обо всем, словом, что произошло в последние дни...

Реакция Костенко оказалась странной; напрягшись, он подался ко мне:

— Опишите-ка мне Чурина, а? Как мы говорим, дайте словесный портрет.

— Я его не видел. Только фотографии...

— Неважно. Он блондин?

— Скорее русый. Очень крупный...

— Очень крупный, говорите? — Костенко перешел к чаю. — Занятно... На подбородке вмятинка есть?

— Да. А в чем дело?

— К сожалению, не могу вам ответить, Иван Игоревич... Речь идет о служебной тайне... На данном этапе, во всяком случае. Но я не совсем понял про вашу благоверную. Договаривайте... Когда нет одного звена, вся цепь рушится.

...Полчаса назад, как только я вошел в квартиру, позвонила Лиза; говорила быстро из автомата:

— Я с Гиви! Куда ты запропастился? На собрании все будет в порядке! Не волнуйся! Все выступят за тебя. Я — первая, чтобы снять гниль... Сейчас мы около Тамары... Сначала к ней приехал Русанов, а потом Оля с ее мамой. Видимо, с мамой, я так подумала... Высокая дама, седая, красивая, с очень большими глазами...

Это была Глафира Анатольевна, сомнений быть не могло.

— Лиза, — как можно спокойнее сказал я, — сейчас же иди к Гиви... Не будь одна ни секунды, возможно, за вами смотрят.

Она рассмеялась:

— Дорогой товарищ Шерлок Холмс, о чем ты?!

— Пожалуйста, сделай то, что я тебе говорю. И скажи Гиви, что те два парня, что сидели в кафе, — помнишь, они вошли следом за ним, такие квадратные, — арестованы...

— Какие парни?!

— Они сели возле двери, один еще постоянно шаркал ногами...

Лиза вздохнула:

— Не смотрела я ни на каких парней! Я всегда на тебя смотрю... Ой, погоди, тут три человека ждут очереди, позже перезвоню...

— Лиза! — закричал я, но она положила трубку.

Выслушав меня, Костенко сокрушенно покачал головой, позвонил в управление; сказал, чтобы срочно получили фото замминистра Чурина, потом, назвав адрес Тамары, попросил немедля отправить туда группу...

— Вообще-то вы зря обо всем этом не рассказали с самого начала...

— Тогда я не имел бы права выступить с моей публикацией. В действие вступит бюрократическая машина...

— Имеет место быть, — согласился Костенко. — С одной стороны... А с другой — я волнуюсь за ваших друзей. Мужество — хорошо, безрассудство — преступно... Кстати, вы — цепко-наблюдательный человек: один из арестованных, Антипкин, действительно постоянно шаркает ногами, словно боится описаться... Выдержкой вы тоже не обделены, — я бы сразу сказал о звонке вашей приятельницы, возможно, и она ходит по лезвию бритвы... Значит, полагаете, благоверная принесла сюда записную книжку Штыка и сунула ее в ваш письменный стол?

— Никто другой этого сделать не мог. Или я, или она.

— А какой ей навар? Или — чары злодейки Тамары?

— Вы верите в гипноз, магию и прочее?

— Верю. Но с определенного рода допусками. Можно, я задам вам вопрос? Только без обид, по-мужски?

— Если этот вопрос тактичен...

— Любой вопрос тактичен, если предполагает возможность ответа. Вопрос и право на ответ — визитная карточка демократии.

Все-таки у нас дурацкое воспитание; всех и каждого мы норовим встретить по одежке... С юности — и не потому что жили мы туго — я не верю надушенным седоголовым красавцам в шелково-переливчатых костюмах... В сороковых, говорят, такого рода людей обзывали «плесенью», «стилягами» (дико, ведь «человек — это стиль»?!), потом в пятидесятых Никита Сергеевич, добрый человек, проповедовал «косоворотку», а уж после началась пора галстуков, жилеток, крахмальных сорочек, переливчатых костюмов, пора болтовни и безвременья... Этот полковник забивает гвоздь по шляпку, точен в формулировках, атакующ и честен...

— Спрашивайте, — сказал я.

— Меня интересует вот что... Вы с Олей подходили друг другу? Она по-настоящему чувствовала вас? Вы — ее?

— Я ее... Я любил... Даже не знаю, как сказать — в прошлом или настоящем... Мне было с ней очень хорошо...

— А ей? Я не зря спрашиваю... И дело не в том, сильный вы мужчина или слабый: просто существует такой термин, как «сексуальная совпадаемость»... И она обязана быть двухсторонней. Я спрашиваю не из пустого любопытства — оно, вы правы, было бы верхом бестактности... По нашим данным, к чародейкам идут женщины, обделенные... нежностью... Я не говорю ни о беде с пьяницами мужьями, ни о скандалах из-за того, что молодые живут в одной комнате со стариками, — это не ваш случай... Я размышляю именно о чувственности... О том, что принадлежит только вам двоим... Знали б проблему — могли дать научную рекомендацию: «Вы друг другу не подходите, лучше расходитесь, пока нет детей, потом будет сложнее, да еще искалечите жизнь ребенка...» Стерпится — слюбится!.. Мура собачья, хватит терпеть попусту! Тем более в любви... А вопрос совпадаемости биополей? Раньше мы это понятие гоняли: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда»... А теперь уперлись лбом в проблему и снова поняли: опоздали в теории, отстали лет на тридцать, и айда погонять... Наука — не конь, из-под плети работать не может.

— Я допускаю другую возможность... Хотя не отвожу те две, о которых вы сказали... Оля... Моя жена... Она

очень скрытный человек... Может быть, я чего-то не понимал, а спросить в лоб мы не умеем, россияне не американцы — те все называют открыто, без околичностей... Но мне кажется, что Тамара подбиралась через Олю к ее матушке...

— Почему?

— Это тоже — вне дела, только для размышления, ладно? Тогда — расскажу.

— Я боюсь ответить утвердительно...

— Почему?

— Потому что в деле, которое начинает вырисовываться, нельзя ничего отводить в сторону... Я буду обязан встретиться с вашей тещей... И с женой тоже — если здесь обнаружат ее пальцы... Я понимаю, женщина ждет ребенка, жизнь на сломе, понимаю — жестоко; а если с этим связана трагедия Штыка? Поэтому, думаю, и о теще надо подробнее сказать...

— Я всегда брезговал стукачами, полковник... Я не намерен изменять своей позиции...

— Вы мне симпатичны, Иван Игоревич, но не надо ездить по травке на коньках... Вы же прекрасно понимаете, что я, увидав вас в мастерской Штыка, обязан понять до конца, отчего вы там объявились... За вас говорит показание Шейбеко: художник, мол, вас истребовал, как только открыл глаза. Это в вашу пользу. Вы вели свое расследование, и здорово это делали, я восхищен, это честно... Но ведь вы не хотите открывать в с ю правду не только потому, что речь идет о ваших близких... Вы по-прежнему опасаетесь, что это может помешать публикации вашего сенсационного исследования... Или я ошибаюсь?

Сначала я хотел ответить однозначным — «нет, не боюсь», но потом ощутил в словах Костенко известную долю истины. Да, профессия, особенно наша, действительно делает человека своим подданным... Наверное, иначе нельзя... «Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех»... Но ведь ты думаешь о собственном успехе, сказал я себе, это живет в тебе, может, даже помимо воли. Воля тут ни при чем, возразил я себе; это естественное состояние личности: видеть результат своего труда не безымянным, а позиционным, напечатанным ко всеобщему сведению.

— В чем-то вы правы, — ответил я. — Я не думал об этом раньше.

— Спасибо, что сказали правду, — вкрадчиво, пони-

зив голос, приблизился ко мне Костенко. — Но ведь вы бы не смогли написать всю правду, исключив те эпизоды которые, возможно, носят исходный характер? Я имею в виду членов вашей семьи. Обвинять всех, кроме тех, кто близок? Нас за такое судят: самовольный вывод из дела обвиняемого... Даже свидетеля...

— А я не стану их исключать... В том, конечно, случае, если мои, как вы говорите, близкие были втянуты в это дело.

— С точки зрения этики такое допустимо? — поинтересовался Костенко. — Точнее: целесообразно?

— Исповедальная литература — одна из самых честных.

— Согласен. Но ведь вы журналист, а не писатель. Вам надо соотносить себя с фактором времени. Журналистика реализуется во времени, литература — в широте захваченных ею пространств. Верно?

— Верно.

Костенко попросил у меня разрешения позвонить.

— Валяйте, — ответил я.

Он набрал номер, спросил, как дела с тем адресом, который продиктовал (квартира Тамары, понял я); покивал, произнося нетерпеливо-вопрошающее: «ну», «ну», «ну» (видимо, сибиряк), потом поинтересовался, где «они», удовлетворенно хмыкнул, хрустко вытянул ноги, как-то по-актерски, скрутил их чуть ли не в жгут, сказал, чтоб «не мешали», и мягко положил трубку.

— Как там? — спросил я.

— Сейчас приедут ваши друзья. Они сделали мою работу. Им можно давать звания лейтенантов. Я бы дал майоров, но наши бюрократы в управлении кадров не позволят. Благодаря вашим друзьям завтра я арестую одного из тех, кого вы пасли.

Я опешил:

— Это как?!

— Потом объясню Сейчас не имею права, честное слово... Сталинские времена научили меня умению молчать наглухо. Мы сейчас в словах смелые, а тогда... Сбрякнешь что в компании — вот тебе и пятьдесят восьмая статья, пункт десять, призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти, срок — до десяти лет.

...Когда позвонили в дверь, Костенко резко поднялся в нем снова появилось что-то кошачье изменился в мгновение и, мягко ступая, пошел совершенно беззвуч

но — к двери; приникнув к глазку, несколько секунд разглядывал ночных гостей (явно не его бригада из «науки»), потом, отперев замок, рассмеялся:

— Квициния, ты тоже в деле?!

Ну и ну, подумал я; кто кого выслеживал эти дни: мы — Русанова с Кузинцовым или нас — Костенко?!

— В деле, товарищ полковник, — ответил Гиви, пожимая руку Костенко. — И вы, как вижу, тоже?

— Я дотягиваю до пенсии... Все жду: вдруг генерала дадут?!

— Не дадут, — вздохнул Гиви. — Вы слишком умный, за это мы вас так любили на курсе.

— Вы не могли не любить своего доцента, — ответил Костенко. — Иначе б я вас лишил стипендии. Перед начальством надо благоговеть. Ну, так как же вы ушли от наблюдателей?

— Чьих? — Гиви вымученно улыбнулся. Лица на нем не было, синяки под глазами, щетина, щеки запали, нос торчит, как клюв, замучился мой адвокат. — Ваши забрали тех голубей, что нас топтали, а мы воспользовались услугой индивидуального извоза.

Костенко несколько самодовольно хохотнул:

— «Индивидуальный извоз», кстати, осуществлял мой капитан Кобылин.

...Отведя меня в сторону, Костенко, отвернувшись к окну, негромко сказал, чтобы я завтра взял бюллетень и ни в коем случае не появлялся на работе в течение ближайших трех дней: «Ваше персональное дело, — заключил он, — мне невыгодно... Хотя, следуя вашей фразеологии, вношу коррективу: «нам». Ясно? Оно невыгодно «нам». — «Я никогда не праздновал труса». — «Тогда заодно научитесь не быть дураком».

Бригада экспертов из научно-технического отдела не нашла пальцев моей жены; зато наследил Антипкин-младший. Замок не вскрывали — значит, ключ ему отдала Оля, больше некому.

...Рассвет я встретил у окна — так и не уснул, потому что не мог ответить себе на вопрос: зачем надо было приносить в мой дом записную книжку художника? Лишь один человек мог сказать, что я не умолчу об улике в моем письменном столе, — лишь один: моя жена. Я отдавал себе в этом отчет, но не мог согласиться с очевидной данностью, все мое естество восставало, и поэтому я впервые в жизни понял выражение, которое раньше

казалось мне литературным, слишком уж метафорическим: «смертельная усталость».

XXVI.

Я, Кашляев Евгений Николаевич

С Тихомировым я встретился три года назад у писателя Ивана Шебцова, когда тот пригласил на чашку чая композитора Грызлова; речь шла об организованной атаке вокально-инструментальных ансамблей на серьезное, истинно народное искусство.

— Вот, полюбопытствуйте, — раздраженно говорил Грызлов, доставая из портфеля папку, — презанятнейший документик: заработки рок-джазистов за квартал... Волосы встают дыбом!

Пролистав сводки, Тихомиров заметил, что музыкант, получающий такие деньги, может стать неуправляемым, процесс тревожен — кто-то открывает ворота для вторжения западной массовой культуры.

Шебцов поднялся с лавки, быстро заходил по большой комнате; его исхудавшее, одухотворенное лицо порою казалось мне ликом Аввакума.

— А мы продолжаем болтать! — резко выкрикнул он. — Амебы! Трусливые хамелеоны! Скоро по радио нельзя будет услышать ни одной нашей песни! Одна Пугачева с этим безумным Чилентано! Налицо факт национального предательства! А мы?! Молчим в тряпочку! Трусливые мыши!

— Эмоции приглуши, — посоветовал Тихомиров сухо. — Предложения вноси! Болтать все здоровы... Сегодня — как бы мы ни сигнализировали — предложат провести опрос общественности, что, мол, хочет слушать молодежь. А ее развратили! Лишили вкуса! И опрос этот самый мы проиграем, даже если организуем тысячи писем от своих людей... Работать надо исподволь, не торопясь, целенаправленно... Вопрос заработков интересен... Это заставит насторожиться власти предержащие... Тоже люди, кстати говоря...

— Одну минуточку, — резко перебил его Грызлов. — Власти предержащие умеют зрить в корень... Они потребуют данные и о моих заработках... Не только моих, конечно, но и всех наших... И наверняка кто-нибудь резюмирует: «Кричат, оттого что их заработки резко упали из-за конкуренции тех, кого поет молодежь...»

Не надо трогать гонорары, — заключил он, — это палка о двух концах... Главное, на что надо жать: мы теряем самый дух нашей песни, ее лад и традицию!

Шебцов махнул рукой:

— Ерунда! Мы не затрагиваем суть: до тех пор, пока разрешают декламировать песни о русском поле на плохом русском языке, мы с мертвой точки не сдвинемся...

Тихомиров заколыхался — это он так смеется:

— Любопытно, кто напечатает твой пассаж? Если бы мне удалось открыть свой журнал — одно дело, но ты же понимаешь, что в ближайшем будущем на это рассчитывать не приходится... Одна надежда на нашего молодого друга, — он обернулся ко мне. — Может, как-то помочь делу, Женя?

Я знал, что именно благодаря Тихомирову меня не вытолкали из общественной жизни, а перевели в редакцию — переждать трудные времена. Я понимал, что это было сложно сделать при той рубке, которая началась; тем не менее обещать что-либо определенное я не мог, поскольку несколько дней назад в отделе обсуждался этот же вопрос и Нарышкина выложила на стол статистические таблицы:

— О том, что начался заговор против нашей песни, кричат дрянные музыканты, которых оттеснили именно русские ансамбли, не только Пугачева и Битлы — те же Надя Бабкина и Дмитрий Покровский... Эти художники не только спасают традиции, которые мы дружно разбазариваем, но и лепят психологию нового человека — раскованного, без комплексов, легко выходящего на сцену, чтоб войти в хоровод. У нас люди до сих пор смущаются поддержать певца: тот просит-просит, прямо умоляет, мол, спойте вместе со мною, похлопайте в такт, а зал сидит как забинтованный... Комплексы! А посмотрите, как американцы своим «деревенским мызыкантам» подпевают?! Вот, ознакомьтесь, как новые коллективы русской классики, — она ткнула пальцем в таблицы, — ударили по заработкам бездарных сочинителей а-ля рюс — все станет ясно!

Я не стал передавать слова Нарышкиной, поскольку Шебцов может не выдержать, у него порою сердце останавливается, надо щадить человека; я нашел слова, которые устроили всех: «Если бы редакция получила письма ветеранов, направленные против музыкальных программ телевидения и радио, подборку, думаю, можно напечатать».

Тихомиров сразу же меня поддержал, пообещал организовать письма не только из России, но и из Таджикистана, Грузии и Литвы: «Надо соблюсти декорум, главное, перекрыть кислород паршивым западникам, с республиками вопрос решим, в конце концов, у них есть национальное вещание, пусть себе играют на бандурах».

Публикацию подборки писем читателей я пробил; хотя пришлось дать три письма и в поддержку рок-музыки, причем выступили не какие-то юнцы, а делегат съезда комсомола, космонавт и профессор-биолог... Зато в поддержку хорового пения высказались ветеран, студент и учитель.

После этого два раза мы встречались с Тихомировым с глазу на глаз, планируя кампанию газеты против нетрудовых доходов. Мы понимали друг друга с полуслова, а порою и просто обмениваясь взглядами...

Сегодня он неожиданно позвонил на работу: «Подъезжайте на десять минут в кафе-мороженое на улицу Горького».

Встретившись, я понял, что он очень торопится; говорил поэтому рублено, хотя, как всегда, корректно:

— Я уже осведомлен о том, что вы начинаете персональное дело Варравина. Исполать вам. Но совершенно необходимо срочно организовать выступление газеты по делу Горенкова. Статья должна быть взвешенной: «Ни один хозяйственник не гарантирован от ошибок и злоупотреблений. Горенков не был злостным расхитителем, просто он не подготовлен к такому уровню, на который его выдвинул Каримов или же те, кто поддерживает Каримова. Если кто и виноват, то именно Каримов, не проявивший максимума внимания к растущему работнику. Надо выдвинуть предложение о немедленном пересмотре дела Горенкова»... Да, да, именно так... Но все — в пастельных тонах... Горенков повинен в гусарстве, халатности, но не в злоумышлении, — это даст ему свободу... Гуманизм, прежде всего гуманизм, Женя... И непременно расскажите о недобросовестности молодого репортера, пытавшегося на трагедии человека сделать себе имя: такого рода поведение в нашей прессе недопустимо.

Я предложил переговорить с Эдмондом Осининым; пишет он зло, резко, если возьмется — разнесет в щепы.

— А уговорите? — спросил Тихомиров. — Он не является героем моего романа, признаюсь; слишком мылист, выскальзывает из ладоней.

— У меня есть возможности подействовать, — ответил я. — Он прислушивается к мнениям, постараюсь организовать.

Я сказал так не зря: еще когда работал в горкоме, мне пришлось дважды встретиться с Осининым в кабинете первого секретаря на совещаниях для узкого круга; его пригласили, потому что замолвил слово один из литературных патриархов, над сыном которого он в свое время шефствовал; выступил он там лихо, ударил по бюрократии и перестраховке, опираясь на брежневскую «Целину»; книгу трактовал как пламенный призыв к инициативе, рассматривал некоторые главы и фразы неожиданно, достаточно смело, именно тогда первый заметил: «Вот как надо выступать, товарищи! Я посоветую Лапину активнее использовать Эдмонда Лукьяновича на телевидении, там не хватает писательского слова».

Помощники сообщили об этой реплике первого кому надо, и Осинина после этого легко приняли в Союз писателей. Точно зная, на кого следует ставить — ласковый теленок двух маток сосет, — он предложил свои услуги патриархам в качестве литературного функционера; в газете стал обозревателем по вопросам культуры; подготовил том избранных очерков, но поданы они были словно новая форма прозы; как и полагается, задействовал связи, после чего появились десятки рецензий: «Свежее слово в литературе». Однако при этом, мне кажется, в глубине души Осинин понимал, что никакой он не писатель, и поэтому все время охотился за острыми темами, чтобы завоевать читателя не мастерством, а сенсацией — на это все падки.

...Я пришел к нему в кабинет лишь после того, как были организованы два звонка от нужных людей, сказал, как меня покорила его последняя телевизионная программа, «вы теперь выступаете не только как большой писатель, но как политический деятель с собственной линией»; он обожал, когда его хвалили, об этом мне нашептали в редакции; Осинин похлопал меня по плечу: «Старикашка, это все суета, главное — впереди... Ну, рассказывай, что у тебя? Времени — в обрез».

— Эдмонд Лукьянович, полагаю, вы поймете меня верно: я бы хотел, чтобы этот разговор остался между нами... Речь пойдет о судьбе невинно осужденного человека — с одной стороны, а с другой — о будущем нашего товарища, Вани Варравина

Поскольку на каждого мало-мальски заметного человека я начал вести досье — родословная, связи, компрометирующие материалы, моральный облик, — я знал, что Осинин далеко не простое явление: всю жизнь он искал и налаживал связи с влиятельными, глубоко патриотическими силами на литературном фронте, хотя выступал порою с материалами, которые явно грешили новационными перекосами. Была даже зафиксирована фраза, сказанная в кругу его близких: «Интересно, кто из писателей, кроме меня, решится поставить вопрос о таинственном роке, тяготеющем над Россией?! Действительно, начиная с Петра Великого, против всех прогрессивных реформ поднималась неподвижная, но могучая оппозиция: «Пусть все будет по-старому, любое новшество неугодно и вредит нашим традициям...»

Поэтому я сказал о Варравине так, чтобы это понравилось Осинину, ибо позиционно, глубоко таясь, он все же чем-то близок Ивану. Конечно, люди его ориентации лишены того, что объединяет нас; у них нет крутой общности — один за всех и все за одного, пусть даже этот один в чем-то и не прав. Интеллигенты-леваки разобщены, каждый тянет одеяло на себя, борьба амбиций, этим-то и следует пользоваться, покуда не поздно. Если бы дело Горенкова описал кто из наших, — один коленкор. А когда выступит их же, в общем-то, чужой нам, — дело приобретает другой оттенок, да и в будущем возможны варианты... Воистину, идея «разделяй и властвуй» не так уж плоха, хоть и пришла от католичества, давно предавшего идеи церкви.

Не зря я тщательно изучил досье на Осинина. В его ранних публикациях времен «оттепели» нашел цитаты Ленина, которые он привел в своем материале о самоуправстве одного из начальников леспромхозов в Башкирии: «Башкиры имеют недоверие к великороссам, потому что великороссы более культурны и использовали свою культурность, чтобы башкир грабить. Поэтому в этих глухих местах имя великороссов для башкир значит «угнетатель», «мошенник». Надо с этим считаться, надо с этим бороться. Но ведь это — длительная вещь Ведь это никаким декретом не устранишь В этом деле мы должны быть очень осторожны. Осторожность особенно нужна со стороны такой нации, как великорусская, которая вызвала во всех других нациях бешеную ненависть, и только теперь мы это научились исправлять, да и то плохо. У нас есть, например, в Комиссариате просвещения

или около него коммунисты, которые говорят: «Едина школа, поэтому не смейте учить на другом языке, кроме русского. По-моему, такой коммунист — это великорусский шовинист».

Я, честно сказать, не поверил своим глазам, пошел в справочный отдел, там подтвердили: действительно, Ленин сказал это в докладе о партийной программе... Март девятнадцатого, Восьмой съезд РКП(б).

Я знал, что сейчас Осинин активно налаживает блок с теми, от кого зависит присуждение ему премии; готов на все, чтобы его загибы были забыты. Поэтому я и помог ему, сказав, что люди, подобные Каримову, компрометируют братскую дружбу народов, подставляют под удар русских специалистов в затаенной попытке торпедировать перестройку: «Я понимаю, — добавил я, — что тема эта весьма деликатная, но кто, кроме вас, сможет поднять ее? Ведь у всех на памяти, как вы, именно вы, мужественно выступили в защиту замечательных башкирских тружеников, попавших в беду из-за нашего самодура... Мы смело критикуем своих, но ведь это не значит, что все другие огорожены от критики! Если равенство, так уж во всем, иначе-то и рождается дисбаланс! Если что и объединяет людей, то лишь наш великий и могучий язык...»

Осинин в задумчивости отошел к книжному шкафу, достал ленинский сборник «О культурной революции» и, заученно открыв страницу, заложенную красной картоночкой, зачитал:

— «...Мы думаем, что великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен изучать его из-под палки... Те, кто по условиям своей жизни и работы нуждаются в знании русского языка, научатся ему и без палки. А принудительность (палка) приведет только к одному: она затруднит великому и могучему русскому языку доступ в другие национальные группы, а главное — обострит вражду, создаст миллион новых трений, усилит раздражение, взаимонепонимание и т. д. ...Кому это нужно? Русскому народу, русской демократии — это не нужно...» Вот так-то, Женя... Что же касается Каримова, то, судя по вашему рассказу, он руководствуется не столько националистическими мотивами, сколько пытается дестабилизировать ситуацию в автономной республике, саботировать новое... Или вы мне не все договорили? Выскабливайтесь, мой друг! Если уж честность — то избыточная.

Я ответил, что дополнительной информацией не располагаю, я именно так понял Варравина, а у меня нет никаких оснований ему не доверять, но, поскольку в ближайшее обозримое будущее ему нельзя публиковаться в газете, мы не вправе пассивно ждать, пока Горенков помрет в колонии.

Я внимательно изучал лицо Осинина, когда он просматривал материалы, которые я ему приготовил: Тихомиров организовал письма в редакцию не только из Загряжска; работа была сделана быстро и профессионально; примат количества очевиден, пока-то еще разберутся с качеством! Против массы — не попрешь, а в наше время организовать массу проще простого: десять телефонных звонков — вот тебе и двести писем, реагируйте!

Я понимал, что Осинин не может не ухватить крючок: всякое выступление в защиту зазря обиженного человека работает на репутацию, закладывается в читательскую память, повышает авторитет, свидетельствуя о смелости писателя: «Смотрите-ка, во имя правды и справедливости не побоялся жахнуть по Председателю Совета Министров!» От такого материала отказаться трудно, несмотря на то, что вопрос журналистской корпоративности, как я успел убедиться, в среде газетчиков чрезвычайно щепетилен...

— Ну, хорошо, — задумчиво сказал Осинин, — а что, если вам поговорить с Ваней Варравиным? Отношения ведь у вас добрые?

— В высшей мере...

— Я думаю, он поймет: в нынешней ситуации промедление действительно смерти подобно. Вопрос однозначен: либо он думает о своей журналистской карьере, либо о принципе... Когда разбор его персонального дела?

— Это зависит от многих причин, — ответил я, не сводя глаз с лица Осинина. — Можно оттянуть собрание, создать комиссию, поручить ей разобраться во всей этой грязи... А можно обсудить хоть завтра — тяп-ляп, «не дадим своего в обиду», сторонников у него хватает...

— Это верно, — согласился Осинин, рассеянно добавив: — Вы и я тоже его сторонники, разве не так?

— Конечно, так, — ответил я, поняв, куда клонит Осинин.

Он ждал, что я помогу ему и дальше; нет, решил я, хватит, решай сам. Осинин снова похлопал меня по плечу, вздохнув:

— Ах, Женчик, Женчик... Хитрован вы мой дорогой... Скажите главному, что я отказался писать этот материал... Если даст указание — что ж, я солдат, привык выполнять приказы.

Тогда-то я и достал из кармана нашу козырную карту — коллективное письмо, адресованное ему, Эдмонду Осинину: «Кто, как не Вы, скажет слово правды по поводу происходящего в строительных организациях Загряжска?! Кто, как не Вы, станет в защиту справедливости?! Репортер Варравин даже не удосужился побеседовать с простым народом, он собирал информацию в начальственных кабинетах...»

— Вот, — сказал я. — Посмотрите это, Эдмонд Лукьянович.

Осинин прочитал письмо стремительно; я видел, как он хотел просчитать количество подписей, но понимал, что я замечу это, глаза выдадут.

— Почему не показали сразу? — спросил он.

— Потому что не считал возможным давить...

Через три часа я положил на стол главного гранки материала, написанного Осининым; назывался он, как все его материалы, хлестко: «Письма беды».

— Где Варравин? — спросил главный, рассеянно проглядев текст.

— Плохо себя чувствует... Взял бюллетень...

— Сердце?

— Я не могу к нему дозвониться, никто не поднимает трубку.

— Но он не в больнице?

— Нет, наши видели его сегодня в городе.

— Покажите материал заместителям, — сказал главный.

— Нужна ваша виза.

Главный искренне удивился:

— Зачем? Опасно мыслить категориями застойного периода, Евгений... Вы как редактор отдела вправе принимать решения, я никогда не мешаю инициативе.

Утром Варравин позвонил мне: я понял, что он уже прочитал газету с «Письмами», поэтому спросил как можно мягче:

— Где ты пропадаешь, Ваня? Мы ж волнуемся за тебя.

Он покашлял в трубку, потом вздохнул и, закуривая (я это не только услышал, но даже увидел явственно), сказал:

— Ты не просто сука, Кашляев... Ты глупая сука... Не думай, что ваша взяла... А на досуге поразмышляй вот о чем: из-за таких, как ты, нас могут запрезирать... Понимаешь? Гадливо презирать... А от этого приходится отмываться десятилетиями... Я ж понял тебя, Кашляев, я знаю, с кем ты... Или вы все психи, или вы в заговоре против народа.

...А через час он прислал главному копию телеграммы, которую отправил в ЦК по делу Горенкова и Каримова.

Я человек не робкого десятка, но когда увидел фамилии Тихомирова, Русанова, Кузинцова, свою, тело сделалось неестественно легким, неподвластным мне до того, что я не мог протянуть руку к телефону — набрать единственно нужный мне сейчас номер...

XXVII.

Я, Иван Варравин

Наверное, каждый переживал ощущение нереальности происходящего, некоей отдельности мыслей от плоти, безутешной ярости протеста... Так, во всяком случае, у меня было во время похорон Высоцкого; точно так же я воспринял смерть Андрея Миронова: «Это же невозможно»; все мое естество отторгало то, что я видел собственными глазами...

...Так было и сейчас, в клубе, куда я пришел на диспут неформального объединения «Старина», — после статьи Осинина терять нечего, надо принимать открытый бой, время ожидания кончено.

Поначалу, вслушиваясь в слова выступавших, я не очень-то верил себе, мне казалось, что все это сон, нелепица; «сионистские масоны взорвали храм Христа Спасителя», «на Западе спланировано массовое проникновение чужеродных элементов в нашу культуру», «масоны руководят искусством», «русскую нацию, самую трезвую в мире, спаивают темные силы по указаниям ЦРУ!». Увы, это была явственная реальность...

Другой оратор яростно размахивал кулаками:

— Спад в нашей экономике — следствие работы сио-

нистов-масонов, проникших в высшие органы власти!

В зале загудели:

— Доказательства! Факты!

— Если вы намерены совершить подлость, — не унимался оратор, — вы прежде всего добьетесь авторитета! Гитлер начал с того, что укрепил свой авторитет! Кто из вас видел хронику, как Гитлера встречал народ? Он много сделал для немцев!

В зале заулюлюкали; оратор между тем продолжал кричать, низко склонившись к микрофону:

— В Советском Союзе существует законспирированная, хорошо оформленная сионистская организация! Сионисты захватили масонство, и оно служит их целям мирового господства! Один из руководителей масонской организации новосибирский академик с русской фамилией, а по правде он Гофман. Приходит домой, надевает ермолку, эдакую еврейскую шапочку, еврейский халат, стелет коврик и молится еврейскому богу! А занимает высокое положение в государственных и партийных органах! Что происходит в Новосибирском академгородке?! Там царствуют масоны! Один из них также с русской фамилией, но он же еврей и масон. Это докажут следственные органы! У него в коттедже две колонны красного дерева — обязательный атрибут масонов! То же у одной известной дамы, члена-корреспондента академии.

Кто-то из темноты — голос молодой, ломкий, смешливый — выкрикнул:

— Тоже еврейка?

— Да. Но правды ради скажу: масоном является ее муж, она вроде бы к этому отношения не имеет!

Я вообще перестал верить происходящему, когда третий оратор прокричал в зал:

— У русских людей вырывали кусок ото рта и отдавали его другим! И если сейчас в Грузии повсюду прекрасные дороги, электричество, а у жителей дома как полные чаши, то в северных коренных русских областях нет хороших доро , в селах живут одни полунищие старики...

Сидевший в первых рядах седоголовый мужчина в военной форме без пого — видимо, отставник — пробасил·

— Значит, грузин тоже сионисты и масоны?!

Оратор, однако, не слышал никого, кроме себя:

— Имя Гитлера связывают с убийством четырех — шести миллионов евреев Если считать, что на совести

евреев сто пятьдесят миллионов убитых и неродившихся русских, то это немного... Было пущено в ход испытанное орудие — медицина; стали странно умирать люди. И если смерть «мелкой сошки» и сейчас расследуется небрежно еврейскими врачами, то, понятно, смерть Жданова и Щербакова повлекла за собой «дело врачей»... Неизвестно, откроется ли когда причина смерти самого Сталина. Во всяком случае, он умер за неделю до официального объявления даты его смерти, и именно в течение этой недели «дело врачей» было прекращено, а врачи оправданы... Бдительность и еще раз бдительность! Тысячу лет назад иудей-полукровка князь Владимир, засланный на Русь еврейским кагалом, разрушил нашу языческую веру, надругавшись над нашим великим арийским народом, и силой навязал нам христианство! А в семнадцатом году были разрушены христианские церкви! Так сколько можно глумиться над культурой нации?!

Какой-то защитный механизм отторжения позволил мне переключить сознание, заставить его не воспринимать кликушество; я мучительно думал о том, как надо выступить. Я понимал, что полемизировать с абсурдом бесполезно; нельзя выдвигать контрдоводы против каждой произнесенной здесь фразы; тех, кто их произносит, — не переубедишь; с Гитлером не дискутировали, но сражались. Черт с ними, с этими больными мракобесами, но ведь в зале сидят молодые люди и слушают все это, а они не готовы к тому, чтобы отделять злаки от плевел, а во вступительном слове доцент Тихомиров возглашал, что «лишь в условиях демократической открытости можно говорить о самом больном, только это поможет нации излечиться от недуга, навязанного сионистско-масонским проникновением...». О них сейчас надлежит думать, об одногодках, к ним надо апеллировать, к кому же еще?!

Но я вновь врубился в происходящее, как только услыхал Тихомирова:

— Слова просит ветеран войны и труда Бласенков Виталий Викентьевич...

Я сразу же вспомнил донесения отца, фамилию «пропагандиста РОА Бласенкова Виталия Викентьевича», чье-то подчеркивание этого абзаца в отцовском донесении, едва заметный вопросительный знак, стершиеся слова — «вызвать для показаний о Варравине»; две буквы «В. А.» — видимо, Виктор Абакумов, преемник Берии, — он моего отца допрашивал дважды...

Я превратился в комок; таким я становился, когда тренер нашей студенческой футбольной команды, старый динамовец Панкратов, выпускал меня на поле в критических ситуациях, чтобы сдержать атаки соперника; поскольку в боксе я работал в полутяжелом весе, скорость, конечно, на поле не развивал, трудно, но стеною становился, форварды меня пройти не могли, хотя Панкратыч категорически запрещал сносить атакующих: «Мы не мясники, делаем зрелище, артисты физической культуры...»

Я обернулся, стараясь разглядеть в полутьме клубного зала тех, кто окружал старика, но каково же было мое удивление, когда я увидел поднимавшегося с кресла моложавого, крепкого еще человека, окруженного статными парнями в белых сорочках и черных галстуках.

Может, это однофамилец, подумал я. Слишком крепок, не может быть, ведь сорок лет прошло! Ну и что, ответил я себе. Тогда ему было двадцать, сейчас шестьдесят с небольшим.

Бласенков легко взбежал на сцену, обосновался на трибуне, достал из внутреннего кармана пиджака несколько листочков бумаги и, не надевая очков, начал читать:

— Дорогие товарищи! Несколько лет тому назад проект «Устава всемирного антисионистского и антимасонского фронта», подготовленный патриотами, сражающимися против страшной угрозы, нависшей над человечеством, над братством народов всей земли, был подвергнут критике. Это случилось во времена застоя. Ныне мы оглашаем «Устав»! Итак, большинство населения каждой из стран мира, преисполненное решимости спасти себя и грядущие поколения от ужасов надвигающегося сионистско-масонского господства, от массовой гибели «гоев», то есть всех «неевреев», считая, что всемирная организация масонских лож с резиденцией в городе Чарльстон (США), которой тайно правят хозяева мирового сиона в лице еврейской масонской ложи «Бнайбрит» с международной резиденцией в Вашингтоне, учитывая, что пока в мире имеется разветвленная система сионистских, чисто иудейских и масонских организаций, куда полностью закрыт доступ любому «гою» или немасону, и одновременно в мире нет ни одной международной организации, куда бы был запрещен допуск евреям и масонам, считая, что «гои» и немасоны имеют право на создание закрытой для иудеев и масонов

международной контрорганизации, решили создать «Всемирный антисионистский и антимасонский фронт» и принять его устав... Основными обязанностями фронта являются: а) выявлять и вскрывать все проявления сионизма и масонства, включая любые попытки тайного проникновения в наш фронт открытых носителей иудаизма и масонства, используя для этого все имеющиеся средства, которыми пользуются в аналогичных случаях сионисты и масоны; б) исполнять любые приказы фронта, проявлять самую широкую инициативу, изобретательность, находчивость и активность в борьбе с сионизмом и масонством под свою личную ответственность и в рамках основных задач фронта... Члены нашего фронта считают, что конечной целью является установление суверенной власти «гоев» в форме антисионистской и антимасонской диктатуры, с проведением соответствующих изменений в существующих формах государственной власти... Каждый член фронта должен всемерно способствовать лишению всех сионистов и масонов защиты закона... Фронт имеет своей целью учреждение международного трибунала для проведения международных судебных процессов... Слово «гой» значит «селянин»... Древние иудейские захватчики стали называть коренных селян Палестины их же словом «гой», придав ему презрительный расистский смысл «нееврей». Мы восстанавливаем первоначальное слово «гой» — «селянин», и пусть оно останется только для неевреев. Мы торжественно провозглашаем: «Гои мира, соединяйтесь!»

Гулкая тишина, царившая в зале, оставалась такой же гнетущей, страшной своей растерянностью, пока Бласенков неторопливо складывал свои бумажки и легко спускался со сцены. И вот тогда я поднял руку, прося слова...

Поднявшись на трибуну, я огляделся; яблоку негде упасть; глаза собравшихся горят, голоса сливаются в один и поэтому кажутся прибоем на морском берегу, усыпанном мелкой галькой.

— Товарищи, то, о чем только что говорили предыдущие ораторы, я читал в разного рода изданиях... Поэтому начну с того, что приведу ряд цитат. Итак: «Человечество стоит перед дилеммой: либо отдать себя на заклание банде еврейских большевиков-масонов, либо истребить этих заговорщиков, пытающихся овладеть миром, превратив его в свою колонию!» Давайте заменим «еврейских большевиков-масонов» на «сионистско-масонских заговорщиков», и совпадаемость будет весьма близ-

кой... В первом случае говорил Гитлер, во втором — Бласенков...

Кто-то крикнул:

— Назовитесь! Кто вас сюда подослал? Провокатор! Стукач! Крушник! Сионист! Он из КГБ! Агитпроповец! Имя! Кто вы?!

— Меня зовут Иван Варравин, родился в Москве, образование высшее, русский, коммунист... Между прочим, предпочел бы говорить «советский», а не «русский», очень красиво звучит: «гражданин Советского Союза...».

— Брезгуете русской национальностью?

— Нет, очень горжусь советским братством!

— Отчество! Назовите отчество!

— Игоревич, — я усмехнулся. — Отец — Игорь Иванович...

— А мать как зовут?! — голос был один и тот же, видимо, устроители диспута роли распределили четко, механизм организации отлажен надежно.

— Моя мать Анна Ивановна, урожденная Васильева, отец фамилии не менял... Теперь, когда мы разобрались с вопросами «чистоты крови», позвольте ответить на вопрос, поставленный во вступительном слове: «Кто подписал приказ на разрушение храма Христа Спасителя»...

— Каганович! — крикнули из темноты задних рядов. — Кто же еще!

— Верно, — согласился я. — Сталин, Молотов, Ворошилов и Каганович. Называю фамилии подписавших членов Политбюро не по алфавиту, но по значимости в политической иерархии того времени... Что послужило поводом к такого рода решению? Почему изо всех «сорока сороков», изо всех московских храмов был уничтожен именно этот, гордость русской архитектуры? Дело в том, что храм Христа Спасителя был самым высоким зданием района, с куполов которого просматривались окна Кремля, а не только «дома на набережной», который тогда был «домом правительства», или, как его называли в тридцать седьмом, — «допром». Это сокращение, полагаю, вам известно? «Дом предварительного заключения»... Потому что девяносто процентов жильцов были арестованы и расстреляны — большевики-ленинцы с дореволюционным стажем... Так вот, с куполов храма был виден и двор Кремля, по которому порою гулял Иосиф Виссарионович... Запретить в храме службу было невозможно, ибо нельзя убить память о прекрасных народных обрядах — той же Пасхе или Рождестве... Значит,

надо было уничтожить самоё память — храм, «обезопасив» таким образом вождя, на которого неминуемо организуют покушение старенькие служки. Несколько работников ЦК, в частности Ежов, тот самый, «ежовые рукавицы», внесли предложение разрушить храм, чтобы исключить возможность «террористического акта с куполов»... И Политбюро утвердило его предложение, поручив МК провести мероприятие. Была спущена директива в райком, и храм, уникальный памятник архитектуры, уничтожили... Такова историческая правда, товарищи... Так что «заговора сионистских масонов» в этом нет. Здесь очевидна трагедия совершенно иного рода... А теперь я процитирую русского писателя Илью Эренбурга...

— «Русского»?! Да он же сионист чистой воды! — визгливо прокричали из темноты.

— За голову этого «сиониста», — ответил я, — гитлеровцы сулили миллионы... Тут, кстати, ветераны войны есть?

— Есть! Вы не слушайте этих истериков! Продолжайте выступление, у нас по окопам газеты с Эренбурговыми статьями ходили, на раскурку не пускали!

— Спасибо, — ответил я. — Так вот что писал Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» об эмигрантских черносотенцах в Берлине: «Большевики были далеко, поэтому приходилось сводить счеты с товарищами по эмиграции... Обрушились на Керенского, уверяя, что он сын известной революционерки Геси Гельман... Помню, как нас веселила книга некоего Бостунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что эсер Чернов на самом деле Либерман, а октябрист Гучков — масон и еврей по имени Вакье; Россию погубили вечные ручки Ватермана и шампанское Купферберга, помеченные дьявольскими пентаграммами. «Сменовеховцы» говорили, что большевики — наследники Ивана Грозного и Петра. Все они клялись Россией, и все твердили о «корнях», «традициях» и «национальном духе»... «Вам не кажется, что описываемое Эренбургом в Берлине похоже на происходящее здесь?! «Смена вех» — это первая попытка размыть социализм изнутри, подменить понятия, свернуть революцию в сторону... В двадцатых годах не вышло... Что, приспело время для новой попытки?! Объективности ради надо отметить, что «сменовеховцы» были культурными людьми, с определенным политическим опытом... Поэтому они избегали расистских вы-

вертов — в отличие от руководителей здешних борцов за «национальную идею»... У профессоров, входивших в «Смену вех», было свежо воспоминание о шумном антисемитском процессе, начатом царизмом в Киеве против Бейлиса, который якобы убивал русских детей, чтобы высосать из них христианскую кровь и подмешать в свою ритуальную еду. Хочу напомнить залу, к чему это привело: Анатоль Франс в Париже начал кампанию против изуверства царских властей; Гауптман возглавил такое же движение в Германии; против Царского Села выступили Лондон, Вашингтон, Брюссель... Реакция петербургских дипломатов на протесты мировой общественности была однозначной; посол России в Америке Бахметев телеграфировал в Петербург: «Американские жиды не пропустили удобного случая и воспользовались делом Бейлиса, чтобы попытаться возбудить новую агитацию против России...» Правда, через несколько дней он не смог скрыть изумления: «Депутация от американского духовенства явилась с просьбой доставить государю подписанное епископом Нью-йоркским, одним кардиналом, 21 епископом и 12 лицами других христианских вероисповеданий прошение о прекращении дела Бейлиса и обвинении жидов в ритуальных убийствах...»

Тишина в зале была напряженная, внимающая.

— А вот позиция Ленина, высказанная им в большевистской повременной печати: «Рабочий класс должен противопоставить свое убеждение в необходимости полного равноправия, полного и окончательного отказа от каких-либо привилегий для какой-либо нации. Особенно ненавистническая агитация ведется черносотенцами против евреев...»

— Сионисты сами провоцируют еврейский вопрос! — крикнули из тишины.

— В начале века об этом уже писала наша черная сотня: «Именно жиды провоцируют погромы, чтобы вредить престижу империи!» Гитлер утверждал в своем завещании, что не он и его клика развязали войну, а «мировое еврейство»... А вот что писали в журнале Владимира Галактионовича Короленко «Русское богатство»: «Русские граждане поняли, что неправда и зло, вскрывшиеся на процессе Бейлиса, есть общерусская неправда и зло, поняли, что русский национализм есть угроза всей русской гражданственности, поняли, какую бессудную, дикую, темную Россию готовит национализм для русских... Можно думать, что теперешний русский

национализм — и когда будет мертвым — не очистится от срама, которым покрыл себя...»

— Так позорят наш народ агенты ЦРУ! — голос был яростный, брызжущий, истеричный.

— Вы обвиняете русского дворянина Елпатьевского в том, что он агент ЦРУ? — спросил я. — Выйдите на сцену, представьтесь, и я подам на вас в суд за публичное оскорбление отечественного писателя.

Молчание. Напряженная тишина.

— Давайте, давайте! Трусите?! Идите на сцену...

На сцену никто не вышел, кто-то скользяще покинул зал.

— Вопрос к присутствующим, — продолжил я. — Стоило ли нам вообще воевать против Гитлера, товарищи? Давайте проголосуем!

— Не провоцируйте! — не сдержавшись, крикнул Тихомиров. — Никто не забыт, и ничто не забыто!

— Если никто не забыт и ничто не забыто, тогда почему в планах вашей «Старины» нет ни одного мероприятия, посвященного революции? Почему вы не собрали экстренное совещание, когда страна узнала о недавнем глумлении над солдатскими кладбищами?! Почему из двенадцати запланированных встреч только одна посвящена героям Отечественной войны?! Легче всего наработать дешевый авторитет — Гитлер учил этому, — обвиняя во всех упущениях «масонов» и евреев. Но ведь честнее и патриотичнее разобраться в причинах нашего отставания, изучая собственные ошибки, глупость, трусость, некомпетентность! Испания — во имя борьбы за чистоту крови и веры — сожгла сто тысяч евреев по приказу святой инквизиции, а остальных, вместе с арабами, выслала из королевства. Ну и что? Это помогло стране? Да нет же! Отбросило на столетие назад, ибо талантливейшие арабские математики и еврейские ремесленники были вынуждены оставить свою родину — прямая откачка мозгов и рук, предательство интересов испанского, именно испанского, народа. А сколько талантливых людей покинуло российскую империю после кишиневского погрома?! А как много потеряли немцы, когда Гитлер изгнал из рейха Альберта Энштейна и Эриха Ремарка, Томаса Манна и Брехта?! А думаете, провокационный расстрел «советского антифашистского еврейского комитета» в сорок девятом году прошел бесследно?! А дело «врачей-убийц» в пятьдесят третьем?! Надобно называть правду своими именами и не мешать причину

со следствием! Ленин не зря считал национальный вопрос одним из важнейших в нашей многонациональной республике! Начать можно с евреев — достаточно привычно, — но ведь это пожаром перебросится и на эстонцев, и на киргизов! Шовинизм, как и национализм, — это динамит, подведенный под наш основополагающий государственный фундамент!

И тогда в зале зааплодировали; кто-то тем не менее прокричал:

— Не уходите от темы: масонство, сионизм, их преступления против русского народа!

Ну и голос, ну и ярость же в нем; не больны эти люди, отнюдь; они одержимы идеями Пуришкевича и генерала Власова; зачем врем самим себе, мол, — параноики; политика страуса?

— Ваши ораторы говорят по четыре часа. Я выступаю двенадцать минут. Вы же радеете о демократии, дайте мне закончить то, что я почитаю должным... Итак, о масонах и сионистах... Об их преступлениях против нашего народа... Вопрос на сообразительность: кто в этом зале согласен с тем, что обществу нужна конституция, то есть гарантии? Давайте проголосуем!

Несколько человек рук не подняли — с этими ясно.

— Большинство — «за». Верно? Так кто же, начиная с расстрела на Сенатской площади, выступал против гарантий для народа? Масоны? Или абсолютистская русская монархия?! Кто сажал в тюрьмы тех, кто требовал отмены рабства в России? Таинственные масоны? Или реальный царь? Кто бился за судебную реформу, за суд присяжных? Царь? Нет, за это он тоже сажал! Кто говорил, что Россия — застенок совести, мысли и поступка? Масоны? Нет, Лев Толстой в своем обращении к царю! Целый год людей терроризировали слухами об очередном масонско-сионистском заговоре против страны, рассказывая о «диверсии» в Чернобыле. Диверсия? А не обломовское ли разгильдяйство, бюрократизм и безответственная некомпетентность тех, кто стоял во главе атомной станции?! Ведь был суд, открытый суд, — отчего не распространяются эти материалы?! Хотим выгородить дураков и мерзавцев, не умеющих работать, свалив вину на мистических врагов?! Но ведь это и есть истинное преступление против нашего народа, который так богат талантами! Только отчего-то таланты прозябают, а ловкие бюрократы захватывают командные должности! Мы когда-нибудь — открыто и требовательно — ставили вопрос

о необходимости проведения фестиваля искусства России в Москве?! Предлагали создать Академию русского языка и культуры? И, с другой стороны, анализировали, какие прибыли отчисляет в наш общегосударственный бюджет Украина: сталь, хлеб, станки! Черноморское побережье?! А сколько приборов, машин, рыбы, радиоприемников дает Латвия?!

— Вы уходите от темы дискуссии! — выкрикнул тот же истеричный голос. — «Масонско-сионистский заговор против русского народа»! Об этом и говорите!

— Если нас всерьез заботит судьба нашего народа, начнем с того, чтобы в детских домах перестали бить детей! И не воровали у них положенную — хоть и копеечную — еду! Если мы всерьез озабочены судьбами народа, станем бороться против тех административных уродов из исполкомов, прокуратур, милиции, которые запрещают людям трудиться на родной земле, растить помидоры, яблоки, картофель, штрафуют их за это, сажают, позорят в печати! Если мы озабочены судьбой народа, изучим положение в клиниках: отчего сестра не подаст больному лекарства без того, чтобы ее не поблагодарили? Масонка она? Сионистка?! Нет, она гроши получает, а на ней пять палат, вот в чем дело. Духовность — духовностью, но от заработной платы никуда не денешься: чтобы купить детям том «Русских сказок», нужны деньги, и немалые!

— Вы говорите как западный прагматик: «деньги», «деньги»! Это чуждо нашему духу! — кричат из темноты последних рядов.

— А, простите, за хлеб вы чем платите?! За ботинки?! Духом? Или рублем? Вопрос к залу: товарищи, вы готовы обратиться с просьбой к правительству, чтоб всем сократили оклады содержания?! Пусть нам платят копейки: на хлеб и воду. И то по карточкам. Согласны?

И тут в зале засмеялись.

Но тот же истерический голос тянул свое:

— Ради блага Родины мы готовы сесть на хлеб и воду! А вы?!

— Нет! Ради блага Родины надо сделать жизнь ее *граждан состоятельной! А для этого надо работать* и учиться! А вы пытаетесь дать молодежи апробированные ориентиры: масоны, жи... простите, сионисты — от них все беды! Нам некого винить в собственных бедах — мы в них повинны, нам их и исправлять!.. Надо бороться с пьянством? Надо. А кто из нас организовал семейную

чайную, открыл молочное кафе? Блинную? Пельменную? Трактир? Домашний музей?! Комнату игр?! Домашний шахматный клуб?! Что ж мы не противостоим реальными делами так называемым масонам и сионистам, которые, по вашему мнению, намеренно «спаивают» наш народ?! Водка — не касторка, насильно ее не пьют! Отчего не боремся с бюрократией, которая запрещает личности стать личностью?! Мы плакальщики, а не патриоты! Будь мы настоящими патриотами, делали бы все, чтобы пробуждать в каждом молодом человеке чувство собственного достоинства и конституционного права на поступок! А мы?! Будь мы патриотами, рассказывали бы молодежи, сколько стоил наш человек на невольничьем рынке всего сто двадцать шесть лет тому назад! Будь мы патриотами, доказали бы молодому человеку, что лишь гражданские поступки определяют личность патриота, а не болтовня и слезливые причитания! А поступок — это свободный труд! Это своя мысль! Своя, именно своя! Рабство — это пассивное бесправие, лишь свобода определяется правом! Кто виноват в том, что в автобусах и метро собачимся и толкаемся? Кто виноват в том, что в парадных писают и блюют?! Масоны? Сионисты?! Кто виноват в том, что сосед на соседа строчит анонимки?! Кто повинен в том, что в школьнах программах всего два часа отводят Салтыкову-Щедрину? Кто в ответе за то, что на железных дорогах наши несчастные женщины таскают шпалы? Масоны?! А мужики рядышком сигареты смолят! Они кто, сионисты, что ль?! У меня создается впечатление, что кое-кто из собравшихся здесь тщится своими велеречивыми дискуссиями доказать малость, забитость и обиженность нашего народа! Да, у нас слишком мал демократический опыт, да, мы самыми последними в Европе получили конституцию, да, мы только сейчас впервые начали говорить открыто то, что думаем, но это не уменьшает величия народа, а лишь высвечивает трагичность его истории! Трагичность, но не второсортную малость! И еще: слишком велика русская культура, слишком очевидно ее влияние на человечество, чтобы мы позволили себе фанабериться и унижать национальное достоинство других! Не надо постоянно доказывать величие Пушкина, Толстого, Чайковского, Менделеева, Сурикова, Репина — это повторение очевидных истин, только безграмотный осел или гитлеровец может оспаривать это! Ваша «Старина» не может не породить такой же «Старины» в братских республиках! И украин-

цы непременно зададут вам вопрос: «Кто отправил в солдатчину Тараса Шевченко?» Масоны? Сионисты? Или правительство русского царя?! Кто травил Лесю Украинку и Ивана Франко?! И башкиры спросят про Салавата Юлаева! И латыши — про Яниса Райниса! Либо Россия была «тюрьмой народов», в которой наравне с русским народом — Пушкин, Лермонтов, Белинский, Толстой, Горький тому примеры — страдали наши украинские, грузинские, калмыцкие, еврейские братья, и тогда революция была необходима, либо наша революция — зло, козни евреев и масонов, заговор против народа! Или — или! Вам решать, не мне! Я — коммунист, ответ для меня однозначен! И разрешите мне — через некоторое время — вернуться к вам и рассказать, каким образом действуют некоторые руководители вашего объединения, как они — в своих корыстных интересах, чисто меркантильных — травят именно русских людей?

— Почему не говорите сейчас?! — крикнул с места Тихомиров. — Это демагогия!

Я не сдержался:

— Вам прекрасно известно, отчего я пока не могу говорить об этом...

Я понял, какую допустил ошибку, по тому шуму, который начался в зале; теперь не отвечать нельзя, недостойно.

— Хорошо. Я отвечу, но только вы, доцент Тихомиров, скажете во всеуслышание собравшимся, зачем вам и вашим наймитам надо было сажать в тюрьму инженера Василия Пантелеевича Горенкова?!

Он не решится отвергать все, подумал я; он будет выворачиваться, однако промолчать не сможет.

Поднявшись, Тихомиров медленно произнес:

— Как беспартийный коммунист-ленинец, я хочу, чтобы Варравин ответил: когда назначено слушание его персонального дела, посвященного издевательству над беременной женой?!

Зал гудел еще круче.

Я поднял руку:

— Мое персональное дело будет обсуждаться через три дня... Собрание открытое... Каждый может прийти и принять в нем участие... А теперь, пожалуйста, доцент Тихомиров, ваша очередь...

Ну, иди, подумал я, спускаясь со сцены, иди и лги о Горенкове, мне есть чем опровергнуть твою ложь, статья Осинина тебе не в помощь...

XXVIII.
Я, Чурин Арсений Кириллович

Поскольку командировку выписало союзное министерство, таможенный досмотр мы проходили возле той стойки, где укреплена табличка: «Для членов дипломатического корпуса и официальных делегаций», — меньше народа и волокиты, хотя таможенная декларация для всех одна. Я не считал целесообразным поднимать вопрос о зеленом паспорте, владелец которого вообще не подлежит контролю, на последних метрах дистанции надо избегать лишних движений.

Кузинцов проводил меня до паспортного контроля, пожелал успеха в переговорах, пообещал уделять максимум внимания Леле (он был в курсе нашей семейной трагедии, последнее время Лелечка пила понемногу, но каждый день, поэтому лицо ее опухло, сделалось водянистым, неживым, только глаза светились тяжелым, мерцающим светом, словно бы она неотрывно любовалась какой-то одной, постоянно видевшейся ей картиной), заверил, что будет держать на постоянном контроле завершение сдачи комплекса в Пензе, и просил не тревожиться по поводу прохождения моей записки в Госснаб о дополнительных фондах для Дальнего Востока.

Вместе со мною летел Монахов, из управления внешних сношений, — переводчик и экономист. Три дня перед выездом он провел у Кузинцова, тот объяснил ему, какая помощь мне может потребоваться, вместе написали мое выступление — на случай успешного завершения переговоров, и более сдержанное — если не придем к подписанию предварительного соглашения; сделали заготовки для тостов на официальных приемах; Кузинцов подсказал, как лучше установить контакт с представителями местной прессы: «Едет заместитель союзного министра для бесед о создании совместных предприятий — такого пока еще в этой отрасли экономики не было».

Несколько раз Кузинцов заходил ко мне, обстоятельно докладывал материалы, затребованные в архивах; порою я ловил в его взгляде тревожный интерес, он словно бы постоянно хотел меня спросить о чем-то, но не решался, что-то мешало ему, сдерживало.

Неужели он почувствовал, подумал я. Или просчитал мой замысел? А может быть, Завэр что-то сказал ему? В конце концов, свел нас он, может, у него свои отношения с ювелиром, кто знает?

Эта возможность казалась мне страшной; люди, подобные Кузинцову, сильны до тех пор, пока силен ты, его шеф; он понимал, что его ждет, если я не вернусь. Он, как и я, ощущал грядущие перемены, еще более крутые, чем те, которые ломали нас последний год. Както вскользь, очень аккуратно он заметил, что можем не потянуть перестройку, слишком сильна инерция прежнего мышления. Я ответил, что такая угроза существует, слов нет, пока не вступят в действие новые законы. Последние недели я выверял каждый свой шаг, взвешивал любое слово, поэтому заключил заученно, грустно улыбнувшись Кузинцову: «Лично я — если почувствую, что нет умения работать по-новому, душат старые представления и сохранившиеся барьеры, — создам с вами кооперативный строительный трест и подам в отставку. Если бы приняли закон о сохранении полного оклада при выходе в отставку, много тысяч руководителей освободили бы свои посты, поверьте, и я, на месте Минфина, пошел бы на это... При здравом подсчете выяснится, что мы сэкономим миллиарды, вложив миллионы... Во-первых, большинство руководителей, вышедших на пенсию, вскорости переселятся в мир иной, ломается ритм жизни, слишком много времени на пустые раздумья, а потом не было бы столько осторожных чиновников, нейтрализующих новаторство; ни вашим ни нашим, только б все шло, как идет...»

Я постарался заложить в мой ответ максимум здравого смысла, неторопливую раздумчивость и горькую смелость... Человек, который решил бежать, так себя не ведет, он будет постоянно пялить грудь, сотрясать воздух реляциями о новых успехах, страшась произнести хоть слово критики... Кузинцов не позволит мне уйти, если почувствует нечто. Такие, как он, предпочитают тонуть вместе, не так страшно... Хотя, по-моему, вместе тонуть страшнее; только плыть вдвоем весело, а гибель в объятиях друг друга, в страшной, пузырчатой борьбе, когда один тянет другого на илистое, склизкое дно, ужасна и отвратительна. Такие, как он, не могут уверовать в ту непреложную истину, что жить надо самому и погибать так же, — только тогда есть хоть крошечный шанс выжить...

Испытывал ли я страх, проходя таможню? И да и нет. Я понимал, что, если холодноглазый человек подойдет ко мне и сдержанно попросит «пройти» (какое ужасное слово!), всем моим заранее продуманным и отрепетиро-

банным фразам — «камни, оказавшиеся у меня в жилетном кармане, на самом деле обычные стекляшки, жена всегда кладет в карман какие-то цацки, живет приметами, ничего не попишешь, женщины» — веры не будет. Если случится такое, надо б иметь цианистый калий, игра проиграна. Но и оставаться в России тоже означает для меня гибель, только постепенную, — стягивающую горло канатной петлей, таящей в себе детский запах белого парохода...

Ночь накануне отъезда я не спал; угостив Лелю коньяком — она от него мгновенно впадала в тяжелое беспамятство, — я мучительно размышлял: а стоит ли мне вообще брать с собой камни? Ну, ладно, хорошо, допустим, они потянут на полсотни тысяч долларов, но ведь по тамошним ценам на жилье, медицину и страховку — это гроши, едва-едва хватит на пару лет, а то и меньше. Но, с другой стороны, говорить с Хосе Агирре, будущим нищим, одно дело — перебежчик, рвань, а вот если ты можешь забросить нога за ногу, а обут ты в самую дорогую обувь (на Западе очень внимательны к тому, кто во что одет), если глянуть на «роллекс» — он тысячи стоит, — тогда к тебе сразу же будет другое отношение. «Нет, нет, я — за перестройку, поддерживаю новый курс, но у меня сложились особые обстоятельства, семейные, поэтому я решил исчезнуть, в средствах не нуждаюсь, в моем лице вы можете получить советника, о котором и Рокфеллер мечтать не может; прошу всего один процент со сделки, а они будут многомиллионными; заключать эти сделки должна другая фирма, о нашей дружбе в Москве известно, меня там могут вычислить... Одно дело — утонул человек, несчастный случай, а совсем другое — если вы дали мне приют, этого вам не простят... Проговоритесь — пеняйте на себя, будут неприятности, скрывать от вас этого не намерен, дружба и есть дружба».

Сначала я ломал голову, как мне объясниться с Хосе, — по-русски он говорит еле-еле, в пределах гостинично-ресторанного обихода: «Какая красивая девушка!», «Пойдем в «Сакуру»!», «Потанцуем?», «Где шведский стол?», «Сколько это стоит?», «Раздевайтесь, любимая...». Много, конечно, с ним не наговоришь... Но парень он смышленый, а я взял с собою словарь, подготовлю фразы, поймет.

...Девушка из таможни равнодушно хлопнула по моей декларации маленькой печаткой, поинтересовавшись, не

везу ли я рубли; «некоторые забывают в карманах, лучше отдать шоферу, меньше мороки; когда вернетесь, камера хранения может быть закрыта». Я не сразу поверил, что одной ногою уже оказался за границей. Мною овладела какая-то апатия, хотя я был убежден, что все так и произойдет, пока еще ни одно из звеньев той цепи, составной частью которой был я, не выпало... А ведь вот-вот выпадет, слишком длинна цепь...

Я очень боялся, что на аэродром приедет Русанов, потому что ненавижу этого человека. Хотя, наверное, ненавидишь каждого, кого боишься, нет большего унижения, чем затаенный трепет перед себе подобным... Не знаю, отчего я стал испытывать к нему страх. Скорее всего оттого, что он один понял меня, раскрыл скобки, выявил то, за что меня можно ухватить...

Он ужасный человек — этот тихий, смешливый Никитич... Он ни разу не разрешил себе чего-то такого, что позволило бы мне воочию увидеть его жестокость, кликушество, предательство... Нет, такого не было... Но в нем жил Свидригайлов — постоянно, каждую минуту, любое мгновение... Впервые я испугался, когда он на совещании у министра — а пригласил его Кузинцов — сделался зеленовато-белым во время выступления руководителей художественных мастерских Шнейдермана и Урузбаева: те вышли со своим проектом оформления комбината под Брянском.

Члены коллегии симпатизировали Шнейдерману и Урузбаеву: смелые мастера, к тому же настоящие организаторы, никогда не подводили нас, работали исключительно талантливо.

Но я знал, как Русанов болезненно относился к тому, когда наши города доверяли оформлять «инородцам», — в настоящее время это слово было наиболее часто им употребляемо...

Я узнал его историю, она показательна, его жизнь объясняет истоки такой нетерпимости... В институте — после художественного училища, где он ходил в лидерах, — Русанов вдруг оказался на последнем месте; его приемы казались устаревшими, техники не было; штампы, которые нравились школьным педагогам, здесь вызывали презрительные ухмылки студентов и профессуры...

А его профессорами, как на грех, были Усимян и Рухимович.

Усимян умер от разрыва сердца совсем молодым, в

сорок два года; какое-то время, пока не пришел новый профессор, Русанов учился у Рухимовича; тот — хотя и ставил ему четверки, чтобы парню платили стипендию, — бранил нещадно, правил его композиции при всех, не обращая внимания на то, как переглядывались студенты, сдерживая усмешки; на беду еще Русанов учился в той группе, которая в большинстве своем состояла из кавказцев, — народ эмоциональный, искренний, открытый. Это, видимо, тоже травмировало юношу, и однажды, когда Рухимович не принял его работу, потребовал кардинальной переделки — «что вы постоянно ссылаетесь на «азы»?! Уцепились за классику, как дитя за мамкину цыцку! Свое предлагайте! Новый век, в конце-то концов!» — Русанов бросил институт и уехал в Орск. Там, в ста километрах от города, в степном селе, жил его дядька, самый близкий ему человек, у которого была единственная страсть: коллекционирование старых газет и книг. Ветеринар, он хорошо зарабатывал, после войны времена были тяжелые, особенно когда Сталин провел денежную реформу, приказав десять старых рублей менять на один новый; я, кстати, помню его тогдашнее обращение к народу: «Это будет последним ударом по интересам трудящихся».

...Полгода назад Русанов приехал ко мне на служебную дачу (свою покупать нельзя, немедленно создадут комиссию) и, разглядывая репродукции каких-то молодых живописцев, которые Леля повесила на голых стенах, оклеенных страшными обоями с кленовыми листьями, заметил:

— А все же Гитлер был совсем неплохим художником...

Я тогда посмеялся:

— Скажите еще, что он был неплохим политиком, не нападай на нас...

Русанов затаился и лишь потом, когда мы вышли на фанерную терраску, тихо ответил:

— А между прочим, так оно и есть... Его спровоцировали... Его юркие достали, они боялись его, оттого и повернули от эмоционального антисемитизма к организованному... Он как-то сказал, что евреи вытеснили немцев из России, заняв их традиционное место, и что конец еврейского владычества в Москве будет означать конец России... Тут он, ясно, перегнул... Жечь никого не надо было в печках, выселить всех, и дело с концом. — И, засмеявшись мелким, дребезжащим смехом, заключил: —

Вижу, неприятно это вам, но — ничего не попишешь, живем в одной упряжке, надо выслушивать друг друга без злобы... Я, знаете ли, у дядьки своего много чего прочел и немалому подивился... Сейчас говорят, мол, «протокол сионских мудрецов» — фальшивка... А кто это доказал? Тот человек, который вывез этот документик в Германию — Сергей Александрович Нилус, петербуржец, — очень все аргументированно объяснял... Занятно, у него в квартире был «Музей Антихриста» — собрал все разновидности «Звезды Давида», изучал сущность пересеченностей треугольника, считал любой треугольник страшным знаком беды для неевреев... Он даже наши православные святыни, составленные из треугольников, называл «подозрительными», а уж любые объявления в газетах, обрамленные звездочками, заставочки там всякие в журналах и вовсе считал знамением антихриста... Вы, кстати, посмотрите внимательно на некоторые наши газетки да журнальчики! Есть над чем задуматься... Нилус, кстати, держал коллекцию калош, что выпускали в Лондоне... Называлась фирма, заметьте, «Треугольник»... Вроде бы мы изменили название у себя-то, хоть и англичане нам фабрику эту строили, назвали «Красный треугольник», а вглядитесь в знак британской компании на подошве — до сих пор треугольничек; ходи, богоизбранный, и топчи себе нашу грешную землю!

Я никогда не забуду его лица; неяркие лучи солнца позволили мне рассмотреть глаза Русанова — остановившиеся зрачки-точки, какая-то гипсовая, безжизненная маска...

— Сергей Александрович не фанатик был, не думайте, — продолжал он, — когда в двадцатом году в Германию эмигрировал, «Протоколы» издал на шестнадцати языках! Это уж после него Генри Форд — не дурак был, кстати, — тремя миллионами экземпляров выпустил и распространял бесплатно... А янки из-за денег удушатся! Значит, Форд видел в документе именно правду, а не фантазии охранки... Даже «Таймс» — а за эту газету тогда антихристы дрались, вся Англия читает — в двадцатом году написала, что, мол, если это правда, тогда евреи оставили далеко позади себя кайзера Вильгельма Второго; тот был обычным заговорщиком, а эти — дьяволы, Россию в октябре захватили, пытались и Германию с Венгрией прикарманить, отдать масонам, но, слава тебе, Господи, не вышло...

Русанов затрясся мелким смехом, как-то ерни-

чески глядя на меня своими потаенными глазками, и я тогда с безнадежной тоской подумал, что никогда не смогу выгнать его взашей из дома, — во-первых, псих, а во-вторых, деньги-то он мне приносит, не кто другой, по почте не пошлешь: «мол, благодарность за помощь витязям национальной живописи»... И он понял этот мой постоянный, затаенный страх, ощутил его кожей — я себя контролировать умею, по глазам меня не прочтешь, только его обостренное внутреннее чутье могло воспринять мое самоощущение...

Раньше он всегда провожал меня вместе с Кузинцовым, а сегодня впервые не приехал. Отчего? Я не мог ответить себе и, передав свой паспорт пограничнику, внезапно ощутил, как сердце начало медленно уходить в желудок: колотилось, словно коза у бабушки Аграфены, когда та загоняла ее на ночь в сарайчик... Видимо, первое преодоление успокаивает человека, дает убежденность в том, что страшное — позади, но нет ведь! Самое страшное всегда впереди, надлежит себя готовить в жизни к страшному, а не к радостному.

Когда пограничник, тщательно сверив мое лицо с фотографией, отдал наконец паспорт, я обернулся к Кузинцову, еще раз помахал ему рукой, повторив:

— Пенза! Вы за нее в ответе, Федор Фомич! Звоните, если что, — телекс с номерами наших телефонов Монахов отобьет сразу, как прилетим...

Перейдя границу, я сказал Монахову, что пойду в салон первого класса, встретимся при посадке, и медленно, ощущая, как сердце постепенно успокаивается, отправился на второй этаж.

Девушки в аккуратных фартучках спросили, что я желаю выпить — кофе, чай или сок.

Я заказал сок и минеральную воду, отправился в туалет и хотел было достать из портфеля плоскую бутылку виски, чтобы хлебнуть из горлышка, — ничто так не снимает стресс, как алкоголь, но подумал, что здесь это делать рискованно, наверняка повсюду натыканы какие-нибудь скрытые аппараты; снять не снимут, но бульканье наверняка запишут. Ну и что, спросил я себя. Пусть себе пишут. Пока-то они расчухаются, я взлечу; пока эту запись отправят куда надо — приземлюсь... Ну и что? Приземлиться — приземлюсь, а Москва радиограмму на борт: «Срочно возвращайтесь назад»... Окстись, успокоил я себя, не сходи с ума, нельзя жить, никому не веря. Можно, ответил я себе. Только так и

нужно...» Я до сих пор оттого и жив, что никому не верю, лишь себе, а вернее, той своей части, которая сохранила мое естество, не растворилась в том, что для всех сделалось видимой субстанцией привычного Чурина. Мы ведь пожираем самих себя, подстраиваемся под каждый новый поворот жизни, корректируем себя в разговоре с одним ли, с другим, стараясь быть удобным для каждого, — так, постепенно, меняется человеческая самость, на донышке остается, ее и хранить...

Я достал из портфеля бутылку, откупорил ее и, спустив воду в унитазе, приник к горлышку, сделав три больших сладостных глотка. Бедная Лелька, я только сейчас ее понял: уход от ужаса; в вине правда, что с древними спорить, не мы придумали...

Вернувшись в холл, я выпил виноградного сока, разбавив его минеральной водой, и откинулся на мягкую спинку диванчика.

Но почему, подумал я, Русанов в ту первую встречу так смело протянул мне конверт с деньгами? Кто мог сказать ему, что я приму? Кто, кроме меня? Никто. Значит, в нем таится какая-то дьявольская сила? Может, он медиум? Обладает даром гипноза? Нет, ответил я себе, просто-напросто в нем живет торговый человек, никакой он не художник, а барыга, правильно его в институте мордой об стол таскали... По призванию он бизнесмен, а не художник, он удобное любит, красивенькое, а разве истинная красота удобна? Нет ничего страшней непризнанных гениев, они всех винят в своей неудаче, всех, кроме себя, вот им и надобны те, на которых можно переложить вину, чтоб не было так безнадежно и пусто жить...

...В маленьком репродукторе, не видном глазу — верно, установлен где-то на полу, — я услыхал голос диктора: «Пассажира Монахова, вылетающего двести сорок третьим рейсом, просим срочно пройти к диспетчеру багажного отделения».

Это что такое, подумал я. Сердце снова ухнуло в живот; страх родился безотчетно, по-животному; да не психуй, сказал я себе. Наверное, Кузинцов забыл что-то передать. Ничего он не забыл, ответил я себе, он дотошный, Господи, что ж случилось?!

Я снова пошел в туалет, допил виски, сунул пустую бутылку в портфель и, остановившись перед умывальником, начал мыть руки горячей водой. Зачем? Я ощущал, как сладостна эта горячая вода, как прекрасен

голубой кафель, мыльница с розовым, пахучим мылом (отчего перестали выпускать земляничное мыло, оно было нежней яблочного) и сухое, хоть и старофасонное, вафельное полотенце. Я не сразу понял, отчего так долго любуюсь умывальником, а потом догадался: за всем этим комфортом мне видится тюрьма, ее ужас, грязные обмылки, вонючие параши и оббитые чугунные раковины в сортирах, рядом с которыми стоят надзиратели, неотрывно наблюдавшие за тем, как оправляется заключенный...

Когда я вернулся в холл, девушка сказала, что объявлена посадка на мой рейс, ворота номер девять, счастливого полета...

Пусть себе Монахов разбирается с диспетчером по багажу, подумал я. Ждать его нет смысла, надо идти в самолет. Почему я обязан интересоваться, где он? Я ему не нянька; сам разберется; главное — естественность, уверенная естественность...

В дверях, однако, я столкнулся с Монаховым.

— Арсений Кириллович, наш багаж загрузили на другой рейс... Спрашивают: можем ли мы обойтись без наших чемоданов пару суток? Подошлют через два дня...

— Вы сможете?

— С трудом... Я сдуру надел белую рубашку, после полета надо менять, неудобно появляться там в мятом...

— Ничего, постираете, — сказал я. — На порошок скинемся, маленькая пачка всего и нужна... Если сейчас возвращаться домой, придется снова запрашивать выездную визу... Впрочем, как считаете, так и поступайте.

— А вы?

— Я полечу. У меня времени в обрез, через пять дней я должен быть в Пензе, вы же знаете...

И я пошел к воротам номер девять...

...Там-то и зазвенело, когда я шел через хитрые милицейские арки. Именно тогда я и понял: все, конец, со мною играли, словно коты с мышкой.

XXIX.
Я, Каримов Рустем Исламович

Заведующий сектором ЦК Игнатов выглядел ухоженным и совершенно свежим, хотя мы кончили разговор около трех ночи, а пленум обкома начался в девять.

Когда первый секретарь предоставил ему слово, Иг-

натов взял папку (зря, подумал я; сейчас именно москвичи учат провинцию умению говорить без шпаргалок), вышел на трибуну и, достав толстую пачку писем, положил на нее тонкую, несколько даже юношескую ладонь:

— Мы попросили бюро созвать внеочередной пленум, товарищи, в связи с письмами, отправленными в ЦК, — начал он негромко, как это у нас обычно принято. — Все они написаны гражданами вашей автономной республики... Я взял с собою наиболее типичные... Обращает на себя внимание, что примерно двадцать процентов писем посвящено делу бывшего начальника «Дальстройтреста» Горенкова, осужденного за хищения социалистической собственности в особо крупных размерах... Пишут рабочие, даже целые коллективы, инженеры, участники комсомольских стройотрядов, журналисты, научные сотрудники... Авторы других писем — тоже около двадцати процентов — утверждают, что перестройка вообще никак не коснулась автономной республики. «О том, как живительно сказывается гласность на ускорении и инициативе, мы узнаем, — пишут люди, — из сообщений программы «Время». У нас в республике продолжает царствовать величавая неподвижность, страх перед новым, ужас многомесячных согласований. Районное и областное начальство против семейных подрядов, не дают земли под огороды, увольняют тех, кто решается критиковать...» Поэтому и собран такого рода пленум: необходимо обсудить происходящее... Замечу при этом: нас всех не может не настораживать тот факт, что в отдел писем обкома практически не поступает сколько-нибудь серьезной корреспонденции... Пишут сразу в Москву... Давайте послушаем мнение членов пленума...

Такая повестка дня показалась многим разорвавшейся бомбой: критика в адрес обкома уже появлялась в центральной прессе, но мало кто из собравшихся был готов к тому, что вопрос будет поставлен столь резко и без всяких околичностей; хотя придраться не к чему, все в духе демократического централизма и гласности; есть проблема, вот и будем о ней говорить...

Первым попросил слова Архипушкин, бригадир сварщиков; выступал он крайне редко, а тут атакующе потянул руку и устремленно, чуть даже набычившись, двинулся на трибуну.

— Я, товарищи, вот что скажу, — начал он. — У меня дочка, Светочка... На медицинском учится... Так она

мою супругу и меня учит, что самое главное в жизни — это профилактика — не запускать болезнь, вовремя ее пресекать... Мы все виноваты в том, что болезнь в нашей республике запущена, стала крайне тяжелой. Проще всего критиковать нашего первого секретаря, уважаемого Николая Васильевича... Особенно теперь, когда рана кровоточит... Нет, товарищи, давайте начнем каждый с себя... Я в самом что ни на есть рабочем коллективе живу, продукты, если их, конечно, выбрасывают, покупаю в нашем магазине, и мне известно настроение людей: «Это в Москве еще чего-то можно, там власть близко, а у нас, как все было, так и останется! А без указания секретаря райкома вообще никто и пальцем не пошевелит...» Каждый день я слышу разговоры, да и своими глазами вижу безобразия, перестраховку, саботаж перестройки. И я спрашиваю себя: отчего же я раньше не пришел к Николаю Васильевичу для открытого разговора? Что, боялся, он меня сразу не примет? Записался бы, дождался очереди, чего-чего, а к очередям мы привычны... Нет просто, наверное, я трусил говорить первому всю правду Казалось бы, чего мне-то бояться? Ну, не рекомендуют меня на следующей конференции в члены пленума... И что? С работы меня снять нельзя, должность рабочего у нас не очень-то дефицитна, это ж не начальник турсовета, который путевки распределяет! Особо желающих висеть на канате по восемь часов и конструкции варить что-то я не вижу... Дело, думаю, в том, что мы все еще очень плохо выполняем завет доктора Чехова и не вытравляем из себя рабство: «Да как же это я главного начальника буду уму-разуму учить?! Его поставили наверх, значит, заслужил! Больше всех, что ль, тебе надо?» Я постоянно слышал в себе такие слова! А потому хочу просить у вас отвода из членов пленума, а вместо себя рекомендую моего сменщика Епланова Геннадия Георгиевича, потому что он говорит правду всем нашим заводским и районным руководителям, он не для тихого удобства создан, а для общественной работы... Прошу в моей просьбе не отказать, потому что в тех безобразиях, что творятся в нашей республике — верно народ в Москву пишет, — я виноват не в меньшей мере, чем первый секретарь... У всех было на слуху, что он в спецбольнице себе особый подъезд построил, дочь его на служебной «Волге» в школу возят, а мы что?! Молчали! А скажи вовремя? Неужели бы не прислушался к нам Николай Васильевич? Теперь для собственной совести

удобно говорить «нет». А для пользы общего дела лучше спросить самих себя: «Отчего молчали?!»

Потом выступил директор совхоза Борисенко:

— Соглашаясь на девяносто девять процентов с Архипушкиным, я все же хочу рассказать один эпизод... Когда агропром стал жать меня, чтоб я во имя плана сдал зерно и мясо государству — «Не подводи республику, Борисенко», — я ответил, что подведу республику в том случае, если молодежь разуверится в перестройке, в праве совхоза реализовывать продукты на месте, когда рассчитались с государством. А мне: «Не надо демагогии». Я — ни в какую. Тогда меня вызывает Николай Васильевич: «Товарищ Борисенко, давайте все-таки сначала думать об общем деле, а потом о своем узковедомственном интересе». Я возразил — есть что на это возразить. Он и так и эдак, мягко, без нажима вроде бы, но ведь не дядя с тобой говорит, а первый секретарь... Тогда в конце беседы он советует: «Приведи в порядок дела, комиссия к тебе едет, они, знаешь, глазастые, не осрамись. Защищать — если виноват — не будем, теперь демократия...» Ну и началась пытка... Я в Совмин, к Каримову. Тот душегубов контролеров — они до проверок алчные, только б что найти, — урезонил, поддержал меня, но ведь вы знаете, чем это кончилось для Каримова...

Выступил главный режиссер театра, тот вообще не оставил на первом камня на камне: «Управлению культуры спектакль сдай, райкому сдай, горкому — тоже, каждый кидает замечания, будто Станиславский: «Это убрать, это переделать, а это смягчить...» Как острая проблема, так сразу же спасительное: «Не надо, к чему будить страсти?» А мы, художники, живем, чтобы будить страсти, это наше призвание! А над всей этой пирамидой растерянных, но не потерявших еще власти перестраховщиков высится Николай Васильевич: «Пока я избран первым секретарем и народ верит мне — фокусов на сцене не потерплю!»

Один за другим на трибуну поднялись двенадцать человек; потом Игнатов зачитал предложение группы членов пленума: освободить Николая Васильевича Карпулина, рекомендовать на место первого меня, Каримова.

По положению я еще продолжал сидеть за столом президиума, хотя в начале работы пленума ощущал себя в полном одиночестве; сосед, секретарь по пропаганде, даже локоть со стола убрал, чтобы ненароком не коснуться моей руки. Я обернулся к соседу справа, рек-

тору университета Шарипову; тот растерянно улыбнулся и начал сосредоточенно покашливать, закрывая лицо, как мусульманская девушка.

Еще больше я удивился тому, что в зале, после того как зачитали мою фамилию, раздались аплодисменты.

...Я всегда анализирующе наблюдал овации из-за столов всякого рода президиумов. Это полезная школа, потому что учит — если, конечно, хочешь учиться — пониманию настроения людей, причем не того, которого бы тебе хотелось, а истинного. По тому, как зал реагирует, где слушатели начинают сонно, по-птичьи жмурить глаза — вот-вот впадут в дрему, где машинально пишут что-то в форменных блокнотиках, где переговариваются во время доклада, в каких местах аплодируют (подсадных хлопальщиков, особенно «орлят-комсомолят», определить легко), можно понять ситуацию в районе или городе. Тут бы и ломать приготовленную заранее речь, сделанную на основании сводок, тут бы и выступить без бумажки, а по правде, да разве легко переломать привычки?!

Я видел сейчас: кто аплодировал, кто едва прикасался ладошкой к ладошке, и меня это радовало, ибо в моем мозгу безотчетно включился компьютер, и я просчитал еще раз, кто мои враги, а с кем можно варить кашу.

Я вышел на трибуну и вдруг почувствовал, как у меня ослабли ноги.

— Товарищи, благодарю за столь высокое доверие, но, боюсь, я не вправе согласиться на выдвижение моей кандидатуры... Членам пленума известно, что я попросился в отставку, поскольку я хотел продолжать борьбу за товарища Горенкова, находящегося в колонии...

Из зала спросили:

— А почему нельзя было бороться, оставаясь на своем посту?

— Потому, — ответил я, — что большинство членов бюро посчитали мою позицию догматической, компрометирующей престиж автономной республики... Более того, мне было указано на безответственное поведение...

— И вы с этим согласились?! Почему не опротестовали? Не обратились в ЦК?

— Потому что постоянно обращаться в ЦК — это форма дезертирства. У ЦК не останется времени на работу, которую пристало вести штабу партии. Я тем не менее обратился в центральную прессу, когда местная отказала мне в праве на публикацию открытого письма...

Поднялся Игнатов:

— Товарищи, я уполномочен сообщить, что Верховный Совет России, прокуратура и республиканский суд занимались письмом товарища Каримова. Расследование, проведенное в Москве, было затем отправлено нам, потому еще, что в ряде писем трудящихся из Загряжска говорилось о Каримове как об образцовом руководителе. Мы согласились с мнением Верховного Совета и правительства России отказать товарищу Каримову в его ходатайстве об отставке. Это, так сказать, в порядке справки, таким образом, формальных оснований для самоотвода нет.

У меня перехватило горло, потому что мои товарищи по работе хлопали так, словно я Аркадий Райкин, честное слово...

Чтобы выиграть время, успокоиться и собраться, пришлось отхлебнуть чая (раньше докладчикам подавали минеральную воду, но первый утвердил чай, так было в Москве, на заседаниях сессий, ему это очень нравилось); при этом я более всего опасался, что в зале заметят, как у меня дрожит рука, — вот ведь неистребимое мусульманство! Старый дурак, разве мои друзья не понимают, что это вполне понятное и оправданное волнение?!

— Товарищи, в таком случае мне придется поделиться своими сомнениями... Суть их сводится к тому, смогу ли я выполнять ту работу, на которую вы меня выдвигаете?

— Сможешь, — закричали в зале. — Сможете! Верим!

— Спасибо... Тем не менее давайте порассуждаем вместе, чтоб трудящиеся потом не цитировали Крылова: «Как ни садитесь, все в музыканты не годитесь...» Допустим, вы выбираете меня... А как быть с нашим вторым секретарем? С товарищем Ниязмухамедовым? Я трижды приводил ему факты полнейшей невиновности Горенкова, доказывал, что талантливому руководителю мстят за то именно, что он каждым своим шагом следовал букве и духу перестройки... Но ведь товарищ Ниязмухамедов отмахивался от совершенно бесспорных свидетельств. Почему? Более того, он звонил в ОБХСС и прокуратуру с просьбой еще раз проанализировать мои отношения с Горенковым, не завязан ли я в коррупции... Прямо так и подсказывал, куда копать... И мне придется работать с ним в одной упряжке? Следовательно, мое избрание должно означать одновременный уход товарища Ниязмухамедова с партийной работы, иначе дело с мертвой точки

не сдвинется... Или взять заместителя республиканского прокурора товарища Рабиновича... И он отворачивался от правды, и он не разрешал переследствие по дутому обвинению честного коммуниста... Более того, он уже начал организовывать дело, подбирая против меня свидетельства... Вы скажете — он не член пленума. Верно. Но ведь его шеф, прокурор республики, — кандидат в члены бюро... И вы хотите, чтобы я наладил дружную работу — вместе с ними?

А контролирующие организации? Они выродились в некие «всезапрещающие дружины»! Они руководствуются не здравым смыслом, а желанием хорошо поработать — то есть непременно схарчить кого-нибудь из руководителей! У них, мне кажется, есть план на инфаркты! План на то, чтобы уничтожить самых талантливых и смелых! Я счастлив, что работал вместе с нашим министром юстиции Никифоровым... Он, Иван Фомич, был первым, кто вошел с запиской о необходимости немедленной корректировки законов, отмены сотен идиотских запретов тридцатых и сороковых годов, которые мешают творчеству масс... Никогда не забуду его слова о наших многочисленных постановлениях: «Не надо лепить сараюшки к красивому дому, испортим впечатление»... И еще: «Когда Петр Великий разуверился в том, что белокаменная поддержит его реформы, он начал с чистого листа — построил Санкт-Петербург». К сожалению, всеми нами уважаемого Ивана Фомича Никифорова переместили в арбитраж... И еще дали выговор за национализм, выразившийся в том, что он не был согласен — как интернационалист и русский патриот — с помпезными празднованиями «добровольных» воссоединений татар и дагестанцев с Россией... Все же знают, что Иван Грозный штурмом взял Казань, какая тут добровольность? Каждый читал «Хаджи-Мурата», историю борьбы горцев против русского имперского владычества... Не надо равнять Россию, бывшую «тюрьмой народов», с братством нашего социалистического Союза республик, которым великий русский народ дал свободу и будущее!

А взять наше телевидение?! Московские передачи смотришь как какие-то иностранные, честное слово! Мы со скрежетом зубовным решились покритиковать на своем голубом экране завал с торговлей, но уравновесили печально знакомым: «А предприимчивый частник с кооператором не дремлет!» Товарищи мои, дорогие, нельзя же так! При чем здесь частник?! Вопрос надо иначе ставить:

«Почему мы дрыхнем?!» Почему пустуют все ярмарочные избушки?! Почему туда выбрасывают огурцы и кабачки только в дни — стыдно сказать — революционных праздников?! Наша беда — наша, а не кооператора — в том, что он цену меняет сам, оперативно, на дню два раза, а государственная и колхозная торговля получают расценки свыше — на сезон! Мы совершенно не умеем хозяйствовать! Это мы, именно мы, виноваты во всех наших завалах! Спасибо кооператору и частнику, без него мы бы давно оказались на грани социального кризиса! Не мы, а именно частник сегодня лучше нас борется за социализм, поставляя народу продукты! А мы поставляем слова! Обещания! Посулы! Кооператор и частник свободен в поступке. Пока что свободен... А наш хозяйственный руководитель живет в кандалах! Вот в чем корень вопроса. Обязывай мы строительные и торгующие организации, не обязывай, воз не сдвинется, пока руководитель и рабочий коллектив не получат свободы! Как можно — в условиях экономического беззакония — готовить боевую смену?! Фикция это! Самообман! Итак, работать можно только с союзниками! Не бойтесь врагов, в худшем случае они могут убить вас, не бойтесь друзей, в худшем случае они могут предать вас, бойтесь равнодушных: с их молчаливого согласия совершается и убийство и предательство!

И, перекрывая аплодисменты, я прокричал:

— Это не мои слова, а Бруно Ясенского, написанные им в тридцать седьмом году, незадолго перед расстрелом!

Закончил я осипшим от волнения голосом:

— Сейчас процесс перестройки подгоняют ЦК, пресса, телевидение, но мы до сих пор не имеем надежного юридического и экономического обоснования, которое бы двигало обновление самостоятельно, без постоянного понукания, ко всеобщей выгоде! За бесперебойную продажу овощей в Москве ратует программа «Сельский час», а ну — надоест им?! Устанут?! Изверятся?! Что тогда? Хозяйственный организм, как и человеческий, силен лишь в том случае, если он свободен! Французская буржуазная революция состоялась потому, что сапожникам и ткачам абсолютизм не давал работать так, как они считали нужным! Мы не изжили в себе — в каждом из нас — абсолютистско-рабскую психологию! Благими пожеланиями это не исправишь. Только законом! Что у нас и сегодня может сделать самородок типа Туполева, Эдисона, Кю-

ри? Да ничего! Ни-че-го! Нужна наша санкция! А дать такую санкцию мы вправе лишь после бесчисленных согласований с бюрократическим, малокомпетентным аппаратом! Почему мы должны санкционировать каждое новое предложение, любую новую мысль?! Когда научимся верить талантам?! Представьте себе, что бы произошло, если б каждую свою книгу и оперу Мусоргский, Чайковский, Толстой и Горький согласовывали и утверждали?! Почему мы ждем изобилия и решения Продовольственной программы, когда директор совхоза не может ступить ни шага без наших санкций?! Почему мы ждем рывка в технике, если завод или институт не вправе начать новое дело без решения бюро?! А у нас в республике их сорок девять! А согласовывать каждый вопрос надо полгода! И это — путь прогресса?!

— Какой выход? — крикнули из зала.

— Очень простой: заказчик — банк — потребитель — вот вам треугольник, базирующийся на принципе кооперирования, которое сулит трудящимся выгоду — реальную, осязаемую, влияющую на бюджет семьи. Я подсчитал: алкоголиками у нас становятся те, кто зарабатывает не более ста пятидесяти в месяц; нет смысла беречь такие деньги — что на них купишь?! А трудящиеся, которые получают более трехсот рублей, — не пьют! А те, кто взял семейный подряд и зарабатывает по пятьсот рублей, — не пьют! Алкоголизм — болезнь социальная, проистекающая от безверия и отчаяния! И повинны в этой болезни мы, руководители! С нас и спрос! Сможем раскрепостить людей — по закону, поправкой к Конституции, повышением роли юристов, адвокатов, нотариусов, защищающих таланты от недреманной бюрократии, — победим. Нет — перестройку провалим, врагов у нее предостаточно... Поэтому я предлагаю созвать внеочередную сессию Верховного Совета нашей автономной республики и отменить на ней все насильственно сдерживающие перестройку правовые нормы прошлых лет... Если вы меня поддержите по этим позициям, сниму самоотвод. Если нет — мое избрание будет очередной перетасовкой колоды, положение не изменится!

...Выступление первого было достаточно мужественным: «Что ж, попробуйте, по-вашему, может быть, я устарел, однако не хотелось бы, чтобы горячая, хоть и заинтересованная, азартность крушила все сложившиеся нормы, рискованно».

Ниязмухамедов довольно жалко оправдывался, ссы-

лаясь на мнение Москвы, клялся научиться новому мышлению; первый несколько презрительно заметил: «Смелости не учатся»; завагитпром Мызиков возразил: «А что, космонавты рождаются героями? Отмечены тавром элитарности?»

Пленум закончился в одиннадцать вечера; мы с Игнатовым зашли в мой кабинет, и, прежде чем сели за стол, я написал записку секретарю Нине Григорьевне: «Пожалуйста, завтра соедините меня в девять по Москве с тов. Варравиным».

XXX.

Я, Василий Горенков

В Загряжск из колонии меня привезли на «Волге». За всю дорогу шофер не произнес ни единого слова. Когда я спросил, где он работает, сухо отрезал:

— На базе.

Только когда мы попали в мой микрорайон (два дома, что я начинал полтора года назад, так и стоят недостроенные, рабочих на площадке нет), он сказал:

— Мне дали адрес: Весенняя, три; это правильно?

— Да.

Я вышел из этой ухоженной тридцать первой «Волги» возле магазина; мне казалось совестным въезжать во двор; какая-то была во всем этом противоестественность: утром — зэк, а днем раскатывает на обкомовской машине, сразу по всем подъездам пойдет шорох; зачем? И так ощущение такое, что по-прежнему вымазан в дерьме, не помылся, зато надел новый костюм.

Галя Прохорова — кажется, из восьмой бригады отделочников, — встретив меня, взбросила руки к щекам, замерла, потом шагнула назад, оттого что поначалу хотела броситься ко мне (я ощутил ее порыв), но не бросилась, прошмыгнула мимо.

А чего ты ждал, спросил я себя. Думал, с флагами выйдут встречать?

Всегда не прав тот, кто упал.

Возле своей квартиры я остановился, чтобы пришло в порядок сердце и не тряслись руки, — дети все замечают. Надо войти домой так, чтобы загодя погасить эмоции. Зачем лишний раз рвать им сердца? Маленькие все понимают, порою значительно острее нас...

Я нажал на кнопку звонка и сразу понял, что он не

работает: филенка у нас соответствующая, все слышно, что происходит в квартире, раздолье для доносчиков: пиши — не хочу! Я подождал немного; тихо у меня в квартире... Точнее, в квартире бывшей жены, я ж выписан, мы разведены, а еще верней, меня развели... Я постучал три раза — как раньше. Никто не ответил. Постучал громче — злоба во мне поднялась, темная злоба и страх; сразу услышал старческие шаркающие шаги: в лагере очень обостряются слух и обоняние, я поэтому сразу понял, что идет старуха. Может, Зина вызвала мать, подумал я. Сама на работе, а бабушка с детьми помогает... Право переписки я получил только в колонии, в тюрьме я был отрезан от известий из дома, именно там следователь дал мне Зинино прошение о разводе. Кстати, с двумя ошибками; странно, грамотный человек, отчего? Отправил два письма, ответа от нее не пришло; получил только открытку от обойщика Деревянкина, писал, что их бригада в суд не верит, они на моей стороне. Не помню его... За долгие тюремные дни в памяти остаются лица самых близких, остальные отходят на второй план, а потом и вовсе стираются.

— Кто? — спросил шамкающий женский голос.

Нет, это была не мама Тая.

— Зинаида Евгеньевна где? Шурик и Паша?

— Чего?!

— Да вы отворите дверь, — попросил я. — Пожалуйста... Я только спрошу...

— А ты через дверь и спрашивай. Чего я, глухая, што ль?!

Я услышал, как открылась дверь за спиной. Там жил прораб Светелкин, тихий незаметный человек с уникальным глазомером: объем земляных работ, который предстояло выработать, определял в минуту: странно, отчего «глаз-ватерпас» у нас говорят про алкашей?

Обернувшись, я увидел в дверях женщину; жена прораба, подумал я; жаль, что раньше не познакомился, нехорошо.

— Василий Пантелеевич, — стараясь скрыть изумление, сказала она, вытирая руки о передник, — а вы...

— Да, отпустили...

— По здоровью?

Я успокоил ее, хотя мне казалось неудобным говорить об этом:

— Нет, приговор отменили... Меня реабилитировали...

— Это как? — не поняла женщина.

— Оправдали. Доказали, что я не был ни в чем виноват... Вы не подскажете, где мои детишки? И что там, — я кивнул на свою квартиру, — за бабка шамкает?

— Так это мать новых жильцов! Они Еремеевы, с Орла сюда подались...

— А где же Пашенька и Шурик?

— Вы ничего не знаете?

— Да откуда?!

— У меня не убрано... А то б зашли? — неуверенно предложила женщина.

— Нет, нет, не хочу тревожить, спасибо... Мне б только узнать, где дети...

— Так ведь Зинаида Евгеньевна уехала отсюда как месяц...

— Ее переселили?

— Нет. По обмену... В Курск... Она никому адреса не сказала... Уехала в одночасье... Вещей-то собирать — всего один чемодан, все остальное описали и вывезли... Может, все же зайдете? Я борщ варю...

— Что? Нет, нет, спасибо... Наверное, адрес я смогу достать в обменном бюро? Там ведь не может не быть, правда?

— Да не узнавайте вы адрес, — вздохнула женщина. — Она ведь не одна уехала... С новым мужем...

— А дети? — спросил я, ощущая нелепость моего вопроса.

Женщина, однако, поняла меня:

— Так ведь они маленькие! К любому мужчине тянутся: «папа» да «папа». Ну что ж мы тут стоим, — она наконец превозмогла себя: — Заходите, пожалуйста...

— Спасибо, мне еще надо успеть на работу, — ответил я; это была правда, потому что начальник колонии, стараясь не смотреть мне в глаза, попросил прежде всего съездить в трест: «Там приготовлена компенсация, паспорт и путевка куда-то, вроде бы на море».

...В тресте я зашел в бухгалтерию. Из моих работников осталось только трое — все остальные новые, смотрели на меня настороженно; Любочка, Арнольд Иванович и Коля бросились ко мне, Любочка, обнимая меня, шептала сквозь слезы: «Господи, какое счастье, вот счастье-то, Господи!»

...Кассир — тоже новая женщина (кассира-то зачем было убирать?!) — вручила мне пакет с деньгами, предложила пересчитать: тринадцать зарплат, целый пакет денег, я столько и в руках никогда не держал.

— Вас просили зайти в партком, — сказала она сухо. — В восьмую комнату.

Молодой мужчина в бежевом костюме поднялся мне навстречу, пожал руку и начал говорить, как он рад тому, что правда наконец восторжествовала...

— Вы сами-то здесь давно? — спросил я.

— Да уж год, Василий Пантелеевич.

— Много народу, смотрю, поменялось.

— Не сказал бы... Костяк, сдается, сохранен... Но, конечно, новая метла по-новому метет... Сейчас я позвоню, чтобы принесли ваши путевки... Очень хороший санаторий, в Крыму...

— Мне путевки не нужны, спасибо... Путевка... Одна путевка...

— Читали газету о пленуме обкома?

— Читал.

Я ждал, что он пригласит меня к новому директору или хотя бы спросит, чем я намерен заниматься. Он молчал, не зная, как себя вести, потом вымученно поинтересовался:

— Отсюда поедете к Каримову?

— Он меня не приглашал... Чего ж навязываться...

— Как я слыхал, именно он отправил за вами машину.

— Да? Странно. Шофер мне не представился, спросил, куда завести, и все.

Я расписался за полученную путевку, уплатил членские взносы за все то время, пока числился вне рядов, сказал, что зайду еще раз, когда получу партбилет, — проставить штампики, чтобы все было погашено честь по чести, и поехал в городское бюро обмена.

Раньше, до ареста, я бы попросил секретаря помочь навести пустячную справку; сейчас это надо было делать самому. Я встал в очередь; приема у инспектора ожидало человек тринадцать; очень много молодых, явно ушли с производства.

А как же закон об индивидуальном труде, подумал я. Где посредники, которые подготовят и проведут обмен, не нанося ущерба тем заводам и трестам, где работают эти люди?

— На что меняетесь? — спросил я мужчину, стоявшего передо мной.

— Хочу податься в Норильск... Там быстрей на пенсию выходят.

— Сколько вам до пенсии?

— Если здесь, то девятнадцать, а там всего одиннадцать... А уж потом, — мужчина улыбнулся осторожной, затаенной улыбкой, — жизнь начнется... На юг уеду, огород заведу...

— А что, здесь жизни нет?

Мужчина оглядел меня с головы до ног, отметил, видно, что костюм на мне болтается, пуговицы перешиты, вместо шнурков — веревочки в туфлях, и, покачав головой, усмехнулся:

— Потолки больно низкие.

Я не сразу понял его. Мы вообще-то тяготеем к двусмысленным ответам, оттого уточнил:

— Вы имеете в виду жилищное строительство? Или уровень заработной платы?

— Я имею в виду жизнь, — ответил он.

— Это как?

— А — так... Сами, что ль, не знаете? На все лимит и потолок. Хочешь прыгнуть — а нельзя... Или — смысла нет... Спортсмен планку перемахнул — ему золотая медаль. А в нашей жизни? Мы же не придурки — ставить мировые рекорды в пустом помещении без зрителей... Медалей хотим... Золотых... А не сатиновых вымпелов...

— Вы кто по профессии?

— Конструктор.

— Где работаете?

— Где надо, там и работаю, — на этот раз мужчина оборвал разговор, демонстративно отвернувшись.

Откуда в нас эта невоспитанность, подумал я. Вспомнил, как военврач, возвращавшийся со мною в поезде из Берлина — в отпуск, на Брянщину, — задумчиво говорил: «Знаете, у немецких друзей и порядок, и бананы с миндалем в захудалых деревенских магазинчиках свободно продают, не говоря уж о том, что там же семь сортов колбас и сарделек на кафельной стенке висят, и все друг к дружке предельно вежливы, я все же испытываю умиление — даже слез сдержать не могу, — когда меня начинают отчитывать в Бресте... Каждый, кому не лень, ругает: и носильщик, и таможенник, и гардеробщик в ресторане, и официант... Они собачатся, а у меня в сердце покой и счастье — «свои».

Слова этого военврача с лучистыми глазами, молодого еще, сорока нет, запали мне в сердце. Когда мы прошли досмотр и встретились в ресторане брестского вокзала, я присел к нему за столик: «Чем вы объясните

эту вашу умильность к тому, что наши так отчаянно собачатся?» Он посмотрел на меня с некоторым удивлением, повторив: «Так ведь свои! От иностранного языка устаешь! Да и потом, знаете, горько чувствовать ощущение собственной малости... У нас сестры в госпитале гроши получают, а купить есть **что,** товары хорошие — и ковры, и отрезы, и обувь, особенно «Саламандра»... Ну и наладились наши по воскресеньям обихаживать немецкие огороды за пятьдесят марок в день. Субботу и воскресенье работают — вот и босоножки... У меня сердце сжало, когда сестра милосердия поведала, что, мол, старик хозяин с ней по-русски говорит, в плену язык выучил... Победители на побежденных вкалывают, разве не обидно?! С тех пор у меня прямо как навязчивая идея — домой, скорее домой, там хоть такого быть не может!»

...Кто ж это писал, что планета наша для веселья малооборудована, подумал я, наблюдая за тем, как безжизненно-медленно движется очередь на прием к инспектору по обмену с иногородними. Кажется, Маяковский. Неужели он весь мир имел в виду? Или писал про нас, горемык? Во время первой зарубежной поездки в Чехословакию я даже сжимался, когда в магазинах, автобусах, в отеле постоянно слышал вокруг себя неизменно ликующее: «Просим вас», «Пожалуйста». Люди произносят это напористо, словно бы агрессивно навязывают тебе вежливость и взаимную уважительность. Отчего же мы — а ведь народ наш добр и озывчив — так грубы и неотесанны?

...Инспектором оказалась пожилая женщина с нездоровым, землистым цветом кожи; голубые, миндалевидные глаза ее были совершенно инородны на измученном лице.

Выслушав меня, она сказала, что я должен написать заявление с указанием точной даты обмена, когда и кем подписан ордер, на основании каких документов и указать причину, побудившую меня обратиться с этим вопросом.

Испытывая ноющую тоску, я ответил, что в бюро справок мне объяснили: именно здесь, в этом кабинете, я получу исчерпывающую информацию; обмен состоялся месяц назад. Неужели так много людей из Загряжска уезжают в Курск? Пожалуйста, разрешите мне самому поискать в картотеке.

— Если мы каждому встречному разрешим рыться в картотеке, — ответила женщина, — потом сами ничего не сможем разыскать...

— Сколько времени я должен ждать ответа?

— Две недели.

— У меня путевка в санаторий начинается через пять дней...

— Отдохнете, тогда и придете за ответом.

— Дело в том, что за время моего отсутствия (я не смог сказать «ареста», вспомнив, как соседка на лестничной клетке боролась с собою, не зная, пустить ли меня в квартиру) моя жена обменялась... И уехала в Курск... С новым мужем... А с ней мои мальчики... Они маленькие еще, понимаете? И я их не видел больше года...

— А где вы были?

И я был вынужден ответить:

— В тюрьме.

Женщина покачала головой, несколько брезгливо поинтересовалась:

— Прописку-то хоть дали? Покажите справку об освобождении.

Я протянул паспорт, который мне вернули утром; женщина прочитала фамилию, лицо ее неожиданно изменилось, глаза сделались еще более яркими, на отечных щеках появился румянец — словно два красных пятачка (видимо, с сосудами у бедняги швах):

— Погодите, погодите! Так вы что ж, тот самый Горенков?!

Я испытал сосущую неловкость, но постарался отшутиться:

— Вы обо мне прямо как об артисте каком...

— Что вы! Ни о каком не артисте! Про вас так много говорят в городе!

Она неожиданно быстро поднялась и открыла дверь в соседнюю комнату:

— *Лидочка, достань ящик по обмену с Курском, найди там формуляр на Горенкову...*

Та, видимо, слышала наш разговор, потому что сразу спросила:

— Может, она взяла фамилию нового мужа?

Инспектор обернулась ко мне, согласно кивнув:

— А мы по здешнему адресу установим.

Через три минуты Лидочка положила на стол формуляр, и я записал на листочке бумаги улицу и номер дома в Курске, где теперь жили мои дети.

Поблагодарив инспектора, я с трудом удержался, что-

бы не спросить ее, зачем же мне было писать заявление и две недели ждать ответа. Она, видимо, поняла меня; румянец у нее стал еще более нездоровым:

— Не взыщите... Моя Лидочка получает копейки, если я стану загружать ее сверх меры, она просто уйдет... А поди замани сюда кого? Сидеть в душной комнатушке без кондиционера за гроши...

— А если бы клиенты платили вам какой-то процент за услуги? И вы бы прибавили оклад вашим сотрудникам?

Инспектор грустно вздохнула:

— Вы прибавили своим рабочим? Прибавили. Ну и чем это кончилось? А мы и вовсе отдел исполкома... Какие проценты?! Это ж капитализм чистой воды! С этими процентами мы все наши достижения растеряем...

— Какие именно?

— Ну, как, — она удивилась такому вопросу. — Бескорыстие, служение общему делу, духовность...

Она резко оборвала фразу, потерла виски мужскими пальцами, привыкшими, видно, к домашней работе; стирка наверняка на ней, ногти чуть отстают и подушечки словно бы натерты пемзой.

— Отчего в нас так сильна приверженность догме? — вздохнула она. — Диву только даюсь... До сих пор говорим не то, что думаем, а то, что зазубрили в молодости... Оглупили нас, оболванили, как несмышленышей каких...

Инспектор заглянула в бумажку, где я накарябал адрес, и заметила:

— Вы фамилию не записали, ее новую фамилию... Кирьякова... Может, понадобится... И отцовские права вам придется возвращать...

Я не сразу понял:

— Что значит «отцовские права»?

— Вы не в курсе? В формуляре справка... Вас лишили отцовских прав, дело это скандальное, гнусь, конечно, но сами понимаете...

— Погодите, погодите, но ведь без моего согласия такое невозможно!

Инспектор махнула рукой:

— Если захотят доконать — все возможно... Но вы не расстраивайтесь... Отменят... Дать валидола? Вы уж так не белейте, не надо, если самое страшное пережили, так это решится само по себе...

...Я вышел во дворик и присел на низенькую чугунную ограду скверика; одиночество ощущается особенно остро,

когда ты окружен людьми; вокруг меня обтекающе перемещались пары, разговаривали тихо, словно страшась, что их подслушают: «Однокомнатная квартира с окнами во двор, мусоропровод на площадке, холл шесть метров, кухня большая, семь с половиной, мы ее оборудовали под столовую». — «Боюсь, не пропустит отдел... У меня ж две комнаты, они не разрешат однокомнатную на двухкомнатную». — «Господи, что же делать-то?! Туда сунешься — нельзя, сюда — запрещено». — «Надо будет кое-кого поблагодарить...»

Я очень близко увидел лица моих мальчиков; они теперь Кирьяковы... Допустим, я приехал в Курск и пришел к ним... Когда меня забрали, Шурику было четыре, он еще помнит меня, а Пашеньке всего два... Неужели они называют этого самого Кирьякова «папой»?! Ну и что случится, когда я приду? Если бы Зина написала, что она разводится и уезжает, чтобы ребята не несли на себе печать моего позора, я бы понял ее и благословил... Но ведь она ничего не объяснила... А может, ее принудили? Пригрозили увольнением, чем кормить детей? Упавшего затаптывают, так уж повелось...

В кассах Аэрофлота был перерыв; очередь змеилась по кварталу, душная и совершенно неподвижная; казалось, что люди вжаты друг в друга; в лицах ощущалось усталое раздражение и страх: как бы кто не влез; раньше мы говорили «втырился». Около дверей агентства дежурили старики в соломенных шляпах, руки у них были крепкие, узловатые; есть гражданское право, есть телефонное, а есть кулачное, вспомнил я слова моего сокамерника, урки в законе, Игоря Синцова; каждый день получал массаж в течение часа, малолетки с вертлявыми задницами старались от души.

Я понимал, что стоит мне позвонить в транспортный отдел обкома, и билет до Курска я получу сразу же; у нас и беспощадны и добры без предела. Я спросил у стариков, на какой день дают билеты. Один из них ответил, что сначала следует записаться; списки составляют во дворе; в очереди стоят только те, кто заранее зарегистрирован, ждать надо неделю.

— А тут я в газетах предложения читал, чтобы посреднические бюро организовали? — снова не удержался я. — Нет еще таких? Посредники по организации путешествий...

Старики многозначительно переглянулись, не скрывая презрительных усмешек.

Один, самый кряжистый, подмигнул соседу:

— Посредника захотел! Частника-кровососа! Все нормальные люди в очереди стоят... Все стоят — и ты стой! Особенный, что ль, какой?

В секретариате Каримова сказали, что он уехал в район, вернется завтра; удивились, отчего я не пришел утром: «Вас ждали». В транспортном отделе билет выдали через полчаса, пожелали хорошо отдохнуть; когда я уходил, дежурный милиционер попросил позвонить в секретариат; я ответил, что уже звонил; «знаю, просили связаться еще раз».

Помощник Каримова — видимо, новый, прежнего я пару раз видел — осведомился, где меня можно найти после девяти. «Рустем Исламович только что звонил из Стахановского района, просил разыскать вас, хочет встретиться после девяти, если не возражаете».

Я ответил, что найти меня можно в зале ожидания аэропорта, самолет в десять утра, там и переночую.

Помощник предложил устроить в гостинице; я ответил, что местных не пускают, запрещено; «ну, это мы как-нибудь уладим». — «Зачем лишние хлопоты? Хочу побыть среди людей, одному в четырех стенах несподобно».

Я довольно долго ждал в аэропорту места: все диваны и кресла были заняты; безнадежная усталость ожидания ощущалась в неуютном, холодном здании; чувство это подчеркивалось еще и тем, как безразлично, скороговоркой объявлялись посадки на рейсы, в микрофонах что-то трещало, люди тянули шеи, чтобы понять неразборчивые слова диктора и, спаси Бог, не пропустить свой самолет.

А ведь каждое путешествие — это праздник, подумал я. К нему загодя готовятся, мечтают весь год, даже недельное торчание в очереди к кассе не кажется столь ужасным накануне полета — в Москву ли, на юг, в Киев... Почему же все-таки планета наша так скудно оборудована весельем? Разве эти девушки-дикторы сами не летают на отдых? Они ведь, наверное, тоже шеи тянут. Нет, ответил я себе, они ждут посадки в тех комнатах, где все слышно; планета состоит из ячеек, мы все разгороженные...

Я вспомнил пражский аэропорт, киоски с сувенирами, кафе, закусочные, эти постоянные «просим вас», и стало мне до того безнадежно-пусто, что захотелось пойти на площадь, сторговать у таксиста бутылку за четвертак и

высосать ее из горла — может, хоть это заглушит тоску, что ж еще-то?

Только после того как улетел рейс на Ленинград, освободилось кресло возле окна; я устроился по-царски, снял туфли, которые за то время, что лежали на складе колонии, сильно скукожились и поэтому терли пальцы; вытянув ноги, снова подумал о том, что постоянно гнал от себя: как же приду к детям? Что скажу им? А если они забыли меня? Если этот Кирьяков стал им настоящим отцом?

На соседнем кресле расположилась веселая чистенькая старушка в белом платочке, улыбчиво провожавшая взглядом всех, кто проходил мимо нее. Расстелив на коленях пластиковый пакетик, она достала из сумки (у нее их было пять, все маленькие, словно котомочки, разных цветов, но завязаны одинаковым узлом) снедь, разложила ее аккуратно и, легко перекрестившись, принялась трапезничать. И столько в этом ее пиршестве было надежности и спокойствия, что мне мучительно, до слез захотелось вернуться в детство, чтобы все можно было начать сызнова.

— Котлетку желаете? — спросила старушка, заметив, как я неотрывно смотрю на нее. — Только утречком зажарила, с лучком. И хлебушек мягонький, отведайте, не смущайтесь...

— Спасибо, бабушка, — сказал я. — Сыт.

— Да какая ж я «бабушка»?! Я вам разве что в матушки гожусь, мне всего семьдесят... А вам?

— Тридцать семь...

— Господи, я б вам все пятьдесят дала...

— Болел...

— С сердцем чего?

Я улыбнулся:

— С душою.

Старушка зашлась беззубым смехом, а я вспомнил слова нашего пахана Игорька: «У меня рак души, нелюди! Меня нельзя нервировать шумом, кто храпит — задушу».

Бабушка кончила трапезу, оправила складочки на юбке — она у нее была старинная, в оборочку, такие и моя бабулька донашивала после своей матушки; сколько ее помню, две юбки меняла — не было им сноса, — и начала обстоятельно рассказывать, что летит «в Оренбурх, к внуку, он военный, сочетается законным браком, прислал денег на билет, у меня с рук не слазил, отец-то с матерью

дороги строили, на месте не сидели, а он, махонький, все у меня да у меня. А ноне большой начальник, лейтенант, на цветную фотографию снимается, как прямо картина, я в рамочку убрала, под иконой в красном углу повесила, соседи ходят любоваться, мальчонкой ведь его помнили, Господи...».

И так она нежно, обстоятельно все рассказывала, так округло и неспешно произносила свои, только ее облику принадлежавшие слова, что я ощутил такое спокойствие, которого не испытывал последние два года, и уснул, словно потянули меня в блаженную тишину.

...Проснулся я оттого, что кто-то положил тяжелую руку на колено: рядом со мною на корточках сидел Каримов:

— Поехали ко мне, переночуете, — сказал он, будто расстались мы час назад. — Здесь не отдых, замучаетесь...

В машине я спросил:

— Послушайте, у меня к вам один только вопрос... По-моему, он сейчас становится основополагающим, что называется, «быть или не быть». Вы как-то намерены решать вопрос о заработной плате аппарата — включая обкомовский? Ведь если страна действительно перейдет на самофинансирование и хозрасчет, директор с рабочими будут получать в два-три раза больше, чем инструктора! Или хотите посадить аппарат на параграфы закона о безбрачии? Я не понимаю — материальный интерес распространяется в стране на всех? Или только на людей, непосредственно занятых в производстве? Сейчас аппарату нет никакого резона помогать перестройке, Рустем Исламович... Даже наоборот... Давайте научимся распространять на всех, «бытие определяет сознание»... Вправе ли мы продолжать обманывать самих себя?

— Что, ввести для обкомовских пакеты? — усмехнулся Каримов. — Как в старое доброе время?

— Почему? Не надо. Пакет — он и есть пакет, секретность... Каждый инструктор должен быть завязан на отрасль и регион, получать наравне со всеми процент от прибыли...

— А как быть с тем инструктором, который курирует просвещение? — спросил Каримов. — Или социальное обеспечение?

И тогда я ответил:

— А всюду ли нужен инструктор? Что, все директора

школ безмозглые? Директоров совхозов теперь обязали платить десятки тысяч райагропромам — ежегодная премия. Не жаль, — только б не мешали, не дергали на ежедневные совещания, не давали б указаний, когда и что сеять... Премируют за помощь, правда? А какая от бюрократии помощь? Кто американскому фермеру дает указания, как пахать и когда? А хлеб-то мы у них до сих пор покупаем...

XXXI.

Я, Костенко

После того как я сдал Чурина, Завэра, Тихомирова и Кузинцова в Бутырскую тюрьму, мне мучительно захотелось немедленно отправиться домой и сразу же обрушиться на диван: сил не было, измотался вконец, даже пальцы дрожали. Вообще, каждый раз, когда приходится задерживать человека — будь он трижды бандит, — я испытываю давящую неловкость; Варравин заметил верно: «Преследователь всегда не прав».

Однако домой я не поехал, оттого что сначала нужно было попасть к Оле Варравиной. Обыск там должен начаться через полчаса, Глафиру Анатольевну забрали на работе, а несчастная молодая женщина с торчащим животом сидит в квартире матери, ни о чем не зная. Если мы не противопоставим бюрократии чужих нашу «бюрократию» — Варравиных, Костенко, Горенковых, нас раздавят... А иногда я думаю, что у нас вообще нет бюрократии, потому что истинное значение этого слова, его изначальная первооснова, кроется в слове «бюро», то есть «стол», «рабочее место», которому человек должен отдавать всего себя. А много ли у нас истинных бюрократов? Раз-два и обчелся... Странно, истинных бюрократов нет, а технократов достаточно, серьезные люди, отношение к ним уважительное, кроме как у дремучих консерваторов... Впрочем, у тех отрицательное отношение ко всему, что определено нерусским словом и чего не существовало в летописях: «иностранное вторжение в нашу уникальную духовность»... Была б духовность, не разрешали б женщинам таскать шпалы и класть кирпичи... Горазды мы на самоукрашательство, спасу нет... Мы перепрыгнули через эпоху высокопрофессиональной бюрократии, которая не только не мешает делу, но силится опередить прогресс, помочь поиску нового, предложить альтерна-

тивные решения... Но ведь у нас никогда такого не было... Империю объединял страх — перед словом ли, делом, идеей. Традиции вольнолюбия всегда была противопоставлена традиция рабства, запрета, которым общество стращало именно бюрократия. Вот и получилось, что бюрократические барьеры вошли в трагическое противоречие с тикающей устремленностью технократии. Ситуация кризисная... А выход из нее один: реформа всего законодательства.

Именно традиция «подозревающего беззакония» может сломать жизнь этому самому Варравину. А каждый ум, потерянный обществом, невосполним. Более того: его место займет дурак или мерзавец, а это уже двойной урон народу!

...Ольга открыла дверь, не спрашивая, кто пришел, посмотрела на меня без всякого интереса, как-то сквозно, заторможенно. Испуга на ее лице не было, огромные красивые глаза лишены подвижности, какие-то неприкаянные, пустые.

— Вы — кто? — спросила с удивившей меня резкой требовательностью, хотя, может, такое впечатление сложилось из-за ее голоса — очень низкого, глубокого, сильного.

— Моя фамилия Костенко... Полковник Костенко из уголовного розыска...

— Входите, — голос у нее сделался усталым, потухшим.

— Я не знаю вашего отчества...

— Ольга Леонардовна...

Я вошел в гостиную; обстановка довольно скромная, много книг, причем читанных — видно по корешкам. Хотя сколько раз я брал людей, живших в спартанской обстановке, а потом у них на садовых участках выкапывали запаянные банки с золотыми монетами...

— Присаживайтесь, — предложила Оля, запахнув шаль на животе, похожем на огурец; мальчика родит, точная примета.

— Спасибо... У меня к вам несколько вопросов...

— Я что-то в толк не возьму, отчего сюда пожаловал полковник уголовного розыска?

— Вы догадываетесь, Ольга Леонардовна... Вопрос идет о ключах... От вашей квартиры... Кому вы их отдавали?

— Что?! — удивление ее было искренним. — Какие ключи?!

— Где ключи от вашей с Иваном квартиры?

— Вон в том ящичке, — она кивнула на палех, что стоял на подоконнике...

— Пожалуйста, покажите их мне.

Она поднялась, открыла ящик, перерыла его содержимое — какие-то стекляшки, наперстки, сломанные ножницы — и резко обернулась: лицо ее сделалось испуганным, как у девочки, но одновременно появилась странная печать упрямства, которое всегда есть предтеча абсолютной, непробиваемой закрытости; особенно четко это прослеживается именно у женщин — вот бы психологам поработать в этом направлении... А ты предлагал им это? — задал я себе вопрос. Никогда ты им этого не предлагал, психологи допросов не проводят и наручники в кармане не таскают, а уж тем более пистолет под мышкой...

— Тамара у вас, случаем, ключи не просила? — спросил я.

— Какая Тамара?! — Ольга сжалась.

— Вы знаете, о какой Тамаре я говорю.

— А отчего она вас интересует? Занимайтесь бандитами, это ваше дело, по улицам вечером страшно ходить... Раньше такого не было...

— Раньше можно было сажать по подозрению, Ольга Леонардовна. Раньше можно было и вас посадить на десять лет — без суда, по решению Особого совещания — за такие-то слова представителю власти... Мне очень много говорил о вас Иван, поэтому...

— Ах, вот в чем дело, — перебив меня, она съежилась еще больше, плечи опали, глаза, однако, собрались щелочками; зачем уродовать себя, у нее же прекрасные глаза. — Тогда мне понятен ваш визит...

— Вам непонятен мой визит... Непонятен, Ольга Леонардовна... Кто-то подбросил в ящик письменного стола вашего мужа улику, на основании которой мы должны его арестовать, — покушение на жизнь художника Штыка...

Глаза ее сделались прежними, огромными, и в них что-то сломалось: не резко — так часто бывает в экстремальной ситуации, — но глубоко внутри, на подступах к сознанию...

— Какое покушение? — спросила она чуть не по слогам. — Какой художник? У него нет никаких художников... Он не способен на это...

— Как вы думаете, Иван признался бы в том, что в его столе неведомо как оказалась улика? Что называется, убойная? Ответьте, как мать его будущего ребенка...

— Моего ребенка, — она поправила меня автоматически, и глаза у нее снова начали меняться, приобретая прежнее выражение безучастия и покорности. — Ребенок всегда принадлежит матери.

— Кстати, у вас будет сын, а сын действительно больше принадлежит матери, говорю это как отец девушки...

— У меня родится дочь, — ответила она, и странное подобие улыбки, страдальческой и жалостливой, неожиданно промелькнуло на ее лице.

Я отчего-то вспомнил свою бабушку. Потом сообразил, что вспомнил ее не «отчего-то», а из-за того именно, что она постоянно хранила на лице печать страдания; я помню ее такой с раннего детства. Она редко смеялась, но даже веселясь чему-то, старалась как можно скорее погасить радость и скорбно опустить уголки губ. Однажды я приехал к ней в гости, бросил машину у подъезда, но старики, сидевшие на скамеечке, сказали, что Пелагеи Гавриловны нет, стоит в очереди за нутриями, пристрастилась к крысам, дешево и наваристо... Я поджался: ну разве можно?! Ведь я и деньгами помогаю ей, и кур привожу, и сыр — так нет, начала прилюдно экономить на еде... Одна из старух поинтересовалась, как бегает «тестева машинка»; я удивился: «Какого тестя? Он помер как десять лет». — «Так Пелагея Гавриловна говорит, что не ваша это машина, денег нет, тесть воспомоществовал...» Откуда это? Боязнь спугнуть зыбкое благополучие? Или действительно у нас это в крови — таить достаток, опасаться сглаза, выказывать соседям свою бедность и несчастье? К таким, мол, не пристанут, убогих жалеют, только удачливых давят, не прощают счастья и силы...

— Оля... Простите, Ольга Леонардовна... Мне горько говорить вам то, что я обязан сказать, но лучше, если это сделаю я... Дело в том... Вашу ма... (Я хотел сказать «мать», но мне отчего-то показалось это невозможным, слишком жестким, поэтому я успел оборвать себя.) Дело в том, что Глафиру Анатольевну арестовали.

Оля откинулась, как от удара, сжав маленькие кулачки на груди:

— Что?! Да как вы можете?!

— Увы, можем... И через полчаса здесь начнется

обыск... И вам надо отсюда уйти... Сейчас... Вам надо поехать к Ивану... Лучше, чтобы вы не имели никакого касательства к этому делу... Поэтому, пожалуйста, очень вас прошу, ответьте правду: Тамара просила у вас ключи?

Не отрывая от меня сухих, воспалившихся глаз, Оля медленно осела в кресле, губы ее сделались синими, тело обмякло.

Будь проклята моя профессия — я даже нашатырный спирт ношу в карманчике жилета, точно там, где Чурин хранил свои бриллианты. Я дал Ольге подышать из тонкой трубочки, она вздрогнула, выгнулась как акробатка, снова стиснула кулачки у груди и беззвучно, сотрясаясь, заплакала, повторяя одно и то же слово: «Мамочка, мамочка, мамочка...»

Я знал, что ей надо дать выплакаться, но я чувствовал, как против нее неумолимо работает время. Хотя, скорее, против меня — я совершаю должностное преступление: сколько же я таких преступлений натворил на своем веку?! Наверное, только поэтому еще и жив. Рискнув — реакцию предвидеть нельзя, — я положил ей руку на густые черные волосы и начал медленно гладить, ощущая ладонью, как мелко сотрясалось ее тело. Руку мою она не сбросила, как-то даже ей поддалась, лицо утеряло гипсовую неподвижность, глаза сделались живыми, слезы лились неудержимо, словно вымывая ее; мужчины мрут от инфаркта чаще, чем женщины, потому что не умеют плакать, а это ведь такое облегчение; ни мать ее, верно, не понимала, ни Иван; она к ласке тянется, хоть закрытая... Какая же это тайна — человек... Вон ученые считают, что и растения обладают нервной системой: съеживаются, когда к ним приближается человек с ножницами, и, наоборот, тянутся, если руки держишь на груди...

Я глянул на часы, боясь, что она заметит этот мой взгляд и не сможет его верно понять; мне надо увезти ее отсюда через десять минут, самое большее пятнадцать. Потом приедут наши, и я ничего не смогу поделать — верх нечестности по отношению к бедному Ивану. Увы, истерика и зло торжествуют чаще, чем добро и здравый смысл.

— Оленька, пожалуйста, соберите ваши вещи, — у меня не повернулся язык попросить ее не брать вещи матери, — и давайте уедем отсюда.

Продолжая безутешно плакать, она покачала головой:

— Каждому надо испить свое...

— Нельзя так, Оля... Подумайте о вашем ребенке. Нельзя вам здесь оставаться, понимаете?

— А вам какое дело?! Какое?! — в ней снова что-то сломалось, и она сказала это зло, хотя продолжала плакать беззащитно и жалостливо.

— Мне жаль вашего мужа... Он честный человек... И вас мне жаль... Если вы сейчас не уйдете, вам не миновать... формальностей... Допросов, показаний... Очных ставок... Не нужно этого, поймите... Я не имею права этого говорить... Я рискую, потому что верю вашей порядочности... По закону я должен сделать все, чтобы вы остались здесь... Вы же свидетель...

— Да, — вытерев слезы, сказала она и, выпрямившись, сбросила мою руку с головы. — Я свидетель... Спасибо за неожиданную гуманность и доброту, но я выпью свою чашу...

— Оля, эту квартиру опечатают... Вы же здесь не прописаны... Вас будут ждать тяжкие часы... Я не знаю степени вины Глафиры Анатольевны, но я убежден в том, что Тамара...

Оля резко поднялась:

— У вас есть еще ко мне какие-нибудь вопросы?

Я продолжал сидеть; откуда в ней это? Неужели действительно характер предопределен и является такой данностью, которая никак не корригируется?

— Послушайте, — сказал я, — вы закрыты в себе, так очень трудно жить... Нельзя никому не верить... Нельзя всех подозревать... Нас пускают в этот мир ненадолго, зачем бежать радости?

— Мы не бежим, — Оля вытерла щеки. — Она бежит нас... И совестно говорить о радости человеку, у которого забрали мать... Самого честного человека, маму...

— Ее задержали, — поправил я ее. — Забирали в тридцатых... И в сороковых, и в пятидесятых тоже... Я не следователь, Ольга Леонардовна, я сыщик. Я только ищу людей, которых подозревают в преступлениях... Я не имею права говорить вам всего, что знаю, но скажите: какие драгоценности есть в доме Глафиры Анатольевны?

— Бусы есть, — ответила она. — Из чешского граната... И серьги... Такие в Карловых Варах стоят тридцать рублей на наши деньги.

— Пойдите на кухню, — сказал я, поднявшись, — откройте полки, где хранятся крупы, высыпьте их содержимое на стол и, если там ничего не обнаружится, можете оставаться здесь...

Если бы она отказалась выполнить мою просьбу, мне пришлось бы в который раз испытать чувство глубочайшего разочарования в хомо сапиенсах... Если бы она отказалась, попытавшись скрыть испуг, беззащитно растерялась, я бы понял, что она в деле. Однако Оля посмотрела на меня с презрительным недоумением и вышла на кухню. Я слышал, как она открыла дверцу — почему-то у всех наших кухонных гарнитуров прежде всего отваливаются дверки, — достала банки, стеклянно громыхнула ими; потом я услышал, как посыпалось зерно, скорее всего гречка, а потом тяжело выпали металлические предметы, точнее — металл с камнем, я отличу этот звук от всех других...

...Оля вернулась в комнату неслышно. В левой вытянутой руке лежали два массивных кольца, судя по всему, платина или белое золото, изумруд и два крупных бриллианта...

— Вот, — сказала она глухо и впервые посмотрела на меня глазами, в которых ощущалась осознанная, устремленная во что-то мысль. — Возьмите.

— Это как понимать? Дарите, что ль?

— Я бы отдала все, что есть в этой квартире, спасите маму...

— Не заставляйте меня отвечать вам резкостью... Вы участвовали в составлении письма?

— Какого? — в ее глазах мелькнуло сосредоточенное недоумение; у нее странные глаза, как у тяжело болеющего человека, вернувшегося после сеанса гипноза. — О чем вы еще?

— Вы не знаете, что Глафира Анатольевна прислала в редакцию жалобу на Ивана? «Разрушил семью, издевается над беременной женщиной, необходимо общественное разбирательство, кара» и все такое прочее...

— Мама никогда не напишет такое письмо...

— Я его читал... Собственными глазами... Сожительство с Лизой Нарыш...

— Прекратите! — голос Ольги стал резким, пронзительным даже. — Не смейте! Не вздумайте оправдывать эту гадину! Она дьявол во плоти! Уходите отсюда! Уходите!

— Про Лизу Нарышкину вам Тамара сказала?

— Перестаньте! — еще пронзительнее, но теперь уже с затаенной мольбой прошептала Оля. — Что вы знаете о нашей семье?! Что вы знаете о маме? Я с детства помню

нищету! Я в перелицованном мамочкином пальто ходила! Я помню, каким счастьем было для меня эскимо в воскресенье! Кто меня поставил на ноги? Кто заменил папочку? Кто?! Учителя? Кто выбивался из последних сил, чтобы дать мне образование?! Кто пережил ленинградскую блокаду? Вы? Или мама?! Кто остался сиротой в тринадцать лет? Кто вез санки с гробом брата на кладбище?! Вы знаете, что такое память?! Вы понимаете, что нельзя забыть нищету и голод! Понимаете?! Или нет?! Сначала дайте людям гарантии на будущее, а потом требуйте от всех честности! Или не мешайте верить в Бога! Церковь тоже учит, что воровать грешно!

Я поднялся, зачем-то одернул пиджак, словно бы на мне был китель, и, открыто посмотрев на часы, сказал:

— Вы когда-нибудь пожалеете о том, что не послушали меня... У меня тоже, знаете ли, дочь, и тоже закрыта, вроде вас, и тоже болезненно ревнива — нереализованное воображение... Так вот, и на нее вышла гадалка — стерва, обладала навыками гипноза, но внушала она ей, чтобы я посодействовал освобождению из-под стражи бандита, ее хахаля. Моя дочь не мне в этом призналась, а психиатру... У меня жена нормальная, бредням не поддается, потому что выросла в ссылке, дочь врагов народа, — она и отвела ее в клинику... Не надо гордиться друг перед другом горем, Оля. Давайте наслаждаться минутами счастья. Упрямство — глупо... Когда кончится обыск, после допроса, загляните в любую клинику, посоветуйтесь с хорошим психиатром, он с вас Тамарину дурь и наговор легко снимет... Но Ивана вы потеряете... А это неразумно — отталкивать тех, кто вас любит... Неразумно... А может быть, и преступно...

XXXII.

Я, Иван Варравин

Около двери Виталия Викентьевича Бласенкова я стоял минуту, не меньше, потому что впервые в жизни ощутил, что у меня есть сердце; оно гулко ухало, словно бы не могло протолкнуть кровь, прилившую к лицу; руки отчего-то стали ледяными, особенно мизинцы и безымянные пальцы.

Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, как в перерыве между работой на ринге; дышал носом свистя-

ще; медленный вдох и резкий выдох — «с опаданием плеч», как учил наш ветеран Островерхов.

Только после того как сердце чуть успокоилось, я нажал кнопку звонка.

За дверью меня ждали; распахнулась сразу же; молодой парень — в белой крахмальной рубашке и красном галстуке — показал рукой на комнату, осведомившись предварительно:

— Вы к Виталию Викентьевичу? Товарищ Варравин? Вас ждут...

Комната была странная: круглый стол карельской березы, кресла, обитые белым атласом, два книжных шкафа, шведская стенка, штанга и раскладушка, заправленная солдатской шинелью.

— Проходите, Иван Игоревич, — сказал Бласенков, — гостем будете... Чайку изволите? Или кофе?

— Благодарствуйте, — ответил я. — Не утруждайте себя хлопотами.

— Да разве это хлопоты?! Вот когда мы в лагере чифирили — то были хлопоты: где хорошего чаю достать, как сахарком разжиться, как на кухню пролезть?! А сейчас — лафа, все жизненные блага умещаются на сорока метрах...

— Вы чифирь в каком лагере варили? В нашем? Или гитлеровском?

— У немца разве что достанешь?! Немец, он и есть немец! Во всем порядок... Нет, это только наши пареньки из лагерной охраны нам чай тайком на воле покупали — народ добр, отходчив сердцем, злобы таить не умеет...

— У меня к вам несколько вопросов... Ответите?

— А чего и не ответить? С превеликим удовольствием... От чаю наотрез отказываетесь?

— Наотрез.

— Брезгуете?

— Брезгую, — ответил я с облегчением, ибо он помог мне этим своим словом обрести спокойную снисходительность: вблизи его лицо не казалось столь вальяжным и моложавым, были заметны мелкие морщинки на впалых висках, он мучительно скрывал агрессивную тревожность глаз, но давалось ему это с трудом, — что-то в них то и дело подрагивало, они жили своей, особой жизнью, глаза вообще трудно подчиняются воле; магическая фраза «посмотри мне в глаза» не нами выдумана — древними; зеркало души как-никак...

— К вашим услугам, товарищ Варравин.

— Мне бы хотелось узнать: при каких обстоятельствах вы попали к немцам?

— Шандарахнуло волной во время бомбежки об стену сарая, потерял сознание — вот и конец красноармейцу, — он вздохнул. — Вполне, кстати, типическая ситуация, большинство наших попадали в плен ранеными... Или если винтовок не было, не каждому ведь давали, «сам, мол, у ганса отвоюй»...

— А где это случилось?

— На Смоленщине... А деревню запамятовал, мы ж в нее только вошли, а тут — немец! Не пообвыклись даже, из огня да в полымя...

— Это было во время нашего отступления?

Бласенков медленно поднял на меня серые глаза, смотрел долго, неотрывно, а после как-то странно подмигнул:

— Так ить, Иван Игоревич, война, она и есть война, то они нас жмут, то мы их...

— Я к тому спрашиваю, чтобы понять: вас сразу угнали в лагерь или пришлось побыть какое-то время в той деревеньке?

— На второй день угнали, лишь только в себя пришел... Но эта тема слишком горька мне, Иван Игоревич... Об этом эпизоде меня три дня мотали в «СМЕРШЕ», когда Красная Армия вызволила из гитлеровского концлагеря... Сначала у гитлеровцев страдал, потом у своих... Не хочется об этом говорить, ей-богу... Что у вас еще? К вашим услугам...

— Когда вы служили пропагандистом в армии Власова, кто...

Бласенков перебил меня:

— Одну минуточку! Я бы просил вас иначе сформулировать вопрос: «Когда вы были внедрены патриотическим советским подпольем в ряды власовцев, как долго работали так называемым пропагандистом?» На такой вопрос я вам отвечу.

Ах ты, моя пташенька, подумал я, вот ты и попался!

— Принимаю поправку... Считайте, что я задал вам именно такой вопрос.

— После того как мне, обманув бдительность нацистов, удалось пробраться в пропагандистскую роту Русской освободительной армии и наладить связь с волей, я работал пять месяцев...

— С кем осуществляли связь на воле?

— Думаете, назову имена патриотов?! Да они, мо-

жет, по сей день живут в Западном Берлине! Хотите, чтоб людей вздернули на дыбу?!

— Почему же? Таких людей надо награждать... Мы награждаем героев Сопротивления и в Бельгии, и в Норвегии, как-никак страны НАТО, а Западный Берлин — особый город...

— А неофашисты?! Нет, нет, если вызовут в компетентные органы, я открою имена, а так — увольте, я берегу друзей по совместной антифашистской борьбе...

— А кто направил вас на внедрение к Власову?

— Извеков Анатолий Кириллович, старший политрук, царствие ему небесное...

— Когда погиб товарищ Извеков?

— В сталинских лагерях он погиб, Иван Игоревич... Вместо «Золотой Звезды» получил четвертак...

— Где именно, не знаете?

— Где-то в Сибири...

— Откуда вам это известно?

— Слушайте, Иван Игоревич, а ведь вы меня вроде бы допрашиваете?! Меня много допрашивали, надоело, раны бередит, рождает горькие воспоминания, за прожитую жизнь становится горько...

И я решил ударить:

— Анатолий Кириллович Извеков жив.

Я никогда не думал, что можно так медленно, тяжело и ненавидяще поднимать веки; не глаза, нет, именно веки, которые, видимо, сделались у него свинцовыми.

— Где он?

— А я-то думал, вы радость не сможете сдержать... Думал, сразу попросите меня соединить его с вами...

Бласенков как бы смял себя, подвинулся ко мне, скорбно опустив уголки рта:

— Я вам не артист, Иван Игоревич, а солдат... Каждый по-своему радость выказывает... Хотите всех под одну гребенку расчесать? Не выйдет... Я принял вас, отвечаю вам, тактично отвечаю, но и вы извольте соблюдать нормы приличия... Пошли позвоним Извекову, телефон на кухне.

— Позвонить ему мы не сможем... Он жив в моей памяти... В нашей памяти... Его могилу недавно обнаружили представители Союза немецкой молодежи ГДР... И его предсмертные записки... О том, как и почему он попал в гестапо... Похоронен он возле Берлина, неподалеку от Цоссена, в семи километрах от штаб-квартиры Власова...

Бласенков сокрушенно покачал головой:

— Что, в нынешней журналистике допустимы и такие приемы?

— Какие именно?

— Да вот такие... Игра на нервах... Провокация даже, я бы сказал...

Он по-прежнему смотрел на меня из-под век, ставших свинцово-неподъемными; смотрел с нескрываемой уже ненавистью; однако я понимал, что теперь ему этот разговор тоже необходим, может быть, даже больше, чем мне; поговорим.

— Что-нибудь еще у вас есть? У меня тоже имеет место быть желание поспрашивать вас кое о чем.

— Пожалуйста.

— Что за дело инженера Горенкова вы помянули на диспуте в клубе? Я читал намедни статью Эдмонда Осинина о строителе Горенкове... Это одно и то же лицо? Или разные?

— Вы же слышали, как доцент Тихомиров предложил всем прочитать выступление Эдмонда Осинина о деле Горенкова... Да, это один и тот же человек...

— Но в статье не было и слова о том, что этот самый... Ну, как его? Ведущий собрание... Запамятовал фамилию... Доцент...

— Тихомиров, — улыбнулся я. — Действительно, фамилия трудно запоминаема...

— Верно, Тихомиров, благодарствуйте... Так вот, в статье никаких обвинений против доцента не было выдвинуто... Речь шла о том, что несчастного инженера подставили под удар руководители автономной республики... Зачем же вешать собак на честных людей? Попахивает тридцать седьмым годом...

— Не любите этот год?

— Ненавижу... как и все русс... советские люди...

— Не помните, с чего начался в том году самый страшный террор?

— Со всего, — ответил Бласенков. — Со всех и со всего.

— Нет... Не со всего... А с доклада... На февральско-мартовском пленуме ЦК, который сделал Сталин... Помните, с чего он начал? Нет? Напомню. Я наизусть знаю, занимаюсь тренажем памяти... Так вот, он сказал так, цитирую: «Во-первых, вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств, в

числе которых довольно активную роль играли троцкисты... — они же все масоны, как вы утверждаете, правда? — задела в той или иной степени все или почти все наши организации, как хозяйственные, так и административные и партийные. Во-вторых, агенты иностранных держав, в том числе троцкисты, проникли не только в низовые организации, но и на некоторые ответственные посты. В-третьих, некоторые наши руководящие товарищи, как в центре, так и на местах, не только не сумели разглядеть настоящее лицо этих вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко сами содействовали продвижению агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты... Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован...» Очень похоже на то, чем вы нас пугаете сейчас, требуя повсеместно распознавать масонов, которые имеют свою организацию и пролезли вплоть до самого верха... А ну, если раскачаете общество? А ну, пойдет заваруха? Представляете, сколько десятков миллионов масонов и сионистов мы распознаем?! Я-то, например, вас распознаю, обещаю вам заранее, ух как распознаю! И докажу, что вы, — я засмеялся, — масон.

Бласенков откинулся на спинку кресла:

— Интересно, каким же образом?

— А очень просто. Масоны являются фашистами наших дней?

— Конечно.

— Они продолжают дело Гитлера?

— Бесспорно. Только потому мы с ними и боремся.

— Очень замечательно... «Мы боремся»... В таком случае, отчего вы зачитывали в клубе — под магнитофонную запись — чуть видоизмененный устав всемирного антиеврейского фронта, созданного Юлиусом Штрайхером, гитлеровским военным преступником, вздернутым по приговору суда народов в Нюрнберге?

— Не было у немца такого «фронта»!

— Да неужели?! Вы же у Власова проходили основоположения этого «фронта» на занятиях по «еврейскому вопросу», неужели запамятовали?

— Я этих занятий не посещал.

— А как же получили зачет?

— Кто вам сказал, что я получил зачет?

— Архив. Я работал в архиве, Виталий Викентьевич... В том, где собрана вся документация, связанная с вашей службой у Власова.

— Наш разговор записывается на пленку, — заметил Бласенков, резко побледнев. — Вы знаете, что грозит клеветнику — в соответствии с советским законодательством?

— Знаю. Вы получили срок за измену, но за клевету вы еще своего не получили.

— Как прикажете понимать?

— Не понимаете?

— Совершенно не понимаю.

— История — штука многосложная... Многое, казалось бы, исчезает навсегда, все вроде бы покрыто тайной, да и годы отстучали свое, ан — нет, внезапно правда поднимается наверх, высвечивая всех тех, кто служил добру, как, в равной мере, и злу...

Я достал из кармана фотографию отца, единственную, сохранившуюся у покойницы-бабушки: в форме РОА, — рядом генерал Малышкин, полковник Боярский и поручик Бласенков.

Я не торопился передать ее моему собеседнику, неторопливо рассматривал, словно бы заново изучая лица людей, запечатленные фотокорреспондентом фашистской газеты «Новая Русь».

Лишь заметив, как снова налились веки поручика, я протянул ему фотографию:

— Ну, как? Всех узнаете?

Он тяжело поднял голову — веки не мог уже, перенапрягся, — мгновение изучал меня взглядом, полным усталой ненависти, потом снова углубился в разглядывание фотографии.

— Да, я знаю всех, кто здесь изображен, — сказал наконец он, и впервые за весь разговор я угадал в манере его ответа тюремность.

— Могу просить вас назвать людей поименно?

— Конечно... Изменник Родины Малышкин... Рядом — изменник Родины полковник Боярский... Подле него изменник Родины капитан Снегирев... И я... Сделано было это фото незадолго перед тем, как меня разоблачило гестапо и бросило в застенок на Принцальбрехтштрассе...

— Не помните, как звали капитана Снегирева?

— Великолепнейшим образом помню... Игорь Иванович... Наймит гестапо, мерзавец и тварь...

— Стареете, господин Бласенков, — сказал я, — память сдает... Ну-ка, вспомните имя и отчество моего отца, я ж его называл в клубе...

И тут я увидел, как медленно потекло лицо Бласенкова. Оно менялось на глазах, щеки обвисли, мгновенно пересохли губы, сделавшись бесцветными, сероватыми какими-то, мочки ушей стали длиннее, они наливались желтоватой синевой, и впервые за все время разговора я заметил, как у старика затряслись руки...

— Вы же писали доносы на моего отца в нашей тюрьме, Виталий Викентьевич? Вы работали по просьбе министра Абакумова, разве не так? Вам же прекрасно было известно, кем был мой отец — «капитан Снегирев»... Он ведь вас первым допрашивал, в сорок пятом, в конце мая, правда? Вот почему я затронул вопрос о клевете. Вас судили за измену Родине, а вы в нашей тюрьме клеветали на коммунистов, на чистых людей, чтобы подвести их под расстрел... Но мой отец не был расстрелян... Он уцелел... А вы до сих пор не ответили за клевету на него... Вот почему я говорил, что история — штука многосложная... Подлинник этой фотографии там, где ей надлежит находиться... Там, где уже лежат документы, как вы отдали гестапо Извекова... Там, где есть свидетельские показания, как вы добровольно перешли к немцам... Есть точная дата и название деревни, где вы лютовали, а также свидетельства крестьян... И есть показания, как вы вместе с немцами ломали несчастного четырнадцатилетнего мальчишку, делая из него предателя, — Мишу Тихомирова... Трудная фамилия, правда? С трудом запоминается... Никак она вам не дается, правда?

И тут я услышал, как по коридору кто-то пробежал; я снова стал комком, я был готов мгновенно обернуться, отбросив кресло, вскочить на ноги и занять позицию.

Но в комнату никто не вошел, хлопнула дверь, и я услышал, как тараторяще прочечетил дробный сбег по лестнице.

— Колька, — жалобно, даже моляще простонал Бласенков. — Колька, сука!

Никто не ответил ему: Колька слышал все, что я говорил, Колька убежал, что ж, наверное, ради этого я и пришел сюда, вот она, победа; никогда не думал, что после нее тебя оставляют силы и тело кажется резиновым, неуправляемым...

— Слушай, — прошептал Бласенков, — слушай меня... Не губи, Христа ради... Хочешь, на колени стану?

Сколько чего хочешь — возьми, у тебя ж дите родится... Я отойду, уеду, пропади все пропадом. Дай дожить, пощади седины, пощади... Все тебе скажу, про всех, только дай уйти добром...

И, обвалившись на пол, он заплакал, задирая голову так, словно хотел сломать шею, вывернув ее назад в последнем задыхающемся хрусте...

XXXIII.
Справка...

«...по делу о преступной группе Тихомирова М. Н. в составе Чурина А. К., Кузинцова Ф. Ф., Русанова В. Н., Завэра Э. И., Руминой Г. А., Антипина С. В.

После показаний бывшего секретаря обкома Рахматова о том, что он, наряду с другими руководящими работниками, получал взятки не только деньгами, но бриллиантами и изумрудами, в результате оперативных мероприятий нам удалось выйти на ювелира Завэра. Наблюдение за ним вывело на ряд официальных лиц, и прежде всего на старшего эксперта по ювелирным изделиям Румину.

После нападения неизвестных на художника Штыка в сферу наблюдения вошли искусствовед Русанов, доцент Тихомиров, помощник заместителя министра Чурин А. К., доктор технических наук Кузинцов и тренер Антипкин. (Их связь с пенсионером Бласенковым пока что не дает оснований к задержанию последнего, ибо факт его участия в преступных сделках — на этой стадии — установить не удалось.) Такая же ситуация сложилась и с «гадалкой».

В результате наблюдения, а также изучения материалов удалось выстроить приблизительную схему, по которой действовала преступная группа.

Договоры на реставрацию, а также росписи новых зданий не могут быть заключены напрямую между художником и руководителем учреждения. Такого рода прямые соглашения запрещены еще с начала тридцатых годов. В связи с этим любой бюрократ вправе отодвинуть неугодного художника и передать дорогостоящий подряд тому лицу или лицам, которые соответствующим образом отблагодарят тех, кто имеет право санкционировать, утверждать и подписывать соответствующий договор.

Деятельность преступной группы Тихомирова свелась

до минимума осенью восемьдесят шестого года, когда на повестку дня стал вопрос о реальной инициативности, предприимчивости и гласности.

Общественностью был подготовлен законопроект о праве художников на прямые контакты с руководителями предприятий и учреждений.

Однако в начале восемьдесят седьмого года Чурин — с одной стороны, и Тихомиров — с другой, смогли добиться пересмотра разработанного законопроекта. По-прежнему без санкции многочисленных художественных советов, финансовых, плановых и контролирующих инстанций ни одна инициатива художника, заведующего детским садом, директора клуба или школы, дома отдыха или начальника строительного управления не может считаться законной.

Была искусственно сохранена ситуация, понуждающая смелых и инициативных людей становиться «преступниками», хотя эта «преступная деятельность» не только приносит экономию государству, но и гарантирует лучшее художественное качество.

Чурин «проработал» вопрос о сохранении запрета на поиск новых талантов и творческую инициативу художников по своим каналам, педалируя на то, что отмена прежних инструкций сделает «бесконтрольными» не только художников, но и руководителей строительств. Это якобы грозит как хищениями, так и «анархией», «неуправляемостью», «возрождением частнособственнических инстинктов».

Со своей стороны, Тихомиров, используя Русанова, подбиравшего «надежных» художников, готовых довольствоваться малой частью гонорара, подготовил докладную записку в директорат общества «Старина». Он предложил создать объединенный художественный совет, без рекомендации которого ни один договор на роспись или реставрацию не может быть заключен. Более того, Тихомиров предложил вменить в обязанность объединенного художественного совета разрабатывать тематику росписей, низводя, таким образом, труд художников до уровня бездумных исполнителей. Докладная записка Тихомирова была проведена «опросом», без широкого обсуждения директоратом, не говоря уж о широкой общественности, выражающей глубокую озабоченность не только продолжающимся и поныне разрушением исторических памятников архитектуры, но и тем, как расписываются новостроящиеся объекты. Так же «в рабочем

порядке» председателем объединенного художественного совета был утвержден доцент Тихомиров.

Нравственный климат директората общества «Старина», созданный Тихомировым, не в малой степени способствовал созданию такой атмосферы, в которой обман коллег, эксплуатация труда художников, поборы сделались явлением узаконенным.

Ни один творческий человек — известный художник, реставратор, исследователь — к работе «узкого директората» не подпускался. «Директорат» паразитировал на патриотических настроениях членов общества, стараясь придать им шовинистический оттенок.

Из общественного фонда общества Тихомиров уплатил тысячу сто рублей переводчику Гинзбургу за то, что тот подготовил ему сто страниц — выдержки из работ, посвященных «венскому периоду» Гитлера, когда тот старался попасть в Академию живописи, но «по вине еврейских профессоров не был зачислен на курс».

Рекрутируя художников, Тихомиров широко пользовался этим материалом, подчеркивая, что «денежные отчисления с договоров на роспись и реставрацию необходимы лишь на первом этапе деятельности «Старины», чтобы оказывать помощь «национальным кадрам», которым намеренно не дают расти представители иной культуры, преследуя свои корыстные цели, связанные с желанием искоренить традиции нашей реалистической живописи».

Когда художник Ежов заметил Тихомирову, что «именно малоталантливые люди в искусстве более всего упирают на «национальный момент», стараясь обвинить в собственной бездарности всех, кого угодно, но только не себя», Русанов немедленно лишил его обещанного ранее заказа на роспись станции техобслуживания автомобилей в Среднеуральске, сфабриковав обвинение в том, что якобы художник скрывал родственные связи с Ежовым, расстрелянным в тридцать восьмом году как враг народа.

Попытка художника обратиться к Чурину результатов не принесла, Ежов был опозорен как сутяжник и клеветник, в настоящее время находится на излечении в институте неврологии.

Когда художник Штык занял определенную позицию по делу Горенкова, вопрос с ним был решен чисто уголовным путем.

Вообще можно сделать вывод, что преступная группа

во многом копировала структуру итальянской мафии. Начиная с того, что Русанов обещал «покровительство» художникам взамен на передачу ему семидесяти процентов гонорара, и кончая коррумпированными связями Тихомирова, выходящими за пределы министерских кабинетов, группа использовала — в случае экстремальных ситуаций — уголовный элемент. Все это говорит за то, что мы имеем дело с качественно новой преступной структурой, подвизающейся в «околокультурном» мире.

Примечательно, что Тихомиров организовал в газетах хвалебные рецензии на тех, кто состоял с ним в наиболее близких отношениях. Очевидные посредственности коронавались в этих рецензиях «истинными талантами». Таким образом, была предпринята попытка создать новую «плеяду», что позволяло Русанову требовать повышения гонорарных ставок за исполнение живописных и реставрационных работ.

Проповедуемые Тихомировым принципы необходимости реставрации памятников отечественной архитектуры привлекают к нему значительное количество честных людей; однако именно Тихомиров делал все, чтобы затруднить реставрационные работы, особенно в том случае, если подряд получали люди «со стороны».

Коррумпированные связи Тихомирова, еще далеко не все выявленные, носили тщательно продуманный конспиративный характер.

Чаще всего он старался действовать опосредованно, не впрямую, используя весьма уважаемых деятелей из области идеологии и науки.

Тихомиров ни разу не виделся с Чуриным; необходимые контакты осуществлял Кузинцов.

...В дальнейшем, когда количество «послушных» художников, работавших по соглашению с Русановым, превысило сорок девять человек, на «связь» с Чуриным вышел непосредственно Русанов. Это дало возможность Тихомирову значительно сократить суммы с утвержденных министерством договоров, выплачивавшиеся ранее Кузинцову.

Поскольку за поддержку заказов в Бухарской, Вышеградской и ряде других областей местное руководство отказывалось получать «вознаграждение» деньгами, Тихомиров привлек к деятельности преступной группы ювелира Завэра и старшего эксперта Румину.

Связь с Завэром он поддерживал через Румину, встречаясь с ней не дома, а на конференциях, посвящен-

ных уральским малахитам или же калининградскому янтарю.

(После того как Русанов сократил выплату Кузинцову вознаграждений за посреднические услуги, тот наладил «личную» связь с Завэром, свел его непосредственно с Чуриным и решил работать «автономно» от Тихомирова — Русанова, хотя «дружеских отношений» с ними не прерывал.)

Судимый ранее за мошенничество Завэр (специализировался на продаже горного хрусталя, который выдавал за «бриллианты»), работая в паре с Руминой, скупал драгоценности у «бывших», выплачивая им двадцатую часть истинной стоимости.

Румина, выезжавшая по роду работы за границу, реализовывала наиболее уникальные драгоценности и нелегально провозила в СССР иностранную валюту.

Поскольку на «бывших», то есть потомков богатых купцов и аристократов, оставшихся в стране, наводил Тихомиров, ювелир Завэр и Румина отчисляли ему за эти «услуги» валюту.

Нам не удалось установить, на какие «нужды» Тихомиров обращал валюту; во время обыска она у него не найдена; в течение первого допроса он категорически отвергал наличие в его доме иностранной валюты. Видимо, этот вопрос следует особенно тщательно изучить во время следствия, так как связи Тихомирова с работниками государственного аппарата отличались очень большим диапазоном.

В тайнике, оборудованном на даче Тихомирова, было найдено семьсот три тысячи рублей, сберкнижки на предъявителя, а также ювелирные изделия на сумму пятьсот тысяч рублей.

У Завэра обнаружены ювелирные изделия на сумму сто сорок тысяч рублей.

У Русанова обнаружено девяносто две тысячи.

У Чурина — восемьдесят тысяч и ювелирных изделий на семьдесят тысяч.

У Антипкина обнаружена сберегательная книжка на триста двадцать рублей.

У Руминой изъято драгоценностей на сумму сорок девять тысяч рублей.

У Кузинцова обнаружено восемь тысяч рублей.

Задержанная в квартире Руминой ее дочь О. Варравина к преступной группе отношения не имеет.

По предварительному подсчету, преступная группа причинила государству ущерб в девять миллионов рублей.

Материалы переданы следственному управлению.

Полковник Костенко (Угро)
Майор Сюркин (ОБХСС)».

XXXIV.

Невосполнимость

Сначала я хотел назвать этот очерк «Исповедь». Потому что я рассказывал в нем не только о судьбе инженера Василия Горенкова, но и о своей. Поиск репортера порою становится сюжетом трагедии, зачастую личной: лучшие журналисты Италии были убиты мафией, когда прикасались к ее святая святых.

Журналисты реализуют себя во времени (злободневность) и пространстве (количество колонок на полосе). Поэтому многое остается за разграничительной чертой, рескриптционно отделяющей репортаж, которому ты отдал одну из своих жизней, от сообщений с хоккейных полей.

Я переписал репортаж заново после того, как мне позвонили из Курска и попросили приехать для опознания погибшего, сбитого на дороге неизвестным автомобилем. Фамилия — Горенков, тридцати семи лет, русский, коммунист...

С помощью работников Курского уголовного розыска удалось восстановить последний день жизни Василия Пантелеевича почти полностью. Горенков был очень красивым человеком — не только внутренне; у него запоминающееся открытое лицо (чем-то похожее на актера Филатова), он высок и общителен; девять человек дали подробные показания о том, что произошло в Курске; официантка вокзального ресторана, например, вспомнила, что он просил продать ему на вынос «пепси» и спрашивал, нет ли шоколадных конфет с рисунками для детей; «У нас «пепси» на вынос не разрешают». — «Почему?» Я ему объяснила про бутылки, а он: «Я ж уплачу... Разве вам не обидно, если из-за каких-то бутылок ваших детишек лишат радости?» — «А я что могу сделать?»

Пригласила администратора Аллу Максимовну, ну та и сказала, что он слишком много себе позволяет».

Мы нашли шофера такси, который вез Горенкова с вокзала в центр города: «Он сначала-то молчал, только грудь тер, так сердечники растираются, у меня братан

сердечник, — показал шефер. — Спросил, где можно «пепси» купить, мол, у него здесь дети живут, «пепси» обожают. Я ответил, что без блата не достать. Он попросил отвезти его в центральный универмаг, хотел взять хорошие игрушки. Я сказал, что только вчера там был, искал сынишке подарок ко дню рождения, игрушки — барахло, надувные подлодки на змей похожи, думал какой костюмчик приобрести, так за венгерским давка, а наши даром не нужны, словно на сирот шьют. Он меня еще спросил: «А почему, как думаете?» Ну, я ответил, что у народа интересу нет, шей не шей, все одно зарплата какая была, такой и останется. А он: «А если б с каждого проданного костюмчика швеи получали процент?» Ну а я: «Чего ж мы, капитализм хотим восстанавливать? Народ не позволит». Ждать я его отказался, чего попусту время жечь, поезд с юга подходил, может, работа подвернется. Ну, он ничего, не возражал, расплатился и ушел».

Вспомнила его и продавщица в детском отделе. Она рассказала, что он попросил разрешения у какой-то покупательницы поговорить с ее ребенком. Та разрешила, он на корточки присел и стал выспрашивать, что малышу нравится. А тот сказал, что бабушка. Он его прижал к себе и долго кашлял, отвернувшись, может, заразить боялся, лицо у него землистое, больное, наверное, грипп. Потом маленький ему сказал, что мыльные пузыри любит пускать. У нас такой игрушки не оказалось. Тогда он купил «железную дорогу» и «футбол» и занял очередь в секцию обуви — выбросили чешские спортивные туфельки, но ему не досталось.

Вспомнил Горенкова и второй таксист, что вез его по адресу, где жили сыновья. И этого человека Горенков спрашивал, где можно купить «пепси» и хороших шоколадных конфет; шофер отвез его в центральный ресторан, но там красивых коробок не было, только молочный шоколад в плитках и фруктовые вафли.

Соседка гр-на К. — назовем так человека, который теперь считается отцом его сыновей, — сказала Горенкову, что мальчики в детсаду, назвала адрес, поинтересовавшись, кто он такой. Горенков ответил не сразу; человек в высшей мере порядочный, он понимал, что, если дети действительно называют «папой» другого, ему нельзя открывать себя: во дворах тайн нет; чувство такта уступает место сплетне, грязному слуху. Он сказал соседке, что привез детям гостинцы от их бабушки, и спросил, где

работает «товарищ К.» — та женщина, которая раньше была его женой. Соседка назвала учреждение. Горенков оставил у соседки подарки и отправился в тот детский сад, куда новый «папа» водил его детей...

Одна из воспитательниц опознала его по предъявленной нами фотографии и пояснила, что этот человек с нездоровым цветом лица очень долго наблюдал за тем, как дети играют во дворе садика. Это показалось ей подозрительным, и она позвонила в милицию; приехала дежурная машина; у Горенкова потребовали документы; он предъявил паспорт. На вопрос, что он здесь делает и почему вообще находится в Курске, Горенков сказал, что такого рода вопрос неконституционен. Тогда он был задержан и отвезен в отделение милиции. Привожу выдержку из протокола допроса: «Почему вы находились неподалеку от детского сада, высматривая детей, и провели там более получаса?» — «Вы не имеете права задавать такой вопрос». — «Мы имеем право задавать любые вопросы». — «Тогда ответьте, почему вы брюнет?» Это было расценено как неуважение к должностному лицу, и Горенкова отправили в медвытрезвитель на анализ по поводу алкогольного опьянения. После того как его привезли из вытрезвителя с заключением, что следов алкоголя в организме нет, Горенков был отправлен в камеру, где провел ночь вместе с двумя жуликами, Сидоровым и Ратманом. Ночью произошла драка. Сидоров показывал, что Горенков якобы согнал Ратмана с нар, потому что их в камере было только двое. Поэтому он якобы был вынужден заступиться за друга. Той же версии придерживался и Ратман. Однако в дальнейшем, получив очную ставку, Сидоров и Ратман путались в показаниях, давали объяснения, исключающие одно другое, словом, лгали. Начальник городского управления милиции, который лично проводил расследование после того, как разыгралась трагедия, сообщил, что Сидоров и Ратман решили «поучить интеллигента», но когда тот дал им отпор, стали кричать, что их «убивают». После этого Горенкова посадили в подвал, где он и пробыл до утра. Вызванный утром на допрос, он потребовал разрешения позвонить первому секретарю обкома в Загряжск. В этом ему было отказано. Выслушав его показания о том, что он смотрел на своих детей, начальник отделения пообещал разобраться во всем этом деле в течение семидесяти двух часов. В требовании вызвать представителя прокуратуры Горенкову было отказано, причем, кивнув на его туфли, из

которых снова вытащили тюремные веревочки, заменявшие шнурки, дежурный заметил: «Права качать умеешь, птицу видно по полету». Лишь после того как Горенков потерял сознание — с остановкой пульса, — была вызвана «скорая помощь», которая и увезла его в больницу, в отделение реанимации. После первой медицинской помощи Горенков обратился к врачу Умновой и продиктовал ей телеграмму Каримову, попросив копию отправить мне, в Москву. А рано утром, во время пересменки, из больницы ушел; мы смотрели его кардиограмму; сердце измотано, предынфарктное состояние.

Мне очень страшно рассказывать о той сцене, которая разыгралась на работе гр-ки К., бывшей жены Василия Пантелеевича. Он вызвал ее на проходную; вахтер Дибичев показал, что он протянул ей цветы, но она выбила их у него из рук и чуть не силой вытолкала его на улицу, повторяя все время: «Ты не смеешь, уходи, уходи, зачем ты здесь, гадина?!» Дворник НИИ, в котором работает гр-ка К., слышал, как Горенков увещевал бывшую жену, говорил, что он ни в чем не виноват, что она не имеет права лишать его мальчиков, что он ни в чем ее не упрекает, но просит разрешения повидаться с ними. Невольный очевидец этого трагического разговора запомнил его молящие слова: «Скажешь мальчикам, что я их дядя, я согласен, не надо их травмировать, если они твоего мужа называют «папой», но ты не вправе лишать детей отца». — «Какой ты отец? Отцы отдают себя семье! А ты?! Дон Кихот прибабашенный! Сколько я тебя молила?! Как я упрашивала тебя быть тише и незаметней?! Славы захотел?! Вот и получил славу! Мало еще тебе досталось! Мало!» Горенков просил К. не кричать так, говорил, что это ее же позорит, но она сказала, что, если он посмеет пойти в детский сад, она сейчас же обратится в милицию...

...Неизвестная машина сбила его неподалеку от детского сада — пустой переулок, очень тихий, обсажен двумя рядами лип, окна домов закрыты листвой, звука тормозов — пронзительного в таких случаях — никто не слышал.

...А теперь я должен рассказать, чем жил этот человек накануне гибели. Я приведу записи его мыслей, которые я сделал в блокноте после того, как проводил Горенкова на Курский вокзал, посадив в седьмой вагон скорого поезда «Москва — Симферополь». Причем это были мысли не досужего фантазера; первый секретарь обкома партии

Каримов официально пригласил его занять пост министра строительства автономной республики с правом на самый широкий эксперимент! «Как правило, — сказал он Каримову, — наши эксперименты идут сверху вниз. Это началось в двадцать девятом году, с коллективизации, когда Сталин предложил провести «революцию сверху». А давайте-ка поэкспериментируем в обратном направлении. Время этого требует. В известное выражение о том, что верхи не могут по-новому, а низы не хотят по-старому, приходится вносить коррективу: верхи очень хотят по-новому, низы не намерены жить по-старому, но середина не умеет работать так, как этого требует новое мышление».

Горенков — мы проговорили почти всю ночь — мыслил законченными, выстраданными формулировками, шутил: «В тюрьме у меня было много свободного времени».

— Сколько лет мы говорим о «чувстве хозяина»?! — горестно спрашивал он. — А что сделано для того, чтобы эти слова превратились в реальность? Ничего. Ответьте мне: что такое «акция»? Ладно, вы человек относительно подготовленный, но я проводил опрос среди многих рабочих, инженеров, и каждый отвечал: «Капитализм, что ж еще!» Но ведь «акция» — это значит «действие». Разумное действие сулит выгоду. Что такое — по Владимиру Далю — «выгода»? Это «польза», «прибыль», «барыш». Меня, как всякого русского, первые два понятия устроили, а «барыш», понятно, насторожил. Посмотрел у Даля и это слово. А вот оно: «прибыль», «польза», «прибыток», «нажива»... Правда, — Горенков тогда улыбнулся своей неожиданной улыбкой, — пословицы о «барыше» у Даля грустные: «Продал на рубль, пропил полтину, пробуянил другую, — только и барыш, что голова болит»... Так что ж будет антисоциалистического в том, если мы введем на предприятиях «акции»? Приобрел акцию своего завода или совхоза, вкалываешь как следует — вот тебе и барыш! Тогда и винить будет некого, если мало получаешь, — значит, сам плохо работаешь... Не считайте же деньги в чужих карманах! Хватит! Сколько можно растить соглядатаев! Трудись хорошо — получишь много! У нас в республике есть пара небольших кирпичных заводов, работают на своем сырье, вот я там начну выпускать «акции»... Кирпича трагически не хватает — заключу договор со стройкооперативом, возьму ссуду в банке и выпущу акции под договоры с сельским хозяйством: всем совхозам потребен кирпич, плати мне аванс и планируй впрок свое строительство! Если пытаться

косметически подправлять существующее — погубим перестройку, начинать надо заново, думать не об отчете, а о выгоде, живом деле; прямые связи — промышленность, строительство, сельское хозяйство, рынок... И никаких промежуточных держиморд, полная самостоятельность, инициатива и хозрасчет...

Я спросил его про миллион ведомственных барьеров, Госкомтруд, Госкомцен, Госплан, Минфин, Госстандарт, Госконтроль... Они же все потребуют согласований, подгонки под нормативы, увязки не со здравым смыслом, а с бумажками — ныне действующими законоположениями, постановлениями, решениями, инструкциями...

Горенков досадливо махнул рукой:

— Если идти по этому пути, не сдвинемся с места. Мы вязнем, постоянно вязнем в традиционно-привычном! Завод заключает договор с совхозами — что противозаконного? Что важнее: соблюсти привычную бумажную проформу или построить во всех совхозах красивые коттеджи, уютные кафе, асфальтированные дороги и теплые коровники?!

(Я тогда отметил, что слово «красивые» он вынес на первое место; он умел видеть будущее; почему порою в слово «мечтатель» мы вкладываем несколько презрительный и уж, во всяком случае, снисходительный смысл?)

А еще он сказал:

— У Мао Цзедуна, когда он начал свой «культурно-революционный» термидор, был лозунг: «Огонь по штабам!» У нас те, кто ныне алчет термидора, ненавидит перестройку и саботирует ее, пытаются провести в жизнь свою стратегию: «Огонь по светлым головам!» Я, когда вернусь на работу, — он замер на мгновение, потом засмеялся, — верно сказал, хотя боюсь впрок задумывать, — начну борьбу за то, чтобы немедленно пересмотрели дела восьми директоров фабрик и совхозов, с которыми я сидел... Золотые головы, а они лес валят. Завистники написали доносы, а в любом деле — при нашем-то море запрещающих параграфов — нельзя не отступить от буквы во имя блага державы... Вот тебе и тюрьма... Только во вред державе бюрократия держится зубами за все нормативы и утвержденные параграфы: самому спокойно, а страна — лети себе в тартарары, Россия велика, лететь будет долго, на мой век хватит, а после нас хоть потоп...

...Об индивидуальном труде:

— Идет саботаж. Повсеместно. Исполкомы спускают

жесткую разнарядку: сколько, где и чего можно открыть «проклятому частнику». Да какая же это, к черту, инициатива? Дураку ясно: вместо десятков различных министерств надо сделать центры координации, где кооператоры смогут получить реальную помощь в фондах, заказах и протекцию от зажима бюрократии. Ведь бюрократия может лишиться права на поборы, которые раньше получала от всех директоров Домов быта, кафе, ресторанов, гостиниц, — как же ей разрешить труд индивидуалов?! Это ж подписать самому себе приговор... Сервис государственным быть не может — это для меня азбука... Сервис может быть только кооперативным или индивидуальным... Дома быта уже давно стали частными предприятиями, но вместо того, чтобы они платили налог, государство им начисляет зарплату... Отдать все Дома быта под индивидуальную деятельность, рекламировать это, поощрять, а всех тамошних директоров, заместителей, бухгалтеров перевести на договор: «Бюро услуг по организации труда». Пусть им не оклад платят, а процент с прибыли кооператоров и широкого индивидуального сервиса... Почему телевидение до сих пор не провело серьезную консультацию для индивидуалов? Хоть раз газета воспела труд индивидуала? Кооператора? Да нет же! Вот люди и боятся! Идет скрежещущая драка между теми, кто в каждом зарабатывающем человеке видит «стяжателя», «кулака», и сторонниками свободы кооперативного и индивидуального труда... История этого противостояния тенденций у нас старая, вековая... Это трагедия нашей истории. А разве об этом говорят? Исследуют? Проводят дискуссии на телевидении? Поют, как соловьи, о традициях, а ведь они у нас разные... Мы в республике договорились: вернусь — сделаем такую передачу... «Открытая трибуна, вопросы и ответы».

— А не попросит телевидение записать вопросы и ответы на монитор, чтобы потом подредактировать?

— Тогда они будут делать такую передачу с кем-то другим.

На вокзале уже, возле вагона, он сказал:

— За какие-то три года в стране — при всех перекосах — проблема гражданских прав близка к решению... Да, да, несмотря на то что я в тюрьме отбарабанил... Но ведь сейчас можно говорить обо всем, что болит! На повестку дня стал самый главный вопрос... Если мы его не решим, нас ждут страшные беды: необходимо в корне изменить отношение к личности... Да, да, именно так.

Именно личность была и будет первоосновой государства. От того, сколь высок престиж личности, от того, как закон гарантирует ей право на поступок, то есть инициативу, зависит будущее... Или наших детей ждут годы пострашнее тридцать седьмого, или же они будут так счастливы, как мы и мечтать не смеем...

Я сказал ему, что это — слишком общее соображение, попросил раскрыть скобки.

— Все просто! Сейчас любой поступок обязан быть утвержден вертикалью инстанций. Ожидание разрешения убивает желание. Рождается пассивность и неверие в собственные силы. Где закон, который гарантирует мое право — Иванова, Петренко, Гогоберидзе — на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост директора? Мастера? Депутата? Министра? Профессора? Формально где-то что-то есть, но я говорю о гарантированной реальности положения. Люди по-прежнему ожидают указания сверху, как у нас повелось исстари. Восемнадцать миллионов управляющих и контролирующих как огня боятся личности, ненавидят право, закон, демократию — это лишает их власти... Надо все поставить с головы на ноги. Только новое качество личности не допустит рецидива прошлого. Не сходка, подготовленная для телевизионного репортажа, не очередная кампания должны определять поиск, а мнение личностей, исполненных чувства собственного достоинства... Знаешь, о чем я думаю? Нужен Народный Фронт Перестройки... Именно Народный Фронт... Без зарплат и персональных «Волг». Только тогда — «враг не пройдет!». Если мы не добьемся реальных Прав, победят те, которые начнут «Большой террор», они не умеют иначе.

Он легко вскочил в тамбур и поднял руку в приветствии испанских республиканцев. Лицо его было одухотворенным, хоть и очень усталым, без кровинки. Но глаза его лучились такой верой, что я подумал: «Как же счастлива страна, у которой есть такие сыновья».

Я бы очень хотел назвать тех, кто посадил в тюрьму этого замечательного организатора, бессребреника, патриота. Я сделаю это, как только суд вынесет приговор банде преступников, находящейся ныне под следствием.

Я, однако, не могу не сказать уже сейчас, что его осознанно и методично вели к скамье подсудимых те люди, которые были расчетливыми паразитами идеи. Потрясая святыми для каждого из нас понятиями «родины», «истории», «памяти», они сами лишены каких бы то ни

было принципов. Только одно руководило ими — алчность, страх и зависть. Только одно объединяло их — дремучее бескультурье, «облагороженное» учеными степенями. Лишь одного они боялись: подлинного знания истинной демократии и гласности, интернационального братства. Им было удобно жить в недвижном болоте, передвигаясь по лагам, брошенным коррумпированными мафиози. От них пахло прелью. Они были одержимы идеей погрузить в эту тину всю страну; люди, подвластные доктрине малограмотных фанатиков, живших мифами, а не фактами, мечтали о том, чтобы каждый из нас сделался неподвижным истуканом, затянутым ими в трясину средневекового кошмара...

Для таких Горенковы — непримиримые враги. Для таких любая мысль и поступок — опасны и таят в себе вопросы, на которые они не в силах ответить.

Потеря такого человека, как Горенков, — невосполнима. Эта есть государственная потеря. Я хочу, чтобы имя «Горенков» стало нарицательным — бесстрашный мечтатель и добрый солдат за счастье человека, потому что человечество состоит из людей и оно устало от общих слов, оно жаждет пристальности и внимания к каждому...

Я мечтаю дожить до того дня, когда Александр и Павел Горенковы станут совершеннолетними. Я приеду к ним и расскажу, как обеднела наша страна после того, как их отец нас оставил.

Ах, как нужна всем нам доброта и внимание друг к другу!

Иван Варравин
(наш специальный корреспондент).

«Главное управление уголовного розыска,
полковнику Костенко В. Н.
Рапорт

Наблюдение за неизвестными, «гуляющими» вокруг дома, где проживает И. И. Варравин, теперь, после опубликования его статьи «Невосполнимость», ведется нами круглосуточно.

Капитан Коняев».

Ялта, ноябрь 1987-го

РАССКАЗЫ

ДОЖДЬ В ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБАХ

Когда появлялось солнце, лед делался синим. И Переславль-Залесский, разбросанный по другому берегу Плещеева озера, тоже становился синим. И купола церквей, поставленных здесь еще Александром Невским, калились изнутри переливно-синим цветом, будто отгоревшие костры. А когда солнце пряталось за облака, все менялось: лед делался грязно-серым, город почти переставал быть виден, а купола ближних церквей становились жухлыми, и было видно, как над ними черными точками кружат вороны.

Степанов любил эту раннюю солнечную тишину.

И остальные рыбаки, приплывшие сюда, тоже любили тишину. И когда за спиной, возле камышей, загремел низкий бас, Степанов удивленно обернулся. Громадный краснолицый мужчина остановился метрах в десяти от лодки Степанова, — толкался веслом, хотя на корме был прилажен маленький подвесной моторчик. Он воткнул у носа лодки корявый, непомерно длинный шест и заорал:

— Смотрите, здесь же песок чистой воды. У вас поплавок похож на вымя! Какой спуск надо давать, приятель?! А вон под берегом абстракционист сидит — с бородой и в шляпе! У меня суставы распухли, как штатное расписание!

— Тише! — попросил Степанов, сморщившись. — Вы ж рыбу распугаете.

— Это люди пугливы, а рыбы полны наивного героизма.

— Тем не менее, пожалуйста, потише.

— Что вы шептун какой?! Сейчас надо громко жить, во весь, что называется, голос — оттепель!

«Идиот, — подумал Степанов, — жизнерадостный, наивный идиот».

— Кстати, милейший, у вас много мотыля? Меня зовут Михаил Иванович! А вас? Понимаете, перепутал банку и вместо мотыля взял монпансье. Черт, а?

— У меня мало мотыля, — ответил Степанов. — Очень хороший клев, червяк идет быстро.

— Бросьте! Я ведь вижу: у вас много мотыля.

— Знаете что, — сказал Степанов, — может быть, вы отъедете в сторону?

— Рыдание служило ответом, — загрохотал Михаил Иванович. — И не эгоист ли вы, голубь?

Он отъехал к лодкам, которые стояли почти возле самого берега. Лодки казались врезанными в черный лист воды. Через несколько минут Степанов услыхал Михаила Ивановича снова. Тот кричал:

— Это, по-вашему, плотва?! Это не плотва, а килька! А у вас нет мотыля? Не жадничайте, люди, я возмещу сторицей! Сестра из Москвы привезет, право слово! Какой здесь надо делать спуск? Ваш поплавок похож на мину, любезнейший! — Замолчал он внезапно и так же внезапно заорал через час: — У меня идет акула, а не плотва! Нет, посмотрите, вес, а? Это ж настоящая плещеева грязнуха! У вас нет безмена? Не жмитесь, голубь, я уверен: у вас припрятан безмен!

Степанов смотрел на воду и видел, как под днищем лодки в длинной траве, среди желтых корневищ прошлогоднего камыша, медленно металась плотва — дно здесь было близкое, полметра. В воде рыбы казались длинными, как торпеды.

«В каждой рыбе есть что-то от хищника, — думал Степанов. — Только карась безобиден и трогателен, он вроде сказочной золотой рыбки. А может быть, мы для себя выдумываем про хищность. Чтобы ловить было сподручней. Говорят, шахматисты ссорятся друг с другом перед матчем, чтобы злее играть. А охотники, которые бьют тетеревов на току, оправдываются Писанием, потому что там вроде бы говорится: «птица, сидящая на земле, предназначена для человека, а та, которая в небе, — свята...».

Рыбы ходили вокруг крючка: глубина здесь невелика, и дно просматривалось будто через увеличительное стекло. Рыбы игриво обходили красного мотыля, касаясь его боками. А та рыба, которая шла дальше всех остальных и, казалось, никакого внимания на мотыля не обращала, вдруг, сломав первоначальное направление, устремлялась к мотылю, и Степанов скорее чувствовал, чем видел, как поплавок уходил под воду — быстро, косо и тревожно. Степанов несильно подсекал, конец удилища выгибался вопросительным знаком, и рыба, став в воздухе

маленькой и жалкой, а совсем не хищной, резала полукруг: из воды — к груди Степанова, а потом — на дно лодки.

«Отчего весной такие синие леса? — медленно думал Степанов. — Видимо, из стволов выходит холодная сырость, и поэтому стволы чернеют, воздух по утрам серо-розовый. Наверное, если соединить серо-розовый с черным, получится настоящий синий цвет...»

Выплеснувшись из-за туч, солнце шлепнулось об воду, сделало ее тяжелой, темной и литой, растеклось длинными бликами на миллионы маленьких и злых солнц, прокатилось по льду, лежащему на середине озера, и там исчезло, словно растворилось.

Степанов осторожно привстал с сиденья, повернулся и увидел еще с десяток лодок, поставленных на бритвенно-вороненую гладь воды. Ближе всех к нему снова оказался Михаил Иванович. Тот вроде бы только и ждал момента, когда Степанов обернется.

— Ага! — закричал он зычно. — Отлились вам мои слезы! Я-то вижу, что у вас нет рыбы! Слушайте, у вас сырку плавленого не осталось? А? В деревне ветчиной отдам, сестра должна привести из города.

— Хлеб есть.

— У меня брюхо подвело. Кидайте, а то я все время о еде думаю.

Степанов бросил соседу большой ломоть мягкого черного хлеба. Михаил Иванович неожиданно для его комплекции легко вскинулся с лавки, ухватил хлеб на лету, прокричал что-то воинственное, потом, крайне довольный собой и окружающими, подбросил хлеб над головой, очевидно представляясь фокусником, хлопнул в ладоши, крикнул «але-ап!», но поймать хлеб не успел, и ломоть плюхнулся в воду.

— А-а-а! — заорал Михаил Иванович. — Идиот! Дурень!

Кто-то из рыбаков с лодок хмыкнул:

— Это тебе заместо диеты, вон брюхо-то развесил какое.

— И рыбе, обратно, санаторий, — добавил с берега «абстракционист в шляпе».

Михаил Иванович шумно бранился, заводил подвесной мотор, стонал, когда сдирал в кровь кожу на пальцах, и долго еще — пока лодка шла вдоль камышей к устью речки — было слышно, как он гневался и ругал все

и вся. Внезапно он замолчал и протяжно, по-кавалерийски крикнул:

— Э, ловцы! Лед к берегу понесло с середки! Сматывайтесь, а то не выберетесь потом.

Стукнули уключины, и лодки рядком, будто утки, потянулись следом за Михаилом Ивановичем к устью речки. Рыбаки, казалось, еле трогали веслами воду. Но тем не менее лодки шли очень быстро, словно на гонках. И чем дальше они уходили, тем отчетливее становилось видно, как они постепенно поднимаются над водой и плывут по белой, чуть дрожащей полоске, которая пролегла под днищами. Потом лодки совсем исчезли из виду, и Степанов остался один в этом маленьком заливе, среди прошлогодних, изломанных зимой камышей, которые все время шевелились, но не от ветра, а из-за того, что внизу, среди корневищ, ходили табуны плотвы. Изредка среди камышей быстро высверкивало что-то желто-красное, и Степанов догадывался, что это прошла икрянка. Он вглядывался в то место, где только что высверкнуло, и обязательно видел там штук семь молочников, которые двигались за икрянкой неотступно, как стража.

С озера налетел ветер. Он прошумел, просвистал, словно раздразнивая самого себя, и вдруг исчез в прибрежном лесу. Стало тихо-тихо. И в этой пустой тишине Степанов услышал тугой перезвон, словно где-то заиграла детская музыкальная шкатулка. Сначала Степанов подумал, что это у него в ушах звенит. Но, оглянувшись, увидел, как прямо на него, туго покачиваясь на черной воде, медленно надвигался лед. Он ломался, торосился, льдины лезли одна на другую, крошились и расползались стремительными черными трещинами. От этого в воздухе плыл перезвон, будто вокруг развесили сотни колокольчиков, отлитых из прозрачного, неведомого еще металла.

— Черт, — сказал Степанов. — С ума сойти.

Свой голос показался ему сейчас до того грубым, а сказанные слова — такими чужими, что он сморщился, как от боли.

«Как же мы не умеем находить нужных слов! — подумал Степанов. — По-видимому, в литературе значительно больше белых пятен, чем в физике. Еще не открыты слова, которые смогут точно определять прекрасное и ужасное, высокое и подлое. А к тем штамповкам, которые произносятся, мы перестали относиться с доверием, потому что они только называют что-то, но объяс-

нить ничего не могут. Отсюда «черт, с ума сойти» — о прекрасном и вечном, что сейчас вокруг меня. Пока эти новые слова не открыты, книги надо писать разноцветными карандашами, как пишут дети, ей-богу».

С берега потянуло сыростью и холодом. Льды остановились. Перезвон ушел в небо и там замер. Несколько минут было тихо. Потом льды стали отходить обратно, на центр озера. Но сейчас, отходя, льды скрипели и скрежетали, будто ночное отступление по мерзлой дороге; никакого перезвона не было и в помине.

Одна льдина, величиной с лодку, откололась от массива и, медленно кружась, стала приближаться к Степанову. Он подтянул ее веслом поближе к себе. Льдина была пористая, порезанная солнцем, составленная из тысяч замысловатых, переплетенных сосулек. Степанов пригнулся к льдине и в ее середине услышал давешний музыкальный перезвон, только еще более нежный и тихий. Шло таяние. На льдине были видны черные, вдавленные внутрь зимние следы трех конских подков, обращенные серпом к Степанову.

«Хоть и следы, а все равно к счастью, — подумал Степанов и улыбнулся. — Через день-два льдина умрет. Она будет умирать ночью, когда на озеро падет туман. Но следы на ней — вроде человеческой памяти. Они не умрут с ней. Я их запомню. И скажу сейчас про это вслух. А через сто лет, когда люди научатся записывать голоса ушедших предков, они поймают на какой-нибудь радиоволне и мой голос, который будет говорить им про льдину, и про подковы на ней, и про этот день. Голос вечен. Смешно: голос вечен, а человеки мрут как мухи, и нет о них памяти».

Хозяйка, у которой Степанов всегда останавливался на Майские праздники, была удивительно краснолица и круглоглаза. Варя — так звали ее,— как и все добрые люди с круглыми телячьими глазами, была улыбчива. Она улыбалась все время, даже ночью. Степанов заметил это, когда выходил на верандочку покурить. Варя спала на руке у здоровенного своего мужа — егеря Тимофея и улыбалась круглым, детским ртом. Движения ее тоже были округлы, хотя и очень быстры.

Когда Степанов вернулся, Варя, заулыбавшись, принялась рассматривать рыбу и все охала, что мелковата,

вот разве одна удача — икрянок много, а ее нет вкусней, если сразу же закоптить на ольховых дровах.

На столе, поставленном в углу, возле иконостаса, стояла кринка топленого молока и банка с желтой щучьей икрой. За столом сидел Тимофей и сосредоточенно крутил «козью ножку».

Предзакатное, каленое, красно-черное небо было торжественным, как похороны. Над озером лежала гулкая тишина. Неподалеку, на шестом километре, тоскливо гудел маленький паровозик. У переезда через узкую колею зажгли фонарь. Это был старый керосиновый фонарь, какие стояли на железных дорогах лет пятьдесят тому назад. Вокруг желтого фонаря вилась серая мошка.

Тимофей, покосившись на жену, достал откуда-то из-за радиоприемника четвертинку. Степанов запил водку топленым молоком, присолив его крупной желтоватой солью.

— Неужели идет? — удивился Тимофей. — Водка простору в животе требует, а так молоко бешеной коровы получится.

— Хрен с ним, — ответил Степанов, — главное, чтоб не смертельно.

— Да, забыл... Тут профессор к вам приходил, хлеб возвратил.

— Какой профессор?

— Михаил Иванович, жирный такой.

— Который орет, что ль?

— Не замечалось этого за ним. Мужики до того, кто орет, зоркие. Он тут у Зубанихи остановился, через три дома.

Варя, стоявшая за фанерной перегородкой у печки, сказала:

— К нему сестра из Москвы приехала.

— Сестра, — фыркнул Тимофей. — Разве такие сестры бывают?

— Соловый, — засмеялась Варя, — тебе все на уме грех.

— А чего? В нем — счастье.

Варя поставила на стол сковородку с картошкой, стукнула Тимофея по затылку и сказала:

— Вот, десять лет с ним маюся, а он все в лес смотрит...

— Так ведь не бегу. А смотреть — и ворон смотрит, а птица с большим рассудком.

— Рассудок, — улыбнулась Варя. — Если его в людях нет, откуда же в птице взяться?

Тимофей ответил жене что-то веселое, и они засмеялись, но Степанов не слышал, что он ей ответил, потому что вспомнилось ему, как он приехал в этот дом семь лет назад с женщиной, которую любил. Они тогда сидели за этим же столом — вчетвером, пили водку и ели картошку в мундире. И так же смеялись, и так же горел желтый керосиновый фонарь на переезде.

Степанов постучался к Зубанихе.

— Войдите! — прогремел Михаил Иванович. — А, голубь! Прошу к столу! Мы пируем! Это — Нина! Сестра. Для краткости зовется первой литерой — Эн!.. Ха! Он принес хлеб! Зачем вы принесли хлеб, голубь? Это предлог?

— Предлог.

— Садитесь, кефиром угостим. Эн, дай ручку дяде.

Нина оказалась совсем юной, тонкой, как хлыст, и резкой в движениях. Она гибко перегнулась через стол и протянула Степанову длинную руку. Волосы упали ей на лицо, но она не стала убирать их, и Степанов сказал:

— Вы похожи на гогеновских женщин.

— Ее задача ни на кого не походить. Не бесите мою сестру.

— Вы будете кефир или чай? — спросила Нина.

— Кефир — это что?

— Кефир — это кефир. Вы думали, что я имела в виду закодированное название коньяка?

— Почему только коньяка? Возможны варианты.

— Нет вариантов, увы. Я привезла кефир, Миша и от него пьянеет.

— У нас странный диалог, — сказал Михаил Иванович. — Эн, не сходи с ума, я ложусь спать. Голуба, бойтесь эту женщину, у нее мой характер.

Разбросав вокруг себя стулья, Михаил Иванович ушел, а Степанов еще долго сидел, мучительно наморщив лоб, и вспоминал, как надо правильно говорить: «бойтесь эту женщину» или же «бойтесь этой женщины». То, что он так и не мог толком разобраться, как следовало бы говорить верно, показалось ему забавным, и он сказал вслух:

— Смешно.

Он вообще иногда говорил вслух какие-то мучившие

его слова и, когда рядом бывали люди, очень этим смущался, и, чтобы хоть как-то сгладить возникавшую неловкость, начинал загадочно улыбаться и повторять несуразное:

— Ешно, но, смеш...

При этом у Степанова быстро двигался нос и закрывался левый глаз. Кое-кто угодливо смеялся, считая это чудачеством. Его это устраивало, потому что объяснять про контузию было бы нелепо и жалко, а такое чудачество воспринималось с доброжелательством. Степанов даже заметил, что несколько его приятелей, из тех, кто помоложе, стали подражать ему, произнося вслух непонятные слова, быстро при этом двигая носом и закрывая глаза.

Нина спросила:

— Быть может, вы хотите покушать?

— Спасибо. Я только что ужинал.

— «Кушал» — это лакейское слово, да?

— Почему?

— По литературе. Помните литературу прошлого века? Только лакеи говорили: «Кушать подано». Господа всегда говорили: «Милости прошу перекусить...»

Ночь разметалась над землей. Облака лежали низко, будто одеяла, сбитые в бреду горячечнобольным.

— К грозе, — сказал Степанов.

— По-моему, прогрохочет левее, — ответила Нина.

Они медленно шли по уснувшей деревеньке, название которой было необычно, как и все здесь, — Купавна. Белые наличники окон словно фосфоресцировали и, казалось, подсвечивались изнутри холодным искусственным светом. Лес шумел гулко, приливами.

— Любите ночной лес? — спросила Нина.

Он закрыл левый глаз, завертел носом и ответил:

— Не знаю, право...

— А почему вы смеетесь?

Степанов ничего не ответил. Когда начинали говорить о красоте природы, ему делалось неловко и он не знал, что отвечать. Ему казалось, что прекрасное можно писать на холсте, в литературе, но только говорить об этом не стоило. Ему не хотелось соглашаться с очевидным, названным именно так, как и нужно было назвать по грамматике. Смысл искусства — в первооткрывательстве, а моментальная фиксация увиденного — прерогатива

рыночного фотографа. И еще Степанов не любил, когда при нем начинали говорить о красивом: Степанов не любил говорунов, особенно тех, которые умеют изящно болтать обо всем, что вокруг; такие люди, казалось ему, неспособны к творчеству, они проговаривают самих себя.

Степанову вспомнился забавный случай, когда французский высший свет пригласил на званый обед известного писателя-юмориста. К нему относились с боязнью и острым любопытством. Но весь обед писатель просидел хмуро, уставившись в скатерть, никого не вышучивал, и все шло насмарку. И только в самом конце произошло то, ради чего все собрались: писатель, обратившись к соседу, попросил: «Передайте мне, пожалуйста, эту прекрасную мелкую соль». И сразу же, после секундного замешательства, все — гости и хозяева — стали громко хохотать, считая сказанное остротой. И каждый поэтому смеялся, а вернее сказать — старался смеяться и дольше и громче другого.

...Где-то над озером, прорвав тяжелые облака, выглянул острый глаз месяца.

— Можете загадывать на счастье, — предложил Степанов. — Молодой месяц-то. И слева...

Он обернулся к девушке. Лицо ее сейчас сделалось еще более чеканным, глаза казались зелеными.

— Хищная вы какая-то, — сказал Степанов.

— Да нет... Недотепа я.

— Это почему ж так?

— То ляпну что не так, то гляну не туда, — вот и хожу в девках, никто замуж не берет.

— Понятно, — сказал Степанов и еще раз поглядел на девушку. — Ну, спокойной вам ночи. Уже пора...

...Степанов попросил Варю, чтобы она постелила ему не в доме, а на сеновале. Здесь, в маленьком сарайчике, который зимой приспосабливали под баню, пахло морскими снастями. А если зарыться головой в сено, казалось, что окунаешься в жаркое лето. Степанов потянулся, зевнул со стоном, как пес, и начал уговаривать себя, чтобы не курить на ночь, а тем более не пить ни грамма.

Исподволь, словно котенок, который только-только научился играть, по крыше пробежал дождь. Потом наступила тишина, которая продолжалась несколько томительных минут, а потом прямо над головой, будто кто порвал рубаху, все высветилось жутким зеленым светом,

и раскатисто заухало — с неба к земле. И словно кто пригоршню камней бросил на железную крышу сараюшки — хлынул дождь.

Степанов приложился ухом к листу белой жести, и в голове забило, затанцевало: дзень-бум, дзень-бам! Но постепенно этот дождь превратился в единый, сплошной поток воды, и стук отдельных капель теперь нельзя было различить.

Степанов вспомнил фразу Алексея Толстого: «Дождь шумел в водосточных трубах». Какая это прекрасная фраза, и как она точно передает настроение человека, который слышит дождь в водосточных трубах.

Он вспомнил, как они жили на севере Эстонии, в Кясму. Они жили в маленьком домике, дни были жаркими, а по ночам шли ливни и шумела вода в старых, давно не крашенных водосточных трубах.

Надя тогда еще продолжала кормить Дунечку и поэтому была толстая и не ходила на пляж днем, а купалась ранним утром или поздним вечером. Было в ней, купавшейся, что-то особенное — застенчивое и ласковое. Степанову, когда он смотрел, как она плавала между прибрежных камней, делалось спокойно и хорошо, чересчур хорошо, так, как, наверное, и не надо было бы, потому что не зря ведь считают: если счастья много, так, значит, ненадолго оно.

Здесь, в Кясму, он начал постепенно забывать свое самое трудное — когда он только начинал свою работу. Коробку пельменей тогда приходилось делить на три части, чтобы хватило на завтрак, обед и ужин. Надя выдумала себе диету и два голодных дня в неделю, а чтобы убедить Степанова, как хороша эта диета, остальные дни ела стоя, а потом делала утомительную гимнастику и говорила, что это прописал спортивный врач.

Иногда он обижал ее, даже не понимая, что обижает, потому что весь был в своей работе. Она пугалась, словно маленькая девочка, прижимала к щекам длинные пальцы, глаза у нее делались круглыми, а курносый нос торчал воинственно беззащитной кнопкой. Степанов смеялся и называл ее «противогазиком». Она тоже смеялась, хотя ей не очень-то хотелось смеяться.

По вечерам в Кясму, после того как он прекращал работать, они выходили гулять по одной-единственной улице. Были белые ночи, синие июньские травы и лес смотрелись словно через тончайшую папиросную бумагу. Над

заливом, который казался нереальным, волшебным, как из детской сказки, переругиваясь, летали чайки.

Потом Степанов уезжал на разболтанном старом велосипеде ловить форель в порожистой речушке Перэл. Он никогда не брал больше трех рыбин — с синими блестками вдоль по бокам и с красными искорками возле плавников спины.

А ранним утром Надя жарила форель в оливковом масле. Рыбы лежали в большом глиняном блюде, красноприжаристые, на самодельном эстонском столе, и все это напоминало средневековье — особенно громадный очаг, увешанный медными тазами для варенья, похожими на щиты рыцарей.

И каждую ночь шумел дождь в водосточных трубах.

Степанов, наверное, и не понимал еще тогда, как эта женщина ему нужна. Это обычно понимается либо после разрыва, либо на расстоянии. Или, может быть, этим даром обладают особо прозорливые, мудрые люди, и обязательно спокойные. Но спокойствие — плохой советчик в творчестве, в этой гибельной самоотдаче, когда внимание обращено только к одному делу, которому себя посвящаешь. Самый близкий человек, которого любишь, делается тогда привычным, как ежедневная работа, как стопка бумаги и перо. И отсутствие этого самого близкого человека замечается внезапно, ударом.

Однажды, даже не попрощавшись с ней, Степанов улетел на юг Таджикистана. Из Куляба он ехал на попутном грузовике в урочище Достеджум. Небо здесь было желтым и недвижным, и в этом недвижном небе стыли орлы. Их было много — поблизости работал мясокомбинат, и орлы привадились к отбросам. Шофер, который вез Степанова, сказал:

— И орел на мясе достоинство теряет.

Степанов впервые видел орлов на воле и так близко. Были здесь подорлики с белыми головами и серыми крыльями, были орлы полевые, побольше ростом, а выше всех висели, не двигаясь, красноголовые махины, похожие на грифов. Было жутко из-за того, что орлы недвижно висели в небе и были молчаливы, как возмездие. Они не кричали, словно вороны или сороки, не ссорились в небе и не мешали друг другу: все было определено каждому. Подорлики и степняки сразу же уступали место красноголовым, как только с комбината выбрасывали новую партию костей. Красноголовые не торопясь подскакивали к костям, словно безногие инвалиды, потерявшие

костыли, и, прежде чем начать пиршество, долго посматривали по сторонам, и профили их были похожи на старинные литографии абреков.

Шофер сбросил Степанова возле разбитой ветрами пастушеской времянки и, кивнув головой на отлогое плато предгорий, посоветовал:

— Только быстрей наддавай, а то заплутаешь, когда смеркнется. Тут, говорят, тигр через Вахш с Афганистана ходит.

— Чего же он шландает?

— Космополит, — улыбнулся шофер, — нет в нем человеческих привязанностей.

Степанов хотел успеть до ночи найти домишко, в котором здесь обосновались ловцы барсов. Он шел по распадку точно, как указал шофер. Смеркалось стремительно, солнце быстро отступало, и не было сумерек, а сразу следом за солнцем навалилась темнота — непроглядная и хищная. Дальше идти было некуда — глаза сломишь. Степанов наломал чапорраля, в августе сухого и пыльного, зажег костер прямо на тропе и, выбрав место, где не было каменьев, лег, вытянувшись сладко и с хрустом. Уснул он сразу. И проснулся сразу. Костер тлел, а судорожные языки пламени проносились по теплой земле, вздрагивая и замирая. В напряженной тишине Степанов услыхал тяжелые шаги. Степанов пружинисто сел, сердце ухнуло вниз, и горло враз пересохло.

— Кто? — шепотом спросил Степанов и нащупал заледеневшими пальцами острый камень.

Никто ему не ответил, а шаги тяжело ухнули совсем рядом. Степанов поднялся, зажав в руке камень, и шагнул в темноту. Его неожиданно обдало теплом, и он прямо перед собой увидел два испуганных агатовых глаза. Возле огня стоял стреноженный конь. Степанов протянул коню руку, и тот облизал ее шершавым языком.

— Сахара у меня, жаль, нет, — сказал Степанов чужим голосом.

Вернувшись на то место, где по земле пробегали струйки синего пламени, он снова лег и сразу же увидел ее глаза: такие же круглые, и такие же добрые, и такие же красивые, как у лошади. И стало ему тяжело и сладко в груди, потому что он увидел ее всю и понял, какое же это счастье — видеть ночью в горах, на берегу Вахша, женщину, которую любишь. Он прошептал ее имя, и оно показалось ему совершенно особенным и незнакомым. Степанов затоптал костер и пошел назад по тропе.

Он добрался до почты в рассветных сумерках, растолкал телеграфиста и передал ей в Москву громадную телеграмму — бессвязную и нежную.

Степанов вспомнил, как в другой раз он прилетел из Сибири, а ее не было в городе, и он на последней электричке поехал в деревню. На перроне подмосковной станции было пусто, в метре от платформы ни зги не было видно, только смутно белело пятно закусочной, выкрашенной в голубой цвет, да еще где-то далеко за поселком перемаргивались огоньки в дачах. Шумел весенний ливень, было тепло и пахло грибами.

А потом он сидел у нее, в маленьком домике, возле большой отсыревшей печки, которая сейчас чадила, закрывал левый глаз и беспрерывно двигал кончиком носа. Он сидел в ее халате, треснувшем под мышками, в шерстяных красных носках, а в водосточных трубах по-прежнему шумел ливень, и была ночь вокруг, и были только они двое, и было им все понятно друг в друге. Она принесла чашку вишневой настойки, потихоньку слив ее из большой хозяйской бутыли, он грел чашку в пальцах, пил маленькими глотками и рассказывал ей про то, как они с проводником потеряли в Саянах тропу.

Она слушала его, и отсвет пламени метался по ее лицу, словно тревога, а огромные круглые глаза смотрели на него мудро и нежно. Она позволяла Степанову чувствовать себя рядом с ней большим и сильным, очень умным и многознающим. Хотя «позволяла» — это не совсем верно. Она была создана именно такой, в ней была древняя, подсознательная мудрость женщины — ранимая мудрость слабого. Такие женщины в жизни бывают либо очень счастливыми, либо несчастными: все зависит от того, кто с ними рядом. Однажды, после его большого успеха, после суетливой радости признания, узнав о его шальных увлечениях, она сказала:

— Ты заметил, как противно есть из склеенной посуды? И еще: когда ты пишешь, ты забываешь все вокруг и тебе хорошо и счастливо. А я никогда ничего не могу забыть, потому что все вокруг для меня — это ты.

...А вскоре она ушла от него.

Степанов проснулся, будто от удара тока. Ноги и руки свело бессильной, упругой и колючей слабостью. Он выглянул в оконце: на земле лежал плотный туман. Степанов спустился по мокрой лесенке вниз, вымыл лицо из

бочки, налитой до краев дождевой водой. В воде плавали длинные хвойные иглы. Бочка пахла осенью и ноябрьским лесом — пустым и гулким, каким он бывает за день-два перед тем, как ударят морозы.

Степанов выпил топленого молока, сунул за пазуху кусок хлеба и пошел на берег реки, к лодкам. Мимо него в тумане профырчал по узкой колее паровичок, который шел в город. В лесу пели птицы. Степанов постоял на скользких мостках, пока мимо прошел паровичок, и стало ему вдруг пусто и одиноко, и понял он, что вспомнившееся ему ночью — самое прекрасное, что было в жизни, и что это самое прекрасное никогда больше не вернется, хотя будут еще и синие льды на Плещеевом озере, и желтый фонарь у переезда, и купола церквей в Переславле-Залесском, и Михаил Иванович со своей гибкой, как хлыст, сестрой, и оловянная плотва на дне лодки. Все будет, только никогда больше не будет того, что бывает, когда возле тебя женщина, которую любишь.

КОНИ И ЛЮДИ

По склонам холмов разбросаны синие дубки и белые березовые перелески. Воздух, раскаленный солнцем, недвижно лежит над полями. Тишина; только ласточки весело перекликаются в желтом небе, и еще где-то далеко-далеко слышны звонкие голоса детей.

Сижу с Ленькой Крутиковым на маленьком поле, обнесенном аккуратной изгородью. Здесь два раза в день тренеры работают с конями. Ленька любит коней и мечтает стать тренером. Когда, рассматривая ахалтекинца, похожего корпусом на ракету, я сказал: «Красивая лошадь», Ленька поправил меня:

— Вы не говорите про него «лошадь». Вы, пожалуйста, про него говорите «конь».

Ленька учится в девятом классе. Он любит пофилософствовать. Правда, философия его носит несколько практический характер.

Он говорит мне:

— Человек коня понимает. И конь нашего брата тоже понимает. С ним ведь разговаривать можно, с конем. Я, конечно, об этом биологичке ни гугу. Сразу двойку врежет. Обидно как-то. А ведь правда, конь словно понимает. Человека все звери понимают, только к каждому зверью свой подход нужен. Кошка — вроде как малый ребенок. С ней легко: мяч из бумаги сделал, на веревочку привязал — и пожалуйста, друг до гроба. Собака — потрудней. Она вроде школьника: с ней ласково надо и строго. — Ленька улыбнулся: — Я это по себе знаю. Ну а конь — это человек. С ним хитрить или, как с собакой, воспитательную работу вести не надо, все сам понимает. С ним по-хорошему поговоришь — и точка. Десять классов кончу — в конюхи пойду. Подучусь, а там — в тренеры...

За оградой в поле ходит кобыла Экстра с маленьким жеребенком. Зовут его непонятно, зато красиво — Эрсон.

Экстра хватает мягкими губами зеленую траву, неторопливо жует, потом вскидывает красивую голову с огромной, чуть не до земли гривой и замирает, вслушиваясь. Она долго стоит так, поводя ушами, и, будто успокоившись, снова склоняет голову, и снова захватывает сочную траву мягкими губами.

Чуть поодаль пасется табун. Жеребята играют друг с другом, носятся наперегонки, шаловливо дерутся и совсем уж по-детски ластятся после игр.

А маленький Эрсон все время с матерью, рядом. Он не отходит от нее ни на шаг. Он очень красив, этот жеребенок, он красивее всех остальных, которые пасутся с табуном.

Но вот я вижу, Эрсон, опасливо поглядывая на мать, начинает отходить к табуну. Он идет осторожно, еле переступая ногами. Вот он отошел метров на двадцать, потом еще подальше, а потом перешел на галоп. Он несется во весь опор, весело подбрасывая на бегу зад и брыкаясь копытцами.

Экстра слышит галоп. Она настороженно вскидывает голову и замирает, вслушиваясь во все удаляющийся топот копыт. Вздыхает, именно вздыхает — горько, по-человечески — и замирает со вскинутой головой. Ветер играет с травами, с белой листвой берез, играет с ее гривой. Ветер весел и беззаботен. А Экстра грустная-грустная и словно бы обиженная.

— Сердится? — спрашиваю я Леньку.

— Нет.

— А что же с ней?

— Слепая. Когда жеребилась, ослепла от боли. Он ей теперь как поводырь. Убежал, а ей и шагу без него не ступить. Но, видите, не зовет его, понимает, что маленький, поиграть охота. Вот так и будет стоять, пока не вернется.

Экстра так и стоит полчаса, час, задрав красивую голову. Она смотрит огромными синими глазами в желтое небо.

Возвращается Эрсон. Он несется от табуна галопом, потом переходит на шаг, а к матери подходит еле переступая ногами. Экстра чувствует его рядом с собой. Она еще выше вскидывает голову и ржет до того радостно и торжествующе, что даже сердце щемит. Жеребенок подходит вплотную к ней и тыкается мордочкой в пах. Потом обходит мать, тыкается ей в грудь, будто целует, и, повернувшись, идет вниз, к речке. Экстра идет следом,

высоко подняв голову. Она ступает по траве горделиво и спокойно, совсем как зрячая.

...Ахалтекинца Граведора тренирует маленький, квадратного телосложения человек, голубоглазый, краснолицый, с пшеничной щеточкой усов.

Граведор зло косит глазами, бьет задом, норовя сбросить тренера. Граведор в мыле, скалит зубы, и глаза с каждой минутой все сильнее наливаются кровью.

— Ну! — покрикивает тренер. — Иди! Иди хорошо! Вот так иди! — Он учит Граведора змейке — хитрой танцующей поступи, похожей чем-то на балетные па: нога в ногу, и так, вдоль.

Граведор негодует. Он не хочет идти по-балетному. Он хочет скакать по зеленому полю, а потом залезть в реку и плавать, а потом вылезти и стоять на теплом песке, долго и бездумно.

— Иди! Иди, дорогой! Иди ровно! — приговаривает тренер, натянув поводья так, что голова коня неестественно задрана вверх.

Граведор с норовом, но и тренер не отличается слабостью характера. Единоборство наездника и коня продолжается с полчаса. Я не вижу Леньки, который сидит рядом со мной, я весь в том, как тренер учит коня змейке, спокойно и настойчиво. Но вдруг я слышу рядом всхлипывания. Оборачиваюсь: белый Ленька; губы закушены, пальцы то сжимаются в кулаки, то, резко разжавшись, замирают на острых мальчишеских коленях.

— Дядя Вить! — кричит паренек. — Дядь Вить!

Тренер бросает поводья и вопросительно смотрит на Леньку. Тот вскакивает с бревна, на котором мы сидим, и кидается к нему.

— Дядь Вить! — молит он. — Вы ж обещали мне его сегодня дать на немножко.

Тренер вытирает со лба пот, снимает свою бархатную жокейскую шапочку и, отвернувшись, смотрит в поле и туда, где по склонам сопок разбросаны синие дубки и белые березовые перелески. Он долго смотрит туда, а потом говорит:

— Чудак... Ты думаешь — это плохо, что он сердится?

Ленька молчит и не поднимает на тренера глаз.

— Ты думаешь, я мучаю его?

Ленька молчит по-прежнему.

Тренер резко оборачивается, долго смотрит на паренька, а потом вдруг соскакивает с коня и протягивает Леньке поводья.

— Садись, — говорит он, — и тренируй, как ты считаешь нужным.

Ленька светлеет лицом, хватает повод, быстро подпрыгивает, вскидывает свое легкое тело в седло — и тут же оказывается на земле. Тренер слышит, как Граведор сбросил Леньку, но он продолжает идти по полю спокойно, не оборачиваясь, будто ничего вовсе и не произошло.

Ленька снова вспрыгивает в седло, и снова Граведор, взбросив зад, скидывает седока на землю. И снова Ленька лезет на Граведора и снова оказывается на земле.

Тренер, на секунду задержавшись, стоит, словно раздумывая, как поступить, а потом, потрогав мизинцем пшеничную щеточку усов, возвращается обратно. Он идет неторопливо, вразвалочку. Он подходит к Леньке, красному от досады, берет у него из рук поводья, поворачивает с силой морду коня и, заглянув ему в глаза, спрашивает:

— Как же тебе не стыдно, Граведор? А? Зачем ты так ведешь себя? Нехорошо, малыш. Может, ты плохо себя чувствуешь? А?

Конь отворачивается и шумно вздыхает.

— Может, вызвать доктора? — продолжает допытываться тренер. — Ну-ка, покажи зубы!

Он осматривает зубы коня, смотрит каждое копыто, проверяет еще раз подпругу и, передав снова поводья Леньке, поворачивается и отходит к бревну.

И снова Ленька три раза подряд летит на землю. Тогда тренер подбегает к Граведору, распускает подпругу, берет в руки поводья и ведет его за собой. Все это он делает молча и вроде бы сердито. Он уводит коня в поле, там прогуливает его и все время о чем-то говорит с ним, заглядывая Граведору в глаза.

Ленька сидит со мной, чистит брюки, вымазанные желтой землей, и рассказывает:

— Он, видите, как их объезжает? И лупцует и по-всякому. А они все равно льнут к нему. Я лаской, сахаром, а они к нему тянутся.

...Через полчаса тренер приводит Граведора с поля и говорит Леньке:

— Ну, давай теперь!

Ленька чуть опасливо подходит к коню, стоит у стре-

мени в нерешительности, а потом махом взлетает в седло и, счастливый, смеется. А Граведор поглядывает на тренера и чуть шевелит ушами.

...Тренер сидит рядом со мной:

— Из парня выйдет толк. У него доброе сердце.

— Обязательно выйдет?

— Да, конечно. Он падает и не боится. А что еще лучше, не обижается на коня. Только мягок чрезмерно. Но ничего. Поумнеет. Он сейчас думает, что раз мягкий, значит, добрый. — Тренер хмыкает в усы. — Кстати, очень распространенная ошибка. Злые люди, между прочим, мягче добрых. Доброта, она больше суровости требует. Добрым быть трудно.

— Да, — соглашаюсь я, — добрым действительно быть очень трудно.

На середине поля Ленька сосредоточенно тренирует Граведора, а мой пшеничноусый сосед с квадратным красным лицом смотрит на них, улыбается и щурит глаза от яркого, веселого солнца.

В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ...

Посвящается Юрию Казакову

В Закопане я приехал поздней ночью. Шел снег, очень крупный, казавшийся от этого декоративным. Все вокруг: маленькие коттеджи, кафе у станции, возницы в шляпах, лошади, разряженные, как модницы, — все это тоже казалось декоративным, сделанным специально для тех, кто приезжает сюда кататься на лыжах.

С этим же последним поездом приехали спортсмены. Они сели в автобус своей базы и укатили в горы. Я остался один на гулкой привокзальной площади. Далеко внизу, в городе, тонко, по-ледяному звонили часы большой ратуши.

Я подошел к старику вознице и спросил:

— Вы отвезете меня в пансионат?

— Прошу пана. — Возница набросил на меня пахучую овечью полость, сел на облучок и, свесив ноги в белых фетровых бурках, попросил: — Пойдем, лошадь.

Лошадь пошла. Зазвенели бубенцы — так же ледяно, как и часы на ратуше.

— Пан хочет быстро ехать?

— Нет, если можно.

— Можно. Быстро ли, медленно — тариф один.

— Вы хорошо говорите по-русски.

— Я же старый поляк.

— Ну полно... Разве вы старый?

— Очень. Пан хочет разговаривать или лучше ехать молча?

— Как вам угодно.

— О, пан бардзо деликатный. Я, пожалуй, буду тихо петь.

Возница начал мурлыкать песню. Голос у него был хриплый и очень низкий.

Вокруг — высоко вверху и далеко-далеко внизу — пе-

ремигивались огоньки. По ним я угадывал очертания гор. Мне казалось, что я слышал, как за этими перемигиваниями далеких огоньков в горах пряталась музыка. Дорога была накатанной, сани шли легко. По-прежнему падал крупный снег. На ветвях лежали белые мягкие глыбы. Дорога змеилась вниз, среди огромных сугробов. Я подумал, что, хотя Новый год уже наступил, Дед Мороз с мешком, в котором спрятаны подарки, еще ходит где-то здесь и поет тихую песню, совсем как мой возница.

Я долго звонил в дверь, а потом было решил искать другой пансионат, но возница уже пел песню совсем далеко, и бубенцы звенели чуть слышно.

Я стоял на крыльце и слышал, как все вокруг спало... Даже снег кончился, будто устал и тоже уснул, сладко улегшись на землю. Выглянула луна, и сразу же стали видны горы вокруг. Они были очень высоки и зубчаты. Снег на горах отличался от снега в долине. Там он был словно электрическим, подсвеченным изнутри неживым синим светом.

— Кто есть?

— Откройте, пожалуйста.

Дверь открылась, и на меня пахнуло теплом, свежеиспеченным хлебом и чуть подгорелым кофе.

— Добрый вечер. Что пан хочет? — спросила женщина с седыми буклями.

— Мне нужна комната.

— Пан один?

— Да.

— Я покажу пану его апартамент.

Мы поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж. Женщина отворила маленькую дверь, и я вошел в крохотную комнату. Лунный свет делал ее голубой. Из окна были видны горы и небо.

— Если пан закаленный, то можно открыть форточку.

— Я открою.

— Прошу вниз через пять минут, на кофе.

Я ответил по-польски:

— Дзенькую бардзо, пани...

Женщина улыбнулась строгой учительской улыбкой, сделала книксен и вышла.

Я открыл окно и сразу же услыхал холодный перезвон часов на ратуше. Воздух в комнате стал голу-

бым. Нагретый за день горным солнцем, он хранил в себе запахи лета.

Огоньки в горах уже не перемигивались. Над Закопане лежала тишина, и только где-то далеко звенели бубенцы.

Когда я лег в холодную постель, то вдруг почувствовал себя так, как однажды дома. Я сидел ночью один и работал. А передо мной стоял черный телефонный аппарат. Я позвонил приятелю и спросил:

— Ты знаешь мой новый номер?

— Нет.

— Запиши.

Он записал.

— Пока, — сказал я и положил трубку.

А через минуту он позвонил мне и спросил:

— Добрый вечер, старина, как поживаешь?

— Спасибо. Уже лучше. А ты?

— А я, как всегда, хорошо. Спи.

Мне тогда стало спокойно и здорово после его звонка. А сейчас я лежал, смотрел на горы и пытался уснуть. В дверь тихо постучали.

— Доброй ночи, пан...

— Доброй ночи, пани, — ответил я, улыбнувшись, и сразу же уснул.

Конца нет, есть только начало. А начало всех начал — утро. А начало утра — солнце. Оно и разбудило меня — стремительное и яркое, резануло глаза отражением от зеркала, высветило красной гранью стакан с водой, стоявший на столике, и замерло в стекляшках люстры — в каждой своим особым цветом.

Солнце резвилось в моей комнате весело, как щенок. Я лежал и вспоминал варшавскую клинику. Там были новорожденные с пороком сердца. Матери смотрели на них с нежностью и спокойствием. А врач, который водил меня по палатам, тихо говорил:

— Видите во-он ту женщину? Ее сын умрет через пять дней. А эта девочка умрет, по-видимому, завтра вечером.

Когда мы пришли в его кабинет, он снял халат и сказал:

— Вот так-то, мой дорогой...

Я спросил:

— Это было всегда?

Он ответил:

— Да.

— И это всегда будет?

— Нет. Только до тех пор, пока в мире есть ужас. По-моему, болезни сердца проистекают от страха.

Канатная дорога вела в горы. В вагончик набилось человек сорок. Все были с лыжами, в толстых джемперах и шапочках с детскими помпончиками. Лица у людей были черные и обветренные от резкого зимнего загара.

— Вот здесь он прыгнул, — объяснил паренек своей подруге. — Они позвонили наверх, и эсэсовцы ждали его там. А он увидел их куртки. Он как раз в это время проезжал над ущельем. Видишь, тут ведь метров сто, не меньше. Он успел надеть лыжи и прыгнул с вагончика в ущелье, а там по склону ушел вниз. Они стреляли в него из автоматов, но он все равно ушел от них.

— Ты бы мог прыгнуть так же? — спросила девушка.

Парень еще раз взглянул на острые, бритвенные вершины, проплывавшие над нами, на крохотную полосу снега, которая шла между камней, на скалы, которые громоздились еще ниже неприступной стеной и которые ему наверняка пришлось бы огибать на всем ходу, и ответил:

— Помоги мне открыть дверь.

Глаза у девушки сделались испуганными.

Она сказала:

— Какой ты...

И положила свою руку на огромное плечо парня.

На самой вершине польских Татр работает обсерватория. Лыжники стоят под телескопами и прилаживают крепления. Ученые улыбаются им, а потом снова приникают к телескопам, чтобы смотреть на звезды, невидимые простым глазом. Один за другим лыжники съезжают вниз. Они космичны в своей скорости. Вот рядом был человек, мгновение — и нет его, только далеко внизу видна крохотная красная или голубая точка на ослепительном полотне снега.

Через пять минут на площадке у обсерватории уже никого не было. Ученые застыли около своих телескопов. Тишина. Только ветер иногда налетал порывами. Прозвенит, невидимый, и унесется дальше.

— Не хочет ли пан сфотографироваться?

Оборачиваюсь. Рядом со мной стоит высокий парень

в овчинном полушубке. На груди у него два аппарата. Рядом — огромный сенбернар.

— Я дам вам собаку и сфотографирую вас на память о Татрах. Собака — спасатель. Я тоже спасатель и еще немножко снимаю приезжих.

Парень кивает головой на медный колокол, укрепленный на вершине.

— Если будет буран и не все лыжники уйдут вниз, я буду звонить в колокол, чтобы они слышали звуки и шли ко мне. А пес будет бегать к ним и тащить их, если они устанут или перепугаются.

— Можно мне позвонить в колокол?

— Так ведь нет бурана...

— Я понимаю...

— О, ясно! Пан хочет испробовать, да? Пожалуйста, прошу бардзо, я не понял сначала. Только не очень громко, прошу вас.

— Хорошо, я тихонько.

Я подошел к колоколу и потянул за толстую просмоленную веревку, пахнувшую кораблем. «Дзин-н-нь», — поплыл над горами тяжелый, протяжный звук. Пес стал вырываться из рук хозяина.

— Это ничего, — сказал парень, — вы его не бойтесь.

И отпустил пса. Тот сначала завертелся на месте, а потом бросился вниз, следом за лыжниками. Белый, он исчез на снегу через минуту.

— Может, позвонить еще раз, чтобы он вернулся?

— Он тогда притащит сердитого лыжника, — усмехнулся парень. — Он ни за что не вернется один. Для нас бой колокола — просто сигнал, для него — труд. Сейчас я его верну.

Парень крикнул, прикрыв рот ладонями, как рупором:

— Джо! Э, Джо!

Пес вернулся так же быстро, как и исчез. Он посмотрел на парня большими грустными глазами и сел поскуливая.

— Все в порядке, — сказал парень. — Не волнуйся. Ты же видишь, бурана нет, мы просто шутили...

Парень дал псу кусок сахара и потрепал его по густой серой шерсти.

— Когда он отдохнет, вы можете позвонить в колокол еще раз.

— Нет, больше я не буду звонить в колокол.

— Я, пожалуй, сфотографирую вас на фоне колокола с псом в обнимку.

— Да?

— Да. С псом выходит очень героично. Это нравится паненкам.

— Давайте героично.

— А можно еще и лирично. Одна ваша лыжница говорила, что советский поэт писал стихи про собаку, которая дает лапу на дружбу.

— Это Есенин.

— Я забыл, она часто называла его имя, но я отчего-то забыл. А вообще очень хорошо, когда писатели пишут стихи про собак. Я снимал лирично — это когда пес дает лапу, а вы гладите его по голове.

— Нет, давайте лучше героично.

— Ладно. Э, Джо, иди до пана.

Пес подошел ко мне и ткнулся огромной мордой в грудь.

— Давай обнимемся, Джо, — сказал я.

Пес порывисто вздохнул, посмотрел на хозяина и сел. Я обнял его. Парень несколько раз щелкнул затвором фотоаппарата:

— Будет бардзо героично, пан! Оставьте адрес, я вышлю авиапочтой ваш портрет.

В Закопане есть еще одна дорога в горы. Только это не вагончик, который болтается над бездонными пропастями, а плавный фуникулер. Здесь, в фуникулере, нет таких сильных парней и девушек. Здесь все больше хрупкие женщины с маленькими детьми. Женщины поднимаются в горы с пледами и пляжными сумочками. Малыши одеты как настоящие лыжники. Они в толстых джемперах, в тонких брючках, туго обтягивающих ноги, и в грубых бутсах, точно таких, как у взрослых.

Наверху в шезлонгах, раздевшись, лежат родители. Они загорают. Ноги укутаны пледами, а носы прикрыты папиросной бумажкой.

Дети в это время стоят в загончике рядом с длинным, пожилым, очень сильным тренером. Он в легкой рубашке, шея бронзовая, литая, щеки прорезаны двумя продольными морщинами, глаза спрятаны под толстыми бровями, выгоревшими на солнце до седины.

Он подталкивает трехлетнего малыша, тот едет с пологой горки, стараясь во что бы то ни стало удержать равновесие и не упасть, его шатает из стороны в сто-

рону, скорость все прибавляется, мальчуган вот-вот шлепнется, а тренер негромко приговаривает:

— Смело! Смело! Смело!

Малыш все-таки падает. Тренер ждет, пока тот поднимется, по-дружески подмигивает своему ученику: с кем, мол, не бывает — и как заклинание повторяет снова:

— Смело, малыш, смело!

И снова мальчишка катится вниз, падает, поднимается, смотрит на тренера. Тот снова подмигивает ему и повторяет единственное свое: «Смело!»

А когда мальчишка съехал вниз и остановился, сияющий и гордый, тренер улыбнулся:

— Молодец!

Он отъехал к «медведю» — человеку, одетому в медвежью шкуру, с оскаленной пастью, с коричневыми стеклянными глазами, и попросил:

— У тебя остались еще леденцы, дай мне их, пожалуйста.

— Ты же знаешь, что я не могу без них.

— Я очень прошу тебя.

— Но тогда я закурю...

— Ничего с тобой не сделается. Потерпи, я привезу тебе леденцов через час.

— Хочешь угостить какую-нибудь пани?

— На этот раз пана.

«Медведь» долго залезал в карман, а потом, выпростав из-под желтых, скрюченных когтей загорелую руку, сказал:

— Вот...

Тренер вернулся на площадку, протянул леденцы мальчишке и сказал:

— На, держи.

— Спасибо.

— Ты хорошо ездишь, я доволен тобой.

— Я могу съехать еще раз.

— Знаю.

— Можно?

— Ступай.

И малыш, зажав в руке леденцы, ринулся вниз, вытянув вперед голову и отведя назад тоненькие птичьи плечики.

Потом съезжала девчушка лет пяти. Она упала и заплакала. Тренер подъехал к ней, протянул палку, девочка уцепилась за нее, поднялась и в слезах покатилась вниз, по-прежнему не выпуская из рук палку тренера.

Так они спустились вниз — бок о бок.

— Поедешь еще раз? — спросил тренер.

— С вами?

— Нет.

— Одна?

— Конечно.

Девочка зажмурилась и покачала головой.

— Боишься?

— Да.

— А чего ты боишься?

— Я боюсь снова упасть.

— Тебе было больно, когда ты упала?

Девочка пощупала коленку и улыбнулась сквозь слезы.

— Нет, — сказала она, — мне не было больно.

— Вот видишь...

Девочка оттолкнулась палками и покатилась вниз. Тренер закурил, бросил спичку и стал негромко приговаривать:

— Смело! Смело! Смело!

И мне вдруг очень захотелось, чтобы сквозь всю жизнь рядом со мной шел такой спокойный тренер и повторял свое слово. Оно очень нужно и старикам и детям.

...Вечер пришел в Закопане неожиданно и красиво. Солнце разбилось о трезубец гор, растеклось красной закатной полосой по вершинам, и небо сразу же сделалось пустым и безлюдным, словно эвакуированный город.

Солнце только-только погасло, а уже над ратушей повис желтый пятак луны. Замигали огоньки в горах, зазвенели бубенцы, и тишина стала близкой и всеобъемлющей. В холодных витринах стояли поджарые манекены, одетые в красные лыжные костюмы. Крыши домов казались обтянутыми тонким целлофаном: днем солнце плавит снег, а ночью подмораживает, затягивает хрупким ледком. Санная дорога светилась ослепительными стальными рельсами, выбитыми в снегу полозьями. Дорога уходила в горы. Там спал пес Джо, а его хозяин, наверное, сидел у печки и проявлял снимки — и лиричные и героичные, все подряд.

Мне отчего-то вспомнился краснолицый австриец, гонявшийся в Татрах за женщиной, которая любила кататься с гор в буран. Я вспоминал его и в Лаосе, и дома,

и сейчас здесь, в Польше. Я не знаю, отчего он так часто вспоминается мне теперь... Бог знает, отчего нам вспоминаются люди, промелькнувшие, казалось бы, бесследно...

В ресторане было душно и весело. Джаз играл песенку, а люди в джемперах и спортивных брюках танцевали и пели. Свободных столиков в зале не было. Я пошел к стойке и попросил коньяку. Бармен плеснул в пузатую темную рюмку немного коньяку, я погрел рюмку в ладонях и ощутил острый запах чернослива...

— Старый коньяк, — сказал бармен, — и очень крепкий. Хотите немного воды?

— Да. И лимон, пожалуйста.

— Боюсь, что лимон все испортит.

— Тогда не надо.

Бармен отошел, гремя деревянной ногой. Толстая певица, стриженная по-детски коротко, пела, закрыв глаза:

Счастлив ли ты,
Счастлива ли я,
Скажи мне,
Аве
Мария?!

Бармен заметил:

— Хорошая песня, а?

— Мне нравится.

За стойкой никого не было, потому что все ушли танцевать. Бармен присел на высокий стул, закурил и грустно сказал:

— Раньше я работал медведем.

— Как?

— Ну, понимаете, я ходил в медвежьей шкуре и звонил в колокольчик. Это приятно, когда по городу ходят ручные медведи и звенят в колокольчики, не так ли?

— Нравится детям...

— Почему только детям?

— Ну все-таки...

— О нет, поверьте мне, это нравится и взрослым тоже. Только дети более искренни в выражении чувств. Мне, например, хочется всерьез поиграть в прятки, да только детишки не берут из-за ноги, а взрослых никак не могу уговорить сыграть.

Он капнул себе немного вина, выпил, затушил сигарету и посмотрел на танцующих:

— Раньше я ненавидел тех, кто в смокингах. Знаете, капитализм и все такое прочее. А вон, видите, парень в смокинге?

— Да.

— Это мой ученик. Он теперь начальник спортивной школы в горах. Вы же понимаете, ему никак нельзя без смокинга, этому франту.

— Вы были лыжником?

— Я был чемпионом. И немножечко подрабатывал медведем, я говорил вам. А когда я уходил от эсэсовцев прямо из вагончика подвесной дороги, меня подстрелили. Ну а в отряде пришлось оттяпать ногу, потому что не было врача, а я шел с дырявой ногой километров сорок. Еще коньяку?

— Да.

В зал вошел высокий парень — спасатель с вершины. Он поцеловал бармена:

— Добрый вечер, пап. Ну, как ты?

— Я хорошо.

— В горах тихо, я решил спуститься к тебе на минутку.

— Спасибо. Хочешь выпить?

— Пожалуй, нет, мне ведь надо обратно. — Парень заметил меня и сказал: — О, пан, я проявил пленку, вы получились бардзо героичны.

Певица кончила петь:

Счастлив ли ты,
Счастлива ли я,
Скажи мне,
Аве
Мария?!

К стойке подошел парень в смокинге — начальник спортивной школы. Смокинг сидел на нем как на министре. Тугой воротничок врезался в бронзовую шею. Туфли его были вызывающе остроносы. Спасатель легонько наступил ему на ногу своей громадной бутсой и подмигнул:

— У тебя ничего девушка, а?

— Будь спокоен.

— Я завидую.

— Это черное чувство абсолютно чуждо духу нашей молодежи.

— И тем не менее.

— Но, но! Тише на спуске! Не стреляй в нее глазами.

— Она придет ко мне на вершину.

— Тогда ты съедешь оттуда на заднице вместе с Джо.

— Ого!

— Да, да! Пан Юзеф, дайте шоколадку для моей дамы.

Бармен протянул начальнику школы шоколадку, потрепал его по щеке и сказал:

— Смело, сынок, смело.

Моя хозяйка угостила меня кофе и пожелала спокойной ночи. Я лег в ледяную кровать. На ратуше били часы. В комнате плавал голубой свет луны. Небо было чистое, подрезанное белыми хрупкими вершинами гор. Под окном проехал возница, и еще долго в воздухе висел тугой перезвон бубенцов. Я вспомнил бармена. Когда я уходил, он сказал:

— Э, сынок... Не надо никогда ничего рассусоливать. Пойми: жизнь все равно должна быть радостью...

НА «КОЗЛЕ» ЗА ВОЛКОМ

Дом творчества стоял на берегу моря.

Солнце по утрам было осторожным и дымным и казалось рисованным размытой сиреневой гуашью. Днем оно становилось белым, раскаленно-жарким, а к пяти часам снова менялось — делалось маленьким, синим и холодным.

Так всегда бывает с солнцем в ноябре на море, если только не зарядит дождь.

Рано утром, когда во влажном, туманном еще воздухе начинали грохотать чересчур веселые для ноября слова спортивных песен — это культурники будили отдыхающих в соседних санаториях, — обитатели Дома творчества спускались на каменистый пляж и начинали делать странные и осторожные движения, долженствующие, видимо, изображать гимнастику.

Степанов тоже старательно делал гимнастику, но все время ловил себя на мысли, что в этом есть нечто противоестественное. Творец, думал он, не должен с такой тщательностью делать зарядку, он не должен так целенаправленно заботиться о дневной трудоспособности — она обязана быть в нем все время, как болезнь или влюбленность.

В то утро Степанов спустился на пляж последним. Рядом с писателями, которые сосредоточенно делали гимнастику, сидел заспанный парнишка в рваных джинсах и серой рубашке, подвязанной на худом, синем от загара животе крепким морским узлом. Парнишка зябко поеживался и растирал короткими сильными пальцами острые костяшки плеч, наблюдая за тем, как с востока по синесерому, туманному, пепельному морю медленно плыл грязный рыбацкий катерок. Оттого что катерок плыл по такому сиреневому и осторожному морю, и потому еще, что за ним летело множество белых чаек, этот грязный баркас казался ослепительно чистым, гриновским...

«Если бы оказаться на этом пляже одному, — подумал Степанов, — и долго смотреть на катерок, прищурившись, *то наверняка стали бы заметны алые паруса...*»

Сухо и четко трещал моторчик, пронзительно кричали белые чайки, падали к морю, хватали рыбу, взвивались с добычей в небо, и парнишка вдруг улыбнулся, сбросил рубашку и джинсы и пошел к морю, и не стал осторожно обрызгивать холодной водой голову и грудь, а сразу бросился в зеленую воду и поплыл саженками наперерез катерку, и что-то закричал рыбакам, которые сидели на корме недвижно, словно хорошо смонтированная скульптурная группа, и вокруг него тоже начали метаться чайки, и Степанов вдруг ощутил острый и мучительный приступ тоски. Он подумал тогда, что эта тоска и зависть, с какой он смотрел со своего лечебного пляжа на паренька, уплывавшего в холодное море, навстречу голубому, сказочному катерку, и есть начало старости...

...Степанов посмотрел на ноги.

Унты заледенели.

Мороз был сорок три градуса по Цельсию...

Да, мороз был сорок три градуса. А может, и больше. Они выехали в Гоби с Ванганом, с его монгольским другом — маленьким, громадноглазым, сильным и веселым Ванганом.

Ванган веселился:

— На «козле» за волком! Это прекрасно! Ты никогда не забудешь этого, никогда! Гнать на «козле» по пустыне Гоби, искать волков, которые режут отары, настигнуть их и убить — разве такое можно забыть?!

«Козел» гнал по Гоби, и жестяные от мороза травы звонко хлестали по бокам машины. Солнце было маленьким и рыхлым. Небо пламенело, — багровое, разбавленное синим.

Пятьсот километров на юг, две тысячи на восток и на запад, пятьсот на север — Гоби; высокие, жестяные, убитые морозом травы; отары овец; двести волков, которые появились здесь как бедствие, и семь «козлов» с охотниками, вызванные из Улан-Батора, чтобы спасти овец: волки, особенно в сильные морозы, режут по сотне овец в день.

— Сейчас свернем с проселка, — сказал Ванган, — и это будет как в Арктике. И давай помолчим — сейчас надо смотреть в оба.

Степанов обернулся — травы, сломанные морозом, тем не менее смыкались за машиной, словно камыши на осеннем болоте, во время первой, теплой еще зорьки.

— Все-таки это, наверное, плохо — бить волков с «козла», — сказал молоденький шофер Мунко. — Неравные шансы.

— А разве у овцы равные шансы с волком?

— Это другое дело, — ответил Мунко.

— Я слушаю вас, — сказал Степанов, — и сразу же вспоминаю Михайлыча.

— Кто такой? — спросил Ванган.

— Это старик. Он жил в тайге под Уссурийском. Я у него часто гостил. Он был охотником, настоящим, как Дерсу Узала... Он уходил в тайгу на неделю и приносил кабана. А мы приехали с приятелем, и мой приятель организовал охоту загоном, и мы взяли трех кабанов в день, и Михайлыч даже заплакал от обиды. «Я, — говорил он, — в кавалерии служил, так на́ тебе — порешили кавалерию... В механизированные части предложили перевестись, после кавалерии-то — и мехчасти?! Отказался... Ушел я в тайгу, спокойно жил, красиво охотился. А вы, оказывается, без игры кабана берете, без таинственности, как врага какого... Будто война у вас, а не радость охоты...»

— Вот-вот! — обрадовался Мунко. — И я об этом же!

Ванган ничего не ответил. Он сидел, ухватившись маленькими крепкими пальцами за металлическую «держалку», вмонтированную в щиток машины, чтобы не разбить голову о стальные перекрытия кузова.

Степанов закурил, подул на пальцы. Несмотря на то что Мунко включил печку, в машине все равно было холодно, пронзительно холодно.

Степанов вспомнил майора авиации, с которым они ушли в приморскую тайгу. Это было в другой его прилет на Дальний Восток, уже после смерти старика Михайлыча. Майора звали Иваном Павловичем, был он кряжист, словно бы сделан «поперек», сентиментален (плакал, когда говорил о Черном море и о первой своей девушке со странным именем Федора) и хвастлив.

— Ты не будешь стрелять, — восторженно дышал он в лицо Степанова, — ты заколешь кабана клинком! Я выгоню его на тебя, точно в твой номер!

Степанов простоял на «номере» весь день, но Иван Павлович так на него кабана и не выгнал. Медведей и кабанов спугнул тигр, — он прошел утром по этим

местам, Степанов видел его осторожные, мягкие следы. Когда проходит тигр, все остальные звери снимаются со своих мест и уходят. Степанов поразился тогда, читая следы зверей в урочище. Тигр шел мягко, медленно, следы его были царственно-торжественными, а все остальные звери — даже медведи — улепетывали, взрыхляя снег, и было заметно, как они испугались, забыв о достоинстве, — лапы ставили косо, кое-где скатывались по хребтинам, только бы поскорее убежать отсюда.

Иван Павлович появился возле Степанова уже ночью, весь мокрый, несмотря на мороз. Он сбросил с плеча вещмешок, набитый мясом.

— За полста километров ходил, — сказал он, — к знакомым охотникам. Как понял, что тигр всех распугал, так и попер через сопки, — не возвращаться же тебе во Владивосток без трофеев.

Те десять часов, что Степанов по пояс в снегу стоял в незнакомой тайге, его душил гнев. «Ты заколешь кабана клинком!» Какой, к черту, клинок, тут бы не замерзнуть! Он мысленно материл Ивана Павловича самыми изумительными ругательствами и мечтал только об одном: сказать ему все это в лицо.

Но когда он понял, что майор гнал через сопки, по снегу, за полсотни километров только для того, чтобы принести Степанову «трофей», ему стало стыдно: и своего гнева, и тех оскорбительных слов, которые он так тщательно подобрал для Ивана Павловича, пока ждал его, и он еще раз понял, как может быть несправедлив и жесток к малознакомому человеку, а ведь мир-то состоит из малознакомых и легкоранимых людей...

— Вон стадо дзейрин, — сказал Ванган.

— Где? — спросили Мунко и Степанов одновременно.

— Под холмом. Сейчас они побегут. Они заметят нас и побегут.

Степанов увидел дзейрин в тот момент, когда Мунко развернул машину. Он увидел громадные, синие, круглые, как у больных женщин, глаза оленей.

— Мы убивали их по ночам, — сказал Ванган скрипучим голосом. — Подгоняли грузовик, включали фары и выбирали самых жирных. Они ведь не могут двигаться, когда их слепишь фарами... Что ж ты молчишь, Мунко? Тоже ведь несправедливость... А чем нам было кормить раненых? Они поступали с фронта, из-под Ленинграда — живые скелеты... Жестокость всегда рождает жестокость...

Волка они увидали только через три часа. Они забрались на сопку, и Ванган вылез из машины (Степанов заметил, что он даже не переобулся — ехал в ботинках, таких же маленьких, как у Саньки Беляева, и таких же беззащитных на этом стылом, дымном морозе). Он достал из машины старенький портфель (с такими портфелями ходят на заседания в домоуправление по поводу озеленения детских площадок, а не охотятся на волков в ледяной безмолвной пустыне Гоби). Из портфеля он вытащил бинокль (такие бинокли держат на груди артиллерийские командиры во время смертельного боя) и начал медленно осматривать пустыню.

Ах, как прекрасна была пустыня Гоби!.. Впрочем, отчего «пустыня»?! Мороз, видимо, ударил внезапно, потому что сохранились все цвета осени: травы были синие, красные, розовые, ярко-желтые...

Ванган перевязал бинокль носовым платком, одной рукой вжал окуляры в надбровья, а другой натянул носовой платок к груди, образовав подобие секстана.

— Так устойчиво, — пояснил он, — словно смотришь во фронтовую стереотрубу.

Он двигал бинокль очень медленно, по сантиметрам. Вернее даже, он двигался сам — одним лишь корпусом, словно собираясь упасть на бок. Бинокль стал составной частью его тела, влился в его надбровья, став вторым зрением.

— Вот он, — сказал наконец Ванган.

— Где?

— На, смотри.

Степанов приладил бинокль так же, как это делал Ванган, но сколько ни смотрел на прекрасную, цветную, неподвижную пустыню, так ничего и не смог увидеть.

— Не огорчайся, — сказал Ванган, — это только сначала. Едем. Волк стоит недалеко, километрах в четырех, около холма.

Когда они подъехали к холму, Степанов все равно не увидел волка, он увидел только, как в травах, метрах в пятистах перед машиной, зазмеился коридор, и успел поразиться тому, с какой скоростью этот коридор удлинялся.

— Ну, Мунко, давай! — сказал Ванган. — Мы нашли хорошего волка. Видишь, как он несется? — обернулся Ванган к Степанову. — Видимо, он из их разведки. Стая всегда посылает в разведку самых быстрых. Они по-

чуяли дзейрин и послали разведчика. А теперь он наведет нас на стаю.

— Хорошо бежит, — сказал Степанов.

— Тебе его жаль? — спросил Ванган, и Степанов заметил, как замерли его скулы. — Тебя можно понять, ты никогда не видел зарезанных овец. Думаешь, я вставил железо в рот для того, чтобы казаться сильным?! Волки зарезали наших овец, и мы остались без мяса. Сестры от цинги умерли, а я, видишь, с тех пор живу за «железным занавесом»... Можно было, конечно, зарезать тогда коня, но отец берег коней, чтобы продать весной и собрать денег на мою учебу... И потом, за коней не так страшно... Знаешь, как кони отбиваются от волков? Вообще-то волки боятся коней. Они норовят зарезать жеребят, эти разбойники. У коней в табуне есть вожак, он должен первым услышать волков... У коней ведь нет разведчиков, они слишком сильны и доверчивы, чтобы иметь разведчиков. Вожак табуна, почуяв волков, должен «устроить круг»: собрать жеребят в центр и окружить их взрослыми конями — бок к боку, голова к голове. Кони лягаются задними ногами и бьют волков насмерть, и тут важно, кто дольше продержится...

— Это верно, — сказал Мунко. — Я все знаю про коней. Умей я сочинять, как Ванган, обязательно бы написал книгу про коней — и про то, как они любят жеребят, и про то, как понимают людей, и про то, как умеют ночью слышать утро.

Степанов и Ванган переглянулись.

— Каждый человек — это мир? — спросил Ванган. — Ты об этом сейчас подумал?

— Да, — ответил Степанов, — я подумал об этом.

— Мы живем в мире не реализовавших себя миров... Даже порой страшно, как много вокруг нас лежит втуне, нетронутое и неоткрытое... Я, например, только сейчас почувствовал в себе тягу к математике. Я не думаю, чтобы жизнь убила во мне дар, если он был заложен... Но у нас же так много времени впереди, мы все такие неторопливые...

Волк резко сменил направление, и Мунко так же резко вывернул руль «козла».

— Кони, — пояснил он, — тоже умеют ломать направление, не меняя скорости...

Ванган достал из-под ног карабин.

— Сейчас он появится, — сказал Ванган шоферу. — Ты выгнал его на холм, а волки уже ушли, они его не

стали дожидаться. Он испугался, он их ищет, он сейчас начнет делать глупости. И мы его убьем.

Ванган сделал пять выстрелов — один за другим — и промахнулся.

— Я слишком его ненавижу, — сказал он. — На-ка попробуй теперь ты.

— Прицел плохой, — сказал Степанов. — Ты все время «высил».

Целиться было трудно, мешала открытая дверь, бившая по пальцам, и ледяной ветер застил глаза слезами, и мешало постоянное ожидание удара — машина то и дело налетала на невидимые кочки, трясло, как в маленьком самолете, попавшем в грозовой фронт...

Степанов убил волка вторым патроном. После первого выстрела волк обернулся, пасть его ощерилась, шерсть встала дыбом, а в мутно-красных, словно с перепоя, глазах застыла тоскливая ненависть. То, что волк обернулся, словно бы грозя преследователям, помогло Степанову сделать хороший выстрел. Волк перекувыркнулся через голову и вытянулся, задрожав мощными задними лапами...

Это случилось уже под вечер, когда Ванган взял еще двух волков. Машину резко бросило на бугорке, и мотор, захлебнувшись, заглох, и стало так тихо, что было слышно, как, потрескивая, тлела сигаретка, зажатая в углу резко очерченного вангановского рта.

Словно поняв то, что сейчас чувствует Степанов, Ванган сказал:

— Я сушу сигареты на радиаторах отопления. Открываю пачку, снимаю «серебро» и кладу на батарею в кухне — там самая горячая.

— Мы тоже называли «серебром» сигаретную бумажку.

— Так ее, наверное, все называют в детстве.

— Ты когда начал курить?

— Во время голода. Когда была война. А ты?

— Тогда же.

— Мунко, — спросил Ванган, откашлявшись, — у тебя в радиаторе антифриз?

— Вода.

— Почему?

— Старые шоферы говорят, что антифриз разъедает патрубки.

— Мало ли что говорят старые люди... Сколько времени будет замерзать вода в радиаторе?

Мунко открыл дверь «козла», послюнил палец, поднял его над крышей.

— Минут за тридцать вода станет льдом, — сказал он улыбчиво.

— А что у нас случилось с мотором?

— Не знаю... Думаю — полетел карбюратор. У меня плохая прокладка.

— Думать ты будешь после, сначала посмотри, что у нас с мотором. Сколько времени тебе нужно на ремонт карбюратора?

— Полчаса.

— Значит, вода не успеет замерзнуть?

— Не должна, — бодро ответил Мунко.

Ванган раскрыл карту (карта была старая, как у военных, и Степанов снова подивился несоответствию гражданского задрипанного портфеля и аккуратно сложенной военной карты).

— До ближайшей юрты, — задумчиво сказал Ванган, — километров сорок...

— Почему ты об этом?

— Наш парень слишком веселый человек...

— Ну и что?

— Я не верю слишком веселым людям... Машина может замерзнуть...

— Дойдем до юрты?

— Через час наступит ночь...

— Костер?

— Смысл? Да и не из чего. Трава прогорает, как порох.

Мунко заглянул в кабину, по-прежнему улыбаясь.

— Точно, — сказал он, — полетела прокладка. Как я и думал.

— Ставь запасную.

— А у меня нет.

Тепло от печки исчезло за минуту. Степанов поразился тому, как быстро побежала стужа. Стекла покрылись плюшевым инеем от их дыхания, — единственным символом тепла сейчас было дыхание.

— Нож у тебя есть? — спросил Степанов, чувствуя, как холод начал медленно заползать под меховую куртку, леденяще прикасаясь к коже.

— Нож есть у каждого монгола, — ответил Мунко и полез за пазуху. Улыбка сошла с его лица, когда он

кончил шарить по всем карманам, — ножа у него не было.

— На, — сказал Ванган, достав из портфеля острый, как бритва, кинжал (он очень красиво резал им вареное мясо). — Зачем он тебе? Кажется, не в обычае русских делать харакири?

— Нам придется сделать харакири, если ты откажешься пожертвовать своим портфелем.

— Ты думаешь, кожа портфеля заменит прокладку?

— Хоть доберемся до какой-нибудь дороги.

— Какой-нибудь! — усмехнулся Ванган. — Здесь только одна дорога — та, с которой мы свернули утром... Она в пятидесяти километрах отсюда. А от дороги до города — еще пятьдесят. А машины по ней кончают ходить в пять часов из-за этих морозов.

Ванган снял варежки и начал дуть на пальцы. Они стали желто-синими, как у покойника.

Степанов вырезал прокладку — по форме той разорванной, которую снял с карбюратора Мунко. Ванган, наблюдая за работой, продолжал дуть на коченеющие пальцы. Раза два он посмотрел на часы.

«Нам отпущено полчаса, от силы минут сорок... А уже прошло, наверное, минут пять, — подумал Степанов. — Или семь».

— Восемь,— заметив его взгляд, сказал Ванган.

Степанов вспомнил, как однажды в Арктике их маленький «Антон», поднявшись со льдины, попал в туман. Летчик Коля Николашкин развернулся, чтобы посадить самолет, но льдину, с которой они только что взлетели, порвало трещиной. Запаса горючего было на триста километров, все соседние льдины — в тумане, до большого аэродрома на земле — пять тысяч верст.

Они были обречены, но ревел мотор, в кабине было тепло, работали датчики, по радио можно было поймать музыку с Аляски, и то, что неминуемо должно наступить через час с небольшим, когда мотор сожрет бензин и самолет врежется в торосы, скрытые туманом, казалось чем-то невозможным и диким: ведь люди семидесятых годов так привыкли к могуществу подвластной им техники!

Степанов только потом понял — уже когда Коля Николашкин за пять минут перед тем, как должен был кончиться бензин, чудом посадив самолет, сделался белым, словно полотно, — как близок был к тому, чтобы исчезнуть, унеся с собой все то, что был обязан отдать...

И сейчас, когда холод с каждой минутой становился все более близким, когда пальцы задеревенели и дышать было трудно, а до дороги всего пятьдесят километров, которые никак не одолеть по такой стуже, ощущение безысходности возникло в Степанове внезапно — как гнев. Но сейчас не было Коли Николашкина, на которого можно надеяться, — «он умеет, он посадит самолет вслепую», — не было комиссара охраны Ситонга, который знает все тропы Патет-Лао, — «он успеет увести от диверсантов, которых забросили с вертолетов из Сайгона», — был только ты сам, Ванган, Мунко и мороз пятьдесят градусов.

Чем дольше он жил, тем осознаннее боялся смерти, но не потому только, что факт распада материи, организованной в субстанцию Дмитрия Степанова, страшил его своей алогичностью и произволом, — нет. Он боялся не успеть сделать то, что считал своим долгом сделать.

Когда он болел, Надя говорила:

— Ты, как все мужчины, не умеешь переносить боль.

А он умел, как все мужчины, переносить боль, просто он злился, что может не успеть. Не успеть — это и есть ощущение собственного бессилия, а его-то мужчины и боятся больше всего.

Мунко влез в мотор с головой. Он копошился там, тихонько чертыхаясь. Голос его сейчас показался Степанову совсем еще детским.

«Интересно, сколько ему? — подумал Степанов. — Видимо, не больше двадцати пяти. Наверное, он пока еще не понял, что случилось... В молодости мы не так остро реагируем на опасность... Проклятие жизненного опыта... Хорошая, конечно, штука, но она, как компас, указывает только один путь — самый верный и короткий. А может быть, счастье-то ждало каждого из нас на длинной дороге, на той, которую мы не избрали: жизненный опыт подсказал, что это неверно, ненадежно, неудобно...»

(А кто сказал, что счастье — «удобно»?! Удобными обязаны быть стульчак в сортире и газовая плита...)

— Ну? — спросил Ванган. — Как?

Мунко, перестав чертыхаться, ответил:

— Пальцы что-то не двигаются.

— Давай я погрею твои пальцы.

Мунко с готовностью вылез из мотора и спрыгнул

на землю; Степанову показалось, что все окрест зазвенело.

«Наверное, этот звон получился оттого, что земля слишком промерзла, — подумал он. — Довольно занятная разница между гибелью от жары в Сахаре и замерзанием здесь. Там нет звуков, там все приглушено зноем. Впрочем, там я не погибал. Мне только казалось, что я погибаю от жары, но между гибелью и тем, что нам представляется гибелью, — пропасть. Только страх может сделать кажущуюся гибель настоящей... Интересно, Мунко бросил мотор потому, что замерзли пальцы, легко бросил... Наверное, ни Ванган, ни я не бросили бы мотор, потому что мы умеем считать время, которое нам отпущено...»

Ванган взял пальцы Мунко в свои квадратные ладони и начал с силой растирать их.

— Очень больно, — слабо улыбнувшись, сказал Мунко.

— Ты умеешь мастерить? — спросил Ванган Степанова. — Может, поделаешь что-нибудь с карбюратором, пока я тру ему пальцы?

— Я только умею крутить баранку.

Ванган хмыкнул.

— Ты хотел сказать, что и дурак умеет крутить баранку? — спросил Степанов.

— Именно.

— Что же не сказал?

— Ты гость.

— Разве гость не может быть дураком?

— Никогда. Во всех случаях дурак — хозяин. Умный никогда не пригласит дурака в гости.

Мунко сказал:

— Кажется, пальцы отошли.

— Тогда продолжай. А я пока нарву травы и сделаю несколько маленьких пучков, я буду греть тебе руки огнем.

Ванган начал рвать траву, поглядывая при этом на часы.

«Сколько раз такое уже случалось, — подумал Степанов. — Ничего, и на этот раз все обойдется. «В степи глухой замерзал ямщик» — сюжет для девятнадцатого века... Впрочем, раньше обходилось потому, что Хуан хорошо знал время, когда американцы начинали бомбить пе-

реправы на тропе Хо Ши Мина, а тот португалец, который полез со стилетом ночью, в Бейруте, был пьян и поскользнулся на арбузной корке, — иначе он бы вогнал сине-белую сталь под мою лопатку... Каждый раз, когда я попадал в передряги, меня выручало стечение случайностей, но они были слишком уж закономерными, эти случайности... Если бы я знал время бомбежки, если бы я гнал полуторку в сорок втором году (я тогда просто-напросто обделался от страха), если бы я выскочил из-под машины с потушенными фарами в Панаме, а не меня вытащил за руку друг в самый последний миг... А сейчас я один на один со стихией, а она — вне случая, она избыточно закономерна. Или уж так случайна, что никакой закономерностью ее не перешибешь... Все равно, не может быть, — упрямо подумал Степанов и поймал себя на мысли, что он надеется на что-то стороннее — на людей, которые их найдут, на Мунко, который все-таки починит карбюратор, на внезапное потепление, на вертолет с врачом или геологами, который случайно пролетит над ними. Нет, так не годится. Надо что-то делать самим. Идти, идти, пока можно идти. Иначе слишком уж гадостно будет замерзать...»

— Сколько? — спросил Степанов.
— Двадцать пять минут.
— Прошло или осталось?
— Разницы нет...
— Тише ты...
— Он не слышит...

Степанов плюнул — слюна упала к унтам ледышкой. Он отвернул крышку радиатора и опустил палец в воду. Вода была ледяной. Степанову показалось даже, что ее не было вовсе, из-за того что разницы между водой и воздухом не ощущалось.

— Глупо, — сказал Ванган, — все это до смешного глупо.

— Глупо, что не успеешь? — спросил Степанов. — Ты об этом думаешь?

— Нам с тобой можно выступать в цирке — отгадывание мыслей на расстоянии...

— Ты бы что хотел успеть?

— Записать сюжеты... У меня их сотни... Это все ложь, когда говорят, что в драматургии всего сорок семь сюжетов.

— У тебя ноги очень замерзли?

— Теперь уже легче. Я их не чувствую.

— Сними ботинки, я разотру ступни.

Ванган вдруг жестко усмехнулся:

— Зачем? Все решат эти двадцать пять минут. Если он успеет сменить за двадцать минут прокладку, и с этой, портфельной, карбюратор заработает, тогда ноги отойдут — печка в «козле» хорошая... А если он провозится еще час, вода в радиаторе станет льдом и мотор не заведется...

— Пойдем к дороге...

— Это хорошо для положительного героя из книг социалистического реализма, — озлился Ванган. «Идти, сколько можешь...» Здесь некуда идти. Идти, чтобы идти? Глупо.

— Сейчас я тебе скажу то, что только вчера придумал... Жаль, если это пропадет. Я знаешь что придумал вчера? Проверка человеческих отношений обязана быть действенной, а не словесной. Слова и есть слова. Между прочим, это понял наш с тобой коллега. Он был то ли актером в Лондоне, то ли герцогом... А поняв это, стал Шекспиром. У него герои не говорят. Они или делят царства между детьми, или проводят полицейское расследование, как Гамлет, или укрощают жену — не словами, как все мы, а действием... Это я про Строптивую, а не про Дездемону, не думай...

— Почему ты сказал: «Жаль, если пропадет»? Если мы не заведемся — пропадет... Не станешь же ты это сейчас записывать? Да и бумаги нет...

— Бумага-то есть, только пальцы не двигаются. Нет, я не про это... Я верю, что слово, сказанное вслух, не пропадет. Слово — эта форма проявления энергии, а энергия не исчезает. Я убежден, что люди скоро сделают аппарат, который будет записывать речи Цицерона и незаписанные экспромты Пушкина...

— Черт, — выругался Мунко, — вот черт...

— Что такое? — спросил Ванган и снова взглянул на часы.

— Я уронил винтик.

— А без этого винтика нельзя?

— Нельзя. В карбюратор будет засасывать воздух.

— Куда ты его уронил?

— Я ищу... Хорошо, если в мотор... Только мне кажется, что винтик упал в траву.

— Давай отодвинем машину, — предложил Степанов. — Попробуем поискать в траве.

— В траве ничего не найдешь, — сказал Ванган, — это пустое дело. Может, у тебя есть запасной винтик, Мунко?

— У меня нет запасного винтика. Теперь-то я всегда буду возить с собой большой запас — и винтиков, и прокладок.

Ванган и Степанов переглянулись.

— Ладно, — сказал Ванган, — давай толкать машину.

— Знаешь, — предложил Степанов, — давай зажжем траву, тогда будет легче искать.

— Наоборот.

— Не надо ничего искать! — крикнул Мунко. — Винтик закатился в мою варежку! Это я со страху стал таким рассеянным.

— Пальцы очень замерзли? — спросил Ванган.

— Очень, — ответил Мунко. — Только греть их нельзя, времени в обрез.

— Нет уж, давай я их тебе погрею, а то ты и впрямь потеряешь винтик. Знаем мы, каково это — терять винтики...

Ванган начал растирать белые пальцы Мунко, а Степанов отошел в сторону и помочился. Ему не очень-то и хотелось мочиться, но было любопытно — замерзнет ли моча, как слюна, в воздухе.

Замерзла моча все-таки на земле.

— Слушай, Ванган, — сказал Степанов, — можно было бы устроить прекрасный зимний аттракцион: пускать во время морозов воду из брандспойтов, чтобы она падала в снег ледышками. Представляешь, как это было бы красиво, особенно в солнечные дни?

— Внеси предложение, — усмехнулся Ванган, — может быть, его зачтут за рационализаторское. Аттракцион имени товарища Степанова, лучшего друга детворы...

— Что нужно делать, Мунко? — спросил Степанов. — Ты объясни. Может, пока тебе греют руки, я что-нибудь буду заворачивать? Это я умею.

Ванган снова посмотрел на часы, и Степанов только теперь заметил, что глаза у него стали белыми из-за того, что ресницы покрылись жестким, хотя по виду и пушистым, инеем.

— Не надо ничего крутить, — сказал Мунко, я сейчас сам докручу.

Степанов отвернул крышку радиатора. Вода покрылась тоненькой корочкой льда.

Небо становилось сиреневым. Рядом с тусклым, свекольным солнцем зажглись две летние, яркие звезды. А чуть поодаль угадывалась молодая луна — она смотрелась словно сквозь папиросную бумагу.

— Мы все разгильдяи, — сказал Ванган. — Знаешь, о чем я часто думаю? Я думаю вот о чем...

— У меня уже согрелись пальцы, — сказал Мунко, но он сказал слишком очевидную неправду, чтобы отвечать за нее, и Ванган продолжал растирать ему руки. Мунко сказал ложь таким же бодрым, чересчур спокойным голосом, каким говорили сейчас и Ванган и Степанов.

«Дети всегда поначалу копируют интонацию и манеру разговора взрослых, — подумал Степанов. — Мысли они, к счастью, копировать не могут — жизнь вносит свои коррективы...»

— Я вот о чем думаю, — продолжал Ванган. — В мире каждый день кто-то сочиняет хотя бы один новый анекдот. Анекдот живет месяц, в провинции — полгода. А потом умирает. А ведь каждый анекдот — это сюжет для романа. Или тема для докторской диссертации какого-нибудь будущего историка. Анекдот — это наскальная живопись двадцатого века. При отсутствии свободы в наших с тобой странах идею надо успеть выразить в пяти фразах, — а то посадят и сгноят идею... или расстреляют ее... А ведь ни одного сборника анекдотов эпохи «развитого социализма» нет... Ни одного! Я обязательно стал бы записывать анекдоты... Если выберемся отсюда, клянусь честью — составлю книжку анекдотов... Говорят: «Не надо торопиться». Особенно этим заклинанием славятся критики. Они, дураки, Пушкина цитируют, а уж он-то всегда торопился. Истинного художника постоянно преследует размышление о смерти — только поэтому он понимает жизнь... Надо всегда торопиться, — потом станет ясным, где зазря поторопился, а где преступно медлил. Все надо отдавать, все Люди разберутся потом, что им пригодится, а что нет... Мы медлим из-за комплекса и тщеславия. Хотим создать бессмертное. На века. Не нам это определять, а векам.

— У меня согрелись пальцы, — сказал Мунко, — я уже чувствую, как они болят. Только ног я теперь не

чувствую... И внутри — раньше все тряслось от холода, а сейчас замерзло...

Солнце растворилось в багровой синеве неба. Исчезла та папиросная бумага, которая скрывала луну. Луна теперь стала близкой. Небо вокруг нее было прозрачно-синим, а потом возникал радужный дрожащий ореол, цветом похожий на грязный весенний снег.

— Может, разложим под радиатором костер из травы? — предложил Ванган.

— Ты же говорил, что она прогорает, как порох, — сказал Степанов, ощущая в себе тишину и усталость. Холода уже не было, он не воспринимался так обжигающе и сухо, как раньше.

— Надо что-то делать... Самое противное — это когда ты бессилен.

— Растереть тебе ноги?

— Наверное, поздно. Они совсем деревянные.

— Почему ты не надел унты?

— А почему Мунко не взял прокладку? Почему мы поехали именно сюда бить волков? Почему ты прилетел в Монголию? Почему я встретил тебя?

— Ты хотел сказать — случайности логичны?

— Я хотел сказать, что если каждый из нас запрограммирован в генетическом коде, то, значит, должна существовать и такая программа, которая определяет пересечения миллионов разностей, обитающих на земле.

— А это, случаем, не мракобесие? — спросил Степанов и понял, что хотел улыбнуться своему вопросу, но не смог, потому что мышцы лица уже не подчинялись ему...

— Мракобесие — это когда не дано понять, но есть сила сжечь то, что непонятно.

— У тебя глаза совсем белые...

— У тебя тоже. Ты, между прочим, почаще их закрывай. Говорят, если обморозишь белки, никакие врачи не помогут.

— Слушай, а если мы подожжем сиденье «газика»? Обольем бензином и подожжем. Это ведь видно издалека.

— Нас начнут искать часа через три. Сейчас люди только возвращаются с охоты.

— Давай прыгать.

— Я уже не могу.

— Надо заставить себя.

— Чудак, пятьдесят градусов — это переохлаждение

организма. В двадцать градусов можно согреться, если прыгать или бегать. А сейчас пятьдесят.

— Тогда надо идти. Ты сможешь найти путь к проселку?

— Ты же видел, как трава сходится за машиной. Как на болоте ранней осенью, когда еще тепло.

«Это я так думал, — вдруг вспомнил Степанов. Я думал точно такими же словами, как сейчас сказал Ванган. Наверное, в большинстве своем все люди думают одинаково. Только говорят по-разному. В мыслях человек лжет реже. Мысль — честнее слова, произнесенного вслух. А слово, записанное пером, не похоже на слово произнесенное, а еще больше оно не похоже на мысль, родившую его».

Мунко соскочил с буфера и начал кататься по земле, ударяя себя локтями по бокам что было сил.

— Все! — крикнул он. — Степанов, поверни ключ, а я пока погреюсь.

— Если заведется, — сказал Ванган, — я обязательно соберу томик всех анекдотов, какие только знаю.

— И я тебе пришлю из Москвы штук пятьсот новых.

— На границе арестуют...

Ключ показался Степанову теплым — так он был холоден.

Мотор заныл, словно человек с воспалением надкостницы.

Мунко перестал кататься по земле, поднялся и зло ударил ногой передний скат.

— Сволочь! — крикнул он. — Тыква!

— Где у тебя заводная ручка? — спросил Степанов. — Садись к стартеру, а я пойду крутить. Я в унтах, мне пока еще можно стоять на земле.

— Нет у меня ручки! — крикнул Мунко. — Нет! Он всегда заводился без ручки.

Где-то совсем неподалеку завыли волки. Они выли хором, на несколько голосов.

— Мунко, — сказал Степанов, — подкачай побольше бензина в карбюратор. Важно, чтобы он схватил, пусть только он хоть раз схватит.

Ванган сказал:

— Если бы сейчас был день, я бы навадил волков прямо на нас. Я умею их подманивать. Мы бы убили волка и погрели руки в его горячем брюхе. Часа два можно было бы греть руки.

— Накачал! — крикнул Мунко. — Бензин даже переливает.

— Я бы тоже кое-что сделал, — сказал Степанов Вангану. — Конечно, анекдоты — это твое. Ты застолбил прекрасную тему. Но я бы тоже что-нибудь сделал.

Он повертел ключом в замке, опасаясь включить стартер.

— Давай, — сказал Ванган. — Прошло сорок девять минут. Была не была — включай...

Мотор снова заныл, но сотрясения, рождаемого динамическим ударом искры — символа тепла, который предшествует движению, снова не было.

Степанов вылез из кабины, с трудом переставляя задеревеневшие ноги. Он подошел к радиатору и открыл крышку чужими пальцами, которые стали казаться ему огромными, но при этом невесомыми, словно сделанными из пластика.

Сахарный, в узорах, лед был в радиаторе.

...А паренек забрался на рыбацкий катер по канату, который ему бросили с кормы в пенное, зеленое море, и в это время выглянуло солнце, и все окрест стало истинным, реальным. Катерок сделался грязно-синим, чайки — серыми, море — бурым, но и такими они были прекрасны, потому что все было полно движения, а паренек рассказывал рыбакам, сидевшим на корме, про то, как он успел доплыть к ним, взяв упреждение, весело смеялся, и капельки теплой воды на его коричневом теле посверкивали остро-синим, когда лучи солнца отражались от моря, отдав ему часть своего извечного и разумного тепла...

ВОЖАК

«Это он, — подумал Степанов. — Наверняка это он. И в прошлом, и в позапрошлом году этот вожак приводил свою стаю уже под вечер, когда основной пролет кончался и только изредка в серо-прозрачном арктическом небе со свистом проносились глупые, но быстрые шилохвости. Все стаи пролетали низко над тундрой, а он вел гусей высоко над буграми, которые ограждают море; в недолгих полярных сумерках эти бугры всегда кажутся спинами громадных неповоротливых зверей, упавших перед ледяной водой на передние лапы после тяжелого перехода по мокрому, глубокому, крупчатому, голубому снегу. Если я увижу в бинокль кольцо на его правой лапе, значит, это он. Ей-богу, он. И крылья у него разные. Один подкрылок черный, а другой белый, словно поседевший. Хорошо, что он летит по солнцу, — видно и кольцо на правой лапе, и седину на крыле. До чего хитер, сукин сын, а?! Не поворачивает на профиля*, как остальные, а, наоборот, поднимает своих гусей высоко в небо, отваливая еще ближе к морю, к непроходимым глыбам серого льда, выброшенного на берег».

...«Все-таки до чего нескладны эти люди, — подумал вожак гусиного косяка. — Ему кажется, что я не вижу его. Он не понимает, что я вижу его, не понимает, что солнце бликует в стеклах его бинокля, а этот острый, быстрый голубой лучик сигнализирует мне о тревоге. Как красив этот отраженный луч... А люди? Они выглядят смешно и жалко — как можно жить без крыльев? Сверху они особенно беззащитны: маленькие, придавленные создания, которые и бегать-то толком не могут. Впрочем, как можно бегать на таких длинных палках, да еще если нет красных упругих перепонок между пальца-

---

* Профиля́ — силуэты гусей, сделанные из фанеры.

ми, а ногти, вместо того чтобы радоваться их остроте и силе, обстрижены? Хотя тот парень, который ломал мне крылья, вытаскивая из сетей возле Леесдама, обкусывал свои ногти зубами. Сначала-то я не обратил внимания на это — какое там, не до жиру, быть бы живу... Я заметил это, когда он надел кольцо на лапу и бросил меня в небо, а я упал, потому что он повредил мне крыло. Я заметил, как парень быстро и опасливо кусал ногти, гоняя меня по лугу... Я проиграл ему, я ведь знал про людей лишь понаслышке, от вожака нашей стаи Красивого и от его помощника, которого звали Шептуном, потому что он обычно говорил очень тихим голосом. Он привык молчать, когда летал в разведку — посмотреть, где можно устроить нас на ночлег, а в разведку надо летать тихо, ластясь к земле в серых сумерках, присматриваясь и к огням, и к чрезмерной темноте. Люди обычно курят в кустах, дожидаясь нас, или же — наиболее опытные и выдержанные, истинные охотники — в ямах, замаскированных валежником или камышом. И то и другое заметно нам в равной мере: и огонек сигареты, и черное пятно на темно-коричневой земле... Я проиграл тому парню в Леесдаме, потому что слишком надеялся на свои силы и относился к этим бескрылым свысока, — впрочем, как же можно относиться к ним, если они задыхаются и потеют на бегу? Я стал относиться к ним иначе, когда понял, что такое самолет... Я ведь не думал сначала, что самолет — творение этих длинных палок — их рук, я наивно полагал, что самолет — это прирученная ими птица. Лишь когда они сунули меня в «боинг» и повезли в зоопарк Лондона, и мы попали в грозу, и я смотрел, как летчики управляли крыльями и подкрылками, как они точно повторяли наши движения и как они вошли в черное облако, которое мы обычно обходим, потому что вожаки рассказывали, что молнии сжигали целые стаи, — я стал относиться к ним иначе. А тогда ведь мне было всего четыре месяца, и до этого я жил на Земле Франца-Иосифа, и по ночам мама рассказывала удивительные истории про Африку и Черное море, куда мы полетим осенью, и гладила мою голову, и чесала спину своим красивым, нежным клювом, а я заходился от смеха из-за щекотки, а наш вожак Красивый даже не выговаривал маме, — вообще-то нам запрещено громко смеяться и болтать на летних гнездовьях, чтобы не привлекать постороннего внимания. Он не выговаривал маме не потому, что все птенцы тем не менее кричат и смеются,

несмотря на запрет, а, как утверждал наш сосед по гнездовью Тельняшка (у него были черно-белые полосы на груди), потому что Красивый давно влюблен в маму, еще со времени весеннего перелета, когда погиб мой отец. Я слышал, как Красивый однажды утешал маму. Он говорил ей, что папа сам виноват в гибели, что охотников надо уважать: нельзя понять того, кого не уважаешь. У нас врожденная страсть летать, и люди стараются понять эту нашу врожденную страсть, а мы должны понять охотников, а для этого надо очень серьезно к ним относиться. «А твой муж, — говорил Красивый, — всегда отличался высокомерием и зазнайством. Прости меня, быть может, я говорю слишком жестоко, но мне нельзя говорить иначе — птицы перестанут верить, если я буду подыскивать выражения, вместо того чтобы обнажать существо вопроса. Ты улыбаешься? Я говорю языком служебных совещаний? Что делать: люди берут у нас все, связанное с полетом, мы же пользуемся их манерой общаться друг с другом в быту. Твой муж считал, что он умнее охотников, быстрее их и сильней. И люди и птицы гибнут от зазнайства, это истина». Мама сказала вожаку, — она думала, что я спал: «Ты хотел его гибели».

Красивый долго молчал, а потом ответил:

«Может быть. Но этого хотел я, лично я, Красивый. Этого не хотел Вожак, которого называют Красивым. Разве ты не помнишь, как я собирал всех на инструктаж перед последним перелетом? Помнишь? А твой муж делал вид, что он спит, потому что слышал мой инструктаж уже пять раз. Верно? Раньше он слушал меня и был жив. А потом его прозвали Стремительным, и он решил, что может заменить меня... Разве нет? Я не хотел его гибели, Маленькая, потому что я Вожак и я отвечаю за всех вас в стае. Разве я для кого-нибудь среди наших — Красивый? Перья на левом крыле повыбиты, три дробины в кишечнике, болит, когда меняется погода... Старая развалина, а не Красивый...» — «Не говори глупостей, — сказала тогда мама, — ты же знаешь, что это неправда...»

Да... Интересная все же штука жизнь... И попался я тогда парню с обгрызенными ногтями потому, что был самонадеянным дурачком. Наследственность, что ни говори... Когда он выгнал меня на шоссе, по которому неслись громадные машины, я так испугался, что взмахнул крыльями, чтобы улететь из этого грохочущего ада, но страшная боль ударила меня в правое крыло, и я

ослеп от этой боли, и тот парень с обгрызенными ногтями навалился на меня и не дал мне попасть под машину... Сволочь, он еще гладил меня потом и говорил мне всякие нежные слова, чтобы я не боялся и что он меня отпустит. Впрочем, грех мне сердиться на него — ведь он тогда спас мне жизнь. Хотя лучше бы не было той жизни... В клетке, в зоосаде, под взорами тысяч людей, которые пялятся на тебя и говорят своими ужасными каркающими голосами, напрочь лишенные юмора: «Гусь, гусь, смотри, гусь с разными крыльями, как смешно!» Это им смешно, а мне было больно — поэтому правое крыло и поседело, став белым...»

«Куда же он летит? — подумал Степанов. — Неужели он хочет посадить стаю на море? Там вчера зоологи поставили сети. Попадется ведь, а? Как глупо — он три года обманывал меня, а здесь попадется... Впрочем, я не прав. Он не обманывал меня. Он побеждал меня. Обман — это другое. Это всегда подло и трусливо. А он побеждал меня честно. Он вел свой косяк высоко, прямо надо мной, и не снижался, когда видел профиля, и не прельщался ягелем в долине, а искал такие места, куда не подойти человеку, волку или песцу. Причем он не вел косяк в поднебесье; там летают, видно, только самые трусливые. Он соблюдал точную дистанцию безопасности — девяносто метров. Он не шарахался и не взмывал пугливо вверх, когда по нему палили из своих слабеньких курковых тулок «чечако», — он точно знал, что это вовсе не опасно, и достойно и гордо продолжал свой полет на заданной высоте, как реактивный корабль, и только сердито кричал на молодых, если те трусливо рассыпали строй и норовили отвернуть в сторону. Точно, он повел гусей к морю. Покричать ему, что ли?» — вдруг усмехнулся Степанов.

— Эй, разнокрылый, куда ты?!

«Это он мне, — понял Вожак. — Они поднимаются из своих скрадков, когда мы пролетим, они думают, что мы не умеем оглядываться. Дурашки. Они гордятся тем, что научились делать автомобили и самолеты, но ведь самолеты они скопировали с нас и до сих пор не могут понять, как мы ориентируемся без звезд, солнца и компаса... Где уж это понять им...»

Молодые гуси уже пятый раз жалобно просились на ночлег. Вожак посмотрел на молодых птиц: Хохотушка еле тащилась в хвосте стаи, и Длинный совсем сдал...

— Сизый, — попросил Вожак своего помощника, — посмотри-ка, пожалуйста, эту прибрежную полосу. По-моему, тут мы славно переночуем, а?

Сизый, покашляв, ответил:

— Га-га...

Он страдал дефектом речи с детства — не выговаривал букву «д».

— Может быть, ты не согласен? — спросил Вожак. — Ты спорь со мной. Я уже два года прошу тебя: спорь, если с чем-то не согласен.

— Если я согласен в главном — зачем спорить?

Сизый отвалил в сторону — Вожак всегда любовался тем, как он красиво и быстро умел падать в сторону, не нарушая строй косяка. Но Вожак, любуясь Сизым, тем не менее всегда ловил себя на мысли, что где-то в самой глубине души он относился к нему недоверчиво и презрительно. Он не мог забыть, как осенью, когда крыло зажило и он сбежал из зоосада в Лондоне и, счастливый, носился в небе, а потом опустился на море и спал часов десять подряд, не в силах двигаться — так он был опьянен свободой, — а потом увидел косяк гусей и, закричав им что-то сумасшедше-веселое, ринулся вверх и подвалил к птицам, — он не мог забыть, как от вожака отделился помощник, чем-то похожий на Сизого, и, приблизившись, спросил:

— Откуда ты?

— Я сын Маленькой, — сказал Вожак, который тогда не был еще Вожаком.

— Зачем ты лжешь, парень? Сын Маленькой попал в сети, и его забрали люди.

— Все верно, меня схватили люди и поломали крылья, но я выздоровел у них в зоосаде, а потом сбежал.

— Покажи крыло.

— Какое?

— То, которое тебе сломали.

— Вот...

— А что у тебя на лапе? Они закольцевали тебя?

— Да.

— И ты дался им?

— Я им не давался. Они схватили меня сами.

— Это одно и то же. Уйди от нас, мы тебя не хотим. Ты опоганен бескрылыми...

«Как же тогда я унижался перед их вожаком! Как я пытался все объяснить ему!.. Кажется, того вожака звали Вечерний, потому что он делал главные перелеты вечером, а не утром, как остальные птицы. Он сказал тогда, что гуси из их стаи предпочитают гибель плену. «Ты мог клевать того, бескрылого, и он бы застрелил тебя или свернул голову, и память о тебе была бы чистой. Нет, уйди, мы не можем принять тебя».

Вожак вспомнил свое тогдашнее унижение, и ему стало жарко, он всегда испытывал чувство жаркого горя, когда вспоминал себя в тот вечер. Он с отчаяния бросился на Вечернего, но тот легко оттолкнул его, и остальные птицы засмеялись, но Вечерний прикрикнул на них, и они улетели в тишине, а сын Маленькой летел на почтительном расстоянии следом за ними, потому что ему было страшно одному в этом пустом небе.

«Но я тогда ни на минуту не захотел вернуться в зоосад, к привычной кормушке. Или такая мысль шевельнулась в моей голове? Не зря я так часто возвращаюсь к тому первому вечеру свободы, не зря я так упорно уверяю себя, что такого желания — пусть даже неосознанного, минутного — не было во мне. Было. Все-таки было, но ведь важно перебороть искушение... Кто избавлен от искушений на этом свете?! Я, видимо, тогда вспомнил, как один из служителей зоосада показывал посетителям прирученного гуся. Был там один жирный дурак, который брал пищу из рук и давал гладить себя по голове — что может быть унизительней?! Бескрылому приятно гладить птицу, но разве птице может быть приятно прикосновение руки, заменяющей крыло?»

Вожак вспомнил, как его прогоняли все стаи, — кто поверит перебежчику? Он вспомнил отчего-то, как униженно допытывался, где сейчас Старый Вожак, и намекал при этом, что он неравнодушен к его матери, но птицы советовали ему не показываться матери, потому что она будет крайне огорчена, увидев его живым, с кольцом на лапе... Он тогда подумал было остаться жить в прибрежье и пиратствовать помаленьку, разоряя гнездовья чирков и чибисов, — такие случаи, слыхал он, бывали у гусей, — но, глядя на свое отражение в морской воде — сильное, повторявшее точь-в-точь тело его стремительного отца и маленькой, изящной матери, он решил, что лучше погибнуть, чем так опозорить себя.

...Степанов видел, как косяк медленно кружил в небе, разделенном на четыре спектра: серое, синее, голубое, белое. В этом безбрежном белом, которое было куполом мироздания, стыли желторазмытая луна и словно бы сдвинутая, а потому совсем не зеленая, а прозрачная Венера. Степанов следил за тем, как медленно кружили птицы над прибрежьем, освободившимся ото льда, над темной водой, в которой уже не отражалось солнце, над тяжелой водой, в которой были сокрыты сети зоологов, и вспоминал, как его учитель, Старый Охотник, возвращался из разведки, когда потерял двух ребят и осталось их всего четверо, а они вели трех здоровых парней из танковой дивизии СС мимо немецких дозоров и все время ждали, что танкисты начнут кричать, и тогда всем каюк, но те молчали, потому что им в спины упирались кинжалы, но напряжение было таким сильным, что они тогда заторопились, отсчитывая каждую секунду, свернули раньше времени и напоролись на минное поле. Первыми подорвались Никодимов и два немца, а потом Чернышев и Ермолаенко, а он остался с немцем один на один среди минного поля, а потом немец побежал, закричав что-то, и сразу же исчез в черном тугом пламени, исчез на глазах, будто и не было его крика, его дыхания и того тяжелого запаха пота, который Охотник ощущал все то время, пока упирался кинжалом в спину фашиста. Он тогда остался один на минном поле, и немцы осветили его ракетами, но стрелять в него не стали и только смеялись и кричали ему: «Рус, беги! Беги, рус!» Никогда за всю войну ему не было так страшно, как в те минуты, что он шел по минному полю к лесу, и немцы постепенно смолкли, затаенно ожидая того мгновения, когда он исчезнет, превратившись в тугой черный огонь. Он тогда шел, мучительно ощущая легкость своего тела, и свою беспомощность, и унизительную весомость страха.

«Когда я охочусь, я предлагаю медведю, кабану, гусю или волку соревнование, — думал Степанов, наблюдая за тем, как птицы по-прежнему кружили в небе. — Это игра на равных. Медведь сильнее меня и быстрее, и один его удар может сломать меня. У меня есть для него два удара. С пятидесяти шагов. У нас равные шансы. И с кабаном тоже. Кабан сечет насмерть, если ты плохой стрелок. И скорость полета гуся неподвластна моим расчетам: сто километров в час. Или я ищу себе оправданий? Ерунда. Не нужно оправдывать охоту — она не нуждает-

ся в этом: Толстой и Хемингуэй были людьми совестливыми... Только бы гуси не опустились на сети... Тогда они будут кричать всю ночь, биться, и зоологи услышат их крик в своей землянке, и придут за птицами со своими мешками, и будут закольцовывать их, не побежденных в честном турнире — скорость на скорость, ум на ум, глаз на глаз, — а взятых коварством. Только б они туда не сели, глупые птицы».

— Га-га, — сказал Сизый, подлетев к Вожаку.

— Все в порядке?

— Га.

— Ты бы попробовал почаще полоскать клюв ледяной водой, — сказал Вожак, — тогда, быть может, у тебя наладится речь. Я все время путаю твое «да» с обычным «га». Это я, а каково другим гусям?

Вожак повернул к морю. Сизый был зоркой птицей, и Вожак верил ему, но все равно он решил еще раз осмотреть место. Он вспомнил, как тогда, в первый вечер свободы, он пристроился к одной стае, пристроился по-воровски, не вступая ни с кем в разговоры. Он рассчитывал долететь до Африки, а там найти мать. «Она поймет меня, — думал он, — не может быть, чтобы мама оказалась такой же жестокой, как все остальные». Но когда тот вожак — его звали Молчун — повел гусей на ночлег, он вспомнил, что попался на таком же аккуратном зеленом лугу, и закричал, что там могут быть сети, но его не послушались, а один из стаи даже оттолкнул его — грубо оттолкнул — левым крылом и клювом.

Боже, как же он кричал тогда, делая низкие круги над птицами, попавшими в сеть, как плакал он, оставшись снова один, как он кричал Вожаку: «Старый напыщенный дурак! Тебе пора подыхать, а каково будет молодым в неволе?! Я же говорил вам! Я же говорил!» — «Как ты узнал, что здесь сети? — спросил Молчун. — Ведь наша разведка не заметила их». — «А что может ваша разведка?! Ей бы посидеть там, где сидел я, ей бы почувствовать себя отверженным, как это я чувствовал, ей бы так истосковаться по своим, как я истосковался, тогда бы они поняли, где бескрылые прячут сети!» — «Ты не улетай, — попросил его тогда старый Вожак. — Там, на бугре, сетей нет. Побудь с нами, дождись утра, а потом расскажешь другим птицам, как мы погибли».

Но гуси тогда не погибли. Люди окольцевали их и отпустили, и Молчун пропустил его вперед, а сам полетел следом, дав понять птицам, что не он теперь вождь косяка, а этот молодой гусь, который так кричал вчера им об опасности, и так мужественно провел с ними, обреченными, всю ночь, и так рискованно кружил над ними, пока люди надевали им на лапы металлические кольца.

Степанов понял, что старый гусь с седым подкрылком и кольцом на лапе посадит птиц в сети. Он понял это по страшному крику, который начался за грядой тяжелых бугров. Степанов положил ружье на плащ, снял с себя патронташ и пошел к морю. Он думал, что легко сможет найти птиц по их крику, но внезапно на море настала тишина, и он, удивившись, замер. Он постоял мгновение и, подумав, что птицы сели на лед, решил вернуться в свой скрадок. Но потом гуси снова пронзительно закричали, и крик их был долгим и тревожным, и Степанов пошел к морю.

— Тихо! Не орать! Я что сказал?! — остервенело рявкнул Вожак. — Не распускайте нюни! Пусть каждый пытается перервать сеть возле себя. Главное — вырваться отсюда. Потом мы сядем на островок и освободим лапы и полетим дальше. У меня так было два раза, — солгал он. — Ничего страшного. Главное, чтобы не было паники.

Он знал, что сети невозможно перегрызть клювом, но он хотел, чтобы птицы были заняты работой всю эту короткую серую беззвездную ночь, ибо в работе быстрее бежит время и нет того страшного ощущения безысходности, если замереть и сидеть сложа крылья.

— Когда мы улетим отсюда, — сказал он птицам, — запомните на будущее, что опасность кроется как раз там, где ее меньше всего ждешь. Сизый решил, что здесь тихо, нет людей, и поэтому мы попали в ловушку. Но виноват не Сизый, нечего на него валить, виноват я. Я позволил сесть вам здесь. Я пожалел Длинного и Хохотушку. А надо было лететь еще километров сорок до Борового, там две избушки, и там никто не живет. А я стал старым и перестал помнить главную истину: если хочешь жить, надо лететь из последних сил, пока можешь лететь...

Он не договорил, потому что увидел, как из-за бугра на берег вышел охотник. Гуси закричали, страшно закричали, и Вожак уже ничего не мог поделать с ними. «В опасности они неуправляемы, — как-то машинально отметил он. — Если хочешь им добра, если хочешь вести их на острова, чтобы они там выводили детей и продолжали наш род, нельзя ввергать их в опасность. Это ерунда, когда говорят, что опасность сплачивает, это глупость. Опасность разобщает и заставляет каждого думать о себе».

Степанов поднял отвороты сапог и вошел в море. Оно было мелкое, зеленое, с запахом йода.

«Бескрылая мерзость, — посмотрев на охотника, брезгливо подумал Вожак. — Сейчас он увидит мое кольцо и обрадуется. Как радуются они, увидав кольцо у нас на лапах, — мало же им надо, чтобы порадоваться...»

Степанов опустил свои палки («Наверняка с обгрызенными ногтями», — подумал Вожак) в воду около Сизого, и тот вдруг закричал, впервые в жизни не коверкая слова:

— Господи, не дай мне погибнуть!

Раньше он бы закричал: «Досподи, не гай мне подибнуть», и Вожак бы ломал голову, что значит эта словесная шарада, а теперь, в последние минуты, он — видимо, от нервного потрясения — заговорил нормально.

Вожак молча рассмеялся, — жаль, что Сизому уже не пригодится это лечение. Но вдруг Вожак замер, пораженный, потому что Сизый взмыл вверх... И чем дальше шел охотник — от одного гуся к другому — все ближе к нему, к Вожаку, — тем больше птиц взлетало в небо. А потом Вожак остался один в оглушающей тишине, потому что все гуси из его косяка были в небе и, разбившись на группы, перекликались друг с другом, делая широкие круги над тем местом, где сидел Вожак.

— Ну, плыви сюда, — сказал Степанов. — Я не могу до тебя дотянуться. Там глубоко, у меня вода зальет сапоги. Плыви же, не бойся.

И Вожак подплыл к Степанову, и тот разрезал сеть, и лапы Вожака стали свободны, и он потерся головой об руку Степанова — он ведь помнил, как нравится человеку, когда прирученная птица трется об руку.

— Лети, — сказал Степанов.

Вожаку понравилось, что глаза у охотника были круглые, как у птиц. «Он даже чем-то похож на нас лицом, — подумал Вожак. — Почему их надо ненавидеть больше

полярных сов? Или лисиц? Песцов? Лисица ведь не выпустит, если попадешься ей в лапы».

Где-то вдали грохнул выстрел. Вожак посмотрел на север: в зыбком небе угадывалось появление солнца.

«Им пора стрелять, а нам — лететь», — подумал он и, погладив еще раз головой руку охотника, взмыл в небо.

Вожак вел своих гусей на север и смотрел на другие стаи, узнавая старых знакомцев. Он весело здоровался с ними (он ненавидел важность, которую напускали на себя некоторые птицы, став вожаками), он шутил и смеялся, рассказывая о своем перелете, но он видел при этом, что в стае Улыбчивого нет Большого и Раннего, он заметил, как грустен Ревнивый, потерявший Дурочку, Глазастого и Криволапого, он не слышал зычного голоса Кривого, потому что тот потерял семерых из стаи, но, думал Вожак, в конце концов каждый перелет — это борьба, а без борьбы нет жизни.

«Ничего, — думал он, — ничего... Скоро появятся птенцы, много птенцов, и они научатся летать, и мы поведем их в Африку и передадим им все то, что нам передавали вожаки, и нас будет много, и летать мы будем весело и смело, потому что жизнь неистребима, как это небо в сполохах белого сияния, и как это холодное прекрасное море, и как бескрылые, которые не только скрадывают и стреляют нас, но которые, оказывается, могут резать сети. Что ж... Я не против. Пусть борьба. Ничего. В борьбе гибнут только слабые и трусы Победит — смелый. Ничего...»

ЕЩЕ НЕ ОСЕНЬ...

1

Лес был сизый. Стволы сосен казались черными, оттого что ночью прошел дождь. Небо было низким; оно начиналось от самых корневищ деревьев и пробивалось сквозь чащобу острыми солнечными высверками.

В лесу было тихо. Только слышалось, как изредка тяжело переваливалось близкое море и вода шершавила по серой гальке, пенно исчезая в ней, и снова наступала тишина, становившаяся гнетущей, когда кричали чайки...

Серебровский боялся пошевелиться, чтобы не разрушить то, что в нем появлялось каждое утро, пока он жил здесь. Это было сладостное чувство, и он не мог объяснить себе, в чем же сокрыто оно: то ли в тишине и одиночестве, и в этом громадном сосняке, и в море, над которым летали чайки, и в том, как утопали ноги во мху, пока он шел к своей лодочке, чтобы, оттолкнувшись веслом, уйти рыбачить; то ли в незнакомом ему доселе ощущении покоя — тревожном поначалу и таком привычном теперь.

«Наверное, это и есть старость, — подумал он, решив, что пора вставать и что не сохранить уж более это утреннее, тихое счастье просыпания. — Старость — это когда можешь позволить себе раствориться в лесе».

— Дед! — услышал он голос шофера Ромки. Тот каждое утро развозил рыбаков по тоням и на обратном пути забрасывал Серебровскому хлеб. — Дед! Вставай!

Ромка посигналил еще раз, потом Серебровский услышал, как жестяно хлопнула дверь машины, и звук этот был противоестественным в здешнем лесу, и услышал, как Ромка спрыгнул на дорогу.

«Сейчас он ляжет в мох и закурит «Дымок», — подумал Серебровский и поднялся с кровати. Он сделал

эту кровать в первый день, когда только приехал сюда. Он натаскал в сара еловых лап, сверху постелил одеяло, а потом положил надувной матрас; вымыл пол, затащил диковинный пень, прибил к этому пню доску, обчистил ее ножом, и пень стал красивым, пахучим столом; протер стекла, чудом сохранившиеся в окошке; нашел несколько красивых, жутковатой формы корней, расставил их по сараюшке, и стало у него красиво и странно, будто он здесь живет давным-давно. Он вообще обживался быстро и любил, чтобы вокруг было красиво и странно.

— Дед! — снова закричал Ромка. — Рыбалку проспишь!

«Это он докурил свой «Дымок», — определил Серебровский, — и сейчас скажет, что хлеб оставил на корнях, около камня».

— Я хлеб на корневище оставлю! — закричал Ромка. — Около камня плесневелого!

Серебровский вышел из сарая, когда Ромка впрыгнул в кабину.

Ромка уехал, а Серебровский, подняв с корней хлеб, занес его в сарай, взял спиннинг и пошел к лодке. Солнце уже поднялось над морем. Небо с каждой минутой меняло свои цвета, превращаясь из белого, дымного, серого, синеватого — в голубое, размытое не видимым, а лишь ощущаемым розовым.

Серебровский оттолкнулся веслом, нос лодки гладко разрезал воду, камни на дне стали увеличиваться и темнеть, потому что дно здесь было пологое, вода прозрачная и даже пятак, который он как-то бросил с лодки, казался громадной желтой лепешкой.

«Угол преломления зависит от угла падения света и от коэффициента среды, через которую свет проходит, — машинально отметил Серебровский. — Тьфу, пакость какая... Даже красоту я подтверждаю уравнением. Бедные интеллектуалы, как они нас ненавидят... И, между прочим, с ними трудно спорить, хотя они не правы. По-человечески они справедливей нас, но с точки зрения прогресса мы теперь похожи на инквизицию. НТРовская инквизиция — неплохой термин, а?»

Он подгреб к маленькому каменистому островку, бросил якорь, привязал выточенную из плексигласа собственной конструкции блесну, поплевал на нее и метнул к чуть видной каменистой гряде — щука сейчас должна ходить поверху.

«Я хорошо забросил, — подумал он, — далеко и как раз возле гряды, но сейчас она не возьмет».

Он выбирал леску, точно зная, что щука не возьмет на этот раз. У него вообще было очень сильно развито предчувствие, и однажды лечащий врач посоветовал ему попить седуксена, чтобы успокоить нервы, но Серебровский тогда сказал, что нервов нет, а есть душа и жизнь, которые никогда не совместимы, и чем больше несовместимость окружающего с конкретной особью, тем активнее будет процесс «корреспондирования» личности и общества. «Это, — продолжал Серебровский, — очень полезно обществу и гибельно для личности, но черт с ней, с личностью, в конце концов, поскольку общее — как ни крути — всегда значимее частного и оборачивается пользой другим частным, составляющим одно общее». Доктор с этой версией не очень-то согласился, но спорить не стал, потому что переубедить Серебровского было невозможно.

...Серебровский забросил блесну еще раз и точно ощутил, что сейчас, сразу же, как только грузило утащит плексигласовую прозрачную рыбку на дно, щука схватит ее, и он почувствует рывок, и сердце замрет, а потом напрягутся все мышцы, и даже пальцы ног станут неживыми, напряженными, как у бегуна перед стартом, и лицо зальет краска, и перехватит дыхание.

— Оп! — сказал Серебровский, почувствовав, как рыба схватила блесну. — Ну что?!

Он подсек, красиво подсек, и начал выбирать леску, и сначала удивился тому, как легко шла леска, словно он взял не щуку, а судака — тот всегда первые мгновения покорно идет к лодке, — глубинный, он, вероятно, переживает шок и приходит в себя, когда видит над собой не черную твердь воды, а близкую, пузырчатую, зеленоватую хлябь неба.

Серебровский увидел щуку, когда она была метрах в трех от лодки. Она поднималась из глубины, как подлодка, и шла она медленно, словно бы пружинясь, и щука была большой, и Серебровский почувствовал, какая она скользкая, и даже ощутил, какая она холодная и сильная и как она будет вырываться, когда он забагрит ее, и схватит под жабры, и бросит на дно лодки.

Когда до борта оставалось полтора метра, щука резко пошла вниз; она исчезла, словно бы ее и не было, а на том месте, где она была, еще секунду стояла ее тень — зловещая и черная. Серебровский опустил леску,

придерживая ее пальцем, а второй рукой полез за сигаретами.

«Давай, давай, — подумал он, — давай, милая. Подерись, а то у меня испортилось настроение, когда ты покорно шла ко мне. На кой черт ты нужна мне такая? Такую можно купить... Ты подерись, тогда я обрету в своих глазах еще большую значимость — я победил хищника, и я буду рассказывать про тебя друзьям, когда уеду домой... Помнят лишь то, что с трудом дается, все остальное забывается, скоро забывается...»

Он почувствовал, что рыба остановилась где-то в глубине, и начал наматывать леску на катушку, и снова рыба покорно шла к лодке, и снова она исчезла, когда до борта оставалось метра три, и снова после нее стояла в воде длинная тень, но теперь она уже не казалась черной, а была густо-зеленой, потому что солнце поднялось еще выше.

Рыба начала метаться, и Серебровский понял, что она устала, и взял ее легко, и бросил себе в ноги, и увидел, какая она сильная и большая.

«Эту старую щуку хорошо бы отварить с молоком, — подумал Серебровский. — А если бы я поймал судака на глубине, в горловине, и несколько окуней, а потом пару пескарей, я бы мог сделать уху по-царски».

Серебровского однажды угощали царской ухой. Это было в Астрахани, за Икряным. Ему казалось, что уха по-царски должна обязательно вариться из стерляди, но бакенщик Феодосий, у которого он тогда жил во время путины, объяснил, что это неверно и что высший смысл царской ухи состоит в ином.

— Смотри, Яковлевич, — объяснил он Серебровскому, пробуя уху на вкус, — смотри и запоминай, помру — хрена тя кто этому обучит. Сейчас пора пришла другая, торопливая. Знаешь, как мой брат все объясняет? Он умный, ему только думать и осталось — ноги-то отчекрыжило во время войны. Он говорит, что-де, мол, ныне все норовят машинно работать, с удобством, и чтоб в поясницу не дуло. То-то и оно — всё норовят бегом и мимо бегут, мимо, пристальность теряют, лик видят, а в глаза заглянуть не успевают. Так что учись, Яковлевич, покуда я живой. У меня в затылке ломота — к смерти это, да и врач в глаза не смотрит, все в лоб мне глядит, в лоб... Еще лавра кинь. Хорош. А теперь пескаря. С этого и пошла царская ушица. Пескаря мы с тобой выварим, потом выймем, он клейкость даст воде, вроде как всех

других рыб соединит. Выймем его и щуку кинем. Она для вкуса жесткоту дает и силу — щука рыба сильная, от нее ноги крепнут. Откипит белой пеной, мы и ее выкинем и бросим в котел карася и карпа для сладости. А уж потом белужью головизну, коль стерляди нет. А как сымем с костра, в кипень молочка подольем — тут тебе и готова царева уха...

...Серебровский, вспомнив Феодосия, ощутил голод, под ложечкой засосало, он достал из клеенчатой сумки кусок хлеба, медленно прожевал, запил сладким чаем из термоса. Затем снова метнул блесну и порадовался тому точному, графическому эллипсу, который прочертила она в небе, и снова понял, что на этот раз щука блесну не схватит, и рыба действительно блесну не схватила.

Серебровский досадливо сплюнул и посмотрел на свое отражение в воде и долго, глядя на себя, размышлял: действительно ли видно, что волосы его седые и отросшая за две недели борода тоже седая, или просто он знает, что это так на самом деле, и примысливает видному зеркалу отсутствующие физические качества, дерзко покушаясь на извечность закона природы, который жесток и четок, как фронтовой продраспред...

Серебровский забрасывал в этом месте еще раз двадцать, но щука больше не брала — то ли жор прекратился, то ли здесь была одна-единственная эта старая рыба, пришедшая к каменной гряде на песчаную отмель, чтобы погреться в одиночестве, застыв в спокойной расслабленности, когда не надо работать плавниками, чтобы, сопротивляясь течению, стоять там, где хотелось бы стоять; когда не надо напрягаться, набирая скорость, чтобы опередить других во время жора; когда можно быть самой собою — уставшей, старой щукой и не пыжиться, чтобы боялись другие, более молодые, и поэтому уступали лучшие места на утренней и вечерней охоте...

Серебровский выбрал каменный якорь, обогнул островок с севера, развернул лодку так, чтобы мягкое солнце грело лицо, и попробовал блеснить на глубине, на том таинственном водоразделе, где прозрачная, белая вода четко и устойчиво граничила с водой черной, масленой — глубинной.

«Здесь может быть судак, — подумал Серебровский, — если я возьму судака, тогда сразу же заложу его в тузлук, а завтра повешу на солнце, и он провялится дня за два, а как раз в субботу Ромка обещал привезти из Выборга дюжину пива, и я устрою пир: на сковородке

поджарю в оливковом масле черный хлеб с солью, потом зажарю окуней и приготовлю уху по-царски».

Блеснил он долго, но рыба не брала. Он попробовал было новую блесну, тоже самодельную, из латуни, верткую, быструю: «Сам бы схватил — покажи издали». Но и здесь рыба не брала, и он, чтобы не портилось настроение, поехал к берегу, решив вернуться сюда под вечер, когда запоет комарье, и по воде пойдут точные, быстрые круги, и солнце будет плавить море, растекаясь по горизонту малиновым, зловещим цветом: перед тем как исчезнуть на ночь, солнце словно бы пугает людей безысходностью розового марева, и красота природы в эти последние солнечные минуты делается тоскливой, как затаенное ожидание смерти.

«Черт, молочка хочется, — снова подумал он, когда кончил разделывать рыбу и побросал большие бело-красные куски в кипящую, дымную воду, — литр бы выпил, ей-богу...»

Он съел щучью голову, отнес котелок в сарай, чтобы комарье не набилось, нашел в карманах мелочь, взял флягу и пошел по тропке, мимо двух маленьких, заросших камышом озер, через луг, напоенный тяжелым гудом пчел, сквозь лес, где росли березы, и было ему так хорошо, как бывало в юности, — детства у него не было, оно всегда казалось ему жестоким, горьким и несправедливым, и чем дальше он отходил от той поры, тем с большим недоумением думал о несправедливости и не мог найти однозначного ответа, и это раздражало его, приученного к точности — во всем, что касалось жизни, впрочем, смерти тоже.

Сразу за березовым лесом начиналась пойменная луговина, и по синим травам ходили коровы, и где-то вдали, словно на манеже цирка, сухо щелкал кнут пастуха.

«Наверное, доярки живут в том домике, что на взгорье, — подумал Серебровский, — туда и дорога ведет».

Он посмотрел на часы. «Всего сорок минут, — отметил он, — я могу ходить сюда через день. Здесь напьюсь молока, а литр унесу с собой — фляга не мешает идти, руки свободны...»

— Эй, кто тут живой? — спросил Серебровский, подойдя к финскому домику. — Молочка можно купить?

На крыльцо вышла девушка с большим половником в руке, рассеянно посмотрела на Серебровского и закричала:

— Леня! Ленька! Когда надо сыпать соль?!

Никто ей не ответил, она вздохнула, еще раз посмотрела на Серебровского и рассеянно ответила:

— Мы сами молоко покупаем...

— А где доярки?

— Доярки? — переспросила девушка, потом замерла, потянула носом воздух и стремглав убежала в дом.

Серебровский пошел следом за ней. Девушка стояла на кухне и мешала уху, которая белопенно выкипала на раскаленную плиту. Она мешала уху неумело и половник тоже неумело держала, и Серебровский сразу же угадал в ней нелюбовь к этому извечно женскому занятию — делать еду.

Глаза у девушки были длинные, нос курносый, со смешинкой, и две ямочки на щеках.

«Стереотип обаяния, — отметил Серебровский, — прямо с рекламного буклета «Женитесь! Вас ждет уют и ласка!».

Девушка осторожно отхлебнула уху из половника.

— Вкусно? — спросил Серебровский.

Девушка отрицательно покачала головой, и ее волосы точно повторили движение — такие они были густые и мягкие.

«Почему женщины обижаются, когда говоришь им про волосы — грива? — подумал Серебровский. — Что есть в мире лучше лошадей?»

— По-моему, дрянь, — ответила девушка, — горечь сплошная.

— Вы не очень-то любите это дело...

— Просто не умею.

— Мама не учила?

— Конечно... Вы же считаете, что нас надо оберегать от плохого и грязного, что надо дать возможность спокойно жить, потому что вы слишком много мучились в молодости...

— Кто это «мы»?

— Старики родители, кто же еще...

— Черт его знает, — ответил Серебровский. — Наверное, вы все-таки не правы... Мне кажется, что дело тут не в перенесенных лишениях... Просто, видимо, ваша матушка считала, что она приготовит лучше, чем вы, вкусней... И вы приучились к мысли, что это действительно так... Мы, старики, — вдруг улыбнулся он, — всегда считаем, что знаем больше и думаем верней...

— Неудачники из вашего поколения всегда склонны

к подобного рода словесному мазохизму... А на деле вы все одинаковые...

Серебровский рассердился:

— На эту тему есть хорошие стихи.

— Из хрестоматии?

Серебровский подумал было, что лучше ему уйти, потому что нежность, сокрытая в этой красивой девушке, странно дисгармонировала с тем, как жестко и сухо она говорила, но потом он решил, что уходить вот так — побитым — как-то до обидного несправедливо, и еще спина у него сутулая, и седые патлы на затылке слежались, и брюки сзади порваны — как он ни забивал гвоздь в лодке, но все равно каждый раз приходилось зашивать зелеными толстыми нитками угольную, словно вектор, дырку; он представил себе, как девушка засмеется, глядя в его спину, и поэтому он достал сигареты, заметил, как девушка усмехнулась — все так же жестоко, увидав в его грязных руках пачку «Уинстона», покраснел отчего-то и начал читать стихи Пастернака, злясь на себя и понимая, как нелепо он сейчас выглядит.

Стихи сейчас были для него как круг спасения в шторме, а еще кругами спасения стали глаза девушки, сделавшиеся вдруг иными — как у ребенка, который слушает интересную сказку, и поэтому он успокоился и дочитал последние строчки скучным голосом, потухнув, как победитель за мгновение перед победой:

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым, и только,
Живым, и только — до конца.

Он вышел, задержав воздух в легких, чтобы спина не казалась такой сутулой и жалкой, какой она отражалась в зеркалах, когда он проходил по третьему этажу института, но он недолго чувствовал себя победителем, потому что кухня была длинной, и ему хотелось выдохнуть, пока он шел к двери, и он выдохнул, и весь обмяк, и подумал про себя: «Старый идиот, а еще фанаберится».

— Доярки живут возле ручья, — сказала девушка, — если хотите, я вас провожу...

— Вы мне лучше объясните, — сказал он, остановившись возле двери, и несмело обернулся, — я найду.

— Вы здесь отдыхаете?

— Рыбачу...

— Ну, значит — отдыхаете? — настойчиво повторила

девушка, и снова прежние суховатые нотки прозвучали в ее вопросе. — Как-то вы нечетко отвечаете.

— На отдыхе можно отвечать нечетко... А вот рыба у вас разварится — это вот точно. Достаньте ее и положите на тарелку.

Девушка заглянула в котелок и ответила:

— Уже разварилась. А сейчас мои вернутся... Надо мне было с вами схлестываться!

— Это вы так схлестываетесь?

— Конечно. Я же вас обижала.

— Схлестываться — не значит обижать. Схлестываться — это новая формула поиска истины.

Девушка улыбнулась, и лицо ее стало иным, и Серебровский не смог даже определить, в чем оно изменилось, потому что, вероятно, оно изменилось все и во всем.

— Меня зовут Катя, — сказала девушка, — нас вывезли сюда на натуру, мы из строгановского... Коров рисовать, знакомиться с жизнью народа... А вас как зовут?

— По-разному. Александром Яковлевичем, дядей Шурой, Саней и дедом.

— Я вас буду называть дедом, можно?

— Конечно, можно. Это в принципе соответствует допустимости моих возрастных потенциалов.

Катя засмеялась:

— Ничего не понятно...

— Все понятно. Надо только подумать, настроившись на меня, на мой строй мысли. Мы все настроены на самих себя и, пока слушаем собеседника, обдумываем ответ, совсем даже не стараясь понять другую правду. Я ответил вам точно и ясно: «Допустимость моих возрастных потенциалов». Мне пятьдесят. Женись я в возрасте двадцати пяти, у меня могли быть дочь или сын. Сейчас женятся рано и рано рожают, и это правильно. Следовательно, у моей дочери или у моего сына сейчас мог быть ребенок, и, таким образом, я был бы дедом. Ясно, Савушка?

— Ясно, бабушка, — вздохнула Катя, — «дедушка» не рифмуется с Савушкой.

— Сейчас все рифмуется, — ответил Серебровский, — и хотя мне это не нравится, но я за это, потому что сие — от поиска.

— Боже мой! Вы реформатор! Бедненький! Как вам, наверное, трудно жить с такими-то настроениями...

Или вы их высказываете только во время рыбалки? На работе помалкиваете в тряпочку?

— Все-то вы знаете, — улыбнулся Серебровский.

— Да ну вас, — сказала Катя, — сейчас я брюки натяну, а то доярки ругаются, если мы в купальниках ходим...

Она убежала в комнату. Уха бурлила. Серебровский достал половником разварившиеся куски рыбы, сложил их на большой тарелке, прикрыл газетой, добавил в уху лаврового листа, раскрошив его в ладони, снял котелок, укрыл его полотенцем и услыхал за спиной голос Кати:

— На месте вашей жены я бы вас ненавидела...

— Почему?

— Суетесь в бабьи дела.

— Да? Странно... Моим знакомым женщинам это всегда очень нравилось...

— Они с вами интриговали.

Они вышли из домика, и Серебровский спросил:

— Почему вы думаете, что они со мной интриговали?

— Потому, что я сама женщина. Нам нравится, когда мужчина властный, сильный... А вы кастрюлю тряпочкой накрываете...

Они шли через луг... Луг был синий. Он был синим, оттого что в нем росли красные маки, — иначе он был бы обыкновенным, зеленым.

— Кто-то писал, что настоящий художник рождается только в том случае, если он постоянно думает о смерти, — сказала Катя. — Я в поле всегда о смерти думаю, а в лесу мне страшно, и жить хочется, и чтоб поскорей домой, и чтобы в доме были стены из кедрача...

— Бывали в Сибири?

— Почему?

— Кедрач... Это сибирское...

— Не была я в Сибири... Нигде-то я не была, ничего-то я не знаю... А время бежит — ужас...

— Это понятно. Я помню, как год тянулся, когда мне пять лет было, — сказал Серебровский, — целую вечность тянулся. А после тридцати защелкало, будто в такси... Когда человеку пять лет, он проживает год, как одну пятую часть его бытия, а уж когда пятьдесят, тогда — одну пятидесятую... Естественное наращивание скоростей... Ничего с этим не поделаешь...

— Господи, — сказала Катя, — какой вы умный, а?

— Это верно, — согласился Серебровский, — но меня это далеко не всегда радует.

— Ничего себе скромность...

— Правда, — серьезно сказал Серебровский, — мы отчего-то стыдливы до необыкновения... Самореклама, самореклама... Какая глупость... Если дурак будет рекламировать себя как Спинозу — все равно ведь не поверят.

— Можно уговорить...

— Ненадолго... Надо всегда называть собаку собакой. А мы смущаемся.

Катя вдруг рассмеялась. Она очень хорошо смеялась — раскованно, просто, для себя.

Серебровский хотел было спросить, отчего она сейчас смеется, и он посмотрел на нее, но вдруг странная робость родилась в нем, и он нахмурился, поняв, отчего она в нем родилась, эта цепенящая робость.

— Дядя Шура! — услыхал он голос и сразу вспомнил Настасьюшку, дочку бакенщика Григория Васильевича, и увидел ее веснушки, словно бы размытые, а потому до боли нежные, а она их смущалась и всегда прикрывала лицо ладонью, и только когда он объяснял ей, как это красиво, убирала руку и недоверчиво, с таинственной улыбкой слушала его. Было это позапрошлым летом, когда он жил не в лесу, а в домике Григория Васильевича и Настасьюшка была ломким четырнадцатилетним подростком, длинноногим, быстрым, как олененок, и таким же недоверчиво-нежным.

— Дядя Шура! — кричала она и бежала через луг, и это ее движение по точной кривой, наискосок через синий, нет, не синий, а красно-зеленый луг было прекрасным и каким-то даже нереальным в одинокой, прошлого века, красоте своей. — Дядя Шура! Мне Ромка сказал, что вы теперь в лесу...

Она не договорила, только сейчас заметив Катю, и краска залила ее лицо, и веснушки сделались бронзовыми, яркими, и от этого глаза ее стали прозрачны и голубы.

— Здравствуйте, дядя Шура, — сказала она, — чего ж к нам не зайдете?

— Здравствуй, Настасьюшка, — улыбнулся Серебровский и хотел было, обняв ее за шею, поцеловать в лоб, но она чуть отодвинулась от его руки, и он только тогда понял, что перед ним уже не подросток-олененок, а красивая девушка — высокая, рыжеволосая, с глазами, которые сейчас погасли, сделавшись спокойно-синими.

— А это кто? — спросила Настя, не поворачиваясь к Кате.

— Катя, — ответил Серебровский.

— Мы здесь рисуем, — пояснила Катя.

— Студенты, что ль?

— Студенты... Вы бы не согласились мне попозировать? — спросила Катя.

— Фотографировать, что ль, хотите?

— Рисовать...

— А чего рисовать? Фотоаппараты на это продаются... Дядя Шура, ну, я пойду... Коровы мои разбредутся... Может, навестите? Папаня рад будет, он вас вспоминает...

— Обязательно приду, Настасьюшка. Я сначала в лесу отсыпался... Теперь отошел. И приду.

— Вы же хотели купить молока, — сказала Катя. — Настя, тут где можно молоко купить?

— Кому?

— Деду...

— Какому деду?

— Мне, — пояснил Серебровский и снова полез за сигаретами.

— Она что — внучка вам? — со странной надеждой спросила Настя.

Катя рассмеялась и ответила:

— Внучка... У меня дед молодой, хорохорится...

Лицо Насти враз ожесточилось, и она ответила, повернувшись к Серебровскому:

— Я вам сама принесу молока, Александр Яковлевич, мне Ромка объяснил, где вы живете.

— Спасибо.

— Дайте мне закурить, — сказала Катя, глядя вслед девушке, которая почти совсем скрылась в траве, только рыжая голова ее прорезала синь луга.

— Не дам, — ответил Серебровский. — Это дурной тон, когда девушки курят.

— Жалко импортных...

— До свидания, — сказал Серебровский и пошел к лесу, не оборачиваясь.

«Старый идиот, — думал он, глубоко затягиваясь. — Правды, правды, ничего, кроме правды. Примочка лжи, как свинцовая вода от синяков. Мы все ждем этой примочки. Наверное, и семидесятилетние думают наедине с собой, что еще не все кончено, и что возможно чудо, и что можно еще все вернуть, если только бегать по

утрам сорок минут и принимать ледяную ванну. Конечно, не все пропало, если любить дело, свое дело. А я люблю мое дело, и я не могу без него жить, и ничего не кончено. Зачем мне понадобилось идти за этим чертовым молоком?!»

Он шел размашисто, часто хмурился, много курил, и, когда пришел к себе, спина его взмокла от пота, и он сбросил рубашку, снял брюки и начал стягивать трусы, чтобы окунуться в море, но замер, потому что услыхал за спиной голос Кати:

— Мне обнаженная натура не нужна... Для этого есть Аполлоны...

Он обернулся, нахмурившись еще больше.

Катя жевала травинку. Она держала ее в пальцах, как сигарету.

— Это я курю, — пояснила она. — Даже затягиваюсь. Видите? А с девочкой вы плохо говорили, дядя Шура. Девочка в вас влюблена... А никто так не влюбляется в четырнадцать лет, как девочки. Особенно в умного, седого дядю, который называет себя дедом. Кокетки вы все — ваше поколение, — пояснила она, — кокетки... Не дожили своего, бедненькие, не долюбили... Одевайтесь, а то вы как в бане...

Она легла в мох, утонув в нем, зажмурила глаза и тихо, словно засыпая, прочитала:

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав...

Натягивая штанину, танцуя на одной ноге, Серебровский хмуро продолжил:

Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся и снова
Меняем позы и места.

Танцуя на одной ноге, он споткнулся об корень, выругался, упал на золу костра, а когда поднялся и Катя посмотрела на него, она рассмеялась и сквозь смех, вытирая слезы, повторила:

— Вы на домового... на черта... похожи... домового...

2

Григорий Васильевич принес с чердака вяленых судаков, а жена его, Елена Павловна, достала из погреба

малосольных огурчиков — маленьких, шершавых, один к одному.

— Колбасы порежь, — сказал Григорий Васильевич жене, откупоривая бутылку шампанского.

— Зачем колбаса? — спросила Катя. — Рыба такая вкусная.

— Так колбаса ведь из города, — удивленно ответил Григорий Васильевич. — Как же без колбаски? Без нее стол торжество теряет...

— Они ж городские, — сказала Настенька. — У них колбаса не в радость.

Девушка сидела поодаль, возле окна, и закатные лучи солнца, обтекая ее, делали контуры траурными, бело-черными, и лица ее не было видно, только изредка, когда она чуть наклонялась вперед, маслено, как вечерняя морская вода, высвечивались глаза.

— Угощай гостей, — сказала Елена Павловна, — заговоришь людей-то, министр... Ему бы все поговорить, — улыбнулась она Серебровскому, — к старчеству язык распустил, нет теперь на него страху... Настька, садись...

Настьюшка отрицательно покачала головой.

— Чего там, как мумия, выставилась? — спросил Григорий Васильевич, разливая шампанское по стаканам. — Со свиданьицем, Яковлевич.

— Будь здоров, Григорий Васильевич.

Катя опустила в стакан ложку и стала размешивать шампанское, и оно сделалось пенным, шипучим.

— Это зачем? — не допив, изумленно спросил Григорий Васильевич. — В том игра, чтоб шипело, а вы газ с него выпускаете.

— В городе все так, — сказала Настенька, — чтоб выделиться...

— Нет, — сказала Катя, — что вы, Настенька... Так просто вкуснее. Хотите попробовать?

— Еще чего! — сказал Григорий Васильевич. — Я ей попробую поперек спины вожжами.

— Она же взрослая девушка, — сказала Катя.

— Она мне до старости дитем будет, — ответил Григорий Васильевич. — Закусывай, Яковлевич, колбаску бери, сырокопченая...

Серебровский чувствовал, как неприязненно относились к Кате его друзья, и он понимал, отчего они так относились к ней, и ощущал из-за этого томительное неудобство.

Катя — художник, — сказал он. — Рисует картины.

— Я студентка, — поправила его Катя, — студентка четвертого курса...

— Ей до художника еще семь верст до небес, и все лесом, — как-то обрадованно заключил Григорий Васильевич, — в учебе она еще, какая же она художница?

— У вас кто на гитаре играет? — спросила Катя.

— Сын играл, — ответила Елена Павловна, которая, казалось, сейчас захотела помочь Кате. — Лешка, средний мой...

Григорий Васильевич впервые взглянул на Катю и спросил:

— Что, на гитаре умеете?

— Немного.

— Насть, — сказал Григорий Васильевич, словно бы обидевшись за дочь, — возьми колбаски.

Девушка подошла к столу, взяла кусочек колбасы и вновь вернулась на свое место — к окну. Закат отгорел, и теперь, наоборот, лицо ее было видно очень хорошо, и мягкий свет наступивших синих сумерек скрадывал ее большие веснушки, и черты детского лица были чуть размыты и оттого по-особенному щемяще-нежны.

— Чего в Москве хорошего? — спросил Григорий Васильевич, приготовившись к серьезному разговору. Он любил строить свои политические планы, предлагать составы правительств и подправлять общую линию конкретными советами; особенно свободно он чувствовал себя в «германском вопросе» — здесь он обычно вступал в противоречие с устоявшейся точкой зрения. — Какие новости?

Серебровский хотел было рассказать о новостях; раньше ему нравилось наблюдать за тем, какие своеобразные и странные оценки давал им Григорий Васильевич; впрочем, однажды Серебровский поймал себя на мысли, что рассказывал давным-давно известные новости лишь для того, чтобы наблюдать необыкновенный механизм мышления бакенщика, и, когда он понял это, ему сделалось стыдно самого себя, потому что он сразу же вспомнил, как самозабвенно Григорий Васильевич учил его ловить рыбу, раскрывая свои секреты, и как он рассказывал удивительные истории, радуясь при этом изумлению собеседника. Поэтому Серебровский отныне рассказывал Григорию Васильевичу лишь то, что ему са-

мому было интересно, что мучило его, радовало или тяготило.

Но сейчас он почувствовал неловкость из-за того, что рядом сидела Катя, которая говорила, что ей хотелось сказать, не думая, нравятся ли ее слова окружающим.

— Да ничего особенно интересного, — ответил Серебровский, — все по-старому.

Григорий Васильевич взглянул на Серебровского с каким-то снисходительным интересом, чуть даже покачал головой и, закурив, скрыл в уголках рта улыбку.

«Сейчас она уйдет, — вдруг испугался Серебровский, — поднимется, скажет что-нибудь и уйдет».

— Можно, я возьму гитару? — спросила Катя, когда молчание за столом сделалось тягостным. — Если хотите, я вам поиграю.

— Насть, — сказал Григорий Васильевич, — гитару просят...

Настьюшка сделала какое-то странное движение, но с места своего не сошла, и тогда поднялась Катя, сняла со стены гитару, отошла к Насте, и лица их теперь не были видны, потому что стало темно, а свет в доме включен не был; она попробовала струны, поставила левую ногу на перекладину стула, где сидела Настя, и заиграла Баха. Она была недвижна, и только пальцы ее были быстры, особенно те, которые стремительно и нервно перемещались по деке.

Катя соединила — без паузы — «Аве Мария» с «Седьмой фугой», и Серебровский, слушая, испытывал странную гордость. Он победно, чуть смущаясь, посмотрел на Григория Васильевича, Елену Павловну, а потом хотел было увидеть в темноте глаза Настеньки, но так глаз ее и не увидел. Григорий Васильевич слушал Катю сосредоточенно, тяжело затягиваясь «Памиром», и Серебровский понял, что музыка эта ему нравится, и понял он, что Григорий Васильевич тоже испытывает какое-то неудобство, но это неудобство было обращено им теперь против самого себя, а уж никак не против Кати.

Кончив играть, Катя повесила гитару на стену Настьюшка неслышно вышла из дома.

Катя, которая по-прежнему стояла возле бревенчатой стены, сказала:

— Вы хорошо слушаете музыку, дядя Шура.

— Так вы играете очень замечательно.

— Спасибо, — ответила Катя и вернулась на свое место. Она села близко к Серебровскому, так близко,

что он чуть отодвинулся от ее плеча, руки и бедра, а отодвинувшись, сразу же пожалел об этом.

— Хорошо вы играете, — повторил Григорий Васильевич. — Это талант у вас такой. Лешка-то наш, оказывается, баловался. Ведь когда образца не имеешь, и козу за льва примешь.

— Настька-то, как пришла домой, — обрадованно, словно бы освободившись от чего-то изнутри ее тяготившего, быстро заговорила Елена Павловна, — и все про вас, и все про вас... «Дядю Шуру, — говорит, — видала, а с ним красавица, такая красавица, он к нам теперь потому и не ходит...»

— Это я красавица? — искренне удивилась Катя. — Нет, вот дочь ваша... Вы попросите, чтобы она попозировала мне...

Григорий Васильевич вновь насторожился, но это было в нем одно лишь мгновение, он согнал со лба хмурь и спросил:

— Это как?

— Я к вам приду с красками и холстом, а Настенька посидит около окна.

— А вы уже умеете? — спросил Григорий Васильевич. — Я думал, вы как Лешка: получил диплом — тогда и агроном... Я без обидного говорил — то, что думаю...

— И вас бы я с радостью порисовала, Григорий Васильевич...

Григорий Васильевич чуть обернулся к жене, поясняя:

— С меня портрет хочет писать.

— Да он же старик, — рассмеялась Елена Павловна, — какой в нем интерес! Он вот и на печь перебрался...

Григорий Васильевич посмотрел на Серебровского, потом перевел взгляд на Катю и сказал:

— Все же бабы из нашего ребра сотворены! Для мужчины возраста нет... Мужик — он и в гроб ложится, а все равно про молодое думает... Это вам все мерещится — блуд, блуд... А мужик, он в помыслах как ребенок... Сказки-то мужики повыдумывали, бабы с их слов детям рассказывают...

— Господи, — тихо сказала Катя и повернулась к Серебровскому, — милый вы человек, спасибо вам, что привели меня сюда.

3

...Ночь была громадная, беззвездная и тихая.

— Вы сегодня про что будете думать? — спросила Катя, когда Серебровский проводил ее до финского домика.

— Спать буду, — ответил он, стараясь подстроиться под ее манеру говорить.

Но он сразу понял, что сфальшивил, потому что она говорила лишь то, что ей хотелось сказать, и не для того, чтобы обидеть, а просто она была естественна в каждом своем слове.

— Не будете вы спать, — сказала Катя, вздохнув. Зачем говорите неправду? Думать будете... Обо мне Только вот... как?

— Хорошо.

— А я про вас буду думать плохо.

— За что же?

— А вы трус...

— Почему?

— Приходите к нам завтра, — вместо ответа сказала Катя. — Вечером в церковь пойдем... Семнадцатый век. Во всех каталогах представлена. А поп тут Колька... по кличке Антихрист. Придете?

— Да...

— Ну а сейчас идите к себе. А то ловлю проспите..

— Жор...

— Что?

— Жор... Не ловля, а жор. Про щуку не говорят «ловля».

— И принесите ваши рубашки, мне постирать хочется. И штаны принесите, у вас там дырка...

— Вы зачем так говорите? Не надо мне так говорить...

— Вы на отчима моего похожи...

— Во мне все находят сходство с кем-нибудь.

— Обидно?

— Привык.

— Разве можно привыкать к обидам?

— Спокойной ночи...

— Дайте сигарету...

— Не дам. До свидания.

Серебровский повернулся и пошел к лесу. Он знал что Катя стоит возле крыльца, и поэтому он шагал осторожно, чтобы слышать ее у себя за спиной.

Заснул Серебровский, когда между соснами забрезжил серый, вкрадчивый рассвет, спал недолго, полчаса, от силы минут сорок. Пробуждение его было радостным, но потом он увидел над собой лицо Кати и зажмурился, потому что не мог сразу понять, приснился ему этот вчерашний день или был он на самом деле.

«Старый болван, — подумал он, — не выдумывай историй в стиле современного кино... Ничего не надо. Просто следует беречь ту тишину, которая устоялась во мне, и не придумывать ничего. Игра сыграна, а дело есть дело, и незачем сейчас качаться на люстре».

Серебровский поднялся, ощутил во всем теле усталость и рассердился на себя еще больше: «Это уже не по мне — ложиться спать под утро». Он пошел к морю. Над морем слоился туман. Серебровский вошел в воду, окунулся, зафыркал, чувствуя, как проходит слабость, и как цепенеет кожа, и как горячо делается в затылке и за ушами.

— Ля-ля-ля! — запел он нарочито фальшивым голосом. Ему нравилось петь в лесу фальшивым голосом. Он был свободен в этом громадном сером хвойном лесу. В детстве он очень любил петь, и мать отвела его в музыкальную школу. Ей сказали, что наиболее перспективной в ближайшем будущем будет виолончель, и матери показалось занятным, что ее маленький сын будет играть на округлом, женственном инструменте. Он спел тогда «Шел отряд по бережку», но педагоги сказали, что мальчик декламирует, а не поет и настоящий музыкант из него не выйдет, и сказали они это при нем, с тех пор он всегда стыдился петь на людях; иногда его товарищи — и в школьные, и в студенческие годы, и на фронте — пели песни, а он молчал, и его обвиняли в отсутствии «чувства коллективизма». Серебровский отвечал, что любит делать лишь то, что он умеет делать по-настоящему. Выучившись за год играть на рояле, он разучивал Дебюсси и Равеля, но играл только тогда, когда был один, и очень громко пел — тоже когда был один, и отчего-то особенно ему нравилось петь дурным голосом и фальшиво — словно он мстил тем старым педагогам в музыкальной школе, которые сказали, что он напрочь лишен слуха.

...Плавал Серебровский плохо, всегда норовил бултыхаться возле берега, потому что у него после контузии сильно сводило правую ногу, и однажды он чуть не утонул в Гагре, когда друзья затащили его на «заплыв».

Растеревшись докрасна мохнатым сине-желтым поло-

тенцем, Серебровский наскоро перекусил, положил в лодку спиннинг, набор блесен и транзистор — отчего-то ему казалось, что рыбалка сегодня не получится и можно будет поспать возле каменного острова, спрятав от солнца голову под маленький тент, который он приладил к левому борту.

Он даже не стал блеснить, приплыв на место. Он лег на резиновую надувную подушку, поставил лодку так, чтобы голова его была в тени, включил транзистор и уснул, сосчитав до семидесяти девяти.

Сон ему пригрезился странный — в цвете и музыке, но без сюжета. Вообще он любил смотреть сюжетные сны. Старушка, которая жила в его доме последние двенадцать лет, подолгу объясняла ему значение снов, и он знал, когда она говорила правду, а когда обманывала его, успокаивая. Он купил у букиниста затрепанный сонник, изучил его и отдал для анализа своим коллегам по биофизике — он был тесно связан по работе с теми, кто изучал высшую нервную деятельность.

Этот утренний цветной музыкальный сон был коротким и странным, и, проснувшись, Серебровский вскочил, чуть не опрокинув в воду транзистор, потому что, просыпаясь, он где-то на незаметной грани сна и бодрствования увидел громадную черную доску и аудиторию и весь строй математического доказательства, над которым он бился последние полгода. Он увидел сейчас один общий ответ и успел понять, что уравнение должно быть единственным, «цельнотянутым», как он любил говорить коллегам, и он начал быстро грести к берегу, чтобы записать это решение на бумагу, но потом понял, что, собственно, делать этого нет смысла, поскольку понятное и увиденное глазами он запоминал намертво.

«И сейфа нет, — вдруг усмехнулся Серебровский, — некуда будет спрятать, и я буду сходить с ума, пока рыбачу, — как бы кто не свистнул из-под подушки. Глупо, конечно, но ведь привычка — вторая натура, как ни крути».

Он все-таки записал систему доказательства на бумаге, порадовался тому, как красиво все выстроилось, а потом бумагу сжег на костре. Он записал это уравнение только для того, чтобы полюбоваться тем стройным рядом цифр и знаков, которые еще две недели назад казались ему ненавистными, раздражающими и кровавыми: математик, он не понимал, как можно говорить о его науке «сухая». Нет теперь более кровавой науки, чем

математика, ибо она в равной мере рассчитывает замысел атомщика и добрую идею реаниматора.

«В общем-то, — вдруг понял он, — записать можно еще экономнее и четче, с выигрышем в темпе. Это я сейчас здорово все придумал».

Он решил было записать и это свое новое решение — он работал по принципу цепной реакции: чем лучше работалось, тем он больше готов был сидеть за столом, важно только, чтобы пошло и чтобы ему точно представилось начало и конец — середина, как правило, его не волновала. Он очень обрадовался, когда Степанов сказал, что на каком-то их писательском совещании один из драматургов предложил провести совещание по «третьему акту». Если начало еще умеют как-то делать, то с концовками все обстоит сложнее и путаннее.

Серебровский нашел еще два листка бумаги, но потом, неожиданно для себя самого, поднялся и быстро пошел через лес — к домику, в котором жила Катя.

Он сейчас отчетливо понял, что все сегодняшнее утро перед ним стояло лицо Кати; он только сейчас осознал это, хотя видел ее лицо все те минуты, пока купался, злился, спал и решал свое уравнение.

Он шел через лес и думал: «Старый идиот, куда я иду? Зачем все это? Не дури и возвращайся назад. Это все не для тебя, и не надо замахиваться на то, что не состоялось! Все это смешно и жалко со стороны. Возвращайся в свой сарай, а еще лучше — соберись и беги домой».

Выходя из леса на луг, он потер щеки ладонью и сказал себе:

— И вообще надо побриться...

* * *

— Вам кого? — спросил высокий, атлетически сложенный парень; он чистил картошку, пристроившись на раскладном стульчике возле крыльца. — Катиш? Вы, видимо, тот самый дед?

— Тот самый.

— Катиш сегодня трудится. Рисует вашу прежнюю пассию, дедуля.

Серебровский едва сдержался, чтобы не сказать этому загорелому парню грубость.

«Я разозлился на него за молодость и силу, — возразил он себе, — меня ведь обидел не его тон, а спокойное превосходство силы — за ним двадцать пять лет

жизни, и живота нет, и ручищи вон какие здоровые...»

— Что-нибудь передать? — спросил парень, продолжая чистить картошку. Он чистил ее неумело, срезая с кожурой много белого «мяса».

— Нет, благодарю вас, — ответил Серебровский и, повернувшись, пошел в свой лес.

Парень окликнул его:

— У вас брюки порвались.

— Я знаю.

— Чего ж не зашьете? Нет иголки?

— Есть. И нитка тоже.

...Он возвращался через лес, и было сейчас ему пусто в этом громадном тихом лесу, и все в нем погасло, и цветы вокруг сделались жухлыми, неинтересными, и сам он себе стал противен. Он остановился около сосны, прижался спиной к ее стволу и замер, и долго стоял так, не двигаясь, а потом он услышал какой-то странный цокающий звук, который все приближался вместе с тяжелым сопением, а после он увидел, как на поляну вышли два оленя, и понял он, что цокающий странный звук возникал, когда они сходились и начинали биться рогами. Один олень был высокий, с подплешинами на боках, с громадными ветвистыми рогами, а второй, молоденький, весь отринутый назад, пружинистый и налитой, поводил головой с маленькими еще, странной атакующей формы рогами и наступал — медленно, осторожно, кося синим, с кровавыми прожилками, глазом.

Серебровский не заметил то мгновение, когда молодой олень бросился в атаку — так внезапен был переход от медленного к стремительному. Старик, словно опытный боксер, прыгнул в сторону в самый последний миг, когда, казалось, острые рога соперника ударят его в шею, и брызнет дымная кровь, и он падет на сломанные, хрусткие колени, а потом медленно повалится на бок.

Молодой проскочил, замер, резко обернулся и снова бросился в атаку, и старик подпустил его близко к себе, а потом отступил в сторону и ударил рогами в бок, и молодой едва удержался на ногах, развернулся и снова ринулся в бой, и на этот раз старик не рассчитал, и удар пришелся ему в лопатку, и он дрогнул, но устоял на ногах и начал отступать к лесу, а молодой протяжно затрубил, и в этом крике его была радость победы. Он наклонил голову еще ниже, спружинился и понесся на старика, и это его движение было страшным своей направленной, всесокрушающей скоростью, а старик стоял

около дерева, и Серебровский даже зажмурился, представив себе, как острые рога молодого оленя пропорют старика, но странный звук заставил его открыть глаза, и он увидел, как старик медленно уходил в лес, а молодой олень мотал головой, стараясь освободить левый рог, вонзившийся в ствол дерева, и сильное тело зверя сейчас было жалким и беспомощным. Серебровский подошел к оленю, достал нож и начал вырезать кору вокруг рога, вонзившегося в дерево, а потом взял рог обеими руками и начал раскачивать его, и не понял он, как полетел спиной на землю, и, больно ударившись о камень, лежавший во мху, усмехнулся: на поляне было пусто, только обваливалась кора и раскачивалась крона сосны.

«Вот старая сволочь, — подумал Серебровский, поднимаясь с земли. — Как же он обхитрил этого молодого бедолагу! Мы все, старики, такие вот хитрые. Победить-то по всему должен молодой, и это разумно, ан глядишь ты...»

Серебровский поймал себя на мысли, что думал он сейчас нечестно, словно бы вслух, а на самом деле ему было приятно, что старик так мужественно и хитро выиграл бой, и сделалось ему стыдно самого себя, до того стыдно, что он даже быстро огляделся, не видел ли его кто...

Он долго прикуривал, потому что дрожали руки, потом сел под деревом и вдруг вспомнил свою лекцию в Бонне. Он читал тогда в большой аудитории университета, а за его спиной была тишина, а там на скамейках сидели пятьсот студентов и профессоров, и был только сухой морзяночный перестук мелка по гладкой поверхности черной доски, растянутой словно широкоформатный экран. А когда он кончил писать свое доказательство, раздались аплодисменты, и его провожали аплодисментами, пока он шел по коридору, а когда он спустился вниз, в него полетели гнилые помидоры и камни — у выхода стояли ребята с гуманитарных факультетов, восставшие против своих старых профессоров, связанных с нацистами, и его посчитали одним из «бизонов», и Серебровский потом сказал коллегам, что расизм приобрел теперь новую грань — возрастную. Он, впрочем, отказался потом от этой своей формулировки, потому что талантливость предполагает доброту, прощение и, в первую голову, поиск своей вины, прежде чем вынести обвинение другому, а еще страшнее — другим. Он спорил тогда с собой: «Эти молодые правы, и я в конце концов могу

отдать испорченный пиджак в химчистку. Обидно, конечно, когда тебя бьют единомышленники только за то, что ты рожден на тридцать лет раньше. Но они выступают против нацистов, а для них нацизм определен возрастом — те, кому за сорок, могли жечь Новгород и Орадур. Но ведь они могли — те, кому за сорок, — быть солдатами другого фронта... Видимо, в памяти молодого поколения всегда сильнее сохраняется зло или же представление о нем. Добро забывается скорей, чем зло. И это тоже правомочно: помни люди одно лишь добро, злу было бы легче, ибо добро всегда однозначно, а зло многолико, а потому опаснее. Ничего, я потерплю, и даже не обижусь на них, и даже поблагодарю их за то, что они звезданули в меня гнилыми помидорами — откуда только, черти, тухлые нашли?..»

...Серебровский вошел в свой сарай и остановился около двери: на его надувном матрасе сидела Катя, обняв острые коленки тонкими руками; она смотрела на него спокойно и грустно.

— Я за вами, — сказала она. — Вы же обещали прийти, милый дедушка Шура.

4

Длинный крепкий парень, который предлагал Серебровскому иголку, сильно пожал его руку.

— Леонид Громов, — сказал он. — А это Лида, она заикающийся товарищ, поэтому молчалива.

Девушка улыбнулась:

— Я з-заикаюсь только на с-согласных.

Они встретились на околице, возле маленькой церкви. Деревянные ее купола на фоне закатного неба казались стальными, настороженными.

— Католические церкви похожи на ракеты перед запуском, — сказала Катя.

— Это она хочет показаться вам умной, — пояснил Леонид, — так сказать, разведка боем.

Серебровский почувствовал себя неудобно, он не понимал, как можно так говорить о девушке, но Катя не обиделась; усмехнувшись, она продолжала:

— Нет, правда... Я вообще считаю, что храмы — это память людей о ракетах... После первой атомной войны в самых диких уголках планеты уцелели люди, и какой-нибудь неграмотный дед рассказывал своему внуку о ракетах, которые тогда были... А внук не мог себе этого

представить, нельзя же, чтобы каждый был гением и мог представить невиданное...

— Кювье? — спросил Серебровский. — Верите в теорию цикла? Все уже было? Человечество уничтожает самое себя, а потом повторяет пройденный путь наново, до новой катастрофы?

Леонид обернулся к Лиде:

— Видишь, как умные люди говорят, старуха! Мотай на ус, пригодится, когда политэкономию будешь сдавать...

...Отцу Николаю было лет двадцать пять. Очень высокий, мускулистый, с пушистой бородкой, он кончал обряд крещения... Мать, немолодая, с пергаментным лицом женщина, пела вместе с Николаем безголосо, перевирая мотив, явно мешая священнику, и все время завороженно смотрела на своего ребеночка, единственного и — как объяснил потом Николай — вымоленного в этой церквушке.

Заметив вошедших, священник суетливо заторопился, слова стал произносить гнусаво и невнятно, быстро закончил обряд, сунул руку женщине; она нежно и благостно приложилась к его пальцам и хотела было сунуть деньги, но Николай строго ее предупредил, отодвинув от себя:

— В ящик, в ящик, на нужды храма, Фрося. Я не беру, сколько вас всех учить.

— Берет, сукин сын, — шепнула Катя, — еще как берет... Перед нами сейчас выкобенивается.

Когда женщина ушла, отец Николай сказал:

— Добрый вечер, живописцы. Что, продолжим наш диспут — Луначарский против Введенского?

— Продолжим, — согласился Леонид.

Катя сказала Серебровскому:

— Мы сюда будто на занятия ходим: видите, как расписаны стены? Семнадцатый век. Только тогда так умели соединять красный и черный цвета.

— И сейчас на похоронах соединяют, — сказал Леонид. — Даже еще лучше.

Лида, видимо, что-то заметила в лице Серебровского и попросила его:

— Вы, пожалуйста, н-не обращайте на н-него внимания, у Лени всегда т-такой агрессивный стиль...

Отец Николай вернулся — в белой сетчатой тенниске и спортивных брюках. Серебровский поразился перемене,

происшедшей в священнике: он сейчас был похож на борца — так сильны были его плечи, шея и руки.

— Коля, познакомься, пожалуйста, — сказала Катя, — это Александр Яковлевич.

— Очень приятно.

— Ты у нас «отец», — сказал Леонид, — а Катин приятель «дед». Сплошная преемственность поколений.

— Где соберемся сегодня? — спросил священник. — У вас или на берегу?

— Н-на берегу. Там с-сырье для шашлыка и алкоголь.

Засмеявшись, отец Николай как-то опасливо посмотрел на Серебровского.

— Я не из епархии, — успокоил тот.

— Педагог? Инспектируете творческую молодежь?

— Просто отдыхающий. Отдыхаю, рыбу ловлю.

— Ах, так... А я, видите ли, судил по сединам.

— Наша Катиш, — пояснил Леонид, — тянется к авторитетам.

— Седины — это скорее от возраста, чем от авторитета, — сказал Серебровский. — Истинными авторитетами становятся в молодости. Когда человек становится авторитетом в старости — в этом есть что-то искусственное, сделанное.

— Так вот заигрывают с незрелой молодежью, — усмехнулся Леонид и обернулся к Лиде: — Ну что, марш-бросок на берег?

— Я-то на мотороллере, — сказал отец Николай, — мне бежать неловко... Паства не поймет...

— Костер там разожги, пастырь, — попросил Леонид, — чтоб искры стреляли в звездное небо.

Когда они вышли из храма, уже наступили ранние быстрые сумерки и в высоком небе угадывался размытый серп снежного месяца.

Священник уехал на своем маленьком мотороллере, а Катя, Леонид, Серебровский и Лида пошли следом за ним по песчаной дороге, казавшейся в сосновом лесу белой и зыбкой, словно припорошенной первым осенним снегом.

Прислушиваясь к тому, как замирал треск мотора, Серебровский сказал:

— У реактивного лайнера точно такой же ритм работы, если слушать с расстояния в двадцать километров.

— Ну и что? — спросила Катя.

Серебровский смутился.

— Нет, ничего, — ответил он. — Просто я сказал, как вы меня учили, — то, что подумалось.

— Способный вы ученик, — заметил Леонид, — так уж стараетесь, так стараетесь.

— Ты обязательно х-хочешь всех рассорить, — сказала Лида. — Зачем?

— Я? Рассорить? Почему? Я говорю по методу Катиш — то, что чувствую. Вот сейчас я, например, чувствую, что надо сделать марш-бросок. А то в воду будет холодно лезть.

И, не дожидаясь остальных, он побежал по белой зыбучей дороге, то исчезая в тени деревьев, то рельефно высвечиваясь, когда лунный свет контурно фиксировал его фигуру.

Лида побежала следом за ним, мельком взглянув на Катю и Серебровского.

— Вы можете? — спросила Катя. — Или пойдем пешком?

— Я могу. Я по восемь километров каждый день бегаю, — с готовностью ответил он.

— Трусцой, что ль?

— Ею.

— Вы хорошо отвечаете, когда злитесь... Ну, бежим?

Они побежали, и Серебровский снова, в который раз уже за сегодняшний день, подумал, что со стороны он смотрится унизительно и смешно, словно примазывается к чужому счастью. Он видел, что Катя нарочно сдерживает шаг и что бежать она может значительно быстрее, и он подумал, что вся эта спасительная медицинская трусца придумана лишь для тех, кто пропустил свою молодость, а сейчас лихорадочно старается отдалить унизительную старость.

— Можно и побыстрей, — сказал Серебровский.

— Дыхание собьете разговором, — сказала Катя. — Молча вам надо бегать, а то отстанете.

— Не отстану. Бежим скорее.

— Память у вас хорошая?

— Это вы просто так спрашиваете или станете издеваться?

— Если очень устанете, наберите мой домашний номер...

— Это вы зачем?

Катя обернулась, и лицо ее было голубоватым в лунном свете, а губы, казалось, были измазаны шоколадом. Она стремительно бросилась вперед, и Серебровский по-

нял, что бегает она по-спринтерски, профессионально, и, когда она скрылась за поворотом, решил было повернуться и уйти к себе, но потом резко себя одернул: «Как старая кокетка. Если решил уходить — надо было сразу уходить, а не рассусоливать».

Когда он прибежал на берег, потеряв дыхание и вспотев, все уже купались посредине маленького заливчика, ограниченного тремя мшистыми валунами.

— Вам досталась бронза, дед! — крикнул из темноты Леонид. — Мы тут посоветовались и решили не вбивать клин между поколениями: Лида и Катиш уступили вам третье призовое место. Плавать умеете?

— Только вдоль по бережку, — ответил Серебровский.

— Здесь хорошее дно, — сказала Катя, подплыв к валуну. — Ныряйте, тут хорошо нырять.

— Я лучше отдышусь, — улыбнулся Серебровский, — а заодно шашлык отлажу.

Он отошел к костру и поднял крышку кастрюли. Мясо было чуть обрызгано уксусом: помидоров, лаврового листа и перца не было.

Серебровский вспомнил, как он готовил свой фирменный шашлык на даче, когда у него собирались друзья на день рождения, — вымоченный в красном вине, пересыпанный сунели, которую присылали из Тбилиси его ученики. Этот шашлык был символом празднества. Друзья по академии съедали по кусочку, от силы по два, выпивали по бокалу морозного кахетинского и разбредались по даче — договариваться, спорить, решать вопросы, иногда вспоминать былое, да и то уже в конце, перед разъездом.

«Мой шашлык, — вдруг понял Серебровский, — был лишь поводом для быстрого решения дел — можно договориться напрямую, минуя бюрократов. А здесь ребята собрались поесть и повеселиться. Им не важно, что шашлык из говядины и без специй. Важно, что есть несколько кусков мяса, много хлеба, костер и море. Им все мои шашлычные церемонии ни к чему. Молодому человеку и такой шашлык в счастье, а я раб дела, и я не могу сказать о моем деле «будь оно проклято», никогда не смогу этого сделать».

Серебровский нарезал несколько ивовых веток, очистил кору, нанизал мясо и раскидал костер так, чтобы угли легли ровной черно-красной площадкой.

— Александр Яковлевич, — снова позвала его Ка-

тя, — да будет вам! Идите купаться, вода как молоко!

— Добавь — парное, — хмыкнул Леонид. — Тогда ты будешь до конца оригинальной.

— А кто дальше пронырнет?! — крикнул священник. — Я тут до вас тренировался. Рекорды ставил! Жаль, акул нет, я бы повторил сюжет Олдриджа: отец, сын и подводное плавание.

— Сначала сына заведи, — сказала Катя, — а у тебя и матушки нет.

— Нашел бы он матушку, перестал бы служить батюшкой, — сказал Леонид. — За попов нынче одни аферистки идут.

Катя плеснула в него водой, отец Николай, поднырнув, схватил Леонида за ноги, и они начали смешливо дурачиться в воде: то ходили по дну на руках и делали стойку, то подбрасывали с рук Лиду и Катю, потом носились друг за другом наперегонки, выскакивали из воды, карабкались по громадному валуну на вершину, ныряли оттуда в темно-зеленоватую жуть ночного залива, а Серебровский сидел возле костра, обжаривал шашлык и вспоминал май сорок пятого, когда вот так же кругом все смеялись, кричали и пели, а он сидел на кладбище в Рансдорфе, на могиле Лены Ивановой, которую убили в последний день войны. Серебровский был влюблен в Лену, краснел, когда смотрел на нее, и над этим потешался младший лейтенант Мерзоев из седьмого отдела — ему было тридцать пять лет, и он казался тогда Серебровскому стариком, и он жалел Лену, которая приходила к Мерзоеву по ночам...

5

— Еще бы мясца-то, — сказал Леонид, обгладывая маленькую кость. — Хорошо мясо... Браво, Александр Яковлевич, браво! Благодарим от лица службы... Не пропадете при возможных жизненных переменах — поваром будете.

— Я в Москве угощу вас настоящим шашлыком, — пообещал Серебровский и придвинулся к костру.

— Про Москву не надо бы, — сказал Леонид. — Это переводит наши отношения в разряд курортных знакомств: «Обязательно соберемся, вот мой рабочий телефон, звоните, жена будет рада!»

— Чего вы такой ершистый?

— От характера, — ответила Катя. — И от папы.

У него папа — щука, а он пока что ерш.

— У меня папа акула, — поправил ее Леонид. — Не лакируй действительность, не надо.

— Все время пикируются, — обернувшись к Серебровскому, сказал священник. — Словно на диспуте католика и мусульманина.

— Вот-вот, — согласился Леонид. — В корень смотришь. А посему отпусти грехи, милый!

Он сделал глоток из бутылки, лицо его перекосило, он долго дышал горбушкой, тряс головой, а потом сказал:

— Не водка у нас, а дурман для трудящихся. Такой водкой можно убить даже импрессионизм: все цвета на один лад — серое с зеленоватым.

Лида включила транзистор. По «Маяку» передавали музыку из оперетт.

«Двадцать второго июня тоже все утро передавали танцевальную музыку и арии из оперетт, — почему-то вспомнил Серебровский, — дуэты Михаила Качалова и Татьяны Бах. Смешно: Качалова помнят мхатовского, а фамилия Бах связана навечно с церковной музыкой. Так всегда: мы рабы установившихся представлений. Во всем. Откуда это? От школы? Видимо. Наша метода школьного преподавания неправомочно авторитарна: «Только так, и никак иначе». При такой системе застенчивый гений может остаться непроявившимся, а натренированный исполнитель чужих замыслов вправе сделаться эталоном для подражания. Надо детей начиная с первого класса информировать о прошлом, приглашать к рассуждению о настоящем и знакомить с самыми разными прогнозами на будущее. Для школ надо выпустить «Справочник данностей». Против «дважды два» не попрешь, а что касается методов доказательства теоремы, то здесь в недалеком будущем возможны самые различные варианты».

— Пошли потанцуем? — предложила Лида Серебровскому. — А то грустно стало.

— Скажи на милость, — сказала Катя, не отводя глаз от костра, — целую фразу махнула, и ни одного заикания: это значит, танцевать человеку охота.

— Она с ним, а ты со мной, — сказал Леонид и, быстро поднявшись, взял Катю за руку.

Серебровский улыбнулся Лиде:

— Вы уж простите меня, я танцевать не умею, сколько ни учился...

«А улыбка-то у меня вымученная получилась», — подумал он, наблюдая за тем, как Леонид перебрасывал Катю с руки на руку, как он властно вертел ее вокруг себя и как он смело брал ее за плечи, привлекая к себе, а потом лениво отталкивал, чтобы через мгновение снова приблизить.

— Красиво танцуют, — сказал отец Николай. — Я недавно прочел в «комсомолке», что францисканцы теперь пляшут вместе с молодой паствой шейк и хали-гали, и удивился, а теперь понял: они правы, они умно себя ведут. Сейчас контакт с аудиторией одним лишь глаголом не наладишь.

— Архиерей вас сожжет, как еретика, — сказал Серебровский, — начни вы эдак отплясывать с паствой.

— В архиереях ли дело? Они теперь все с ярмарки...

— Простите мой вопрос, — сказал Серебровский и закурил. — Вы сами-то верующий?

— Я работаю, — помолчав, ответил отец Николай. — Священник — это сан, работа, как говорится... А вера, если она существует, должна быть сокрыта, как у древних римлян...

— Н-нет, а правда, Коля, ты верующий?

— Лидочка, какое это имеет значение в конце концов? Это уж если откровенно... Людей я не обираю, водку не жру, газеты читаю...

— Ц-цинично это, Коля.

— В какой-то мере, Лидочка, в какой-то мере. Я не спорю... Я воспитывался в семье у деда, он был дьяконом в Якутии. Потом он умер, и мы очень голодали. Мои сестры смогли кончить медицинский и педагогический, потому что я поступил в духовную академию...

— К-крестить, не веруя, — сказала Лида задумчиво, — такого еще не было в мире.

— И это пройдет, — ответил ей отец Николай, — все пройдет, Лидочка.

Серебровский теперь не таясь смотрел на Катю и Леонида. Они танцевали все быстрее, и он диву давался, как они чувствовали музыку, угадывали изменение ритма, как они понимали друг друга и как точно корреспондировались их движения. Серебровский подумал, что если их движения рассчитать поврозь, то они будут исключать друг друга, но, сложенные воедино, они, словно чудо, рождали литое, целое, выверенное и логичное — ничего лишнего, словно хорошая математическая фраза с единственно возможным решением.

— Эй, Николашка, — крикнул Леонид, — францисканец! Давай с нами! Лидуня, возьми шефство над архиереем!

И они стали танцевать вчетвером, но не парами, а все вместе, и отец Николай танцевал так же раскованно и точно, как и все остальные, и было это ему, видимо, не внове, а Серебровский сидел возле костра и ворошил угли, ставшие траурными, черно-красными.

«Глупо все это, — продолжал думать он, — все глупо, а самое глупое — это мое унылое, трусливое самокопание. Наверное, и не Катя меня тянет, потому что, когда Мерзоев был с Леной Ивановой, у меня сердце разрывалось и тоска была смертная, а сейчас мне просто грустно, особенно когда я гляжу, как этот парень командует ею. Наверное, меня тянет к ним страх перед временем, которого у меня осталось так мало».

Катя села к нему и тихо спросила:

— Хотите, мы сейчас уйдем к вам?

— Это же неудобно, тут ваши знакомые...

Катя смотрела на него какое-то мгновение по-прежнему добро и странно, а потом ее глаза сделались злыми, как в первую минуту их знакомства, и, до обидного снисходительно хмыкнув, она легко поднялась и вернулась к товарищам, которые учили отца Николая танцевать какой-то новый танец.

6

...Серебровский добрался до дома лишь в начале шестого. Заспанная лифтерша отдала ему толстую связку газет, журналов и писем, которые пришли домой в его отсутствие, и, зевнув, вернулась в свою каморку за лифтом.

Приняв ванну, Серебровский побрился и, переодевшись, ушел из дома.

Он сумрачно поздоровался с вахтерами, удивленно посмотревшими на него, сумрачно пересек громадный асфальтированный двор опытного завода, миновал еще одного вахтера и оказался в своем КБ. Дежурный по первому этажу отдал ему ключ от кабинета, тоже удивленно посмотрел при этом на Серебровского, и Серебровский даже задержался на мгновение перед большим зеркалом, чтобы посмотреть, все ли у него в порядке с туалетом. Он отпер дверь, на которой была укреплена черная с золотым дощечка: «Генеральный конструктор,

академик Серебровский А. Я.», миновал большую секретарскую приемную, вошел в свой небольшой кабинет и сразу же включил селектор. Он хотел немедленно включиться в работу, чтобы исчезло то ощущение тяжести и пустоты, которое преследовало его все то время, когда он ушел ночью от костра, и пока шел к себе в сараюшку, и пока складывал спиннинг и рюкзак, и пока добирался на попутной машине до аэродрома, и пока летел в Москву. Все это время перед ним стояло лицо Кати, и он гнал от себя это видение и боялся, что оно исчезнет — как хорошая музыка в приемнике, которая кончается, и кажется, будто никогда такой мелодии больше не услышишь.

— Начальников отделов и главных конструкторов прошу зайти ко мне, — хмуро сказал Серебровский в микрофон селектора, но никто ему не ответил, как было принято, и он решил, что плохо нажал кнопку, и повторил еще раз свою просьбу немедленно прийти к нему ведущих работников его конструкторского бюро, но снова в селекторе была одна лишь шершавая тишина, и тогда он взглянул на часы и увидел, что еще только семь тридцать и никого сейчас здесь нет и не может быть.

Серебровский отошел к большому окну и прижался лбом к стеклу. Он смотрел на громадные корпуса опытного завода, на стеклянные дома лабораторий и думал, что это его детище, которому он отдал четверть века, половину всей жизни, сейчас мстило ему — холодно и отстраненно.

«Я всегда торопился, — думал он. — Я очень торопился делать мое дело и поэтому терял время, а скорее всего попросту его не заметил, а время невосполнимо, ничем не восполнимо, и, видимо, оно-то, это невосполнимое время, и определяет человеческое счастье — в полной мере...»

ПРОЩАНИЕ С ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНОЙ

(Или две ненаписанные повести)

Посвящается Е. М.

1

Здесь, в мартовских Карловых Варах, светает рано, сквозь клочья тяжелого, набухшего тумана, который таинственно клубится в котловине, а потом, нехотя и лениво, поднимается в горы, и тогда взору открываются красные черепичные крыши, тронутые глянцевой изморозью, сказочные трубы, из которых струятся тугие, серые дымы, черный лес и мокрые песчаные дорожки в нем.

Я вышел из санатория «Империал», когда еще было сумеречно, и на улицах ни души, и не громыхали еще автобусы, и туман был так близко, что можно было подпрыгнуть и дотянуться до него, как когда-то дотягивался пальцами до сетки на баскетбольном поле; и я подпрыгнул, выбросив руку, но до тумана не дотянулся, потому что последний раз играл в баскет, когда мой институт сражался против энергетиков, а было это двадцать лет назад.

...Я попробовал прыгнуть еще раз, но получилось того хуже, и я трусливо успокоил себя тем, что туман поднялся, а ведь туман-то не поднялся, он клубился рядом, близко, окрест...

«Не лги себе, сказал я. — Не надо. Мы живем в возрасте, словно в социальной группе, и движемся этой единой массой— во времени. Мы не замечаем собственного старения, как, впрочем, не очень замечаем мужания тех, кто идет следом за нами, — мы точно видим лишь, как делаются стариками те, которым было сорок, когда мы кончали институт. Собственная седина кажется новым качеством всего лишь».

А потом я услыхал треск мотоциклетного мотора. Мотоциклист поднимался от Лазней по крутой серпантинной дороге. Он был в черной, намокшей под дождем кожанке, за спиной у него висел портфель, и хотя лицо было скрыто большими очками, но на губах паренька можно было прочитать счастливую улыбку.

Осторожно вписавшись в вираж, мотоциклист проехал мимо меня и скрылся за поворотом, и я остался один, и мне сделалось страшно, потому что это я проехал мимо самого себя, и нет меня, и не увижу я себя больше таким — в мокрой кожанке, с портфелем за спиной, куда ты прятала два бутерброда, тщательно завернутые в вощеную бумагу, когда я уезжал с Николки в университет, на кафедру Востока, к профессору Рейснеру.

...Помнишь, я привел двух грузчиков, которые злобно подхватили мое пианино и, толкая ногами двери, понесли на продажу немецкой, с подсвечниками, «Блютнер». Через семь дней я получил в комиссионном деньги и купил себе новенький красный «Ковровец», и вожделенно сел на седло, и проехал по двору, и ощутил странное и страшное чувство скорости — будь оно неладно! Наверно, все и началось именно с этого «Ковровца», который позволил мне экономить время.

В тот первый день я очень торопился к тебе и «Ковровец» казался мне мощной «индианой». Я выжимал максимальную скорость, трескучую, ветряную, казавшуюся тогда стремительной — пятьдесят километров, и я пел песни от счастья, и, наверное, именно из-за этого меня остановил орудовец и потребовал права, а у меня еще не было прав, и он попросил меня отогнать мотоцикл «в сторонку», и я понял страшный смысл, заложенный в этих его словах, и начал рассказывать ему своими двадцатипятилетними словами про то, как ты меня ждешь. «Лучше опоздать, чем вовсе не доехать», — сказал тот орудовец и достал из своей полевой сумки бланк протокола, и тогда я прочитал ему стихи Щипачева про то, что надо дорожить любовью, «с годами дорожить вдвойне», и эти стихи были написаны словно для пятидесятилетнего орудовца, и он вздохнул, а я замолчал, понимая, что всякое неосторожное слово может разрушить то настроение, которое родилось в нем из-за щипачевских строчек. Он встряхнул ручку, и я подумал: не пустить ли мне слезу — трезвые слезы действуют на работников ОРУДа, но я не умел и не умею плакать и завидую тем, кто может облегчить свою боль слезами. (Вообще-то я не могу

понять, отчего боль трансформируется в соленую бесцветную воду? Кровавые слезы — это метафора, а я не очень-то верю матафорам.)

— Ну-ка, сядь на мотоцикл, — сказал орудовец и еще раз встряхнул свою ученическую ручку, — покатайся тут, пока никого нет.

И я начал показывать ему класс езды, падая в развороты и демонстрируя резкое торможение.

— Не доедешь ведь, — вздохнул орудовец, — убьешься. — И, улыбнувшись, он будто вспомнил что-то очень важное, свое, давнее. — Потихоньку только, — сказал он, отпуская меня, — не гони...

Подъехав к тому дому, где ты жила тогда, я ощутил свой новый, истинно мужской запах — бензин пополам с ветром. Наверное, это невозможно и бензин убьет запах ветра, напоенного липовым цветением, но так мне казалось, и, видимо, не стоит корректировать свои чувства во времени.

Я помню, как въехал тогда во двор. Я помню тебя — какой ты была восемнадцать лет назад: раскосые глаза и длинные гибкие пальцы, которые умели раскрываться, как лепестки, и я помню, как ты закрывала лицо и была видна только кнопка носа и большие, телячьи, добрые глаза, и шепот твой, доверчивый и единственный, — нет такого другого и не будет больше никогда.

Память оказывается самым большим злом, когда расстаются те, кто любил. Каждый из нас, что бы ни ждало нас в будущем, обречен на пустоту и постоянную мучительную перепроверку прошлым любого нового человека, с кем может свести жизнь. Мы будем проецировать на этого нового человека то, что у нас было. Каждый из нас, по прошествии какого-то времени, станет думать о том, что ты или я поступили бы на месте этого другого человека иначе, и это окажется постоянным и горьким чувством невозместимости.

Помнишь, я тогда предложил тебе сесть на багажник «Ковровца» и обхватить меня руками? Я очень хотел увезти тебя в лес и покатать по мягким белым песчаным дорожкам и посидеть на берегу реки, наблюдая, как поднимается тяжелый слоистый туман, а потом разжечь костер и ощутить счастье от того, что мы молоды и что все у нас впереди...

Помнишь, ты тогда засмеялась и сказала, что никогда не сядешь на багажник, потому что он слишком мал для тебя и ты не хочешь быть смешной, и я ужасно, до не-

стерпимой боли, обиделся, потому что весь день мечтал о том, как повезу тебя по дорожкам и моя скорость сделается нашей общей скоростью.

Господи, кто ж это выдумал: принимай человека таким, каков он есть? Тебя я принимаю только такой, какой ты мне мечталась. И никакой другой.

Наверное, не надо мне было уговаривать тебя тогда. Но если бы я думал о наших с тобой отношениях как политик, исповедующий постепенность, тогда, значит, нет любви, ибо, если начинается политика, то в силу вступают законы, не связанные с нежностью.

Сейчас я думаю, что каждому, кто приходит регистрировать любовь, надо выдать анкету и попросить ответить на нее через полгода, и никак не раньше. В этой анкете должно быть пять параграфов; ответы предполагаются однозначные, никаких компромиссов. Первое: хорошо ли вам вдвоем, когда ты ищешь сухие губы и когда нет тайны, и в этом — самая прекрасная тайна бытия, и нет времени, а в этом — его высший смысл? Второе: хорошо ли вам двоим в концерте, театре, кино, в галерее? Интересно ли вам понимать друг друга, открывая мир, который отныне принадлежит вам двоим? Третье: хорошо ли вам сидеть вдвоем за столом и есть мясо, или грызть черный сухарь, или пить сухое вино или пустой чай? Четвертое: хорошо ли вам, когда вы вместе уехали в горы и идете вдвоем по тропе, и одинаково ли вы видите небо, и стеклянные ручьи, и поля тюльпанов, и можете ли вы не отставать друг от друга, преодолевать усталость, чтобы не мешать друг другу, ночевать у костра — и не гневаться, что нет места на турбазе? Пятое: хорошо ли вам, когда приходят друзья, или один из вас не любит друзей и требует, чтобы пришли иные люди, или вовсе не хочет никого видеть, полагая, что любовь довольствуется данностью — ты и я, и никого больше? Нарушение гармонии в любом из этих пяти параграфов чревато горем.

Ты тогда не хотела показаться смешной. А почему твое «я» должно было утверждаться во мнении случайного прохожего, который встретится нам в лесу? Разве это достойно — быть рабом чужих мнений? С милым-то и в шалаше рай, а тут красный «Ковровец»!

Знаешь, наверное, именно тогда я ощутил свою жалкость — я был бессилен переубедить тебя. Ты смотрела на себя не своими и не моими глазами — ты смотрела на себя со стороны. Вообще-то созерцание — это великий

дар. Оно подобно мгновению, когда человек соприкасается с прекрасным, когда он освобождается от всего земного, бренного и слышит вечность. Это обретение того, что неведомо сейчас остальным, — вот, наверное, что такое созерцание. Но ведь первые созерцатели, добрые древние эллины, дали разрушить свой мир культуры, потому что созерцание, как и все великое, чревато вторым смыслом — отрицанием атакующего начала, пренебрежением перед действием, которое всегда определяется скоростью.

...Есть, правда, и другая форма созерцания — это обращение взгляда в свой взгляд, постоянное рассматривание себя в зеркале, которое всегда криво, а собственное — особенно. Мир созерцателей такого рода разделен на две категории — тех, которые влюблены в себя (их, мне кажется, большинство), и на тех, кто себя боится, считает неполноценным, не верит в себя. Это меньшинство человечества особенно ранимо: «комплексы» требуют самоутверждения, но боятся поступка, который лишь и может отринуть неверие в себя.

Если бы я послушал тебя тогда, в самом начале, и не стал покупать мотоцикл, который дал мне первое ощущение скорости в пространстве, все у нас могло сложиться иначе: я научился бы спокойно относиться ко времени, и ходить пешком от автобуса, и ездить на электричке, и сидеть потом с тобой у печки, и рассказывать о прожитом дне, вместо того чтобы стараться написать день будущий. Скорость — это одна из форм несвободы. Я сам избрал свое добровольное рабство — экономить время, которое так нужно всем пишущим и рисующим, и некого винить в этом. Просто мой маленький красный «Ковровец» стал тем первым утешителем, который начал увозить меня от тебя, от себя самого, от нас.

Какое-то время я еще мечтал, что ты скажешь: «Давай-ка я пристроюсь на багажнике, и мы поедем по песчаным дорожкам за Аксиньино — собирать подберезовики на Пашкиной поляне». Может быть, я слишком мало ждал? Во всяком случае, ты этого так и не сказала.

2

Ох уж это французское «Возьмите!». Если вы больны, вам скажут: «Возьмите таблетку аспироля»; если вы торопитесь, вам посоветуют: «Возьмите метро»; если вы хотите убежать от самого себя и тоска давит грудь, вам

порекомендуют: «Возьмите самолет и отправляйтесь в Марсель, море и солнце, там все пройдет». Впрочем, сейчас в Париже изобретен еще один способ убежать от самого себя: надо «взять» снотворное в аптеке, прийти домой, открыть телефонный справочник, набрать номер «специальной помощи самоубийцам», позвонить туда, назвать свой адрес, а потом заглотать отраву. Проснетесь вы в светлой палате и ощутите радость воскрешения. Хотя можно ли в данном случае говорить о воскрешении в истинном смысле этого слова? Толстой познал воскрешение в появлении нового духовного качества, в доброте и преображении. Добрым быть труднее, чем обыкновенным, — это накладывает много обязательств, тогда как человек, заявивший себя суровым, вправе поступать так, как ему представляется необходимым: внешние проявления суровости предполагают внутреннюю силу — весьма распространенное заблуждение. По-настоящему характер человека проявляется лишь в его контактах с окружающими. Темперамент — качество врожденное, характер — проявление борьбы человека с самим собой — за себя же. (Я писал раньше: «Характер — это такая данность, которую можно сломить, но изменить нельзя». Я отрекаюсь от этого своего мнения. Считается, что отречение от своего мнения — проявление слабости. А что, если оно было неверным? Неужели лучше во имя угодности распространившемуся убеждению стоять на своем, зная внутренне, что это — неправда?) Каждый наделен даром любви к себе, а самолюбие, особенно самолюбие болезненное, — зло, самая страшная тирания. Тот, кто смог преступить жалость к себе, — только тот обладает даром обновления, ибо лишь отдающему воздается сторицей.

Словом, я «взял» метро и поехал в центр Парижа.

Было то время, когда народу в метрополитене совсем немного — так бывает от десяти до двенадцати: схлынул поток рабочих, служащих и школьников.

В том вагоне, куда я вошел, было пусто: женщина возле двери и я. Женщина чем-то напоминала тебя, только в ее лице была усталость, а пальцы привычно сжимали ручку портфеля, из которого торчал рулон бумаги — видимо, чертежи. Вообще-то у многих парижанок глаза похожи на твои — так же широко поставленные, они выделяются на лице, словно бы вобрав в себя все самое главное, и поэтому нос, лоб, брови, губы лишь дополняют глаза, — в горьких пунктирах ранних морщин.

А на следующей станции в вагон вошел мужчина — седой, жилистый, высокий, лет пятидесяти. Какое-то мгновение он оглядывал пустой вагон и рекламные плакаты, но я-то знал, что разглядывает он не пустой вагон, а просто-напросто рассчитывает, как бы ему половчее остаться возле двери, напротив той женщины. Он притулился к металлическому поручню неловко — мне было видно, как ему неловко, и он тоже, верно, понял, что стал неловко и начал сосредоточенно изучать уродливые и зловещие кабели, которые проносились мимо, прижатые к стенам туннеля металлическими держателями, похожими на когтистые пальцы черта из средневековых иллюстраций Библии. На самом деле он смотрел не на эти кабели, а разглядывал в стекле отражение лица той женщины, и когда взгляды их встретились в безмолвном холоде стекла, он закашлялся, неловко прикрыв рот широкой ладонью, и осторожно перевел взгляд с изображения женщины на нее. И женщина посмотрела на него, и случилось что-то такое, что случается, когда встретились два человека, за каждым из которых — жизнь.

...Чудо возникает тогда лишь, когда исчезают все звуки окрест, а вместо гадючьего шипения пневматических тормозов и металлического лязга открываемых дверей возникает музыка. Я-то слышал и шипение тормозов, и быстрый вздрагивающий перелязг дверей, но я смотрел на тех двоих, откинувшихся на металлические поручни, и ощущал ту музыку, которая возникла для них, — аккордеон и гитара, с пронзительной и светлой жалобой на то, что не состоялось, не совершилось, не почувствовалось: песни слепцов бывают только такими. Видимо, мужчина и женщина думали о своем, о прошлом, но потому лишь, что увидели сейчас друг друга. Когда возможно будущее, люди обычно начинают вспоминать былое. Каждый из них просматривал свою жизнь, словно на монтажном столике старую кинопленку. А разве можно «отмотать» жизнь назад? Это ведь не пленка с мертвым изображением, это то, что было и чего никогда не будет больше.

Наверное, то, что они смотрели сейчас, было киноповестью, с резкими монтажными стыками прошлого и настоящего, причем прошлое было черно-белым, а настоящее казалось им цветным, то есть истинным, единственно истинным.

Мужчина и женщина смотрели друг на друга неотрывно. Лица их были недвижны — жили глаза.

Что сейчас вспоминалось ей? Кого жалела она? Она жалела кого-то, я чувствовал это. Может быть, она жалела любовь, которая — если эта истинная любовь — обретает черты знакомого и привычного образа? Или она жалела себя, потому что лишилась любви? Или того, кто ее любил? Он не мог умереть — тот, кто любил ее. Когда умирает тот, кто любил, — глаза полны горечи и свободы. А она была несвободна — я прочел это в ее глазах, а несвободный человек не может любить того, кто лишил его свободы быть самим собой. Любовь — это право выбора. Выбор — удел свободы. Нет, наверное, она жалела себя, потому что, когда мы думаем об утерянном, чаще всего видим себя — как в плохом телевизионном фильме, решенном одними крупными планами.

Мне показалось, что тот, кого она любила когда-то, был хорошим инженером или чиновником в иностранном ведомстве. Люди практики, знающие, отчего может остановиться станок или сорваться переговоры, они живут делом, и всякого рода эмоциональные рассуждения «по поводу» чужды им. А эта женщина, казалось мне, рождена мечтателем: она вся внутри себя — ведь глаза ее так похожи на твои. Видимо, она тоже подчинила себя своим представлениям, рожденным в детстве еще. (Если понаблюдать за маленькими девочками, играющими в «дочки-матери», можно с определенной долей вероятия определить, какими они станут. Некоторые шлепают кукол и тоненько кричат на них, другие увещевают фарфоровоглазых детей своих, третьи придумывают им игры, чтобы самой освободиться и бегать наперегонки с мальчишками.) Представления о людях, морали, убеждениях, созданные в детстве характерами, обращенными в себя, — бескомпромиссны и жестоки; инженеру или дипломату, который знает разность истин, конечно же, трудно с такой женщиной.

А мужчина? Холост он? Разведен? Одинок? У него очень сильное лицо. Я жалею таких людей — на них словно бы проставлен знак качества, а мы, увы, рабы стереотипа. Нам навязаны представления — сухая поджарость привычно кажется нам синонимом мужества и внутренней силы. Нежное, детское лицо Анны Франк противоречит, — в плане стереотипного восприятия героя, — всей ее судьбе. Или Черчилль. Волевой политик, а лицо женщины, страдающей почечным недугом.

О чем думал тот мужчина так трудно и горько, неот-

рывно припав к глазам женщины? На лбу его залегла морщина. О чем вспоминал он, встретив эту женщину?

Отчего-то мне подумалось, что этот мужчина любил актрису, известную актрису, или певицу, хриплоголосую, веселую, грустную, чистую, распутную, нежную, ищущую, неверную ему и — одновременно — очень, до конца, верную. Это так трудно — любить знаменитую женщину; я посочувствовал седому мужчине. А потом я подумал о том, как он должен был тиранить ее: любовь — одна из форм собственности. Женщина, которая принадлежит всем, должна была вызывать в нем ярость: «мое» — пока еще не объявлено вне закона. В слепой ревности он был одержим, завел любовниц, думая «уравняться» с нею. После этого он стал тиранить ее еще страшнее: фантазия должна быть уделом творцов, в противном случае она может выродиться в навязчивый бред.

...Я одернул себя: нельзя же так сочинять людей. Познать внутренний мир человека — удел гения, да и то не каждого. Когда гений начинает жестоко морализировать, навязывая свое «я» окружающим, мы восстаем, считая это тиранией. Гений обязан показать, так показать, чтобы мы испытали счастье обновления, чтобы открылась тайна, сложность и простота...

«А если они оба предатели? — спросил я себя. — Что, если каждый из них придумывает прошлое, увидав расплывчатый, возможный краешек будущего? Они смотрят друг на друга, но живут собою, каждый самим собою».

Нечестны люди, вынудившие себя исповедовать эгоцентризм. Это не бывает врожденным, это не темперамент, это приобретенное свойство характера. Эгоцентрик существует под постоянным прессом двойного гнета — своего мятущегося «я», клокочущего, не выразившегося в деле, а потому болезненно самолюбивого, ранимого, обидчивого, и гнета, кажущегося гнета, со стороны всех остальных людей, которым постоянно надо к а з а т ь с я. Несчастные эгоцентрики лишены веры в этот мир, они живут своими представлениями о добре, справедливости, любви, которые не позволяют им принимать то, что хоть как-то отличается от тех привычных стереотипов, которые над ними довлеют. Они тиранят близких, пытаясь воссоздать стереотипную гармонию, подверстать окружающих под свои представления. Желание достигнуть идеального родило Великого Инквизитора. Дорога в ад вымощена благими намерениями, разве нет?

Не знаю, отчего я так жестоко подумал об этих двоих — сначала я смотрел на них с горькой нежностью. Вероятно, я спроецировал каждого из них на нас с тобой, а еще больше на самого себя — увы, первый план свойствен не только плохой режиссуре. А может быть, я так подумал о них, потому что он был сед, высок и слишком уж значителен, а она красива, очень красива, но не хотела и не считала нужным скрывать, что чувствует себя несчастной и винит в этом жизнь — не себя.

Я проехал мою станцию, проехал еще четыре станции, потому что хотел дождаться, пока они выйдут. Они ведь обязательно выйдут вместе, они так много сказали друг другу, что должны выйти, и молча взяться за руки, и ощутить сухое и горькое тепло друг друга, и медленно пойти по перрону. Ну а как им будет потом? За каждым из них годы жизни — и с другой и с другим. Я обкатывал мой красный мотоцикл две недели — люди «обкатываются» годами и умирают, так и не обкатавшись. Господи, какое множество нереализованных Бетховенов, Чеховых и Эйзенштейнов каждый час покидают наш мир! Обкатка — это становление, это подчинение режиму движения, постоянного движения, хотя понятие «постоянно» относительно: гарантия — сто тысяч километров.

А что, если по прошествии месяцев он или она не смогут уснуть и вспомнят с доброй тоской тех, кого они оставили? Хотя кто винит себя в своем горе? Помимо заложенных в каждом способностей, существует одна, постоянная — мы адвокаты самих себя, и что в сравнении с этим вечным адвокатом старик Плевако?!

...Мужчина вышел первым. Какое-то мгновение она хотела выйти следом. Наверное, она ждала, что он позовет ее. Зачем верить словам, если они читали друг друга по глазам? Хотя никто, как женщина, так часто не спрашивает: «Ты меня любишь?» Мужчина ждет поступка, женщина — слова.

Она не вышла. Почему?

...Я уже никогда не напишу две эти повести: я слишком долго над ними думал и рассказывал их себе, а литература — это увлеченность, это всегда новое, это всегда сразу, это неудержимо. Я попрощался с тобою двумя этими ненаписанными повестями. Мне их жаль, как жаль неродившееся дитя. Мне пусто без тебя. И все то новое, что будет у меня или у тебя, может оказаться прекрасным. Только не будет красного мотоцикла. Будет метро.

Посвящение учителю

I
ГРЕГОРИО, ДРУГ ЭРНЕСТО

Грегорио долго смотрел на предзакатное багряное небо, в котором плавали сиреневые щуки с оскаленными пастями, — такие здесь странные облака. Он достал из нагрудного кармана вылинявшей полотняной куртки табако — длинную толстую сигарету, неторопливо, замирающе раскурил ее, а потом глубоко затянулся — в отличие от других кубинских курильщиков, которые лишь смакуют во рту пьянящую горечь черного табака.

— С Сан-Сальвадора задувает норд-вест, — сказал он.

— Оттуда идет циклон, — согласился патрон* нашей барки «Сигма-8» Луис. — Об этом сегодня дважды передавали по радио.

— Я не слушаю радио, я не верю ему, — ответил Грегорио. — Просто я чувствую, когда с Сан-Сальвадора задувает норд-вест.

— Чем же ты это чувствуешь? — спросил патрон Луис. — Кожей?

— Кожей это не учуешь, — сказал Григорио. — Ты же видишь, — он поднял сигару над головой, и серо-голубой дымок начал ввинчиваться в теплую тишину неба, — пока не дует. Я это чувствую не кожей. Я это чувствую старостью.

— Вьехо**, — подмигнул сервидор Томас, матроскок. — Они все знают, эти вьехо, нет от них спасения...

— Ты и вправду не слышал радио, старик? — спросил Хуан, наш макиниста — механик и одновременно рулевой.

---

* Патрон — капитан (*исп.*).

** Вьехо — старик (*исп.*).

— У меня внутри свое радио, — усмехнулся Грегорио. — Оно меня не подводит. Из тех семидесяти лет, что я плаваю на море, оно меня ни разу не подводило, это мое радио.

А из семидесяти лет, что Грегорио плавает, — всего-то ему уже восемьдесят, — двадцать четыре года он был патроном яхты «Пилар», принадлежавшей гражданину США, жившему на Кубе. Американца звали Эрнест Хемингуэй.

— Мы успеем, вьехо? Мы сможем поставить снасть? — спросил патрон Луис. — Или начнет задувать так, что нам придется убегать в Харуко?

— Горло у меня пересохло, — ответил Грегорио. — Ты же знаешь, мой маленький дружочек, как у меня плохо с горлом.

— Налей ему рома, Томас, — успехнулся патрон Луис, сероглазый, маленький, ловкий рыбак, отец которого, друг Грегорио, стал кубинцем шестьдесят лет назад, приехав сюда из далекой испанской провинции Галисия, из тихого, прекрасного города Сантьяго-де-Кампостелла.

Григорио попробовал то, что ему протянул Томас, и брезгливо вернул стакан сервидору.

— Это лимонный сок, сахар и лед, — сказал он. — Для дайкири* которое лечит мое горло, здесь недостает только одного — рома. Когда человеку пошел девятый десяток, его довольно трудно обмануть.

Томас плеснул рома из большой пузатой бутылки в стакан Грегорио.

— Мас, — сказал тот. — Еще.

— Но это же будет алкохол, сплошной алкохол, — сказал Томас.

— Ром — это ром, а не алкохол, — ответил Грегорио. — Мас, пор фавор**.

Медленно и вкусно выудив сквозь зубы дайкири, Грегорио подмигнул патрону Луису:

— Вот теперь иное дело. Поехали. Мы успеем поставить снасть до того, как начнет задувать.

Тар-так-тар — застучал движок; уу-ффрр — забурлило под килем, и, рассекая воду, тугую, прозрачную, слезно-чистую, мы пошли из Кохимара в море, в Карибы,

---

* Дайкири — кубинский коктейль (*исп.*).

** Мас, пор фавор — еще, пожалуйста (*исп.*).

и зеленый берег все уменьшался, и уже не видны были черные стволы пальм, их маслянистая, игольчатая листва, желтые, спелые орехи, и только торчали сахарные зубы гаванских небоскребов, и казалось, что торчат они из воды, будто диковинные, сказочные города в океане...

— Хемингуэй был мальчишкой, когда я с ним познакомился, — Грегорио снова глубоко затянулся, и голубые глаза его на мгновение исчезли, прикрытые, словно вздохом, тяжелыми веками. — Это было в двадцать пятом году. Он тогда еще не был Папой. Он стал Папой, когда ему сравнялось сорок — это еще даже и не возраст истинного отцовства, жеребячий возраст: голова вроде б и ничего, варит-крутит, и на сердце зазубрины есть, а вот тело — поди с ним управься!

— Ты это своей Долорес расскажи, — посоветовал патрон Луис.

Слушая Грегорио, он насаживал на огромные кованые крючки полосатых жирных макрелей; надо сделать сто таких наживок, пока шхуна идет к месту лова, чтобы взять хороших акул — тибуронов, эмперадоров и агух — сине-полосатых, реактивно устремленных (только что без турбин) рыб-мечей.

— Я это рассказывал моей Долорес в девятнадцатом году, когда женился на ней. Я сказал ей, мой маленький дружок, что я моряк...

— А что, она думала, ты — маэстро*?!

— Она не думала, что я маэстро, я до сих пор неграмотен, хотя, как тебе известно, я очень красиво расписываюсь, но я намеренно подчеркнул в нашем решающем предсвадебном разговоре, что я — моряк.

— Ты провел своей предсвадебный разговор ночью, вьехо? — спросил Томас.

— Она же была единственной невестой, мальчик, — ответил Грегорио, и я услыхал и зримо ощутил образ Дон Кихота, влюбленного в Дульсинею из Эль-Тобосо, — она была официальной невестой, а не портовой блядью, а с официальными невестами ночью мечтают о будущем или поют...

— Ну и что ты ей «подчеркнул»? — спросил Томас.

— Я подчеркнул в нашем предсвадебном разговоре следующее: «Я моряк, Долорес, я люблю море и никогда

---

* Маэстро — учитель (*исп.*).

ему не изменю. Я буду плавать в разные страны, заходить в иностранные порты, пить виски в кабаках, драться на пряжках с жадными французами и ночевать в домах свиданий у добрых и несчастных шлюх. Но, подчеркнул я в предсвадебной беседе с Долорес, любить я буду тебя преданно, до последнего вздоха, если только ты захочешь любить меня таким, какой я есть, чтобы мне никогда не приходилось врать тебе и прятать глаза», и Долорес согласилась со мною, и вот мы счастливы уже шестьдесят лет, маленький. А счастливая жизнь, это вроде хорошего плайа*, особенно того, который в Варадеро: юноши гордятся своими пятнадцатилетними невестами, молодожены ревнуют друг друга, хотя и обнимаются на людях; те, у которых есть дети, забыли про ревность и любуются своими дочерями и сыновьями — эти уже прошли самый опасный рубеж, а старики просто лежат и загорают — что им еще осталось делать?!

(«Два самых устойчивых возраста у человечества, — подумал я, — детство, которое кажется вечным, и старость, конец которой не может представить себе ни один, даже самый древний старик».)

— Так что ты начал про Папу? Ты не объяснил, отчего его стали звать Папой, когда он был еще таким молодым, сорокалетним?

— Чего ж здесь объяснять, — ответил Грегорио. — Папа — это его военный псевдоним, когда он работал в военно-морской разведке США. Мы начали воевать против Гитлера еще до того, как янки вступили в войну, и Куба не вступила в войну, а мы уже стали солдатами, и дон Эрнесто запретил нам звать его Хемингуэй — только Папа. Я перестал быть Грегорио. Я стал Грегори, потому что у него на первой войне был какой-то итальянский друг с таким же именем. Два баска, которые жили в его доме после испанской войны, получили английские имена. Раньше-то считали, что Хемингуэя называли Папой из уважения. Из уважения называют «маэстро». А он стал Папой. Для него ничего другого и не придумаешь... Вообще-то все люди разделены на два разряда: на тех, кто ссыт в море, когда купается, и тех, кто не гадит — совесть не позволяет. Так вот, Папа никогда не писал в море, и поэтому, когда началась война, он не мог отсиживаться в своем доме в Сан-Франсиско ди Паула, он не мог не начать свое сраже-

---

* Плайа — пляж (*исп.*).

ние против Гитлера, и я горжусь тем, что воевал рядом с ним.

(Кто читал последний роман Хемингуэя «Острова в океане», должен знать, что Грегорио там выведен в двух ипостасях: в первой книге он — Эдди, который убивает акулу, что неслась на сына Хадсона; в третьей — Антонио, который вместе с Хадсоном ищет фашистов, ушедших с подводной лодки.)

— Так вот, — продолжал Грегорио, — Папу я встретил впервые, когда он был без бороды, и таким он был молоденьким в двадцать пятом году, что даже и не верится сейчас. Я тогда плавал на «испанце», моя мама — испанка с Канарских островов, поэтому у меня всегда сохранялись добрые отношения с моряками полуострова. Вообще-то я начал плавать на «испанце» еще в девятьсот пятом с отцом, когда он служил на паруснике: там он и умер. Я, кстати, был с ним в Петербурге, в девятьсот пятом.

Он несколько раз глубоко затянулся, потом пыхнул бело-голубым дымом в сине-багровое вечернее небо и вздохнул:

— Когда я впервые познакомился с молодым Папой, начинался такой же циклон, как сейчас, а «испанец», шхуна, где я капитанствовал, хоть и называлась «Хоакин Сито», на самом деле была маленьким парусником, чуть больше нашей барки, и я убежал в порт острова Тортуга, к янки, чтобы переждать шторм, а там уж собралось видимо-невидимо их военных кораблей. Я стал на якорь и только тогда заметил маленькую лодочку, оборудованную под яхту — с парусом и махонькой двухместной каюткой. Лодчонку эту здорово трепало даже в бухте. Парень, который стоял на палубе, помахал рукой и попросил разрешения подняться ко мне на борт. Мы бросили ему конец, и он хорошо подтянулся, легко и сноровисто, хотя был очень большим и весил фунтов сто пятьдесят, не меньше, и сказал: «Кэп, отведите меня в Ки Вест, я не знаю, как идти туда в такой ветер и в такую беззвездную ночь». Я ответил: «Не за тем я учил наизусть кодекс моря, чтобы нарушать его: вашу лодчонку разобьет, как только мы выйдем из бухты». — «Это не ваша забота, — сказал молодой янки. — Я предупрежу наших военных, что вышел в море на свой страх и риск». — «Нет, — ответил я. — Все равно я не поведу вас. У меня нет дел в Ки Весте, я хожу под кубинским флагом, и мне очень не хочется сообщать

вашим родным о времени вашей гибели». — «Я хорошо уплачу вам, а что касается моей гибели, то это моя забота, а не ваша; смерть как любовь — в этих делах нельзя советовать». Молодой янки говорил на кастильяно плохо, с акцентом, у них ужасный акцент, у всех северян, и я не очень понял его слова о смерти и любви, я понял только, что он сулит мне деньги, и этого было достаточно. «Иди, — сказал я ему, — иди отсюда, янки. Я не бич, который продается за зелененькую, я кубинский капитан Грегорио Фуэнтес Бетанкур, запомни это». Янки не обиделся. «Напиши мне твою фамилию», — попросил он. «Это очень просто запомнить, — ответил я, — Грегорио Фуэнтес Бетанкур, у меня простое имя, даже ребенок запомнит». — «Ты живешь в Гаване?» — «Нет, в Кохимаре, в десяти милях от нашей столицы. А что?» — «Ничего, — ответил янки, — просто мне очень интересно знать, где живет такой строгий, но справедливый капитан, который выучил наизусть весь морской кодекс». Я назвал ему номер той халупы, где я жил тогда, и он записал в свою книжечку мое имя и адрес, а потом сказал: «Может, ты, не нарушая морского кодекса, объяснишь мне, как следует идти в Ки Вест при такой погоде?» — «При такой погоде не следует идти в Ки Вест». — «Это я уже слышал. Но если представить себе идиота, который решил идти в Ки Вест, как он должен прокладывать маршрут?» Я его спросил: «Ты хоть карту умеешь читать?» Он ответил, что немножко читает карту, но когда я начал объяснять ему, какие банки стоит обойти во время норд-веста, чтобы не сесть на мель, и где — возле островов в океане — есть рифы, особенно опасные во время отливов, и он отмечал все это на своей карте, я понял, что молодой янки знает толк в море.

Утром ветер по-прежнему трепал небо, но маленькой лодчонки возле меня не было. Я помолился за упокой души этого янки и начал готовить себе завтрак... Прошло лет пять, и вдруг ко мне ночью, в Кохимаре, прибегают с почты, стучат в окно и говорят, что из Гаваны звонит какой-то важный американец, знаменитый корреспондент, и требует меня к телефону. Я никак не мог взять в толк, зачем я потребовался американскому корреспонденту — ведь раньше все янки сидели в «Тропикане» или в «Севиле», и там пили джин, разбавленный водой, и тискали своих худосочных баб без титек, но с голыми спинами, и слушали свою музыку, которую, стра-

дая, играли наши ребята. «А как зовут того янки?» — спросил я. Мальчишка с почты ответил, что имя у него испанское, Эрнесто, и фамилия тоже испанская, точь-в-точь как название нашего города Камагуэй. Не знал я никакого Камагуэя. Ладно. На почту все же пошел и услышал в трубке писклявый голос — у Папы был совсем не мужественный голос, у всех настоящих моряков совсем не героические голоса. «Здравствуйте, кэп, я послал за вами машину, приезжайте ко мне, надо поговорить кое о чем». Мне понравилось, что шофер отвез меня не в Ведадо, запретный район, где жили одни буржуи, а в старую Гавану, около Кавалерии, в бар маленького двухзвездочного отеля, и там за стойкой стоял тот янки, которого я обматерил в бухте Тортуга, и он сразу предложил мне выпить рома, а потом спросил, не хочу ли я с ним поработать: «Я намерен пожить у вас на Кубе всерьез, потому что тогда наши суки не могут драть с меня налоги, и если я скоплю денег, думаю купить яхту». Я ответил, что не стану у него работать, и он не обиделся и сказал, что «на трезво» беседа у нас не получится, и мы начали пить. Мы много пили в тот вечер. Папа вообще-то хорошо пил, он добрел, когда пил, и никогда не выдрючивался, как свинья на бечевке, не выказывал себя знаменитостью, не замечал подхалимов, что вертелись вокруг, и не сердился, когда я стоял на своем, отказывая ему: какой-то заезжий янки, куда ни крути, что у нас общего?! Я стал патроном его барки «Пилар» шесть лет спустя, когда узнал, к а к он воевал в Испании, в м е с т е с кем, з а ч т о и п р о т и в кого. Он ведь тогда мальчишка был — тридцать шесть лет всего, а мне — сорок, пора было остепениться, пора было начинать чувствовать не только море, но и людей — только потому я пошел работать к Папе и теперь благодарен за это судьбе, потому что сеньор Хемингуэй «персона респектадо де тодо мундо»*, и кто бы что бы сейчас ни говорил о нем, я всегда буду повторять: это был Человек, нет таких больше и не будет... Словом, я начал работать с ним и бывать у него в Сан-Франсиско ди Паула: он там построил второй дом, для тех басков, которые приехали с ним из Испании, от Франко. Папа кормил их, поил, одевал, давал свои деньги; он

---

* П е р с о н а р е с п е к т а д о д е т о д о м у н д о — самый уважаемый человек в мире (*исп.*).

им словно брат был — ничего не жалел, а ему деньги нелегко давались, ох как нелегко. Это только такие люди, которые путают корреспондента с писателем, считают, что ему деньги с неба сыпались. Папа жил, когда писал свои книги, у него тогда лицо светилось и глаза были солнечные, а когда он готовился к книге, он пил или делал разные другие дела в ночных домах старой Гаваны, но не оттого, что был распущенным, а потому лишь, что готовился к новой работе. А к ней, говорил он, не подготовишься, если не отбросишь все старое и не почуешь к себе брезгливость — сколько времени зря уходит, а ты, паршивый расхититель того, что отпущено тебе одному и в чем ты, расхититель, ответственен перед целым светом, а не только перед сварливой бабой или глупым начальником, который хлещет втемную и носит галстук, несмотря на жару, чтобы всегда быть п р и л и ч н ы м...

— Вьехо, — окликнул Грегорио патрон Луис, — пойдем дальше или будем ставить таблеро здесь?

— Еще с милю я бы прошел, — ответил Грегорио, — только я бы взял на северо-запад градусов тридцать, не меньше.

Грегорио сказал это сразу же, почувствовав наше место в ночном море, не глянув даже на звезды — близкие здесь, дрожащие изнутри, переливно-зеленые, тревожные, будто множество самолетов зашло на посадку и кружит над огромным аэродромом, жалостливо испрашивая у далекого диспетчера права на воссоединение с планетой Земля...

Патрон Луис поправил курс не по навигационным приборам, разъединяющим человека с его навыками противостояния природе, а легким поворотом деревянного бруса, который на самом деле был рулем нашей барки, и сразу же звездный ковш сместился вправо, и невидимая рука углом этого звездного ковша словно бы зачерпнула парное, искристое море...

Грегорио положил недокуренную тобако на чуть вибрирующую крышку м а к и н ы — восьмицилиндрового движка нашей барки и пошел к ящику со снастью. Большие, рабочие, иссеченные шрамами пальцы Грегорио легко откинули крышку и осторожно, с ласкающей нежностью, прикоснулись к м а т р и н о — голубой леске, толстой, но легкой, рассчитанной на самых больших тибуронов.

— Песка модерна!* — белозубо улыбнулся патрон Луис. — Готов, старик?

— Песка вьеха** лучше! Я готов, — ответил Грегорио, но не белозубо, оттого что спрятал свой великолепный, словно у американского актера, протез: во время лова тибурона всякое может случиться, с ним надо уметь драться изо всех сил, особенно если попадется тибурон-тигр или гальван, асуль, зорро, песмартино — сколько их, этих акул, разве всех упомнишь?! А потерять, сражаясь с тибуронами, то, что позволяет тебе бесстрашно улыбаться, что позволяет тебе не считать себя стариком, глянув в зеркало, это никак нельзя. Когда человек считает себя стариком, он хочет вызвать жалость к себе, а жалость всегда соседствует со снисхождением, а море этого не принимает, оно принимает только равных себе, остальных — губит.

— Начали, — сказал патрон Луис.

Хуан, макиниста, сразу же сбросил обороты двигателя; Томас зажег н е ч е р о — фитиль, укрепленный в большой лампе, залитой нефтью; лампу эту, в свою очередь, он укрепил в т а б л е р о — крестовине поплавка, сделанной из пенопласта, стремительно передал ее Луису, тот сноровисто бросил этот свет в море, а следом зашвырнул крюк с нанизанными макрелями, а Грегорио ловко опустил п о й а — буй, а потом стремительно вернулся к леске, которую он пропускал сквозь ладони, чтобы не было, сохрани Бог, узелков.

— Песка вьеха! — крикнуг Грегорио молодым голосом, нагибаясь то и дело над ящиком со снастью, ликующе оправляя ее, колдовски, упоенно ею командуя, этой громадной восьмикилометровой снастью, подчиненной его натруженным, большим рукам, глазам, которые не знают, что такое очки, его опыту, который — если только он истинен, а не придуман — не знает возраста.

— Песка модерна! — повторил патрон Луис, задавая работе ритм; он был сейчас словно метроном на черной плоскости рояля — такая же страстность, загнанная внутрь, такое же внешнее спокойствие, трагичная маска безучастности на лице и достойный артистизм в выражении своего ремесла.

Семьдесят минут шла эта артистическая, изматываю-

---

* П е с к а м о д е р н а! — новая рыбалка (*исп.*).

** П е с к а в ь е х а — старинная рыбалка (*исп.*).

щая, слаженная работа: факел в руках Томаса, наживка — у патрона Луиса, буй — у Грегорио; факел Томаса, наживка Луиса, буй Грегорио, и это было бы автоматично, а следовательно — некрасиво, если бы патрон Луис то и дело не восклицал:

— Вьехо, не замотай нас всех своей скоростью!

А Грегорио отвечал:

— Мой дорогой маленький Луис! Ленивым можно быть на плайа, когда загораешь под январским солнцем, но нельзя быть ленивым в кровати и на море!

Томас шепнул мне:

— Сейчас он поддаст жару...

И действительно, Грегорио крикнул Хуану, макиниста:

— Прибавь оборотов!

И тот прибавил обороты, и леска зажужжала сквозь ладони Грегорио еще стремительнее; то и дело плюхались лампы в море, разбиваясь на сотни звезд; чертили алюминиевую кривую макрели, нанизанные на кованые острые а н с у э л о — крючки для тибуронов, стремительно прорезая темень, и Старик громко и ликующе кричал морю:

— Песка вьеха мехор!*

Потом, когда огромная снасть была заброшена, и в море зажглись сорок четыре новые звезды — это наши факелы вписались в отражение мироздания, и патрон Луис начал мыть бак, Томас начал жарить рыбу в соевом масле, кипевшем на газовой печке, а Грегорио, отхлебнув рома, сказал:

— На факеле номер двадцать четыре будет тибурон.

— Почему? — спросил я.

— В том месте перепад глубин, — ответил Григорио. — Там идет подводный риф, а потом начинается глубина, тибуроны любят эти перепады.

(Море и звезды — как же он з н а е т свое море, а?!)

— Песка вьеха, — хмыкнул патрон Луис. — На сорок третьем факеле будет тибурон и на первом тоже, а на твоем двадцать четвертом мы найдем лишь хвост от барракуды.

— На сорок третьем скорее всего будет агуха, а на первом ничего не будет, оттого что ты проскочил мое место метров на пятьдесят, маленький дружочек, а на

---

* П е с к а в ь е х а м е х о р! — старинная рыбалка лучше! (*исп.*).

двадцать четвертом будет тибурон, — повторил Грегорио и обернулся ко мне: — Папа тоже всегда шутил, вроде маленького Луиса. Папа часто подтрунивал, вроде бы даже грубовато, но только дураки считали его грубым; на самом-то деле он скрывал грубостью свою доброту. Он, помню, сказал мне: «Вьехо, люди говорят, что я шибко ученый, а я даже колледж не кончил, у меня нет той поганой бумажки, которая дает людям кусок хлеба — диплома. Колледж я не кончил, зато прошел университет, который называется ж и з н ь. Вот спроси меня, спроси, о чем хочешь, и я тебе на все отвечу». А я и спросил — чего ж не спросить, раз Папа сам предлагает. Я спросил его, отчего столько крови льет наш паршивый каудильо? Папа глянул на меня, но ничего не ответил, только что-то записал в своей тетрадочке, он почти всегда записывал в свою тетрадочку мои истории про плавания, про африканские путешествия, когда я бродил по Сахаре, про революцию Панчо Вилья, про лов особенно больших эмперадоров и агух, про то, как задувает северный ветер, про то, что надо делать, когда упал штиль и нельзя идти под парусом по тихим протокам через островки, затерянные в Карибах, — в таких-то островках мы и шастали с ним, когда искали фашистские подводные лодки. Говорят, он книгу об этом написал и получил за нее шесть миллионов, и там даже обо мне написано — не знаю, читать не умею, но если он действительно написал об этом, то, значит, он написал все как было, потому что он дотошливый и все по десять раз перепроверял. Так вот, он тогда мне ничего не ответил, только попросил сделать ему стакан мохито*, и мы с ним выпили, а утром стали ловить рыбу. Папа сидел обычно на стульчике, который был укреплен на корме, и читал. Когда я замечал рыбу, я кричал ему из рубки, он бросал книгу и брал свой спиннинг. Я так и помню его: или читает, или пишет в тетрадочку, или у себя на финке** печатает возле окна, или ловит рыбу: это были его самые любимые занятия. В тот день Папа поймал хорошую рыбу и был очень рад этому, а он радовался словно ребенок, так же открыто доверяя свою радость окружающим, ничуть не думая, что его радость может родить их злобу, он только в последние годы научился закрываться, раньше-то подставлялся под

---

* М о х и т о — коктейль (*исп.*).

** Ф и н к а — дача (*исп.*).

удар, сколько же раз он подставлялся в своей жизни! Он, поймав хорошую агуху, становился хвастливым, как мальчишка, и забывал о своих ошибках во время сражения с рыбой, хотя он был замечательным рыбаком, но все равно, как любой земной человек, допускал ошибки, но он молчал о них, или, может, не хотел их вспоминать, и обязательно выставлял себя в самом лучшем свете, рассказывал мне наново про этот лов, и мне казалось, что он рассказывает совсем о другом дне и о другой рыбе, но он так интересно рассказывал, что я слушал его раскрыв рот и начинал ему верить — так он умел все представить, Папа. А еще он любил говорить о своих мальчиках, когда они были маленькими, и как они смело уплывали от тибуронов, которые гнались за ними в бухте во время подводной охоты, а я очень хорошо помню, как акула гналась за мальчиками, но он все так умел рассказать, что выходило еще интереснее и длиннее, а это очень важно, чтобы интересное, которое всегда коротко, становилось длинным, как хороший фильм... Так вот, в тот день, когда Папа поймал рыбу, он, выпив мохито, сказал мне: «То, что ты меня спрашивал о каудильо, важно, конечно, и я когда-нибудь отвечу, но я предпочитаю отвечать в своих книгах, вьехо. Про дерьмо, которое вами правит, надо говорить громко, а сказать громко — это значит сказать в книге, все иное — шепот, безделица. (Читатель может посмотреть «Острова в океане» — там Хемингуэй ответил Грегорио.) А ты спроси-ка меня про сафари, спроси меня об Африке! В этом деле я любого заткну за пояс». Ну, я и стал задавать Папе вопросы, на которые может ответить только тот, кто жил в Африке, а я там жил долго, и Папа поначалу сник, но потом стал записывать мои вопросы в свою тетрадочку, а после попросил меня рассказать ему о Западном побережье, и я стал говорить про то, как видел со шхуны львов — огромные, гордые, они ходили по песчаному берегу Африки, и это были настоящие львы, а не прирученные ублюдки в Зоо, они с таким достоинством смотрели на нашу шхуну, они действительно были как цари. Папа не очень-то поверил; он, правда, ничего не сказал, он не любил обижать людей, он ведь был сильнее всех, потому что Слово было за ним, но я почувствовал по его глазам, что он мне не верит: львы, которые ходят по берегу океана, среди высоких пальм, по белому песку, теплому и мягкому, и смотрят на тебя — такое не каждому дается повидать в своей жизни. Он несколь-

ко раз переспросил меня, в каком месте это было, в каком году и в какое время — утром или вечером. Назавтра он уехал в Сан-Франсиско ди Паула, копался в своей огромной библиотеке, смотрел справочники по Африке и по львам, а потом сказал мне: «Ты видел такое, что дается немногим, я завидую тому, что ты видел. Я теперь верю, что ты видел это, маленький, значит, так может быть, и я в праве об этом писать».

(Эй, вы, правдолюбцы! Те, кто критиковал Хемингуэя за то, что он лишен «связи с жизнью», лишен «корней»! Иные радетели и хранители вкладывают в это понятие один лишь национальный фактор. Тогда все верно, тогда можно размахивать дубиной: разве может американец понять кубинца?! Какое он имеет право писать о человеке другой национальности?! Если же понимать «народность» как объединяющее, а не отчуждающее, тогда Хемингуэй — один из самых народных писателей, ибо он писал лишь о том, что было или «могло быть». Коли же прятать свою малость за великим термином «народность» — тогда все верно, тогда Хемингуэй «холодный конструктор одной человеческой схемы».

...На пишущей машинке Папы, которая стоит возле окна в его кубинском музее, — в США, кстати, такого нет, — я обратил внимание на клавиш с двумя словами: «Фул фридом», что значит «полная свобода». Хемингуэй никогда не менял эту машинку на новую, электрическую, с большими клавишами и типографским шрифтом, потому что там нет таких двух слов, — изобрели другие, вроде «пропуск» или «свободный ход». А он работал, ощущая полную свободу, и ему, видимо, было приятно видеть два слова на каретке: «Фул фридом». Лишь ощущая полную свободу, писатель становится воистину народным, и не важно, какой национальности его герои, на каком языке говорят, во что одеты, что пьют и с кем спят — все это мелочь и суета, все это вторично и несущественно.)

Грегорио снова улыбнулся:

— Он меня то маленьким называл, то вьехо, и я его называл по-разному: сначала сеньор Хемингуэй, потом дон Эрнесто, а уж после Папа... Я люблю всех называть по-разному — нашего патрона Луиса я зову малышка, иногда бычок или галисиец... Кстати, ты говорил, Хулиан, что бывал у меня на родине, на Канарских островах, в Лас-Пальмасе... Как там сейчас? Изменился ли город? Как он выглядит?

(Я понял, что Грегорио, вроде Папы, перепроверяет меня и, наверное, немного ревнует, потому что раньше он был один на всем Северном берегу Кубы, кто жил на Канарских островах, а я неосторожно сказал, что прилетал туда три раза, и ездил в горы, и жил на Плайа Инглез, и видел, как моряки дерутся в порту на рассвете — молча и страшно, а вокруг них стоят сутенеры и наблюдают драку, а чуть поодаль, возле грязных провалов ворот, которые уводят в лабиринт трущоб, жмутся мелкие жулики, которые схватят того матроса, которого сшибли кастетом, поволокут его в темень, разденут, оберут деньги и снимут «сейку», чтобы перепродать наутро индийским купцам.)

— Вообще-то, — ответил я, — Лас-Пальмас странный город, и сказать, что он нравится мне, — будет неправдой, Грегорио. Очень уж он разделен, будто три разных города в одном: там, где торговый порт, очень пыльно и грязно, — одни пакгаузы, и переулочки вонючие, и домишки облупившиеся, дряхлые, с пыльными или битыми стеклами в окнах; торговый центр полон жучков, того и гляди, обчистят, а вот плайа, где стоят пятизвездочные отели, — это другая сторона косы, — там красиво, и кажется, что нет вокруг ни грязи, ни драк, ни темноты — только пять километров сыпучего белого песка, и если смотреть сверху, то, наверное, этот пляж покажется шпагой, которую стремительно вонзили в синее тело моря.

Грегорио затянулся тобако, легкая ухмылка тронула его красивый рот, и он сказал:

— Я никогда не врал Папе, поэтому, видно, мы с ним так дружили. А что значит не врать друг другу? Ведь друг никогда не посмеет спросить: где ты пил, с кем спал и кто поставил тебе синяк под глазом. Спрашивать про т в о е, что принадлежит одному лишь тебе, — это не те вопросы, которые задают друзья. А если они начинают задавать такие вопросы, значит, не такие уж они тебе друзья. Другое дело, коли ты сам решил поделиться — значит, тебе это надо, значит, ты ищешь помощи, тут друг должен быть рядом. А если он ставит тебе вопросы, на которые неприятно отвечать, значит, он хочет унизить тебя, показать свою над тобою власть — какая уж тут дружба?! Папа всегда чувствовал, если человек говорил ему неправду, но он не доверял чувству, он долго лазал по своей библиотеке, читал, находил в книгах и альбомах подтверждение тому, что человек

лгал, и уже после этого отказывался видеть того, кто врал ему, или, если тот все равно приходил — есть и такие наглецы, — Папа становился словно большая ракушка — замыкался в себе и молчал... Помню, он пригласил меня в Перу: там снимали фильм про то, как ловят рыбу. Папа очень ругался с киношниками, они много выдумывали от себя, и поэтому он решил лететь с ними в Перу, чтобы все держать под контролем. Он показывал им каждую мелочь: как крючок привязывать, как леску держать, как рыбу вести на глубине и как подтягивать ее к яхте. Так вот, купил он билеты в Лиму и сказал: «Грегорио, надень пальто». Я удивился и спросил: зачем надевать пальто, которого у меня, кстати, нет? «Я прошу тебя надеть пальто, — повторил Папа, — мое пальто, черное, длинное, очень красивое. А под этим длинным красивым пальто ты спрячешь пару фляжек с виски. Я тоже надену пальто, только белое, и тоже пронесу с собой две фляжки виски, потому что, как выяснилось, эта дерьмовая авиакомпания не позволяет на борту пить виски, а я не могу летать, если не промочу горло парой хороших глотков». Мы с Папой пришли в аэропорт, как два контрабандиста, все смотрели на нас со страхом, и Папа сказал, что если спросят, отчего мы надели пальто, надо будет ответить, что нас трясет лихорадка. Я ж говорю — он не умел врать: разве лихорадочных пустят в самолет? Дожидаясь рейса, мы взмокли, как мыши, волосы слиплись, борода у Папы стала всклокоченной, зато как же нам было хорошо, когда Папа, миссис Мэри и я хлебали виски из наших пузатых фляжек! Папа именно тогда сказал: «Я тебе верю, Старик! Я только потому пью с тобой, что верю, и мне спокойно, когда ты рядом. Мне ведь и с врагами приходится пить, а раньше приходилось еще больше! Но это — н у ж н о было, а вот с тобой пить — это в радость»...

— Эй, вьехо! — крикнул Томас. — К столу!

Мы спрыгнули с носа нашей шхуны к макине, на которой был накрыт стол: черная фасоль с рисом, жареная рыба и ром, чуть разбавленный сладким сиропом и вдосталь смешанный с лимоном, тонкокожим, сочным — кубинским, одним словом.

— Я не буду есть, Томас, — сказал Грегорио. — Большое спасибо, все очень вкусно, но я не стану. Я никогда не ем, когда ловлю рыбу, — пояснил он мне, — ведь сытого человека тянет в сон, а на рыбалке нельзя

смыкать глаз. Когда мы рыбачили с Папой, я никогда не спал, я все время высматривал рыб, они же хорошо видны с рубки, их чувствуешь поначалу, а уж потом видишь. Папа тоже не ел, когда рыбачил, — он был очень хорошим рыбаком, это правда. Только один раз я не узнал его — это когда он тащил в Перу ту рыбу-меч, которая стала его трофеем, раньше я таких громадин и в глаза не видел. Он часов пять тащил эту агуху, и когда почти подвел ее к лодке, та дрогнула, рванулась, удилище согнулось чуть не пополам, а потом хрустнуло и обломилось. «Старик, скорей, Старик!» — закричал тогда Папа, и я впервые в жизни услышал испуг в его голосе. Я остановил машину и бросился к нему. Я увидел испарину на лбу Папы, увидал кровь на руках, все понял, бросился за вторым удилищем и в самый последний момент успел перевязать леску на это, целое, и он снова начал водить агуху, а это была тяжелая работа, до кровавого пота, почти такая же, как у того старика, про которого он писал свою книгу.

— Эрнесто Хемингуэй понимал толк в нашем деле, — согласился патрон Луис. — Я слышал, как он говорил в Кохимаре седому артисту, который играл роль Старика, про людей нашей профессии. Он говорил по-ихнему, на языке янки, но, когда увлекался, начинал объяснять на кастильяно — разве на другом языке объяснишь, как надо ловить рыбу?! Хемингуэй — тут Грегорио прав — никогда не дышал ноздрями и был такой же, как все мы, небритый, в шортах, часто — босой. Если б не акцент — кубинский рыбак, да и только.

— Но писал он без ошибок, — сразу же вступился Грегорио, — без единой ошибочки, какой уж тут акцент...

— Так ты ж читать не умеешь, вьехо, — сказал Томас.

— Зато я умею слушать, — ответил Грегорио, — а он читал мне, если я просил, а когда он кончил «Старика и море», а это было ночью, на «Пилар», он вышел из каюты и сказал: «Малыш, я сегодня закончил одну книжку и так увлекся, что побил свой дневной рекорд — написал полторы тысячи слов. Такого со мной никогда еще не бывало, так что давай отметим это дело, я считаю, что это будет вполне заслуженное «хайболито».

(Кубинцы — ласковый народ; в отличие от прагматичных каталанцев, они любят уменьшительные: они говорят не «момент», а «моментико», не «чико», а «чикити-

то», а вместо категоричного американского «хайбол» говорят «хайболито».)

— Поешь хоть немного, вьехо, — сказал Хуан, макиниста. — Нельзя быть всю ночь голодным. Или ты ревнуешь, как старый сервидор, готовку нашего Томаса?

— Тот, кто знает себе цену, лишен чувства ревности, — ответил Грегорио. — Я знаю, что могу готовить не хуже любого повара из пятизвездочного ресторана. Раз, помню, Папа позвонил ко мне в Кохимар из Сан-Франсиско ди Пауло и сказал: «Малыш, к нам приедет один мой знакомый, он дорого стоит, у него много типографий в кармане — постарайся приготовить что-нибудь вкусненькое: я хочу показать ему, как ловит рыбу и как готовит мой друг Грегорио». Я приготовил спагетти по-кубински, с черным соусом; тот ел и ахал и все спрашивал, как называется это блюдо, а я ответил, что это кубинское блюдо называется «коме и кайо». Тот стал спрашивать, как это переводится, а Папа хохочет и не переводит, а как это перевести? Обидится гость на это «коме и кайо» — «ешь и помалкивай». Папа ему тогда сказал, что это нельзя перевести, и гость предложил мне поехать с ним в Европу...

Грегорио вдруг оставил стакан с ромом, чуть приподнялся на носки; лицо его собралось мелкими напряженными морщинками, а потом он воскликнул:

— Двадцать первый опрокинулся!

В длинной звездной полосе наших факелов образовалась черная пустота — первая рыба ухватила в холодной, темной глубине жирную полосатую наживку — макрель.

В долю мгновения Хуан запустил макину и стал к рулю, патрон Луис начал делать петлю из толстого податливого каната, а Грегорио схватил багор, и мышцы на его руках вздулись длинными протяжными буграми.

Нос нашей барки разбрызгивал звезды, они исчезали, поднявшись волной, а потом снова зажигались, шлепаясь в темень воды, и от этих сильных ударов рождались новые звезды, только они были какими-то слишком уж для настоящих звезд юркими, словно маклеры на ипподроме.

Грегорио раскачивался медленно, вместе со шхуной, в такт волне, и поэтому казался слитым воедино с природой, а наша барка была частью этой первозданной океанской природы, она подчинялась ее законам, принимая и ветер и волну как благость бытия, ибо проявление бытия всегда разностно — мир, лишенный ночных штормов и

циклонов, которые задувают с Сан-Сальвадора, кончился бы, захирел от тоски и ленивого однообразия.

Патрон Луис врубил прожектор; белый, льдистый свет его придал морю особую окраску — легко-зеленую, невероятно глубинную. Грегорио и Томас начали выбирать снасть, которая казалась сейчас нереальной, слишком уж голубой, а потому чересчур тонкой, ненадежной.

— Песка гранде!* — крикнул Грегорио, обернувшись на миг, и я увидел, какое одухотворенное у него лицо, сколько силы в нем — отнюдь не старческой, но зрелой, гордой своим знанием и ощущением собственной умелости, подтвержденной мощью мускулов, остротой зрения и быстротою реакции.

Грегорио ощутил податливую тяжесть рыбы, когда снасть натянулась, и место, где проходила зримая грань, было отмечено рваным зигзагом голубой лески: в воде она казалась толстой и надежной, очень прозрачной, а в воздухе становилась тоненькой-тоненькой, натяжной, слабенькой, вибрирующей (вот-вот оборвется), принадлежащей всей своей обреченной слабостью и непрочностью людям, а отнюдь не пучинам морским.

— Страхуй, вьехо! — выдохнул патрон Луис. — Она близко!

— Сейчас она начнет водить, — пояснил Хуан, зачарованно глядя в ярко-зеленое, высвеченное слепящим прожектором море. — Если только старик прав, если это тибурон, будет драка. Эмперадор живет в глубине, он дохнет, когда его тащишь наверх, агуха тоже долго не может держаться вверху; тибурон может все.

Леска стала вроде басовой струны рояля после заключительного аккорда. Я вспомнил Вэн Клайберна в его первый приезд к нам, до того еще, как он стал Ван Клиберном, вспомнил его пальцы, потому что такие же длинные и сильные пальцы Грегорио сдерживали режущую вибрацию лески.

— Эмперадор! — сказал патрон Луис, отбрасывая свое тело назад, чтобы выбрать побольше лески. — Это эмперадор, вьехо!

И тут я увидел, как из фиолетовой провальной жути моря в зеленую его освещенность начала втягиваться серебряная ракета; потом ракета стала обретать более реальные формы: огромный нос-сабля, диковинные плавники, длинные, вкрадчивые, голубые полосы вдоль по ту-

---

* Песка гранде! — большая рыба! (*исп.*).

ловищу. Я ужаснулся размеру махины, которая медленно, упружисто поднималась вверх, подвластная силе и опыту Грегорио и Томаса.

Патрон Луис прошлепал по узенькому вздымающемуся борту нашей барки, сохраняя равновесие, — он, словно канатоходец, широко распластал руки, — спрыгнул на палубу около крана, который был укреплен на носу, развязал крепежный узел и скрежещуще опустил раскачивающуюся шею крана к воде; потом так же, акробатом, перебежал на бак, забагрил рыбину, подтянул к борту и ловко, словно лассо, набросил на громадную голову узел, приготовленный им заранее, стремительно затянул его и крикнул:

— Кабальерос, к крану!

(Впервые вместо привычного «компаньеро» — «товарищи» — я услышал «кабальеро». Дело в том, что «кабальеро» — значит «наездник». А для всех испаноговорящих людей конь, кабальо, всегда связан с опасностью, сноровкой и мужеством.)

...В ту ночь Грегорио не спал ни минуты — он наблюдал за факелами. Мы взяли трех эмперадоров, агуху и тибурона — гальвана. Последним перевернул факел тигр. Он водил нас минут двадцать; руки кровоточили, разрезанные леской; запах пота перебивал запах солярки нашей макины; тигр наконец сдался, и мы видели его громадное тело, резиновые плавники, будто запеленатые руки, серпообразную черную пасть, словно бы вспоровшую брюхо — от плавника к плавнику. Тигр уже был рядом с бортом, и патрон Луис сжимал в руке багор, а Томас зажал дубину, чтобы ударить рыбу по громадной, хищной голове, а Грегорио приготовил узел, но в это последнее мгновение расслабленное, тряпистое тело вдруг спружинилось: тибурон перевернулся, и вместо беспомощного белого брюха рядом с бортом вздыбилась серая, в черных полосах спина, и, прежде чем тигр рванул вниз, Грегорио, угадав это движение, воскликнул:

— Фуэ! Ушел! Фуэ!

Тибурон мощно двинул вниз и вбок, перевернулся резко, сверкнув белым — теперь уже не беспомощным, а хищным, алюминиевым брюхом, потом показалось, что он врубил какие-то таинственные, не познанные нами реактивные двигатели; где он был только что, какое-то мгновение держалась его черная громадная тень, а потом она исчезла, будто ничего там и не было.

Руки Грегорио ослабли, он вытер пот с висков, под-

тащил большой кованый крюк, разогнутый тибуроном, покачал головой и вздохнул:

— А все-таки песка вьехо не так уж плоха, — он кивнул на номер, выведенный на перевернутой крестовине, где крепился фитиль.

По белому пенопласту черной краской было выведено: «Двадцать четыре». Тибурон был как раз там, где ждал его Грегорио.

Выбрав снасть, мы взяли курс на Кохимар. Голубоглазый патрон Луис, заросший жесткой, рыжеватой, истинно галисийской щетиной, прикорнул на корме. Томас устроился поспать на палубе, возле движка; Хаун стоял у штурвала, а Грегорио сидел на носу «сигмы», смолил тобако, любовался восходом, и в его прозрачных, голубых глазах отражались багряные облака, пронизанные густой синевой.

— Грегорио, а отчего Папа застрелился?

Он пожал плечами:

— Это было необходимо. Он просто не мог поступить иначе. Он прислал мне открытку из Испании, с последней корриды в Памплоне. Он писал, что очень сильно похудел, что весит не сто девяносто фунтов, как обычно, а сто пятьдесят. «Я съел слишком много «марискос» в моей жизни, — писал Папа, — и теперь врачи не знают, как им освободить меня от них; все эти креветки и морские ежи, словно ракушки, обрастающие киль, обросли мои кишки». Он всегда подшучивал над собой, Папа. В тот последний год, когда он жил у нас, незадолго уж перед его отъездом, мы вышли в море. Он поймал двух хороших жирных дорадос — это глупые, красивые и вкусные рыбы. Я приготовил ему хайболито — я знал, что ему надо приготовить, я по лицу его определял, что он хочет, по глазам. Он, кстати, тоже знал, что для меня надо приготовить, когда я ночью стоял на вахте во время войны и вел «Пилар» через протоки в маленьких островах. Я с радостью готовил ему и хайболито, и дайкири, и мохито, потому что надо понимать меру работы каждого: ему жизнь-то в радость была только на море, все остальное время он думал, как надо писать. Как же мне не готовить ему вкусное хайболито, если он не для себя жил — для всех?! Это только темные люди не понимают, как это приятно ухаживать за такими, как Папа, — сколько их

на земле-то?! Так вот, он поймал дорадос, и я приготовил ему выпить, а он стал очень грустным и сказал: «Знаешь, вьехо, у меня вроде бы рак крови. Если это так — тогда плохо мое дело. Это долгая болезнь, это не рак живота, где все кончается за полгода. Этот рак лечат. А я позволяю ухаживать за собою, только пока здоров. Если я пойму, что мои дела плохи, — я все решу сам, я никому не позволю делать из меня промоченный матрас, который днем сушат на солнце...» Я не удивился, когда узнал, что Папа сделал с собой. Мне только стало очень одиноко, но я не был удивлен, как другие. Я тогда здорово выпил, пошел на берег и долго смотрел на море. Я-то Папу знал не по фотографиям и не так, как знали гости, которые приходили на часок-другой, и даже не так, как знали его те американцы, которые давали ему задания во время войны: они-то служили, звания себе зарабатывали, звезды, а его никто не заставлял, он был человеком долга и очень не любил фашистов... Папа был сильный человек, и когда он заболел, он, как все сильные, испугался своей слабости, потому что слабый не может делать добро — это труднее, чем пакостить, наушничать, следить, сплетничать; зло делать легко, зло может любое говно сделать, а вот для того чтобы делать добро, нужна сила. Папа всю жизнь делал добро. Даже в мелочи... Семья нашего героя коменданте Камила Сьенфуэгоса жила рядом с домом Папы, и это была бедная семья — поэтому-то Камил и ушел в революцию. Камил Сьенфуэгос очень дружил с детьми Папы, когда те приезжали на каникулы, и играл с ними в бейсбол. Но у мальчиков были белые формочки, как у взрослых бейсболистов, а Камил бегал в рваных трусах. Тогда Папа сшил ему точно такую же форму, как своим мальчикам. Кто-то из Сан-Франсиско ди Паула стал благодарить дона Эрнесто. Он рассердился: благодарить надо за храбрость или нежность — больше не за что.

Грегорио вздохнул, и морщины на его лице разошлись, сделались не такими, как обычно — рублеными, глубокими, резкими, а мягкими — старческими.

— Поспите, — сказал я. — Хоть часок.

— Нет. Пора будить наших, видишь — земля показалась.

— Скоро устроим хорошую плайу, — сказал патрон Луис, проснувшись. — Только подойдем еще поближе к берегу, чтобы обезопасить себя от тибуронов: их сейчас плывет за нами штук двадцать, по меньшей мере. Грего-

рио станет смотреть за водой, а мы нырнем с борта и хорошенько поплаваем в море.

— Галисиец, — откликнулся Грегорио, — я тоже хочу поплавать. Ты — патрон, тебе и следить за водой.

— Утонешь, вьехо!

— Только вместе с твоей баркой, — ответил Грегорио.

— Ты лучше нас заметишь тибуронов в море, — сказал патрон Луис, — ты их чувствуешь, вьехо. Ты же почувствовал тибурона на двадцать четвертом факеле, тебе и следить.

— Дружочек, — сказал Грегорио, — ты помнишь, как я устраивал свою дочь учительницей — еще при Батисте?

— Помню.

— Ты знаешь, как это было трудно?

— Знаю.

— А тебе известно, что я сказал тому начальнику, от которого зависела ее судьба?

— Мне это неизвестно, — ответил патрон Луис. — Меня же там не было, а я верю только тому, что вижу сам.

— Так вот, я сказал тому начальнику, — Грегорио тронул себя за левый бок, где раньше кубинские моряки носили пистолет или наваху, — что таскаю эту штуку не украшения ради, а для того, чтобы убить или быть убитым. Начальник стал суетиться и просить меня не грозить ему. А я ответил, что он меня неверно понял: я не умею грозить — я умею убить или достойно принять смерть самому... И моя дочь получила место учительницы. Так вот, я не потерплю оскорблений. Запомни это, мой дорогой. Буду я купаться или нет?

— Нет, — засмеялся патрон Луис, и прыгнул в соленое, упругое, бездонное, податливое, голубое море, и поплыл навстречу близкому дну, усыпанному громадными ракушками, но дно только казалось близким, оно было далеко от патрона Луиса, и он вынырнул из глубины, словно пробка, а Грегорио ласково посмотрел на него, покачал головой, взобрался на нос и начал высматривать тибуронов. Мы долго купались, а он сидел на солнце расслабившись, изредка поглядывая на нас, и ворчал добродушно:

— Ну, только поднимитесь, я задам вам всем на орехи...

Когда же мы собирались вылезать и подплыли к борту, он вдруг закричал страшно:

— Тибурон!

Патрон Луис покачал головой:

— Он шутит. Когда опасно — Грегорио говорит очень тихо, буква к букве.

А потом мы сделали прощальный обед, и Грегорио рассказал:

— Перед самым отъездом Папа предложил: «Малыш, хочешь уехать со мной?» А я ответил: «Папа, ведь я кубинец». Он тогда сделал нам два двойных хайболито, протянул мне и ответил: «Я тебя понимаю, вьехо. Пожалуй, ты прав — жить можно везде, умирать надо с родиной».

Грегорио поднял свой стакан, посмотрел ром на свет, и в роме было много желтого, раскаленного солнца, и холод льда тоже был в нем: он выпил до дна — медленно, сладко и горько, потом отошел в сторону, снял старенькие кеды, положил под голову брезентовую сумку, вытянулся во весь свой рост и сразу же уснул. Его седые мягкие волосы осторожно трогал бриз, и они шевелились — к старости волосы сделались мягкими, шелковистыми. Дышал он глубоко и спокойно, огромные руки его лежали около лица расслабленно, но недокуренная тобако была, тем не менее, зажата между указательным и большим пальцами. Он улыбался во сне. Что снилось Грегорио? Папа? Рыбы, которых они ловили? Долорес, с которой он провел «разъяснительную беседу» шестьдесят лет назад и которая с тех пор любит его и принимает таким, каков он есть? Холодное тело немецкой подводной лодки, медленно всплывавшей из воды? Земля Испании, куда он впервые ступил семьдесят лет назад? Не знаю. Мне отчего-то казалось, что ему снились львы, которых он видел в Африке и про которых говорил Папе,— огромные львы, совсем не похожие на тех, что живут в зоопарке и едят разрубленное мясо из рук хмурых смотрителей, которые к слову «свобода» относятся как к морфологической данности, но отнюдь не как к такому понятию, которое должно определять человеческую сущность.

II
НОЧЬ
И УТРО

Вообще-то, от Сан-Себастьяна до Памплоны — два часа хорошей езды по ввинченной в горы дороге, но мы ехали вот уже четвертый час, то и дело скрипуче утыкаясь носом «Волги» (первой здесь, за Пиренеями) в роскошные бамперы «доджей», «шевроле» и «пежо» — казалось, вся Европа отправилась на фиесту.

Мы приехали наконец в город, полный тревожно-радостного ожидания, расцвеченный гроздьями не зажженной еще иллюминации, запруженный толпами туристов; прошли сквозь тысячи кричащих и пьющих; у лотков с сувенирами купили себе красные береты, красные пояса и красные платочки на шею, — такова обязательная униформа фиесты, — сели за столик бара «Чокко», и Дуня сказала тихо:

— Как будто ничего раньше и не было.

— Ну, все-таки кое-что было, — возразил я. — Были бременские музыканты, и стертые деревянные ступени лондонского порта, и Латинский квартал, и был Бальзак в парижском музее Родена, и критский кабачок на Рю Муфтар, и дорога на Биарриц была, и, конечно же, был Сан-Себастьян.

— Сан-Себастьян был, — согласилась Дуня, — особенно белые мачты в порту, красные шхуны и толстая официантка, которая принесла нам тинто* и жареные креветки, изумляясь тому, что мы — советские, а в музее Родена все же была Женщина, а не Бальзак.

— Бальзак тоже был. Только один Роден смог понять гений Бальзака. Вспомни эту скульптуру: надменность — если смотреть фас, скорбная усмешка — полуфас и маска, снятая с покойника, — профиль; такое дается только один раз, когда человеческие ипостаси соединяются воедино.

— Нет, — сказал Дунечка, — Бальзак мне не понравился. Мне зато очень понравилась роденовская Женщина.

Я вспомнил эту работу: многообразие округлостей

---

* Тинто — красное вино (*исп.*).

рождало ощущение обреченной нежности, беззащитности и предтечи горя.

— Чем тебе понравилась Женщина? — спросил я.

Дуня пожала плечами:

— Зачем объяснять очевидное?

— А чем тебе не понравился Бальзак?

— Не знаю...

Поколение шестнадцатилетних категорично, и за это нельзя их осуждать, ибо постыдно осуждать открытость. Надо гордиться тем, что наши дети таковы, — жестокость, заложенная порой в категоричности, пройдет, когда у детей родятся наши внуки, — открытость должна остаться. То, что мы не можем принять в детях, кажется нам слишком прямой, а потому жесткой линией, но ведь на самом-то деле прямых линий нет, они суть отрезок громадной окружности, начатой нашими далекими праотцами; поколения последующие должны закольцевать категоричность прямых в законченность, которой только и может считаться мягкая замкнутость круга, «ибо род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки».

— Не понравился так не понравился, — сказал я, хотя сказать хотел другое, но я видел круглые Дунечкины глаза, в которых отражались беленькие человечки в красных беретах, с красными платками на шеях, подпоясанные красными поясами, с громадными понизями чеснока, которые свешивались на грудь, словно королевские украшения, а потом все эти человечки в белых костюмах исчезли, и в глазах Дунечки вспыхнули сине-зелено-красные огни фейерверка, грохнули барабаны, высоко и счастливо заныли дудки, и загрохотала стотысячная толпа на Пласа-дель-Кастильо — в Памплоне началась фиеста, праздник Сан-Фермина, тот, который знаменует восход солнца — откровение от Хемингуэя...

«Изменение» — слово занятное, и смысл его обнимает громадное количество оттенков, порой кардинально разностных. Меняется мода, человек, репертуар на Пласа Пигаль, меняется климат, сиделка у постели умирающего, скатерть, филателист, меняется страна, меняется Испания. Изменилась, например, одежда в Испании; если раньше каждый хотел быть грандом, то ныне миллионеры носят джинсы и кеды. Пришло это, правда, из Америки: молодые заокеанские туристы, словно ощущая некий комплекс вины за то богатство, которое хлынуло в Штаты после войны против нацизма и в дни боев под

Гуэ и Пномпенем, обычно ходят в рванье, потные, со спальными мешками за спиной — ни дать ни взять герои Джека Лондона, первопроходцы, исповедующие не культ насилия, но культ доброй силы, которая обычно сопутствует узнаванию нового.

Изменение в одежде — одна из многих граней «изменения» вообще.

Конкретный символ изменений в Испании — памятник Хемингуэю у входа на Пласа-де-Торос в Памплоне, сделанный моим другом Сангино. Изменения порой угадываются не в декретах, газетных перепалках, болтовне в кулуарах министерств, в репрессиях или амнистиях — они могут быть замечены в том, что не имеет, казалось бы, прямого отношения к политике. Искусство — с момента его возникновения — всегда связано с политикой, ибо охота на мамонта нашла свое живописное отражение на стенах пещер, поскольку атака во имя пищи и тепла и есть вопрос политики в очищенном — от всего наносного — виде.

Поставить памятник человеку, написавшему «По ком звонит колокол», писателю, отдавшему сердце республиканской «Земле Испании», интернациональным бригадам и батальону Линкольна, — симптом, и симптом приметный. Те, которые сейчас имеют право запрещать, — разрешили, руководствуясь желанием «спустить пары» из будущего котла, но ведь те, кто захотел поставить памятник, и кто поставил его, и кто кладет к подножию гранитного республиканского писателя цветы, — руководствовались другим, разве нет?

Город гудел изнутри, как вулкан, который готов вот-вот взорваться. И он взорвался, когда с Пласа-дель-Кастильо тысячи людей растеклись по улицам, сотрясая древние стены Памплоны ухающими барабанами, пронзительностью дудок и стотысячными песнями.

— Ты читала «Фиесту»? — спросил я.

— Нет. Это плохо?

— Наоборот. Хорошо.

— Почему?

— Потому, что ты можешь сравнить Чудо со Словом.

— А разве Слово — не Чудо?

— Слово тоже Чудо, только Слово Хемингуэя было рождено Чудом Сан-Фермина.

— А я не разлюблю Хемингуэя, если после настоящей фиесты прочту его «Фиесту»?

— Нет, — ответил я и сразу же подумал о том, что

категоричности детей нельзя противопоставлять нашу категоричность: оружие взрослых — доказательность. Впрочем, в понятии «взрослость» заложена снисходительность, отпущенная тем чувством ответственности, которое рождает отцовство. Мы дали детям возможность максимально быстрого приобщения к знаниям; термин «акселерация» — мудреный термин, но если изложить его просто, — «раннее умнение, параллельное раннему созреванию», — тогда станет ясно, что мы живем в новой эпохе, которая отнюдь не есть механическое повторение эпохи «отцов и детей». Нетерпение, которое породило конфликт поколений в прошлом веке, сейчас присуще в равной мере и старцам, ибо Нильс Бор и Сергей Королев продолжали быть яростными нетерпеливцами до последнего своего дня, а ведь нетерпение — это главное, что определяет возрастную границу. Век электроники, космоса и пересадки сердца захватил в яростную круговерть «темпа знания» детей и отцов; порой отцов более, чем детей, ибо отец входит первым в зону опасного эксперимента: «отец» в данном случае понятие типическое.

— Я не знаю, как это все можно нарисовать, — сказала Дуня, — не могу себе представить, как это все можно передать на холсте.

Я был настроен продолжать осторожные отцовские сентенции, но пришли друзья, подхватили нас, закружили в танце, и мы влились в толпу, а она как лес (так, кажется, говорил Мигель Унамуно), она все ставит на свои места: мы перестали быть зрителями фиесты, а сделались ее участниками, и не было в ту ночь ни одного человека в Памплоне, который бы просто глазел на процессии, сменявшие одна другую, на великанов, вышагивавших на ходулях, на транспаранты со смешными рисунками, на певцов — а им был каждый.

Переводить их песенки нельзя — скорее не надо, — потому что детская незамысловатость слов, соединенная с музыкой, тоже незамысловатой, вкупе рождает постоянное ощущение праздника. Разъединение души с телом символизирует смерть; тоже относимо к песенкам фиесты, и если даже я приведу ноты этих песенок, все равно ничего не получится, потому что надо воочию увидеть, чтобы понять истинный смысл праздника.

— Нас как по реке несет, — сказала Дунечка, — словно на быстрину попали.

И точно, нас несло по узкой горловине улицы,

освещенной яркими огнями иллюминации, несло так, что каждый мог ощутить невозможность, но сейчас в этой невозможности вырваться из потной, устремленной в никуда, песенной и танцующей толпы не было страха, который обычно сопутствует тому моменту, когда ты ощутил, что не можешь.

Наверное, в Кетчуме, в ночь, когда Старик собрал свое ружье и вытер большой сухой ладонью те два патрона, которые подвели черту, он думал о разностях невозможного: когда в Памплоне нельзя прервать праздник, выйти из него, спрятаться, отделить себя от сотен тысяч людей в белых костюмах, закапанных красным вином, и когда нет сил продолжать праздник, если ты наедине со столом и перед тобой чистый лист бумаги, а ты не можешь писать или чувствуешь, что пишешь не то и не так, — это ощущение невозможного рождает трагедию, закончить которую могут люди большого мужества, как Хемингуэй. Остальные цепляются за настоящее или насилуют бумагу и теряют свое прошлое, а нет ничего страшнее потери прошлого — это как предательство, а ведь предают целые поколения, которые воспитывались на тех образах и идеях, которые создал художник в пору своего расцвета.

...Ночью мы пришли в кабачок «Лас Пачолас». Старик заглядывал сюда отведать «кочинильо» — молодых поросят и выпить «росадо» из Наварры. Рядом с ним всегда был Ордоньес, герой «Кровавого лета», сын Ниньо де ля Пальма, лучшего матадора в пору юности Хемингуэя, который известен всему миру под именем Педро Ромеро — девятнадцатилетний мальчик, который нежно любил Брет Эшли, метавшуюся в жизни оттого, что тот, кого она любила по-настоящему, не мог быть с ней — близко, рядом, совсем так, чтобы была тишина и безлюдье, и чтобы исчезло все окрест, и чтобы два дыхания стали одним. Мы пришли поздней ночью, а может быть, ранним утром, и за столом сидели мои друзья. Когда было сказано много тостов — баски и грузины до сих пор дискутируют, кто от кого произошел: баски от батумцев или наоборот, но тосты они сочиняют одинаково хорошо, — Хуан Гарригес попросил Дунечку сказать «спич».

Дуня фыркнула — она не любит говорить на людях, — но все-таки поднялась, и на мгновение лицо ее замерло, и я видел, как она волновалась, а потом сказала:

— Когда мой отец возвращался из командировок, он ни об одной стране не говорил так много, как об Испании. Он повторял слова Хемингуэя, что после нашего народа больше всего любит испанцев. Проверить можно, только когда увидишь и почувствуешь. Я почувствовала и увидела. И поверила — отныне и навсегда.

(Эй, взрослые! Вы создали новые миры! Астроном, открывший звезду, относится к ней с почтением и до конца своих дней не перестает изумляться новому! Бойтесь привыкнуть к своим детям! Бойтесь страшного и безответственного чувства превосходства оттого лишь только, что они ваши дети и не успели пройти путь. Пройдут еще, пройдут!)

...Ту первую ночь и все другие ночи Сан-Фермина я старался найти те места, где бывал Старик. Я это делал в Париже, и здесь, в Памплоне, я делал это, оттого что Хемингуэй, открывший нам новые миры, сыграл в жизни моего поколения такую же роль, как в его жизни сыграли Тургенев, Толстой и Достоевский.

Мы пришли с Дунечкой и со скульптором Сангино в «Каса Марсельяно», что возле крытого «Меркадо», совсем неподалеку от корраля, где «торос»* затаились перед завтрашней корридой, и оказались в такой густой, кричащей, поющей и пьющей толчее, что нам пришлось взяться за руки, чтобы не потерять друг друга. Старик всегда приходил сюда и ел жаркое из бычьих хвостов, совсем не похожее на аккуратный немецкий суп — сытное, до краев, испанское, а потому — очень похожее на русское, хотя такого блюда у нас нет, но и у нас и у них — всегда до краев, а то и через край — от всего сердца, даже если это «до краев» — последнее, что есть в доме...

«Каса Марсельяно» — маленький, двухэтажный ресторанчик. Он пустует все двенадцать месяцев, как, впрочем, и Памплона (я был там осенью 1973 года — глухая, тихая, безлюдная провинция, неужели это — столица Сан-Фермина?!), но в дни фиесты — это храм Братства, церковь Искренности, клуб Товарищества.

В углу, возле камина, сидел Луис Гандика, «ганадеро» из Венесуэлы, с матадором Тино. Гандика подписывает с Тино контракт: профессия «ганадеро» подобна импресарио, только в отличие от тех, обычных,

---

* Торос — быки (*исп.*).

он подписывает контракт на смерть — и пьет при этом красное вино, и аппетитно ест мясо, и аккуратно снижает цену за выступление, хотя его Пласа-де-Торос — вторая в мире по величине после мексиканской: сорок тысяч зрителей. Гандика жаловался на рост дороговизны — и в Испании и во всем мире, сетовал на ТВ, которое убивает корриду, бранил власти — в аккуратной и тактичной манере миллионера, которому позволено непозволенное, а Тино сидел отрешенно, словно бы присматриваясь к своему одиночеству среди этой веселой и пьяной, жестокой и нежной толпы санферминцев. Крестьянское лицо Тино малоподвижно, живут только круглые глаза. Все движение собрано, завязано в жгут фигуры: широкие, словно крылья селезня, плечи, балеринья талия, сильные, хотя и очень тонкие, ноги.

Мы вышли из «Каса Марсельяно» и двинулись по калье Эстафета, где завтра, нет, не завтра, а сегодня (ведь уже четыре часа утра), ровно в восемь, когда грохнет пушка, побегут люди (их называют «афисионадо») по деревянному корралю, ограждающему витрины, а следом за ними — быки, и люди будут падать и закрывать голову руками, а наготове будут стоять санитарные машины, и зрители — на балконах, на протяжении всех 823 метров улицы Эстафеты, по которой быки будут гнать любителей корриды во время этой полутораминутной «энсьерро», — станут напряженно и тихо смотреть, как погибают или чудом спасаются эти сумасшедшие «афисионадо».

На Пласа-дель-Кастильо по-прежнему бушевала толпа: все семь дней Сан-Фермина люди не спят — лишь только утром после «энсьерро» выпьют вина, съедят сандвич и лягут на улице или в сквере, несмотря на категорический запрет полиции. (Впрочем, несмотря на многие категорические запреты, испанцы все более и более открыто игнорируют официальные «табу». В «Каса Марсельяно», где сидели за соседним столиком французы, молодые студенты из Мадрида кричали: «Да здравствует блок всех левых сил!» Это было невозможным год назад, как невозможной была открытая продажа советских книг, — сейчас они появились на книжных витринах.)

Мы проталкивались сквозь толпу, к бару «Чокко», где Старик всегда пил кофе рано утром после «энсьерро», и я смотрел на Тино, которого многие узнавали, и дивился той маске трагизма, которая была на его лице. На-

верное, каждый тореро постоянно ощущает состояние трагедии, и не только в госпитале после ранения, но и сейчас, ночью, глядя на толпу, которая знает его, приветствует и любит, но до тех пор, пока он — Тино и пока он не погиб, или не испугался, или не заболел; тогда его предадут презрительному забвению. (Впрочем, подумал я, только ли к одним тореро приложимо это? Литератор, переставший писать, состарившаяся балерина — разве все это не составляет одну цепь — тяжелые вериги искусства?)

...А ранним утром, когда по улице Эстафеты с олимпийской скоростью — километр за полторы минуты — быки пронеслись и ранили шестерых «афисионадо», мы сидели на Пласа-де-Торос. Только-только с арены ушел оркестр — поскольку люди здесь собираются загодя, на рассвете, часов в шесть, чтобы занять места получше, памплонцы два часа радуют гостей прекрасными песнями Наварры, танцами Астурии, страны басков, и на Пласа-де-Торос выскакивают зрители, ибо они не в силах сдерживать себя, им надо двигаться, все время двигаться — до тех пор, пока на арену не вбегут люди, а следом за ними, поднимая их на рога и топча копытами, не ворвутся «торос», окруженные волами с колокольчиками на потных шеях. Вот барьер перепрыгнула длинноногая девушка, жеманно пошла, виляя бедрами, задрала юбку, а ведь это не девушка, это парень дурачится: хохот, свист, веселье... Сразу же появляется полиция, «нравственность — превыше всего, что это за французские штучки», сейчас схватят парня... Но — нет... Изменилась Испания. Полицейских освистали так, что казалось, воздух порвется, словно загрунтованный холст.

— Фуэрра! Вон! Фуэрра! Пошли прочь!

И ведь пошли прочь.

Веселье народного праздника продолжалось на арене до тех пор, пока служащие арены — их называют «работяги корриды» — не затолкали всех на трибуны — пришло время «энсьерро».

И вот прогремела пушка, и мы услышали шум, и он катился как лавина прибоя, а потом этот единый шум распался на голоса, но и голоса в свою очередь разделились на вопль, тонкой крик, хриплый «а-а-а-ах», а потом на арену вбежали первые «афисионадо», а следом за ними, словно пульсирующая кровь из порванной артерии, втолкнулись следующие, а за этой второй партией, закрыв затылки руками, сбивая, сталкивая друг

друга с ног, ворвались третьи, последние, потому что их преследовали быки, и вся Пласа-де-Торос повскакивала со своих мест, заохала, закричала, а особенно кричали на трибунах «соль», которые подешевле, и там, в отличие от трибун «сомбра», все были в бело-красных костюмах, и все с бурдюками вина, и все поили друг друга, запрокинув головы, ловя ртом быструю черную струю тинто, и не проливали ни капли на рубашку, а если и проливали, то что из того? — все равно красный цвет на белой рубашке угоден Сан-Фермину и нужен для того, чтобы загодя злить «торос», которые сейчас метались по арене, поддевая рогами тех, кто стоял к ним ближе, а остальные переваливались через деревянную изгородь, и что там прыжки Брумеля и Тер-Ованесяна — сигали с места, без разбега, подгоняемые зримым ощущением гибели — отточенным, холодным и гладким рогом быка, который входит в тело, словно в тесто.

Быков, разъяренных, рассмотренных зрителями, великолепных быков с финки Миура, что в Андалузии — там отменные травы и мало воды, поэтому они похожи на символы скоростной спортивной мощи, вроде спортивных «ягуаров», — загнали наконец в ворота, откуда их выпустят в шесть часов пополудни, когда начинается коррида, и на арену снова высыпали сотни молодых и пожилых «афисионадо», и даже две толстенные американки выскочили на поле (это не переодетые, это — экзальтированные), но их освистали, и полиция прогнала их обратно, и зрители поддержали полицию в этом, и началась игра «афисионадо» с бычками-двухлетками: их выпускали через те же ворота, куда только что скрылись быки борцы-четырехлетки. Но и эти яростные двухлетки, которых выпустили на поле, начали разметывать толпу, и от них убегали, но не могли убежать, и падали, и закрывали голову руками, и сжимались в комочек, маленький человеческий комочек — словно во чреве матери, и бык-двухлеток бил этот комочек рогами и мял копытами, но «афисионадо», рискуя, дергали быка за хвост и принимали удар на себя, чтобы другие подняли раненого с желтого песка и унесли на трибуны, и на трибунах стоял замирающий, протяжный, тихий, громкий, ликующий, негодующий, непереводимый:

— О-о-о-о-о-о-о-о-о-л-ле!

А потом выпускали трехлеток с одним рогом, завязанным тряпками, и трехлетки тоже били «афисионадо» и разгоняли их, но не могли разогнать, потому что каж-

дый испанец — Дон Кихот (когда он, безоружный, идет на быка, дразнит его газетой, играя ею, словно мулеткой) и Санчо Панса (когда он сворачивается в комочек, чтобы тугая собранность тела самортизировала удар копытом или рогом), и поэтому нельзя, чтобы тебя, «афисионадо», освистали трибуны, если ты убежишь и струсишь; надо прыгать, манить быка на себя любым способом — все допустимо, одно лишь запретно: пугаться или — так будет точнее — показывать испуг зрителям...

Когда это опасное и прекрасное веселье кончилось, я спросил Дунечку:

— Почему Старик назвал роман о фиесте «И восходит солнце»?

— Не знаю, — ответила она. — Наверное, из-за Экклезиаста.

— Нет, — сказал я уверенно, не страшась категоричности на этот раз, — совсем не поэтому.

— А почему же? — спросила Дунечка.

— Вон, — сказал я, — посмотри налево.

Она обернулась, и в глазах у нее зажглось громадное красное солнце Испании; оно появляется на Пласа-де-Торос именно в тот миг, когда кончается «энсьерро» и начинается первое утро фиесты Сан-Фермина, и «сан» не очень-то приложимо к Фермину, потому что он прост, добр и открыт, как истый испанец.

СТАРИК В ПАМПЛОНЕ

Писать о корриде невозможно после Старика, лучше попробовать написать о нем самом в Памплоне.

Я составил распорядок дня, по которому Старик там жил: до «энсьерро» — рюмка «перно», потом улица Эстафеты и маленький балкончик, один из сотен забитых людьми с шести утра: лица сонные, смешные, усталые, счастливые, особенно у памплонцев, которые будут помнить этот праздник и жить им весь год — все эти нудные «первые января, вторые февраля, третьи марта, четвертые апреля, пятые мая, шестые июня — о-о-о-о-о-ле! — седьмое июля — Сан-Фермин!» — самый главный день года. Из окон маленьких ресторанчиков поднимается наверх, по узкому коридору старинной Эстафеты, терпкий запах жареной капусты, вареных креветок, перегорелого оливкового масла — повара готовятся загодя встретить гостей после «энсьерро», когда тысячи ввалятся в ресторанчики и станут много есть, а еще больше пить, но даже то, что эти обыденные запахи кухни поднимаются наверх, и дышать трудно, и нет наваррского воздуха, который спускается с гор, храня в себе запахи близкого Бискайского залива, даже это не мешает ощущению постоянного праздника, который навсегда останется в тебе.

Старик наблюдал за тем, как бежали по улице «афисионадо», истинные патриоты Сан-Фермина, люди, умеющие перебороть страх, и еще анализировал быков: первый раз их можно наблюдать во время вечернего перегона из корраля, куда «торос» привозят на машинах с полей в тот загон, где они будут спать, ожидая «энсьерро», но вечерняя пробежка отличается от утренней тем, что уже темно и нет солнца, а истинная коррида невозможна без солнца. Воображение Сервантеса, Унамуно, Барохи и Бласко Ибаньеса — это воображение, взращенное солнцем, оно билось в них, а когда их лишали солнца, как это сделали с Сервантесом, а позже с Унамуно, оно

продолжало биться в их памяти, реализуясь в книги — нет, какое там в книги! — в новые жизни, судьбы, в новые миры, прекрасные миры, где все говорят и думают по-испански, а это значит, открыто, мужественно и добро, ибо таков уж этот народ.

Когда «энсьерро» кончалось и Эстафета снова делалась улицей, а не загоном для быков, заставленным деревянными щитами, Старик шел на Пласа-дель-Кастильо, и садился на открытой веранде бара «Чокко», и просил официанта принести ему кофе с молоком и свежих, теплых еще, только что испеченных «чуррос» — длинных мягких пряников. Он завтракал как истый испанец, макая теплые масленые «чуррос» в стакан «кафэ кон лече»*, и комментировал «энсьерро», словно истинный знаток корриды, быков, людей, и подписывал протянутые ему сотнями рук открытки и книги, и каждую букву выводил тщательно, отдельно одну от другой, и почерк его был разительно похож на почерк Горького, я много раз рассматривал его дарственную надпись на книге «Зеленые холмы Африки», которую мне привез из Гаваны Генрих Боровик. (Старик тогда спросил Серго Микояна и Генриха: «А почему Юлиан? Это слишком официально, словно на банкете у американского посла. Как вы называете его?» Ребята ответили: «Мы называем его Юлик». И Старик вывел своим каллиграфическим почерком, чуть заваленным влево: «Юлику Семенову, лучшие пожелания счастья — всегда — от его друга Эрнеста Хемингуэя».) Он подписывал открытки, книги, платки, и фамилию свою выводил по буквочкам, а не ставил закорючку, как это делают молодые гении, алчущие паблисити, он был уважителен к людям, потому что наивно верил в то, что все они читали его книги. Но когда толпа становилась угрожающе огромной, он говорил:

— Все. На сейчас хватит. Остальные я подпишу позже или завтра, — и добавлял: — В это же время.

И уходил на Пласа-де-Торос, чтобы снова смотреть быков и говорить с «ганадерос» о том, какой бык особенно силен, что надо ждать от него, каковы его рога — не слишком ли коротки, и как сильны мышцы ног, и хорошо ли зрение «торо». Он обсуждал все это не спеша, и «ганадерос» отвечали ему, обдумывая каждое слово, ибо они знали, что этот «инглез» не похож на других, он знает толк в корриде и быках, и это он написал что-то про

---

* Кафэ кон лече — кофе с молоком (*исп.*).

фиесту, а потом про гражданскую войну, не так, как о ней писали в Испании, но все равно ему дали Нобелевскую премию, и потом, он говорит по-испански, как настоящий «мадриленьо», и такие сочные словечки вставляет, какие знает только тот, кто рожден под здешним небом.

Тут, на Пласа-де-Торос, возле загона, где были жаждали боя, он проводил каждый день два часа — как истинный писатель, он был человеком режима, даже если пил свое любимое розовое «Лас Кампанас», лучшее вино Наварры. И будучи человеком режима (пятьсот слов в день — хоть умри), в час дня, когда полуденное солнце делалось злым и маленьким, а на улицах снова начинали грохотать барабаны, завывать пронзительные, но мелодичные дудки (и такая разность возможна в Памплоне) и площади заполнялись группами «пеньяс и компарсас» — молодыми ребятами и девушками, которые поют и танцуют, увлекая за собой весь город, превращая при этом дырявое ведро в великолепный барабан, а старые медные кастрюли — в мелодичные «тарелки», звук которых долог и звенящ, — Старик отправлялся к своему другу Марсельяно, который кормил его тридцать лет назад, или же заходил на базар и придирчиво выбирал лучший крестьянский сыр «кампесино», и «тьерно» — сочную кровавую свиную колбасу, и немного «морсия», и очень много «пан» — теплого еще хлеба; брал все это в машину и просил своего шофера Адамо отвезти его за город — на озеро, к Ирати, и там на берегу устраивал пиршество, наслаждаясь каждым глотком «Лас Кампанас» и соленым вкусом «кампесино», который отдает запахом овина, крестьянки, детства, Испании, и каждым куском сочной «тьерно», и подолгу рассматривал лицо шофера Адамо, который был итальянцем и во время войны был на стороне тех, кто воевал против Старика.

Мудрый мадридский журналист Кастильо Пуче как-то сказал:

— Папа был всегда одинаковый и при этом абсолютно разный.

Он очень хорошо сказал нам об этом с Дунечкой, и мы переглянулись тогда, и я долго размышлял над его словами, а когда узнал про судьбу Адамо, слова эти показались мне особенно значительными.

Я не знаю, отчего я подумал о м е с т и Старика тем, кто был против него, против нас, против республиканцев, тогда, в тридцать седьмом. Не знаю, отчего я подумал об

этом. Но, отгоняя от себя эту мысль, я возвращался к ней все чаще и чаще, ибо месть мести рознь. Мерзавец мстит из-за угла, пишет донос, скрепляя его чужой подписью, или нанимает тех, кто будет бить человека, которого он хочет уничтожить, или похищает детей своего врага — мало ли способов подлости?! Но существует иная, особая месть, и она не противоречит законам рыцарства. Писатель лишен права на месть Словом — он тогда не писатель, а Фаддей Булгарин, Иван Шевцов или еще кто иной — посовременнее. Месть в мыслях — это совершенно иное, тут сокрыто качество особого рода. Помноженная на дисциплину и благородство, такая месть может отлиться в «По ком звонит колокол», а это ведь не месть, но возмездие.

Особая месть Старика, нанявшего в шоферы бывшего итальянского фашиста, была местью, про которую знал он один, а может быть, он — так же, как я сейчас, — отгонял от себя эту мысль и старался найти иное определение своему чувству — кто знает?

Человек дисциплины, Старик никогда не говорил в Испании про гражданскую войну — он не боялся за себя, он боялся за того, кому он скажет о своей позиции, которая не изменилась с тридцать седьмого года — она может измениться у тех лишь, кто любит Испанию показно, парадно, а не изнутри, как только и можно любить эту замечательную страну. Но если ему навязывали разговор, он резал, бил в лоб, как на ринге, чтобы сразу же повалить противника в нокаут: «Да, м ы тогда п р о и г р а л и». Он выделял два слова — «мы» и «проиграли». Как истинный художник, который сформулировал теорию «айсберга», он не педалировал на слове «т о г д а» — десять процентов должно быть написано, остальное сокрыто, ибо декларация губит искусство, талантливость всегда недосказанна и поэтому понятна тем, кто хочет понять.

...Старик мог подолгу задумчиво рассматривать лицо Адамо, и он, верно, жалел шофера, ибо понимал, что мстит. И тогда он переводил взгляд на Мэри, и лицо его смягчалось, и расходились морщинки вокруг глаз. Я понимаю, отчего такое случалось с ним, хотя провел с Мэри всего один день в Нью-Йорке, неделю в Москве и два дня на охоте, на Волге, куда я ночью отвез ее прямо с читательской конференции в Библиотеке иностранной литературы.

Кто-то из великих испанцев утверждал, что, познав

одну женщину, ты познаешь их всех — причем в это вкладывается отнюдь не плотский смысл, не тот, который так импонирует животным мужского рода, пылкокровным и тупым кретинам, не скрывающим своего снисходительного превосходства над женщиной только потому, что ему дано заниматься дзюдо; отнюдь нет. Унамуно считал, что женщины похожи одна на другую больше, чем мужчины, — все они мечтают об одном и том же: семья, дети и любовь — обязательно до старости. В мужчинах значительно в большей мере заключено начало «личностного», тогда как природа распределила между женщинами мира одну-единственную душу — с небольшими коррективами за счет уровня развития государства, климатических условий, национальных обрядов и привычек.

Всякое познание — бесконечно, и коррективы в этот необратимый процесс вносит не догма — жизнь. Этим утверждением я не пытаюсь опровергнуть мудрость великих испанцев. Оспаривать их — трудное дело, и «коллективная душа» женщин — трезвое, хоть и горькое соображение, но, видимо, из каждого правила следует делать исключение. К таким исключениям должна быть отнесена Мэри. Я не могу писать о том, что она мне рассказывала о Старике, — это слишком личное, что знали только два человека, но то, о чем говорил Кастильо Пуче, знали в Памплоне многие: это история, когда Старик «похитил» двух молодых американок, а потом одну «ирландскую девушку» и как над ним подшучивали, разбирая вопрос, отчего это у Папы такие синяки под глазами, и Мэри тоже подшучивала над ним, продолжая быть ему д р у г о м. Жене художника отпущена великая мера трудных испытаний; выдержать их дано не каждой. В чеховском определении «жена есть жена» заложен библейский смысл, но без того пафоса, который порой присущ великой литературе древности: высшая истина всегда предполагает допуск юмора. Жена — в распространенном понимании — это женщина, которой з а к о н о м дано п р а в о отвести ото рта мужа рюмку, устроить скандал, если он увлечен другой, подать на развод, когда «глава семьи» проводит долгие недели на охоте или на рыбной ловле или молчит, угрюмо молчит, не произнося ни слова целые дни напролет. Мы подчас лжем самим себе, когда говорим о жене как о друге, потому что никогда мы не рассказываем ей того, что рассказываем Санечке, Хажисмелу, Семену, Толе, Феликсасу — у костра, в лесу, ожидая начала глухариного тока, когда смех наш при-

глушен лапами тяжелых елей, в низине бормочет ручей и все мы ждет того часа, когда первый глухарь «щелкнет», возвестив миру начало его «песни песен». Хемингуэй рассказывал Мэри в с е — не подбирая слов, не страшась открыть себя, и он никогда не боялся потерять ее, приобщив к своей мужской правде: если только мужчина хоть один раз испугается — он перестанет быть мужчиной.

В Памплоне Мэри была рядом с Папой, только если это было ему нужно. Он не говорил, когда это было нужно, — она умела это чувствовать, потому что любила его, преклонялась перед ним и обладала редкостным даром высокого уважения к своей м и с с и и — быть женой художника.

Только филистер или старый ханжа может упрекнуть меня за то, что мне видится именно идеал такой жены; впрочем, идеал однозначен, но мера приближения к нему — разностна...

В половине шестого, закончив обед на Ирати, Старик возвращался в Памплону, или уходил из «Каса Марсельяно», или прощался с Хуанито Кинтана, которого он вывел в «Фиесте» под именем «сеньора Мантойа» и который тогда еще, в начале двадцатых, свел молодого Хэма с миром матадоров и остался другом Старика, когда тот вернулся спустя тридцать лет всемирно известным писателем, и в их отношениях ничто не изменилось: только выскочки от искусства забывают тех, с кем они начинали и кто помогал им на старте.

Он приходил на Пласа-де-Торос загодя и любовался тем, как на трибунах «соль»* веселые и шумные группы «риау-риау» в белых, зеленых, красных и оранжевых рубашках — разноцветье, складывающееся в ощущение праздника, — пели свои песни: одна кончится, сразу начинается следующая, и кажется даже, что она еще не кончилась, нечто вроде волны, которая догоняет другую и бьет ее внахлест, и целый час перед началом корриды Пласа раскачивается, веселится, пьет, танцует на месте, но танцует так, что импульс чужого движения передается тебе, и ты тоже хочешь подняться, вроде этих «риау-риау», и защелкать пальцами, подняв над головой руки, и выделывать ногами сложные выверты, и быть в одном ритме с тысячами людей, которые не смотрят друг на друга, но д е л а ю т одинаково — это как Панчо Вилья, когда не ждут приказа, но каждый знает свою боль и на-

* С о л ь — солнце (*исп.*).

дежду, и поэтому рождается всеобщая слаженность, один цвет, единая целеустремленность.

В рассказе «Удар рога» Хемингуэй, описывая пансионат в Мадриде, где он жил в первые свои приезды в Испанию, выводит образ тореро, который и с п у г а л с я. (Это лейтмотив его творчества: «человек и преодоление страха», ибо Человек — лишь тот, который смог преодолеть страх).

Мы с Дунечкой спросили портье в нашем отеле, оставлены ли нам билеты на сегодняшнюю корриду, на выступление «звезды» Пако Камино, брата которого в прошлом году убил бык на корриде в Барселоне, а самого его сильно ранил, и на Пакирри, который женился на дочери Ордоньеса, внучке Ниньо де ля Пальма, и на Диего Пуэрта, который славится умением быть мудрым, ибо он, как и большинство матадоров, пришел на корриду с крестьянского поля.

— О, сеньор Семеноф, — ответил портье, тяжко вздохнув. — На сегодняшнюю корриду можно попасть, лишь обратившись к услугам черного рынка.

— Где он находится?

— На Пласа-дель-Кастильо, — шепотом ответил портье, ибо он, как все испанцы, обожает игру в опасность: я потом убедился, что в Памплоне каждый полицейский покажет вам путь на черный рынок Пласа-де-Торос, не понижая при этом голоса и не оглядываясь по сторонам.

— А лично вы не можете помочь мне?

Портье легким взмахом холеной руки взял листок бумаги и написал на нем цифру: «1500 песет», что в переводе на проклятую «свободно конвертируемую валюту» означает 30 долларов.

— Спасибо, — сказал я, переглянувшись с Дунечкой, — мы с дочерью обдумаем это предложение.

И мы пошли на черный рынок и выяснили, что портье был честным человеком: действительно, билет на сегодняшнюю корриду стоил 1300 песет. Что касается 200 лишних, то здесь вступает в силу закон риска, оплата посредника — портье положил в свой карман не более 150 песет от двух билетов, а это по правилам.

Словом, без помощи нашего доброго друга скульптора Сангино мы бы на корриду не попали, но он — самый популярный ваятель Испании, друг всех матадоров, а Испания чтит популярных людей.

И вот здесь, на Пласа-де-Торос, когда началась кор-

рида и когда после грома оваций Пако Камино начал первый бой, и бык у него был красным и не очень большим, всего 458 килограммов, я увидел воочию, что такое страх.

(Я испытал страх за день перед этим, когда повел Дунечку на первую корриду: многие северяне уходят после начала боя; правда, и каталонцы с презрением отзываются о корриде, считая ее изобретением «ленивых и кровожадных андалузцев». Однако когда Пуэрта славно поработал с быком перед тем, как выехал пикадор — этот, увы, необходимый «бюрократ корриды», — и потом провел прекрасное, рискованное ките, отвлекая на себя разъяренного быка после того, как пикадор «пустил ему первую кровь», я взглянул на дочь и понял, что страхи мои были пустыми: лицо ее казалось замеревшим, собранным, отрешенным — точно таким, каким бывает, когда она стоит у мольберта и пишет свою картину.)

Пако Камино пропускал мимо себя быка, взмахивая капотэ осторожно, придерживая его возле колен, чтобы рога быка шли низко — он словно бы хотел заставить «торо» бодать желтый песок арены, укрытый на какое-то мгновение розовым капотэ. Это сразу же не понравилось зрителям, ибо «два условия требуются для того, чтобы страна увлекалась боем быков: во-первых, быки должны быть выращены в этой стране, и, во-вторых, народ ее должен интересоваться смертью. Англичане и французы живут для жизни».

Лучше, чем Старик, не скажешь — незачем и пытаться.

Пако Камино держал быка в десяти сантиметрах от себя, а то и больше, и движения его отличались скованной суетливостью, и на трибунах стали кричать и свистеть, а когда бык поддел рогом капотэ, вырвал его из рук Пако Камино и погнал матадора по арене, и Пако вознесся над барьером и перевалился через него, как настоящий «афисионадо», который хочет быть матадором, боится им стать и все-таки прет на рожон, расплачиваясь за это ранением или жизнью, и если «афисионадо» за такой прыжок аплодируют, то Камино освистали дружно и с такой яростью, что казалось, на Пласа-де-Торос запустили двигатели три реактивных истребителя.

Камино плохо вел себя на арене, и мне было больно смотреть на Дунечку, которая только-только познакомилась с ним в баре отеля «Джолди», где Старик обычно кончал вечер, разговаривая с матадорами перед тем, как

уйти на ужин в «Лас Пачолас». (Беседовать в «Джолди» надо уметь: бар — комната сорока метров — от силы, а народа там не менее двухсот человек, и все при этом кричат, жестикулируя, и поэтому беспрерывно толкают тебя локтями. Если не жестикулировать, как все, собирающиеся здесь, тебе набьют синяки, но стоит начать жестикулировать так, как это делают испанцы, сразу же наступит некая гармония, и локти соседей будут проходить мимо твоих локтей, и никто не станет пересчитывать тебе ребра — лишнее подтверждение тому, что в чужой монастырь нет смысла соваться со своим уставом.)

В «Джолди» Пако Камино был очень красив и значителен, но в отличие от Тино он прятал под маской веселости ощущение постоянного страха, и он хорошо обманул нас всех, но это уже от политики, а матадор должен быть как художник: он имеет право не скрывать свое состояние накануне великого таинства творчества, а тавромахия — это творчество, с этим нелепо спорить.

А сейчас, на арене, Пако Камино был бледен и м е л о к. Он плохо убил быка, и, когда он уходил, в него с трибун «сомбра» летели подушки, на которых сидели сеньоры и сеньориты, а с трибун «соль», где подушек не берут из-за экономии, на него обрушились куски хлеба, пустые бутылки из-под пива и гнилые помидоры.

Но после него было чудо: выступил Пакири. На арену выскочил юный, маленький Вахтанг Чабукиани. Он позволил пикадору только один раз пустить быку кровь, а потом взял быка на себя, и, разъярив его, остановил в центре арены, и стал перед ним на колени, и взмахнул мулетой, пропустив его в сантиметре от себя, не поднимаясь с колен, а лишь поворачиваясь стремительно, и я ощутил его боль, и почувствовал, как песок рвет кожу под желтыми чулками, и снова вспомнил испано-грузинское родство и танцоров из Тбилиси, которые шли по улицам Хельсинки и танцевали, падая на колени, не страшась асфальта, а вокруг гремели аплодисменты друзей и свист врагов, а Пакири снова пропустил быка мимо себя, а потом попросил своих бандерильеро* уйти с поля и сам поставил бандерильи, а после ударил быка и, остановившись перед ним, поднял руку, и бык, послушный его властному жесту, пал, и Пласа-де-Терос стала белой, оттого что все замахали платками, требуя от президента корриды награды — «трофэо», как говорят здесь, и

* Б а н д е р и л ь е р о с — помощники матадора.

президент выбросил белый платок, и все закричали: «фуэрра, долой, фуэрра!», и президент выбросил второй платок, и Пакири вручили два уха, и он снисходительно зашвырнул их на трибуны — одно на «соль», второе — на «сомбра», и его унесли на руках, как унесли на руках Диего Пуэрта, ибо тот продолжал бой после того, как бык рассек ему руку и пропорол ногу, но он получил только одно ухо, и зрители согласились с этим, потому что в его искусстве не было того открытого и пренебрежительного отношения к смерти, что проносится в сантиметре мимо тебя, и еще потому, что он слишком хотел победить, и это было заметно, в то время как Пакири не думал о победе — он просто сражался, любя своего противника.

Мы кончили вечер с Дунечкой в «Джолди», и мы пожелали счастья Пакири и Диего Пуэрта, как это положено в Испании: «Пусть Бог распределит удачу», но Пуэрта ответил не так, как здесь было принято раньше, он ответил: «На арене удачу распределяю я».

А Пако Камино, красивый до невероятности и такой же гордый, прошел к своему «роллс-ройсу» мимо маленького парнишки со свежим шрамом на носу, и женщины пробивались к Пако, работая локтями, как марафонцы, а мужчины хлопали его по плечам — все-таки знаменитость, — а парнишка со шрамом стоял рядом с нами и что-то надписывал на фотографии Дунечке, и никто не рвался к нему, а это был Ниньо де ля Капеа, который назавтра получит высшую награду Испании: два уха и хвост, и в газетах напишут, что он — надежда страны и что он работает так, как работали Манолете и Ордоньес в своим самые лучшие дни — не годы.

...Люди, пожалуйста, смотрите вокруг себя внимательно: подле вас всегда есть Моцарт и Ниньо де ля Капеа — девятнадцати лет от роду, скромный и сильный, каким был Педро Ромеро, когда Хемингуэй списывал его с Ниньо де ля Пальма.

СТАРИК В МАДРИДЕ

...После того как у меня завершились все встречи и мы поняли, что совершенно свободны и что, хотя памплонская фиеста кончилась, Испания продолжается и будет продолжаться в каждом, кто смог понять этот замечательный народ, а Испания все-таки начинается с Мадрида, мы отправились в столицу.

— Нет, — сказала Дунечка, когда мы сделали круг по городу, — для меня все кончилось в Памплоне.

— Тебе не нравится Мадрид?

— Он — официальный.

Я хотел сказать, что нельзя вот так, с маху, о б и ж а т ь — не важно, кого или что — человека или город. Рассеянная невнимательность, даже если это врожденная черта характера, все равно обидна для окружающих: не вешать же себе на шею табличку: «Заранее приношу прощение за мою невнимательность, рассеянность и категоричность — в принципе я добрый человек, не желающий никому зла».

Но я решил отложить эту сентенцию «на потом», а сейчас спросил:

— Ты что, уже обошла все улицы Мадрида? Видала его ранним утром у Сибелес, вечером на Гран Виа? Ночью возле средневековой Алкала? Днем у Карабанчели?

— Все равно, здесь очень длинные авениды и слишком много полиции.

— В Памплоне тоже была полиция.

— В Памплоне ее обсвистывали и прогоняли, когда она мешала фиесте.

Последний довод был справедливым, и я принял компромиссное решение.

— Знаешь что, — сказал я, — давай позвоним Кастильо Пуче и пройдем вместе с ним по тому Мадриду, который так любил Хемингуэй.

— А потом пойдем на корриду?

— А потом обязательно пойдем на корриду.

В глазах у нее по-прежнему были маленькие белые

человечки в красных беретах, повязанные красными кушаками, с низками чеснока на груди — она продолжала жить буйством Памплоны, и это на всю жизнь, и это прекрасно.

— Значит, так, — прогрохотал в трубку Кастильо Пуче, шершавя мембрану жесткой бородой, — через полчаса ты должен приехать в кафе-мороженое «Оливетти». Как, ты не знаешь, где «Оливетти»? Но это же за стадионом «Реаль Мадрид», и все «мадрильенес» знают, где находится «Оливетти»!

Он полчаса объяснял мне, как туда надо проехать, а потом трубку взяла его дочь Таня и объяснила все за две минуты, и мы поехали, и нас задержал полицейский, потому что мы нарушили правила, а поди их не нарушь в сутолоке мадридских машин, их за год, что я здесь не был, прибавилось еще, по крайней мере, тысяч сто, и Дуня, побледнев, шепнула:

— Это «гвардия севиль»? (Она уже знала, что такое «гвардия севиль», — испанцы не очень-то скрывают своего отношения к этой полицейской организации.)

— Нет, — ответил я, — это обычный дорожный надзор, не волнуйся.

Полицейский потребовал мои права с каменным лицом и алчным блеском в глазах, не предвещавшим ничего хорошего. Он повертел мои права, потом посмотрел марку машины и спросил:

— Откуда вы и что это за «опель»?

— Это не «опель», а «Волга», мы из Советского Союза и пытаемся найти кафе-мороженое «Оливетти», которое в Мадриде знает каждый.

— Вы русские?!

— Да, — сказала Дуня, побледнев еще больше.

— Вы русские, — повторил полицейский, возвращая мне права, — которые ездят на «Волге», не в силах найти «Оливетти», — алчный блеск в его глазах потух, и зажегся иной блеск — удивления, недоверия и интереса. — Это же просто: обогните клумбу, возвращайтесь назад, поверните направо возле пятого светофора, потом круто налево, потом два раза направо, потом снова налево, пересеките авениду: вот вам и «Оливетти».

Он поднял палку, остановил поток машин и позволил мне нарушить все правила, какие только существуют на свете.

— Ну и ну, — сказала Дуня, а я ничего не сказал, потому что напряженно считал светофоры.

Кастильо Пуче ждал нас со своей старшей дочерью Таней. Мы выпили кофе и отправились по Мадриду, по хемингуэевским местам.

Жара была градусов под сорок. Дуня страдала, я наслаждался. Кастильо Пуче и Танюша не обращали на жару внимания, ибо, как настоящие мадрильенес, они обожают в своем городе все — даже жару.

«Небо над Мадридом высокое, безоблачное, подлинно испанское небо, — по сравнению с ним итальянское кажется приторным, — а воздух такой, что дышать им просто наслаждение», — писал Старик, но жизнь, увы, внесла свои коррективы: над Мадридом сейчас висит смог из-за того, что понастроили множество заводов, а улицы запружены машинами, и только ночью, если полнолуние и на Плас Майор горят синие, под старину, фонари, можно увидеть звезды и черный провал небосвода, и понять, что Старик — сорок лет назад — всегда мог видеть такое высокое, прекрасное небо не только ночью, но и днем, когда он работал в том отеле, который в «Фиесте» назвал «Монтана» и где он поселил свою Брет с Педро Ромеро, а на самом деле никакого отеля «Монтана» не было, а был маленький пансион на углу улиц Алкала и Сан-Эронимо. Здесь, в этом маленьком пансионе, где жили вышедшие из моды матадоры, священники и студенты, молодой Старик снимал маленькую комнату и писал в баре, что был на первом этаже, потому что в его каморке стояло лишь колченогое трюмо — стола не было, и в течение трех месяцев терпел обиды от постояльцев, которые издевались — но не очень злобно — над чудовищным испанским этого длинного «инглез», а потом, по прошествии трех месяцев, во время которых молодой Хэм каждый день прочитывал все мадридские газеты, говорил с людьми на улицах, слушал речь матадоров, — он стукнул кулаком по столу, когда шутить по его адресу стали особенно солоно, и на хорошем мадридском пульнул такой отборной бранью, которую употребляют «чуллос» — самые яростные матерщинники Мадрида, — что все посетители сначала смолкли, а потом расхохотались, и стали поить Хэма вином, и признали его своим, и никогда больше не смели потешаться над «инглез», потому что только испанец может говорить так, как сказал сейчас этот молодой репортер, только испанец, а никакой там не «инглез»...

Ныне в том доме, где была гостиница «Монтана», ко-

торую Старик отдал Брет Эшли и тореро Педро Ромеро (чертовски красиво звучат эти слова, поставленные рядом!), находится отель «Мадрид». Друзьям, — а твои герои не могут не быть твоими друзьями, все без исключения, даже самые противные, потому что они словно больные дети, уродцы, но твои ведь, — отдают то, что знают по-настоящему, где не наврешь и не запутаешься, а Старик очень хорошо знал те места, где он жил, и те страны, в которых он писал, а в Испании он писал свои лучшие вещи.

— Он говорил по-испански очень медленно, — заметил Кастильо Пуче, когда мы остановились напротив дома 32 на улице Сан-Эронимо, где он жил в первые приезды, — и не совсем правильно, но в этой неправильности была особая прелесть, потому что он говорил на очень сочном языке народа, который обычно не в ладах с грамматикой, но зато всегда в ладах со здравым смыслом и юмором. И еще: он здорово чувствовал н о в о е, он впитывал наше новое с языком.

...Не ради красного словца, а воистину — говорливый интеллектуал от литературоведения, даже самый утонченный, подобен базарному жулику, ибо новое — это хорошо забытое старое, а настоящее новое ныне появляется лишь в науке и технике, а в литературе это новое редкостно и тогда лишь является воистину н о в ы м, когда писатель выворачивает себя наизнанку, и не стыдится этого, и отдает всего себя читателю: ведь Булгаков был и Мастером и Воландом одновременно, Фадеев — и Левинсоном, и Метелицей, и Мечиком одновременно, как Твардовский — Теркиным, Пастернак — лейтенантом Шмидтом, а Хемингуэй — Педро Ромеро, Роберто Джорданом и Пилар, и только поэтому свершилось чудо, а не унылое описательство, именовавшееся ранее беллетристикой, а сейчас — прозой. Но вывернуть себя дано не каждому, и это выворачивание обязано быть поддержано з н а н и е м предмета, а предмет литературы — человек, но вне конкретики, вне правды окружающего, правды узнаваемой, доступной каждому, человек оказывается схемой, и не спасает ни порнография, ни былинный эпос, ни головоломный сюжет.

Во всех романах Старика, связанных с Испанией, торжествует поразительное знание этого замечательного народа, его городов, праздников, обычаев, литературы.

Это, однако, не помешало неким «вещателям» от критики напечатать в газетах в день его похорон: «Дон Эр-

несто никогда по-настоящему не понимал Испании. Он слышал колокола, которые звонят, но не понял, где они звонят и по ком». Или — в другой газете: «По ком звонит колокол» построен на любви к красной Испании. Несколько образов националистов написано неточно, и в то же время он позволял себе оправдывать и прославлять тех испанцев, на стороне которых он был... Если он и понимал нас, то лишь наполовину...»

— Может быть, он понимал нас вполовину, — заметил Кастильо Пуче, — но, во всяком случае, он понимал нас лучше, чем мы его, и уж несравнимо лучше, чем мы — себя.

Старик вновь приехал в Испанию лишь в 1953 году, когда было выполнено его условие: «Я никогда не посещу Мадрид до тех пор, пока из тюрем и концлагерей не освободят моих товарищей-республиканцев, всех тех, кого я знал и любил и с кем вместе сражался». Последний его друг был выпущен в пятьдесят третьем году, весной, просидев в концлагере четырнадцать лет. Тем же летом Старик пересек границу и прибыл на фиесту и снова начал изучать Испанию, испанцев, корриду, матадоров, молодых писателей, музей Прадо и Эскориал, Наварру, лов форели на Ирати, мужество Ордоньеса и достоинство Домингина.

В Мадриде он останавливался в отеле «Швеция» на калье Маркиз де Кубас. Он занимал на четвертом этаже три номера: для себя, где он работал, когда писал «Опасное лето», для Мэри и для Хотчера. Журналисты знали, что он останавливается в этом трехзвездочном отеле («мог и в пятизвездочном, с его-то деньгами») — вопрос престижа для испанцев — вопрос особый, а все отели разделены на пять категорий: от одной звезды до пяти звезд, и все знаменитости обязательно живут в роскошных пяти «эсреллас», а Папа позволяет себе и в этом оригинальничать. Старик не любил говорить о своих денежных делах, но однажды объяснил Кастильо Пуче, что из 150 000 долларов, которые ему уплатили за право экранизации «По ком звонит колокол», он получил третью часть — все остальное взяло себе управление по налогам. Журналисты, американские туристы и молодые испанцы подолгу ждали Старика в холле, а он выходил через тайную дверь на калье де Лос-Мадрасос и шел прямехонько в Прадо: когда ему не работалось, он ходил туда два раза в день, а когда пятьсот слов ложились на бумагу и он облегченно вздыхал, выполнив свою дневную норму, а выполнять

ее становилось все труднее и труднее, он ходил в Прадо только один раз — вместо зарядки рано утром. Вообще-то мне бы следовало написать не «вместо зарядки», а «для зарядки», потому что больше всех художников мира он ценил испанских, а из всех испанских — Гойю, ибо тот, по его словам, брался писать то, что никто до него не решался, — не костюм, сюжет или портрет — он брался писать человеческие состояния.

Разность возрастов не есть с о с т о я н и е, это всего лишь приближение к состоянию, а в наше время эта возрастная разность все больше и больше стирается. Я наблюдал за тем, как Дунечка шла вдоль полотен Гойи, Веласкеса, Тициана и Рафаэля. Сдержанность нового поколения — предмет мало изученный социологами, и мне сдается, что молодые копают главный смысл и держат себя — в себе, и это далеко не нигилизм, это нечто новое, ибо мир за последние десять лет решительным образом изменился, его распирает от «заряда информации», мир приблизился к крайним рубежам знаний, он, мир наш, похож сейчас на бегуна, вышедшего на финишную прямую. Когда я впервые смотрел Гойю, Эль Греко и Веласкеса, я испытывал особое состояние, я волновался, как волнуются, когда договариваются по телефону о встрече с очень мудрым человеком, про которого много слыхал, но ни разу не видел. А Дуня шла, сосредоточенно рассматривая р а б о т у великих так, как она рассматривает работы своих коллег по училищу живописи. И только когда Хуан Гарригес привел нас в зал Иеронима Босха, я увидел в глазах дочери изумление и открытый, нескрываемый восторг. Босх написал триптих: мир — от его создания до Апокалипсиса. Если прошлое в шестнадцатом веке можно было писать гениально, то писать будущее, угадывая подводные лодки, атомные взрывы, межконтинентальные катаклизмы, — это удел провидца от искусства, это дар — в определенном роде — апостольский. Информация, заложенная в поразительной живописи Босха, настолько современна в своей манере, что можно только диву даваться, откуда т а к о е пришло к гению.

— А как тебе Гойя? — спросил я Дуню.

— Гойя — это Гойя, — ответила она, не отрывая глаз от Босха. — Им все так восторгаются, и так много о нем написано, и такая у него «Обнаженная Маха» — просто чудо, как написано лицо, и кожу он писал поразительно...

— А Босх?

— Для меня — это больше чем Гойя.

— Почему?

— Потому, что раньше я не знала, что это возможно.

(Не в этом ли ответ на то, отчего молодежь стремится поступать в институты, связанные с тем, «что раньше было невозможно» — электроника, атом, революционная — в новом своем состоянии — математика? Я убежден, что форма преподавания гуманитарных дисциплин сугубо устарела, ибо учителя не стремятся по-новому найти в поразительных по своему интересу предметах истории, экономики, географии то, что «раньше было невозможно».)

...А потом мы пошли на уютную, тихую Санту-Анну и сели за столик пивной «Алемания».

— Здесь распорядок дня определен раз и навсегда, — продолжал Кастильо Пуче, — в десять часов пьют пиво журналисты, которые пишут о корриде, — их Папа не очень-то слушал, они слишком традиционны и не ищут невозможного. В час дня сюда приходят «ганадерос», а к ним Папа прислушивался, потому что они знали истинный толк в быках.

...Он сидел у окна, много пил и очень быстро писал свои отчеты для «Лайфа», которые потом стали «Опасным летом». Вечером, часов в девять, когда сюда приходят после корриды все, и матадоры в том числе, он не любил здесь бывать, потому что шум становился другим, в нем появлялось иное качество, в нем было много лишнего, того, чего не было в дневном шуме, который, наоборот, помогал Старику работать, ибо то был шум не показной, наигранный, вечерний, когда много туристов, а шум, сопутствующий делу: такое бывает на съемочной площадке перед началом работы, и это не мешает актеру заново перепроверять образ, который ему предстоит играть, но зато ему очень мешает стайка любопытных, которых водят по студии громкоголосые гиды.

— Пойдем в «Кальехон», — сказал Кастильо Пуче, — там Старик любил обедать.

И мы пошли в «Кальехон», и это было чем-то похоже на памплонскую «Каса Марсельяно» — такое же маленькое, укромное свое место, где нет высоких потолков, вощеных паркетов и громадных колонн. Когда вы войдете в укромный, тихий «Кальехон», на вас с осторожным прищуром сразу же глянет Хемингуэй: его портрет укреплен на деревянной стене, прямо напротив двери. Все стены здесь (как и во многих других ресторанчиках Испа-

нии) увешаны портретами матадоров с дарственными надписями. Когда мы поднимались на второй этаж, я обратил внимание на свежую огромную фотографию: это был Ниньо де ля Капеа, самый молодой и — отныне самый известный матадор Испании.

— Возьмем себе то, что обычно брал Папа, — сказал Кастильо Пуче.

Нам принесли «наспачо андалус» — холодный томатный суп в глиняных блюдцах. Сюда, в эту холодную, такую вкусную во время жары похлебку, надо положить мелко нарезанные огурцы и поджаренный хлеб, перемешать все это, и получится некое подобие окрошки или болгарского «таратора», несмотря на то что наша окрошка рождена квасом, а «таратор» — кефиром. Потом Старик заказывал «гуадис колорадос» — крестьянскую еду, мясо с бобами, в остром, чуть не грузинском соусе, а после «арочелес» — рис с корицей.

Доктор Мединаветтиа, старый друг Старика, который наблюдал его в Испании, запретил ему острую пищу и сказал, что можно выпивать только один стакан виски с лимонным соком и не более двух стаканов вина, и Старик очень огорчился и долго молчал, когда пришел сюда, и выпил пять виски, а потом взял вино «вальдепеньяс» из Ла-Манчи и заказал много еды, так много, что вокруг него столпились официанты: им было жутковато смотреть, как Папа работает ложкой, ножом и вилкой — «неистовый инглез этот Папа...».

— Отсюда мы пошли к Дону Пио, — продолжал Кастильо Пуче, — к великому писателю Барохе, который умирал, и кровать его была окружена родственниками, приживалками, журналистами, фотографами; Папа купил бутылку виски, а Мэри передала свитер — «это настоящий мохер», добавила она, и это был бы очень хороший подарок, потому что Пио Бароха боялся холода, но подарок Мэри не пригодился, потому что через два дня Бароха умер. Хемингуэй надписал ему свою книгу и поставил на столик возле кровати бутылку виски и сказал Барохе, как он н у ж е н ему, как много он получил от Дона Пио, от его великих и скорбных книг, а Бароха рассеянно слушал его, осторожно глотая ртом воздух...

После, когда Старик вышел от Барохи, он задумчиво сказал:

— Я никому не доставлю такой радости: умирать, как на сцене, когда вокруг тебя полно статистов, и все на тебя смотрят, дожидаясь последнего акта...

Именно в тот день, когда он был у Барохи, Старик зашел в те два бара на Гран Виа, куда обычно он не любил заходить: в «Эль Абра» и «Чикоте». Он не любил заходить туда потому, что именно в этих барах он проводил многие часы с Кольцовым, Сыроежкиным, Мамсуровым, Карменом, Цесарцем, Малиновским, Серовым, когда он писал «Пятую колонну» и «Землю Испании», вынашивал «По ком звонит колокол», когда он был молод, и не посещал доктора Мединаветтиа, и безбоязненно приникал губами к фляжке с русской водкой, не думая о том, что завтра будет болеть голова, и будет тяжесть в затылке, и будет ощущение страха перед листом чистой бумаги, а нет ничего ужаснее, чем такой страх для писателя...

...Когда мы назавтра возвращались на Толедо, погода внезапно сломалась, небо затянуло низкими лохматыми тучами, а потом поднялся ветер, а после посыпало белым, крупным, русским градом, и это было диковинно в июльской Испании, и я вцепился в руль, оттого что шоссе стало скользким и ехать было опасно, а Дунечка безучастно смотрела в окно, но это только казалось, что она безучастно смотрит, потому что вдруг сказала:

— Остановись, пожалуйста.

Я остановился, и Дунечка достала из багажника этюдник и сделала углем набросок, а в номере отеля достала краски, и запахло р а б о т о й — скипидаром и холстом, и она долго работала, а потом я увидел картину — огромное синее дерево, согнувшееся от урагана, и черное небо, в котором угадывалось солнце, и бесконечная красно-желтая земля Испании.

Символ только тогда делается символом, если в нем сокрыта правда, понятная тебе. Для меня эта картина сразу же обрела название: «Старик в Испании, 1960».

В шестьдесят первом году он прислал телеграмму в Памплону с просьбой забронировать его обычные места на корриду. За день перед вылетом он застрелился. Его отпевали в то утро, когда начался Сан-Фермин, фиеста, вечный его праздник.

Он не решился прилететь в Испанию сломленным, он решил уйти, чтобы сохранить себя навечно. Здесь, за Пиренеями, надо обязательно быть сильным, бесстрашным и уверенным в том, что скоро взойдет солнце...

1973 год

Подцензурная проза с намеками (1968)

ИЗГНАНИЕ ПОЭТА

Император Август спросил:

— Ваш друг Гораций говорит, что только мудрость — источник и начало писания?

— Гораций говорит так, — ответил Меценат, улыбаясь спокойно и чуть надменно.

«Сейчас он перестанет улыбаться, — подумал Август и вдруг поймал себя на том, что злорадствовал, предвкушая миг, когда Меценат перестанет улыбаться. — А ведь это нехорошо, — как бы со стороны заметил он. — Это уже никуда не годится. Завидовать умению улыбаться нелепо. И потом, улыбка — непременный атрибут трусости. А я люблю трусов: как правило, они умны и дальновидны».

Обойдя большой стол, Август вытащил из-под кипы бумаг синенький свиток.

— Если вы согласны с Горацием, то что скажете об этом? — спросил он.

Меценат принял из рук императора свиток и улыбнулся, но теперь иначе, не так, как все время, а ласково и нежно. У Мецената было лицо доброго ребенка, и поэтому он всегда старался улыбаться надменно и холодно, опуская книзу уголки толстых губ и сводя брови к переносью. Но когда Меценат забывался, радуясь чему-то, заданная улыбка сходила с его лица, и он делался тем настоящим Меценатом, которого любили поэты и художники.

Сверху было выведено: «ОВИДИЙ. НАУКА ЛЮБВИ».

Меценат начал листать рукопись.

Август неслышно подошел сзади и, обняв Мецената за плечи, спросил:

— Нравится?

— Это великолепно.

— Как лекарство для стариков — не спорю. Говорят, где-то у Понта Эвксинского есть лекари, которые делают из стариков отменных еб... — император смачно произнес грубое народное словечко и звонко рассмеялся, — но когда поэт становится лекарем, тогда я готов восстать против литературы. Не надо учить того, кто читает. Описать грудь или торс женщины, изваянный рукой мастера, — искусство, и я приветствую это искусство. Но не надо учить, какой рукой обнимать женщину: правой или левой — всякий любит по-разному. В любви, как и в политике, нет рецептов, и не надо их изобретать, а тем более поэтам, людям чрезмерной фантазии...

— Но это искусство, — сказал Меценат. — «Науку любви» будут читать потомки.

— Я не хочу спорить с вами. Вы спорщик, вы сильнее меня в умении дискутировать. Я приказал сослать Овидия. Я приказал отправить его в Томы. Это Понт Эвксинский, это море и то же солнце, что и в Риме, только чуть похолоднее. Пусть он остынет там. И если он так хорош, этот Овидий, то жители Том сделают в его честь мраморный бюст; право, я не буду возражать против этого.

— Император, сослав великого поэта, вы навлечете на себя толки.

Он бил в больное место, и он попал в больное место.

— Я не боюсь толков, — ответил император тихо. — «Толки»! «Толки» — это бессильные заговоры старых аристократов, которые забыли, в какой руке держать меч! «Толки» — это колкости юных поэтов, которых я кормлю! Когда меня кусают мухи, я должен бить их. А я сдуваю! «Толки»! Они исчезают, эти ваши толки, как только начинают бить! И появляются вновь, когда сдувают! А я не буду бить! Я буду сдувать! Пусть толки — умные историки смогут извлечь из них пользу в назидание потомству!

Август оборвал себя. Он сердито посмотрел на Мецената и заметил, что тот сейчас не улыбался обычной своей снисходительной улыбкой.

«Слушать злые слова так, как слушает Меценат, может только умный человек и только друг, — подумал Август. — Он друг мне, но он Меценат, а я император. Он ближе к поэтам, я к богам».

— Если бы Овидий писал для вас или для меня, — уже спокойно продолжал император, взяв Мецената под руку, — если бы он писал для нашего с вами отдыха, только для нашего, повторяю я, тогда я подарил бы ему хорошую египетскую живопись, потому что слог его отточен и рифмы интересны, хотя и несколько грубоваты. Я могу подтрунивать над богами в вашем присутствии. Но будь здесь третий, я бы падал ниц перед великими, потому что когда нет веры, начинается безверие, а безверие — это кровь!

По тому, как Меценат посмотрел на него, император понял, что ссылку Овидия он выиграл. Ведь важно не само деяние, а оправдание его.

— Вы разрешите дать Овидию мою фрегату? — спросил Меценат.

— Да, конечно, — устало ответил император, — только сделайте это умно, чтобы не говорили о нашей с вами размолвке. Ссориться из-за поэта с императором можно. Но ссориться из-за истины, которая на стороне императора, неразумно.

О ссылке Овидия не было толков. Меценат позаботился об этом. Когда фрегат вернулся из Том, Меценату сказали, что поэт поселился на самом берегу, в маленькой лачуге с одним окном. Меценат отправился в свой загородный дом и там запил, запершись от всех.

...Через неделю Август принимал Мецената по вопросам оформления дворцов скульптурами. Меценат явился к императору оплывший, с мутными глазами и заросшим подбородком.

— Когда Овидию можно будет вернуться? — спросил он императора.

— Как только изменится, — ответил Август. — Поэты, даже седовласые, — все равно юноши. А юноши меняются, в этом их прелесть. Вы знаете это так же хорошо, как и я.

— Лучше.

— Что? — не понял Август.

— Лучше, чем вы, — ответил Меценат.

Август долго смотрел на Мецената, а потом сказал, будто не слышал слов своего помощника:

— Даже если он даст слово измениться, я не смогу поверить ему: у поэта нет слова. У поэта есть литера. Написанная на бумаге или высеченная на мраморе, лите-

ра поэта бессмертна. Я смогу поверить только написанному слову, — медленно заключил Август, — то есть литере, которая станет служить моему делу...

...Человек, прибывший в Томы от Мецената, ждал Овидия во дворе его дома. Палило солнце, над заливом кричали чайки — жадно и зло, в сухой земле, растрескавшейся под солнцем, прятались кузнечики.

Овидий пришел только к вечеру. Под мышкой он нес кожаную сумку с рыбой. Нос его шелушился, волосы выгорели на солнце и стали у висков рыжими, как у перса.

— Я привез послание от Мецената, — сказал человек, поздоровавшись. — Он просил тебя написать что-нибудь веселое и уважительное, посвященное императору.

— Он так и сказал? — спросил Овидий, ставя сумку с рыбой на землю. — «Посвященное императору»?

— Именно так.

— А что еще он просил передать мне?

— Он просил передать вот что: «Трудно тебе, но трудно и мне. И ему самому тоже трудно, потому что нелегко быть богом. У богов есть все права, кроме одного: они не могут ошибаться. Если ребенок не хочет, его заставляют. Я не могу заставить тебя, я могу просить: создай то, что тебе подскажет трезвый рассудок, — и улицы Рима ждут тебя. Отдай долг и вернись».

Слушая человека, читавшего наизусть послание Мецената, Овидий доставал из сумки рыб и нанизывал их на тонкую бечевку, чтобы провялить на солнце. Он долго обдумывал услышанное, а потом сказал:

— Передай Меценату, что я отдаю долги только тем, кому должен. И еще обязательно скажи ему, что мне понравилось ловить рыбу. Скажи ему, только не переври, что любовь не дает времени думать, а рыбная ловля думать заставляет.

Человек спросил:

— Это все?

— Все.

— Ну, эти-то слова можно и записать. В них нет ничего такого, что касается всех.

— Ну запиши, — усмехнулся Овидий, — хотя эти слова касаются всех.

...Когда посланец Мецената отплыл, Овидий вошел к себе в комнату и лег на кровать, спрятав лицо в подушки. А потом он записал в маленькой тетради: «Самое трудное для голодного — не глотать слюну при виде жареного мяса, даже если оно в руках друга. Самое главное — всегда отдавать долги. Самое легкое — отдать долг, если его и не делал».

Овидий сидел над тетрадью до вечера. Последней была фраза: «И если ты чувствуешь, что отдать долг надо, хоть и не брал его, — отдай и забудь!» Потом он вписал перед словом «отдай» частицу «не». А потом зачеркнул всю фразу и пошел спать, потому что с солнцем он хотел уйти в море рыбачить.

...Мраморного бюста в честь Овидия жители Томы не воздвигли. Они просто переименовали свой город в Овидиополь. Он стоит на берегу Днестровского лимана, напротив Аккермана. Здесь ловят рыбу курчавые черно-рыжие люди, которые любят стихи и солнце.

КАК ЭТО БЫЛО

Когда Гай Марций был признан врагом народа, когда он был обвинен в том, что рвался к личной тирании, Сенат по настоянию трибунов принял решение, по которому тот изгонялся из Рима навечно. Марций ушел из города пешком, под вечер, когда на улицах было людно. Он шел неспешно, чуть раскачиваясь, словно после хорошего обеда. Тога на нем была простая, повязанная куском корабельного каната, видимо, в память о его морских победах над противниками Рима. Никто не улюлюкал вслед врагу народа, но никто и не плакал, глядя на него. Он шел один и смотрел сквозь лица сограждан, и на губах его замерла презрительная усмешка.

Он шел к вождю племени вольсков — к Туллу. Вольски знали Гая — он побеждал их, они трепетали при его имени. Марций пришел к Туллу и сказал:

— Я — Гай Марций, который изгнан Римом, я пришел к тебе.

Вождь вольсков сделал Гая Марция вторым главнокомандующим — первым оставался он сам. И Гай Марций повел вольсков на Рим: человек рожден мстительным.

Рим был окружен войсками вольсков, которыми командовал Марций. В городе началась паника, сменившаяся отчаянием, когда римляне поняли, что спасения нет. В храмах не осталось молящихся потому, что люди поняли бесполезность слов, обращенных к богам, если Гай Марций — великий воин эпохи — стоит возле ворот. Сенаторы перестали пить потому, что даже хмель не брал их: чем больше они пили, собравшись отдельными компаниями, тем больше трезвели. Чернь радовалась тому, что паниковали сенаторы и рыдали их матроны, и ждала перемен с равнодушием, ибо печалится в жизни тот, кому есть что терять.

Но вдруг все переменилось: неожиданно Гай Марций

увел войска вольсков. История гласит, что несколько римлянок пришли к Марцию, а впереди всех шла его мать Волумния.

— Сын мой, — сказала Волумния сурово (во всяком случае, так утверждает официальная версия), — сын мой, если бы я не проронила ни одного слова, то по моему жалкому виду ты можешь судить, на какую замкнутость обрекло нас твое изгнание. Невозможно разом просить у богов и победы для отечества, и для тебя спасения. Нам предстоит потерять либо отечество, либо тебя. Но я не стану ждать, какой из этих двух жребиев сужден мне войной; знай и будь готов к тому, что ты сможешь вступить в бой с отечеством не прежде, нежели переступишь через труп матери. Да и не доживу я до того дня, когда мой сын будет справлять победу над моими согражданами!

История гласит далее, что Гай Марций якобы воскликнул:

— Что ты сделала со мной, мать?! Ты одержала победу, счастливую для отечества, но гибельную для меня!

С этим он снял осаду Рима и ушел.

...Однако существует иная версия, до сих пор дискутируемая в официальной науке. Версия эта никак не оспаривает самого факта прихода Волумнии к сыну. Не оспаривает также и то, что женщину сопровождали матроны из самых лучших семей Рима. Действительно, женщины подошли к Клелиевому рву, что в сорока стадиях от Рима, где стоял штаб Гая Марция. Но все происшедшее дальше, так же как и причина, побудившая Волумнию пойти к сыну, совершенно иное: дело в том, что дети Гая Марция и его жена Валерия были взяты заложниками. Волумнию отправили трибуны с ультиматумом: если Марций не уйдет, все будут казнены: Валерия, девочка и мальчик. Дети были похожи на Гая Марция: даже уши у них были точными слепками отцовских — оттопыренные мочки, а сверху чуть закручены, будто пирожки. Итак, Волумния в сопровождении десяти матрон, которые должны были следить за ней, отправилась к сыну — спасать жизнь внукам. Женщины приблизились к штабу врагов. Воины вольсков увидели, как их вождь Гай Марций сделался белым, жалким, и щеки его запрыгали, и он бросился навстречу сухой старухе с седыми длинными волосами, отброшенными за согбенную спину.

— Сынок мой, — заплакала старуха и стала обнимать врага народа, изгнанника и вождя вольсков. Она глади-

ла его голову слепыми, заученными, нежными, неземными движениями.

— Какой страшный шрам, — плакала она, притрагиваясь пальцами к его голове, — все так же болит во время холодов, мой мальчик? Ты дышишь плохо и с хрипом, ты всегда болел горлом в детстве.

Марций, сначала ослепший, теперь, прижимая к себе мать, прозрел. Слезы сошли с глаз, щекам сделалось тепло, а после щеки почувствовали ветер, его слабое дуновение. Щеки воинов чуют ветер слезами — только так. Гай Марций увидел вольсков, которые смотрели на него выжидающе и ревниво.

— Где дети? — спросил Марций. — Где Валерия?

— У тебя совсем седые усы, мальчик мой. Борода еще рыжая, а усы седые. И три новые морщинки на лбу... Они сами, они сами сделали тебя вождем врагов, — вдруг выдохнула, зарыдав, старуха, — а теперь они хотят, чтобы я... чтобы я... чтобы ты...

— Девочка, верно, уже стала говорить?

— Нет, ей еще рано. Она научилась пока еще только смеяться, когда Валерия играет с ней.

— А мальчик?

— Он — как ты в пять лет. И так же любит спортивные игры и состязания на траве. Только бороться ему приходится со мной, а он очень сердится оттого, что я слаба.

— Разве на улице нет детей, с кем бы он мог играть?

— Дети есть, но ведь он сын врага народа Гая Марция, вождя вольсков.

— Они не тронут их, если я уведу войска? Скажи мне правду, мать?

— Какие уставшие у тебя глаза, сынок, — заплакала старуха, — какие прекрасные у тебя глаза...

Гай Марций увел вольсков из-под Рима. За это он был зарезан Туллом в Сенате.

Римлянка Аривксмеда, ходившая к Гаю вместе со старухой Волумнией, любовница трибуна Респия, подала счастливую мысль, чтобы в назидание потомкам увековечить эту победу римлян великодушием траура по зарезанному Марцию.

Была весна, народ выезжал купаться к морю; по ночам, закрыв окна шторами, люди пили вино и смотрели танцовщиц; чернь на окраинах города пела веселые рит-

мичные песни варваров, поэтому траур прошел незаметно и даже придавал некоторую пикантность наслаждениям, которые считались запрещенными.

Эта весенняя буйность в дни объявленного траура была слышна в доме, который вернули семье Марция.

Валерии, жене бывшего врага, позволили снять черное покрывало позора. Аристократы стали приглашать сына Марция в гости к своим детям: это было экзотично и в духе времени. Девочка сказала свое первое слово. Оно было странным: «рыба». Когда траур кончился, Волумния ушла из города к Клелиевому рву и зарезала себя на том месте, где последний раз говорила с сыном.

ИНФАРКТ МИОКАРДА

С тех пор как в Афины приехал римский наместник, Плутарху дали понять, что все его произведения должны быть прочитаны иноземцем, прежде чем они станут фолиантом, доступным владыке и философам.

Поначалу Плутарх не понял, о чем идет речь. Он был увлечен переработкой главы об изменнике Алкивиаде и поэтому рассеянно ответил ликтору, принесшему эту просьбу наместника, вежливым и рассеянным согласием.

Плутарх никогда не читал своих работ вслух: это ему казалось жульничеством, потому что автор обязательно становится актером и улучшает написанное точно проставленными контрапунктами, дикцией и чувством. Плутарх обычно наблюдал за тем, как его читают друзья. Он внимательно следил за их лицами, и это наблюдение было для него работой, ибо он знал, кто из его друзей на какой строке и на каком слове улыбнется: друзья историка думали так же, как и он. Правда, Плутарх давал смотреть свои новые работы и некоему Девсону, которого все считали дураком. Так оно и было на самом деле. Тем не менее Плутарх приблизил его к себе и внимательно следил, в каких местах книги Девсон смеялся или плакал. Потом он переписывал эти куски наново, находя их чересчур прямолинейными, если смысл их был очевиден даже для такого ценителя, как Девсон.

В главе об Алкивиаде Девсон хохотал в том месте, где Плутарх рассказывал про состязания на весенней траве: соперник Алкивиада кричал: «Что ты царапаешься, как баба?!» Алкивиад хрипел: «Дурак, я царапаюсь, как лев!» Глядя на хохочущего Девсона, Плутарх решил, что этот кусок придется переписать и более точно расставить акценты.

Не перерабатывая ничего наново, Плутарх отправился назавтра к римскому наместнику, желая заполучить еще одного ценителя. Однако римская стража не пустила

его во дворец. Начальник охраны извинился перед Плутархом в слишком цветистых выражениях, которые свидетельствовали о его плебейском происхождении.

— Закон римлян один для всех, — сказал начальник охраны. — К сожалению, вы не известили нас заранее о своем визите, поэтому наместник не может прервать своей беседы с коллегами из армии. Но ваш труд я передам ему немедля.

Плутарх вернулся домой к ужину. Старший сын принес перепелов, стол был красочен, вино подавали терпкое, с гор, очень легкое. Плутарх вообще мало пил, а если и пил, то лишь легкое вино. Поэтому говорил он друзьям: «Я и в зрелости греховен, как юноша, и силен, словно борец».

После ужина Плутарх почитал вслух древних, прошелся по уснувшему городу, посидел на берегу, опустив ноги в воду, и отправился спать. Засыпал он сразу, едва только голова его касалась подушки. Во сне он увидел много дерьма и проснулся счастливым, потому что видеть во сне дерьмо — к богатству.

Днем к нему пришли от наместника с приглашением пожаловать во дворец. Они так и сказали: «Просим пожаловать во дворец на послеобеденную беседу». Плутарх был добрым человеком и поэтому не рассмеялся в глаза пришельцам — он не любил напыщенности.

...Наместник поднялся из-за стола и пошел навстречу Плутарху. Обняв историка, он усадил его возле окна, сам устроился рядом, и поначалу они говорили друг другу обычные приветствия, принятые теперь в Риме, который стремился сочетать самый широкий демократизм с утонченным аристократизмом. Плутарх отметил для себя, что наместник одет подобно простому солдату; суровая ткань его одежды подчеркивала развитые плечи атлета. Свою речь наместник пересыпал как острыми словечками, так и хорошими отрывками из речей классиков Рима и Греции. Плутарх легко подделался под его стиль, потому что он был гением, а гений — это обязательно артист и хитрец. Наместник же решил, что он расположил Плутарха и тот готов к откровенности. Поэтому он отошел к столу, принес рукопись историка и сказал:

— Это замечательный труд, я поздравляю тебя, корифей афинской философии.

— Ты слишком добр ко мне, — ответил Плутарх.

— Я получил много радостных минут, читая тебя.

— Только минут? В устной речи труд мой звучит

более трех часов. Как же мало там хороших строк, если я смог доставить тебе только минуты радости!

— Для меня нет часов, — отпарировал наместник, — мы, военные люди, измеряем историю минутами, ибо сражение проигрывается или, наоборот, выигрывается не в час, но именно в минуту.

Плутарх удивился этому ответу, потому что был не просто умен, но был суров и резок в своей правоте. Плутарх понял, что наместник готовится сказать главное. Он не ошибся.

— Ты позволишь мне быть откровенным с тобой? — спросил наместник.

Плутарх хотел просить его не быть с ним откровенным — он боялся откровенности тиранов, — но ответил сдержанным согласием.

— О ком ты думал, принимаясь за этот труд? — спросил наместник. — О чем думал? Что ты хотел выразить? К чему зовешь?

— Я ни к чему никого не зову. Я описываю факты.

— Не надо обманывать меня! В твоем труде обнажены бренность и суетность человеческого бытия — будь человек гением, будь болваном. Вот в чем суть твоей работы. И ты хочешь, чтобы воин пошел в бой, на смерть за мое дело, прочитав твой труд? Ты думаешь, он пойдет сражаться с Персией, познакомившись с твоим спокойным юмором? Я уже не говорю о том, что главное действующее лицо в твоей работе не герой или борец, но зависть. Почитай тебя — так выходит, что взлеты и падения героев следствие только одного — человеческой зависти?! И ты хочешь, чтобы это читали мои легионеры? У тебя все погибали от зависти — все до одного! А где же законы развития? Где логика борьбы?! Где предначертания богов?! При чем тут зависть?!

— Оглянись вокруг, — сказал Плутарх. — Разве те, с кем ты начинал, не завидуют твоему теперешнему величию? Разве они твои союзники? Или ты им веришь? Разве у них не отвисает губа, когда при них говорят о твоих успехах? Разве у них не горько во рту, когда народ рукоплещет тебе, а их не знает вовсе? Разве они не будут ликовать, если ты падешь?

Наместник долго молчал, а после стал говорить, словно отдавая команды:

— Ты живешь в Афинах, которыми правит Рим. Чтобы жить здесь, ты должен утверждать мое дело. Я обязан быть с тобой резким наедине для того, чтобы на

людях выражать знаки уважения. Так что прости меня за резкость, но резкость во имя дела величия нации будет прощена историей.

— Историю создают историки.

— Верно. Но лишь та книга уйдет в историю, которая будет напечатана. А право печатать отныне даю я. Писать для ларца — глупо. После твоей смерти дети выбросят ларец, как старую рухлядь, а рукописи испортит дождь: об этом позаботятся мои люди из архива. Эрго: в таком виде твоя книга не может стать историей. Я запрещаю ее.

— Это произвол.

— Вероятно. Но это произвол над личностью Плутарха во имя блага и величия нации.

— Ты убежден, что нация во имя своего величия должна унизить Плутарха?

— Я хочу спасти твою книгу. Я друг тебе, потому что ты Плутарх. Каждая глава должна быть сопровождаема выводами, которые бы ясно и недвусмысленно выражали твою позицию. В этих кратких выводах ты обязан отчетливо высказаться по поводу того, что ты считаешь хорошим, а что плохим. Не бойся громко порицать зло и дважды повторить имя героя. Кстати, сцена, где Алкивиад царапается во время борьбы, прекрасна, я смеялся как сумасшедший.

«Он из мелких торговцев, — понял Плутарх. — «Смеялся как сумасшедший» — фраза, которую говорят торговцы с нечистой кровью».

Плутарх написал к каждой главе «Сравнения».

Они содержат выводы.

Эти выводы надо читать особенно внимательно — они поразительны.

Плутарх умер за столом примерно через четыре месяца после беседы с наместником из Рима. Тогда не знали, как называется эта моментальная смерть за рабочим столом.

Сейчас эта болезнь общеизвестна — инфаркт миокарда.

СОДЕРЖАНИЕ

Дунечка и Никита. 5
«Он убил меня под Луанг-Прабангом» 71
Репортер 157
Рассказы
Дождь в водосточных трубах 407
Кони и люди 421
В горах море сердце 426
На «козле» за волком 437
Вожак 455
Еще не осень 466
Прощание с любимой женщиной 499
Грегорио, друг Эрнесто 509
Ночь и утро 532
Старик в Памплоне 542
Старик в Мадриде 552
Изгнание поэта 561
Как это было 566
Инфаркт миокарда 570

Ю. Семенов

С30 **Собрание сочинений: В 8-и томах. Т. 6. Повести рассказы. — М.; МШК МАДПР, ДЭМ, 1994.— 576 с.**

ISBN 5-85207-034-3

В шестой том собрания сочинений Ю. Семенова вошли повести «Дунечка и Никита», «Он убил меня под Луанг-Прабангом», «Репортер» и рассказы.

Для широкого круга читателей.

4702010200-007

С ——————————— Без объявл. ББК 84.3Р7

МШК МАДПР, ДЭМ, 1994

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ
ТОМ ШЕСТОЙ. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

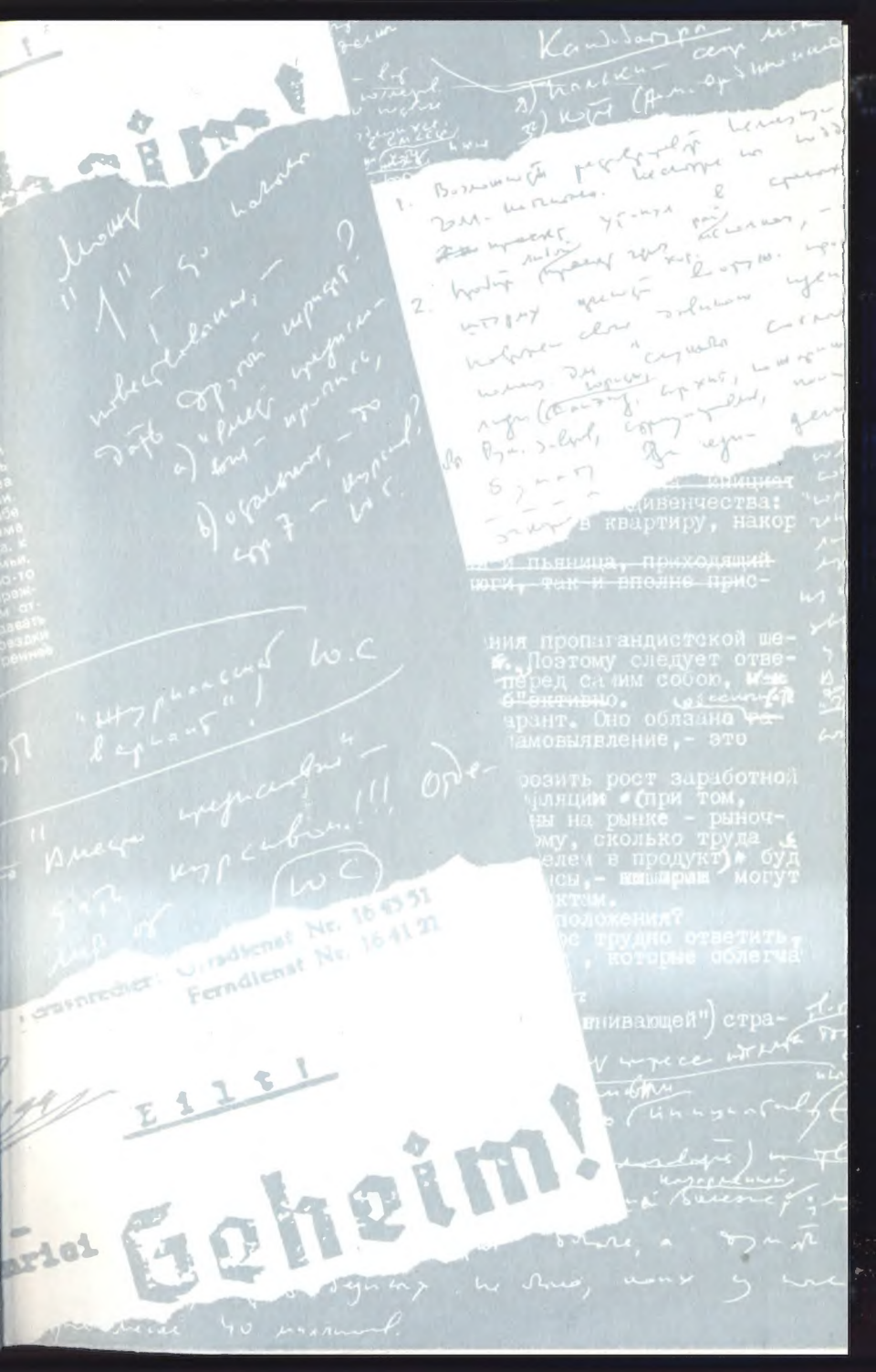
Редактор *И. В. Стабникова*
Оформление художников *В. М. Белякова, В. С. Помочилина, М. Н. Шестопала*
Художественно-технический редактор *Т. К. Койранская*
Корректоры *Т. П. Поленова, А. Л. Курочкина*

н/к

ЛР № 090028 от 01.11.91.
Сдано в набор 09.09.91. Подписано в печать 19.02.92.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. **Бумага тип.** Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 33,43
Уч.-изд. л. 32,8. Гарнитура Литературная.
Печать высокая. Тираж 60 000 экз. Заказ № 490. С-9.

МШК МАДПР
111021, Москва, Зубовский бульвар, 4
117049, Москва, Крымский вал, 9 СП «ДЭМ»

АООТ "Ярославский полиграфкомбинат"
Комитета Российской федерации по печати.
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.


Eilt!
Geheim!